

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЛИТЕРАТУРЫ

Ш У ШШ К И ИИ

**ВРЕМЕННОИК
ПУШКИНСКОЙ КОМИССИИ**

2

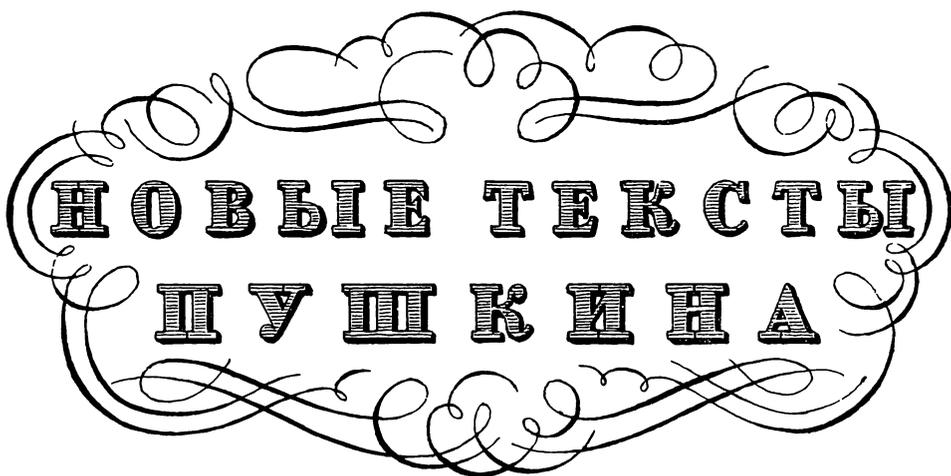
ИЗДАТЕЛЬСТВО
АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА 1936 ЛЕНИНГРАД

Октябрь 1936 г.

Напечатано по распоряжению Академии Наук СССР

Непременный секретарь академик *Н. Горбунков*

Художественное оформление *Е. Д. Белуха*



НОВЫЕ ТЕКСТЫ
ПУШКИНА



«ПИСЬМО К ИЗДАТЕЛЮ „СЫНА ОТЕЧЕСТВА“»

Въ теченіи послѣднихъ четырехъ лѣтъ || мнѣ случалось [иногда] быть предметомъ || журнальныхъ [критикъ и наблюденій] замѣчаній.¹ ||

Часто несправедливья, часто непристойныя || [они] иныя не заслуживали никакого вни||манія, на другія издали отвѣчать бы||ло невозможно. [Тѣ и другія] Оправданія² оскорбл.² Авт.² самол.² не могли || быть занимательны для публики, || я молча предполагалъ исправить || въ новомъ изданіи недостатки ука||занныя мнѣ какимъ бы то ни было || образомъ, и съ живѣйшей благодарностью || читалъ изрѣдко лестныя³ похвалы³ [слишкомъ лестныя от||зывы и⁴] ободренія, чувствую⁵ что не || одно, довольно слабое достоинство моихъ || стихотвореній давало поводъ благородному || изъявленію снисходительности и друже||любія.

К. П. А. В. предпринявъ изданіе Б. Ф. || [присоединил] напечаталъ⁶ при ономъ⁷ Разговоръ между || Издателемъ и Анти-романтикомъ, разго||воръ вѣроятно вымышленный: по край||нѣй мѣрѣ, если между нашими пе||чатными классиками многіе силою || своихъ сужденій сходствуютъ съ классикомъ || Выборгской стороны, то кажется не одинъ || изъ нихъ не выражается съ его [легкостью,] || остротой и свѣтской вѣжливостію.

Сей разговоръ не понравился одному || изъ судей нашей словесности. Он на||печаталъ въ 5-ой К. В. Е. Второй Разг. || между Изд. и Клас. гдѣ между прочемъ || прочелъ я слѣдующее:

[]⁸

¹ Надписано над зачеркнутым: критикъ и наблюденій.

² Надписано над зачеркнутым: Тѣ и другія.

³ Надписано над зачеркнутым: „слишкомъ лестныя отзывы“.

⁴ „и“ зачеркнуто Пушкиным по ошибке.

⁵ Вероятно, описка вм. „чувствую“.

⁶ Надписано над зачеркнутым: „присоединилъ“.

⁷ Исправлено из: „къ оному“.

⁸ Судя по печатному тексту этого письма, Пушкин обозначил скобками место для вставки следующих строк из „Разговора“: «Изд. И так, разговор мой вам не нравится? — Клас. Признаюсь, жаль, что вы напечатали его при прекрасном стихотворении Пушкина, думаю и сам Автор об этом пожалеет».

Авторъ сердечно радуется что имѣть || случай благодарить К. В. за прекрасный || его подарокъ. Разг. etc. писанъ болѣе || для Европы чемъ для Россіи гдѣ про||тивники романтизма слишкомъ || слабы и незамѣтны и не стоятъ || столь блистательнаго отраженія.

Не хочу или не имѣю права жало||ваться по другому отношенію и||сѣ искреннимъ смиреніемъ принимаю || похвалы неизвѣстнаго критика.

Александръ Пушкинъ.

Печатается по автографу (перебеленному, с поправками), входившему в коллекцию П. Е. Щеголева и приобретенному Пушкинским Домом Академии Наук СССР в марте 1936 г. Писано чернилами на полулисте писчей бумаги (вод. знак: колокол под короной), размер 193 × 309 мм. Судя по проставленной красными чернилами на лицевой стороне листа цифре „20“, документ этот к моменту смерти Пушкина входил в состав личного его архива и был занумерован жандармами при просмотре бумаг поэта в 1837 г. Текст Пушкина занимает лицевую сторону листа (26 строк) и оборотную (20 строк). Знаком || нами последовательно отмечается каждая новая строка документа.

Публикуемый нами автограф Пушкина представляет собою перебеленный черновик письма в редакцию журнала „Сын Отечества“. В этом издании письмо и появилось, с некоторыми изменениями и поправками, 3 мая 1824 г., № 18, стр. 181—182. Важнейшие отличия печатного текста от публикуемого нами рукописного сводятся к следующему:

Рукописная редакция:

К<нязь> П. А. В<яземский> предприняв издание Б<ахчисарайского> Ф<онтана>

напечатал при оном

в 5-ой К<ниге>

Автор сердечно радуется

писан более для Европы чем для России

Печатная редакция:

Ныне нахожусь в необходимости прервать молчание. Князь П. А. Вяземский, предприняв из дружбы ко мне издание Бахчисарайского Фонтана

присоединил к оному

в 5 №

Автор очень рад

писан более для Европы вообще, чем исключительно для России

Мы не оговариваем здесь вновь ни зачеркнутых мест рукописи, ни характерных особенностей ее орфографии и пунктуации, извращенных в печати. Следует впрочем отметить, что в дополнениях к примечаниям академического издания „Сочинений Пушкина“ (т. IX, ч. 2, 1929 г., стр. 922) сделана была Н. К. Козминным ссылка на *черновые* варианты печатаемого нами автографа. Однако, о наличии в автографе гораздо более существенных *беловых* вариантов комментатор остался неосведомленным.

Анонимным автором статьи против предисловия кн. П. А. Вяземского к „Бахчисарайскому Фонтану“, вызвавшей печатное обращение Пушкина к „издателю Сына Отечества“, был М. А. Дмитриев (1796—1866) — поэт, критик и переводчик, один из ближайших сотрудников „Вестника Европы“, блюститель традиций классической поэтики и салонной культуры старого московского барства, автор позднейшего разбора IV и V глав „Евгения Онегина“ в „Атенее“ 1828 г., на который Пушкин резко возражал в своих заметках 1828 и 1830 гг. и в примечаниях к отдельному изданию романа (1833 г.).

„Похвалы неизвестного критика“, отмечаемые в конце письма Пушкина, заключались в следующем отзыве М. А. Дмитриева о „Бахчисарайском Фонтане“: „Стихотворение

Мы можем почитать, что переписка это
милый случай много, быть предприимчив
предприниматель ^{самостоятельно} и наблюдательный,
часто несправедливый, часто неустойчивый
они и в нас не замечивали никакого вы-
сказанья, но другие издали откровения бы-
ло невозможно. ~~Ваш и другие не могли~~
быть замечательными глупыми публики,
и могла предположить ^{21.} изъяснить
в нововид издании недостатки ука-
зывать и не сказать бы то же бы
образом, и в глупейшей благодарности
иногда неправо ~~составлять~~ ^{испытать} ~~составлять~~
~~составлять~~ и ободрить, и впрочем это не
одно, довольно малое достоинство имеет
трудотворный даже повод благодарности
уверенно свидетельствует и друзей
любых.

К. П. А. В. предпринимать издание Б. оф.
^{капитала} ~~предпринимать~~ ^{предпринимать} ~~предпринимать~~ ^{предпринимать} ~~предпринимать~~
издательский и стилистический, разгово-
ры вторые всемирные: по край-
ней мере, если между нашими не
капиталистическими иными силами
волею судьбы шло бы в машинах
выборочной стороне, то может не один

ишь пашь, неввероятнъ въ его талантахъ,
вспомни и истиннъ въ преисполненно.

Всѣ разговоры не поправятся однимъ
ишь предъ нашей любовью. Онъ (ста-
тутама въ 3^{ой} №. 6. 2. Второй Разг.
ишь между Мед. и Клеа. вот между афоризма
принимъ и истодушное:

L I

Авторы ищутъ радужнъ что митъ
ишь благодаритъ Л. В. за презента
его подарка. Разг. 8^{ой} ишь ишь "Битка"
ишь 2^{ой} 3^{ой} ишь ишь Россіи вот про-
тивнъ романтическ ишь ишь
ишь ишь ишь ишь ишь ишь
ишь ишь ишь ишь ишь ишь
ишь ишь ишь ишь ишь ишь

Не ишь ишь ишь ишь ишь ишь
ишь ишь ишь ишь ишь ишь

Александр Пушкин

прекрасное, исполненное чувств живых, картин верных и пленительных; и все это облечено в слог цветущий, невольно привлекающий свежестью и разнообразием. Короче: в последних двух поэмах Пушкина заметно, что этот *Романтик* похож во многом на *Классика*“.

В начале апреля 1824 г., т. е. одновременно с печатаемым нами ответом М. А. Дмитриеву, Пушкин писал П. А. Вяземскому о его предисловии к „Бахчисарайскому Фонтану“: „Знаешь ли что? Твой разговор более писан для Европы, чем для Руси. Ты прав в отношении Романтической поэзии, но старая б... классическая, на которую ты нападаешь, полно существует ли у нас? Это еще вопрос“. Ср. заметки „О поэзии классической и романтической“ (1825 г.). Библиографическую сводку данных о полемике 1824 г. вокруг предисловия кн. П. А. Вяземского к „Бахчисарайскому Фонтану“, см. в примечаниях Б. Л. Модзалевского к „Письмам Пушкина“, т. I, 1926, стр. 318—319.

Ю. Г. Оксман.



ПОПРАВКИ ПУШКИНА К ТЕКСТУ „ЕВГЕНИЯ ОНЕГИНА“

В каталоге Пушкинской юбилейной выставки в Петербурге, май 1899 г., отмечалось: „121. Евгений Онегин, роман в стихах. Сочинение Александра Пушкина. Главы 1—6. С.-Пб. 1825—1828 г. Экземпляр с проклеенными между страниц листками белой бумаги, на коих есть собственноручные поправки поэта. Собств. е. и. в. вел. кн. Константина Константиновича“ (изд. К. А. Фишера, М., 1899, стр. 4). Однако в описании собрания К. Р., напечатанном после его смерти в „Известиях Академии Наук“, 1917 г., № 11, этот экземпляр книги не значится. В свое время он не был изучен и считался утраченным совершенно безнадежно. Однако в июне 1936 г. он неожиданно обнаружился среди книг, приобретенных московской Книжной лавкой писателей и ныне передан в Библиотеку СССР имени Ленина.

Экземпляр состоит из шести глав романа в первых изданиях (отдельными главами), переплетенных вместе. При переплетении печатные листы переложены чистой бумагой. Переплетен экземпляр, повидимому, уже позднейшим владельцем (но вероятно не позднее 40-х годов). Однако этот новый переплет с золотым обрезом сделан вместо другого, более раннего. Судя по следам шивки, поля раньше были больше; сохранившийся вписанный текст, повидимому, при новом переплетении не пострадал. О прежних владельцах по-экземпляру судить нет возможности: кем-то тщательно уничтожены все следы, по которым можно было бы установить историю экземпляра; вырезан вплетенный титульный лист (другой бумаги, чем весь экземпляр), вычищен овальный штампель на печатном титуле книги и отклеен с оборота переплета *ex libris*. При переплетении (вероятно самим Пушкиным) вырваны все титульные листки отдельных глав, кроме первой, и оставлены только шмуц-титулы с порядковыми номерами глав.

Поправки сделаны все рукой Пушкина карандашом и чернилами. Делались они не в один прием. Одна поправка карандашом сделана несомненно до того, как печатные листы были переложены чистой бумагой: эта поправка отпечаталась не только на белом листке, но и на смежной печатной странице.

Переходим к самим поправкам.

1) На шмуцтитуле первой главы карандашом проставлен год:

(1823)

и чернилами приписан эпиграф:

И жить торопится и чувствовать спѣшить.

К. Вяземскій.

Этот эпиграф вошел в позднейшие издания.

2) На стр. 36 в строфе XLVI слово „Неподражаемая“ исправлено:

Неподражательная

Так же мы читаем в издании 1833 г.

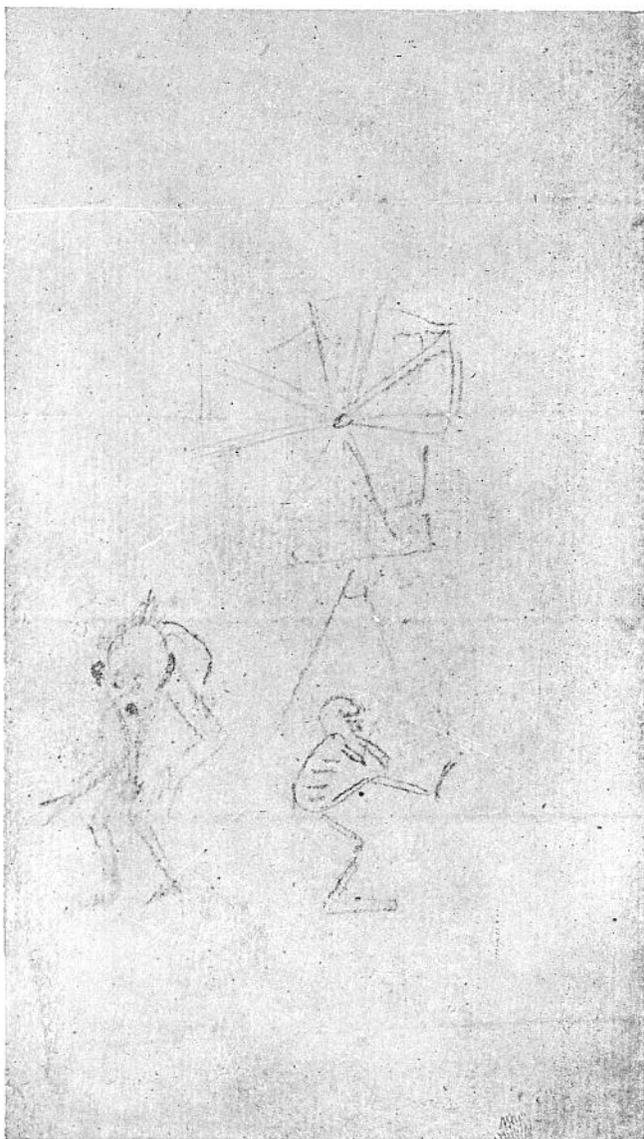
3) На стр. 49 в конце стиха „И заслужи мне славы дань“ запятая карандашом исправлена в двоеточие. Это исправление соответствует списку исправлений, приложенному

Поэзію клянеть и свищеть,
 Спуская бережно курокъ.
 У всякаго своя охота,
 Своя любимая забота:
 Кшо цѣлишь въ ушокъ изъ ружья,
 Кшо бредишь приемами, какъ я,
 Кшо бьешь хлопущою мухою нахальныхъ,
 Кшо правишь въ замыслахъ толпой,
 Кшо забавляешься войной,
 Кшо въ чувстввахъ нѣжишься печальныхъ,
 Кшо занимаешься виномъ:
 И благо смѣшано со зломъ.

XXXVII.

А чпожь Онѣгинъ? Ксташи, братья!
 Терпѣнья вашего прошу:
 Его всеневныя занятія
 Я вамъ подробно опишу.

Кто и мѣрилъ какъ
 съфтъ въ ружьѣ въ выстрѣлахъ пушки



**Рисунок Пушкина к строфе XVII гл. V „Евгения Онегина“
(на приклеенном к печатному экземпляру листке).**

к шестой главе. Так исправлено во втором издании первой главы 1829 г. В издании 1833 г. здесь поставлено тире.

4) Глава вторая. На обороте титула к латинскому эпиграфу приписано:

О Русь!

Это исправление сделано в списке при шестой главе и введено в позднейшие издания.

5) Стр. 9, строфа III: в четвертом стихе „В окно смотрел и мух давил“ в слове „давил“ две первые буквы перечеркнуты карандашом, но на полях исправления нет. Смысл этого исправления однако ясен: вместо „давил“ Пушкин хотел исправить „ловил“. Именно „ловил“ Пушкин написал в первоначальном черновике этой строфы, но в двух белых копиях он принял окончательное чтение „давил“. Так осталось и во всех изданиях.

6) На стр. 14 после неполной строфы VIII приписано карандашом:

Что есть избранныя судьбами

— —
— —
—

Этот стих, соответствующий в данной редакции рукописному продолжению строфы, введен в позднейшие издания в измененной редакции:

Что есть избранныя судьбою.

7) Против стр. 28 (строфа XXV) на чистом листке полустершийся карандашный рисунок, позднее подправленный более острым карандашом: женская фигура во весь рост, повернутая влево. Вопрос о принадлежности этого рисунка Пушкину вызвал разногласия у лиц, производивших экспертизу данного экземпляра. Можно думать, что первоначальный набросок принадлежит Пушкину, но он искажен позднейшей подрисовкой.

8) На стр. 40, в строфе XXXVIII, в 11-м стихе „И к гробу прадедов спешит“ зачеркнуто карандашом последнее слово и написано:

тѣснитъ

Это исправление находится в списке при шестой главе и введено в позднейшие издания. Поправка отпечаталась не только на чистом листке, но и на стр. 41; это доказывает, что она была сделана, когда чистого листка еще не было.

9) Глава третья. На титульном листке поставлен карандашом год:

(1824)

10) Под эпиграфом поставлено имя автора:

Malfilatre

11) На стр. 13 в строфе V „Как у Вандиковой Мадоне“ карандашом исправлена последняя буква: „Мадоны“. Тем самым нарушена рифма „небосклоне“. Повидимому, Пушкин, поправив грамматическую ошибку, тем самым только наметил необходимость переработки. В дальнейших изданиях этот стих печатался:

Точь в точь в Вандиковой Мадоне.

12) Против стр. 32, строфы XXVI, написано чернилами:

читать журналы

Это исправление относится к стихам:

Я знаю: дам хотят заставить
Читать по русски. Право, страх!
Могу ли их себе представить
С Благонамеренным в руках!

Исправление не вошло ни в одно издание.

13) Глава четвертая. Поставлен карандашом год:

(1825)

14) Против стр. 33, строфы XXXI, в стихе „Так ты, Я— вдохновенный“ раскрыто чернилами имя:

Языковъ

В дальнейших изданиях имя печаталось полностью.

15) Против стр. 37, к строфе XXXVI, чернилами записаны два стиха:

Кто эпиграммами какъ я
Стрѣляетъ въ куликовъ журнальныхъ.

Эти два стиха должны были заменить соответствующие:

Кто бредит рифмами, как я,
Кто бьет хлопущей мух нахальных.

Эта строфа исключена из издания 1833 г., и потому данное исправление не вошло ни в одно издание и является новым вариантом.

16) Глава пятая. Карандашом поставлен год:

(1826)

17) Против стр. 61 карандашный рисунок, иллюстрирующий строфу XVII. Этот рисунок можно приписать Пушкину с большей уверенностью, чем указанный в п. 7.

18) К стр. 74, строфе XXIV, в стихе „Слова: бор, буря, ворон, ель“ подчеркнуто слово „ворон“ и приписано карандашом:

вѣдьма

Эта поправка объясняется тем, что в сне Татьяны ворон не упоминается, а в строфе XVI есть стих:

Здесь ведьма с козьею бородой.

Несмотря на явное улучшение текста, поправка эта не вошла в позднейшие издания.

19) К стр. 79, строфе XXX, к стиху „В ней тайный жар; ей душно, дурно“ чернилами сделано исправление:

страстный огонь

В списке исправлений при шестой главе указана лишь замена эпитета „тайный“ другим: „страстный“. Слово „жар“ оставлено.

20) Против стр. 80, к строфе XXXII, к стихам:

(К несчастью, пересоленной);
Да вот в бутылке засмоленной,

приписано чернилами „еной“ и проведены две черты одна под другой, обозначающие, что в последних словах обоих слов в суффиксе должно быть только одно „н“.

21) Против стр. 81, к стиху той же строфы: „Подобных талии твоей“ приписано чернилами: „— бно“; этим дается исправление стиха (согласно с рукописным текстом):

Подобно талии твоей

Это исправление не вошло в позднейшие издания.

22) Против стр. 90, строфы XLII, стиха „Лихая мода, нам тиран“ приписано:

нашъ

Исправление вошло в позднейшие издания.

23) Глава шестая. Поставлен карандашом год:

(1826)

24) К стр. 43, строфе XLIV, к стиху: „Где, вечная вам рифма, *младость?*“ чернилами приписано:

ей

В позднейших изданиях это место исправлено несколько иначе:

Где, вечная к ней рифма, *младость?*

25) К стр. 46, строфе XLVII, к стиху „Расчетов, дум и разговоров“ приписано:

душъ

В дальнейших изданиях эта строфа перенесена в примечания и печаталась там без исправлений, с сохранением слова „дум“.

Из всех этих исправлений наиболее интересно, конечно, исправление 15. Оно дает основание отнести чернильные поправки, писанные приблизительно одинаковым почерком и одними чернилами, не ранее чем к лету 1829 г. В апреле 1829 г. Пушкиным были напечатаны в „Московском Телеграфе“ три эпиграммы на Каченовского. В конце того же года напечатаны еще эпиграммы на Каченовского, на Надеждина и „Седой Свистов!“ Карандашные поправки повидимому более раннего происхождения.

Настоящий экземпляр свидетельствует о намерении Пушкина выпустить отдельной книжкой шесть первых глав романа. Как известно, в конце шестой главы стоит „конец первой части“. Таким образом по первоначальному замыслу эти шесть глав составляли одну целую часть романа. Но смысл такого издания был бы только тогда, когда вслед за первой появилась бы вторая равная ей часть. Но уже в 1830 г. для Пушкина определилось, что в романе будет всего не более девяти глав. Вопрос об отдельном издании первой части отпадал. Таким образом работа над данным экземпляром датируется 1829—1830 годом, вероятнее второй половиной 1829 г. Работа не доведена до конца: не разнесены даже опечатки, указанные в конце шестой главы. Из них исправлены только некоторые; можно думать, что эти исправления сделаны до выхода в свет шестой главы (март 1828) и сами явились материалом для составления списка исправлений. Данный экземпляр почти не был использован для издания 1833 г., куда не введены некоторые, как будто не внушающие сомнения исправления, напр. 18, 21, 25. Впрочем, в издании 1833 г. многое из явных опечаток предыдущих изданий осталось неисправленным; повидимому Пушкин не мог уделить ему надлежащего внимания.

Любопытно сопоставить поправки 5 и 15 с воспоминаниями Кс. Полевого: „Увидевши меня по приезде моем из Москвы, когда были изданы две новые главы «Онегина», Пушкин желал знать, как встретили их в Москве. Я отвечал: «Говорят, что вы повторяете себя: нашли, что у вас два раза упоминается о битье мух!» Он расхохотался; однако спросил: «Нет? в самом деле говорят это?» — «Я передаю вам не свое замечание; скажу больше: я слышал это из уст дамы». — «А ведь это очень живое замечание: в Москве редко услышишь подобное», — прибавил он“. (К. А. Полевой. „Записки“, СПб., 1888, стр. 274.)

Конечно, было бы ошибочным все поправки данного экземпляра вводить в текст окончательной редакции романа; однако, поддержанные показаниями других источников эти исправления должны оказать влияние на выбор окончательных чтений.

Б. Томашевский.



НЕИЗВЕСТНЫЙ ЭКСПРОМТ ПУШКИНА

НА ТРАГЕДИЮ ГРАФА ХВОСТОВА, ИЗДАННУЮ
СЪ ПОРТРЕТОМЪ АКТРИСЫ КОЛОСОВОЙ.

Подобный жребій для поэта
И для красавицы готовъ:
Стихи отводятъ отъ портрета,
Портретъ отводитъ отъ стиховъ.

В письме к П. А. Вяземскому от 28 января 1825 г. Пушкин, настойчиво прося его прислать первые книжки только что начинавшего тогда выходить журнала Н. Полевого „Московский Телеграф“, в котором Вяземский принимал в это время ближайшее участие, спрашивает: „Напечатан ли там Хвостов?“ — и добавляет: „что за прелесть его послание! достойно лучших его времен. А то он было сделался посредственным, как В.<асилий> Л.<ьвович> Ив.<анчин>-Пис.<арев> и проч.“

В примечаниях к этому письму Б. Л. Модзалевский поясняет: „Послание Хвостова, вызвавшее иронически-восторженный отзыв Пушкина — «Послание к NN о наводнении Петрополя, бывшем 1824 года, 7 ноября»; оно было напечатано не в «Московском Телеграфе», а в «Невском Альманахе на 1825 г.» Е. В. Аладьина (стр. 34—43)“.¹ Первая часть этого пояснения бесспорна, но вторая вызывает невольное недоумение. Ясно, что если Пушкин просит прислать ему „Телеграф“, спрашивает, напечатан ли там Хвостов и одновременно с этим делает иронический отзыв о послании Хвостова, следовательно ему уже известно (возможность того, что Пушкин познакомился с ним в рукописи заранее, исключена), то: 1) послание напечатано не в „Телеграфе“, 2) вопрос, напечатан ли в „Телеграфе“ Хвостов, относится не к посланию. Мало того: едва ли „Московский Телеграф“, который с первых же своих шагов начал, с одной стороны, проповедью романтизма, с другой, типично-карамзинистским провозглашением, в качестве основных достоинств художественной литературы, „здорового смысла, чистого вкуса, изящного слога“, стал бы печатать на своих страницах произведение одного из самых безнадежных эпигонов классицизма, „пииты“, славившегося сверх всего прочего „сугубым вздором“ и необычайно корявым слогом своих стихов и служившего, в этих качествах, неизменной мишенью для всех сторонников новых литературных течений, в том числе для самого Вяземского. Это априорное заключение в полной мере подтверждается непосредственным обращением к „Московскому Телеграфу“: ни в самом журнале, ни в сообщениях о его выходе (по одному из таких сообщений в „Русском Инвалиде“, № 14 за 1825 г., стр. 56, Пушкин и узнал о предстоящем появлении 1-й книжки „Телеграфа“; см. его письмо к Вяземскому от 25 января) нет, конечно, не только ни малейших следов, но и каких бы то ни было намеков на сотрудничество в нем Хвостова.

¹ Пушкин. Письма, под редакцией и с примечаниями Б. Л. Модзалевского, т. I, М.—Л., 1928, стр. 397.

Отсюда вполне последовательно предположить, что вопрос, напечатан ли в „Телеграфе“ Хвостов, должен был относиться не к произведениям самого Хвостова, а к какому-то очередному сатирическому выпаду против Хвостова, хорошо известному Пушкину (пушкинская „Ода его сиятельству гр. Дм. Ив. Хвостову“ сразу же отпадает, поскольку она была послана Пушкиным Вяземскому только несколько месяцев спустя — см. письмо Вяземского к Пушкину от 7 июня). Однако все это осложняется тем, что, во-первых, в „Московском Телеграфе“ на протяжении всего 1825 г. ничего не появилось и против Хвостова, во-вторых, что ответное письмо Вяземского на настоящее письмо Пушкина, если оно и было, до нас не дошло, и, наконец, в третьих, что ни в предыдущей, ни в последующей переписке Пушкина с Вяземским нет решительно никаких поясняющих указаний в связи с вопросом Пушкина о Хвостове.

В поисках таких указаний естественно было обратиться к переписке Вяземского с А. И. Тургеневым, являющейся в ряде случаев неоценимым подспорьем для выяснения всякого рода деталей, связанных с биографией Пушкина и историей его творчества. Действительно, сравнительно незадолго до этого Вяземский послал Тургеневу (в письме от 15 сентября 1824 г.)¹ довольно своеобразное стихотворение — и эпиграмму, и мадригал вместе, — причём своей эпиграмматической стороной оно было непосредственно обращено против Хвостова.

При жизни П. А. Вяземского это четверостишие, полный текст которого мы воспроизвели выше, не печаталось; не вошло оно и в полное собрание сочинений Вяземского. Тем не менее все упоминавшие эпиграмму „Подобный жребий для поэта“, как нечто само собой разумеющееся, приписывали ее Вяземскому.²

Между тем никто не обратил внимания на предшествующие четверостишию слова письма: „Сейчас возвращаюсь из Тулы, где встретился с женою. Сообщи Ивану Ивановичу одесский гостинец“; вслед за этим следует интересующее нас четверостишие. „Иван Иванович“, — конечно, столь чтимый Вяземским И. И. Дмитриев; „одесский гостинец“ — стихи, привезенные из Одессы, где сам Вяземский в это время не был (отсюда авторство его сразу же исключается), но откуда только-что вернулась Вера Федоровна Вяземская, встреченная мужем в Туле.

В Одессе, где Вяземская прожила в течение почти трех месяцев, около этого же времени находились два поэта — Туманский и Пушкин.

Никаких следов встреч Вяземской с Туманским, который, вскоре по приезде Вяземской в Одессу, уехал с Воронцовыми в Крым и вообще во время своего пребывания в Одессе бывал в постоянных разъездах по окресным уездам (см. „Пушкин. Статьи и материалы“, вып. III, Одесса, 1926, стр. 90—91), у нас нет. В письмах Вяземской к мужу, в которых она подробно и систематически рассказывает о всех своих одесских встречах и знакомствах, имя Туманского не называется ни разу (см. „Остафьевский Архив“, т. V, вып. 2, СПб., 1913). Это тем более показательно, что Туманский и Вяземский были между собой знакомы,³ и, конечно, встретиться с ним Вяземская, она не преминула бы сообщить об этом мужу. Равным образом ни разу не упоминается имя Вяземской в одесских письмах Туманского. Мало того, если бы стихи принадлежали Туманскому, Вяземский, посылая их Тургеневу и, в особенности, Дмитриеву, конечно, указал бы чьи они: Дмитриев,

¹ „Остафьевский Архив князей Вяземских“, т. III, СПб., 1899, стр. 82—83.

² Так поступает даже такой тонкий и внимательный исследователь, как Ю. Н. Тынянов (см. его статью „Ода его сият. графу Хвостову“ в „Пушкинском сборнике памяти проф. С. А. Венгерова“, М.—П., 1923, стр. 76). Под именем Вяземского вводит его в сборник „Эпиграмма и сатира. Из истории литературной борьбы XIX века“ (М.—Л., 1931, стр. 173) и В. Орлов.

³ См. письмо Туманского В. К. Кюхельбекеру из Одессы от 11 декабря 1823 г., в котором он между прочим пишет: „Поклонись за меня хорошенько нашему умному Вяземскому...“ В. И. Туманский. „Стихотворения и письма“, ред. С. Н. Браиловского, СПб., 1912, стр. 253.

вероятно, и не подозревал, что Туманский жил в это время в Одессе. Наконец, четверостишие о Хвостове и Колосовой никак не связано ни с житейскими отношениями Туманского, ни с его поэзией. Самых имен Хвостова и Колосовой ни в его стихах, ни в его письмах не встречаем ни разу.

Наоборот, совершенно иначе — по всем пунктам — обстоит дело в отношении Пушкина.

С Пушкиным Вяземская, за все время совместного пребывания их в Одессе, т. е. в течение более полутора месяцев (первое упоминание о Пушкине содержится в письме Вяземской к мужу от 13 июня, выслан был Пушкин из Одессы 30 июля) находилась в постоянном, — „поминутном“, как определяет с ее слов Вяземский в письме к А. И. Тургеневу, — общении.¹

Вяземский, как всегда, живо интересовался новыми произведениями Пушкина: „Привези все, что можешь, из стихов Пушкина“, наказывает он жене перед самым выездом ее из Одессы (письмо от 27 июля, „Остафьевский Архив“, т. V, вып. 1, стр. 38). Вера Федоровна выполнила этот наказ: в Остафьевском архиве имеется лист писчей бумаги, на котором рукою В. Ф. Вяземской записаны подряд тексты трех стихотворений (два из них — первое и третье — заведомо пушкинские): 1) „Иной имел мою Аглаю...“, 2) На трагедию Хвостова, изданную с портретом актрисы Колосовой („Подобный жребий для поэта...“) и 3) „Кто мне пришлет ее портрет...“²

Этот лист, конечно, и был показан Вяземскому женой, во время их встречи в Туле.

Первое стихотворение для Вяземского не было новинкой: Пушкин прислал его ему сам еще полтора года тому назад. Из двух остальных стихотворений, тесно связанных друг с другом — оба имеют непосредственное отношение к Колосовой, — Вяземский выбрал для отсылки Дмитриеву именно первое не только потому, что оно наиболее соответствовало литературным вкусам самого Дмитриева — принадлежало к числу столь излюбленных последним „малых“ жанров XVIII века, — но, главным образом, в виду направленности его против Хвостова. Дмитриев же не только сам писал в свое время эпиграммы на Хвостова, но и собирал в специальный „Музеум Хвостовский“ все к нему относящееся. Постоянным поставщиком этого шуточного „Музеума“ как раз и был Вяземский.³

Неудивительно и то, что, посылая четверостишие, Вяземский не назвал его автора. Не говоря уже о Тургеневе, И. И. Дмитриев также, конечно, знал о пребывании ссыльного Пушкина в Одессе. Слова „одесский гостинец“ для Тургенева и Дмитриева были совершенно прямыми и не нуждающимися ни в каких дальнейших уточнениях указанием автора пьесы.

Наконец — и это последнее и весьма существенное звено в числе доказательств принадлежности четверостишия Пушкину — оно плотно входит как в историю отношений Пушкина с Колосовой, так и в цикл стихов, ей им посвященных.

История отношений Пушкина с А. М. Колосовой общеизвестна.⁴ Напомним вкратце и уточним основные этапы ее. С актрисой Колосовой, ученицей П. А. Катенина, Пушкин познакомился еще до ссылки, постоянно встречаясь с нею, как в салоне князя Шаховского, так и у своей кузины, графини Е. М. Ивелич, жившей в то время рядом с Пушкиными. „Довольно часто“ бывал он и у нее самой. К этому времени (1818 г.) относится мадригальное стихотворение Пушкина Колосовой „О ты надежда нашей сцены...“ — первое его

¹ „Остафьевский Архив“, т. III, стр. 61; см. также т. V, вып. 2, стр. 105, 119, 127—128, 134, 139.

² Указанием этого я обязан Ю. Г. Оксману.

³ См., напр., его приписки в письмах Карамзина к Дмитриеву от 28 сентября 1820 г. и от 2 сентября 1825 г. „Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву“. СПб., 1866, стр. 296 и 403—404; письмо А. И. Тургенева к Вяземскому от 2 мая 1824 г., „Остафьевский Архив“, III, стр. 40.

⁴ См. „сводку мемуарных и документальных данных“ в сопроводительной заметке Ю. Г. Оксмана к воспоминаниям А. М. Колосовой-Каратыгиной о Пушкине при переиздании их в качестве приложения к Запискам П. А. Каратыгина — „Пушкин и А. М. Колосова“. П. А. Каратыгин. „Записки“, II, „Academia“, 1930, стр. 310—322.

вызванное стихотворение Пушкина вообще, дошедшее до нас только в черновых набросках, но несомненно существовавшее и в полном виде. Однако вскоре между Пушкиным и Колосовой возникла довольно острая размолвка, отчасти вследствие соперничества ее с знаменитой Е. С. Семеновой, которую Пушкин исключительно ценил как актрису и за которой, по свидетельству Гнедича, „приволакивался“, как за женщиной, отчасти в результате какой-то личной обиды на Колосову со стороны Пушкина (сама Колосова рассказывала, что Пушкин „рассердился“ на нее за прозвище его „мартышкой“, которое на самом деле дал ему Грибоедов). Мадригал сменился резкой эпиграммой — как называет ее Колосова, „пасквилем“: „Все пленяет нас в Эсфири...“ (январь 1819 г.), поводом к которой послужил третий дебют Колосовой — исполнение ею роли Эсфири в трагедии Расина того же названия, переведенной Катениным. Неприязненное отношение Пушкина к Колосовой продолжалось год-полтора. В написанных в конце 1819 г. „Моих замечаниях об русском театре“, выразительно преподнесенных Пушкиным Е. С. Семеновой, не только звучит тот же враждебно-иронический тон по адресу Колосовой, но, судя по всему, переводится на язык „презренной прозы“ и ранее написанный ей Пушкиным мадригал (дошедший до нас набросок последнего заканчивается словами: „Явилась ты пред нами в первый раз...“, из чего явствует, что дальнейшую часть мадригала должно было составить описание театрального дебюта Колосовой). Однако совсем незадолго до высылки Пушкина из Петербурга произошла новая перемена в отношении его к Колосовой. По вполне правдоподобному рассказу ее самой, „Катенин и Грибоедов пеняли <Пушкину за его эпиграмму-„пасквиль“>, настаивали на том, чтобы он извинился предо мною... Пушкин сознался в своей опрометчивости, ругал себя и намеревался ехать ко мне с повинной... Но тут последовала его высылка из Петербурга“.¹ Что Пушкин, действительно, через некоторое время раскаялся в своем эпиграмматическом выпаде против Колосовой, свидетельствует письмо к ней Катенина от 18 августа 1822 г., в котором он, между прочим, сообщает ей: „Саша Пушкин пишет ко мне из Кишинева и на счет ваш дает мне тысячу поручений, винится, просит прощения и расхваливает на чем свет стоит“.

Еще за год до этого, в 1821 г., вышло 5-е издание „Андромахи“ Расина в переводе Хвостова с портретом А. М. Колосовой, исполнявшей в этой трагедии роль Гермiony (впервые она выступила в ней вскоре после высылки Пушкина, 21 октября 1820 г.). Пушкин, очевидно, либо прочел о предстоящем выходе этой книжки в каком-нибудь журнале или газете, либо узнал об этом из писем друзей. Во всяком случае это известие послужило очевидным поводом к новому — третьему — стихотворению Пушкина, связанному с Колосовой и выражающему, в форме послания к Катенину, раскаяние поэта в его „пасквиле“ 1818 года: „Кто мне пришлет ее портрет...“ (предисловие Хвостова к изданию его перевода „Андромахи“ датировано 16 марта 1821 г., послание Пушкина к Катенину — 5 апреля 1821 г.).

Прошло некоторое время, и в руки Пушкина попало издание хвостовского перевода трагедии Расина с портретом Колосовой (в 1822 г. вышла четвертая часть полного собрания стихотворений Хвостова, в которую был включен и его перевод „Андромахи“, также с портретом Колосовой; однако, судя по заглавию эпиграммы, Пушкин, видимо, имел перед собой именно отдельное издание трагедии).

Книжка эта и послужила поводом к четвертому и последнему стихотворению Пушкина, имеющему отношение к Колосовой, — вышеприведенной нами надписи „На трагедию графа Хвостова, изданную с портретом актрисы Колосовой“.

Карамзинистско-арзамасской, традиции высмеивания графа Д. И. Хвостова Пушкин отдал весьма обильную дань. Ему принадлежит эпиграмма на Хвостова 1829 г. („Седой Свистов, ты царствовал со славой...“) и пародийно-сатирическая „Ода его сиятельству гр. Д. И. Хвостову“ 1925 г., приписывается еще одна ранняя эпиграмма 1819 г. („Сожаленье

¹ А. М. Каратыгина. „Воспоминания. Мое знакомство с Пушкиным. Poleмические заметки“, в книге: П. А. Каратыгин. „Записки“, Academia, 1930, стр. 280.

не поможет. . ."). Кроме того, в целых четырнадцати стихотворениях Пушкина, написанных на протяжении двадцати лет (от 1814 до 1834 г.), содержатся всякого рода сатирические упоминания-выпады против Хвостова. Интересующая нас „Надпись на трагедию графа Хвостова. . .“ написана, видимо, непосредственно перед „Одой его сиятельству графу Д. И. Хвостову“. Тем любопытнее, что в ней уже заключены те элементы пародийной стилизации, которые в полной мере развертываются в „Оде“. Пародийным является, прежде всего, жанр: „надписи“ были излюбленным родом самого Хвостова. В хвостовской манере дано и начало эпиграммы: „Подобный жребий“. Слово „жребий“ — одно из постоянных слов словаря Хвостова: в том же переводе „Андромахи“ встречаем его неоднократно („Что сына Гектора ждет жребий смерти злой“, стр. 206; „Помысли, царь! сколь мне готовит жребий злой?“, стр. 258; „Предам ли жребий мой безвестности побед“, стр. 274, и т. д.). Там же (стр. 211) имеем и определение „подобный“ (в сходном архаическом употреблении): „Быть может сын его подобный час найдет“ (так Хвостовым передан стих Расина: „Son fils en pourroit bien profiter à son tour“). Именно этими элементами пародийности „Надпись“ отличается от ряда многочисленных эпиграмм, вызванных тем же хвостовским переводом „Андромахи“.¹ Отличается она от всех них и тем, что, представляя эпиграмму на Хвостова, она является одновременно мадригалом Колосовой.

В своем „пасквиле“ на Колосову Пушкин старался уколоть ее не столько как артистку, сколько как женщину: *Набеленная рука, Размалеванные брови И широкая нога.*

В этом высмеивании наружности Колосовой Пушкин был явно и намеренно несправедлив: на самом деле он считал ее очень красивой (см. не только вариант начала его раннего мадригала Колосовой: „Краса, надежда нашей сцены“, но даже описание ее наружности в „Моих замечаниях об русском театре“), но платил обидой за обиду: как уже указывалось, он думал, что Колосова посмеялась над его внешностью. Естественно поэтому, что в своем покаянном послании к Катенину Пушкин особенно старался загладить именно эту свою вину, в глазах молодой и красивой артистки, конечно, особенно неизвинительную, настойчивым комплиментарным подчеркиванием „прекрасной“ наружности Колосовой:

Кто мне пришлет ее портрет,
Черты волшебницы прекрасной?

и во второй строфе снова:

Когда одна в дыму кадил
Красавица блистала славой. . .

То же самое имеем и в „Надписи“, даже с повторением того же самого слова „красавица“.

Безоговорочно решить вопрос о принадлежности „Надписи“ Пушкину могло бы, конечно, только прямое подтверждение этого самим поэтом или хотя бы даже кем-либо из Вяземских (мужем или женой). Такого прямого подтверждения мы не имеем. Но вся совокупность приведенных нами косвенных данных делает наше предположение об авторстве Пушкина максимально правдоподобным.

Разъясняет оно и темное место из письма Пушкина к Вяземскому от 28 января 1825 г., — вопрос „напечатан ли там Хвостов?“ (ср. аналогичный вопрос в предыдущем письме к Вяземскому от 25 января 1825 г.: „Что там <в „Московском Телеграфе“> моего? Море или телега?“). Получив от жены „Надпись“ Пушкина, Вяземский, очевидно, сообщил поэту в одном из недошедших до нас писем о своем намерении опубликовать ее в новом журнале. Этим и объясняется вопрос Пушкина.

Д. Благой.

¹ См. в сборнике „Эпиграмма и сатира“ эпиграммы А. Измайлова, Анонима, Вяземского и Рылеева, стр. 170—172.



КОЛЛЕКТИВНАЯ ЗАПИСКА К К. П. БРЮЛЛОВУ

Подпоручикъ Никитинъ свидѣтельствуеъ свое почтеніе Карлу Павловичу

Мальцовъ Соболевскій, и Пушкинъ	Ротано, живеть на Невскомъ проспектѣ, въ домѣ Таля, противъ Малой Морской на квар. <u>Мальцова</u> , con <u>cargioffi</u> ¹
	свидѣтельствуютъ Брюлову свое почтеніе
Доливо-Добровольскій —	

Эта до сих пор не бывшая в печати записка сохранилась в собрании Пушкинского Лицейского музея, куда передана была П. В. Жуковским из бумаг В. А. Жуковского; ныне хранится в Пушкинском Доме Академии Наук СССР (фонд 244, оп. 1, № 150). Писана она вся карандашом на листке пожелтевшей от времени бумаги. На нем, кроме приведенных записей, имеются наброски каких-то денежных подсчетов и рисунки неопределенного содержания, сделанные неизвестным почерком. Первая запись писана рукою Никитина; фамилии Мальцова, Соболевского и Пушкина с припискою, обращенною к Брюлову — автограф Пушкина; подпись Доливо-Добровольского приписана им к Пушкинской записи несколько позднее со скобкой, долженствующей объяснить, что он присоединяется к предыдущей записи. Сбоку — запись адреса рукою С. А. Соболевского. На обороте листка нарисован портрет К. П. Брюллова, карандашом, несомненно исполненный самим художником по получении этой коллективной записки; здесь же находится карандашный набросок мужского лица, может быть руки Брюллова, зачеркнутый профиль и две зачеркнутые фамилии, из которых первую можно прочесть, как „ſat! Brüllow! —“ (см. снимки).

Время написания записки определяется довольно точно: конец мая—июль 1836 г. Пушкин познакомился с К. П. Брюловым сразу же по приезде в Москву 3—4 мая 1836 г., о чем писал в письме к жене 4 мая. Перед этим, в конце января 1836 г., П. В. Нащокин очень подробно писал Пушкину о Брюлове, только-что возвратившемся тогда из Италии и жившем в Москве; в этом же письме Нащокин сообщал: „(Он) очень желает с тобой познакомиться и просил у меня к тебе рекомендательного письма“. Независимо от этого и сам Пушкин, высоко ставивший Брюллова как художника,² проявлял это же желание. Оно осуществилось в начале мая, и между Пушкиным и Брюловым установились дружеские отношения. В Москве они часто встречались в доме у Нащокиных, о чем

¹ Т. е. буквально: с артишоками; смысл этого выражения непонятен.

² См. рассказ А. С. Андреева о „Встрече с А. С. Пушкиным“ в 1827 г. в статье Н. С. Ашукина „Пушкин перед картиной Брюллова“ в „Звеньях“, № 2, стр. 235—241.

рассказывает Н. Ежов со слов В. А. Нащокиной.¹ В письме к жене 14—16 мая Пушкин писал: „Зазываю Брюллова к себе в П. Б. Но он болен и хандрит“, а 18 мая ей же сообщал: „Брюллов сейчас от меня едет в П. Б. скрепя сердце; боится климата и неволи. Я стараюсь его утешить и ободрить“. Пушкин вернулся в Петербург 23 мая на дачу на Каменном острове (дача Ф. О. Доливо-Добровольского, на набережной Большой Невки, недалеко от Каменноостровского театра).² В день приезда у Пушкина родилась дочь Наталья, которую крестили здесь же на даче 30 июня.³ Здесь же жил неподалеку и кн. П. А. Вяземский. Брюллов приехал в Петербург в конце мая или начале июня и часто бывал у Пушкина. „Вскоре после того как я приехал в Петербург <1836 г.>, — рассказывает Брюллов,⁴ — вечером, ко мне пришел Пушкин и звал к себе ужинать. Я был не в духе, не хотел идти и долго отнекивался; но он меня переупрямил и утащил с собой. Дети Пушкина уже спали: он их будил и выносил ко мне по одиночке на руках.“ Кн. П. А. Вяземский в письме к жене 20 июня рассказывает: „На днях был у меня вечер для Жуковского прощальный, он поехал на шесть недель в Дерпт, а для Loeve Weimar *встречальный*. Все было взято напрокат и вышло прекрасно. Une soirée des célébrités Брюлов, Лев Веймар, Пушкин, Крылов, Жуковский, я, <Ю. Н.> Баргенов и еще кое-кто. Не попал только Ногасе Vernet, который приехал на следующий день“.⁵ Очевидно в один из таких вечеров, но в другом составе участников, в течение июня—июля 1836 г. и была набросана публикуемая записка, получив которую Брюллов не замедлил явиться к Пушкину на дачу, где и нарисовал свой автопортрет.⁶ Листок с письмом и автопортретом мог взять к себе В. А. Жуковский „на память“ и сохранить у себя в бумагах.

О лицах, писавших К. П. Брюллову вместе с Пушкиным и бывших у него на даче, нужно сказать следующее.

Подпоручик Никитян — вероятно, впоследствии поручик учебного Карabinерного полка, получивший в 1854 г. от Академии Художеств звание неклассного художника за портрет генерал-адъютанта Граббе и его двух дочерей,⁷ повидимому знакомый Брюллова.

Мальцов, Иван Сергеевич (р. 1807, ум. 1880), приятель С. А. Соболевского, богат, служивший в коллегии иностранных дел, по словам его родственника кн. А. В. Мещерского „замечательно приятный собеседник, анекдотист и остряк, считался в министерстве иностранных дел весьма искусным дипломатом и лучшим советником известного тогда министра Нессельроде“,⁸ впоследствии дослужившийся до чина действительного тайного советника. В это время вместе с С. А. Соболевским организовывал бумагопрядильную фабрику на Выборгской стороне, известную под названием „Самсоньевских мануфактур“.⁹ 2 февраля

¹ „Новое Время“, 1899, № 8343 „У современницы Пушкина“, заметка 2-я.

² А. Г. Яцевич, „Пушкинский Петербург“, Л., 1935, стр. 109.

³ Н. Невзоров, „К биографии А. С. Пушкина“, СПб., 1899, стр. 18 и „Литературное Наследство“, № 16—18, стр. 809.

⁴ По записи худ. М. И. Железнова в „Живописном Обозрении“, 1898, № 31, стр. 625, и в статье Н. К. Козмина „Брюллов в гостях у Пушкина летом 1836 г.“ в „Сборнике Отделения рус. яз. и слов. Академии Наук СССР“, т. СІ, № 3, Л., 1928, стр. 108.

⁵ „Литературное Наследство“, № 16—18, стр. 808.

⁶ О Пушкине и Брюллове см. подробнее у Н. О. Лернера „Лже-Брюлловский портрет Пушкина“ в „Русской Старине“, 1911, № 12, стр. 657—667; его же статью „Пушкин у Брюллова“ в соч. Пушкина, под ред. С. А. Венгерова, т. VI, стр. 520—522; его же заметку „К истории «Мирской власти»“ в „Звеньях“, № 5, стр. 186—187 и у И. А. Кубасова, „Вновь найденный черновой набросок стихотворения Пушкина «Альфонс»“ в „Русской Старине“, 1899, № 2, стр. 309—312.

⁷ См. С. Н. Кондаков, „Список русских художников“ в изд. „Имп. Санктпетербургская Академия Художеств 1764—1914“, т. II, стр. 139. Ср. в письме П. Граббе к А. П. Ермолову 9 апреля 1856 г. в „Русской Старине“, 1896, № 10, стр. 116—117.

⁸ „Русский Архив“, 1900, кн. II, стр. 256 и след., где подробная его характеристика.

⁹ Там же, стр. 256—257, и А. К. Виноградов, „Мериме в письмах к С. А. Соболевскому“, М., 1928, стр. 53, 55.

Маслянистая Ассиминия следовит.

Вместе с сел. зерном, купил Маслоу

22
 3 - 75
 750
 225
 75

Машинка
 Собака
 и Курица

Родился 12. 1. 1906 г. в. 10. 1. 1906 г.
 в. 10. 1. 1906 г. в. 10. 1. 1906 г.
 в. 10. 1. 1906 г. в. 10. 1. 1906 г.
 в. 10. 1. 1906 г. в. 10. 1. 1906 г.

Сын Семел Мур
 Мурин
 Давидо Диффелки



Записка к К. П. Брюллову (рисунки на оборотной стороне).

1837 г. он письмом известил Соболевского о смерти Пушкина,¹ в котором назвал поэта „нашим милым и любезным“.

Сергей Александрович Соболевский в это время находился еще в Петербурге; он уехал за границу в августе 1836 г.,² поэтому и коллективная записка датируется нами июнем—июлем 1836 г.; позже июля она не могла быть уже писана. Известен шаржированный портрет Соболевского вместе с Кипренским работы Брюллова, воспроизведенный в книге А. К. Виноградова „Мериме в письмах к Соболевскому“ (М., 1928, стр. 17 и 18), относящийся к 1829 г.³ Таким образом, знакомство Соболевского с Брюлловым было давнее.

Доливо-Добровольский, Флор Иосифович (Осипович), родился 20 мая 1776, умер 6 ноября 1852 г., владетель дачи на Каменном острове, впоследствии член Совета главного управления почт, тайный советник. В войну 1812—1814 гг. был полевым инспектором почт всех армий и полковником 2-го Егерского полка. В 1836 г. состоял членом Совета при Главном начальствующем над Почтовым департаментом в чине действительного статского советника. С Пушкиным познакомился, вероятно, лишь в 1836 г., когда поэт снимал у него дачу. О времени, проведенном здесь Пушкиным, интересные подробности см. в следующих источниках: „Русский Архив“, 1885, № 3, стр. 451 и др.; „Рукою Пушкина. Несобранные и неопубликованные тексты“, Л., 1935, стр. 616—617 и в „Литературном Наследстве“, № 16—18, стр. 767—769 и 770.

Временем знакомства Пушкина с Брюлловым можно датировать и рукопись стихотворения „Альфонс садится на коня“, которую Пушкин подарил Брюллову несомненно в это же время.⁴ Автограф этот писан на тонкой голубой бумаге, которую Пушкин начал употреблять с сентября 1835 г. М. А. Цявловский в издании ГИХЛ отнес его к 1835 г.; нам представляется, что теперь нужно датировать стихотворение 1836 г., когда в июне—июле Пушкин, вероятно по просьбе Брюллова, и подарил ему этот только-что написанный автограф. В конце января 1837 г. Пушкин в свою очередь просил Брюллова подарить ему на память один из его рисунков.⁵

Запись адреса некоего Ротано не поддается определению.

Л. Модзалевский.



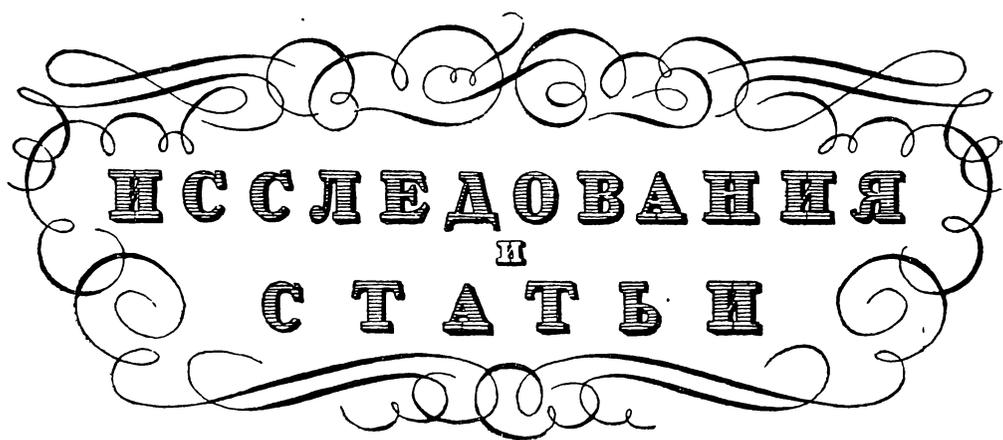
¹ Там же, стр. 71 и 72, и „Литературное Наследство“, № 16—18, стр. 754.

² Там же, стр. 55, и „Русский Архив“, 1865, стлб. 1229, в примечании.

³ Ср. „Литературное Наследство“, № 16—18, стр. 808.

⁴ См. в статье И. А. Кубасова в „Русской Старине“, 1899, № 2, стр. 312.

⁵ См. в статье Н. О. Лернера „Пушкин у Брюллова“ в соч. Пушкина под ред. С. А. Венгерова, т. VI, стр. 520—522.

A decorative flourish consisting of elegant, symmetrical scrollwork and flourishes that frames the text.

И С С Л Е Д О В А Н И Я
И
С Т А Т Ь И



Ал. СЛОНИМСКИЙ

ПУШКИН И КОМЕДИЯ 1815—1820 гг.

1

Вкус к комедии проявляется у Пушкина очень рано.¹ С детства он уже знаком с Мольером и, по семейным преданиям, пробует подражать ему.² Лицейская обстановка дает дальнейшее развитие этому интересу к комедии. В Лицее устраивались спектакли, причем сохранившиеся сведения говорят преимущественно о постановке комедий. В качестве исполнителя комических ролей особенно выделялся М. Л. Яковлев. В литературных и театральных предприятиях лицеистов принимал близкое участие один из гувернеров, А. Н. Иконников, внук актера Дмитревского. Сочиненная им одноактная комедия „Добрый помещик“ была разыграна воспитанниками 30 августа 1812 г., и комическую роль заседателя исполнял Яковлев.³ Около этого же времени, как сообщает Гаевский со слов лицеистов, Пушкин написал, вместе с М. Л. Яковлевым, комедию „Так водится в свете“, предназначавшуюся для лицейского спектакля.⁴

В 1815 г. Пушкин в числе прочих лицеистов посещал крепостной театр графа Варфоломея Толстого в Царском Селе. „Наше Царское Село в летние дни есть Петербург в миниатюре“, писал Илличевский 2 сентября 1815 г. „И у нас есть вечерние гулянья, в саду музыка и песни, иногда театр. Всем этим обязаны мы графу Толстому, богатому и любя-

¹ Комедийные отрывки Пушкина исследованы нами в комментариях к VII тому академического издания сочинений Пушкина. Настоящая статья частично основана на неиспользованных там материалах, чем и объясняются некоторые текстуальные совпадения.

² П. В. Анненков. „Материалы для биографии А. С. Пушкина“, СПб., 1855 (рассказ Ольги Сергеевны, сестры поэта, о комедии „L'Éscamoteur“, будто бы сочиненной им в детстве).

³ К. Я. Грот. „Пушкинский Лицей“, СПб., 1911, стр. 253—254.

⁴ „Современник“, 1863, кн. 7, стр. 155.

щему удовольствия человеку. По знакомству с хозяином и мы имеем вход в его спектакли — ты можешь понять, что это наше первое и почти единственное удовольствие“.¹ Репертуар этого театра, как можно заключить из стихотворений Пушкина, посвященных одной из актрис („Послание к Наталье“, „Послание молодой актрисе“), состоял из комических опер.²

Лицейская годовщина 1815 г. была отпразднована постановкой двух комедий — „Стряпчего Пателена“ (с французского)³ и одноактной комедии князя А. А. Шаховского „Ссора или два соседа“.⁴ Спектакль состоялся 24 октября (в первое воскресенье после 19 октября). Главное участие в нем принимал Илличевский. „Начали театром“, пишет он: „мы играли *Стряпчего Пателена* и *Ссору двух соседов*. Обе пьесы комедии. В первой представлял я Вильгельма, купца, торгующего сукнами,⁵ которого плут стряпчий подрядился во всю пьесу обманывать; во второй Вспышкина, записного псаля, охотника и одного из ссорящихся соседов. Не хочу хвастать, но скажу, что мною зрители остались довольны“.⁶ Вспышкин из комедии Шаховского заслужил большую популярность в лицейской среде. За Илличевским сохранилось прозвище Вспышкина. Илличевскому-Вспышкину посвящена юмористическая статейка в № 1 „Лицейского Мудреца“ 1815 г., в отделе смеси, с рисунком.⁷

1815 г. отмечен особым оживлением театрально-комедийных интересов в Лицее. В октябре Илличевский переводит комическую оперу Сегюра младшего⁸ и хлопочет о ее постановке. 26 ноября он сообщает о сделанном им переводе комедии Дюсерсо „Григорий или герцог Бургундский“.

Вслед за этим, в декабре 1815 г., и Пушкин принимается за комедию в пяти действиях, в стихах, под названием „Философ“. Тема комедии, по всей вероятности, шла по линии традиционного высмеивания педантизма, ложной философии, чудачества и пр. По рассказам П. В. Нащокина, в Лицее и в лицейском пансионе игралась комедия Я. Б. Княжнина „Чудаки“, где изображается „чудаческая“ философия богатого барина, подающего руку слуге во имя равенства, и т. д.⁹ Пьесы подобного содержания были очень популярны в дореволюционной Франции („Le philosophe

¹ К. Я. Грот, стр. 50.

² Говорится о „миловидной жрице Тальи“ и о ее пении.

³ Есть перевод Вальберха: „Стряпчий Щечила“ (представлен 12 октября 1808 г., напечатан в том же году).

⁴ Представлена 26 апреля 1810 г., издана в 1821 г.

⁵ В переводе Вальберха — Аршинин.

⁶ К. Я. Грот, стр. 55.

⁷ Там же, стр. 266—267.

⁸ Ségur le jeune. „L'opéra comique“, an VI (1798), представлена 21 мессидора.

⁹ „Рассказы о Пушкине, записанные П. И. Бартевым“, со вступительной статьей и примечаниями М. Цявловского, 1925, стр. 26.

dupe de l'amour“, перевод с итальянского, 1726; Nericault Destouches, „Les philosophes amoureux“, 1774; Sedain, „Les philosophes sans le savoir“, драма; Palissot, „Les philosophes“, 1782, и др.). Педантизм и ложная ученость осмеивались во многих комедиях Мольера. В XVIII в. эти насмешки приобретают реакционный характер, так как направляются против философов-энциклопедистов. Так, в комедии Палиссо „Les philosophes“ (1782 г.) философ, входящий на сцену на четвереньках, должен был служить пародией на проповедь Руссо. Пародия была настолько явная, что вследствие протестов публики (это происходило в предреволюционные годы) пришлось эпизод с хождением на четвереньках исключить. Все это отражалось и на трактовке темы „философа“ в русских комедиях. Безобидные педанты Сумарокова (Критициондус в „Чудовищах“, Тресотиниус, Ксаксоксимениус и др.), заимствованные у Мольера и из итальянских комедий, потом заменяются карикатурными представителями просветительных идей. Таков, например, „чудак“ Лентулов в „Чудаках“ Княжнина, проповедующий равенство слуг и господ. В зависимости от эпохи вариировались те или иные стороны высмеиваемой „философии“. Впоследствии, на рубеже десятых и двадцатых годов, предметом насмешки были попытки научного ведения хозяйства, предпринимательские проекты и т. д. Шаховской и Загоскин выводили дворян, увлеченных модой на „нэуку“, и шарлатанов, которые одурачивают их своей ложной ученостью (князь Радугин и педант Инквартус в „Пустодомах“ Шаховского, 1819 г.; помещик Волгин и прожектер Ландышев в одноактной комедии Загоскина „Деревенский философ“, 1823 г.).

Неизвестно, каков был сюжет пушкинской комедии. Косвенным указанием на это может служить только заметка в лицейских записках от 10 декабря 1815 г., из которой видно, что Пушкин одновременно с началом комедии читал „Жизнь Вольтера“ и сочинял третью главу „Фатама, или разума человеческого“, на тему „права естественного“. При этом он сам себя называл „философом“: „Вечером с товарищами тушил свечи и лампы в зале — прекрасное занятие для философа!“ Под той же датой (тогдаш вслед за этим) записано: „Начал я комедию — не знаю, кончу ли ее“. Задуманная Пушкиным комедия связывается, таким образом, с его собственными „философскими“ занятиями, и можно думать, что в лице героя он иронизировал отчасти над самим собой. Едва ли поэтому комедия была задумана в том реакционном духе, какой подсказывался традицией. Скорей всего это была комедия ироническая, основанная на комическом противоречии житейского поведения и принятых приличий с нормами „права естественного“. Повидимому, Пушкин придавал серьезное значение своей комедии. Это был, по словам Илличевского, „первый большой оувrage“, которым он хотел „открыть свое поприще по выходе из Лицея“. Комедия очень нравилась „остряку“ Илличевскому, мастеру по части „эпиграмм“. „План довольно удачен“, пишет он 16 января 1816 г.,

„и начало, т. е. первое действие, до сих пор написанное, обещает нечто хорошее — стихи и говорить нечего, а острых слов сколько хочешь“.¹

Театрально-комедийная деятельность лицейстов, несомненно, находится в связи с нашумевшей комедией кн. А. А. Шаховского „Липецкие воды“, появившейся 23 сентября 1815 г. на сцене Малого театра в Петербурге. Комедия Шаховского, направленная против „карамзинистов“ и „либералистов“, задевала все молодое поколение дворянства. Испорченности дворянского общества новой формации, создавшейся в период европейских войн, противопоставлялась добрая патриархальная традиция, в лице честного Пронского и резонера кн. Холмского. Пушкин живо реагировал на литературный поход, предпринятый оскорбленными „карамзинистами“ против автора комедии, участника реакционной „Беседы“. В свои лицейские записки он вносит 28 ноября 1815 г. „кантату“ одного из арзамасцев Д. В. Дашкова „Венчанье Шутовского“ (т. е. Шаховского) и, сообщая под датой 10 декабря о начале своей комедии, тут же вписывает свою эпиграмму на трех вождей „Беседы“ — Шаховского, Шихматова и Шишкова.

Замысел комедии сопровождался размышлениями о Шаховском и о проблемах комедийного жанра. В конце 1815 г. или в начале 1816 г. Пушкин формулирует свою оценку комедий Шаховского („Мои мысли о Шаховском“). Он упрекает Шаховского в нежелании „учиться своему искусству“ (т. е. стихотворному), в недостатке „вкуса“ и в небрежном отношении к построению своих комедий. По его определению, Шаховской — „неглупый человек, который, замечая все смешное или замысловатое в обществах других, пришед домой, все записывает и потом как ни попало вклеивает в свои комедии“. Другими словами, сатира и полемика мешают у Шаховского спокойному и естественному развитию происшествий. Подобные упреки в нарушении равновесия между сатирическим увлечением и требованиями композиции высказывались потом и Пушкиным и Катениным по поводу „Горя от ума“. В частности, о „Липецких водах“ отзыв Пушкина беспристрастнее, чем у большинства критиков из лагеря „либералистов“. Он, правда, находит комедию „холодной“ и „скучной“, резко характеризует резонерскую позицию „усыпительного проповедника“ кн. Холмского, который „приезжает в Липецк только для того, чтобы пошептать на ухо своей тетке в конце пятого действия“, но все же признает за „Липецкими водами“ достоинство настоящей „комедии“.

2

В период петербургской жизни (1817—1820) Пушкин постепенно втягивается в круг непрерывно менявшихся взаимоотношений между раз-

¹ К. Я. Грот, стр. 60.

личными театральными партиями и группировками. С весны 1819 г. он принимает участие в собраниях „Зеленой Лампы“ в доме братьев Всеволожских на Екатерингофском проспекте против Большого театра. Все „ламписты“ были в той или иной степени близки к театру и составляли определенную театральную группировку, объединенную общими симпатиями и антипатиями. Некоторые из них выступали как театральные критики в „Сыне Отечества“ и переводили пьесы для театра (Д. Н. Барков, Я. Н. Толстой, сам „хозяин“ Никита Всеволожский). Д. Н. Барков, горячий журнальный полемист, читал здесь свои репертуарные отчеты, освещая театральные явления в духе воззрений „Зеленой Лампы“. Характерно, например, что, будучи переводчиком популярной тогда мелодрамы Пиксерекура „Виктор или дитя в лесу“, он в то же время так отзывается о ней в своем отчете: „Гостинодворская публика приучила актеров выбирать для бенефисов подобные пьесы. Не нужно говорить о нелепости плана и хода драмы“.¹ Это показывает, что атмосфера „Зеленой Лампы“ требовала принципиальности в оценках и в некоторых случаях даже „самокритики“.

На первом плане стоял вопрос о создании оригинальной русской комедии, соответствующей понятиям и вкусам передовой дворянской интеллигенции. Жалобы на засилье переводных французских пьес и на скудость оригинального репертуара по части комедии не прекращались в журналах, начиная с 1815 г. Эта тема обсуждалась и среди „лампистов“, причем мечты о „самобытной“ комедии имели у них ясно выраженный декабристский оттенок. Неизвестный автор из числа „лампистов“ (по всей вероятности, А. Д. Улыбышев, член „Союза Благоденствия“), рисуя в шуточной форме „сна“ картины будущего, связывал появление „хорошей“, „самобытной“ комедии со вступлением России в семью „свободных народов“. Гражданин будущего рисует такого рода утопию: „Великие события, *разбив наши оковы*, вознесли нас на первое место среди народов Европы и оживили почти угасшую искру нашего народного гения. Нравы, принимая черты, *отличающие свободные народы*, породили у нас хорошую комедию, комедию самобытную. Наша печать не занимается более увеличением бесполезного количества этих переводов французских пьес, устаревших даже у того народа, для которого они были сочинены“.² Комедия, о которой здесь говорится, явно — комедия декабристская, каковой позже явилось „Горе от ума“.

В комедийном репертуаре различались две линии. Шаховской и Загоскин культивировали сатирическую комедию — злободневную, полемически заостренную, с колкими намеками и „портретными“ персонажами (ср. в гл. I „Евгения Онегина“: „*колкий Шаховской*“). Шаховской в „Липецких водах“ под именем Фиалкина пародировал Жуковского, Загоскин

¹ Б. Л. Модзалевский. „К истории Зеленой Лампы“, сб. „Декабристы и их время“, том I. М., 1928, стр. 19.

² Там же, стр. 47.

в „Комедии против комедии“ под именем Фольгина выводил Вигеля. Сатира в комедии этого сорта была невинного свойства. Она скользила по поверхности, задевала отдельные личности, больше забавляла, чем обличала, и не затрагивала существующего порядка, а скорее наоборот — нападала на то, что противоречило ему, являлось новшеством, исключением. Прозвание „новейшего Аристофана“, присвоенное Шаховскому, в устах „либералистов“ служило намеком на его реакционные тенденции, сходные с позицией Аристофана, издевавшегося над Сократом. Содействие „общественному благу“ Шаховской считал главной обязанностью комического писателя. Но „общественное благо“ отождествлялось у него с целями „мудрого правительства“, а в число явлений, подлежащих осмеянию перед лицом „народного судилища“, включались также и „безрассудные нововведения“.¹

Его соратник Загоскин в своих теоретических высказываниях категорически отвергал обличительную, имеющую серьезный общественный смысл сатиру в комедии. В своем „Северном Наблюдателе“, издававшемся в течение 1817 г. и специально посвященном театру (преимущественно комедии), он доказывал вслед за Лагарпом, что комедия „должна не только исправлять нравы, преследовать порок, но также забавлять и смешить своих зрителей“.² За этой безобидной формулой скрывалось отрицание сатиры, направленной на серьезные общественные недостатки. Преследовать насмешкой, с точки зрения Загоскина, дозволялось в сущности только смешные исключения, а не явления типические. На этом основании Загоскин отрицал „Ябеду“ Капниста, в которой видел не комедию, а сатиру: „Пьеса, в которой действующие лица возбуждают к себе презрение и только изредка заставляют смеяться, может быть прекрасною сатирою, но никогда не будет хорошей комедию“.³

Комедии Шаховского и Загоскина не были вполне оригинальны — в основе они имели большей частью французский источник.⁴ Однако в них была самостоятельная реально-бытовая окраска. Загоскин в 1817 г. выставлял принцип: „творить подражая“. Прикрывшись именем Ювенала Беневольского (в противовес своему антагонисту Ювеналу Прямосудову из „Сына Отечества“), он писал в „Северном Наблюдателе“, по поводу своей комедии „Богатонов или провинциал в столице“ (1817 г.), заимствованной из мольеровского „Мещанина во дворянстве“: „Подражение

¹ Декларация Шаховского, напечатанная в виде „Предисловия“ к „Полубарским затеям“, „Сын Отечества“, 1820, № 13, стр. 11—12.

² „Северный Наблюдатель“, 1817, № 13, стр. 414. Ср. Laharpe, „Lycée“, Paris, an X (1802), t. XI, p. 490. В свое время те же аргументы в пользу сатиры „в улыбательном роде“ выставляла „Всякая всячина“ в полемике против Новикова.

³ „Северный Наблюдатель“, 1817, № 6, стр. 196.

⁴ „Липедские воды“ заимствованы из комедии Delanoue „La coquette corrigée“, 1756 г.; Загоскин в „Богатонове“ и в „Вечеринке ученых“ разрабатывал темы Мольера („Bourgeois-gentilhomme“ и „Les précieuses ridicules“).

умному, хорошему в иноземном есть приобретение к пользе отечества“.¹ Отстаивая право заимствования и подражания, он при этом протестовал против переделок, т. е. простого приспособления французских комедий к русским нравам. Так, об „Игроке“ Реньяра в переводе А. М. Пушкина он писал: „Бедный Реньяр пострадал ужасным образом: я не узнал его Игрока. Переводчик забывал поминутно об оригинале: сочинял целые фразы и заставлял действующие лица говорить то, что верно Реньяру никогда и в ум не входило. Роль маркиза, который так забавен во французской комедии, была совершенно убита. Но слово переделанная извиняло все“.² По поводу „Мизантропа“ в переделке Кокоскина он говорил: „Комедия, написанная в иностранных нравах, никогда не будет русской“.³

По другой линии шла светская, „благородная“ комедия Хмельницкого и Грибоедова. В то время как Шаховской и Загоскин выражали настроения консервативных слоев дворянства, Хмельницкий и особенно Грибоедов ориентировались на вкусы светского столичного круга, проникнутого духом европейского либерализма. В их комедиях не было ничего оригинального. Это были переделки или вольные переводы французских салонных комедий XVIII и начала XIX в. Соблюдение стройного плана, обработка языка, придание стихотворному диалогу легкости и гибкости живой светской беседы — вот на чем были сосредоточены их усилия.

Комедию легкого, „благородного“ стиля, написанную языком светского общества, усиленно пропагандировала театральная критика „Сына Отечества“. „Перевести комедию гораздо труднее, чем трагедию, — говорилось в одной статье, — ибо для слога последней можем мы найти образцы в книгах, а для первой должны искать их в обществах, где русский язык не слышен“.⁴ То же повторялось и в другой статье: „Слог общественного благородного обращения у нас имеет еще мало примеров“.⁵

Комедии Шаховского и особенно Загоскина подвергались систематическим нападкам в „Сыне Отечества“ с точки зрения „чистоты“ и „благородства“ языка и „правильности“ построения. Полемика между обеими партиями достигла крайнего ожесточения в 1817 г., когда Загоскин в целях самозащиты основал собственный журнал „Северный Наблюдатель“. Против Загоскина в „Сыне Отечества“ выступал строгий пурист В. И. Соц, под именем Ювенала Прямосудова. Он выписывал из комедий Загоскина примеры „варварского слога“, причем, на ряду с нескладными оборотами, приводил и просто житейски-бытовые выражения, казавшиеся ему вульгарными: „сломил себе шею“, „издохну“,

¹ „Знаюки“, „Северный Наблюдатель“, 1817, № 1, стр. 25.

² „Северный Наблюдатель“, 1817, № 2, стр. 55.

³ „Северный Наблюдатель“, 1817, № 13, стр. 419.

⁴ „Сын Отечества“, 1816, № 31, стр. 207.

⁵ „Сын Отечества“, 1818, № 5, стр. 217.

„дурацкая харя“ и т. п.¹ Загоскин, в свою очередь, называл „Говоруна“ Хмельницкого „хорошо написанной безделкой“ и вылавливал „дурные“ и „шероховатые“ стихи в „Молодых супругах“ Грибоедова.² Грибоедов отвечал иронией по адресу „светского тона“ самого Загоскина: „А светский тон не только он, и вся его беседа переняли у Буйного соседа“.³ В 1818 г. рецензент „Сына Отечества“ в отзыве о „Своей семье“ (коллективной пьесе Шаховского, Грибоедова и Хмельницкого) выделив особую сцену, написанную Хмельницким, резко критиковал „слог“ тех частей, автором которых был Шаховской. Его шокировали такие выражения, как „брякнет“, „срежет голову“, „будет гонка“ и т. п. Он спрашивал: „Натуральное всегда ли бывает благородно, и выражения, приличные в конюшне гусарского полку, могут ли быть пристойны перед просвещенною публикою?“⁴

В 1819 г. в „Сыне Отечества“ появился присланный из Петергофа Ал. Бестужевым разбор „Липецких вод“ (по поводу вышедшего тогда второго издания). Бестужев оценивал комедию Шаховского не в плане салонных „приличий“, а приблизительно так же, как оценивал ее Пушкин в лицейском наброске — т. е. с точки зрения конструкции и стихотворного языка. Он писал: „Слог сей пьесы шероховат и прерывист; течение неплавно, стихосложение сходствует с самою беззвучною прозою. Множество междометий, союзов и предлогов, вклеенных по натяжке в каждый стих, несносно: одних *так* в сей комедии 109, не считая *а, да, но и хоть*, коими унижены все страницы“. Он указывал также на драматургические дефекты: „Действующие лица приходят и уходят или совсем без причины, или по столь недостаточным причинам, что во всем видна рука автора“.⁵

Успех „Притворной неверности“ Грибоедова и Жандра (11 февраля 1818 г.) и „Воздушных замков“ Хмельницкого (29 июля 1818 г.) утвердил победу „благородной“ комедии на сцене. В рецензии на „Притворную неверность“, „Сын Отечества“ приветствовал переводчиков как победителей. „Смело можем рекомендовать перевод сей любителям поэзии“, писал рецензент. „Он очень хорош: свободен, чист, благороден, приятен. Известно, сколь трудно переводить с разговорного французского на книжный русский. Тем более чести победителям! Читая *Притворную неверность*, забываешь, что это перевод“. Одобрив русские имена действующих лиц (Эледина, Рославлев, Ленский, Блестов) рецензент в интересах

¹ „Сын Отечества“, 1817, № 43, стр. 179; № 47, стр. 72.

² „Северный Наблюдатель“, 1817 г., № 2, стр. 72; № 15, стр. 55.

³ „Лубочный Театр“. Намек на поэму В. А. Пушкина.

⁴ „Сын Отечества“, 1818, № 5, стр. 213.

⁵ „Сын Отечества“, 1819, № 6, стр. 252. Немотивированное появление действующих лиц, по принципу „легко на помине“, было предметом нападок Ювенала Прямосудова в его отзывах о „Богатонове“ и „Вечеринке ученых“ Загоскина, „Сын Отечества“, 1817 г., № 29, стр. 88—102, и № 47, стр. 66—73.

большого реализма высказывал только одно пожелание: „Почему нельзя на театре называть людей по имени и отчеству? Доныне это было в обыкновении в одних фарсах: для чего не внести того же в благородную комедию?“¹ О комедии „Воздушные замки“ говорилось, что она „изобилует чертами, свойственными не фарсам, а комедии благородной“. Тут же отводились ссылкой на театральную „условность“ реалистические возражения Загоскина против неестественных для русской обстановки комедийных субреток: „Другие находят, что Саша слишком умна и образована для горничной девушки, и что в натуре у нас нет подобных. В этом случае должны мы отвечать, что на театре представляется *мир условный*“.²

3

В 1818 г. между обеими партиями происходит некоторое сближение. Одноактная комедия Шаховского в вольных стихах „Не любо не слушай“, поставленная в сентябре 1818 г., встречает одобрение среди сторонников „благородного“ жанра. Тогда же Шаховской, вследствие столкновений с директором театров кн. Тюфякиным, покидает звание члена управления по репертуарной части и перестает быть театральным диктатором. Его „чердак“ в районе Екатерингофского проспекта делается местом встреч актеров и литераторов, прикосновенных к театру. Здесь бывают Хмельницкий, Грибоедов, Я. Н. Толстой, Д. Н. Барков, Никита Всеволожский.

Сюда же Катенин в 1818 г. привозит и Пушкина.

А. М. Каратыгина (Колосова) рассказывает: „Готовясь к дебюту под руководством кн. Шаховского, я иногда встречала Пушкина в его доме. Князь с похвалой отзывался о даровании этого юноши. Знакомцы Шаховского — Грибоедов, Катенин, Жандр — ласкали талантливого юношу, но куда относились к нему как старшие к младшему. Он дорожил их мнением и как бы гордился их приязнью. Понятно, что в их кругу Пушкин не занимал первого места и почти не имел голоса. Изредка к слову о театре и литературе будущий гений смешил их остроумной шуткой, экспромтом или справедливым замечанием, обличившим его тонкий эстетический вкус“.³ О том же сообщает другая артистка (А. Е. Асенкова).⁴ Один из вечеров, проведенных на „чердаке“ Шаховского, Пушкин потом причислял к „лучшим“ в своей жизни.⁵

Среди театралов организовавшей вскоре после того „Зеленой Лампы“ устанавливается дружелюбное отношение к Шаховскому. Неко-

¹ „Сын Отечества“, 1818, № 19, стр. 263 (автор, видимо, сам Н. И. Греч).

² „Сын Отечества“, 1818, № 5, стр. 113. Подпись: Z (вероятно, Соф.).

³ „Мое знакомство с Пушкиным“, под ред. Ю. Г. Оксмана. П. А. Каратыгин. „Записки“, т. II, А., 1929, стр. 270.

⁴ „Театральный и Музыкальный Вестник“, 1857, № 49, стр. 723.

⁵ Письмо к Катенину в сентябре 1825 г. из Михайловского.

торые из „лампистов“ являются в то же время гостями его „чердака“ (Н. Всеволожский, Д. Н. Барков, Пушкин). В репертуарных отчетах даются доброжелательные отзывы даже о старых вещах Шаховского: „Комедия *Ссора или два соседа* кн. А. А. Шаховского давно уже забавляет публику, и все знают ее достоинства“.¹

Вместе с тем, и „Сын Отечества“ смягчает тон по адресу Шаховского, хотя окончательно еще не сдается. Среди представителей победившего направления возникает раскол. На страницах „Сына Отечества“ разгорается полемика между Барковым и В. И. Соцем, который, укрывшись под буквой „ъ“, позволил себе в рецензии о „Не любо не слушай“ ряд намеков на литературное прошлое Шаховского и между прочим указывал на „прозаический язык“ его вольных стихов: „Некоторые переводчики и сочинители комедий в стихах дошли теперь до такого совершенства, что трудно различить версификацию их с обыкновенной прозою. Автор разбираемой нами комедии еще удачнее воспользовался сею свободой, употребив стихи вольные. Не думаю, однако же, чтоб *шкворни, ваги, дышла*, составляющие прозаический язык каретников и кучеров, много придали красоты и самым вольным стихам“.² Выпад против опального в данный момент Шаховского, а также крайний пуризм Соца, характерный для всего высшего бюрократического круга вообще и, в частности, лично для него, как цензора, вызвали горячую отповедь Баркова. Соц понимал „благородную“ комедию, как комедию для знати. Для Баркова, как и для всех „лампистов“, это была комедия, проникнутая духом просвещенного либерализма и враждебная патриархально-реакционной среде. Финалом этой междоусобной распри является сохранившаяся в бумагах „Зеленой Лампы“ эпиграмма Баркова „Приговор букве ъ“: „Ер, буква подлая, служащая хвостом, в журнале завладеть изволила листом“ и пр.³

Мир с Шаховским был настолько прочен, что его не могла нарушить и комедия „Пустодомы“, поставленная 10 октября 1819 г. и направленная против „умников“, увлеченных всякого рода реформами. В „Пустодомах“ затрагиваются темы „Горя от ума“, но трактуются они с фамусовской точки зрения. Князь Радугин, по словам слуги, „все в мире знает“:

Все в небе звездочки по имю называет,
Кто до потопа жил, известно все ему,
А то, что делают теперь в его дому,
Не ведает, и знать ему как будто стыдно.

В том же духе советы Фамусова: „именьем, брат, не управляй оплошно“.

¹ Б. Л. Модзалевский. „К истории Зеленой Лампы“, стр. 40.

² „Сын Отечества“, 1818, № 39, стр. 40. Указанные „грубые“ слова — все из 1 явления комедии Шаховского.

³ Б. Л. Модзалевский. „К истории Зеленой Лампы“, стр. 22. К этой же расправе относится, может быть, и стих из пушкинского „нояля“ 1818 г.: „А Соца в желтый дом“.

Вернувшись „из-за моря“, князь Радугин вышел в отставку, так как считает, что „офицерский чин для мудреца ничтожен“, что он „фельд-маршалом или ничем быть должен“.¹ Таков же и князь Федор, двоюродный брат Скалозуба: „Чин следовал ему, он службу вдруг оставил — в деревню, книги стал читать...“

При этом князь Радугин — „умник“, презирающий общество: „А нам твердит, что мы все бродим наудачу, что на святой Руси он только с головой, что все безграмотны...“² В этом же упрекают и Чацкого: „Послушать, так его мизинец умнее всех и даже князь Петра!“

Стоя на позициях крепостнического патриархального хозяйства, Шаховской окарриковывал в лице князя Радугина изучение экономических наук, стремление к промышленным предприятиям, технические усовершенствования в области землепользования — одним словом, все то, что характеризовало попытки известного круга дворян перейти на капиталистические рельсы. „Пустодомы“ были явным нападением на „либералистов“.

Однако вся „Зеленая Лампа“ аплодировала пьесе, хотя и была ею недовольна. В числе прочих „лампинов“ аплодировал и Пушкин. Он сообщает 27 октября 1819 г. Мансурову: „Сосницкая и кн. Шаховской толстеют и глупеют — а я в них не влюблен — однако же его вызывал за его дурную комедию, а ее за посредственную игру“.³

По поводу „Пустодомов“ разгорелась новая полемика о комедии. В декабре 1819 г. в „Сыне Отечества“ выступил против всей русской комедии в целом некий Вл. Кл-нов. Называя русскую комедию „нескладным, юродивым зрелищем“, он противопоставлял ей французскую комедию, только что заведенную директором театров князем Тюфякиным.⁴ Во избежание обвинений в предпочтении „чужого“, автор статьи с первых строк заявлял, что он инвалид, лишившийся правой руки „на бородинском поле“ и левого глаза „на высоте Монмартра“, и поэтому имеет право на беспристрастное суждение. Русских комических актеров он упрекал в однообразии и безжизненности. Вальберхову он называет „неодушевленной“ и „единообразной“. Асенкова, по его словам, в ролях горничных „всегда одна и та же“. Все достоинство Сосницкого — „в стройной фигуре, а искусство в способности, не останавливаясь и не переводя духу, врать вздор“. Вместе с тем, он нападал и на репертуар комедий, но

¹ „Пустодомы“ комедия в пяти действиях, в стихах, князя А. А. Шаховского, СПб., 1820, стр. 4—5.

² Там же, стр. 1.

³ Е. Я. Сосницкая — комическая актриса, жена И. И. Сосницкого. В „Пустодомах“ Сосницкая не играла. См. Арапов, „Летопись русского театра“, СПб., 1861, стр. 281 и „Журнал театральный“ А. В. Каратыгина (рукопись Пушкинского Дома). Отзыв об игре Сосницкой относится, очевидно, к другим спектаклям.

⁴ Французские спектакли возобновились 4 октября 1819 г. после семилетнего перерыва (с 1812 г.).

говоря о комедиях вообще, направлял главный удар, повидимому, на Шаховского.¹ „Что за комедии! — писал он, — Что в них за стихи! Что за проза! Тупые, или, лучше сказать, частым употреблением притупленные остроты, площадные шутки, бесхарактерные характеры, давно известные, можно сказать древние, интриги составляют их существо и свойство“. Зато автор не скупится на похвалы французскому спектаклю, виденному им на Большом театре и доставившему ему „неизъяснимое удовольствие“ своим истинным „изяществом“. Французские актеры, как он говорит, в комических ролях „не забываются до грубости“, а комедии, представляемые ими, „восхищают“ своим „нравственным содержанием“ и „привлекательностью“ (т. е. салонной галантностью) слога.² Русская комедия отталкивает автора своим „грубым“ реализмом, между тем как французская привлекает великосветским „изяществом“ тона и благонамеренностью морали. Позиция маскированного инвалида, хулителя русской комедии и поклонника французской, оказывается, таким образом, совпадающей с позицией крайнего пуриста В. И. Соца. По всей вероятности, это и был В. И. Соц. Авторство Соца подтверждается, между прочим, и тем, что отзывы анонима о Вальберховой, Асенковой и Сосницком были потом повторены в статье „О санктпетербургских театрах“, появившейся в 1820 г. в „Сыне Отечества“ за подписью Соца.³

Выступление Вл. Кл-нова, задевавшее Шаховского, прозвучало обидой для всего русского театра и затронуло патриотические чувства. Оно вызвало поэтому поток негодующих возражений. Отвечая своим оппонентам, ряженный инвалид приоткрыл свои карты. Он выделил из всего репертуара „Притворную неверность“, „Воздушные замки“ и „Говоруна“ (т. е. комедии „благородного“ жанра), подчеркивая этим самым, что имел в виду одного Шаховского, а относительно актеров объяснил, что осуждает не их, а „ложных друзей“ и „господ учителей“, создавших „школу дурного вкуса и противоречия природе“ (намек на того же Шаховского).⁴

Шум разыгравшегося театрального побоища докатился и до П. А. Вяземского, находившегося тогда в Варшаве. „Кто этот увеченный дьявол, который городит о театре?“ запрашивал он А. И. Тургенева.⁵

Откликом на выходку ряженого инвалида явились „Мои замечания об русском театре“ Пушкина. В начале статьи указан повод, по которому она написана: „Ужели... необходимо для любителя французских актеров и ненавистника русского театра прикинуться кривым и безруким инвали-

¹ Все трое играли в „Пустодомих“ с октября по декабрь. Замечания об их игре относятся, несомненно, к комедии Шаховского.

² „Сын Отечества“, 1819, № 52, стр. 275—277.

³ „Сын Отечества“, 1820, № 1, стр. 11—12.

⁴ „Сын Отечества“, 1820, № 6, стр. 264—275.

⁵ „Остафьевский архив“, т. II, 1899, стр. 26.

дом, как будто потерянный глаз и оторванная рука дают полное право и криво судить и не уметь писать по-русски?" Сделав обзор актеров трагедии, Пушкин предполагал разобрать и актеров комедии. Но статья прервалась на фразе: „Но оставим неблагодарное поле трагедии и приступим к разбору комических талантов“.

Пушкин, несомненно, собирался принять участие в полемике и предназначал свою статью для „Сына Отечества“. На это есть прямое указание в первом абзаце: „Читатель... пробежит мои замечания об русском театре, не заботясь, по какому поводу я их написал и напечатал“ (разрядка моя. А. С.). Однако, строки, касающиеся увлечения Колосовой „флигель-адъютантами е. и. в.“, были бы невозможны в печати. Сохранившаяся рукопись, очевидно, представляет собой первоначальный вариант статьи, заготовленный для прочтения в интимном кругу „Зеленой Лампы“. Неоконченную статью Пушкин передал на просмотр Семеновой, от которой она перешла к Гнедичу, на что указывает имеющаяся на рукописи его пометка. Кроме того, рукопись побывала еще в руках какого-то „Л.“, может быть, одного из „лампистов“, снабдившего ее своими замечаниями.

Высказаться о комедии Пушкин не успел, но последняя фраза заключает в себе намек на то, что в дальнейшем должно было следовать противопоставление „неблагодарного поля“ трагедии успехам в области комедии. Первый абзац статьи, направленный против ряженого инвалида, а также и то, что впоследствии в плане комедии об игроке действующие лица обозначены именами актеров комедии, — все это свидетельствует о благоприятной в общем оценке, которую Пушкин намеревался дать и комическим актерам и комическому репертуару.

4

Находясь на юге, Пушкин продолжал следить за театральной жизнью и, в частности, за комедийным репертуаром. Интерес к комедийному жанру проявился в начатой им в Кишиневе комедии об игроке.

Отрывок первой сцены и план сохранились в кишиневской тетради (Ленинская библиотека в Москве, № 2365, л. 40—41). В рукописи точно указана дата начала комедии — 4 июня 1821 г., ночью, накануне предполагавшейся дуэли с французом Дегильи.

Комедия об игроке является попыткой разрешить поставленную театральными спорами 1815—1820 гг. проблему комедии нового типа. Пушкин примыкал к числу сторонников „благородного“ жанра. Его излюбленным автором был Н. И. Хмельницкий. Привязанность к Хмельницкому сохранялась у него на протяжении многих лет. В 1831 г. он зовет его своим „любимым поэтом“.¹ Встретив в альманахе „Русская Талия“

¹ Письмо к Н. И. Хмельницкому в марте 1831 г.

1825 г. отрывки из Хмельницкого, он пишет брату в начале апреля 1825 г.: „А Хмельницкий моя старинная любовница. Я к нему имею такую слабость, что готов поместить в честь его целый куплет в первую песнь Онегина — да кой чорт, говорят он сердится, если об нем упоминают, как о драматическом писателе“.

При этом, однако, Пушкин ценил в комедиях Шаховского их реалистическую тенденцию, и набросок его комедии об игроке представляет собой попытку объединить оба комедийных жанра. Светскую комедию он строит на материале реально-бытовых наблюдений и придает ей злободневную сатирическую остроту. Четкость плана, „благородство“ стиля, стремление придать александрийскому стиху разговорную легкость — все это идет от светской комедии. В то же время действие выводится из узких рамок условного „света“, захватывая и крепостного дядьку (Величкин) и мир шулеров (Рамазанов, Боченков). Функции Брянского не исчерпываются ролью традиционного любовника комедийной вдовы: он, вместе с тем, является и раскаявшимся игроком. Таким образом, форма светской комедии заполняется, как у Грибоедова в „Горе от ума“, реально-бытовым содержанием, а интрига приобретает социально-заостренный характер (игрок Сосницкий, светский либерал, проигрывающий в карты своего старого дядьку). Все это связано с „аристофановской“ установкой Шаховского и восходит к традициям старой сатирической комедии Фонвизина, Княжнина и Капниста.

Однако, сатирические приемы Шаховского, бывшие в его руках оружием реакционных тенденций, Пушкин пробует использовать для комедии либерального направления. Либеральный дух пушкинского замысла был сильно преувеличен П. В. Анненковым, который видел здесь протест против „безобразия крепостничества“.¹ Против такого толкования справедливо возражал Н. О. Лернер.² Действительно, в комедии крепостнические отношения не играют серьезной роли. Величкин — старый преданный слуга, которого никто не притесняет. Ему самому, по первоначальному варианту плана, как будто приписывается участие в уговоре между Брянским и Рамазановым играть „пополам“, чтобы проучить Сосницкого. Проиграв его, Сосницкий с ним вместе плачет, и все дело оказывается шуткой, затеянной с тем, чтобы дать „урок“ игроку. Отчаяние, которое пережил Сосницкий, проиграв своего дядьку, и является для него „уроком“. Совершенно ясно, что Пушкин замышлял именно комедию, а не „драму потрясающего содержания“ с „раздирающей сценой“ в финале, как это предполагал Анненков. Образ преданного дядьки здесь вполне традиционен.³

¹ П. В. Анненков. „Пушкин в Александровскую эпоху“, СПб., 1871, стр. 163.

² „Пушкин“ под ред. С. А. Венгерова, изд. Брокгауз-Ефрон, т. II, 1908, стр. 587.

³ Ср., напр., слугу Василия в комедии Лукина „Мог, любовью исправленный“, 1765 г.

В комедии сплетаются две интриги: урок игроку и любовь Брянского к молодой вдове Вальберховой, старшей сестре Сосницкого. На эту вторую интригу Анненков не обратил внимания. Содержание комедии, по его предположению, сводится к тому, что Вальберхова, желая спасти брата от карт, обращается за помощью к своему любовнику Брянскому — тоже игроку, и притом знакомому с тайнами шулерского мира. Тот уславливается с шулером Рамазановым играть вдвоем против Сосницкого, вынуждает его поставить на карту своего дядьку и таким образом достигает цели: Сосницкий исправляется. При таком объяснении комедия приобретает характер несвойственного Пушкину дидактизма. Кроме того, остаются неразвернутыми отношения Брянского и Вальберховой. Между тем, эти отношения должны каким-нибудь образом развиваться, — иначе обе роли оказались бы резонерскими. Любовь Брянского несомненно наталкивается на какое-то препятствие. Такое препятствие налицо: он игрок, и Вальберхова ему не доверяет. Тогда становится понятным его проект излечить Сосницкого от его страсти и этим заслужить признательность его сестры. Эта идея, повидимому, приходит ему в голову тотчас после сцены с Вальберховой, когда он встречается Рамазанова, пришедшего на завтрак к Сосницкому. Из плана видно, что Вальберхова ничего не знает о затее Брянского. Она слышит шум и не понимает, в чем дело („что за шум?“). Участие Брянского в игре является для нее неожиданностью. Она спрашивает у Величина о Брянском („а Брянский?“) и, узнав, что он „там же“, требует его к себе („поди за Брянским“). Если у Пушкина специально отмечены эти краткие, на первый взгляд совершенно незначущие реплики, то, несомненно, по той причине, что они служили ему вехами, обозначавшими поворотные пункты действия. Вальберхова поражена, застав Брянского за игрой, и, очевидно, хочет с ним порвать. Тут только Брянский открывает ей свои намерения: „Я пополам — ему урок — он проигрывает“. Комедия заканчивается сценой двух игроков, Брянского и Рамазанова. Это свидетельствует о том, что Брянскому предназначалась в комедии ведущая роль.¹

Сосницкий трактуется явно в ироническом плане. Это ветреный юноша, набравшийся умных слов и воображающий себя либералом. Он бросает „модный круг“, потому что „модный круг совсем теперь не в моде“. Он заявляет: „А впрочем — не найдешь живого человека в отборном обществе“ — но самый оборот фразы („а впрочем“) создает впечатление, что он говорит с чужого голоса. И Вальберхова не без основания замечает ему, что это все „пустая мода“: „Добро либералы, а ты-то что?“ Он покидает светских дам, потому что с ними „скучно“: „вы все

¹ В. Я. Брюсов сделал попытку художественного оформления неосуществленного пушкинского замысла („Урок игроку“, альманах „Сегодня“, Л., 1927). Следуя анненковской расшифровке, он игнорирует любовную интригу Брянского и делает его чистым резонером.

так бранчивы“. Он любитель „свободы“: „мы, знаешь, милая, все нынче на свободе“, и эту „свободу“ находит за карточным столом: „то ли дело ночь играть“. Своих друзей он защищает перед сестрой наивной ссылкой на то, что они „о дельном говорят, читают Жомини“. Характерно, что в первоначальном варианте эта реплика была отнесена к Вальберховой:

Пускай себе сидят они в своем кружку —
В ермолке, в шафорке, за трубкой табаку —
Охота им... Мне говорят, они
За трубкой табаку читают Жомини.

Это ставило в комическое положение Вальберхову, к выгоде Сосницкого. Вложенная в его уста, ссылка на „дельные“ разговоры и чтение „Жомини“ придавала комический характер ему и звучала репетитовским хвостовством. Тогда естественно следует насмешливая реплика Вальберховой:

Да ты не читываю с тех пор, как ты родился —
Ты шафром одним да трубкою пленился.

(Ср. реплику Чацкого: „А ты читал? Задача для меня“.)

Уже первая сцена показывает в Сосницком не настоящий просвещенный „ум“, а только модное „умничание“. Это будущий грибоедовский Репетиллов, о котором Пушкин писал впоследствии Бестужеву: „Зачем делать его гадким? Довольно, что он ветрен и глуп с таким простодушием“ (января 1825 г.). Впоследствии (с 1833 г.) актер Сосницкий, именем которого обозначил Пушкин своего героя, в „Горе от ума“ Грибоедова играл именно Репетиллова.

5

В основе пушкинской комедии лежат две родственные между собой темы: тема игрока и тема модного „умника“, либерала, обособляющегося от светского общества.

Тема игрока имеет давнюю западную традицию, начиная от итальянской комедии. На русской сцене особенно популярна была с XVIII в. мелодрама английского происхождения „Бeverлей“, переведенная актером И. А. Дмитриевским (СПб., 1773 г.; 2-е изд., М., 1787 г.). Успех ее в значительной степени объясняется бытовой ролью карточной игры. Загоскин писал в „Северном Наблюдателе“ в 1817 г. по этому поводу: „К несчастью, никакая трагедия не излечит человека, привязанного к игре, и можно побиться об заклад, что многие из зрителей, которые не могли без содрогания смотреть на ужасную сцену пятого акта, в которой Beverлей из человеколюбия хочет убить своего сына, поехали из театра... проигрывать последние свои деньги“.¹

¹ „Северный Наблюдатель“, 1817, № 2, стр. 72.

В пьесе действует, между прочим, „ложный друг“ Стукелий, который является виновником разорения и гибели Беверлея. Он вовлекает его в игру, сговаривается с шайкой шулеров обыграть его и т. д. Аналогичную роль играет у Пушкина Брянский, только с обратной мотивировкой: он делает это с благой целью „урока“.

30 апреля 1817 г. была поставлена комедия Реньяра „Игрок“ („Le joueur“, 1669 г.) в переводе А. М. Пушкина, причем роль игрока Эраста (у Реньяра — Валер) играл Брянский. Интрига у Реньяра имеет драматическую окраску. Игрок Валер ради карт жертвует любовью Анжелики, которая много раз прощает его, но, наконец, видя, что он неисправим, с грустью его покидает и выходит замуж за человека патриархальных „добрых нравов“.

Возможно, что основной мотив реньяровской комедии (любовь в конфликте со страстью к игре) послужил для Пушкина отправным пунктом при построении отношений Брянского с Вальберховой, причем развязка давалась противоположная (Брянский доказывает, что он исправился).

Тема игры уже у Реньяра сочетается с темой свободолюбия и отрыва от традиционной морали. Высказывания Сосницкого о свободе холостой жизни и о карточной игре („мы... жить привыкли на свободе... не знаем ваших дам... то ли дело ночь играть...“) напоминают рассуждения Валера (акт III, сцена VI):

Je ne suis point du tout né pour le mariage.
Des parents, des enfants, une femme, un ménage,
Tout cela me fait peur. J'aime la liberté...
Il n'est point dans le monde un état plus aimable
Que celui d'un joueur: sa vie est agreable...

В переводе А. М. Пушкина:

... Как? Детьми, хозяйством и женою
Заняться мне? Скорей бежать из дома вон.
Совсем я, кажется, для брака не рожден —
Одною жизнью прельщаюся свободной...
... Игрою благородной
На свете можно жить счастливее царей...¹

Тема модного „умника“ была в ходу с 1817 г., с тех пор, как стал заметен рост либерализма в дворянской среде. Холостая компания, Жомини, карты, декламация против „цепей“ света, жалобы на светскую скуку и „бранчивость“ светских дам — все это было типично для молодых вольнодумцев, спутников декабристского движения.

Модный „умник“ становится предметом журнальной сатиры, причем характеристика его варьируется: иногда это „насмешник“, „злой“ и т. д. В портрете этого модного „умника“ без труда узнаются черты то Чацкого, то Онегина.

¹ Рукопись Театральной библиотеки им. А. В. Луначарского, № 6486.

Вот, например, интересное „Наставление сыну, вступающему в свет“, напечатанное в 1817 г. в „Сыне Отечества“:

„Вступая в свет, первым себе правилом поставь никого не почитать“.

„Не имей уважения ни к летам, ни к заслугам, ни к чинам, ни к достоинствам“ (ср. „а судьи кто?“).

„В какое бы общество ни вступил... старайся всеми поступками показывать, что ты презираешь“ (ср. „кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей“, „в презренье к людям так нескриту“ и пр.).

„Отнюдь ничему не удивляйся, ко всему изъясляй холодное равнодушие“.

„В разговорах старайся ясными доводами доказать, что люди, прежде родившиеся, ничего не стоили, жить не умели...“

„Везде являйся, но на минуту. Во все собрания *вози с собой рассеяние, скуку*, в театре *зевай*, не слушай ничего“ (ср. „на сцену в большом *рассеяньи* взглянул, отворотился и *зевнул*“).

„Вообще, дай разуметь, что женщин не любишь, презираешь...“

„В карты играй, но будь исправен; карты суть священный долг“.

„Притворяйся, что не знаешь родства“.

„Вообще страшись привязанности: она может тебя завлечь, соединить судьбу твою с творением, с которым все делить должно будет: и радости и горе. Это вовлечет в обязанности, в хлопоты, а ты рожден для наслаждения и должен быть волен, как воздух. Обязанности суть удел простых умов — ты стремись к высшим подвигам“.¹

Подобных зарисовок модного молодого человека много в „Русском Пустыннике“ Загоскина, выходящем в 1817 г. в качестве приложения к „Северному Наблюдателю“ и озаглавленному так в подражание журналу Жуи „L'Hérmitte de la chaussée d'Antin“. Проблема „ума“ является одним из основных мотивов сатиры Загоскина. В „Словаре светского человека“, составленном Миленовым, „светским человеком и философом, наблюдателем и вертопрахом“, „ум“ в светском понимании определяется, как „свойство души, совершенно противоположное *здравому смыслу*“. „Едкость“ характеризуется здесь, как „единственный способ показывать остроу своего ума, живучи в нынешнем большом свете“. Кабинет Миленова, автора „словаря“, похожий на „женский будуар“, с присоединением „ученых шкапов, увенчанных бюстами древних мудрецов“, очень напоминает, кстати сказать, описанный в главе I кабинет Онегина, „философа в осьмнадцать лет“.²

¹ N. N. „Наставление сыну, вступающему в свет“, „Сын Отечества“, 1817, № 20, стр. 17—24. Примечание редакции: „Редакторы просят сочинителя сей статьи присылать и впредь подобные пиесы“.

² „Русский Пустынный“, 1817, № 10, стр. 203, 210—211.

Все эти портреты, очерки и зарисовки указывают в общем на тот бытовой материал, из которого создались впоследствии образы Онегина и Чацкого. Тема скороспелого „философа“, „преученого и преумного молодого человека“, „вертопраха“, игрока и либерала, с 1817 г. становится злободневной и трактуется с различных точек зрения. Позднее, в 1822 г., Орест Сомов посвятил целую статью вопросу „об уме“, где говорится о молодых „умниках“ с „беглым разговором“, „каламбурами“, „едкими шутками на чужой счет“, „дерзостью и „самонадеянностью“, причем проводится разграничение между настоящим „умом“ и „умствованием“.¹

Тема модного „умника“ вскоре переходит и на сцену. В 1819 г. в Москве появляется комедия Загоскина „Добрый малый“ (в Петербурге она в первый раз представлена 23 июня 1820 г.); в 1821 г. (29 апреля) — комедия Катенина „Сплетни“. Обе пьесы имеют один общий источник — комедию Грессе „Le méchant“ (1747 г.), которая приобретает теперь особенную злободневность. Герой Грессе Cléon, не только „злой“, но, кроме того, и „умник“. Но своим умом он пользуется для интриг и обмана. У Загоскина он назван Вельским, у Катенина — Зельским.

Загоскин сильно снижает грессетовского Клеона, подчеркивая в своем Вельском черты „злого“. Вельский в комедии Загоскина — „бесстыдный лжец“, „насмешник“, придерживающийся „системы Эпикура“: „наслаждается жизнью — и. все тут!“ Кроме того, он игрок, обыгрывающий своего двоюродного брата Простакова. При всем том он умеет пустить пыль в глаза окружающим и, благодаря этому, приобретает славу „умницы“: „что за познания! что за острота! какой умница!“

Катенин выделяет в своем Зельском преимущественно черты „ума“ сатирически рисуя его окружение и тем самым оправдывая „злые“ поступки и направленные против общества „едкие“ тирады своего героя. Но Катенин все же остается на почве традиции: „умник“ у него попрежнему в то же время и „злой“.

Грибоедов первый произвел радикальную перестановку в традиционном сюжете, решительно став на сторону „ума“: „злым“, „гордецом“ и „насмешником“ кажется Чацкий только Софье и всему фамусовскому кругу. „Добрый малый“ Загоскина, „Сплетни“ Катенина и, наконец, „Горе от ума“ Грибоедова написаны на одну и ту же актуальную тогда тему.²

По той же линии идет и пушкинская комедия об игроке, относящаяся к тому же времени. „Философ“ должен был явиться героем первой комедии Пушкина, задуманной в 1815 г. в Лицее. Та же тема, взятая

¹ Ср. Сомов, „Об уме“, „Сын Отечества“, 1822, № 47, стр. 24—31.

² Так тип „доброего малого“ намечен еще в „Северном Наблюдателе“, 1817, № 6, стр. 177. Изображенный здесь Шмелев — лгуин, обманщик и пр., пользующийся, однако, репутацией „доброего малого“.

в ином аспекте, фигурирует в его комедийном проекте 1821 г. Пушкин бросил комедию на первой же сцене. Накопленный им реально-бытовой материал не укладывался в рамки светской комедии. Он нашел себе применение потом — в первой главе „Евгения Онегина“. Односторонняя ирония над молодыми „либералистами“, без сопоставления с положительными началами либерализма, придала бы комедии реакционный оттенок. С другой стороны, положительный герой был несовместим с представлениями Пушкина о чистоте жанра и с его отрицательным отношением ко всякому дидактизму. Объединить широкую общественную сатиру с формами светской комедии впервые удалось Грибоедову в „Горе от ума“.

Пушкинская комедия возникла в период подготовки „Горя от ума“. Но Пушкин шел иным путем. „Умника“ он не мыслил иначе, чем в иронической трактовке. Когда до него дошли слухи о том, что Грибоедов пишет комедию, и что героем ее является Чаадаев, то он понял это так, что Грибоедов пишет комедию „на Чаадаева“, т. е. с целью его высмеять (письмо к Вяземскому, ноябрь 1823 г.). Характерно, что уже после прочтения „Горя от ума“ первое сопоставление, которое приходит ему в голову, это сопоставление Чацкого не с Альсестом Мольера, а с Клеоном Грессе. Упрекая Чацкого за его „умничание“ на балу, он замечает: „Cléon Грессетов не умничает с Жеронтом ни с Хлоей“ (письмо к Бестужеву, январь 1825 г.). Чацкого он воспринимает в плане комедии Грессе, как оправданного „злого“.



М. АРОНСОН

„КОНРАД ВАЛЛЕНРОД“ и „ПОЛТАВА“

(К вопросу о Пушкине московских любомудрах 20-х—30-х годов)

Об общественном либерализме¹ московских любомудров 20-х годов почему-то принято говорить иронически. Их охотно представляют в качестве мечтателей, витающих в сугубо отвлеченных сферах, в качестве мыслителей, стремящихся воплотить идеалы истины, добра и красоты, в качестве „архивных юношей, по всему проводящих свой философский контроль“. Их общественная позиция до такой степени не входила в концепцию русского любомудрия, принятую старой буржуазной историографией, что даже жандармские доносы на сотрудников „Московского Вестника“, аттестующие их, в частности Шевырева, „истинно бешеными либералами“ прокламировались как „извет“ на „Московский Вестник“ и его сотрудников.¹ Другой донос, в котором Соболевский, Титов, Шевырев, Рожалин и др. фигурируют как „проникнутые дурным духом,² просто прошел без внимания. Третий донос, где Шевырев помещен в ряды московских „отчаянных юношей“, „исповедующих правила якобинства“,³ тоже был почему-то пропущен. Между тем сохранились еще более яркие документы самих лиц этого круга. Вспомним известный рассказ Кошелева о вечере, проведенном в декабре 1824 г. с Рылеевым, Пушковым и Оболенским: „Рылеев читал свои патриотические думы, а все свободно говорили о необходимости d'en finir avec ce gouvernement. Этот вечер произвел на меня самое сильное впечатление; и я на другой же день утром сообщил все слышанное Ив. Киреевскому, и с ним вместе мы отправились к Дм. Веневитинову, у которого жил тогда Рожалин... Много мы в этот день толковали о политике и о том, что необходимо произвести в России перемену в образе правления. Вследствие этого мы с особенною жадностью налегли на сочинения Бенжамена Констана, Рое-Коллара и других

¹ „Русская Старина“, 1902, кн. I, стр. 34.

² „Русская Старина“, 1903, кн. II, стр. 262; „Исторический Вестник“, 1886, № 3, стр. 522; так же М. Лемке, „Николаевские жандармы и литература“, СПб., 1908, стр. 259.

³ Б. Модзалевский. „Пушкин под тайным надзором“, изд. 2-е, Л., 1922, стр. 45.

французских политических писателей; и на время немецкая философия сошла у нас с первого плана¹. Самая ликвидация кружка Любомудров после 14 декабря была вызвана не только страхом полицейского вмешательства, но и тем, что „политические события сосредоточивали на себе все наше внимание“².

Декабристы были раздавлены, но декабристские настроения существовали еще очень долго. Особенно долго держались они в Москве. Сунгуров, личность не вполне ясная, в своих попытках организовать революционный кружок прямо ссылается на декабристов, а московские студенты, по воспоминаниям Костенецкого, все насквозь проникнуты были конституционными настроениями. Любопытно, что в процессе следствия по этому делу конституционалисты оказались даже среди членов следственной комиссии. Так, московский гражданский губернатор Небольсин говорил арестованным юношам: „Мы все таких же мыслей, как и вы, об нашем образе правления; да что же делать? Нас еще немного...“³ Этот либерализм Москвы внушал в Петербурге немалое беспокойство. „Каждая муха в Москве является здесь слонем“, — отметил по одному поводу П. П. Новосильцов.⁴

Быть в эти годы „благомыслящим“, иметь „благородный образ мыслей“ значило в сущности быть либералом. В своей записке „О народном воспитании“ Пушкин прямо отмечает, что либеральные идеи в 20-х годах были „необходимой вывеской хорошего воспитания“.

От Николая I ждали широких преобразований, потому что иначе вставал призрак народной революции. В октябре 1827 г. Погодин записал в свой дневник: „Толковал с Сеймондом об ужасном состоянии государства, о всеобщей бедности дворянства, купечества. Гроза крестьян. Неутешительная перспектива! Говорил с Шевыревым об этом. Ну, если вследствие государственных переворотов состояния сравняются, и я...“⁵

И действительно, в первое пятилетие своего царствования Николай, повидимому, готов был на некоторые реформы. Едва разделившись с восстанием, он создает особый секретный комитет, который должен выработать проект реорганизации всего государственного управления и проект „дополнительного закона о состояниях“.

¹ А. И. Кошелев. „Записки“, Берлин, 1884, стр. 13. Вечер ошибочно датируется им февралем или мартом 1825 г., в то время как Рылеев был в Москве именно в начале декабря 1824 г.

² Там же, стр. 12.

³ Я. И. Костенецкий. „Воспоминания“, „Русский Архив“, 1887, II, стр. 76; об этом кружке см.: А. И. Герцен. „Былое и Думы“, Соч., изд. 1905 г., т. II, стр. 108—109; Т. Пассек. „Из дальних лет“, СПб., 1878, т. I, стр. 433—434; П. Анненков. „Литературные воспоминания“, СПб., 1909, стр. 148.

⁴ Н. Барсуков, „Жизнь и труды М. П. Погодина“, т. III, стр. 85.

⁵ Там же, т. II, стр. 133.

Весною 1830 г. в Государственный Совет был внесен выработанный проект „дополнительного закона о состояниях“, но он встретил, как и следовало ожидать, жестокий отпор главным образом в части, касающейся освобождения крестьян.

Дело затягивалось, вспыхнувшая июльская революция во Франции затянула его еще больше, а последующие события в России (подавленные польское восстание и бунт в военных поселениях) положили конец всяким расчетам на реформаторскую деятельность Николая I.

С реформами, как таковыми, ничего не вышло. И все же слухи о них, несмотря на секретность „комитета 6 декабря 1826 года“, время от времени проникали в общество, — неясные, темные, но многообещающие.

„Правительство действует, или намерено действовать в смысле Европейского просвещения. Ограждение дворянства, подавление чиновничества, новые права мещан и крепостных — вот великие предметы“, писал Пушкин Вяземскому 16 марта 1830 г.¹ „Николай великодушен! — отзывался Погодин. — Дай бог ему счастья и хороших помощников! — Говорят о больших преобразованиях, уничтожении чинов и проч. — но все это слухи, хотя и достоверные, да без подробностей“.²

Иллюзии и Пушкина и Погодина были необычайно симптоматичны. Вместе с ними (правда, не надолго) едва ли не вся передовая общественность поддается этим темным, но многообещающим слухам, верит в возможность какой-то „революции сверху“, окружает личность Николая I ореолом большого государственного ума, ореолом царя-преобразователя. Николай ассоциируется с Петром. Характерно, что никогда в русской литературе не мелькало так часто имя Петра, как в пятилетие 1826—1830 гг. Редкий писатель, имеющий историческое чутье, не откликнулся на эту петровскую тему, в сущности тему преобразования России. Пушкин пишет „Полтаву“ и „Стансы“ („В надежде славы и добра...“), прозрачно сопоставляя Петра с Николаем, Погодин создает трагедию „Петр I“ с явными намеками на современность,³ Кошелев пишет какое-то историческое сочинение о Петре, Киреевский размышляет о нем в „Царьщинских ночах“, Шевырев дает его в „Петрограде“.

Еще больше спорили о Петре в московских гостиных того времени. „На чем же основываются те, которые обвиняют Петра, утверждая, будто он дал ложное направление образованности нашей, заимствуя ее из просвещенной Европы, а не развивая изнутри нашего быта? Эти обвинители великого создателя новой России с некоторого времени распространились

¹ „Письма Пушкина“, т. II, ГИЗ, 1928, стр. 77.

² Письмо к Шевыреву от 23 марта 1830 г. „Русский Архив“, 1882, т. III, стр. 162.

³ Письмо к Шевыреву с трактовкой трагедии. — см. „Русский Архив“, 1882, т. III, стр. 194—195.

у нас более, чем когда-либо...“ писал Киреевский в „Европейце“, отвечая печатно на устные, домашние разговоры.¹

Тема Петра в ее разнообразных значениях („революция сверху“ или „Россия и Европа“) — это большая общественная тема того времени и, несмотря на различные ее трактовки, единая тема преобразования России. Это единый комплекс проблем, выдвинутых самой жизнью после разгрома декабризма, и в течение нескольких лет даже представители будущего славянофильства были, в сущности, во власти декабристских настроений. В условиях подавленной революции кукольная комедия николаевских реформ ускорила, однако, переход некоторых деятелей дворянской оппозиционной общественности 20-х годов на новые идеологические позиции. Весь этот процесс отчетливо виден на эволюции политических настроений любомудров, группировавшихся в 1827—1828 гг. вокруг „Московского Вестника“.

Вскоре после закрытия „Европейца“ П. Я. Чаадаев написал от имени И. В. Киреевского большое объяснительное письмо к Бенкендорфу, в котором показал очень характерную эволюцию его взглядов: Киреевский, сначала — законченный декабрист, позднее, отказавшись от острых политических требований конституционной формы правления, как требований европейских, развертывает славянофильскую программу общественных преобразований, в которой самые существенные элементы идут не далее пожелания об освобождении крестьян, о реформах в области народного образования и судопроизводства, да еще о православной церкви, общественное внимание к которой, по Киреевскому, явно недостаточно.²

Политический либерализм Шевырева можно проследить, начиная с 1825 г. В этом году, может быть даже под влиянием посещения Москвы Рылеевым, он написал свое „Я есмь“, своеобразный гимн самоутверждению личности в природе и обществе, в котором явно намекает на конституцию:

Сим гласом держится святая прав свобода!
Я есмь! гремит в устах народа
Перед престолами царей,
И чтут цари в законе строгом
Сей глас благословенный богом.³

В 1828 г., на одном ужине в честь Мицкевича, Шевырев читает какие-то стихи, из которых сохранилась одна весьма показательная цитата: „Самодержавья скиптр железный перекуем в кинжал свободы“.⁴

¹ И. Киреевский. „Сочинения“, М., 1911, стр. 105.

² П. Я. Чаадаев. „Сочинения“, М., 1913, т. I, стр. 335—341.

³ Альманах „Уrania“ на 1826 г., стр. 64—67.

⁴ „Русский Архив“, 1908, № 1, стр. 65, примеч. П. И. Бартенева.

В 1830 г. его дневник переполнен размышлениями о конституции. Он переписывает туда конституцию Июльской революции, не соглашаясь с нею только в пункте об отделении церкви от государства: „когда ослабла религия, ослабли <в Риме> и связи Форума. Свобода не мешает гласу бога; напротив, в устах его она гремит громом“ (запись 26 августа 1830 г.). Впрочем, в религиозных вопросах он проповедует терпимость, даже в этой черте не уклоняясь от такого, например, документа, как конституция Никиты Муравьева. Он подыскивает русские слова для обозначения парламента. „У нас для сената представительного есть прекрасное слово мир <„миръ“>, существующее у простых крестьян“ (запись 11 сентября 1830 г.). Тогда же он пишет стихотворение „Форум“, напечатанное много позже и в значительно смягченной редакции, а в рукописи звучащее как траурный плач по демократии древнего мира:

Распаялись связи мира:
Вольный Форум пал во прах;
Тяжко возлегла порфира
На его святых костях...

и далее:

Так прияли ж от отцов
Благороднейшую кровь
Недостойные потомки.¹

Тогда же он пишет свою трагедию „Ромул“, широко развернувшую его конституционные взгляды, а весной 1831 г. уже решительно расписывается под конституционной монархией: „Русская конституционная хартия, которую некогда даст Второй Петр Великий, будет именоваться: «Царь»“.²

Все это производит впечатление, что Шевырев пришел к конституционным идеям откуда-то слева, может быть, даже от республиканских настроений, и в последней записи дневника готов примириться с существованием царя. К этому же приводят и некоторые сторонние соображения. Вся полемика тех лет о том, были ли варяги призваны в Россию, или они ее завоевали, была в сущности спором о моральных основах русского самодержавия. „В новом мире, — писал Шевырев в дневнике 8 декабря 1830 г., — государства основались завоеванием, почему господствовало монархическое правление; в древнем же мире государства основались естественно — почему преимущест<венно> республика“. Естественная форма правления, по Шевыреву, оказывается, — республиканская, а самый вопрос о естественной форме правления отзывается Руссо, „Le contrat social“ которого он, кстати, и читал в это время. Отметим также, что, примиряясь с неизбежностью русской монархии, он при этом явно надеется на после-

¹ Стих. „Форум“ напечатано в украинском литературном сборнике „Молодик“ на 1843 г., ч. I, стр. 104; рукопись—автографы Шевырева, № 63, Архив С. П. Шевырева, ГПБ. Цит. по рукописи.

² Дневник С. П. Шевырева, т. I, запись 11 марта 1831 г. Архив С. П. Шевырева.

дующее самоотречение царя. „Основание оной «России» есть символ всей России и первое доказательство, что самодержавием она будет образована. Славяне призвали Норманнов дать им порядок — и Норманны им дадут его: тогда сами сложат с себя власть уже ненужную“ (Дневник, запись 20 января 1832 г.).

В 1830—1831 годах, в годы основательного пересмотра своих взглядов, Шевырев приходит к примирению с Николаем и даже, более того, откладывает первое и основное требование, конституционность монархии, до пришествия некоего „Второго Петра Великого“. В 1831 г. стало уже очевидно, что Николай этим „Вторым Петром Великим“ не будет.

Судьба конституционных устремлений Шевырева, заимствованных у Северного Общества и выродившихся в примирение с самодержавием под флагом славянофильских исторических изысканий о норманнах и их назначении и со всеми беспочвенными мечтами о будущем самоотречении царя, — это характерная судьба всякой революционной идеи в руках реформизма, вырождение революционной идеологии, оторванной от революционной тактики.

Конституция, — это не единственное, что взял Шевырев у декабристов из Северного Общества. Мы найдем у него и требование свободы книгопечатания, имеющее себе параллель в § 17 муравьевской конституции, и требования освобождения крестьян, восходящие к § 16, и мечты о гражданском равноправии с тем же смещением бюрократической и сословной иерархии, как и в § 32 той же конституции.

Изменилось только основное — изменилась революционная тактика. „Во многих кружках упорно продолжают анализировать причины, возбуждившие взрыв 14 декабря“, писал в одном из своих донесений М. Я. Фон-Фок.¹ К чему же приводил этот анализ подавленной революции? Об этом есть ясные и точные воспоминания Герцена: „всякий добросовестно мыслящий видел ужасное последствие полного разрыва народной России с Россией объевропеизованной“.² Корни славянофильства и западничества уходят к декабристам, к вопросу о дальнейших путях развития России, к вопросу о судьбах русской революции, и не может быть никаких сомнений в том, что именно понималось под тем или иным путем развития России. Для Шевырева путь европейский был путем революции снизу. „Наш путь, — писал он Погодину 27 октября 1829 года, — не путь крови (как французский), а путь труда, терпения, путь Христов“.³ „Одною из главных черт Истории Карамзина, — записал он в дневнике 22 июня 1830 г., — служит то, что он хотел Историю России представить совершенно Историею Европейского государства. Этой чертой Карамзин отражал направление века Александрова, когда Россию хотели выставить

¹ „Русская Старина“, 1881, кн. IX, стр. 172.

² А. И. Герцен. „Сочинения“, т. VI, СПб., 1917, стр. 364.

³ Письма С. П. Шевырева к М. П. Погодину — Дашковское собр., ИЛИ.

совершенно во всех отношениях Европейскою, направление, кончившееся 14-м декабря. Этот взгляд на Россию, как на совершенно Европейское государство, есть в России общий и вредный. Мы таки думаем, что мы Европейцы по роду и образованию. Надо переменить этот образ мыслей и скромно показать, что мы Азиатцы, преобразованные в Европейцев. Тогда только извинится медленность нашего образования“.¹ Многочисленные исторические реминисценции расшифровывают эту специфичность России еще полнее. Особенность России в том, что норманны были призваны образовать Россию, и вся русская история, особенно же личность Петра I, приводит Шевырева к убеждению, что самодержавие с этим успешно справляется. „Идея Геркулеса есть сила физическая, в высшей степени одушевленная любовью к благу человечества. Геркулес — деспот, но деспот, заключающий в себе идеал человека. Геркулес (или Геркулесы) непременно существовали в то время, когда общество человеческое еще не было устроено, когда людям нужна была палица, да страхом водворятся добродетели. Деспот, одушевленный благом человечества, есть бог воплощенный. Такие деспоты не только вредны, но необходимы.“² У нас такой Геркулес был Петр... Петр и Геркулес — одно явление. Геркулес водворяет человечество в людях; Петр водворяет Европейство (т. е. образованное человечество) в Россиянах. Оба — деспоты; оба — боги воплощенные“.³

Отсюда — вывод, решение вопроса о русской революции: „В России должно делать заговоры не с народом против царя, а с царем против народа, ибо в народе главное препятствие к образованию, а в царях всегда есть желание оно по толчку, данному Петром Великим, несмотря на немногие уклонения“.⁴ „Союз с царем против народа“ следует дополнить тою конкретною ролью, которая во имя дальнейшего политического и культурного преобразования России ложится на русское образованное общество. „... Поелику все коренные постановления государства тесно сопряжены с корнем жизни народа и его обычаями, — записывает он в дневнике 2 ноября, повидимому 1830 г., — то такую перемену произвести бы не вдруг, а поставить ее впереди, дабы подрастающие поколения могли воспитываться и выростать под влиянием будущего закона“.⁵ Отсюда у Шевырева, как и Киреевского и других любомудров, вырастает

¹ Дневник Шевырева, т. I, л. 91 об., отдел заметок для чтения „Русское“. Дата 1830 г. устанавливается рядом текстологических соображений и сопоставлений с его письмами к Погодину.

² Очевидная описка. Следует читать: „не только не вредны, но необходимы“.

³ Запись 28 декабря 1830 г. Дневник, т. I, л. 44 и об.

⁴ Дневник, запись в первой половине октября 1830 г. Насколько обща всем славянофилам была эта установка, видно из того, что почти в тех же словах мы найдем эту мысль в записке Чаадаева, написанной в защиту Киреевского и рисующей взгляды Киреевского. См. П. Чаадаев, „Сочинения“, т. I, стр. 335 сл.

⁵ Дневник, том поступления 1928 г., записи при чтении книги Сегюра „История России и Петра“. Архив С. П. Шевырева. ГПБ.

понимание литературы уже не только как искусства, но и как важного участка народного просвещения, как орудия пропаганды культуры. Отсюда „всякому из нас по частям должно продолжать дело Петра и потом еще готовить Россию и к обратному шагу, т. е. возвращать Русских к Русскому“.¹ Литература мобилизуется для решения реформистских задач славянофилов.

Так идет на примирение с Николаем этот декабрист, опоздавший родиться. Так идеология Северного Общества, отказываясь от революционной тактики, превращается в реформистскую идеологию раннего славянофильства. Если славянофильство на рубеже 20-х—30-х годов по существу было движением реформистским, то силою вещей в процессе роста капитализма, в процессе обострения борьбы за революционную идеологию славянофилы, в частности Шевырев,² превращаются уже в 40-х годах в орудие контрреволюционное, прикрывая подлинный исторический смысл своей позиции сложной религиозной, философской и исторической аргументацией. Впрочем, сами они хорошо сознавали исторический смысл своих теорий. Недаром Погодин записал у себя в дневнике в 1844 г., когда московский попечитель граф Строганов не пропускал к печати сочувственных статей о курсе лекций Шевырева по древней русской литературе (все, казалось бы, чисто академические вопросы!): „Ну, что значат его <гр. Строганова. М. А.> действия? Готовит ли он революцию для Александра Николаевича и не хочет, чтобы кто-нибудь делал, что мог, для ее предупреждения?“³ Вот реальный исторический смысл славянофильства 40-х годов!

Такова была эволюция политических взглядов любомудров. Я вынужден был остановиться на ней столь подробно, хотя для моей непосредственной темы важен один небольшой этап этой эволюции, так как в нашей науке до сих пор существует мнение, что „мистическая завеса шеллингианства позволяла им <любомудрам> не видеть торжества политической реакции в эпоху капитуляции дворянской интеллигенции перед

¹ Письмо к М. П. Погодину 27 октября 1829 г. Дашковское собр., Пушкинский Дом Академии Наук СССР.

² Мы не отделяем, как делалось иногда, так называемой официальной народности от славянофильства, так как по существу это была единая группа, и Хомяков, например, в своих письмах к Шевыреву говорит о „Москвитянине“, как о „своем“ органе. Если в глазах западников Шевырев и Погодин были наиболее одиозны из славянофилов, то это объясняется тем, что они более откровенно, более жестко, может быть, более грубо выговаривали то, что являлось идейной базой всей группы. Кроме того они, по своему общественному положению профессоров московского университета и единственных профессионалов-журналистов славянофильской группы, были более зависимы от николаевского режима. Классовая база дворянской фронды была, однако, единая и цели тождественны, хотя, как у всех славянофилов, у Шевырева были индивидуальные оттенки в исторической, религиозной и философской аргументации своей позиции.

³ Н. Барсуков. „Жизнь и труды Погодина“, т. VII, стр. 463.

правительством Николая I¹. Я не мог подойти непосредственно к нужному мне этапу этой эволюции, так как, вырванный из целого, он казался бы висящим в воздухе.

Раннее славянофильство, как это видно из всех приведенных материалов, зародилось не раньше самого перелома 20-х и 30-х годов. Наиболее ранние реформистские высказывания Шевырева датируются 1829 г. Еще в 1828 г., как мы имели уже случай показать, Шевырев был настроен весьма радикально.

Каковы же были настроения любомудров, предшествовавшие реформизму? Как пережили любомудры первые годы нового царствования, — казни и ссылки декабристов, жандармский произвол вновь учрежденного III Отделения, широко развернутый шпионаж, тайный надзор, — все новые условия общественной жизни после подавленной революции?

В дневнике Погодина имеется запись от 23 июля 1826 г., неоднократно цитировавшаяся, но как-то до конца не раскрытая. „Приехал Веневитинов, — записал Погодин, — говорили об осужденных <декабристах>. Все жены едут на каторгу. Это делает честь веку. Да иначе и быть не могло. У Веневитинова теперь такой план, который у меня был некогда. Служить, выслуживаться, быть загадкой, чтоб, наконец, выслужившись, занять значительное место и иметь большой круг действий. Это план Сикста V“.

Запись эта раскрывает очень многое. Еще год назад, в 1825 г., Веневитинов готовился к открытым уличным схваткам, учился фехтованию и верховой езде, горел желанием принести себя в жертву на алтарь отечества и т. д.² Как ни наивны были эти революционные порывы Веневитинова, они достаточно ярко рисуют любомудров до момента восстания. После же восстания и его разгрома Веневитинов выступает с новым планом, — „планом Сикста V“. Сын бедного садовника, мелкий монастырский служака, проложивший дорогу к папскому престолу лестью, интригами, а главное 15-летним притворством, тщательной маскировкой подлинных своих намерений, — вот пример, которому хотел следовать Веневитинов. Революционный романтизм любомудров мог, надо думать, вызвать к жизни идею подобного общественного поведения. „Служить, выслуживаться, быть загадкой, чтоб, наконец, выслужившись, занять значительное место и иметь большой круг действий“, т. е. начать выполнение глубоко тайных замыслов. В 1826 г. Веневитинов ходил по Москве кардиналом Монтальто с его изречением „грехом сотворю плод добрый“, и это был не случайный образ во второй половине 20-х годов. Таким же кардиналом Монтальто ходил по Москве, повидимому, и Шевырев: недаром он

¹ С. Дурьлин. „Шевырев и Гете“; см. его „Русские писатели у Гете“, „Литературное Наследство“, № 4—6, 1932, стр. 426.

² А. Кошелев. „Записки“, Берлин, 1884, стр. 15. Ср. также Д. Благой, „Подлинный Веневитинов“, вступительная статья к „Полн. собр. соч.“ поэта, Academia, 1934.

написал биографию Сикста V, любясь „выдержанным сильным характером гения, задумавшего великие дела“.¹ Любомудры как будто собирались проникнуть в бюрократическую систему Николаевской России, чтоб взорвать ее изнутри.

Этот последекабрьский общественный идеал либеральной московской молодежи, несмотря на всю свою юношескую наивность, не мог возникнуть у любомудров самостоятельно. В нем необходимо видеть влияние человека, о присутствии которого в Москве в эти годы нельзя забывать ни на одну минуту, — Адама Мицкевича. Именно в эти годы, в 1826—1827 гг., вращаясь в кругу любомудров, Мицкевич пишет своего „Конрада Валленрода“, в котором по сути дела выражает те же идеи.

Конрад Валленрод у Мицкевича — это не просто отвлеченный романтический образ. Есть данные полагать, что он для самого Мицкевича был методом борьбы с русским самодержавием. По крайней мере в третьей части „Дедов“ герой Густав, носящий несомненные автобиографические черты, пишет на колонне, поддерживающей тюремные своды: „D. O. M. Gustavus obiit MDCCCXXIII Calendis novembris, hic natus est Conradus MDCCCXXIII Calendis novembris“ (Густав умер в 1823 г., в первый день ноября; здесь родился Конрад в 1823 г., в первый день ноября). Стоит сопоставить даты, чтоб убедиться в автобиографическом значении этой записи: Мицкевич был арестован 23 октября 1823 г. и содержался в камерах Базилианского монастыря в Вильне по 21 апреля 1824 г.

Мицкевич вышел из тюрьмы законченным борцом, готовым положить все свои силы на борьбу с русским самодержавием за национальную независимость своей родины. Он живет в Москве, стараясь успокоить подозрительность николаевской жандармерии, глубоко затаить свою подлинную и горячую ненависть к русскому самодержавию для того, чтобы, вырвавшись из его рук, всю свою жизнь положить на борьбу с ним.

Конечно, прославление предательства как способа политической борьбы не имеет ничего общего с подлинно революционной тактикой. Валленродизм был методом бесплодным и безнадежным. Более того, с точки зрения общественной морали он мог внушать только естественное человеческое отвращение и в конечном счете сыграл не прогрессивную, а регрессивную роль. В Польше на этом образе в течение долгого времени воспитывалась националистическая молодежь.

И если любомудры, приняв революционную идеологию декабризма без ее революционной тактики, через наивный и бесплодный валленродизм пришли к столь же беспочвенному реформизму и в конце концов скатились в лагерь реакции, то этот путь лучше всего характеризует их неспособность к подлинно революционной борьбе с самодержавием.

¹ С. П. Шевырев. „Сикст V“, „Библиотека для Чтения“, 1834, № 6, „Науки“, стр. 48.

Живя в Москве и близко сойдясь с Соболевским, Шевыревым и братьями Киреевскими, Мицкевич не скрывал от них своих чувств и настроений. В своем известном посвящении к 3-й части „Дедов“ он обращается к своим московским друзьям:

Пока, извиваясь в оковах
Змеей молчаливой, я тихим казался тирану,
Лишь вам рассказал я о чувствах моих тайниковых...¹

Любомудры, несомненно, знали о подлинном значении Конрада Валленрода. Знал, вероятно, и Пушкин. Встречаясь с Мицкевичем и любомудрами в течение зимы 1826—1827 г., Пушкин, конечно, мог узнать об этой идее и тогда. Мог узнать от Мицкевича и в 1828 г. в Петербурге, куда Мицкевич переехал в апреле 1828 г.

В марте 1828 г. Пушкин начинает перевод „Конрада Валленрода“, но сейчас же бросает его и с начала апреля (как это установлено Н. В. Измайловым) начинает работать над „Полтавой“ (первоначально „Мазепа“), в которой одним из основных героев является тоже предатель, изменник Мазепа, коварный враг России и Петра. Измена Мазепы мотивируется при этом не благородным вдохновением борьбы за независимость Украины, не патриотизмом украинского гетмана, а всего-навсего актом личной мести за нанесенное когда-то оскорбление. Образ Мазепы — полная противоположность идеализированному образу Сикста V или Конрада Валленрода. А Сикста V мы находим и в Полтаве, — этому образу уподобляется Мазепа:

Согбенный тяжко жизнью старой,
Так оный хитрый кардинал,
Венчавшись римскою тиарой,
И прям, и здрав, и молод стал.²

„Полтава“ явилась, несомненно, ответом Пушкина на тот общественный комплекс идей, который лежал в основе Конрада Валленрода и Сикста V. Пушкин тоже был конституционалистом, но его отношения с Николаем были значительно сложнее. Возвращенный из ссылки, он ни на минуту не забывает о своих друзьях — декабристах и настойчиво напоминает о них в стихах, обращенных к Николаю.³ В этом он видит пафос своей общественной позиции.

Именно поэтому Пушкин, которому лицемерие Сикста V, а следовательно и Конрада Валленрода было глубоко отвратительно, заклеил

¹ „Друзьям в России“, посвящение третьей части „Дедов“. Цитировано в переводе А. Виноградова, А. Мицкевич, „Избранные произведения“, ГИЗ, 1929, стр. 247.

² Б. В. Томашевскому, обратившему мое внимание на это сравнение, выражаю живейшую благодарность.

³ Ср. об этом ряд тонких наблюдений Б. Томашевского в его статье „Из пушкинских рукописей“, „Литературное Наследство“, № 16-18, 1934, стр. 298—306.

валленродизм в облике предателя Мазепы. Нет таких черных красок, которых Пушкин не использовал бы для этого образа.

С какой *доверчивостью лживой,*
 Как добродушно на пирах
 Со старцами старик болтливый
 Жалеет он о прошлых днях,
Свободу славит с своевольным,
Поносит власти с недовольным,
 С ожесточенным слезы льет,
 С глупцом разумну речь ведет!
 Немногим, может быть, известно,
 Что дух его неукротим,
 Что рад и *честно и бесчестно*
 Вредить он недругам своим;
 Что ни единой он обиды
 С тех пор, как жив, не забывал,
 Что далеко *преступны виды*
 Старик надменный простирает;
 Что он *не ведает святыни,*
 Что он *не помнит благостыни,*
 Что он *не любит ничего,*
 Что кровь готов он лить как воду,
 Что *презирает он свободу,*
 Что *нет отчизны для него,*

Или в другом месте:

Во тьме ночной они как *воры*
 Ведут свои переговоры,
Измену ценят меж собой,
 Слагают цифр универсалов,
Торгуют царской головой,
Торгуют клятвами вассалов.
 Какой-то нищий во дворец
 Неведомо отколе ходит,
 И Орлик, гётманов делец,
 Его приводит и выводит.
 Повсюду тайно *сеют яд*
 Его подосланные слуги...

Ни одной положительной, человеческой черты не находит Пушкин для образа Мазепы. Это злодей высшей марки, вполне законченный, заклеянный, воплощение черной измены.

Мы указывали уже выше на то особое значение, какое придавала эпоха образу Петра, противопоставленного Пушкиным Мазепе. Петр был прежде всего преобразователем и именно его монументальному облику противостоят низкие происки врага:

Прошло сто лет — и что ж осталось
 От сильных, гордых сих мужей,
 Столь полных волею страстей?
 Их поколение миновалось —

И с ним исчез кровавый след
Усилий, бедствий и побед.
В гражданстве северной державы,
В ее воинственной судьбе,
Лишь ты воздвиг, герой Полтавы,
Огромный памятник себе.

Ксенофонт Полевой в своих записках вспоминает об одном разговоре Пушкина с Мицкевичем о „Полтаве“ в 1828 г. „Пушкин объяснял Мицкевичу план своей еще не изданной тогда «Полтавы» (которая первоначально называлась «Мазепою») и с каким жаром, с каким желанием передать ему свои идеи старался показать, что изучил главного героя своей поэмы <т. е. очевидно Мазепу. М. А.>. Мицкевич делал ему некоторые возражения о нравственном характере этого лица“¹.

При всей случайности и суммарности своих наблюдений Полевой хорошо уловил основные акценты спорщиков. Мицкевич, как и позднее ряд критиков „Полтавы“, был не удовлетворен общественным обликом Мазепы, а Пушкин не только в разговорах, но и в своих заметках о „Полтаве“ постоянно ссылался на историческую точность. В сущности, Мицкевич и Пушкин говорили уже на разных языках.

Пути Пушкина и Мицкевича в некоторых отношениях были чрезвычайно сходны. У обоих в прошлом были связи с кругами, борющимися с самодержавием. Оба они после разгрома этих кругов пострадали менее всех.

Однако отношение к самодержавию их решительно разделяло. В этом смысле свидетельство Полевого о спорах, имевших место между ними, характерно и любопытно, потому что в нем уже намечается расхождение, которое со временем решительно поставит их в разные лагеря.

В эволюции пушкинского социально-политического мировоззрения „Полтаве“ обычно уделяется значительное место. Ее изучают в плане отношений Пушкина к декабристам и Николаю и трактуют либо как яркий показатель „поправения“ Пушкина, как „измену“ кругу декабристских идей, либо, наоборот, подчеркивают, что „Полтава“ не противостоит политической системе декабристов, что в своей трактовке национально-освободительного движения Украины Пушкин находит себе поддержку, например, в „Русской Правде“ Пестеля.

Думается, что обе эти трактовки „Полтавы“ мало плодотворны. Нельзя сопоставлять идейный комплекс „Полтавы“ с политической системой декабристов, игнорируя разгром восстания 1825 года и дальнейшую эволюцию социально-политических идей декабристов. В условиях разгрома революционного движения круг идей декабристов неизбежно должен был

¹ Кс. Полевой. „Записки“, ч. I, СПб., 1860, стр. 215—216; также в новом издании: „Николай Полевой. Материалы по истории русской литературы и журналистики 30-х годов“. Под ред. Вл. Орлова, Л., 1934, стр. 207—208.

вступить в новую фазу своего развития, неизбежно должны были возникнуть новые решения исторических вопросов, стоявших перед страной, неизбежны были поиски новой тактики борьбы с самодержавием.

„Полтаву“ можно и нужно изучать именно в свете этой новой фазы проблематики русской революции. Тогда окажется, конечно, что Пушкин был исторически более дальновзорким, чем Мицкевич и московские любомудры, и раньше их разгадал весь беспочвенный авантюризм „валленродизма“, как средства борьбы с самодержавием. Тогда окажется, что мощный образ Петра, выдвигаемый Пушкиным в противовес мрачному ренегату Мазепе, был прежде всего образом царя-преобразователя и что в своих решениях основных социально-политических вопросов Пушкин шел по пути самых прогрессивных кругов русской общественности конца двадцатых и начала тридцатых годов.



Ю. ТЫНЯНОВ

О „ПУТЕШЕСТВИИ В АРЗРУМ“¹

1

1828 г. был тяжелым годом в жизни Пушкина. Дело о распространении стихов „Андрей Шень“ (март 1828 г.), расследование „по высочайшему повелению“ „по жалобе, принесенной крепостными людьми митрополита Серафима“ о развращающем влиянии на них „Гавриилады“ (июнь—июль), кончившееся установлением секретного надзора (август), допросы Пушкина, подписка в том, чтобы он ничего не выпускал без цензуры (август); с другой стороны — идеологическая ссора с Катениным, в „Старой были“, посвященной Пушкину, обвинявшим его в лести самодержцу, — Катениным, являвшимся одним из представителей старых друзей, — таков этот мучительный год.

На просьбу Пушкина об определении его в действующую против турок армию — следует ледяной „высочайший“ отказ (20 апреля). На завтра следует просьба Пушкина об отпуске на 6—7 месяцев в Париж. Через 2 дня получен отказ. Желание ехать либо в Грузию, либо в чужие края засвидетельствовано еще в письме к брату 8 мая 1827 г. Одновременно и Вяземский приходит к дилемме: „или в службу или вон из России“. Желанием „экспатрироваться“ проникнуты письма П. А. Вяземского к А. И. Тургеневу 1827—1829 гг.

Не прося более разрешения властей, Пушкин 5 марта 1829 г. берет подорожную в Тифлис и 1 мая выезжает в Грузию. Между тем уже 22 марта Бенкендорф сообщает о его поездке С.-Петербургскому военному генерал-губернатору и делает распоряжение о слежке. Этим объясняется как усиленная слежка во все время пребывания Пушкина на Кавказе, так и то обстоятельство, что Паскевич разрешил Пушкину прибыть в действующий корпус: без сомнения, причиной была не только надежда самолюбивого Паскевича, что Пушкин воспоет его подвиги, но и удобства непосредственного наблюдения над опальным поэтом.

¹ Настоящая статья основана на материалах доклада, прочтенного на открытом заседании Пушкинского комитета Государственного Института истории искусств в 1928 г.

Между тем не следует забывать намерения — ехать либо в Грузию, либо „вон из России“. Здесь, может быть, особое значение приобретает фраза в письме Вяземского к жене от 7 мая 1828 г. (т. е. уже после отказа Пушкину в разрешении поездки на театр военных действий, и в Париж): „Пушкин едет на Кавказ и далее, если удастся“. Слова „далее, если удастся“, могут означать самый театр военных действий (Закавказье), хотя следует отметить, что на языке того времени театр этот был именно „на Кавказе“. Быть может, слова „и далее“ имеют здесь более широкое значение.

В „Путешествии в Арзрум“ (глава 2) есть место, показывающее, как мысль о „загранице“ сочеталась с путешествием в Арзрум: „Вот и Арпачай, сказал мне казак. Арпачай! наша граница! Это стоило Арарата... Никогда еще не видал я чужой земли. Граница имела для меня что-то таинственное; с детских лет путешествия были моею любимую мечтою. Долго вел я потом жизнь кочующую, скитаясь то по Югу, то по Северу и никогда еще не вырывался из пределов необъятной России. Я весело въехал в заветную реку и добрый конь вынес меня на турецкий берег. Но этот берег был уже завоеван: я все еще находился в России“.

Недозволенная поездка Пушкина входит в ряд его неосуществленных мыслей о побеге.

2

П. А. Вяземскому принадлежит точная формулировка отношения к кампаниям 1828—1829 гг. группы недовольных: „Война турецкая не дело отечественное, она не русская брань 1812 года“. У Вяземского это отношение было резко выражено. В письме к жене от 18 марта 1828 г. он пишет: „У нас ничего общего с правительством быть не может. Je n'ai plus ni chants pour toutes ses gloires, ni larmes pour tous ses malheurs“ („У меня нет ни песен для всех его подвигов, ни слез для всех его бед“).

Если отношение Пушкина к кампаниям 1828—1829 гг. выражается формулою:

Россию вдруг он оживил
Войной, надеждами, трудами,

то все же взгляд на завоевательные войны 1828—1829 гг. как на дело „правительственное, а не отечественное“, характерен и для Пушкина в том смысле, что он был несогласен не столько с войною, сколько с теми, кто ее вел, и с тем, как ее вели. В этом смысле как нельзя более показательно, что в самом начале своей поездки Пушкин делает крюк в „двести верст лишних“ (что вовсе не так обычно при тогдашнем способе передвижения), чтобы увидеться с вождем недовольных — только что уволенным в отставку опальным Ермоловым. Приведенные Пушкиным в тексте „Путешествия“ разговоры с Ермоловым противоречат его же

словам о том, что „о правительстве и политике не было ни слова“. Характерно, что по позднему свидетельству Погодина, Ермолов категорически отказался рассказать „о предметах разговоров с Пушкиным“.¹

О том, каких непосредственных отзывов ждали от Пушкина в связи с войною официальные круги и как они были разочарованы, свидетельствует статья Булгарина 1830 г. („Северная Пчела“, 22 марта 1830, № 35): „Итак надежды наши исчезли. Мы думали, что автор Руслана и Людмилы устремился за Кавказ, чтоб напитаться высокими чувствами поэзии, обогатиться новыми впечатлениями и в сладких песнях передать потомству великие подвиги русских современных героев. Мы думали, что великие события на Востоке, удивившие мир и стяжавшие России уважение всех просвещенных народов, возбудят гений наших поэтов, — и мы ошиблись. Лиры знаменитые остались безмолвными, и в пустыне нашей поэзии появился опять Онегин, бледный, слабый... сердцу больно, когда взглянешь на эту бесцветную картину“.

Отклика на военные события требовала вся официальная и военная среда. Так, например, официальный военный корреспондент „Северной Пчелы“ И. Радожицкий, описывая занятие Арзрума, так кончает свою корреспонденцию: „Дальнейшие подробности об Арзруме, ежели буду иметь время, сообщу вам в последующих письмах; но скажу вам, что вы можете ожидать еще чего-либо нового, превосходного от А. С. Пушкина, который теперь с нами в Арзруме“ („Северная Пчела“, 22 августа 1829, № 101). Стихотворения Пушкина, прославляющие победы, были поставлены в официальный порядок дня.

Между тем, непосредственно вывезенные поэтом из военного лагеря произведения говорят не только о „неисполнившихся надеждах“, но и о прямой полемике. Таковы стихотворения „Из Гафиза“ и „Делибаш“. Первое, опубликованное в 1830 г., вызвало ядовитую рецензию „Вестника Европы“, показывающую, что значение даты стихотворения: „Лагерь при Евфрате“ отлично было понято критикой: „Стишки из Гафиза, на коих значится в подписи: *Лагерь при Евфрате*, показывают, что наш любимый Поет вывез кое-что и из-за Кавказа, на утешение наше“ („Вестник Европы“, 1830, № 3, стр. 248).

Оба стихотворения, под которыми имеются авторские даты, под первым „5 июня 1829. Лагерь при Евфрате“, под вторым „7 сентября 1829 г.“. — даты, подчеркивающие, что это непосредственный поэтический отклик на военные события, до сих пор не анализировались. Между тем оба бесконечно далеки от военных од. Более того, вместо обычных воинственных обращений, свойственных этому роду произведений, оба стихотворения содержат призывы противоположного свойства, — к миру. Первое

¹ „А. П. Ермолов. Материалы для его биографии, собранные М. Погодиным“, М., 1864, стр. 413.

стихотворение носит мнимый заголовок „Из Гафиза“, преследующий цели не столько восточной стилизации, как это принято думать, сколько политической осторожности:

*Не пленяйся бранной славой,
О красавец молодой.
Не бросайся в бой кровавой
С карабахскою толпой!
.....
... боюсь: среди сражений
Ты утратишь навсегда
Скромность робкую движений,
Прелесть неги и стыда!*

Персидская окраска стихотворения дана заглавием („Из Гафиза“), а также названием Карабаха („карабахскою толпой“; первоначальный вариант: „христианскою толпой“). Правда, конкретная дата, отлично оцененная рецензентом „Вестника Европы“, лишала убедительности персидский классический колорит, но все же явная демонстративность лирической темы была этим ослаблена. Однако, в стихотворении „Делибаш“ повторяется тот же призыв, но уже с конкретными чертами турецкой кампании и по отношению к *обеим* враждующим сторонам:

*Делибаш! не суйся к лаве...
Эй, казак! не рвися к бою...*

Главный же пункт несогласия с требованиями официальной среды и критики был в самом жанре: вместо оды была дана жанровая батальная сценка, в которой лапидарная поэтическая точность и непосредственность к концу переходят в иронию:

*Мчатся, сшиблись в общем крике...
Посмотрите! каковы?...
Делибаш уже на пике,
А казак без головы.*

Здесь нейтралитет поэтического наблюдателя явно переходит в сатирическое „равнодушие“ поэта.

Таковы непосредственные отклики на военные события. Сразу же после заключения мира Пушкин пишет „Олегов щит“, стихотворение, в котором упрек Дибичу за нерешительность действий вырастает в *сатиру* классического непроницаемого стиля¹ (ср. другой пример этого

¹ Ср. Н. И. Черняев, „Критические статьи и заметки о Пушкине“, Харьков, 1900, стр. 339—364.

сатирического жанра: классическая и вместе конкретная личная сатира „На выздоровление Лукулла“).

Таким образом, непосредственный отклик на военные события 1829 г. — маленькая сатирическая трилогия: „Из Гафиза“, „Делибаш“, „Олегов щит“. Первые две части этой трилогии содержат призывы к миру и иронический протест против войны.

3

Рукописи „Путешествия в Арзрум“ распадаются на две группы: к 1829 г. относится текст, который условно можно назвать „Путевыми записками“. Именно с подзаголовком: „Извлечено из путевых записок“ был напечатан Пушкиным отрывок „Военная Грузинская Дорога“ в „Литературной Газете“, 1830 г., № 6. Факсимиле рукописи отрывка с цензурными изъятиями, поправками и искажениями были воспроизведены в „Историческом Вестнике“, 1899 г., кн. 5, стр. 29—68 (ныне рукопись в Пушкинском Доме, Лицейский фонд автографов Пушкина).

В „Литературной Газете“ текст отрывка подвергся еще авторской правке: частично переработаны и сокращены два абзаца. Среди сокращений выброшена цитата из Рылеева:

Кобылиц неукротимых
Гордо бродят табуны.

(Петр Великий в Острогоске).

Хотя последнее сокращение сделано автором вероятно из соображений цензурной осторожности, но восстанавливать цитату в виду переработки всего абзаца было бы произвольным. Ни абзац, ни цитата не подверглись цензурным изменениям.

К первой группе текстов прежде всего относится рукопись Ленинской библиотеки № 2383 (35 страниц текста, бумага 1828 г., из них первые пять — беловые, остальные — черновые). Сюда же примыкает одна страница из собрания А. Ф. Онегина, *Puschkiniana*, № 2, — отрывок из 5-й главы (ныне в Пушкинском Доме). Эти записи явились материалом, использованным при работе над „Путешествием в Арзрум“, вошли не полностью и подверглись переработке.

К группе текстов собственно „Путешествия“ — относится чистовая рукопись его (Ленинская библиотека, № 2383). Рукопись является текстом, подготовленным для отдельного издания, включающим „Предисловие“ и „Приложения к Путешествию в Арзрум“.¹ В этом убеждает „обложка“

¹ См. мою статью „Путешествие в Арзрум“: „Полн. собр. соч. А. С. Пушкина“, 1931, т. VI, „Путеводитель по Пушкину“, стр. 298.

„Предисловия“, на которой рукою Пушкина, с его же графическим начертанием типографских концовок обозначено:

ПРЕДИСЛОВИЕ

1835

СПБ

Весь текст, за исключением отрывка, совпадающего с „Военной Грузинской Дорогой“, и „Приложений“, написан рукою Пушкина на бумаге 1834 г. Названный отрывок — писарская копия отрывка, напечатанного в „Литературной Газете“, на бумаге 1830 г.; „Приложения“ — на бумаге без водяных знаков. Самое заглавие: „Приложения к Путешествию в Арзрум“ с концовкою написано рукою Пушкина на отдельном листе, в соответствии с планом издания отдельною книгою. „Приложения“ составляют: обширное извлечение на французском языке: „Notice sur la secte des Yézidis“¹ и „Маршрут от Тифлиса до Арзрума“ на отдельном листке, написанный рукою Пушкина и переписанный писарем непосредственно после „Notice“.

К этой же группе текстов относится вариант „Предисловия“ на листах 27₁₋₂—71 рукописи № 2387Б Ленинской библиотеки, на бумаге со знаками 1834 г., а также цензурный экземпляр рукописи „Предисловия“ (цензурное разрешение 28 сентября 1835 г., цензор В. Семенов), находящийся в Париже.

„Предисловию“ Пушкин придавал, по обстоятельствам опубликования, совершенно особое значение, чем и объясняется последняя фраза „Предисловия“: „... решил напечатать это предисловие и выдать свои путевые записки“, где подчеркивается особое, самостоятельное значение именно вводных объяснительных строк публикации.

„Путешествие в Арзрум во время похода 1829 г.“, несмотря на намерение Пушкина издать его отдельной книгой и шаги, предпринятые с этой целью, было им напечатано (с „Предисловием“) только в первой книге „Современника“ 1836 г.

Впоследствии текст Пушкина печатался обычно так: в основу брался первопечатный текст „Современника“ и к нему в разных местах делались дополнения по I группе текстов („Путевые записки 1829 г.“). Оставляя в стороне вопрос о том, можно ли в окончательный текст произведения, написанного в 1835 г., вносить произвольные и случайные дополнения по черновым записям 1829 г., когда замысел „Путешествия“ еще никак не был оформлен, — следует указать, что выбор первопечатного текста „Современника“ крайне неудачен. Текст этот печатался явно без авторской корректуры. Так объясняются знаменитые географические и факти-

¹ „Notice“ — перевод из книги Gardzoni: „Description de pachalik de Bagdad“, Paris, 1808. Источник впервые указан в книге М. А. Цявловского, Л. Б. Модзалевского и Т. Г. Зенгер „Рукою Пушкина“, Academia, 1935.

ческие „ошибки“ Пушкина: написание названия Тифлиса *Тбимакалар* (глава 2) и эпизод главы 5-й о Мушском паше, который „приезжал к графу Паскевичу просить у него места для своего племянника“. Е. Г. Вейденбаум первый указал на неправильность написания и на ошибку в изложении эпизода о Мушском паше, который, напротив, просил Паскевича об устранении своего племянника.

Между тем в чистовой рукописи „Путешествия“, подготовленной Пушкиным к отдельному изданию, ошибок этих вовсе нет.

Написание грузинского названия у Пушкина „Тбилис-Калар“,¹ а о Мушском паше сказано, что он приезжал к Паскевичу „просить у него места своего племянника“. Таким образом, единственно правильным является печатание „Путешествия“ по *беловой рукописи* (ранее не подвергавшейся обследованию настолько, что невключенным оказался целый эпизод в конце главы второй, не попавший в текст „Современника“). Помимо правильного текста, эта рукопись важна еще в отношении конструкции: текст разбит на множество абзацев. Деление на главы, повидимому, произведено Пушкиным перед самым печатанием в „Современнике“, но абзацы, имеющие смысловое значение, должны быть сохранены.

Вместе с тем — из „Путевых записок“ должны быть взяты первые 4 страницы, начинающие произведение. Они перебелены Пушкиным, касаются посещения А. П. Ермолова и выпущены явно по цензурным причинам, причем пропуск отмечен дважды точками в начале печатного текста „Современника“:

„... Из Москвы поехал я на Калугу, Белев и Орел, и сделал, таким образом, двести верст лишних, за то увидел^{***} ... Мне предстоял путь через Курск и Харьков“ и т. д.

4

„Путешествие в Арзрум“ было написано в 1835 г. на основании записей 1829 г. При этом используется большой научный и литературный аппарат. Тогда же пишется „Предисловие“, 4 варианта которого доказывают, какое значение придавал ему Пушкин. В значительной мере самое создание и опубликование „Путешествия“, а также напечатание „Предисловия“ вызваны появлением книги французского дипломатического агента Виктора Фонтанье: „*Voyages en Orient, entrepris par les ordres du Gouvernement Français de 1830 à 1833. Deuxième voyage en Anatolie*“.²

В этой книге, резко направленной против восточной политики Николая I, с точки зрения французских колониальных интересов, содержится упоминание о Пушкине с иронией по адресу „бардов, находящихся в свите“;

¹ Ср. неверное написание в официальных „*Mémoires historiques et géographiques sur les pays situés entre la Mer Noire et la Mer Caspienne*“, à Paris, 1797; p. 53: Tbilis-Cabar.

² См. мою заметку „Фонтанье“ в „Путеводителе по Пушкину“, стр. 361—362.

наконец, в той же главе содержится упоминание и о „сюжете не поэмы, но сатиры“, который нашел на войне выдающийся поэт. Весьма возможно, что до осведомленного дипломата дошло известие о „маленьких сатирах Пушкина“, проанализированных выше. Во всяком случае, обвинение было столь веско, что вынуждало „Предисловие“ и опубликование *всего* (курсив Пушкина), что им „было написано о походе 1829 года“.

В предисловии (1-й вариант) сначала содержалось: 1) подробное официальное объяснение поездки, повидимому возбуждавшей не только официальное недовольство, но и толки; 2) прямая и резкая полемика с критикой, требовавшей отклика на события и, наконец, 3) возражение на обвинение Фонтанье. В объяснении цели поездки интересен вариант основной рукописи, где в словах: „для свиданья с братом и некоторыми из моих приятелей“ — слова „братом и“ вставлены. Объяснения в 3-й и 4-й редакциях отпадают начисто, повидимому из-за неубедительности: свидание с братом не состоялось, а приятели, упоминаемые в „Путешествии“, — люди, сплошь скомпрометированные (не исключая Раевского): таковы Вальховский, М. Пущин, Коновницын.

Полемика с критикой сокращается. Главное место занимает ответ Фонтанье, в котором, однако, слышится иногда и ответ русской критике, напр.: „Из русских поэтов, бывших в турецком походе, знал я только об А. С. Хомякове и об А. Н. Муравьеве. Оба находились в армии графа Дибича. Первый написал в то время несколько прекрасных лирических стихотворений; второй обдумывал свое путешествие к Святым Местам, произведшее столь сильное впечатление. Но я не читал никакой сатиры на Арзрумский поход“. Здесь, разумеется, дано понять критикам, что непосредственного ответа на события не дал никто из поэтов (этим же объясняется сочувственная рецензия Пушкина на „Путешествие“ А. Н. Муравьева 1832 г., оставшаяся недописанной).¹ Обращает на себя внимание умолчание в этом списке имени знакомого Пушкину В. Г. Теплякова, отправленного во время войны с турками на Балканский полуостров с археологическими, а быть может и политическими поручениями и выпустившего в 1833 г. „Письма из Болгарии“. Пушкин следил за творчеством Теплякова, поместил в 1836 г. в III части „Современника“ известную статью о „Фракийских элегиях“ — и умолчание можно объяснить цензурными соображениями и нежеланием усложнять вопрос: имя Теплякова было опальным, сам он — политическим ссыльным.

5

„Путешествие в Арзрум“ и „Предисловие“, изданные с целью оправдания, содержат, однако, в основном все характерные черты отношения к событиям, описанные выше: стилистический „нейтралитет“, складываю-

¹ См. мою заметку об А. Н. Муравьеве в „Путеводителе по Пушкину“ стр. 248.

щийся в итоге в авторскую фигуру нейтрального, сугубо „штатского“ и непонимающего наблюдателя — автора „Путешествия“; помимо этого — ироническое изображение „героя“ войны — Паскевича, со сделанными в осторожнейшей форме, но серьезными возражениями чисто военного характера, обнаруживающими тонкую военную осведомленность „штатского“ автора.¹

Осуждение Паскевича как стратега сделано не только в 1-й главе от имени Ермолова. В тексте „Современника“ и цензурном предпечатном варианте предисловия понадобилось изъятие именно в том месте, где перечисляются военные подвиги Паскевича, доказывающие его дарования. Приводим это место по белой рукописи:

„Я не вмешиваюсь в военные суждения. Это не мое дело. Может быть, смелый переход через Саган-лу, движение коим граф Паскевич отрезал Сераскира от Османа-паши; поражение двух неприятельских корпусов в течение одних суток, быстрый поход к Арзруму; *углубление нашего пятнадцатитысячного войска в неприятельскую землю на расстоянии пятисот верст, оправданное полным успехом* — все это может быть в глазах военных людей чрезвычайно забавно“.

Подчеркнутая фраза изъята, а последняя фраза переработана. В нее включен иронический выпад против Фонтанье: „может быть, и чрезвычайно достойно посмеяния в глазах военных людей (каковы, например, г. Купеческий консул Фонтанье...)“.

Выброшенная фраза касается одного из самых спорных стратегических вопросов; план кампании 1829 г. вызывал осуждения. Даже в официальной книге русского дипломата, изданной в Париже в 1840 г., признается слабость русского оперативного корпуса, углубившегося во вражескую территорию.²

Это суждение развито в конце „Путешествия“: „19 июля, пришел проститься с графом Паскевичем, я нашел его в сильном огорчении. Получено было печальное известие, что генерал Бурцов был убит под Байбуртом. Жаль было храброго Бурцова, но *это происшествие могло быть гибельно и для всего нашего малочисленного войска, зашедшего глубоко в чужую землю и окруженного неприязненными народами, готовыми восстать при слухе о первой неудаче*“.

В печатном тексте это место смягчено: вместо „печальное известие“ — просто „известие“, а вместо: „могло быть гибельно“, — „могло быть печально“.

Приведенный абзац является, собственно, резкой критикой стратегического плана Паскевича. Останавливает внимание утверждение, что поражение Бурцова могло быть *гибельно для всего войска*.

¹ Об отношении Пушкина к Паскевичу см. в моих статьях: „Путешествие в Арзрум“ и „Паскевич“, „Путеводитель по Пушкину“, стр. 297—298 и стр. 271—272.

² „La Russie dans l'Asie Mineure ou campagnes du Maréchal Paskevitch en 1828 et 1829 etc., par Felix Fonton“, Paris, 1840, p. 250.

Иван Григорьевич Бурцов (1794—1829), член Союзов Спасения и Благочестия, с которым Пушкин был знаком еще будучи в Лицее, — во время кампании 1829 г. командир Херсонского Гренадерского полка. После занятия Арзума для обеспечения флангов были снаряжены две экспедиции, из которых одна под командою Бурцова в крепость и город Байбурт, занятие которого „было необходимо по его положению в пределах Лази-станских племен“.¹

Известною особенностью Паскевича было замалчивание роли и заслуг скомпрометированных лиц, так что приведенная фраза Пушкина — не только резкая критика стратегического плана Паскевича, но и засвидетельствование того факта, что опальный Бурцов был одним из главных деятелей турецкой кампании.

Если учесть, что самым строгим критиком стратегического плана Паскевича был Ермолов, с которым у Пушкина состоялось свидание (причем осуждение Паскевича было главной темой разговоров), — источник суждений Пушкина становится ясен.

Самое изображение Паскевича сделано с тонкой иронией. Отметим, прежде всего, почти полную замену имени Паскевича словом „граф“ и частое повторение этого слова, имеющие явно иронический смысл, даже помимо известного презрительного отношения поэта к титулованной новой знати: Паскевич был возведен в графское достоинство с именованием Эриванского в 1828 году; он был *новоиспеченным графом*, и Ермолов в первой главе „Путешествия“ смеется над его титулом, называя „графа Эриванского графом Ерихонским“. Ср. у Пушкина в „Путешествии“, гл. III: „Я увидел графа Паскевича, окруженного своим штабом. Турки обходили наше войско, отделенное от них глубоким оврагом. Граф послал Пуштина осмотреть овраг. Пуштин поскакал. Турки приняли его за наездника и дали по нем залп. Все засмеялись. Граф велел поставить пушки и палить. Неприятель рассыпался... Граф послал... генерала Раевского...“

Ср. также прощание с Паскевичем (гл. V): „Граф предлагал мне быть свидетелем дальнейших предприятий. Но я спешил в Россию... Граф подарил мне на память турецкую саблю“.

Авторское отношение Пушкина к Паскевичу — подчеркнуто официальное, ср. гл. III: „Здесь имел я честь быть представлен графу Паскевичу“. Этот иногда слишком высокий тон пародирует утвердившееся в официальной литературе отношение к Паскевичу, ср., например, в гл. IV: „Генералы подъехали к графу, прося позволения заставить молчать турецкие батареи. Арзрумские сановники, сидевшие под огнем своих же пушек, повторили ту же просьбу. Граф несколько времени медлил; наконец, дал

¹ См. С. Новоселов, „Кавказцы“, 1872. „Генерал-майор Иван Григорьевич Бурцов“, стр. 15.

повеление, сказав: Полно им дурачиться“. „Повеление“, вместо обычного „приказ, приказание“, слишком здесь высоко, особенно в виду близкого соседства прозаической графской фразы.

В противоположность обрисовке Ермолова, не даны внешние черты Паскевича. Единственный разговор с Паскевичем ведется по-французски (гл. IV; ср. там же другой французский разговор Паскевича). Здесь подчеркивается светский, а может быть и придворный тон Паскевича.

В характеристике его подчеркнута светская черта: „Там, где угрюмый паша молчаливо курил среди своих жен и бесчестных отроков, там его победитель получал донесения о победах своих генералов, раздавал пашалыки, *разговаривал о новых романах*“.

Иронически-важный тон, которого Пушкин вообще придерживается в деловом описании событий и особенно изложении суждений, — иногда превращается у него в явную иронию. Таково суждение о язидов (гл. II): „Это объяснение меня успокоило. Я очень рад был за язидов, что они сатане не поклоняются и заблуждения их показались мне уже гораздо простительнее“.

Таково анекдотическое описание недоразумения (гл. IV): жалоба армян на то, что турки угнали 3 дня назад 3000 волов принята полковником за донесение о появлении турок. Уланы посланного отряда гонятся за курами: „Проехав верст 20, выехали мы в деревню и увидели несколько отставших уланов, которые, спешась, с обнаженными саблями, преследовали нескольких кур... Раевский приказал уланам прекратить преследование кур и послал полковнику Анрепу *повеление* воротиться“.

Здесь обращает внимание не столько комический случай, сколько то обстоятельство, что о преследовании кур рассказывается тем же тоном, что и о любой военной операции. Это главная стилистическая черта „Путешествия“: объективность рассказа, нейтральность авторского лица. Автор как бы отказывается судить о иерархии описываемых предметов и событий, о том, что важно и что не важно, в итоге чего получается искажение перспективы.

„Нейтральность“ авторского лица, его нарочитая, намеренная „непонятливость“ превращается у Пушкина в метод описания. Таково, например, описание сражения в гл. III: „Полки строились; офицеры становились у своих взводов. Я остался один, не зная, в которую сторону ехать, и пустил лошадь на волю божую. Я встретил генерала Бурцова, который звал меня на левый фланг. Что такое левый фланг? подумал я и поехал далее“. Этот метод несомненно оказал свое влияние на Толстого.

Батальные описания Толстого в „Войне и мире“, носят явные следы изучения прозы Пушкина, — а именно, изучения „Путешествия в Арзрум“.

Герой „Путешествия в Арзрум“, авторское лицо, от имени которого ведутся записки, — никак не „поэт“, а русский дворянин, путешествующий

по архаическому праву „вольности дворянской“, и вовсе не собирающийся „воспевать“ чьи бы то ни было подвиги.¹ Он насмешливо относится ко всем официальным документам, подтверждающим разрешение на поездку. Ср. конец гл. I, где Пушкин является к Душетскому городничему: „Я требовал во-первых комнаты, где бы мог раздеться, во-вторых стакан вина, в-третьих абаза для моего провожатого. Городничий не знал, как меня принять и посматривал на меня с недоумением. Видя, что он не торопится исполнить мои просьбы, я стал перед ним раздеваться, прося извинения de la liberté grande. К счастью, нашел я в кармане подорожную, доказывающую, что я мирный путешественник, а не Ринальдо Ринальдини, *Благословенная хартия вызымела тотчас свое действие*“.

Комический эпизод в конце гл. II, где в ответ на требование неграмотного офицера предъявить „письменное предписание“, Пушкин вручил ему свое „Послание к калмычке“, написанное по дороге, которое было принято офицером за предписание и тотчас исполнено, — был опущен в печатном тексте, повидимому из цензурных соображений.

Вместе с тем Пушкин не упускает случая поставить грань между профессией поэта и частной жизнью, в которой он является и должен быть принят, как „порядочный человек“, т. е. джентльмен, gentilhomme. Таков эпизод гл. I — встреча с персидским поэтом Фазил-Хан-Шейда: „Я, с помощью переводчика, начал было высокопарное восточное приветствие; но как же мне стало совестно, когда Фазил-Хан отвечал на мою неуместную затейливость простою, умной учтивостию порядочного человека“ (*порядочный человек* — здесь дословный перевод, замена английского слова gentleman и французского gentilhomme). Гораздо более полемичен и остер второй эпизод — о дервише, в гл. IV. Здесь приводится пышное восточное приветствие, с которым пленный паша обращается к Пушкину и которое содержит изречение: „Поэт брат дервишу“. Вслед за тем дается реальное описание: „Он кричал во все горло. Мне сказали, что это был брат мой дервиш, пришедший приветствовать победителя. Его насилу отогнали“.

Этой иронией Пушкин отвечает Булгарину и Надеждину — критике, требовавшей от Пушкина прославления подвигов Паскевича. Полемикой с Надеждиным и кончается „Путешествие в Арзрум“, причем язвительность иронии здесь так же *скрыта*, как и во всей ткани „Путешествия“: „разбор был украшен обыкновенными затеями нашей критики: это был разговор между дьячком, просвирней и корректором типографии, Здравомыслом этой маленькой комедии“.

¹ Вспомним пламенный, гиперболический стиль корреспондентов. Ср. хотя бы у того же Радожицкого: „... наш Главнокомандующий, как Александр и как Помпей, может завоевать Азию и доставить России миллионы золота... искусный и осторожный и славою окрыленный Полководец, пламенные генералы“ и т. д. („Северная Пчела“, 1829, № 80).

Это — статья Надеждина о „Полтаве“ („Вестник Европы“, 1829, № 8, стр. 287—302); написание слова „типография“ с ижицей — было принято в этом журнале. Статья написана в форме комедии, причем действующими лицами являются: автор (классик, Никодим Аристович Надоумко), „романтик“ Флюгеровский; Незнакомец (старик, любитель прекрасного, отставной корректор . . . овской университетской типографии, Пахом Силич Правдивин). Дата статьи: „С Патриарших Прудов, 28 апреля 1829 г.“

Таким образом, из действующих лиц Пушкиным верно назван только корректор типографии; „автор“-классик назван у Пушкина дьячком, а собеседник его „романтик“ просвирней.

Так скрыто-иронична ткань „Путешествия“, что место, в котором Надеждин назван дьячком, до сих пор сходит за фактическое изложение статьи.

Паскевич никогда не мог простить Пушкину его поведения в турецкую войну. Он жаловался на Пушкина еще в 1831 г. в письме к Жуковскому, когда, казалось бы, мог быть удовлетворенным „Бородинской годовщиной“: „Сладкозвучные лиры первостепенных поэтов наших долго отказывались бряцать во славу подвигов оружия. Так померкнула заря достопамятных событий Персидской и Турецкой войн“.

Здесь эпистолярный стиль Паскевича так совпадает со стилем Булгарина, что помогает выяснить, насколько официоз отражал мнения Паскевича. Ср. приведенную выше цитату из статьи Булгарина 1830 г. о несбывшихся надеждах на то, что Пушкин мог „в сладких песнях передать потомству великие подвиги русских современных героев“.

6

Другую особенностью „Путешествия“ является его точность, иногда несколько нарочитая и педантическая, подчеркивающая фактический научный характер сведений. Таково, например, ироническое место о названии Арзрума: „Арзрум (неправильно называемый Арзерум, Эрзрум, Эрзрон) основан около 415 году во время Феодосия второго и назван Феодосиополем. Никакого исторического воспоминания не соединяется с его именем“.¹

Пушкиным использована довольно большая и притом новая научная литература. Так, „свидетельство Плиния“ о Дарьяле и Кавказских вратах

¹ Ср., впрочем, действительно пестрое написание названия: „Arz-Roum“; „Arzroumi, vulgairement *Erzeron*“ в „Mémoires historiques et géographiques sur les pays situés entre la Mer Noire et la Mer Caspienne“, à Paris, 1797, стр. 88, 143. „Арзрум“ у Г. Ладзыженского. „Взгляд на Европейскую Турцию и окрестности Константинополя“, 1829; Monteith, W. „Kars and *Erzeroum* in 1828 and 1829“, London, 1836; *Арзерум* в „Вестнике Европы“, 1829, № 14, стр. 151; *Arzouroum* у Друвиля, „Voyage en Perse, pendant les années 1812 et 1813“, S.-Pb., 1819; Марлинский, „Арзерум“ („Военный Антикварий“, 1829, ч. IV, 1838 г., стр. 213, 219, 223) и т. д.

заимствовано из труда И. Потоцкого, на которого сделана ссылка. Это „Voyage dans les steps d'Astrakhan et du Caucase. Histoire primitive des peuples qui ont habité anciennement ces contrées. Nouveau périple du Pont Euxine. Par le comte Jean Potocki. Ouvrages publiés... par M. Claproth, tome second, Paris, 1829“ (текст Плиния на стр. 216—217). У него же взято название гермафродитов в гл. 4 „Путешествия“: *Kos ou effeminés* (Потоцкий, стр. 211—212). Об испанских романах Потоцкого, упоминаемых Пушкиным при цитации, — у Потоцкого, назв. соч., стр. XVI.

Использовано (и не названо) Пушкиным путешествие Гамба — „Voyage dans la Russie méridionale et particulièrement dans les provinces situées au delà du Caucase fait depuis 1820 jusqu'en 1824; par le chevalier Gamba, consul du Roi à Tiflis, tome II. A Paris, 1826“. Так заимствовано у него предание о Дариале.

„Путешествие в Арзрум“, глава I: „Против Дариала на крутой скале видны развалины крепости. Предание гласит, что в ней скрывалась какая-то царица Дария, давшая имя свое ущелию: сказка. Дариал на древнем персидском языке значит ворота“.

Gamba, II, pp. 21—22: „S'il faut en croire la tradition du pays, ce château appartenait, dans le moyen âge, à une princesse Daria, qui exigeait de forts péages de tous les passagers, retenait ceux qui lui plaisaient pour partager sa couche, et faisait precipiter dans le Terek les amants dont elle croyait avoir à se plaindre. Ce qui est plus important que cette tradition, c'est qu'il suffit de voire Dariel, pour reconnaître dans sa position les Pyloe ou portes caucasiennes“. (Перевод: „Если можно верить местному преданию, этот замок принадлежал в средние века какой-то княгине Дарии, которая задерживала на заставе всех путешественников, принуждала понравившихся ей делить с нею ложе и приказывала бросить в Терек любовников, которых подозревала в том, что они будут на нее жаловаться. Более верно, чем это предание — то обстоятельство, что достаточно увидеть Дарьял, чтобы признать в нем Pyloe или Кавказские врата“.)

Отсюда же взято сведение об обвале и описание обвала на Тереке.

„Путешествие в Арзрум“, гл. I: „Дорога шла через обвал, обрушившийся в конце июня 1827 года. Таковые случаи бывают обыкновенно каждые семь лет. Огромная глыба, свалясь, засыпала ущелие на целую версту и запрудила Терек. Часовые, стоявшие ниже, слышали ужасный грохот и увидели, что река быстро мелела и в четверть часа совсем утихла и истощилась. Терек прорылся сквозь обвал не прежде, как через два часа. То-то был он ужасен!“

Gamba, II, p. 24: „A deux verstes de Dariel nous vîmes à droite, de l'autre côté du Terek, des monceaux de glace, débris de la terrible avalanche, descendue du Kazbek en 1817: elle couvrit plus de deux verstes de pays, et arrêta le cours du Terek. Ce fleuve déborda alors de tous côtés, et rendit, pendant deux ans, la route impraticable aux voitures. Il parait que

cette catastrophe se renouvelle tous les sept ou huit ans. Le Kazbek se charge, pendant cet intervalle, d'une masse énorme de neige et de glaces, dont l'accumulation finit par perdre son équilibre, et qui couvre, par sa chute, une vaste étendue de pays". (Перевод: „В двух верстах от Дарияла мы увидели справа, на другой стороне Терека, ледяные глыбы — остатки ужасной лавины, свалившиеся с Казбека в 1817 г.: она покрыла больше двух верст и остановила течение Терека. Река вышла из берегов, и сделала дорогу непроходимой для повозок в течение двух лет. Кажется, эта катастрофа повторяется каждые семь или восемь лет. Казбек покрывается в это время огромными массами льда и снега, скопление которых кончается тем, что они теряют равновесие и, падая, покрывают громадные пространства“.)

Приведенное описание обвала позволяет установить происхождение пушкинской ошибки: как установил Е. Г. Вейденбаум, обвала в 1827 г. — дата, которую указывает Пушкин, — не было. Повидимому дата, приводимая Гамба: 1817, была Пушкиным записана по памяти и превратилась в 1827. Описание Гамба, источник приведенного отрывка „Путешествия“, является и сюжетом стихотворения „Обвал“.

Отразилась на „Путешествии“ и современная русская литература о Кавказе. Таково, например, суждение об „азиатской роскоши“, которое восходит к подобному же рассуждению Марлинского.

„Путешествие в Арзрум“, гл. V: „Не знаю выражения, которое было бы бессмысленнее слов: Азиатская роскошь... Ныне можно сказать: Азиатская бедность, Азиатское свинство, etc., но роскошь есть конечно принадлежность Европы“.

Ср. А. Марлинский, „Военный Антикварий“ („Из Арзерума 1829 года в октябре“): „Мужья, братья, племянники ваши, проклиная во время походов несносную погоду и природу Азии, сгоревшие поля от зною, наши горы, непроездивые дороги, логовища, называемые деревнями, и кучи камней за зубчатыми стенами, величаемые городами, и в них смрадные улицы, комнаты без полов и окон, рядом с конюшнею, ковры, шевелящиеся от насекомых, подушки, набитые кислую шерстью, восточную гущу их кофе, и кругом дым кизяков, крик ослят и раздрающее уши пение азиатцев — теперь будут разливаться перед Вами в пышных рассказах об Азиатской роскоши, которой не видали мы ни блески...“

Самый метод работы над „Путешествием в Арзрум“, текст которого устанавливался на основании записок и книг через шесть лет после путешествия, не был методом регистрации непосредственных впечатлений.

Это доказывается, например, недавно установленным источником текста „грузинской песни“ в гл. II: „Голос песен грузинских приятен; мне перевели одну из них слово в слово; сна кажется сложена в новейшее время...“ Далее приводится текст: „Душа, недавно рожденная в раю“. Г. Леонидзе установил источник „песни“ — это стихотворение

Дим. Туманишвили; четвертый, пятый¹ и седьмой куплеты стихотворения у Пушкина опущены, а приведены только первые три и шестой.¹

Последовательность хода событий войны вероятно восстанавливалась Пушкиным и по официальным реляциям Паскевича. Это отразилось и на некоторых подробностях.

Ср. подробности взятия Арзрума у Пушкина и в реляции Паскевича от 28 июня 1829 г. (Прибавление к № 90 „Северной Пчелы“).

„Путешествие в Арзрум“, гл. IV: „С восточной стороны Арзрума, на высоте Топ-Дага, находилась турецкая батарея. Полки пошли к ней, отвечая на турецкую пальбу барабанным боем и музыкой“.

Реляция: „Наши полки стройными колоннами с музыкою [со всех сторон обходили Топ-Даг...“]

„Путешествие в Арзрум“, гл. V: „...ядра полетели к Топ-Дагу. Несколько их пронесли над головою графа Паскевича.... Генералы подъехали к графу, прося позволения заставить молчать турецкие батареи. Арзрумские сановники, сидевшие под огнем своих же пушек, повторили ту же просьбу“.

Реляция Паскевича: „...еще несколько ядер с городских батарей пронесли мимо меня. Депутаты сами просили меня огнем наших орудий привести в покорность сих мятежников, кои в числе нескольких сотен противоборствовали общему голосу и возмущали народ“.

Оставляя изложение фактической стороны событий без изменений, Пушкин значительно упрощает пышный стиль, а вместе и пышный смысл реляций.

„Депутаты“, которые просят стрелять против „мятежников“, превращаются у него в „сановников“, которые боятся огня своих же пушек.

7

„Путешествие“ поставило перед Пушкиным вопросы о методах российской колониальной политики. В записях 1829 г. по поводу черкесов находим такие высказывания: „Должно ждать, что приобретение важного края Черного Моря, прекратив Анапскую торговлю, принудит черкесов с нами сблизиться. Влияние роскоши может благоприятствовать их укрощению — самовар был бы важным. Есть наконец и проч.“

Далее Пушкин развивает мысль о миссионерстве на Кавказе. „Самовар и христианство“ — [такова формула колониальной политики, предлагаемая им. Реальное столкновение с практикой колонизаторов заставило Пушкина подметить ее черные черты и со всею резкостью их описать. Таково, например, место в первой главе „Путешествия“ о детях-аманатах: „Их держат в жалком положении. Они ходят в лох-

¹ Георгий Леонидзе. „Ал. Пушкин и Дим. Туманишвили“, „Картули Мцрлоба“, Тифлис, 1929, № 8—9, стр. 112—115.

мотьях, полунагие и в отвратительной нечистоте. На иных видел я деревянные колодки. Вероятно, что аманаты, выпущенные на волю, не жалеют о своем пребывании во Владикавказе“.

Интересно сравнить с картиной, нарисованной Пушкиным, цинический рассказ главного деятеля колониальной политики на Кавказе — Ермолова, впервые введшего там отвратительную практику детского аманатства (заложничества): „Аманаты стоили прежде ужасно дорого; иной получал три рубля серебром в день. Я начал брать ребятишек, которые играли у меня в бабки, а родители приезжали наведываться. Я кормил их пряниками, и те были предовольны, расчищали мне просеки“.¹

¹ М. Погодин. „А. П. Ермолов. Материалы для его биографии“, М., 1864, стр. 409.



В. В. ВИНОГРАДОВ

СТИЛЬ „ПИКОВОЙ ДАМЫ“

Пушкинский стиль, пушкинская манера лирического выражения и повествования почти не описаны и не исследованы. Законы и ноомы пушкинской композиции не открыты. Пушкиноведению, богатому всякого рода фактами, труднее всего даются те, которые составляют непосредственное содержание художественного слова. Нет даже более или менее подробных стилистических комментариев к отдельным произведениям Пушкина. Проблема понимания строения пушкинского произведения еще требует большой подготовительной историко-литературной и лингвистической работы. От нее зависит объяснение словесного искусства Пушкина. Особенно безотраднa картина изучения пушкинской прозы. Между тем вопрос о повествовательном стиле Пушкина — один из основных в истории литературных стилей.

В истории русской литературы и русского литературного языка на рубеже XVIII и XIX вв. возрастает значение повествовательных жанров. В 30-е годы XIX в., когда лирическая поэзия угасает, повествовательный стиль становится организационным центром как художественной речи, так и общественно-бытовой системы „литературного“ выражения. В творчестве Пушкина, который стремился к синтезу живых форм дворянской языковой культуры, проблема повествования приобретает особенную остроту и значительность с начала 20-х годов. Путь Пушкина от стиха к прозе пролегает в области повествовательных форм. В сфере повествовательной прозы находится узел сплетения основных литературно-языковых и художественно-стилистических вопросов, разрешение которых замыкает эпоху торжества дворянской словесно-художественной культуры и косвенно содействует самоопределению буржуазных литературных стилей. Пушкинская проза гармонически воплощает в себе идеальные нормы предносившейся Пушкину общественной системы повествовательного языка и индивидуально-стилистические своеобразия художественного гения. В пушкинской манере повествования нашел наиболее полное, законченное — и

в то же время наиболее оригинальное выражение процесс кристаллизации литературно-художественных вкусов и тенденций передовой общест-венности 20-х—30-х годов. Современнее и резче всего пушкинская манера повествования обозначилась в структуре „Пиковой Дамы“.

1. Сюжет „Пиковой Дамы“ и профессионально-игрекие анекдоты

В „Пиковой Даме“ семантическое многообразие доведено до предела. Художественная действительность образует целую систему движущихся и пересекающихся плоскостей. Их структурное единство не усматривается непосредственно в точной схеме линейных очертаний, а непрестанно меняет формы своей связи и своего понимания, как загадка, у которой правильному решению предшествует множество искусно-подсказанных двусмысленных ответов. Этот прием построения обусловлен изменением смысловой перспективы слова, его структурной осложненностью. В слове, в его смысловой глубине происходит скрещение разных стилистических контекстов. Те значения слова, которые были разъединены употреблением, принадлежали разным „стилям“ художественной литературы, разным жанрам письменной речи, разным диалектам просторечия с его классовыми и культурно-бытовыми расслоениями и, наконец, разным жаргонам, сочетаются Пушкиным в композиционное единство. Этот процесс лексических и стилистических объединений был одновременно и творчеством новых форм литературного искусства и культурно-общественной работой по созданию новой системы национально-литературного языка. Смысловая многопланность литературной композиции прежде всего создается смешением стилей и смещением семантических планов в авторском повествовании. В слово вкладывается заряд из таких значений, которые в обиходном языке представляются диалектологически разобщенными, хотя и остаются в сфере дворянского речевого быта. В самом заглавии „Пиковая Дама“ слиты три предметно-смысловых сферы, три плана сюжетного движения. В общей речи „пиковая дама“ — название, термин карты. Следовательно, это имя влечет непосредственно за собой ситуацию карточной игры. Эта игра определяется как игра в фараон (ср. Гофмана „Эликсир Сатаны“). Иначе — в XVIII веке — она называлась „фаро“. О ней писал еще А. П. Сумароков, рисуя заседание приказных („О почтении автора к приказному роду“): „Тот, который мне президентом показался, был банкир; прокуроры, крупей, ассесоры и прочие — пунктировщиками. Скоро понял я эту глупо выдуманную игру, и думал я: на что им карты, на что все те труды, которые они в сей игре употребляют; можно в эту игру и без карт играть, и вот как: написать знаками какими-нибудь колокол, язык, язык, колокол, перемешивая, и спрашивать, — колокола или языка: ежели пунктировщик узнает то, что у банкира написано, может он загнуть пароли, сеттелева и прочее. Кто погибает,

тому банкир дает мешки, а когда пунктировщик берет за загнутые карты деньги, тогда мешки у него отбираются. Не надобно карт, а игра та же и меньше труда“ („Полн. собр. соч.“, 1787 г., X, стр. 138—139).¹

Эта игра, пользовавшаяся необыкновенной славой в русской аристократической среде XVIII в., в 20-х—40-х гг. XIX в. чаще называлась иными именами (штосс, банк, банчок).²

Сущность игры в фараон в „Российском сочинении“: „Жизнь игрока, описанная им самим, или открытые хитрости карточной игры“ (М., 1826, т. I; 1827, т. II) изображается в таком диалоге между комическим персонажем — землемером Дуралевичем и рассказчиком — игроком. Дуралевич не знал, „что ставить на карту“. — „Это очень просто, возразил я, выдери наудачу какую-нибудь, положи ее на стол, а на нее наклади сколько хочешь денег. Я из другой колоды буду метать две кучки; когда карта подобная твоей выдет на мою сторону, то я беру твои деньги: а когда выпадет на твою, то ты получаешь от меня столько же, сколько ставил на свою карту“ (т. II, стр. 199). Сторона банкмета — правая, сторона понтера — левая. Выбор карты всецело зависит от понтера.

Ясное понимание процесса игры должно предохранить читателя от всяких недоразумений вроде тех, в какие впал Влад. Ходасевич, стараясь понять проигрыш Германа, как насмешку злых, темных сил, „не то назвавших ему две верных карты и одну, последнюю, самую важную, неверную, не то в последний решительный миг подтолкнувших руку его и заставивших проиграть все“.³ Все три названные старухой карты — тройка, семерка и туз — выиграли. Герман знал, на какие карты он должен ставить. Но он испытал на себе „власть рока“, действие „тайной недоброжелатель-

¹ Ср. описание дворцовых развлечений в елизаветинскую эпоху у Екатерины II („Mémoires“, р. 19): „В большой зале, занимавшей середину здания, с утра до вечера играли в фараон и играли по большой“. Культурно-бытовые комментарии к *jeu de la reine* Марии Антуанетты см. в книге: „Les cartes à jouer et la cartomanie“, par P. Voiteau d'Ambly, Paris, 1834, стр. 258 и сл. Ср. также „Mémoires de m-me Campan“. Об игре в фараон с сопровождающими ее трагедиями и анекдотами много интересного бытового материала собрано Voiteau d'Ambly. В конце своего очерка он пишет: „Je lis sur ma liste le mot pharaon. Ce mot signifie peut-être cinq cent millions gagnés, cinq cent millions perdus, dix mille familles ruinées, mille suicides“ (стр. 308—309).

² Ср. в „Семействе Холмских“ Д. Н. Бегичева (1833, ч. IV, стр. 70—71): „лучше в банк или штосс: тут не надобно мастерства, а счастье“. Ср. у Пушкина:

Страсть к банку! Ни любовь свободы,
Ни Феб, ни дружба, ни пиры
Не отвлекли б в минувши годы
Меня от карточной игры.

Ср. в „Воспоминаниях А. М. Достоевского о молодых годах Ф. М. Достоевского“: „Вечер постоянно кончался азартною игрою в банк или штосс“ (стр. 129).

³ Влад. Ходасевич. „Петербургские повести Пушкина“, „Аполлон“, 1915, № 3, стр. 47.

ности“: обдернувшись, сам взял вместо туза пиковую даму, с которой слился в расстроенном воображении Германна образ старой графини.

Игра в фараон в „Пиковой Даме“ не столько тема авторского повествования, сколько тема разговора между персонажами. Повествование с ироническим благодушием вводит читателя в забавные последствия игры. Сама же игра, как источник возможных коллизий, в развитии темы „Пиковой Дамы“ отодвинута в скрытую глубь сюжета. Не автор, а сами персонажи обсуждают им известные сюжетно-бытовые функции игры, связанные с нею анекдоты, как бы подсказывая автору решение литературной задачи.

Бытовой анекдот питал атмосферу картежного арга. „Нигде, — писал кн. П. А. Вяземский в „Старой записной книжке“, — карты не вошли в такое употребление, как у нас: в русской жизни карты одна из непреложных и неизбежных стихий... Страстные игроки были везде и всегда. Драматические писатели выводили на сцене эту страсть со всеми ее пагубными последствиями. Умнейшие люди увлекались ею... Подобная игра, род битвы на жизнь и смерть, имеет свое волнение, свою драму, свою поэзию. Хороша и благородна ли эта страсть, эта поэзия, — это другой вопрос... Карточная игра имеет у нас свой род остроумия и веселости, свой юмор с различными поговорками и прибаутками. Можно бы написать любопытную книгу под заглавием: «Физиология колоды карт»¹. Семантическая система картежного языка, определявшаяся в своей профессиональной сущности техникой и мифологией карточной игры, с точки зрения норм „общей“ дворянской литературно-художественной речи начала XIX в., могла быть понята и осмыслена или как специальная область близких дворянскому обиходу профессиональных приемов, навыков, процессов, явлений и понятий, или как живая общественно-бытовая сфера случаев, событий и анекдотов, которые стояли за каждым карточным арготизмом, за каждым картежным символом. Но, если исключить руководства к карточной игре вроде: „Новый картежный игрок“ (перевел с французского Николай Осипов, 2 ч., 1793), „Искусство играть в карты в коммерческие игры или Новый и полный карточный игрок“ (1830) и т. п., как книги, не имеющие прямого отношения к литературе, то литературная функция картежного арга в повести и романе той эпохи прежде всего определялась как бытовая и авантюрно-анекдотическая, а уже потом — после оправдания сюжетом — как характерологическая или символическая. Любопытно, что в сентиментальной повести салонного стиля, которая следовала стилистическим нормам очищенной буржуазно-дворянской общелитературной речи, устраняя всякие диалектизмы и арготизмы, самый процесс карточной игры с его технической терминологией и бытовой фразеологией не воспроизводился перед читателем, а лишь предполагался протекающим за кулисами повествования. Так у П. Макарова в повести: „Швейцар

¹ П. Вяземский. „Старая записная книжка“, 1929, стр. 85—86.

в Париже“ („Сочинения и переводы“, т. I) влюбленный в Лорансу „швейцар“ не может жениться на ней бедняком. В Париже он находит путь к богатству в карточной игре, но в конце концов совсем проигрывается — и покушается на самоубийство. Ни одного профессионального термина игроков, ни одного арготического слова в повести нет. Те же стилистические тенденции выступают и у Карамзина в „Бедной Лизе“. В „Новом Пантеоне отечественной и иностранной словесности“ (П. Победоносцева, М., 1819, ч. II) переведен по правилам карамзинского стиля из „Journal des dames et des modes“ рассказ „Игрок“. В языке всей этой сентиментальной драмы игрока, изображающей, как отчаянный Медор проиграл до последней копейки свое состояние и состояние жены; как он покушался на самоубийство, на отравление; как вместе с ним решила разделить смертную участь его жена, „трепещущая Целестина“, и как неожиданно пришедшее письмо „о кончине благодетеля“ и о „знатном наследстве“ „оживило полумертвых Медора и Целестину“, — нет ни одного карточного термина, ни одной картежной фразы. Но в других литературных стилях (как дворянских, так и буржуазных) карточные профессионализмы не изгонялись из употребления (ср. картежные профессионализмы в оде Державина „На счастье“).

В комедию, драму, шуточную поэму, сатирический очерк, вообще в низкие жанры литературы, карточное арго имело доступ еще с половины XVIII в. В конце XVIII в. оно получает права свободного входа в средний стиль литературного повествования. Например, в романе „Игра судьбы“ Николая Эмина (1789 г. 2-е изд. 1798 г.), письмо Нелеста к Всемилу рисует галерею дворянских портретов: „Лжесвята по утру служит молебны, торгуется с мясниками, потом сечет без милости слуг и бьет по щекам служанок, после обеда читает чети минеи, вечер посвящен карточной игре, ужин Бахусу, а ночь отставному капитану Драбантову... Ослов от радости вне себя, шестерка рутировала ему целый вечер. Он надеется, что с завтешнего дня во всем городе не будет ни одной шестерки“ (26 стр.).¹

В первой четверти XIX в. растет интерес к арготизмам и профессионализмам, к романтической экзотике. М. Чистяков в своем „Курсе теории словесности“ (СПб., 1847, ч. 2) так рассуждает об этом тяготении русской прозы и драмы² с 20-х гг. XIX в. к техническим и профессиональным словам: „В произведениях, назначаемых для большей части общества, незнакомого со всеми подробностями частного языка науки и искусства..., они не у места... Еще неуместнее в литературном сочинении условные выражения, употребляемые в играх. Читающий не обязан знать их, а писатель обязан говорить языком общепонятным. В нынешнее время

¹ Ср. кое-какие указания на игредкие темы в повести и романе XVIII в. у В. В. Сиповского в „Очерках из истории русского романа“ и в работе Белозерской о В. Т. Нарезном (СПб., 1896).

² Ср. пьесы: „Игроки“ и „Хризомания“ кн. А. А. Шаховского, „Игрок в банк“ А. Яковлева и мн. др.

это сделалось господствующей погрешностью“ (стр. 69). Далее демонстрируются морские термины у Марлинского из повести „Фрегат Надежда“ и картежные выражения из „Пиковой Дамы“ Пушкина.

В „Пиковой Даме“ выстраиваются в ряд профессионально-технические термины, которыми обозначаются разные приемы и детали игры в фараон:¹

Играть мирандолом — играть одними и теми же скромными кушами, не увеличивая ставки.

Поставить руте. Систему руте легко понять из такого описания в „Жизни игрока“: „Он держался системы руте и не прежде переменил карту, как заплатя за верность свою к ней огромный штраф, а более всех любил он ставить даму; но она была к нему чрезвычайно непреклонна и всякой раз изменяла его нежности. Я такого мнения, говорил он, что пусть карту убьют три, четыре и несколько раз, но наконец должна же она когда-нибудь упасть и налево, тогда я возвращу весь свой проигрыш на этой одной карте“ (т. I, 32—33). Следовательно, поставить на руте — поставить на ту же карту увеличенный куш. Ср. у Пушкина в вариантах к XVIII строфе 2 главы „Евгения Онегина“.

Уже не ставлю карты темной,
Заметя тайное руте.

Н. В. Гоголь фразу: „Руте, решительно руте! просто карта-фоска!“ считал „настоящей армейской и в своем роде не без достоинства“ („Письма“, т. II).

И Лермонтов писал в „Казначейше“:

Любил налево и направо
Он в зимний вечер прометнуть...
Рутеркой понтирнуть со славой...²

Загнуть пароли — загнуть угол карты, сделать двойную ставку. Ср. в „Выстреле“: „Он... в рассеянности загнул лишний угол.“

Пароли пе — удвоенные пароли, т. е. учетверенная ставка. Гоголь в свою записную книжку вносил такие заметки под заглавием: „Банчишки“:

Семпель — один простой куш.

Пе — карта ровно вдвое.

Пароле — или с углом — выигрывается втрое.

Пароле пе — вдвое против пароле.

Загнул утку — прибавляет на раз, на два.

С тобой играть — с бритвы мед лизать — употребляют с теми, которые играют в дублет. Играть в дублет — не отделять от выигрыша, а пускать вдвое.³

¹ Ср. статью В. И. Чернышева о темных словах в русском языке (в Сб. Акад. Наук СССР, посвященном Н. Я. Марру, 1936).

² „Полн. собр. соч. М. Ю. Лермонтова“, 1935, т. III, стр. 337. В „Хризомании“ кн. Шаховского происходит такой разговор о карте: „Да ее три раза убили“, — говорит Любский. Ирмус возражает: „Но потом она 10 талий рутировала“.

³ „Соч. Н. В. Гоголя“, изд. 10-е, т. VI, стр. 959.

В комедии: „Игрок“ (1815) Ветрид жалуется: „Видал ли ты когда, чтоб нещастье с кем так немилосердно поступило, или бы кого так жестоко губило? ни в одну талию ни пароли, не сетелева не убить? Говори?... Лютая судьба! Злость твоя торжествует! Ты мне для того только польстила, чтобы жесточе меня погубить“ (стр. 126).

В том же значении как „гнуть пароли“ употребляется один глагол „гнуть“:

Гнули — бог их прости —
От пятидесяти на сто.

В „Маскараде“ Лермонтова: „Да этак он загнет, пожалуй, тысяч на сто“.

Ставить семпелем (simple)—о простой, неудвоенной ставке. Ср., например, в „Маскараде“ Лермонтова — разговор понтеров:

Вам надо счастье поправить,
А семпелями плохо...
— Надо гнуть.

Выиграть соника (франц. *sonica*, *gagner sonica*)¹ — выиграть на первой карте.

Ср. другие картежные выражения в языке „Пиковой Дамы“: „талья длилась долго“; „на столе стояло более тридцати карт“; „вместо туза у него стояла пиковая дама“; „поставить карту“; „поставить деньги“; „после каждой прокидки“; „отгибать лишний угол“; „бьете вы мою карту...“; „дама ваша убита“; „понттировать — спонттировать“; „стасовать“ и некоторые др.²

„Жизнь игрока, написанная им самим“ (1826—1827, т. I—II), наделавшая много шума, всесторонне раскрывает литературно-анекдотическую сторону картежного языка.³ Здесь каждый символ профессиональной речи игроков вставляется в бытовой контекст карточных анекдотов. Автор-игрок в самом начале заявляет: „Некоторые иностранные слова между игроками приняты, как технические термины их искусства, почему я и оставляю их без перемены, так например: штуки, авантаж, руте и проч., равно и следующие употребительные в игре: слиховать, сре-

¹ В „Полном французском и российском лексиконе“ И. Татищева (СПб., 1798, 2-е изд.) читается: „*sonica* (в бассетной игре) — первая карта, которая выигрывает или проиграет, соника. И а *gagné sonica*, он на первой карте выиграл, он под обух выиграл, соника выиграл“ (т. II, стр. 645).

² Далее приводятся примеры употребления картежной и шулерской терминологии из повестей и романов 20-х—30-х гг. Ср. широкое пользование картежным арго у Чужбинского в „Очерках прошлого“ и в романе „Рыцари зеленого стола“.

³ Ср. рецензию на это сочинение в „Московском Телеграфе“, 1826, ч. XI, стр. 235—236.

з а т ь и т. п.“. Но, оставляя без перевода профессионально-арготические обороты речи, автор вмещает каждый символ в его бытовую обстановку, в ту систему „вещей“, которая объясняет и определяет „внутренние формы“ арготического слова. Для иллюстрации можно привести тот анекдот, которым в „Жизни игрока“ пояснялось значение и применение „верхушковых карт“, т. е. карт с таким искусным подбором рисунков на изнанке, что по ним шулер мог безошибочно узнать любую карту, не видя ее лицевой стороны. Этот анекдот вдвойне интересен оттого, что Гоголь перенес его в комедию „Игроки“, лишь прикрепив его к определенному персонажу и соответственно его характеру изменив стиль речи. В „Жизни игрока“ этот анекдот изложен так. „В общем совете придумали мы следующее: подкупить, ежели удастся, камердинера пана Быдловского (так назову я помещика), чтобы он, когда найдет на дороге чемодан, отдал его своему господину, а подъезжая к назначенному нами селению, на ступицу заднего колеса кареты подливал бы купоросного масла. Козыревский назначен был предшествовать Быдловскому в открытой бричке и выронить маленький чемодан, в который надлежало положить несколько колод верхушковых карт и некоторые другие мелочи для закрытия нашего умысла. Диаболонский должен был отправиться в означенное же селение, остановиться там в гостиннице, под предлогом порчи экипажа и, как знакомый человек, зазывать Быдловского в ту же самую гостинницу. З и мне надлежало ехать сзади в таком расстоянии, чтоб прибыть на место чрез час после помещика, с которым мы не были знакомы. Как вздумали, так и сделали. Камердинер за несколько червонцев взялся исполнить наше поручение, и исполнил то с ловкостью опытного плута. Найдя чемодан, представил его своему господину, и так искусно приноровил действие купоросного масла, что не доезжая до деревни шагов за 300, колесо рассыпалось, и пан Быдловский принужден был до гостинницы итти пешком“. Встреча шулеров с жертвой состоялась. Знакомство завязано. А помещик Быдловский, за червонцами которого (их было у него на руках 6 тысяч) охотились шулера, должен был дожидаться, пока не привезут новое колесо из Варшавы. „Кто не знает, что оставаться в деревенской гостиннице целые сутки очень скучно. Все путешественники в том согласны; Быдловский и Диаболонский также жаловались один другому на сию неприятность. Еще бы сноснее казалась участь наша, когда бы можно было от скуки хотя в карты поиграть! говорил Диаболонский: но где же их взять в деревне? Нечувствительно склонили потом разговор на потери, случающиеся в дороге, и находки. Тут пан Быдловский вспомнил о найденном чемодане; все полюбопытствовали видеть, что заключалось в нем. Открыли и нашли — несколько дамского белья, два или три спальных чепчика, ленточки, платочки, булавки, румяна, притиранья и наконец с дюжину карт. Какая для всех радость! Сколько шуток насчет мнимой дамы, потерявшей свои доспехи! Все развеселились и единодушно согласились

уесться за карты. Дьяболонский сделал маленький банк, выиграл червонцев с 20 и перестал играть; потом другие по очереди стали метать банки поважнее и сими маневрами разгорячили Быдловского. Он то банк метал, то понтировал, то пил вино, которым мы не забыли запастись, проигрывал более и более и перестал играть не от недостатка охоты, а от оскудения средств: ибо 6 тысяч червонцев уже перешли в наши руки “(т. II, стр. 42—45).

У Гоголя этот анекдот передается Утешительному и облекается в такой стиль, в такие экспрессивные формы: „Не знаю, знаете ли вы, есть помещик Аркадий Андреевич Дергунов, богатейший человек. Игру ведет отличную, честности беспримечной, к поползновенью, понимаете, никаких путей: за всем смотрит сам, люди у него воспитаны — камергеры, дом — дворец, деревня, сады, — все это по аглицкому образцу; словом, русский барин в полном смысле слова. Мы живем там уже три дня. Как приступить к делу? — просто нет возможности. Наконец, придумали. В одно утро пролетает мимо самого двора тройка. На телеге сидят молодцы. Все это пьяно, как нельзя больше, орет песни и дует во весь опор. На такое зрелище, как водится, выбежала вся дворня. Ротозеют, смеются и замечают, что из телеги что-то выпало; подбегают, видят чемодан. Машут, кричат: «остановись!» Куды! Никто не слышит, умчались, только пыль осталась по всей дороге. — Развязали чемодан, видят: белье, кое-какое платье, двести рублей денег и дюжин сорок карт. Ну, естественно, от денег не хотели отказаться, карты пошли на барские столы, и на другой же день, ввечеру, все, и хозяин, и гости, остались без копейки в кармане, и кончился банк“.¹

Иного рода анекдоты и проделки, относящиеся к азартной игре в банк, воспроизведены в нравоописательном романе Д. Н. Бегичева: „Семейство Холмских (Некоторые черты нравов и образа жизни, семейной и одинокой, русских дворян“, 1832). Здесь в истории жизни Аглаева описывается, как компания шулеров обхаживала свою жертву, заманивала ее в гости на роскошный и пьяный обед, после которого неопытный игрок превращался в бедняка (ч. V, гл. III). Особенно красочно в этом кругу изображена фигура Удушьева (можно предполагать, Толстого-Американца). Для картин быта игроков широко использована шулерско-игрецкая терминология и фразеология, повидимому хорошо известная в дворянском обиходе. Притворившийся пьяным Удушьев, пышный обед которого уже оказал свое действие на Аглаева, подзадоривает Аглаева к игре в банк видом высыпанного на стол золота и большими выигрышами. Аглаев не в силах противиться искушению. „Шурке подал Аглаеву нераспечатанную колоду. Он перемешал, сделал очередь, и поставил большой куш. Первую карту ему дали; он поставил с транспортом, и прибавил еще куш, «Ага, брат! да ты молодецки понтируешь. Окинься-ка он несколько талий,

¹ „Соч. Н. В. Гоголя“, изд. 10-е, т. II, стр. 421—422.

так весь банк полетит кверху ногами!» Но Шурке „не окинулся, убил“... Аглаев проигрывает до двадцати тысяч и перестает играть, сев подле стола. Однако, шулера не прекращают игру, а продолжают новыми приемами завлекать в свои сети жертву. „Между тем Шурке бил нещадно Удушьева; тот бесился, рвал карты, кидал их на пол и бранил, как только можно хуже, Шурке, который хладнокровно продолжал метать. Змейкин и Вампиров были в небольшом выигрыше. Наконец Удушьев подметил руте, поставил темные, и начал отыгрываться. — «Ну, брат, уже от руте моего ты не отгасуешься! — сказал он. — Послушайся меня, Петр Федорович: ставь мое руте и поверь, что мы лихо надует этого дьявола!» Аглаев взял опять карты, и ему начало было рутировать; но вскоре злодейка изменила. Спросив новую колоду, сделал он еще очередь, но также пренесчастную! Голова у него кружилась, и от вина и от проигрыша. Он сам себя не помнил, кинул и эту очередь под стол, взял еще другую колоду, испытывал на мирандолу, на фоску, на окуловку, на ворожбу, на расчет; но все было бесполезно — не обыкновенное несчастье преследовало его неотступно“. Аглаев проигрывает в этот день большую часть своего состояния (75 тысяч рублей). Для Удушьева он теряет всякий интерес. Удушьев, отступаясь от Аглаева, образумлеает свою жертву: „У тебя жена и дети; ты мне жалок, и я хочу спасти тебя. Теперь дело кончено. Совсем разорить, и пустить тебя по миру с семейством, было бы бессовестно; я мог выиграть все, что ты имеешь, но удовольствовался 50 тысячами, а остальные 20 тысяч отдал мошенникам, которые помогали мне. Полно, опомнись, перестань. Ты никакого понятия об игре не имеешь... Я не люблю мучить и рвать понемногу, как делают это другие. Ежели резать, так и прирезать, а не пилить по кусочкам. Вчера мой план исполнился, и я уже более век ни с тобою, ни против тебя не играю. Удивляюсь, в каком ты был ослеплении... Как можно было не заметить, что с тобою делали? Этот скотина, Шурке, так неискусно передергивал, что бесил меня. Я только один мастерски играл роль пьяного и отчаянного от проигрыша. Ну, любезный Петр Федорович! я сказал тебе все, и ежели ты не слушаешь моего совета, право, я не виноват“.

Аглаев, после этого дружеского предупреждения, решает играть только в коммерческие игры, но по большой. Шулера, хоть уже и без руководства со стороны Удушьева, продолжают на него охоту. Подпаивая Аглаева, они обыгрывают его на большие суммы в дурачки. Но эта игра им кажется утомительной. Между тем прежние приемы заманивания жертвы уже не действуют на Аглаева. „Шурке, по обыкновению, вынул кипу ассигнаций и множество золота. Змейкин и Вампиров начали понтировать. Один из них представлял ролю Удушьева: также проигрывал, рвал карты и кидал их, с досады, под стол; другой также отыскал руте, и приглашал Аглаева воспользоваться его открытием.

Но все усилия их остались тщетными“. Тем временем Аглаеву, лишившемуся уже почти всего состояния, приходит в голову мысль „самому схватить фортуна, как говорят игроки, за тупей, т. е. самому играть на верное. Он слышал несколько лет тому назад, что один подобный ему, ограбленный до последней копейки, отважился поддеть известных игроков на самую простую штуку: стер с шестерки одно боковое очко, поставил темную, с тем, что ежели выиграет четверка, показать карту с того бока, где стерто; а ежели шестерка, то, передернув проворно карту, показать ее, зажав пальцем стертое очко. Такой дерзости никто не мог ожидать; бедняк воспользовался хитростью, и выиграл около ста тысяч. Аглаев решился пуститься на эту же простую штуку; приготовил такую карту, и положил ее, на всякий случай, в карман“.

Однако, уловка эта Аглаеву не удалась. „Весьма неискусно вынул он из кармана приготовленную им карту, так что Вампиров заметил это, и сделал знак Шурке, который сначала не соглашался было играть на темные карты, но по новому знаку стал метать... Но такое было несчастье Аглаеву, что все четверки и шестерки ложились непременно на правую сторону“. Аглаев окончательно проигрывается. „Тысяч сорок было на нем написано... Змейкин сделал тогда знак, и Шурке забастовал“. У Аглаева не оказывается денег на расплату. Он вздумал было отказаться от долга, упрекая шулеров в плутовстве. — „Как? Ты сам бывши бездельником, думая обыграть нас на верное, — закричал Вампиров, подняв с полу и показывая шестерку с стертым очком, — осмеливаешься еще на нас клеветать?“ После этого обмена реплик началась потасовка. Шулера избил Аглаева, повалили его... „И не теряя присутствия духа и времени в драке, Вампиров держал его, а Шурке вынимал у него из карманов все, что там было. Но — не велика была пожива: все деньги поступили уже к ним“; оставались только старинные часы и золотая табакерка. Воспользовались и этим. Аглаеву ничего не оставалось делать, как только самому примкнуть к компании шулеров.

Эпизодом из жизни игроков, очень похожим на шулерские подвиги Удушьева, начинается роман В. Зотова: „Леонид или некоторые черты из жизни Наполеона“ (СПб., 1832, ч. I—IV). Однако здесь менее густо наложены краски картежного жаргона. Гусар Стрельский, глава шулерской шайки, заманивает к себе в дом молодого богача Силина. „Сели за стол — и Силин с негодованием заметил, что все наперерыв старались принудить его больше пить“. Насторожившись, Силин после обеда „сел за скромный бостон по четверти. Разыграв пульку, стали, разумеется, сквитываться, и Силин, проиграв до ста рублей, был в весьма дурном расположении духа. — Сделали небольшой банк, он с досады поставил ва-банк (va-banque) и сорвал его. Сделали другой, и тот имел такую же участь. Дивились его счастью. Подали по рюмке шампанского и сделали

третий, уже побольше. Тут счастье несколько переменялось: Силин, подозревая шулерские уловки, собирался уехать, но хозяин его удерживал. Силин остался. „Подойдя к столу, он начал всматриваться в игру понтеров и в метку банкира — и удивился, что с одной стороны старик, повидимому опытный, так неосторожно мечет и худо тасует, а с другой, что понтеры давно уже не сорвали его банк. Вскоре он однако заметил, что как те, так и другие были уже вельми навеселе, и потому одна слепая фортуна могла тут помогать игрокам, коих отуманенные глаза плохо уже рассматривали очки карт, ложившихся направо и налево; — и поминутно Силин замечал, что то банкOMET прозевывает убитую им карту, то понтер не видит своего выигрыша. Тогда только внутренне устыдился Силин своих мыслей“. Силин снова вступает в игру. „Поставил карту. Ему дали; он загнул — убили. В эту минуту подали еще шампанского. Силин залпом выпил большой стакан — продолжал играть. — Минут через пять почувствовал он какой-то странный шум в голове. Ему показалось, что карты, столы и игроки около него закружились“... Когда — по прошествии некоторого времени — Силин несколько пришел в себя и хотел рассчитаться за игру, то был поражен суммой приписанного ему проигрыша — двадцать две тысячи. Но при выраженном Силиным недоверии к этой цифре, при попытке его отнестись к этому эпизоду, как к дружеской мистификации, — игроки толпой обступили свою жертву: „Ужаснейшая брань и угрозы посыпались на Силина“. Все бросились на него и начали его бить и отнимать у него деньги. Побитый и ограбленный игрок обычно отвозился куда-нибудь, и, за отсутствием свидетелей, дело вскоре прекращалось или даже вовсе не поднималось. Но Силина — по требованию сюжета — спасает Леонид, главный герой романа.¹

Но в „Пиковой Даме“ тайны карточной игры уже в первой главе освобождены Томским от истолкования их разгадки в шулерско-бытовом плане. Прежде всего характерно, что они связаны со старухой и — через нее — с Калиостро. Кроме того, предположение о шулерской уловке сразу же отрицается Томским:

„ — Может статься, порошковые карты! подхватил третий.

— Не думаю — отвечал важно Томский“.

Порошковые карты, на ряду с очковыми и пружинковыми, получались путем „втирания очков“.² „Порошковые карты, — описывает „Жизнь

¹ Ср. сходные эпизоды в изображении приключений калужанина, плененного Москвой, в стихотворной повести Ф. С-ва пародирующей пушкинского „Кавказского Пленника“, — „Московский Пленник“, М., 1829. Ср. также развитие тем и мотивов из жизни игроков и шулеров в повести П. Машкова „Т и креста“ („Повести П Машкова“, СПб., 1833. „Повести и мечты“, ч. I); побочный эпизод вовлечения Рыльского шулерами в игру и его большого проигрыша в „романе нравоописательном“: „Рыльский“ (СПб., 1833) и мн. др.

² Выражение: „втирать очки“ попало в литературный язык из аргO шулеров.

игрока“, — делаются так: берется, например, шестерка бубен: на том месте, где должно быть очко для составления семерки, намазывается некоторым несколько клейким составом, потом на сию карту накладывается другая какая-нибудь карта, на которой в том месте, где на первой карте надобно сделать очко, прорезано точно также очко. В сей прорез насыпается для красных мастей красный порошок, а для черных черный. Сей порошок слегка прилипает к помазанному на карте месту и когда нужно бывает сделать из семерки шестерку: то понтер, вскрывая карту, должен шаркнуть излишним очком по столу, и очко порошковое тотчас исчезает“ (т. I, стр. 55—56).

Самый выбор пиковой дамы, как стержня карточной игры и связанной с ней драмы, должен еще более отстранить подозрение о порошковых картах. Ведь втирать очки можно лишь в нефигурные карты (от двойки до семерки и в девятке). Таким образом, последняя из трех карт, на которые делал ставки Германн (туз или пиковая дама), была непригодна для шулера, играющего на порошковых картах. Тройка, семерка и туз в пушкинской повести, непосредственно суля выигрыш, могли быть свободно назначены и выбраны понтером.

Правда, в стиле „Пиковой Дамы“ есть еще одно выражение, которое может навести на мысль о шулерской уловке. Это слово обдернуться в последней главе повести: „— Туз выиграл! — сказал Германн, и открыл свою карту. — Дама ваша убита, — сказал ласково Чекалинский. Германн вздрогнул; в самом деле, вместо туза у него стояла пиковая дама. Он не верил своим глазам, не понимая, как мог он обдернуться“.

Однако, слово обдернуться в начале XIX в. вышло из узких границ картежного языка. Для понимания значения этого слова в языке Пушкина существенно такое место из письма поэта к брату Л. С. Пушкину от 1 апреля 1824 г. с упреком за распространение среди публики списков „Бахчисарайского Фонтана“ до объявления поэмы в печати: „жаль, если книготорговцы, в первый раз поступившие по Европейски, обдернутся и останутся в накладе — да вперед невозможно и мне будет продавать себя с барышом“.

В „Словаре Академии Российской“ (ч. IV, 1822, стр. 19) это картежное значение слова обдернуться не указано. В „Словаре церковно-славянского и русского языка“ 1847 г. (т. III, стр. 6) это значение формулировано так: „ошибочно выдернуть. Обдернуться картою“.¹

Таким образом Пушкин перемещает анекдот о трех верных картах из шулерски-бытовой плоскости в сферу кабалистики.

¹ Любопытно, что в пьесе кн. А. А. Шаховского „Хризомания“, сделанной из „Пиковой Дамы“, „обер-фараон“ Чекалинский изображается как шулер. Он противопоставляется старухе. „Как же не удивительно, что она теперь не хочет сорвать все банки и отомстить за своих сыновей... ввучат обер-фараону Чекалинскому“.

2. Математический расчет и кабализация игры, как художественные темы

Тема верных карт была одним из наиболее острых мотивов повести из жизни игроков. Ходячие выражения картежного языка играть наверное, на верную, наверняка говорили о том, что анекдот о верных картах в бытовом плане легче всего сочетался с приключениями шулеров. Однако в литературной традиции ярко обозначались еще две линии его сюжетного развития. Одна вела к кругу мыслей о возможности найти твердые математические формулы и законы для случаев выигрыша, освободить игру от власти случая и случайности. В этом отношении очень характерна переводная повесть „Голландский купец“ (из „Сына Отечества“ 1825—1830 гг.), внесенная Н. И. Гречем в сборник „Рассказчик или избранные повести иностранных авторов“ (1832, СПб., ч. I).

Некогда крупный промышленник, Моисей Фан-дер-Гуссен расстроил торговлей свое состояние. От бедности он занялся математикой. „Цель его на этот раз состояла в том, нельзя ли, посредством исчислений, дойти до того, каким образом составляются, в сущности, лотереи и разные азартные игры. По многом и прилежном изучении, открыл он наконец расчет в картах обыкновенной банковской игры, и с такою математическою точностию, что мог бы без опасения поставить голову свою на карту“.

Фан-дер-Гуссен, открыв тайну верных карт, не только вернул свои богатства, но благодетельствовал друзьям и расплачивался выигрышами с теми людьми, которым был обязан. Когда советник Бурдах спас его тонувшего ребенка, Фан-дер-Гуссен провел Бурдаха с собой в игорный дом и, называя ему верные карты, превратил в богача. Присутствовавшие при этой необыкновенной игре в банк офицер и чиновник так толковали о поразительном счастье Фан-дер-Гуссена и Бурдаха (человека „в синем кафтане“):

„Офицер. Не понимаю, как это делалось; только, на какую бы карту ни поставил он, всякая выигрывала...“

Чиновник. ...Он только и начал играть с вечера субботы. И в короткое время такое счастье.

Офицер. Чорт возьми! счастье! Нет, мой милый, тут кроется что-нибудь другое, а не счастье.

Чиновник. Нет, капитан, это невозможно! Ведь нельзя же знать карты по крапу у публичных банкиров. Еще бы, если б сам банкир имел такое счастье, — не диво, а то понтер...“

Особенный интерес представляет рассказанная от лица автора параллельная новелла об обыгранном шулерами молодом человеке Биндере. Проиграв чужие деньги, Биндер покушается на самоубийство. Но

Фан-дер-Гуссен, выступающий в роли „незнакомца“, принимает в нем участие и по своему обыкновению идет вместе с бедняком в игорный дом. Рассказчик наблюдает за ходом игры и за чудесным действием верных карт.

„Когда незнакомец приблизился к столу, банкир изменился в лице и затрясся... Вскоре объявил банкир, что он больше трех талий метать не будет, — что ему сделалось дурно. Незнакомец поставил три, четыре карты, каждую по одному червонцу, но на одну положил он два червонца. Глаза его были устремлены на пальцы банкира... Незнакомец быстрым пронзительным взором следовал за каждым движением рук банкира, который, чувствуя то, смущался — сидел как на огне. О передержке или о других подобных плутовствах нельзя было и подумать... Вот мои наблюдения: смущение банкира тем более казалось мне удивительным, что во всякое другое время ничто не могло поколебать его железного равнодушия. Биндер стоял в нескольких шагах от незнакомца. На карту, которая пошла в два червонца, поставил он кошелек с тысячью червонцев... Банкир прокинул; Биндер выиграл.

„Во вторую талию та же игра. Незнакомец поставил по одному червонцу на несколько карт, из которых он иные выиграл, другие проиграл, но на тройку поставил он два червонца. Биндер примазал к ней пять сот. Банкир стал метать; Биндер выиграл.

„В третью и последнюю талию Биндер уже не играл: он возвратил все свои деньги... Когда готовы были карты для третьей талии, незнакомец поставил семерку, и сказал: *va banque*. Это слово, как громовым ударом, поразило игроков. У банкира выступил на лице пот, как ртуть сквозь дерево, при сжатии воздуха. Тишина во всей комнате. Умоляющий о пощаде взор банкюмета был обращен к незнакомцу. Но загадочный человек сидел, как мраморная статуя. Неподвижным оком устремился он на руки банкира, который начал метать робко и медленно, как будто знал заранее, что перед этим ужасным игроком для него нет спасения. Руки его дергало как на гальванической машине. Наконец... Все были исполнены ожидания. Все желали банкиру, очистившему почти у всех кошелек, мщения небес. Наконец, раздалось: «семерка выиграла!» Незнакомец без малейшего изменения в лице, сгреб большую кучу денег, взял их и ушел. Банк лопнул...“

Так две из верных карт повести „Голландский купец“: тройка и семерка совпадали с верными картами Германна. Но пока математические законы карточного расчета еще не были формулированы, пока тайны верных карт не открылись, преобладало мистическое отношение к картам, приносящим выигрыш. Про екатерининского вельможу П. Б. Пассека ходил следующий рассказ. „В одну ночь он проиграл несколько десятков тысяч рублей, долго сидел у карточного стола и задремал. Как вдруг ему приснился седой старик с бородою, который говорит: «Пассек,

пользуясь, ставь на тройку три тысячи, она тебе выиграет соника, загни пароли, она опять тебе выиграет соника, загни сетелева, и еще она выиграет соника». Проснувшись от этого видения, Пассек ставит на тройку три тысячи, и она сразу выигрывает ему три раза¹.

На откровения покойников возлагались особенные надежды. И литературная романтическая традиция поддерживала этот сюжет. Так у Виктора Гюго в „Le dernier jour d'un condamné“ жандарм обращается к осужденному на казнь с просьбой „составить счастье бедного человека“ („Si vous pouviez faire le bonheur d'un pauvre homme, et que cela ne vous coûtât rien, est-ce que vous ne le feriez pas?“). В ответ на недоумение преступника („Vous choisissez un singulier vase, pour y puiser du bonheur. Moi, faire le bonheur de quelqu'un?“ — „Странный выбрали вы сосуд, из которого хотите черпать счастье. Мне ли составить чье-нибудь счастье?“) жандарм с таинственным видом („qui n'allait pas à sa figure idiote“) сообщает: „Да, г. преступник,—счастье и состояние! Все это может прийти ко мне от вас... До сих пор, чтобы выиграть, мне только одного не хватало — счастливых номеров. Я везде ищу верных („j'en cherche partout de sûrs“) — ан нет, все попадаю мимо... Уж как ни бьюсь, все напрасно... Ну, вот теперь представляется мне прекрасный случай! Простите, осужденный, но кажется вы сегодня отправляетесь на тот свет? А ведь умершие насильственной смертью узнают всю лотерею заранее. Дайте обещание прийти завтра вечером — ну что вам стоит? И дать мне три номера, три самых счастливых. А? Будьте покойны, я не боюсь выходцев с того света“ („Il faut bien avoir une industrie. Jusqu'ici il ne m'a manqué pour gagner que d'avoir de bons numeros. J'en cherche partout de sûrs; je tombe toujours à côté... J'ai beau les nourrir, ils ne viennent pas... Or, voici une belle occasion pour moi. Il paraît, pardon, criminel, que vous passez aujourd'hui. Il est certain que les morts qu'on fait périr comme cela voient la loterie d'avance. Promettez-moi de venir demain soir, qu'est ce que cela vous fait? me donner trois numéros, trois bons. Hein? — Je n'ai pas peur des revenants, soyez tranquille“).

Впрочем, анекдот о трех верных номерах имеет давнее происхождение и нередко излагался вне связи с фантастикой загробных явлений, для иллюстрации случайностей счастья. По мнению Л. П. Гроссмана, в основу рассказа о графине положен старинный исторический анекдот о Калиостро. „В жизнеописании знаменитого авантюриста имеется рассказ о том, как он безошибочно предсказал три номера для лотерейной игры. Из этого зерна пустила, видимо, свои ростки пушкинская новелла“².

Кн. А. А. Шаховской в своей драматической переделке „Пиковой Дамы“: „Хризомания или страсть к деньгам“ („Драматическое зрелище,

¹ М. И. Пыляев. „Старое житье. Очерки и рассказы“, СПб., 1892. Статья „Азартные игры встарину“, стр. 28—29.

² Л. П. Гроссман. „Этюды о Пушкине“, П., 1923, стр. 68.

взятое из повести, помещенной в Библиотеке для чтения, и представляющее в начале: «Приятельский ужин или гляденьем сыт не будешь», пролог — пословицу с пением, в следствии «Пиковая дама или тайна Сен-Жермен») заставляя Карла Соломоновича Ирмуса (так переименован в пьесе Германн) размышлять о соотношении математически-точного расчета и мистического случая по поводу тайны трех верных карт: „Это так, случай? но что доказывает так? и что значит случай?... Я человек просвещенный, европеец XIX века, не верю фатализму, не верю феологии, не верю ничему, а все-таки не в силах не верить, чтоб не было чего-то непостижимого для человека, положим, хоть в природе... Ну, тысячу раз разочтешь все по пальцам, сообразишь всякие возможности, выведешь математически все результаты, — и вдруг что-то внезапное перевернет все обдуманное вверх дном“.

Три верных карты в пушкинской повести, как и три верных номера в романе Виктора Гюго, обвеяны то чарами кабалистики (волшебство Сен-Жермена),¹ то фантастикой загробного откровения (явление умершей старухи).

Игра в фараон входит в сюжет „Пиковой Дамы“, главным образом, со стороны таинственных, фантастических возможностей, в ней скрытых. Она уже к концу первой главы вырисовывается, как сказочный фон игры случая, борьбы счастья и „тайной недоброжелательности“. Поэтому, естественно, драматическое воспроизведение самой игры, приводящее к трагическому исходу, перемещается к концу повести. Ведь игра в карты, если она в символическом аспекте должна совпадать с трагедией рока, могла быть только развязкой сюжета. Разговор же о фараоне, о верных картах — прелюдия к драме Германна — только намекает на скрытую символику карточной игры и разрешает две композиционные задачи:

1) Прежде всего, сквозь призму разнородных экспрессивных отношений к игре освещается светское дворянское общество, тот безличный „субъект“, тот „хор“, от которого отделяется личность Германна и на фоне которого рельефно выступают образы Томского и графини Анны Федотовны, а по временам мелькают туманные силуэты Нарумова и Сурина. Функция хора подчеркивается разнообразными стилистическими приемами. Общество неопределенно обозначается, как „гости“, „молодые игроки“, „молодые люди“. По имени называются лишь Германн, Томский, Нарумов и расчетливый, но бесстрастный Сурин, как бледный и контрастный спутник, „двойник“ Германна. Остальные растворяются в неопределенных или порядковых обозначениях. Ср.: „А каков Германн, — сказал один из гостей...“ — „Случай!“ — сказал один из гостей“ — „«Может статься, порошковые карты», подхватил третий“.

¹ Ср. статью „Граф Сен-Жермен“ в „Московском Телеграфе“, 1826, ч. XII.

„Молодые игроки удвоили внимание“. — „Молодые люди допили свои рюмки и разошлись“, и т. п.

2) Вместе с тем карточная игра уже с XVIII в. изображалась как характеристическая и символическая форма жизни дворянского общества.¹ Недаром О. М. Сомов в „Обзоре Российской словесности за 1827 г.“ („Северные Цветы на 1828 г.“) писал: „Карты, изобретение расчетливой праздности, своими пестрыми, обманчивыми листочками заслоняют листы печатных книг“ (стр. б). С. Н. Глинка готов был видеть в превратностях карточной „мачехи-фортуны“ одну из причин дворянского оскудения: „...Игра карточная сильно потрясла и опрокинула старинный быт дворянский. Игроки-систематики говорили: «Какая до того нужда, что имения переходят из рук в руки? Тем лучше: один промотался, другие нажились. Следственно, деньги не станут залеживаться в могильных сундуках; оборот их будет деятельнее и быстрее». Не знаю, что сказал бы Сидней и Адам Смит об этих оборотах и изворотах денежных“.²

В этом отношении очень характерны нравоучительные очерки, помещенные в разных журналах и альманахах первой трети XIX в., вроде например, заметки „Об игре“ в „Российском Музеуме“ (1815, ч. II). Здесь моральная агитация против азартной игры, утвержденная на аргументах общественно-бытового и социально-экономического характера и подкрепленная ссылками на литературные сюжеты и образы (на Реньярова игрока, Беверлея-бедняка, страждущего эпилепсией, позднее — на игрока Дюканжа и т. п.), на эстампы Гогарта, сопровождалась безнадежной сентенцией: „Писать против игры есть то же, что сочинить трактат против фортуны“ (стр. 205).³

В „Пиковой Даме“ карточная игра сразу же раскрывается в своей внутренней композиционной сущности как динамический центр событий и движущая сила литературного сюжета.

3. Символика карт и карточного языка

Игра в фараон, бытовые функции и „тайны“ карт, вступая в структуру сюжета „Пиковой Дамы“ с своим постоянным предметным содержанием, тянут за собой символику и „мифологию“ карт. Ведь уже сама система картежного аргю (как и всякая другая языковая система) в ее

¹ Ср. у М. И. Пыляева: „По словам современников, в последние годы царствования Екатерины II карточная игра усилилась до колоссальных размеров; дворяне только и делали, что сидели за картами... Составлялись кампании обыграть кого-нибудь наверняка; поддерживать себя карточной игрою несколько не считалось предосудительным“ (стр. 30).

² „Записки С. Н. Глинки“, М., 1895, стр. 137.

³ Ср. „Дамский Журнал“, 1828, № 4, февраль: „Суд о жизни игрока“, стр. 208—209.

Липических чертах слагается не только из терминов „производства“, но включает в себя и своеобразные формы „мировоззрения“. На игрецкую мифологию громадное влияние оказали символические функции карт в гаданьи.

Эпиграф „Пиковой Дамы“ ведет к „новейшей гадательной книге“: „Пиковая дама означает тайную недоброжелательность“. Этот эпиграф говорит о том, что в сюжете повести нашли применение символические формы гадательного жаргона. Гадательные арготизмы покоются на своеобразных мифологемах и символах, устанавливающих соответствия между жизнью и судьбой людей и знаками, свидетельствами карт. Выражения гадательного жаргона двупланны: за именами и знаками карт скрыт мир людей, вещей и событий. Для гадательной мифологии характерна персонализация карт, слияние карты с тем символическим образом, который она представляет. Название карты становится условным символом личности, события или движущей силы, причины происшествий. Таким образом, эпиграф подсказывает, что значение пиковой дамы в сюжете повести двойственно: игральная карта воплотит в себе, как это выяснится дальше, другие, более глубокие образы художественной действительности. Любопытно, что самое помешательство Германна изображается Пушкиным как неподвижная идея, состоящая в смещении и слиянии реального мира с образами трех верных карт. „Тройка, семерка, туз — не выходили из его головы и шевелились на его губах. Увидев молодую девушку, он говорил: — Как она стройна!... Настоящая тройка червонная. У него спрашивали: который час, он отвечал: — без пяти минут семерка. — Всякий пузастый мужчина напоминал ему туза. Тройка, семерка, туз — преследовали его во сне, принимая все возможные виды: тройка цвела перед ним в образе пышного грандифлера, семерка представлялась готическими воротами, туз огромным пауком“. Сходные же превращения мира в карты, навеянные, очевидно, „Пиковой Дамой“ Пушкина, можно найти, например, в повести барона Ф. Корфа „Отрывок из жизнеописания Хомкина“ („Современник“, 1838, т. X). Здесь игра в карты также связана с кабалистикой, при посредстве которой враги стараются погубить Хомкина и овладеть его дочерью. Проигравшийся Хомкин, испытывая помрачение сознания, всюду видит карты вместо предметов и людей. „Он ясно видел, что извозчик не что иное, как бубновый король, из той самой колоды, которою он играл; он мог разглядеть загнутые на нем углы... Вместо лошади впряжен был в оглобли бубновый туз... Он обернулся и видит, что за ним гонится бубновая четверка“ (стр. 101). „Страшные грезы не давали ему покоя, несмотря на изнеможение физических сил фантазия его играла с прежнею энергией. Отвратительная четверка бубен, с своими четырьмя кровавыми пятнами, стояла перед ним неподвижно; она была мала для него человеческий вид и пристально смотрела ему в глаза...“ и т. д.

Однако, в ткани пушкинской повести гадательное значение пиковой дамы тесно связывается с образами этой карты в мифологии игроков.

Дамы как фигурная масть — особенность французских карт, которые вошли в русский культурный обиход XVIII в.¹ и сразу же, по французскому образцу, приобрели своеобразное романтическое значение в гаданьи. В „Бригадире“ Фонвизина советница признается: „После туалета лучшее мое препровождение времени в том, что загадываю в карты“. И последующее объяснение в любви между советницей и Иванушкой происходит в форме символического применения к их образам и к их взаимоотношениям карточных фигур керовой дамы и трефового короля:

„Сын. Позвольте теперь мне, мадам, отгадать что-нибудь вам: задумайте и вы короля и даму. Советница. Очень хорошо. Король трефовый и керовая дама“.

Карты, конечно, говорят, что „король смертно влюблен в даму“, и дама с своей стороны в него „влюблена до безумия“. Легко затем разгадывается мифологический смысл этих карт.²

„Сын (кинувшись на колени). Ты керовая дама.

Советница (поднимая его). Ты трефовый король“.

Гадательные образы дамы переходят и в атмосферу карточного арга. В повести А. А. Марлинского „Испытание“ эскадронный командир напоминает майору Стрелинскому о „черноглазой даме, с золотыми колосьями на голове, которая свела с ума всю молодежь на балу у французского посланика три года тому назад“.

„— Я скоро забуду, с которой стороны садиться на лошадь, — вспыхнув, отвечал Стрелинский; — она целые две ночи снилась мне, и я в честь ее проиграл кучу денег на трефовой даме, которая сроду мне не рутировала“.³

Впрочем в мифологии игроков эта эротическая символика гаданий на дам была иронически переосмыслена и преобразована. В комедии А. А. Шаховского: „Хризомания или страсть к деньгам“ есть целый ряд намеков, позволяющих думать, что пиковая дама в картежном языке той эпохи вообще нередко была символом старухи. В сцене бала во время котильона Вольмер, подводя двух дам к Томскому, предлагает на выбор розу или пиковую даму. Когда Томский, избрав пиковую даму, вальсирует с дамой, между Суризым и Немировым происходит такой диалог:

„— А этот полоумный отчего избрал пиковую даму?

— Видно, от любви к своей бабушке“.

¹ Ср. В. И. Чернышев. „Терминология картежников“, сб. „Русская речь“, в. II.

² „Сын. Я бы жизнь свою, я бы тысячи жизней отдал за то, чтобы сведаг кто это керовая дама... Советница. А кто этот преблагополучный трефовый король возмог пронзть сердце керовой дамы“.

³ „Русские повести и рассказы“, СПб., 1832, ч. I, стр. 7.

Если этот разговор можно истолковать как указание на ходячее прозвище „бабушки“ (т. е. старой графини) в большом свете, то, наоборот, одна сценка в игорном доме не оставляет сомнения, что перенос на графиню символа пиковой дамы стал возможен лишь вследствие причастности образа старухи, как карточной мифологемы, к значению пиковой дамы. Бухтин мечет банк. Снимает колоду. Сурин спрашивает: „что низ?“ Бухтин отвечает: „Старуха, т. е. пиковая дама“. Сурин, ненавидевший Карла Соломоновича Ирмуса (который заменил в комедии „Хризомания“ пушкинского Германиа), смотрит на него многозначительно и роняет замечание: „Я старух не пугаюсь“. А сидящий за тем же столом Томский не понимает намека на свою бабушку и говорит просто: „Посмотрим, вывезет ли меня старуха“. Точно так же и в финале игры Бухтин заявляет: „дама убита-с“.

„Ирмус: Туз выиграл. Бухтин: Так... да вскрыл и даму-с. Ирмус: Пиковая дама! Бухтин: Спасибо, старуха!“

И сошедший с ума Ирмус, как бы смыкая в образе графини значения пиковой дамы и старухи, называет ее „пиковой старухой“. Впрочем, в „Игроках“ Гоголя личность пиковой дамы получает иное характеристическое освещение. Утешительный рассуждает: „Говорят, пиковая дама всегда продаст, а я не скажу этого... Помнишь, Швохнев, свою брюнетку, что называл ты пиковой дамой? Где то она теперь сердечная? Чай пустилась во все тяжкие!...“ Во всяком случае, значение дамы как одной из фигурных карт естественно сочеталось с изображением личности, а пиковая дама символизировала отрицательный женский образ, „злодейку“.¹ В книге И. Б.: „Волхв или полное собрание гаданий с краткою мифологией“ (М., 1838) вторая часть, носящая название: „Книга судьбы. Листки Самбеты, Сибилены Персидской“ и раскрывающая мифологию гадания на картах, в „пиковой даме“ учит прозревать „мстительную женщину“ (стр. 258).

В книге: „Открытое таинство картами гадать (в 2 книжках, с таблицами. Перевел с немецкого Петр Биркман, М., 1795)“, символическая функция крали в пиковой масти определяется так: „Краля — неприятная знакомка“ (кн. IV, стр. 64). В сочинении: „Калиостро или гадание по картам. Новый и совершенно неизвестной способ гадания, вполне удовлетворяющий желания загадывающих особ, одобрен знаменитыми гадателями Ленорманом и Сведенборгом“ (М., 1843) — пиковая дама выступает как

¹ У Гоголя в „Игроках“ подчеркнута игра олицетворением всей колоды карт: „И х а р е в: Вот она, заповедная колодушка — просто перл! Зато ж ей имя дано, да: Аделаида Ивановна. Послужи ка ты мне, душенька, так, как послужила сестрица твоя: выиграй мне также восемьдесят тысяч, так я тебе, приехавши в деревню, мраморный памятник поставлю; в Москве закажу“ (явл. II). Формы лица затем комически комментируются в разговоре между шулерами: „И х а р е в. Вот она. Зато уж, не прогневайтесь, она у меня носит имя, как человек. У т е ш и т е л ь н ы й. Как, имя? И х а р е в. Да, имя: Аделаида Ивановна...“ и пр.

вдова (стр. 6). Это значение пиковой дамы зафиксировано в рецептах знаменитой Atteilla, или Alliette, которая во Франции создала моду на гаданье: „La dame de pique signifie une femme qui est chagrine, embarrassée dans les affaires, une femme veuve“ („Les cartes à jouer“).

В книге „Колдун не болтун или настоящий ворожея, дающий каждому на вопросы справедливые ответы и отгадывающий задуманных или отдаленных особ имена; с показанием некоторых примечаний и гаданий о святках, также и на картах...“ (К. Д., СПб., 1792) краля в винах символизирует злую женщину (стр. 114). Интересно на этом фоне описание функций пиковой масти в целом. В книге: „Открытое таинство картами гадать“ (М., 1795) значение пик изображается так: „Пики или вины есть приятная надежда, щастие в предпринятом намерении и успех в женском поле. Разумеется, когда мушина гадать будет“ (стр. 1, 2; ср. II, стр. 48, 50).

Эта двойственность значений, присущая картам, нередко в литературных композициях определяла структуру и содержание приема символических намеков: в карточной игре осуществлялось символическое предвосхищение сюжетной развязки. Карты как ключ к разгадке сюжетного движения выступают в композиции известного Пушкину романа Фан-дер-Фельде „Арвед Гилленштирна“. Этот роман значится в каталоге библиотеки села Тригорского: „Arwed Gillenstierna. Von E. T. van der Velde. Dresden, 1823, I Th.“¹ Отрывок из него: „Смерть Карла XII“ напечатан в „Московском Вестнике“ за 1828 г., ч. VII. Здесь сначала — в шахматных фигурах офицера и короля — за игрою в шахматы символически раскрывается сюжетная структура образа Карла XII. Но особенно любопытна символика, вложенная в затеянную потом карточную игру. Инженер Мегрет, будущий убийца короля, мечет банк. Благородный Арвед понтирует против него. Советник Сведенборг, чудесной силой проникающий в загадки будущего, в тайны природы и человеческой души, советует Арведу: „Поставь короля: он враг банкometу“. „Приметно вздрогнул Мегрет и с жаром, несоответствовавшим делу, спросил Сведенборга: «Что вы хотите этим сказать? Вы не намерены меня обидеть». — «Тот только принимает все в худую сторону, кто сам дурен», отвечал Сведенборг. «Я дал молодому другу моему хороший совет, основанный на моем расчете». — «Я люблю сам себе советовать», сказал Арвед, досадуя на привязчивость лица постороннего и удержал прежние карты, которые все выпали в пользу банкometа. «Сделай же мне удовольствие, поставь короля», тихо сказал Кольберт, «хоть из любопытства. Будет убит, тогда хорошенько посмеемся над советником». — «Пожалуй, только сделаю это неохотно», отвечал Арвед и поставил короля. Король выиграл и соника

¹ „Пушкин и его современники“, вып. I, стр. 31. Заглавие романа Фан-дер-Фельде, „Арвед Гилленштирна“, записано Пушкиным на одной из его рукописей. См. Д. П. Якубович, „Литературный фон «Пиковой Дамы»“ (Лит. Современник, 1935, № 1) и книгу „Рукою Пушкина“, М., 1935, стр. 313.

и *parol* на него же, которое Арвед потом загнул. «Король крепок», сказал смеючись Кольберт. «Банкомет ничего с ним не сделал»...»

В этой сцене символика карт контрастно противостоит разрешению сюжетных коллизий, так как король Карл XII был предательски убит Мегретом.

В пушкинской повести так же, как и в „Эликсире Сатаны“ Гофмана, где образ Розалии непосредственно сливается для героя с червонной дамой во время игры в фараон, явление старой графини в образе карты пиковой дамы субъектно оправдано: оно мотивировано сумасшествием Германна.

Игра в фараон, судьба Германна, поставленная на карту, прикреплены к образу старой графини. В аспекте семантики карточных символов естественна была концентрация всех этих значений в образе пиковой дамы.

„Чекалинский стал метать, руки его тряслись. Направо легла дама, налево туз.

— Туз выиграл! — сказал Германн и открыл свою карту.

— Дама ваша убита, — сказал ласково Чекалинский.

Германн вздрогнул: в самом деле, вместо туза у него стояла пиковая дама. Он не верил своим глазам, не понимая как мог он обдернуться.

В эту минуту ему показалось, что пиковая дама прищурилась и усмехнулась. Необыкновенное сходство поразило его...

— Старуха! — закричал он в ужасе“.

Фраза „дама ваша убита“ — двусмысленна. С одной стороны, прямое предметное значение этой фразы картежного языка указывает на результат карточной игры Чекалинского с Германном (проигрыш ставки Германна на пиковую даму), а с другой стороны, каждое из составляющих эту фразу слов выражает иные, относящиеся не к карточной игре, а к убийству старухи значения. Ведь „ваша дама“ для Германна — старуха. На ней сосредоточилась его страсть. И эта дама была, действительно, убита им. Так в субъективном плане — и Германна и читателя — осмысливается стоящий за вещным содержанием смысл этой фразы. Каламбурное, двусмысленное применение карточной терминологии — широко распространенный в литературе 30-х гг. прием.¹ На этом смысловом фоне становится понятным, как мог Германн „обдернуться“, почему он вынул себе из колоды вместо туза пиковую даму. Пиковая дама, в которой воплотился „образ мертвой старухи“, заменила туз вследствие борьбы и смешения двух неподвижных идей в сознании Германна. „Две неподвижные идеи не могут вместе существовать в нравственной природе, так же, как два тела не могут в физическом мире занимать одно и то же место. Тройка, семерка, туз — скоро заслонили в воображении Германна образ мертвой

¹ Ср. разговор игроков в начале „Маскарада“ Лермонтова.

старухи“.¹ Но прежняя „неподвижная идея“, фиксировавшаяся на образе мертвой графини, направляла думы Германна в другую сторону: „Он верил, что мертвая графиня могла иметь вредное влияние на его жизнь“. Мертвая графиня обернулась для Германна пиковой дамой, которую выдали ее усмешка и прищуривание глаза. На похоронах, при прощании Германна с трупом, — „в эту минуту показалось ему, что мертвая насмешливо взглянула на него, прищуривая одним глазом. Германн, поспешно подавшись назад, оступился и навзничь грянулся об землю“.

Точно так же при последней проигранной ставке, когда у Германна вместо ожидаемого туза непостижимым образом оказалась пиковая дама, — „в эту минуту ему показалось, что пиковая дама прищурилась и усмехнулась. Необыкновенное сходство поразило его... — Старуха! — закричал он в ужасе“.

Так пиковая дама, т. е. мертвая графиня, проникла в строй трех „верных карт“, на место завершающего их туза, и, разрушив планы Германна, осуществила волю рока, „тайную недоброжелательность“ судьи.

Однако здесь намечается новая сфера смыслов и символов, сопряженных с терминологией и фразеологией карточной игры в дворянских и буржуазных литературных стилях начала XIX в. Сквозь призму символов и метафор карточного арга в литературных стилях начала XIX в. созерцались разные стороны действительности. Так кн. П. А. Вяземский в стихотворении „Выдержка“ (1827),² заявив:

Мой ум — колода карт,

каламбурами, основанными на смешении картежных и бытовых фраз, преимущественно же на игре омонимов, сортирует всех людей по мастям и при посредстве карточных образов дает сатирический очерк жизни:

Что мысли? Выдержки ума! —
 А у кого задержки в этом? —
 Тот засадеется, век с лабетом
 В игре и речи и письма;
 Какой ни сделает попытки,
 А глупость срежет на просак!
 Он проиграется до нитки
 И выйдет на-чисто дурак...
 Игра честей в большом ходу,
 В нее играть не всем здорово;
 Играя на честное слово,
 Как раз наскочишь на беду...
 Поищем по себе игорку,

¹ Ср. в „Путешествии из Москвы в Петербург“: „Две столицы не могут в равной степени процветать в одном и том же государстве, как два сердца не существуют в теле человеческом“.

² „Полное собрание сочинений кн. П. А. Вяземского“, СПб., 1880, т. III, стр. 445—447. Пушкин. Временник, 2

Да игроков под нашу масть:
 Кто не по силам лезет в горку,
 Тот может и в просак попасть.
 А как играть тому с плеча,
 Кто заручился у фортуны;
 Он лука натяни все струны
 И бей все взятки с горяча...
 Другой ведет расчет и строгий,
 Но за бесчисленных счастье бог,
 И там, где умный выиграл ноги,
 Там дурачек всех срезал с ног...
 Друзья! кто хочет быть умен,
 Тот по пословице поступит:
 Продаст он книги, карты купит;
 Так древле нажил ум Семен.
 Ум в картах: соглашусь охотно!
 В ученом мире видим сплошь,
 Дом книгами набит, и плотно,
 Да карт не сыщешь ни на грош.

Это метафорическое преобразование жизни словесными красками картежного языка характерно и для бытовой переписки той эпохи. Так, Пушкин пишет кн. Вяземскому 5 ноября 1830 г. (из Болдина):

„Ты говоришь: худая вышла нам очередь. Вот! Да разве не видишь ты что мечут нам чистый баламут; А мы еще понтируем! Ни одной карты налево, а мы все таки лезем — Поделом если останемся голы как бубны“ .

Но особенно сложны и разнообразны были формы стилистического употребления карточных метафор в повествовательной прозе. Например, в повести П. Машкова „Три креста“¹ шулер и разбойник Зарезов говорит возвращенному им в свою профессию Преклонскому: „Ты теперь как закрытая карта. Не скоро угадаешь, к какой масти принадлежишь“ (стр. 29). Заманив картежною игрою, ограбив и убив старика, Преклонский читает над ним отходную, а Зарезов иронически замечает: „Доброе дело! Бедняк вовсе проигрался. Выпал ему пиковой туз. И то правда, двое играли против одного: чорт на душу, ты на деньги“ (стр. 38). В той же функции символа роковых, трагических событий пиковый туз выступает в рассказе Леоп. Бранта „Две невесты“.² Счастливый жених майор Амурский сообщает своим сослуживцам, собравшимся у подполковника Долина, о близкой своей свадьбе. „Большая часть гостей играла в вист и бостон, — некоторые, скучавшие, вероятно, степенностью, бесстрашием и позволительностью этих игр — пробовали, какая карта счастливее для них: тройка, осьмерка или валет. — Просто они упражнялись в невольном банке“. Амурский сначала был только наблюдателем

¹ „Повести П. Машкова“, СПб., 1833, ч. I.

² „Воспоминания и очерки жизни. Рассказы Леопольда Бранта“, СПб., 1839, ч. II.

игры. „Наконец он не мог уже одолеть желания испытать собственного счастья, — присоединился к понтирующим“. Сначала сохранялось некоторое количественное равновесие между удачей и неудачей, выиграшем и проигрышем у Амурского. „Потом карта стала постоянно изменять ему и ложилась упрямо на сторону противника: ни пароли, ни транспорты не помогали; банкومت бил всех его бумажных представителей“. Амурский проигрывает все наличные деньги: „Между тем он продолжал ставить, что называется, на-мелок. Счастье перешло было на его сторону: он отыграл 10 тысяч, но это только пошутило картежное предопределение: через несколько минут отыгранная сумма снова улыбнулась прощально, и два длинные ряда цифр, записанных на увлеченного игрою Амурского, смотрели на него злобно и насмешливо, как олицетворенные кредиторы“. Наконец Амурский „рискунул вверить одной, может быть, предательской карте, деревню в 500 душ — последнее уже, что мог пропонтировать. Карта эта была пиковый туз“. Напрасно друзья и даже сам банкومت уговаривали Амурского прекратить игру. „Амурский настаивал на своем, говорил, что хочет отыгратся, — и офицер, с приметным неудовольствием, стал снова метать. Колода была на исходе: но роковая, таинственная, одушевленная пятьюстами душ, карта все еще не выходила; на лицах всех, принимавших участие в банке, изображалось нетерпение и любопытство...“ Амурский „в тревоге ожидания, в жару волнения, перешедшем наконец, и в самые пальцы его, стирал ими очки на картах и крепко мял последние в руках своих, дико следя за движением руки банкомета: этот что-то останавливается — и вдруг заветная карта падает налево... Амурский выиграл: но вместо изъявления радости с бешенством вскакивает со стула и бросается к противнику своему. „Пиковый туз должен был лечь направо; я очень хорошо заметил, что вы передернули при последней сброске“. «Вы, сударь выиграли, — и должны признаться в этом, если не хотите иметь со мною дела!» Дело в том, что банкومت, из жалости к сослуживцу, передернул карту, но неудачно. Так пиковый туз делает Амурского нищим. Отсюда начинаются несчастья Амурского, которые заканчиваются добровольным заточением его в монастыре. Пиковый туз стал для Амурского символическим выражением злого рока. „О, пиковый туз! — думал он, — ты виною этой возмутительной встречи!“ (со второю невестой). — „Без тебя я был бы счастливым супругом Вельминой...“ (стр. 52). — „Карты, карты — именно пиковой туз всему виною!“ (стр. 66).

4. Символика игры и идеологические схемы

В формах картежного языка находила художественно-символическое выражение своеобразная „философия жизни“.

Для каждого арготического характера смысловая двупланность системы миропонимания. Арготическая речь воплощает в себе действительность, струк-

туру своего профессионального мира, в форме иронического соотношения, сопоставления его с культурой и бытом окружающей социальной среды. Но и, наоборот, общие принципы жизни, даже основы мирового порядка, она усматривает во внутренних символических формах тех производственных процессов и их орудий, их аксессуаров, которые наполняют арготическое сознание. В сущности, — это две стороны одного процесса символического осмысления мира сквозь призму профессиональной идеологии, иногда полемически противопоставленной нормам мировоззрения того „общества“ или тех его классов, которые пользуются господствующим положением в государстве.

Романтическая повесть 20-х—30-х гг. XIX в. охотно питалась идейными концепциями, созданными на почве картежного языка. Из игрецкого арго она заимствовала то мировоззрение, которое было потом так коротко и ясно выражено шулером Казариным в „Маскараде“ Лермонтова:

Что ни толкуй Вольтер или Декарт,
Мир для меня — колода карт:
Жизнь — банк: рок мечет, я играю,
И правила игры я к людям применяю.¹

Эта философия жизни сочеталась с особым социально-политическим мировоззрением. В переводной с французского комедии „Игрок“ (в 5 действиях, 1815) игрок Ветрид рассуждает так: „Игрою сближаются всякого рода люди: они соединяют гордого и бешеного барина с кротким и смиренным мещанином; богатая купчиха в щегольском платье не уважает ни мало бедную генеральшею, и приказчик, управитель, комиссар и камердинер обходятся за панибрата с князем и графом. Таким образом, неравенство породы, от судьбы нам распределяемое, приводится игрою в праведное равновесие“ (стр. 87). А Тербидон, преподаватель карточной науки, дополняет: „Без игры была бы везде скука, нищета, совершенный беспорядок; а с игрою и самый бедняк великим капиталистом сделаться может“ (стр. 32).

Те же идеи в драме неизвестного автора „Игрок“ (подражание Реньяру, 1817. Рукопись Библиотеки русской драмы I, IV, 4, 46):

...игра весь свет в одно сливает
Купцов, дворян, судей она соединяет...
Фортуна в обществе, по прихоти своей,
Уничтожает так неравенства людей.

В атмосфере этого революционного настроения символика жизни, как игры в банк, и рока, как банкмета, получила особое применение.

С этой точки зрения, особенно любопытна композиция романа Стендаля „Le Rouge et le Noir“. Рулеточным или картежным термином в заглавии уже задано понимание художественной действительности в аспекте

¹ Ср. М. А. Яковлев. „Лермонтов как драматург“, 1924, стр. 200—205.

азартной игры. И Жюльен Сорель, хотевший идти путем Наполеона, проигрывает все ставки в этой игре. Символика игры, как уведожащая в даль социально-политических и философских обобщений смысловая перспектива литературного построения, многообразно отражается в сюжетном движении истории неудавшегося Наполеона из tiers-état. Нет необходимости историку языка и литературы, который стремится уяснить формы словесных конструкций в „Пиковой Даме“, настаивать на том, что в ее композицию вовлечены литературные отголоски, как бы затаенные намеки на роман Стендаля.¹ В письме к Хитрово, которое датируется маем 1831 г., Пушкин писал: „Je vous supplie de m'envoyer le second volume de rouge & noire. J'en suis enchanté“.²

Современники Пушкина непрочь были понять и осмыслить образ Германна в той же социальной плоскости, что и образ Сореля. Во всяком случае, кн. Шаховской в своей комедии: „Хризомания или страсть к деньгам“ заставляет Карла Соломоновича Ирмуса произносить мефистофельские речи о власти золота и о золоте, как о пути к власти Цезаря — Наполеона: „Ах, кто в мире меньше или больше не Дон Кишот? Но что значат все Дульцинеи, все красавицы, все прелестницы в мире против наличного миллиона рублей?.. Красота увядает, здоровье слабеет, дарования уничтожаются, слава померкнет, а деньги всегда остаются в своей силе на своем месте...“ А Томскому этот драматург влагает в уста такой социологический комментарий к личности Ирмуса: „Что тут непостижимого? Он — инженер, математик, человек аккуратный, у него нет нигде, как у нас, русских баричей, ни батюшек, ни матушек, ни деревень, ни наследства, так он и бережет денежку на черный день...“ При анализе форм построения существеннее всего отыскание принципов конструктивной общности в смысловой композиции произведений. Эти соответствия „Пиковой Дамы“ и „Le Rouge et le Noir“ не сводятся только к односторонним функциям заглавий, но заключаются и в смысловом подобии тех „внутренних форм“, которыми определяется символическое соотношение литературной действительности обоих произведений с образами игры и рока. Можно только отметить, что внутренние формы игры и стоящей за ней судьбы в „Le Rouge et le Noir“ являются лишь заданными и как бы „скользящими“ призраками символических обобщений, а в „Пиковой Даме“ они даны и как бытовая реальность фабульного движения и как отражающийся в ней круг художественных образов.

Некоторые исследователи готовы были искать сюжетных совпадений между „Пиковой Дамой“ Пушкина и „Шагреновской кожей“ Бальзака.³ Мне кажется, что гораздо целесообразнее говорить об общности образно-

¹ О типологическом сходстве Онегина и князя Коразова из „Le Rouge et le Noir“ см. статью Л. П. Гроссмана „Пушкин и дэндизм“, „Пушкин“, 1928, стр. 18.

² „Письма Пушкина к Ел. Мих. Хитрово“, Л., 1927, стр. 21.

³ Н. О. Лернер. „Рассказы о Пушкине“, Л., 1929, стр. 142.

идеологического фона в этих произведениях. В начале „Шагренево́й кожи“ символически воспроизводится та же атмосфера азартной игры, в которой ставкой является жизнь и счастье — богатство. Демон игры и здесь управляет человечеством.

Для понимания тех социально-идеологических основ, на которых вырастали игорные образы жизни и судьбы, рока, характерен факт однородности, общности этих символов в произведениях, не находящихся ни в малейшей зависимости одно от другого. В отрывке: „Два часа из жизни Эразма“ (отрывок IX из главы „Эразм болен“), напечатанном в литературном альманахе „Эхо“ (1830), заключительные строки откровенно излагают близкую к роману Стендаля символику игры с судьбою: „Теперь, друзья мои! природа велит готовиться к той великой игре с судьбою, где потомственная чета Адама и Евы ставит одну темную, и где ветхое Время, под кровом таинственности, из колоды другой половины жизни мечет красное и черное, доколе Парка не совлечет покрова и не вскроет игры на доске гробового безмолвия“ (стр. 80).

Те же символические значения, которые сочетались в литературном творчестве Пушкина с игрой в фараон, раскрывают черновые наброски к XVIII строфе II главы и XXXVII строфе VIII главы „Евгения Онегина“, связанные с темой мятежной власти страстей и рока и вместе с тем в образах игры рисующие жизненный путь современного поэту героя:

О двойка! ни дары свободы,
 Ни Феб, ни Ольга, ни пиры
 Онегина в минувши годы
 Не отвлекли бы от игры.
 Задумчивый, всю ночь до света
 Бывал готов он в эти лета
 Д о п р а ш и в а т ь с у д ь б ы з а в е т :
 Налево ляжет ли вает?
 Уж раздавался звон обеден,
 Среди разорванных колод
 Дремал усталый банкومت,
 А он, нахмурен, бодр и бледен,
 Надежды полн, закрыв глаза,
 Пускал на третьего туза.

*

Уж я не тот игрок нескромный,
 Скупой не верю мечте,
 Уже не ставлю карты темной,
 Заметь тайное руте.
 Мелок оставил я в покое,
 „Атанде“, слово роковое,
 Мне не приходит на язык...¹

¹ Я. К. Грот. „Пушкин, его лицейские товарищи и наставники“, СПб., 1887. „Дополнения к изданиям Пушкина“, стр. 208—229.

И час настал, и в усыпленье
 Ума и чувств впадает он,
 И перед ним воображенье
 Свой пестрый мечет фараон;
 Виденья быстрые лукаво
 Скользят налево и направо,
 И будто на смех не одно
 Ему в отраду не дано,
 И как отчаянный игрок
 Он желчно проклиняет рок...
 Все те же сыплются виденья
 Пред ним упрямой чередой,
 За ними с скрежетом мученья
 Он алчно следит душой
 Отрады нет...
 Все ставки жизни проиграл...¹

Так и в „Пиковой Даме“ эпизоды игры в фараон превращаются в символ жизни, управляемой роком и случаем. Пиковая дама обозначает в этом плане „тайную недоброжелательность“ рока. Рок отделен от образа старухи, хотя и действует через нее. Старуха является лишь орудием, послушной картой в руках той силы, которая царит над игрой и жизнью. „Я пришла к тебе против своей воли — сказала она твердым голосом: — но мне велено исполнить твою просьбу...“ Значения образа пиковой дамы, как символического центра композиционного движения, здесь вовлекаются в новый смысловой контекст, который создается мгновенно пробегающими и вновь прячущимися намеками. Именно при посредстве этих намеков, семантических отражений и разнообразных вариаций основных тем осуществляется „сквозное действие“ повести, связанное с тройственным значением образа пиковой дамы (карта — старуха — „тайная недоброжелательность“ судьбы). В этом отношении особенно показательны формы изображения старухи в тот момент, когда перед нею явился Германн. Она представляется бездушным механизмом, безвольной „вещью“, которая бессмысленно колеблется направо и налево, как карта в игре, и управляется действием незримой силы: „Графиня сидела, вся желтая, шевеля отвислыми губами и качаясь направо и налево. В мутных глазах ее изображалось совершенное отсутствие мысли; смотря на нее, можно было бы подумать, что качание страшной старухи происходило не от ее воли, но по действию скрытого гальванизма“.

Но особенно многозначителен эпиграф к последней шестой главе:

„— *Атанде!*

— Как вы смели мне сказать *атанде?*

— Ваше превосходительство, я сказал *атанде-с!*“

¹ И. А. Шляпкин. „Из неизданных бумаг А. С. Пушкина“, СПб., 1903, стр. 24—25.

Н. О. Лернер привел в своей статье: „История «Пиковой Дамы»“¹ материал для понимания бытового содержания и атмосферы этого игрецкого анекдота, но он не попытался уяснить его смысла в композиции повести. И если А. М. Языков считал, что в „Пиковой даме“ „всего лучше эпиграфы, особенно атанде-с“, то за этим отзывом крылось понимание их композиционной роли. Подобострастное „атанде-с“ нельзя понять, если усмотреть в нем только символическое выражение проигрыша. Точно также образ высокомерно-чванного „вашего превосходительства“, прикрикнувшего на понтера, не может быть перенесен целиком на личность Чекалинского. Таким образом, внутренние символические формы этого эпиграфа не только выводят его за пределы прямых значений, из сферы карточной игры, сохраняя в нем неиспользованный остаток смысловой энергии, но и всю эту сцену торжества пиковой дамы влекут в иной семантический план, где образ Германна, как развенчанного Наполеона, склоняется перед роком, перед слепым случаем („Ваше превосходительство, я сказал атанде-с“).²

Тогда приобретает значение символа „перманентной“ игры последняя перед заключением фраза повести: „игра пошла своим чередом“.

¹ Н. О. Лернер. „Рассказы о Пушкине“, Прибой, 1929, стр. 161—162. Любопытно, что а т а н д е, как и другие термины игрецкого арго, до сих пор живет в „блатной музыке“ (в значении: довольно, отойди, молчи, не кричи). Ср. „Словарь жаргона преступников“ (блатная музыка), составленный С. М. Потаповым, М., 1927. Н. О. Лернер правильно указывает на то, что эпиграф воспроизводит ходячий анекдот о генерале, который не мог допустить, чтобы подчиненный даже в игре обращался к нему с повелительным возгласом: а т а н д е! Так, по рассказу кн. П. А. Вяземского, граф Гудович, бывший генерал-губернатор Москвы, говаривал, что с получением полковничьего чина он перестал метать банк сослуживцам своим. „Неприлично, — продолжал он, — старшему подвергать себя требованию какого-нибудь молокососа-прапорщика, который, понтируя против вас, почти повелительно выкрикивает: атанде!“ Ср. приведенные Н. О. Лернером эпизоды из очерка А. С. Афанасьева-Чужбинского „Самодуры“ („Очерки из прошлого“, СПб., 1863, ч. IV). В том, что слово атанде было широко распространено в обиходном языке дворянства и имело здесь переносное значение повелительно-остаивающего междометия, убеждают хотя бы примеры частого употребления этого слова в „Автобиографии“ А. О. Смирновой: „Подождите, атанде-с, я все расскажу, надо с чином, толком и расстановкой“ (А. О. Смирнова-Россет. „Автобиография (неизданные материалы)“, изд. „Мир“, 1931, стр. 151); „Атанде, атанде-с, дайте дух перевести, сударь мой“ (стр. 153); „Ну, теперь про бабушку. — Атанде-с, я тотчас кончу самый трогательный“ (стр. 158); „И ты предпочла Смирнова? — Атанде-с, атанде-с, Смирнов тогда не показывался на нашем горизонте“ (стр. 176) и т. п.

² Ср. суждение Пушкина в его набросках рецензии на „Историю русского народа“ Н. А. Полевого: „Ум человеческий, по простонародному выражению, не пророк, а угадчик, он видит общий ход вещей и может выводить из одного глубокие предположения, часто оправданные временем, но невозможно ему предвидеть случая. Один из остроумнейших людей XVIII столетия предсказал камеру французских депутатов и могущественное владычество России, но никто не предсказал ни Наполеона, ни Полюнька“ („Полн. собр. сочинений Пушкина“, т. V, кн. 2, 1933 г., стр. 576—577).

5. Образ автора в композиции „Пиковой Дамы“¹

Система повествования у Пушкина гармонирует с изображаемым миром и ориентирована на те формы идеологии, которые заложены в его структуре. Образы персонажей в своем содержании определяются теми культурно-бытовыми и социально-характерологическими категориями, которым подчинена реальная жизнь, дающая материал литературному произведению. Происходит синтез „истории“ и „поэзии“ в процессе создания стиля „символического реализма“. Символы, характеры и стили литературы осложняются и преобразуются формами воспроизводимой действительности. В сферу этой изображаемой действительности вмещается и сам субъект повествования — „образ автора“. Он является формой сложных и противоречивых соотношений между авторской интенцией, между фантазируемой личностью писателя и ликами персонажей. В понимании всех оттенков этой многозначной и многоликой структуры образа автора — ключ к композиции целого, к единству художественно-повествовательной системы Пушкина.

Повествователь в „Пиковой Даме“, сперва не обозначенный ни именем, ни местоимениями, вступает в круг игроков, как один из представителей светского общества. Он погружен в мир своих героев. Уже начало повести: „Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова. Долгая зимняя ночь прошла незаметно; сели ужинать в пятом часу утра“ — повторением неопределенно личных форм — и г р а л и, с е л и у ж и н а т ь — создает иллюзию включенности автора в это общество. К такому пониманию побуждает и порядок слов, в котором выражается не объективная отрешенность рассказчика от воспроизводимых событий, а его субъективное сопереживание их, активное в них участие. Повествовательный акцент на наречии — н е з а м е т н о, поставленном позади глагола („прошла незаметно“ — в контраст с определениями ночи — „долгая зимняя“); выдвинутая к началу глагольная форма — и г р а л и („однажды играли в карты“; ср. объективное констатирование факта при такой расстановке слов: „однажды у конногвардейца Нарумова играли в карты“); отсутствие указания на „лицо“, на субъект действия при переходе к новой повествовательной теме — „с е л и у ж и н а т ь“, внушающее мысль о слиянии автора с обществом (т. е. почти рождающее образ — мы) — все это полно субъективной заинтересованности. Читатель настраивается рассматривать рассказчика, как

¹ Между гл. 5 и 6 в рукописи настоящей статьи находятся следующие главы: 1. Принципы литературной морали и формы художественного воспроизведения трагедии игрока; 2. Образ игрока как литературный символ; 3. Таинственные значения цифр в „Пиковой Даме“; 4. Сбраз старой графини и его многозначность; 5. Эскизный очерк образа бедной воспитанницы; 6. Образ Германна, его бытовые основы и его композиционные метаморфозы. *Ред.*

участника событий. Ирония в описании ужина, шуточный параллелизм синтагм: „Но шампанское явилось, разговор оживился“ — лишь укрепляют это понимание позиции автора. Эта близость повествователя к изображаемому миру, его „имманентность“ воспроизводимой действительности легко допускают драматизацию действия. Повествователь тогда растворяется в обществе, в его множественной безличности, и повествование заменяется сценическим изображением общего разговора. Функции рассказчика — на фоне диалога о картах — передаются одному из гостей — Томскому, который тем самым приближается к автору и обнаруживает общность с ним в приемах повествования. Таким образом, прием драматизации влечет за собой субъектное раздвоение повествовательного стиля: Томский делается одной из личин повествователя. Речь Томского двойственна. В ней есть такие разговорные формы, которые языку авторского изложения несвойственны. Например: „она проиграла на слово герцогу Орлеанскому что-то очень много...“ — „начисто отказался от платежа“. — „Куда! дедушка бунтовал. Нет, да и только!“ — „Да, чорта с два!“ — „Но вот, что мне рассказывал дядя...“ — „Проиграл — помнится, Зоричу — около трехсот тысяч...“ Это — отголоски устной беседы. Рассказ Томского определен драматически ситуацией, т. е. вмещен в уже очерченный бытовой контекст и обращен к слушателям, которые частью уже названы и бегло охарактеризованы. Поэтому на образ Томского ложится ответ и от его собеседников, внутренний мир которых ему родственней и понятен, как представителю того же социального круга („Вы слышали о графе Сен-Жермене...“ „Вы знаете, что он выдавал себя за вечного жида...“ „Тут он открыл ей тайну, за которую всякий из нас дорого бы дал“). Томский гораздо ближе к обществу игроков, чем автор. Ведь анекдот Томского, его рассказ возникает из диалога, с которым он тесно связан. А в этом диалоге Томский, как драматический персонаж, раскрывает не свою художественную личность рассказчика, а свой бытовой характер игрока и светского человека. Итак, в образе Томского органически переплетаются лики повествователя и действующего лица. Поэтому в основном речь Томского тяготеет к приемам авторского изображения.

В рассказе Томского развиваются и реализуются те стилистические тенденции, которые эскизно намечены авторским вступлением и ярко выражены в дальнейшем течении повести. Можно указать хотя бы на своеобразный тип присоединительных синтаксических конструкций (см. ниже), в которых смысловая связь определяется не логикой предметных значений фраз, а субъективным усмотрением рассказчика, иронически сочетающего и сопоставляющего далекие друг от друга или вовсе чуждые по внутренним своим формам действия и события. „Бабушка дала ему пощечину и легла спать одна, в знак своей немилости...“ „Ришелье за нею волочился, и бабушка уверяет, что он чуть было не застрелился

от ее жестокости“. „Приехав домой, бабушка, отлепивая мушки с лица и отвязывая фижмы, объявила дедушке о своем проигрыше...“

Характерен также прием иронически-переносного названия действий и предметов. Например, „бабушка дала ему пощечину и легла спать одна, в знак своей немилости“. Это действие затем определяется, как „домашнее наказание“, обычно приводившее к нужным результатам. „На другой день она велела позвать мужа, надеясь, что домашнее наказание над ним подействовало...“ Словом „таинственность“ определяется впечатление, которое производил Сен-Жермен и из-за которого над ним смеялись как над шарлатаном, а Казанова утверждал, что он шпион. „Впрочем, Сен-Жермен, несмотря на свою таинственность, имел очень почтенную наружность и был в обществе человек очень любезный...“ Ср.: „Покойный дедушка, сколько я помню, был род бабушкина дворецкого“.

И, наконец, что всего любопытнее, — в рассказе Томского прoustупает тот же стилистический принцип игры столкновением и пересечением разных субъектных плоскостей. Речи действующих лиц воспроизводятся в тех же лексических, а отчасти и синтаксических формах, которые принадлежали им самим, но с иронически измененной экспрессией, с „акцентом“ передающего их рассказчика. Например: „Думала усостить его, снисходительно доказывая, что долг долгу розь, и что есть разница между принцем и каретником. — Куда! дедушка бунтовал“. „Он вышел из себя, принес счеты, доказал ей, что в полгода они издержали полмиллиона, что под Парижем нет у них ни подмосковной, ни саратовской деревни“.

Все эти формы выражения, присущие рассказу Томского, неотъемлемы от стиля самого автора. Следовательно, хотя образ Томского, как субъект драматического действия, и именем и сюжетными функциями удален от автора, но стиль его анекдота подчинен законам авторской прозы. В этом смещении субъектно-повествовательных сфер проявляется тенденция к нормализации форм повествовательной прозы, к установлению общих для „светского“ круга норм литературной речи. Ведь там, где субъектные плоскости повествования многообразно пересекаются, структура прозы, в своем основном ядре, которое неизменно сохраняется во всех субъектных вариациях, получает характер социальной принудительности: создается нормальный язык „хорошего общества“.

В связи с этим интересна такая стилистическая деталь: в конце первой главы происходит открытое сошествие автора в изображаемый им мир. Композиционно оно выражено в таком переходе от диалогической речи к повествовательному языку:

„Однако, пора спать: уже без четверти шесть.“

В самом деле, уж рассветало: молодые люди допили свои рюмки и разъехались“.

Таким образом, авторское изложение в формах времени подчинено переживанию его персонажами. Автор сливается со своими героями и смотрит на время их глазами. Между тем, эпиграф решительно отделяет автора от участников игры, помещая его вне их среды. В эпиграфе вся ситуация картежной игры рисуется как посторонняя рассказчику, иронически расцвечиваемая им картина:

Так, в ненастные дни,
Занимались они
Делом.

В соответствии с законами драматического движения событий, во второй главе действие неожиданно переносится из квартиры конногвардейца Нарумова в уборную старой графини. Так же, как и в сцене ужина после игры, автор первоначально сообщает только о том, что имманентно изображаемой действительности, что непосредственно входит в круг его созерцания.

Но теперь меняется позиция повествователя: он не сопереживает действиям с персонажами, не участвует в них, а только их наблюдает. Основной формой времени в повествовании в начале второй главы является имперфект, при посредстве которого действия лишь размещаются по разным участкам одной временной плоскости, не сменяя друг друга, а уживаясь по соседству, образуя единство картины.

„Старая графиня*** сидела в своей уборной перед зеркалом. Три девушки окружали ее. Одна держала банку румян, другая коробку со шпильками, третья высокий чепец с лентами огненного цвета... У окошка сидела за пяльцами барышня, ее воспитанница...“ Это введение в новую драматическую картину чуждо того субъективного налета, которым было обвешено начало повести. Повествователь изображает действительность уже не изнутри ее самое, в быстром темпе ее течения, как погруженный в эту действительность субъект, но в качестве постороннего наблюдателя стремится понять и описать внутренние формы изображаемого мира методом исторического сопоставления. В начале повести молодые игроки своими репликами характеризовали сами себя. Повествователь лишь называл их по именам, как „героев своего времени“, как близких своих знакомцев: Сурин, Нарумов, Германн, Томский. Но старуха, совмещающая в своем образе два плана действительности (современность и жизнь 60 лет тому назад), не описывается непосредственно, безотносительно к прошлому, а изображается и осмысливается с ориентацией на рассказ о ней Томского, в соотношении с обликом *la Venus moscovite*. „Графиня не имела ни малейшего притязания на красоту, давно увядшую, но сохраняла все привычки своей молодости, строго следовала модам

семидесятых годов, и одевалась так же долго, так же старательно, как и шестьдесят лет тому назад“.

Так повествователь выходит за пределы наивного созерцания своего художественного мира. Он описывает и осмысляет его как историк, исследующий истоки событий и нравов, сравнивающий настоящее с прошлым. Соответственно изменившейся точке зрения повествователя происходит расширение сферы повествовательных ремарок за счет драматического диалога. Диалог распадается на осколки, которые комментируются повествователем. Драматическое время разрушено тем, что из сценического воспроизведения выпадают целые эпизоды только называемые повествователем, но не изображаемые им: „И графиня в сотый раз рассказала внуку свой анекдот“. „Барышня взяла книгу и прочла несколько строк. — «Громче!» — сказала графиня“. Князь Шаховской в своей драме принужден был восполнить эту повествовательную заметку, заставив Элизу прочитать начало „Юрия Милославского“ Загоскина, а старую графиню — критически, с точки зрения старой светской дамы, разобрать этот „вздор“.

Впрочем, если драматические сценки вставляются в повествовательные рамки, то и само повествование слегка склоняется в сторону сознания персонажей. Беглый намек на это проскальзывает в рассказе о Лизавете Ивановне после ухода Томского: „...она оставила работу и стала смотреть в окно. Вскоре на одной стороне улицы из-за угольного дома показался молодой офицер. Румянец покрыл ее щеки...“ Кто этот офицер? Почему он не назван? Не смотрит ли на него автор глазами Лизаветы Ивановны, которая знает его лишь по форме инженера? О своем интересе к инженеру она уже проговорила только что в разговоре с Томским. Читатель по этому намеку уже склонен догадаться, что речь идет о Германне.

Отсюда делается возможным включить в диалог графини с Томским рассуждение о французской неистовой словесности, которое скрывает в себе намеки на литературное творчество повествователя, на ироническую противопоставленность „Пиковой Дамы“ французским романам кошмарного жанра:

„— ...пришли мне какой-нибудь новый роман, только, пожалуйста, не из нынешних.

— Как это, *grand'maman*?

— То есть такой роман, где бы герой не давил ни отца, ни матери, и где бы не было утопленных тел. Я ужасно боюсь утопленников!“

Таким образом, функции повествования и драматического воспроизведения подвергаются преобразованию: драматические сцены не двигают повести, а сами уже двигаются повествованием, в котором растет значение форм прошедшего времени совершенного вида.

Не то было в повествовательном стиле первой главы „Пиковой Дамы“. Там в формы прошедшего времени сов. вида облечены глаголы,

обозначающие смену реплик: „спросил хозяин...“ „сказал один из гостей...“ „сказал Германн...“ „закричали гости...“ „заметил Германн...“ „подхватил третий...“ — и смену настроений и движений персонажей: „Молодые игроки удвоили внимание. Томский закурил трубку, затахнул...“ Этим синтаксическим приемом определяется динамика диалога, составляющая сущность драматического действия, и устанавливается последовательность смены реплик. Все остальные глагольные формы несовершенного вида повествования распались: 1) на действия, отнесенные к разным планам прошлого и определяющие границы между этими планами прошлого (это — формы имперфекта); — до четырех часов утра: „Однажды играла в карты у конногвардейца Нарумова...“ „Те, которые остались в выигрыше, ели с большим аппетитом; прочие в рассеянности сидели перед пустыми приборами...“ — без четверти шесть: „В самом деле, уже рассветало...“ и 2) на действия, сменившиеся в пределах этих отрезков прошлого, заполнившие это прошлое движением (это — формы перфекта, прошедшего времени сов. вида). „Долгая зимняя ночь прошла незаметно; сели ужинать в пятом часу утра. Но шампанское явилось — разговор оживился, и все приняли в нем участие... Молодые люди допили свои рюмки и разъехались.“

Таким образом уясняются принципы смешения повествования с драматическим представлением в сцене ужина после игры. Здесь повествование включает в себя лишь лаконические ремарки режиссера и заменяет бой часов. Совсем иными принципами определяется соотношение диалога и повествовательной речи в картине у графини. Повествование, с одной стороны, растворяет в себе диалог. Автор не только называет сопутствующие диалогу движения, но объясняет их смысл, т. е. сводит диалог на степень повествовательной цитаты, нуждающейся в комментариях: „Барышня подняла голову и сделала знак молодому человеку. Он вспомнил, что от старой графини тайли смерть ее ровесниц, и закусил себе губу. Но графиня услышала весть, для нее новую, с большим равнодушием“. С другой стороны, повествование не только облекает диалог, но сопоставлено с ним, как господствующая форма сюжетно-композиционного движения. Оно как бы повышено в своем смысловом уровне и тянет за собой диалогические отрезки. Формально это выражено в прицепках повествовательных частей к репликам при посредстве союза *и* с присоединительным значением: диалог тем самым становится синтаксическим звеном повествования. Например: „Умерла! — сказала она... — Мы вместе были пожалованы во фрейлины, и когда мы представились, то государыня... — И графиня в сотый раз рассказала внуку свой анекдот“ (см. гл. XV).

Повествователь, как кино-техник, в быстром темпе передвигает сцены старушечьих капризов. Этот прием быстрого смещения драматических отрывков позволяет повествователю символически, через образ

старухи, показать жизнь Лизаветы Ивановны и тем самым еще раз перевести повествование в субъектную плоскость героини.

Так образ повествователя погружается в атмосферу изображаемой жизни, как образ сопричастного героям наблюдателя и разоблачителя. Раньше, в конце первой главы, эта сопричастность субъекта художественной действительности выразилась в утверждении объективности этой действительности.

Во второй главе „Пиковой Дамы“ повествователь лирически утверждает самоопределение Лизаветы Ивановны, настраивая читателя на сочувствие к ней („В самом деле, Лизавета Ивановна была пренесчастное создание“).

Таким образом, экспрессия речи, заложенные в синтаксисе и семантике формы субъективной оценки говорят о том, что автор делается спутником своих героев. Он не только выражает свое личное отношение к ним: он начинает понимать и оценивать действительность сквозь призму их сознания, однако, никогда не сливаясь с ними. Впрочем, это слияние невозможно уже по одному тому, что автору предстоит три „сознания“, три характера, в которые он погружается и мир которых становится миром повествования, — образы старой графини, Лизы и Германна. Троищность аспектов изображения делает структуру действительности многозначною. Мир „Пиковой Дамы“ начинает распадаться на разные субъектные сферы. Но это распадение не может осуществиться хотя бы потому, что субъект повествования, ставши формой соотношений между ликами персонажей, не теряет своей авторской личности. Ведь эти три субъектных сферы — Лизы, Германна и старухи — многообразно сплетаются, пересекаются в единстве повествовательного движения; ведь они все вращаются вокруг одних и тех же предметов, они все по разному отражают одну и ту же действительность в процессе ее развития. Однако не только пересечение этих субъектных сфер, формы их смысловых соотношений организуют единство сюжетного движения, но и противопоставленность персонажей автору. Автор приближается к сфере сознания персонажей, но не принимает на себя их речей и поступков. Персонажи, действуя и разговаривая за себя, в то же время притягиваются к сфере авторского сознания. В образах персонажей диалектически слиты две стихии действительности: их субъективное понимание мира и самый этот мир, частью которого являются они сами. Возникшие в сфере авторского повествования, они так и остаются в его границах, как объекты художественной действительности и как субъектные формы ее возможных осмыслений.

Многообразие субъектных сфер речи прежде всего отражается на ходе литературного времени. В „Пиковой Даме“ повествовательное время характеризуется тем, что отрезки времени свободно перемещаются в пределах прошлого от одного плана сознания к другому. Поэтому и сюжет „Пиковой Дамы“ уже в середине второй главы передвигается

назад ко времени за неделю до сцены в уборной у графини и в медленном темпе повествования, ориентирующегося на сознание Лизаветы Ивановны, вновь возвращается к разговору с Томским и к появлению перед окном молодого инженера.

Структура повествования, как бы победившего драматическую стихию, обусловлена формами соотношения субъектных плоскостей автора и персонажей. Для понимания динамики этих колебаний необходимо определить принципы соприкосновения, слияния и разрыва разных субъектных планов. Прежде всего, приходится признать, что образ старухи почти не служит формой субъектных преломлений. Старуха — вне жизни, как сопричастный року живой труп, и через ее сознание не могут войти в структуру повествования формы современной действительности. Поэтому лишь однажды повествование преломляется через восприятие старухи — в сцене явления перед нею Германна.

„Вдруг это мертвое лицо изменилось неизъяснимо. Губы перестали шевелиться, глаза оживились: перед графинею стоял незнакомый мужчина.

— Не пугайтесь, ради бога, не пугайтесь! — сказал он внятными и тихим голосом. — Я не имею намерения вредить вам; я пришел умолять вас об одной милости“.

Во всем этом пассаже слышится „непрямая речь“ повествователя. Лишь только с точки зрения старухи можно было назвать Германна „незнакомым мужчиной“. Но повествование быстро отклоняется от этой плоскости. Продолжается объективный рассказ автора-наблюдателя: „Старуха молча смотрела на него и, казалось, его не слыхала. Германн вообразил, что она глуха...“ Понятно, что внутренний мир старухи не включен в сферу повествования.

За вычетом старухи, остаются два персонажа, внутренний мир которых вовлекается в систему авторского повествования, — Германн и Лиза. Уже самый принцип включения в повествовательный стиль субъектных сфер двух героев, которые сопоставлены в трагическом аспекте, создает смысловую изменчивость словесного движения. Кроме того, этот принцип противоречит субъектной цельности, строгой замкнутости экспрессивных форм речи. Получается особого типа открытая структура субъекта, который так же многолик и многообразен, как сама действительность.

Вот несколько примеров нисхождения повествования в сферу сознания персонажей через лирическое сочувствие им. „Поздно воротился он в смиренный свой уголок; долго не мог заснуть, и когда сон им овладел, ему пригрезились карты, зеленый стол, кипы ассигнаций и груды червонцев. Он ставил карту за картой, гнул углы решительно, выигрывал беспрестанно, и загребал к себе золото, и клал ассигнации в карман“.

Легко в синтаксических особенностях речи — в отодвинутых на конец фразы, за глагол, наречиях: „гнул углы решительно, выигрывал беспрестанно“; в эмоциональном повторении союза и: „и загребал к себе золото, и клал ассигнации в карман“ — усмотреть субъективную окрашенность повествования. Автор передает видение Германна, сохраняя то настроение, с которым этот сон переживался самим Германном. Однако, тут же повествование отклоняется в объективную сферу авторских наблюдений: „Проснувшись уже поздно, он вздохнул о потере своего фантастического богатства, пошел опять бродить по городу и опять очутился перед домом графини***“. Но далее опять начинается сближение этих двух субъектных плоскостей: „Неведомая сила, казалось, привлекала его к нему. Он остановился и стал смотреть на окна. В одном увидел он черноволосую головку, наклоненную, вероятно, над книгой или над работой. Головка приподнялась. Германн увидел свежее личико и черные глаза. Эта минута решила его участь“. Что в этом повествовательном отрезке заложена двойственность понимания действительности, ясно из вводного слова „вероятно“, которое может относиться только к восприятию Германна. Тем двусмысленнее звучит заключительная фраза, которая опять возвращает в плоскость авторского изображения: „Эта минута решила его участь“.

Читатель помнит то сочувствие, которым обвеяно повествование о Лизавете Ивановне. Но он не может поверить этому сочувствию, потому что эпиграф иронически, в тонах, диаметрально противоположных манере повествования, освещает эту предполагаемую любовь Германна к Лизавете Ивановне:

„ — Il parait que monsieur est décidément pour les suivantes.

— Que voulez-vous, madame? Elles sont plus fraîches.

Светский разговор“.

А ведь эпиграф предпослан главе. Заданная им тональность осмысления влияет на весь строй главы. Так еще более зыбкими делаются очертания облика повествователя: его сочувствие равно иронии. Образ субъекта так же неуловим, противоречив и загадочен, как сама действительность повествования.

Итак, мало того, что структура субъекта подвижна, что она двойственна в своем отношении к сферам сознания двух персонажей, но она вообще лишена точно очерченной „субъективности“. В самом субъекте, как форме повествования, заложена антитеза, которая и объясняет возможность прития автором и мира Германна и мира Лизы. Эпиграфы, как символические стержни заданного и подразумеваемого строя значений, делаются основными вехами сюжетного движения. Детальнее и точнее приемы экспрессивных колебаний образа автора раскроются при анализе приемов диалога и приемов изображения переживаний героев.

6. Субъектные формы повествовательного времени и их сюжетное чередование

Изменчивость структуры повествовательного субъекта, его экспрессивная противоречивость и сопричастность субъектным сферам разных персонажей — все эти особенности позволяют Пушкину обосновать композиционное своеобразие повести на субъектных изломах, переходах и перерывах сюжетного времени. Авторское время сталкивается с формами времени, присущими сознаниям персонажей. Движение времени обусловлено пересечением субъектных сфер. Вместе с тем драматический принцип сюжетного времени сочетается с повествовательным. Так действие повести, начавшись в какой-то вечер, протекает за пределами сюжета до пятого часа утра. А далее, до без четверти шесть, оно драматически переживается читателем, так как в этот промежуток вмещаются воспроизведенные в первой главе разговор игроков и рассказ Томского. Конец сцены у Нарумова связан с обрывом счета времени. Вторая глава переносит читателя в новую обстановку и в новую хронологическую сферу. Сначала связь во времени с первой главой неясна. Целый ряд намеков, смысловых соотношений (интерес Лизаветы Ивановны к инженеру, фамилия — Нарумов), говорит о том, что сцены в уборной старой графини относятся к периоду более позднему, чем рассказ Томского о трех верных картах. Формы времени здесь также сначала подчинены законам драматического развития, хотя повествование постепенно поглощает приемы сценического представления. В середине второй главы намечается перелом в манере повествования. Прежде всего выдвигается указание на то, что прошло девять дней со времени игры у конногвардейца Нарумова.¹ И здесь объективно-авторская последовательность событий обрывается. Повествовательный стиль — в середине второй главы — приближается к сфере восприятия и переживания Лизаветы Ивановны. В связи с этим действие отодвигается на неделю назад, к тому знаменательному для бедной воспитанницы дню, когда она впервые увидела Германна. С этого дня для нее начинается новая жизнь, полная драматических коллизий. Естественно, что далее хронология событий ведется от этого дня („Дня через два... она опять его увидела...“ „С того времени не прошло дня...“). И тогда выясняется, что день описанных в уборной графини сцен — это тот необыкновенный в жизни Лизаветы Ивановны день, когда она в первый раз улыбнулась Германну. События, изображаемые в аспекте переживания их Лизаветой Ивановной, доводятся до этого дня. „Когда Томский спросил позволения представить графине своего

¹ „Однажды, — это случилось два дня после вечера, описанного в начале этой повести, и за неделю перед той сценой, на которой мы остановились...“

приятеля, сердце бедной девушки забилося“. Здесь повествование внутри главы еще раз субъектно ломается. Возникает новый уклон стиля: повествование передвигается к субъектной сфере Германна. Счисление времени для Германна определяется тем днем, когда он услышал анекдот о трех верных картах. Для него отсюда начинается борьба с судьбой. На другой день он, бродя по Петербургу в мечтах о трех верных картах, по странной случайности оказывается около дома старой графини. На следующий день он увидел в окне этого дома черноволосую головку Лизаветы Ивановны.

Теперь все разорванные звенья сюжета легко соединить. Субъектные отрывки стягиваются в одну цепь. Так как романическая интрига производится в свете переживаний Лизаветы Ивановны, а душевная жизнь Германна скрывается, как загадка, то и все три измерения времени теперь сливаются. Повествователь объединяет разные планы прошлого в систему последовательного и объективно-точного изложения событий. Поэтому третья глава возвращает читателя в уборную старой графини. Продолжается авторский рассказ о событиях того дня, в который Лизавета Ивановна едва не „высказала свою тайну ветреному Томскому“ и в который она впервые улыбнулась Германну. В повествовательном стиле осуществляется сложное переплетение авторской манеры изображения и оценки событий с формами восприятия и переживания их Лизаветой Ивановной, с ее точкой зрения. В связи с этим определяется новая эпоха в жизни бедной воспитанницы: счет времени ведется теперь от дня событий, рассказ о которых начался с описания уборной старой графини. Это — день получения Лизаветой Ивановной первого письма Германна (ср. эпиграф к гл. III). Так же, как и в повествовании о ежедневных явлениях Германна к дому графини, здесь дается лаконическое, беглое обозначение дней, их течения — в аспекте сознания Лизаветы Ивановны („На другой день...“ „Три дня после того...“ „Лизавета Ивановна каждый день получала от него письма...“). Но затем счет дней обрывается („Наконец...“). Повесть вступает в новую фазу сюжетного движения. Она достигает композиционной вершины. И пред изложением трагической смерти старухи получается такой же хронологический провал, возникает та же временная неопределенность, как и пред началом повести. Правда, в следующей (IV) главе читатель — из дум Лизаветы Ивановны — узнает, что до бала „не прошло трех недель с той поры, как она в первый раз увидела в окошко молодого человека“. Выясняется характерное обстоятельство, что счет дней в повести ведет Лизавета Ивановна. Именно ее переживанием дней пользовался до сих пор повествователь. Как только сфера повествования отделяется от сознания Лизаветы Ивановны, возникают иные даты, иные формы измерения времени. Внутри третьей главы также происходит резкий перелом в приемах литературного воспроизведения времени. Германн

становится осью временного движения действительности. Раньше в свете переживаний Германна были представлены лишь первые два дня после ночи у Нарумова, когда воображение Германна отдавалось в плен анекдоту о трех верных картах, до появления пред Германном Лизаветы Ивановны. Зато теперь, когда настало время открытия тайны, повествование сливается с сферой сознания Германна. И Германн переживает часы и минуты, отделяющие его от встречи со старухой. Переживание времени — в томительном ожидании — символизируется синтаксическим строем предложений и отмечается повторяющимися сигналами.

„Германн трепетал, как тигр, ожидая назначенного времени. В десять часов он уже стоял перед домом графини“. „Он подошел к фонарю, взглянул на часы, — было двадцать минут двенадцатого...“ „Ровно в половине двенадцатого Германн вступил на графинино крыльцо..“ „Время шло медленно... В гостиной пробило двенадцать; по всем комнатам часы одни за другими прозвонили двенадцать...“ „Часы пробили первый и второй час утра — и он услышал дальний стук кареты...“

Ожидание Германна, его волнение расцветивают изображение этого медлительного хода времени. Но лишь только выступает на сцену старуха, и сознание Германна поглощено сначала образом старухи, затем идеей трех верных карт, как записи времени прекращаются. Словно выпадает из структуры повествования сама идея сюжетного времени. И повествование через сферу восприятия старухи („Вдруг это мертвое лицо изменилось неизъяснимо: перед графинею стоял незнакомый мужчина“) переходит в драматическое изображение сцены между Германном и старухой.

Таким образом, пушкинская глава, как элемент художественной композиции, представляет собою ряд эскизных ситуаций, вмещенных в какой-нибудь строго очерченный план времени, но в его пределах рассеянных по разным субъектным сферам, подчиненным разным принципам измерения времени и свободно движущихся от середины к началу и от конца к середине. Время в пушкинском повествовании является не только непрерывной формой авторского созерцания и изложения сюжета, но и прерывистой формой осознания последовательности событий со стороны разных персонажей. Поэтому в IV главе сюжетное время возвращается к моменту, предшествующему сцене свидания Германна со старухой. Начало четвертой главы гармонирует с началом второй: „Старая графиня*** сидела в своей уборной перед зеркалом“ (гл. II). — „Лизавета Ивановна сидела в своей комнате, еще в бальном своем наряде, погруженная в глубокие размышления“.

Но время, вовлеченное в сферу сознания Лизаветы Ивановны, теперь переносит читателя в атмосферу бала, к вечеру того дня, в который Германн проник в дом графини. Таким образом повторяется, но

с контрастным соотношением частей, тот же композиционный ход, который наблюдался во второй главе. Там промежуток между действием первой главы (игра у конногвардейца Нарумова) и между драматическими сценами второй главы (в уборной графини) заполняется сперва переживанием событий (происшедших спустя два дня после вечера, описанного в начале повести, вплоть до изображаемого во второй главе момента) в аспекте сознания Лизаветы Ивановны. Затем недостающие звенья времени (первые два дня после игры у Нарумова) извлекаются из восприятия Германна.

В третьей главе, напротив, сюжетная линия Германна выдвигается вперед. Понятно, что в середине четвертой главы с ней смыкаются формы течения времени, отпечатлевшиеся в сознании Лизаветы Ивановны. И время вновь втекает в русло авторского повествования („Утро наступало. Лизавета Ивановна погасила догорающую свечу: бледный свет озарил комнату...“). Активная роль Лизаветы Ивановны кончилась. Выступает новая дата событий—„роковая ночь“ смерти старухи. И следующая глава (V) изображает разные моменты одного дня: спустя „три дня после роковой ночи“ („в девять часов утра...“ „Целый день Германн был чрезвычайно расстроен...“ „Он проснулся уже ночью... Он взглянул на часы: было без четверти три...“). Характерно, что Германн переживает время лишь в отношении к старухе. Сюжетный круг готов замкнуться. Близость развязки очевидна. И тогда возникает новый провал времени, новый перерыв. Направленность повести к новой и последней сюжетной вершине символизируется начальными сентенциями шестой главы. Счет времени прекращается („Все мысли его слились в одну, — воспользоваться тайной, которая дорого ему стоила. Он стал думать об отставке и о путешествии. Он хотел в открытых игрецких домах Парижа вынудить клад у очарованной фортуны. Случай избавил его от хлопот“). И далее изображаются сцены игры, падающие на три следующих один за другим вечера. Авторское время, сочетающее формы повествовательного движения с приемами драматического воспроизведения, освобождено теперь от всяких субъективных подмесей.

Таким образом, приемы сюжетного распределения времени в пушкинской повести, формы связи, смены, перемещения и взаимоотношения разных отрезков времени не только отражаются на членении повести по главам, создавая разорванную, субъектно-прерывистую, многопланную композицию глав, не только сказываются в напряженности действия, в эскизном очерке характеров и ситуаций (ср. манеру Стендаля), но и определяют общую схему композиции „Пиковой Дамы“. Сюжетно-композиционные акценты падают на первую главу, на вторую половину третьей и шестой глав и символизируются разрывами повествовательного времени. Кроме того, формами времени устанавливаются разделы между монологическим и диалогическим методами изложения.

7. Диалоги в композиции „Пиковой Дамы“

Вопрос о диалоге в стиле пушкинской повести очень сложен. Хотя диалогическая речь в составе повествования и включена в общий монологический контекст автора или рассказчика, тем не менее противопоставленность (быть может, вернее: сопоставленность) разговора персонажей повествовательному стилю всегда ощутительна. От строения повествовательной речи зависит строй диалога. Отталкиваясь от повести карамзинского типа по направлению к вальтер-скоттовскому роману, Пушкин, прежде всего, перестраивает стиль прозаического диалога. Формы повествования в „Арапе Петра Великого“ еще не вышли решительно из стилистического круга, очерченного карамзинской традицией. Но в языке действующих лиц разрыв с формами сентиментального монолога, с приемами гримировки персонажей под идеальный образ заданного литературного субъекта, явно осуществлен. Пушкинский диалог стилистически (а на „археологически“) стремится быть имманентным воспроизводимому культурно-историческому контексту. В речи действующих лиц напряжены приемы культурно-бытовой, классовой и социально-характерологической дифференциации. Диалогический стиль становится реалистическим, т. е. ориентируется на действительность, на ее символическое и типическое представление.

Перелом в самом повествовательном стиле, характерный для творчества Пушкина конца 20-х — начала 30-х годов, не мог не отразиться и на приемах строения повествовательного диалога, усиливая их бытовую характерность. Правда, в „Повестях Белкина“ диалог сокращается вследствие драматического осложнения самого повествовательного стиля. Однако в „Барышне-Крестьянке“ и отчасти в эпилоге „Станционного Смотрителя“ и „Гробовщика“ диалог запечатлен яркими чертами реалистического драматизма. Он иногда даже выступает из „сказа“, из монологического контекста повествования, и сближается с формами бытовой реалистической драмы. Бытовые интонации, разнообразие социально-характеристических примет, классовая разностильность, богатство экспрессии, моторная выразительность разговора, непосредственность динамизма мимических и жестиколяционных впечатлений — все это, налагаясь, идет к „Капитанской Дочке“ и „Сценам из рыцарских времен“.

Таким образом, пушкинской повести не совсем чужд характерный для романтической повести 20-х—30-х гг. синкретизм повествовательного и драматического стилей. Во всяком случае, без анализа пушкинского диалога трудно понять происшедшую в 30-х гг. реформу литературно-языковой характерологии, реформу, на которой Гоголь затем обосновал свое творчество речевых гримас и гротесков.

Но, рядом с этой тенденцией, в пушкинском стиле жила и другая, ей противоположная, — разносубъектная драматизация самого повествования, превращение монолога автора или рассказчика в „полилог“. В авторском повествовании начинали звучать разные голоса. Возникало сложное переплетение разных субъектных планов, разных точек зрения в повествовательном стиле. Этот прием внутренней драматизации повествовательного стиля допускал свободное применение диалогической речи только в отношении тех персонажей, точки зрения и оценки которых не приносились в сферу самого повествования, а развивались помимо нее — в разговорах и уединенных монологах героев. Так, в повести „Метель“ исключена возможность широко развернутого диалога между Марьей Гавриловной и Владимиром или между Марьей Гавриловной и Бурминым, потому что субъектно-экспрессивные формы речи всех этих лиц окрашивают временами самую ткань повествования. Зато сохраняется полная свобода воспроизведения устной крестьянской речи, так как стиль рассказа не связан с областным деревенским говором. В „Пиковой Даме“ а priori трудно ожидать развитого драматического диалога между Германном и Лизаветой Ивановной, так как их отношение к изображаемым событиям, их экспрессия свободно и резко врываются в повествовательный стиль. В структуре диалога Германну лишь однажды выпадает главная роль. Это в сцене вымогательства тайны трех карт у старухи. Однако, в сущности, и здесь Германн разыгрывает диалогизованный монолог. Старуха молчит, лишь один раз прервав свою немоту. Если же отрешиться от этой патетической речи, которая образует крутой эмоционально-драматический подъем в середине повести, то все диалогические отрывки „Пиковой Дамы“ живописно разместятся в стройной симметрии. Естественно, что наиболее свободные и открытые формы драматического воспроизведения диалога располагаются в первых двух главах повести, когда внутренняя драматизация самого авторского повествования еще не раскрылась, еще не успела развернуться.

Прежде всего, драматический диалог служит для автора средством изображения всей окружающей Германа офицерской среды. Образы Сурина, Нарумова, Томского не вставлены в рамки литературного портрета, а представлены в драматическом развитии разговора за шампанским. Диалог в своем естественном, непринужденно-бытовом течении кружится вокруг тем игры. В него вовлекаются один за другим гости. Все шире очерчивается круг игроков. Таким образом, происходит своеобразный парад „молодых людей“. В разговор неожиданно вступают новые голоса новых лиц. Диалог открывается несколько французским вопросом хозяина, обращенным к Сурину: „Что ты сделал, Сурин?“ В кажущейся беспорядочности диалога, который, следуя ассоциациям по смежности, захватывает одного за другим нескольких наиболее примечательных присутствующих или знакомых (Сурина, Германа, бабушку Томского,

самого Томского), легко открывается строгая последовательность, стройная система. Основные сюжеты разговора — Сурин, Германн, бабушка — связаны темой „удивительности“, „непонятности“.

„... Твердость твоя для меня удивительна“ (Сурин).

„— А каков Германн!“ (один из гостей).

„— Германн немец... А если кто для меня непонятен, так это моя бабушка... — Не могу постигнуть... каким образом бабушка моя не понтирует!“ (Томский).

Вместе с тем диалог не только приводит к анекдоту о трех верных картах, как зерну трагедии Германна, но и устанавливает драматическую параллель Германна — старухи. Германн предназначен здесь, как партнер старухи в драматической игре вокруг тайны трех верных карт. Но весь этот строй смыслов определяется лишь на основе композиции повести в целом. Само же строение диалога маскирует прямой логицизм его движения разнообразием и выразительностью устного синтаксиса и бытовых ярко-экспрессивных интонаций, вращающихся в сфере светски-разговорного языка.

„— И ты ни разу не соблазнился?“

„— А каков Германн!“

„—... он расчётлив, вот и всё!.. А если кто для меня непонятен...“

„— Как? что?“

„— Не могу постигнуть...“

„— Да что ж тут удивительного?..“

„— Так вы ничего про нее не знаете?“

— Нет! право, ничего!

— О, так послушайте!“

Этот прием экспрессивной маскировки логических форм характерен для пушкинского диалогического стиля.

Если диалог первой главы разрешается вставной новеллой Томского, т. е. переходит в „сказ“, то во второй главе диалог, несмотря на всю свою экспрессивную красочность, субъектно-стилевое разнообразие и лаконический драматизм, является лишь иллюстративным приемом повествования. Он не только обрамлен повествованием, включен в него, но и прерывается повествованием, сопоставляется с ним и растворяется в нем. Отдельные части диалога рассматриваются как прямая замена повествования и переводятся затем на язык повествования, нейтрализуются им: „Умерла! — сказала она: — а я и не знала! Мы вместе были пожалованы во фрейлины, и когда мы представились, то государыня...“ И графиня в сьтый раз рассказала внуку свой анекдот“.

Этот прием соединения реплики с повествовательной фразой посредством союза *и*, устанавливающий функциональную однородность соединяемых частей *и*, таким образом, накладывающий на разговор персонажей

отпечаток повествовательной интонации, не раз встречается в языке „Пиковой Дамы“.

„— Ну, Paul, — сказала она потом, — теперь помоги мне встать. Лизанька, где моя табакерка?“

И графиня со своими девушками пошла за ширмами оканчивать свой туалет“.

„...Простите, Лизавета Ивановна! Почему же вы думали, что Нарумов инженер?“

И Томский вышел из уборной...“

Ср.: „— Не может быть! — сказала Лизавета Ивановна... — Это писано верно не ко мне! — И разорвала письмо в мелкие кусочки“.

Последующая символическая транспозиция всех драматических сцен второй главы в сферу сознания Лизаветы Ивановны еще более подчеркивает повествовательную функцию диалога.

„— И вот моя жизнь! — подумала Лизавета Ивановна“. Симптоматично, что здесь выступает тот же союз *и*. Он относится ко всему предшествующему тексту второй главы. Если при посредстве союза *и* раньше осуществлялась повествовательная нейтрализация драматических отрывков, то теперь все эти отрывки и сопровождающие их ремарки переносятся в план сознания Лизаветы Ивановны, становятся предметом ее переживаний и дум, вовлекаются в ее „внутреннюю речь“.

Таким образом, характерный для пушкинского повествовательного стиля принцип субъектно-экспрессивных сдвигов и транспозиций распространяется и на диалог. Эта особенность строения диалога типична для повествовательной манеры Пушкина.

Вместе с тем уже в диалогических сценах второй главы „Пиковой Дамы“ с достаточной определенностью распознаются своеобразные приемы социально-характерологической дифференциации языка персонажей. Они лишены условной манерности, которая была свойственна стилю той эпохи. Принцип типической индивидуализации характера, сказывающейся в манере речи и опирающейся на живое бытовое многообразие социально-экспрессивных вариаций, в повести Пушкина находит совершенно оригинальное выражение. Формы характеристических колебаний разговорной речи одного персонажа Пушкин замыкает в строго очерченные пределы. Он борется с той стилистической бесформенностью, которая допускала разрыв разговорной речи персонажа с языком автора, повествовательными интонациями литератора, — независимо от композиционных соотношений разных речевых планов в структуре повести (ср. повести М. П. Погодина, Ф. Булгарина, А. А. Марлинского, Н. Ф. Павлова и мн. др.). Это был остаток сентиментального солипсизма литературной личности, исключавшего разнообразие социальных характеров, отрицавшего принцип множественности индивидуальных сознаний. Пушкин старался освободить от этого пережитка русскую повесть. Авторская интенция в пушкин-

ском повествовании не ломает индивидуальной характеристики речи персонажа.

В „Пиковой Даме“ кажется наиболее нейтральной, лишенной своеобразия и индивидуальной определенности, устная речь Лизаветы Ивановны. Если не считать обращения (к мамзели) душенька, если не вникнуть в тонкие, полные индивидуальной значительности, оттенки ее реплик мамзели, выражающих смущение и запирательство, и в ее лукавый, несмотря на замешательство, вопрос Томскому: — „У меня голова болит... Что же говорил вам Германн — или как бишь его?..“, — то прямая речь Лизаветы Ивановны как будто расплывется в шаблонных формулах и интонациях разговорно-светского языка, потеряет индивидуально-характеристические черты (ср.: „— Вы чудовище! — сказала наконец Лизавета Ивановна“). Можно подумать, что эта расплывчатость речевых контуров входила в художественный замысел автора, соответствовала содержанию образа „бедной воспитанницы“. Однако это не совсем так. Прежде всего, сопровождающие разговор Лизаветы Ивановны формы экспрессии настолько своеобразны, что в связи с ними и вся манера речи приобретает ярко выраженную типическую характерность. „Кого это вы хотите представить?“ — тихо спросила Лизавета Ивановна“. В этом тихо (следует вспомнить, что старуха пошла за ширмы) скрыты и боязнь перед графиней и лукавое любопытство, выглядывающее из-под покорности и смирения.

Показательно, что, кроме влечения к Германну, повествователь отмечает еще одно чувство, как основное для отношений Лизаветы Ивановны к Германну, — это испуг, затем — ужас.

„Лизавета Ивановна испугалась сама не зная чего... и села в карету с трепетом неизъяснимым“.

„Он схватил ее руку; она не могла опомниться от испугу“.

„... с трепетом вошла к себе...“

„благодаря новейшим романам, это, уже пошлое лицо, пугало и пленяло ее воображение“.

„... Германн вошел. Она затрепетала...“

„— Где же вы были? — спросила она испуганным шопотом“.

„Лизавета Ивановна выслушала его с ужасом...“

Так к любви Лизаветы Ивановны примешивались расчет и страх. Этот сложный психологический рисунок образа виден и в формах экспрессии, проникающей речь воспитанницы. Поэтому изучение речи Лизаветы Ивановны, игнорирующее контекст и формы моторной экспрессии, не может уяснить всей семантической тонкости пушкинского словесного узора. Своеобразие пушкинского диалога состоит в оригинальных приемах сочетания речи с мимикой, жестом, позами и движениями.

Ремарки повествователя в „Пиковой Даме“ очень рельефно изображают приемы светской кокетливой маскировки чувств, которые приме-

няла „бедная воспитанница“. На ее образ накладываются тонкие штрихи, придающие ему живую выразительность.

Ср.: „— А почему вы думали, что он инженер?“

Барышня засмеялась и не отвечала ни слова“.

„...Томский... уверял, что он знает гораздо более, нежели можно было ей предполагать, и некоторые из его шуток были так удачно направлены, что Лизавета Ивановна думала несколько раз, что ее тайна была ему известна.

— От кого вы все это знаете? — спросила она, смеясь“.

Вместе с тем принцип несоответствия речи с движениями, прием драматического несоответствия слов и действий недвусмысленно выступает в сцене Лизаветы Ивановны с мамзелью, принесшей записочку от Германна.

„Лизавета Ивановна... вдруг узнала руку Германна.

— Вы, душенька, ошиблись, — сказала она: — эта записка не ко мне.

— ... Это писано верно не ко мне. — И разорвала письмо в мелкие кусочки“.

В этом выразительном контрасте слов и переживаний, слов и движений и заключается острота пушкинских приемов драматизации.

Речи Германна придан книжно-риторический тон. Примесь просторечия ничтожна. Уже в первой реплике Германна афоризм (повторенный затем и самим повествователем): „я не в состоянии жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее“ — звучит несколько приподнято, как торжественно-защитный аргумент. Впрочем, если не принимать в расчет лаконических реплик Германна, представляющих собою бытовые формулы, то его устная речь в композиции „Пиковой Дамы“ сведется к трем монологам: одному драматическому в сцене со старухой и двум — уединенным, „внутренним“ (на улицах Петербурга и на лестнице — при уходе от старухи). Между этими двумя монологами-раздумьями есть несомненная разница в стиле: разговорному синтаксису и разговорной лексике одного (во II главе) противостоит книжно-изысканный язык другого (в конце IV главы). Однако, это стилистическое различие легко объяснить разной степенью их близости к повествованию, разным характером передачи внутренней речи самого размышляющего субъекта в аспекте авторского повествования. Таким образом, ядро речевой системы Германна приходится искать в драматической сцене со старухой. Здесь Германн использовал все свои ресурсы. И здесь обнаруживается двойственная природа стиля Германна. Вся сцена со старухой строится на перебое, срыве торжественно-риторической патетики лаконическими разговорно-вульгарными восклицаниями. Этот прием символизирует социально-психологическое раздвоение личности самого Германна. Интересно, что только в изображении этой сцены четко обозначены движения, мимика и интонации, связанные с репликами Германна: „сказал он внятным

и тихим голосом...“ „возразил сердито Германн...“ „Германн стал на колени...“ „сказал он, стиснув зубы“.

С этими указаниями гармонирует обозначение экспрессии последнего крика обезумевшего Германна — после проигрыша: „Старуха! — закричал он в ужасе“.

Сочетанию деловитого бесстрастия с напряженной патетикой в репликах Германна соответствует и лаконический стиль авторских ремарок, включающих диалогическую речь Германна в повествование. Только при описании трагических сцен III и VI глав указаны интонации, мимика и жесты Германна.

Речь старой графини носит характерные черты несколько архаичной для 30-х гг. дворянской простонародности. Эту типическую манеру речи Пушкин ярко воспроизвел еще в наброске: „В одно из первых чисел апреля“ (в языке Парасковьи Ивановны: „мать моя“, „куда тебя бог несет?“, „да ведь это ужесть как далеко“, „да ведь они что турки да бухарцы — нехристы. Они ее забреют, да запрут“ и т. п.).¹

Так, в составе диалогических отрывков сталкивались различные, далекие от повествовательного стиля системы речи. Диалогические сцены, поражающие своим лаконизмом, внедряются в ткань повествования в наиболее драматической обстановке, иногда зачиная, иногда завершая, во всяком случае, как бы концентрируя в себе основной смысловой акцент сцены. При этом простота, реалистическая безыскусственность и отрывистость реплик увеличивает их эмоциональную насыщенность. Например:

„Вдруг дверь отворилась, и Германн вошел. Она затрепетала...

— Где же вы были? — спросила она испуганным шопотом.

— В спальне у старой графини, — отвечал Германн, — я сейчас от нее. Графиня умерла“.

Бесстрастно-деловой стиль Германна диссонирует с задыхающимся, прерывистым тоном реплик Лизаветы Ивановны.

„ — Боже мой!.. Что вы говорите? ...

— И кажется, — продолжал Германн, — я причину ее смерти.“

Ср.: „ — Вы чудовище! — сказала, наконец, Лизавета Ивановна.

— Я не хотел ее смерти, — отвечал Германн, — пистолет мой не заряжен“.

В некоторых же случаях диалогический отрывок по своему эмоциональному тону контрастирует с сюжетной ситуацией. Таковы, например, экспрессия и общий стиль такой сцены:

„ — Как вам выйти из дому? — сказала наконец Лизавета Ивановна. — Я думаю провести вас по потаенной лестнице, но надобно итти мимо спальни, а я боюсь.

¹ Речь Томского в диалоге почти сливается с устной стихией его повествовательного стиля. Напр.: „Я даже полагаю, что Германн сам имеет на вас виды, по крайней мере он очень неравнодушно слушает влюбленные восклицания своего приятеля“ и т. п.

— Расскажите мне, как найти эту потаенную лестницу; я выйду“.

И далее сам повествовательный стиль становится сухим, подчеркнуто-деловым, точным и лишенным субъектно-экспрессивной окраски: „Лизавета Ивановна встала, вынула из комода ключ, вручила его Германну и дала подробное наставление. Германн пожал ее холодную, безответную руку, поцаловал ее наклоненную голову, и вышел“. В этом сухом лаконизме изложения скрыта огромная сила эмоционального внушения.

8. Приемы изображения душевной жизни. Взаимодействие семантики и синтаксиса

„Пиковая Дама“ насыщена эмоциональностью. Это — повесть, полная напряженного психологизма. Тем поразительнее то обстоятельство, что эмоции, переживания действующих лиц здесь не подвергаются со стороны повествователя микроскопическому анализу. Вернее сказать: они вообще не описываются и почти не комментируются в психологическом плане. Пушкин никогда не повествует о переживании как динамическом процессе, изменчивом в своем течении, противоречивом, прерывистом и сложном. Он не анализирует самой эмоции, самого душевного состояния, но присматривается к ним, как сторонний наблюдатель. Мало того: лишь в редких случаях Пушкин называет эмоции, душевные движения их именами. Чаще всего лаконически изображаются внешние проявления чувства, психического состояния, симптомы их (например: „безответная, холодная рука“, „наклоненная голова“). Так, о влюбленности Лизаветы Ивановны в Германна читатель догадывается по побочным экспрессивным приметам, по косвенным отражениям ее чувства. Томский допытывается о причине интереса Лизаветы Ивановны к инженеру: „А почему вы думали, что он инженер? Барышня засмеялась и не отвечала ни слова“. При появлении Германна „румянец покрыл ее щеки: она принялась опять за работу, и наклонила голову над самой канвою“. (Ср. догадки Лизаветы Ивановны о влечении к ней Германна: „молодой человек, казалось, был за то ей благодарен: она видела острым взором молодости, как быстрый румянец покрывал его бледные щеки всякий раз, когда взоры их встречались.“)

Развитие „тайных, тесных сношений“ Лизаветы Ивановны с Германном рисуется посредством изображения глаз, взоров. При этом Лизавете Ивановне присваивается определенное место за пальцами под окошком и точно обрисованная поза: „черноволосая головка, наклоненная над работой“ и приподымающаяся, чтобы взглянуть в окно. „Однажды Лизавета Ивановна, сидя под окошком за пальцами, нечаянно взглянула на улицу, и увидела молодого инженера, стоящего неподвижно и устремившего глаза к ее окошку... Через пять минут взглянула опять... Она встала, начала убирать свои пальцы, и, взглянув нечаянно на улицу, опять

увидела офицера... Дня через два... она опять его увидела... Сидя на своем месте за работой, она чувствовала его приближение, — подымала голову, смотрела на него с каждым днем более и более". В соответствии с этой экспрессией Лизаветы Ивановны и Германну придается поза чело- века, неподвижно стоящего у дома и устремившего сверкающие черные глаза к окошку.

Эта лаконическая простота, как бы вскользь фиксирующая мелкие, на первый взгляд малозначительные обнаружения эмоций, придает необыкновенную остроту и выразительность самым элементарным движениям. За ними открывается глубокая символическая перспектива сложной борьбы чувств, противоречивых и мучительных переживаний. Слово говорит не только о том, что непосредственно в нем заключено, но и о том, что в нем подразумевается, что в нем косвенно отражается.

Стендаль в одном из примечаний к своему „Анри Брюлару“ пишет: „Стиль — отношение слов к мыслям“. В стиле Пушкина с половины 20-х гг. все более и более сложным, противоречивым и глубоким становится это отношение слов к мыслям. Слова влекут за собой не только те предметы, с которыми они непосредственно связаны, которые они прямо отражают, но и все больше захватывают побочные, смежные группы мыслей, представлений, предметов. Так, чувства Лизаветы Ивановны, которая „не могла опомниться от испугу“ при вручении ей Германном первого письма, метонимически изображаются посредством рассказа об ее изменившемся обращении со старой графиней. „Она... во всю дорогу ничего не слышала и не видала. Графиня имела обыкновение поминутно делать в карете вопросы: кто это с нами встретился? — как зовут этот мост? — что там написано на вывеске? Лизавета Ивановна на сей раз отвечала наобум и невпопад, и рассердила графиню...“

Еще выразительнее и трогательнее — поза молодой мечтательницы, погруженной в глубокие размышления о своей любви: „Она сидела, сложив крестом голые руки, наклонив на открытую грудь голову, еще убранный цветами“.

Пушкин создает новые формы литературного „театра“, новые формы моторной изобразительности. Литературно воспроизводимые позы, мимика, жесты героев — чужды декламативного пафоса. Они не являются прямым и напряженно-актерским выражением переживания, а связаны с эмоциями и душевными состояниями героя „метонимически“ или композиционно:¹ они находятся в разнообразных, „переносных“ отношениях с сюжетной ситуацией и ролью в ней действующего лица, с образом этого героя. Отношение поз и мимики к эмоциям становится опосредствованным: в нем

¹ Ср. борьбу передовых писателей 20 х—30-х гг. с приемами „оперного“ изображения. Дельвиг писал в „Литературной Газете“ (1830, № 68) о „Безумной“ Ив. Козлова: „Безумная“ его, театральная Нина, а не Офелия Шекспира, не Мария Кочубей Пушкина. Но черта, разделяющая естественное от театрального, не многими знаема...“

отыскиваются сложные — „внутренние формы“. Из них слагается индивидуально-художественная система эмоциональной изобразительности.

Особенно остро приемом косвенной символизации изображены переживания Германна в процессе его игры с судьбой. В первый раз волнение Германна, его неясные сомнения, его страстное желание убедиться в действительности страшной тайны обнаруживаются лишь синтаксическим строем речи.

„Он <Чекалинский> стал метать. Направо легла девятка, налево тройка. — Выиграла! — сказал Германн, показывая свою карту“.

Это бесподлежащее — „выиграла!“ показывает, что Германн, зная свою карту, напряженно следит за картами банкомета, что он сверяет, сличает свою карту с той тройкой, которая легла налево, и с торжеством убеждается в выигрыше, в верном действии „тайны, которая ему дорого стоила“.

Во второй игре повествование спокойно передает ход событий. Изложение исторически бесстрастно. Символизируются покой и хладнокровие Германна. „Германн дождался новой тальи, поставил карту, положив на нее свои сорок семь тысяч и вчерашний выигрыш. Чекалинский стал метать. Валет выпал направо, семерка налево. Германн открыл семерку. Все ахнули. Чекалинский видимо смутился. Он отсчитал девяносто четыре тысячи и передал Германну. Германн принял их с хладнокровием и в ту же минуту удалился“.

Здесь и порядок слов (подлежащие на первом месте), и повествовательная нивелировка сцены выигрыша („Германн открыл семерку“), и исключение драматических реплик — все эти приемы, создавая напряженность сюжетной ситуации, в то же время подчеркивают уверенность Германна, его хладнокровие.

В третьей игре выступает маниакальная уверенность Германна в своем торжестве, в своей победе, игнорирующая реальный мир и не считающаяся с тайной недоброжелательностью судьбы. Повествование об этом последнем поединке находится в контрастном параллелизме с описанием первой и второй игры, как бы сливая их приемы в противоречивый синтез.

„Чекалинский стал метать, руки его тряслись. Направо легла дама, налево туз.

— Туз выиграл! — сказал Германн, — и открыл свою карту“. Волнением Чекалинского („руки его тряслись“) подчеркивается спокойствие и уверенное торжество Германна. Германн не смотрит на свою карту. Он победоносно заявляет: „Туз выиграл!“ (ср.: „Выиграла!“ — в первой игре), убежденный в том, что он — господин тайны верных карт, и что эта тайна неотвратимо ведет его к счастью. Лишь после реплики Чекалинского Германн открыл свою карту (ср. описание второй игры). И вот тогда-то начинает мстить пиковая дама.

„— Дама ваша убита, — сказал ласково Чекалинский. Германн вздрогнул: в самом деле, вместо туза у него стояла пиковая дама. Он не верил своим глазам, не понимая, как мог он обдернуться“.

Таким образом, прием косвенной, побочной символизации переживаний героев может покоиться не только на скрытых, подразумеваемых значениях слов, не только на предметно-смысловых формах речи, но и на оттенках синтаксического употребления. Тут уже начинается область субъектно-экспрессивных форм синтаксиса. Правда, те же синтаксические формы, например, ритм, могут служить средством и объективно-повествовательного воспроизведения какого-нибудь события: Таково представление стремительности, быстроты действий, создаваемое сменой коротких глагольных предложений с предикатами в форме прошедшего времени сов. вида: „Лизавета Ивановна у самого колеса увидела своего инженера; он схватил ее за руку; она не могла опомниться от испугу, молодой человек исчез: письмо осталось в ее руке. Она спрятала его за перчатку...“

Однако, трудно не видеть и здесь субъективной окраски повествования. Вопрос — в степени ее, в обусловленных этой степенью качественных превращениях и в различиях самих форм синтаксического выражения, которые почти вовсе не изучены. Синтаксические формы в этих случаях обычно находятся в структурном сочлнении со значениями самих слов. Вот — лихорадочно-прерывистое течение речи, отсчитывающей секунды воспроизводимого события — в рассказе графа из „Выстрела“ о последней дуэли с Сильвио: „Я отмерил двенадцать шагов, и стал там в углу, прося его выстрелить поскорее, пока жена не воротилась. Он медлил — он спросил огня. Подали свечи. — Я запер двери, не велел никому входить, и снова просил его выстрелить. Он вынул пистолет и прицелился... Я считал секунды... я думал о ней... Ужасная прошла минута! Сильвио опустил руку“.

По этой иллюстрации можно судить, как тесно связан здесь синтаксис с семантикой повествования, и насколько значительны и разнообразны субъективные оттенки в самих приемах связи, разрыва и последовательности предложений. Таким образом, переживания героя (который может и не быть рассказчиком) угадываются в экспрессии повествования, которое как бы склоняется к субъективной сфере персонажа, приближается к его сознанию.

Наиболее ярким и сложным примером косвенной синтаксической символизации настроений героя в „Пиковой Даме“, при внешней иллюзии объективности авторского повествования, — может служить описание ожидания Германны, который готовился „вступить на графинино крыльцо“:

„Германн стоял в одном сюртуке, не чувствуя ни ветра, ни снега. Наконец, графинину карету подали. Германн видел, как лакеи вынесли под руки сгорбленную старуху, укутанную в соболью шубу, и как вослед

за нею, в холодном плаще, с головой, убранныю свежими цветами, мелькнула ее воспитанница. Двери захлопнулись. Карета тяжело покатила по рыхлому снегу. Швейцар запер двери. Окна померкли. Германн стал ходить около опустевшего дома“.

В этом отрывке легко заметить, как стремительны срывы, переходы от авторского объективно-повествовательного плана речи к восприятию Германна, включающему в себе и его переживания, его настроение в изображаемый момент. Вводное слово „наконец“ символизирует нетерпение Германна. Семантический и синтаксический контраст между изображением выноса старухи, которую, как объект действия, как живой труп, передвигают перед глазами читателя (ср. порядок слов и подбор их: „лакеи вынесли под руки сторбленную старуху, укутанную в соболью шубу“), и стремительного полета Лизаветы Ивановны (сначала — в контраст со старухой — рисуется ее внешний облик, и затем уже является мгновенная форма прошедшего действия: „мелькнула ее воспитанница“), этот контраст вмещается в сферу созерцания и сознания Германна.

Понятно, что и стремительный темп мелькающих действий, которые воспроизводятся вслед за тем, понимается как выражение взволнованных, лихорадочных восприятий Германна, как вспышки его возбужденного ожиданием внимания. Таким образом, мысли и настроения Германна символизируются косвенно формами синтаксической изобразительности.

Что термин синтаксическая изобразительность тут вполне уместен, еще яснее видно в другом отрывке, где рассказывается о приезде старухи с бала.

„Часы пробил первый и второй час утра, — и он услышал дальний стук кареты. Невольное волнение овладело им. Карета подъехала и остановилась. Он услышал стук опускаемой подножки. В доме засуетились. Люди побежали, раздались голоса, и дом осветился. В спальню вбежали три старые горничные, и графиня, чуть живая, вошла и опустилась в вольтеровы кресла. Германн глядел в щелку: Лизавета Ивановна прошла мимо его. Германн услышал ее торопливые шаги по ступеням ее лестницы“.

Нетрудно убедиться, что и подбор слов, и строение предложений с глаголами, преимущественно обозначающими звучание и слуховые восприятия (ср. ранее: „Все было тихо. В гостиной пробил двенадцать... и все умолкло опять. Часы пробил первый и второй час утра“), и отрывистый, „раскрошенный“ стиль речи — все это символизирует ощущение напряженного вслушивания, состояние страстного ожидания.

Средствами изображения переживаний персонажа могут быть не только ритм, интонации, паузы, приемы сопоставления и расположения

предложений, но и порядок слов,¹ и союзы и другие синтаксические формы. Так, волнение Германна, его азарт и алчность во сне символизируются инверсией наречий и повторением союза *и*:

„Поздно воротился он в смиренный свой уголок; долго не мог заснуть, и, когда сон им овладел, ему пригрезились карты, зеленый стол, кипы ассигнаций и груды червонцев. Он ставил карту за картой, гнул углы решительно, выигрывал беспрестанно, и загребал к себе золото, и клал ассигнации в карман“.

Если переставить наречия, исключить один союз *и*, то повествование примет объективно-авторское течение, из него исчезнет взволнованность заинтересованного субъекта, его эмоциональное отношение к передаваемым событиям:

„Он ставил карту за картой, решительно гнул углы, беспрестанно выигрывал, загребал к себе золото и клал ассигнации в карман“.

Изучение синтаксических форм как средств экспрессивной изобразительности обычно сочетается с проблемой „чужой речи“, „несобственно прямой речи“, „непрямой речи“ в повествовательном стиле. Однако здесь необходимо произвести более глубокое и точное разграничение разных стилистических явлений.

„Непрямую речь“ (в собственном смысле) следует отличать от варьирования экспрессивных форм самого повествования, как косвенного, „метонимического“ способа изображения переживаний. Ведь „непрямая речь“ уже непосредственно, „прямо“ затрагивает вопросы чужого чувства. Она направлена на внутренний мир персонажей. Следовательно, символизация настроений и переживаний здесь более открытая, более „предметная“ и непосредственная по сравнению с экспрессивной волнистостью синтаксических форм авторского повествования.

Широкое развитие „непрямой“ речи в русской художественной литературе является несомненным продуктом романтизма. Этот стилистический прием несомненно был связан с резким переворотом в эстетическом понимании структуры литературной личности, художественного образа. И Пушкину принадлежит если не почин в этом деле, то, во всяком случае, роль смелого новатора. Никто из современных ему писателей не сливал так органически и плотно многообразных субъектно-экспрессивных оболочек в повествовательном стиле, никто не достигал таких сложных стилистических транспозиций в образе рассказчика, как Пушкин. „Повести Белкина“ и „История села Горюхина“ — в этом отношении непревзойденные даже Ф. М. Достоевским и Салтыковым-Щедриним шедевры. При этом Пушкин стремился к синтезу разных субъектных ликов в целостной личности. Он строил разными способами и с разным социальным при-

¹ Еще о „Кавказском Пленнике“ Плетнев писал: „Краски и тени, т. е. слова и расстановка их, переменяются, смотря по различию предметов“. „Соревнователь Просвещения“, 1822, № 10, стр. 100.

урочением семантически углубленные, но социально и характерологически концентрированные образы. В этом — коренное различие между пушкинской и гоголевской манерой изображения: для творчества Гоголя, который внимательно присматривался к изобразительному искусству Пушкина, характерны структурный распад литературной личности, литературного образа на разные психологически и социально-противоречивые лики и абстрактно-моралистическая, политическая или метафизическая символизация отдельных ликов или даже личин образа. Очевидно, Гоголь не только встал на рубеже двух общественных эпох — спада дворянской и роста буржуазной культуры, но трагически пережил, как художник, и символически отразил раздвоение и борьбу разных стилей культуры и социальной характерологии.

В „Пиковой Даме“ прием выражения чувств при посредстве „непрямой речи“ применяется, преимущественно, к образу Лизаветы Ивановны. Иногда формы „непрямой речи“ сводятся к психологическому самоанализу. От стиля авторского описания их отличают в этом случае, прежде всего, куски „внутренней речи“ самого персонажа, внедряющейся в повествование. Однако фон субъективной заинтересованности, окраска глубоко личного волнения — бывают заметны и в расстановке слов. Они как бы предрасполагают к переходу от авторского повествования в сферу внутреннего монолога героини. Например: „Однако принятое ею письмо беспокоило ее чрезвычайно“ (инверсия наречия придает речи яркую экспрессивность). „Впервые входила она в тайные, тесные сношения с молодым мужчиною“ (перестановка подлежащего и сказуемого ослабляет объективно повествовательный тон изложения и побуждает искать в авторском слове отслоений экспрессии самой героини). „Его дерзость ужасала ее. Она упрекала себя в неосторожном поведении, и не знала, что делать“.

Так тонкими экспрессивными штрихами намечен и подготовлен переход к собственным размышлениям героини, к ее прямой речи: „перестать ли сидеть у окошка, и невниманием охладить в молодом офицере охоту к дальнейшим преследованиям? — отослать ли ему письмо? — отвечать ли холодно и решительно? Ей не с кем было посоветоваться...“

В других случаях „непрямая речь“ выливается в форму дум об „обстоятельствах“, о событиях. Тогда непосредственных указаний на переживания, на чувства нет. Но в интонациях, в формах синтаксической связи сохраняются свежие отголоски личной экспрессии, волнений самого субъекта, погруженного в раздумье. Возникает своеобразная двойственность синтаксических форм. Налет повествовательного стиля представляется поверхностным и неглубоким. За ним и сквозь него видно биение живого чувства героини и слышится ее непосредственный голос, приглушенно звучит ее возбужденная речь. Например, стоит только заменить местоимения 3-го лица формами 1-го лица, и следующий отрывок превратится в прямое эмоциональное выражение самой героини:

„Не прошло трех недель с той поры, как она в первый раз увидела в окошко молодого человека, — и уже она была с ним в переписке, — и он успел вытребовать от нее ночное свидание! Она знала имя его потому только, что некоторые из его писем им были подписаны; никогда с ним не говорила, не слыхала его голоса, никогда о нем не слыхала... до самого сего вечера...“

Ср.: „Лизавета Ивановна выслушала его с ужасом. И так, эти страстные письма, эти пламенные требования, это дерзкое, упорное преследование, все это было не любовью! Деньги, — вот чего алкала его душа! Не она могла утолить его желания и осчастливить его! Бедная воспитанница была не что иное, как слепая помощница разбойника, убийцы старой ее благодетельницы!.. Горько заплакала она, в позднем, мучительном своем раскаянии“.

Все эти своеобразия приемов выражения и изображения говорят о том, что организационным центром, управляющим движением словесной стихии в повествовательном стиле Пушкина, является синтаксис.

9. Объектные формы синтаксиса в языке „Пиковой Дамы“. Строение синтагм и их основные типы

Среди синтаксических форм речи необходимо различать две категории явлений. Одна связана с строением разных семантически объединенных отрезков речи, которые рассматриваются как выражение и отражение предметно-смысловых отношений, независимо от синтаксических функций субъекта, независимо от форм сказуемости. Говоря проще, к этой категории принадлежат синтаксические формы, анализ которых возможен вне связи с проблемой предложения.

К другой категории относятся субъектно-синтаксические формы, содержание и строение которых неотделимо от вопроса о структуре предложения. В ряду явлений первой категории особенно существенны синтагмы, т. е. простейшие синтаксические единицы, семантически и интонационно отграниченные и обладающие более или менее замкнутыми формами словосочетания. От структуры синтагм зависит ритм прозы, как это по отношению к „Пиковой Даме“ прекрасно показал Б. В. Томашевский.¹ Б. М. Эйхенбаум² и Б. В. Томашевский выяснили слоговой состав синтагм пушкинского языка (чаще всего в синтагме от 6 до 12 слогов) и количественные пределы их колебаний (до 15—18 слогов). Б. В. Томашевский, кроме того, пытался установить некоторые устойчивые условия распределения ударений внутри синтагмы, особенно в ее зачине и в ее конце. Однако при таком абстрактном наблюдении проблемы ритма пуш-

¹ Б. Томашевский. „О стихе“, 1929. Статья: „Ритм прозы“.

² Б. М. Эйхенбаум. „Путь Пушкина к прозе“, „Пушкинист“, IV. См. также об этом в его книгах: „Сквозь литературу“ и „Литература“.

кинской прозы растворяются в общем вопросе о ритмических свойствах русской литературно-книжной речи, и своеобразие пушкинского синтаксиса испаряется. Необходимо сочетать анализ ритма пушкинской прозы с изучением словесного состава синтагм и предложений в языке Пушкина.

Пушкинская синтагма обладает твердыми синтаксическими признаками. Они явно противопоставлены качественной природе синтагм сентиментального и романтического стилей. Прав Проспер Мериме, сопоставлявший строение пушкинской синтагмы в „Пиковой Даме“ со строем французской фразы в прозаических стилях XVIII в.¹

Предметное имя (т. е. существительное) и глагол — не только синтаксическая, но и семантическая основа пушкинской синтагмы. Качественные определения (прилагательные и наречия) в пушкинской прозе сокращены до крайней степени. М. О. Лопатто, изучавший в повестях Пушкина соотношение разных категорий слов, установил, что в „Пиковой Даме“ 40% глаголов, 44% существительных и только 16% прилагательных и наречий.²

Сокращение форм качественной оценки вообще позволяло писателю-„европейцу“ первой трети XIX в. ввести почти математическую правильность в расстановку слов. Нормы порядка слов, создававшиеся в дворянских стилях русского литературного языка на основе французского, а потом и английского синтаксиса, укрепленные литературой карамзинистов, нашли ясную формулировку в статье И. И. Давыдова: „Опыт о порядке слов“.³ Спорным оставался лишь вопрос о месте имен прилагательных, наречий и их семантических замещений — при некоторых условиях.

Резкое уменьшение количества эпитетов (качественных прилагательных) и вообще форм качественного пояснения придало пушкинской синтагме необыкновенную логическую прозрачность и математически измеренную стройность словесного состава. Нормы порядка слов были строго закреплены. Типические формы синтагм оказались вполне сложившимися. Пушкин сжал, сконденсировал строй синтагм „французского слога“ конца XVIII — начала XIX в., сохранив между основными членами предре-

¹ Ср. ироническую характеристику стиля „новых“ писателей в отрывке: „Древние и новые“ К. Рылеева (из серии: „Провинциал в Петербурге“): „Люди всегда и везде люди! Как это прекрасно сказано! Готов биться об заклад, что новые не скажут так коротко и вместе так ясно... Они верно бы сказали: «Люди во времена патриархов, и во времена фараонов, и в золотой век Греции, и в славные дни Рима, т. е. всегда, и на востоке, и на западе, и на севере, и на юге, т. е. везде, были, как и в наше время, — злы, лицемерны, низки, подлы, льстивы, глупы, жестоки, коварны, любопытны, неверны, слабы, несправедливы». Но... если я стану продолжать, то, верно, и в целый час не кончу, ибо новые так плодovitы, так болтливы, что каждую мысль, которую б древние выразили в нескольких словах, распространят, разукрасят, распестрят с таким усердием, что едва оная уместится и на двух страницах...“

² М. О. Лопатто. „Повести Пушкина“, „Пушкинист“, III. П., 1918, стр. 1—63.

³ „Труды общества любит. рос. словесности“, ч. V, VII, IX, XI и XIV. Ср. Е. Станевич, „Рассуждение о русском языке“, ч. I—II, 1808.

шенные традицией порядок и соотношение. Например: „Но шампанское лилось, | разговор оживился, | и все приняли в нем участие“.

„Молодые игроки удвоили внимание. | Томский закурил трубку, | занялся и продолжал“.

„Старая графиня сидела в своей уборной перед зеркалом. Три девушки окружали ее“.

„Она была самолюбива, | живо чувствовала свое положение, | и глядела кругом себя, | — с нетерпением ожидала избавителя; но молодые люди, | расчетливые в ветреном своем тщеславии, | не удостоивали ее внимания...“

Как известно, синтагмы бывают номинальные — и глагольные. Вот примеры разнородных номинальных синтагм в „Пиковой Даме“: „то стройная нога молодой красавицы, | то гремучая ботфорта, | то полосатый чулок и дипломатический башмак“. „(Один из них изображал мужчину лет сорока), румяного и полного, | в светлозеленом мундире (|) и со звездю; | другой — молодую красавицу с орлиным носом, | с зачесанными висками | и с розою в пудренных волосах“.

„Горько заплакала она, в позднем, мучительном своем раскаянии“.

Несомненно, промежуточное место между номинальными и глагольными синтагмами занимают синтагмы, обозначающие состояние, вроде: „оно было нежно, | почтительно, | и слово в слово взято из немецкого романа. Но Лизавета Ивановна по немецки не умела, | и была очень им довольна.“

Графиня***, конечно, не имела злой души; | но была своенравна, | как женщина, избалованная светом, | скупа (|) и погружена в холодный эгоизм, | как и все старые люди, (|) отлюбившие в свой век (|) и чуждые настоящему“.

Дело в том, что Пушкин эти синтагмы состояния сочетает по большей части с глагольными синтагмами описательного характера (т. е. с синтагмами, содержащими глагол в форме несов. вида, преимущественно прош. времени). Если исключить синтагмы состояния, в общем немногочисленные, то номинальные синтагмы в „Пиковой Даме“ составят, приблизительно, 25% общего числа синтаксических единиц.

Такое подавляющее своей численностью преобладание глагольных синтагм говорит о том, что для пушкинского языка центр синтаксической тяжести лежал в субъективных формах словосочинения, т. е. в предложениях.

10. Субъектные формы синтаксиса в языке „Пиковой Дамы“. Предложение, как композиционная единица повествования, и стилистические функции форм глагольного времени

Проблема предложения состоит не только в изучении типов предложений, видов соотношений между предложением и синтагмами, в выясне-

нии форм превращения и соединения синтагм в предложения. Именно в этой сфере трудно, при современном состоянии исторической стилистики русской литературно-художественной речи, найти что-нибудь, специфически характерное для пушкинского языка. Проза Грибоедова, Погорельского, Ден. Давыдова, разнообразные мемуары и путешествия 10-х—30-х гг. нередко представляют тот же синтаксис предложений, те же основные типы построения предложений. Даже частое совпадение синтагм с предложением, свойственное пушкинскому стилю, типично и для них (ср. „раскрошенный“ стиль Стендаля в „Le Rouge et le Noir“). Конечно, изучение состава и количественных границ синтаксических объединений может уяснить некоторые черты пушкинского повествования. Точно так же выделение основных форм сочинения и подчинения предложений в стиле Пушкина важно для исторического синтаксиса русского литературного языка.

Но для литературного сознания 20-х—30-х гг. язык писателя как фон словесного творчества не был подчинен категории индивидуального выражения: в языке искался „слог“. Дельви́г, рецензируя роман Ф. Булгарина „Димитрий Самозванец“ („Лит. Газета“, 1830, № 14), в заключение замечал: „Язык в романе «Димитрий Самозванец» чист и почти везде правилен, но в произведении сем нет слога, этой характеристики писателей, умеющих каждый предмет, перемыслив и перечувствовав, присвоить себе и при изложении запечатлеть его особенностью таланта“.

Своеобразие повествовательной организации предложений в языке Пушкина состоит не в количественном преобладании глаголов, а в их стилистическом приоритете. Прежде всего очень важно, что в „Пиковой Даме“ (как и в большей части других повестей Пушкина) господствуют формы глаголов прош. времени сов. вида. Эти формы наиболее насыщены повествовательным динамизмом. Они обозначают перелом процесса в направлении к результату действия и наличие этого результата. Таким образом, динамика заложена в семантической сердцевине формы прош. вр. сов. вида. К. Аксаков выражал очень тонкую мысль, утверждая, что в русском языке чистой формой времени является лишь настоящее время глаголов. В прошедшем времени совершенного вида есть примесь настоящего, однако мыслимого как результат, между тем, как самая форма настоящего времени обозначает протекающий процесс или обладание способностью к какому-нибудь действию — безотносительно к их результатам и к другим формам времени.

Настоящее время само по себе лишено движения. Лишь в синтагматике речевого процесса, в смене глагольных форм, в их движущейся веренице настоящее время приобретает динамическое значение. Следовательно, динамичность настоящего времени — не непосредственная, а композиционно обусловленная, не тематико-морфологическая, а сюжетно-синтаксическая. Настоящее время может быть формой описания, рассу-

ждения, и формой повествования (ср. в повествовательном стиле „Пиковой Дамы“ формы наст. вр. в начале VI главы и в эпилоге). Оно совмещает в себе и номинативную и семантическую функции. Вот почему даже надпись к картине может быть означена формой настоящего времени. Между тем, в прошедшем времени сов. вида смена действия непосредственно выражена его результатом. Форма прош. времени сов. вида — потенциальный сюжет с эпилогом, законченный драматический акт с еще неопущенным занавесом.

Форма прош. времени сов. вида как бы внутри себя содержит кинетическую энергию. Потенция развернутого повествовательного движения дана в любой форме прош. вр. сов. вида. Ведь представление результата действия в связи с идеей самого процесса уже само в себе включает обращенность к предшествующему и направленность к последующему: результат в прош. вр. сов. вида мыслится динамически, как отправной пункт для нового действия (в форме будущ. вр. сов. вида отсутствует ориентация на последующее). Таким образом, вопрос о последовательности результатов действий в повествовании — основная проблема стилистики. Движение глаголов может быть цепным, без разрывов, без пропуска звеньев. Например: „... Германн решил подойти ко гробу. Он поклонился в землю, и несколько минут лежал на холодном полу, усыпанном ельником. Наконец приподнялся, бледен, как сама покойница, взошел на ступени катафалка и наклонился... В эту минуту показалось ему, что мертвая насмешливо взглянула на него, прищуривая одним глазом. Германн, поспешно подавшись назад, оступился, и навзничь грянулся об землю. Его подняли. В то же самое время Лизавету Ивановну вынесли в обмороке на паперть“. В этом отрывке повествователь заставляет читателя пережить не только последовательность смены действий, но и время самого перехода от одного действия к другому или одновременность процессов.

Итак, в структуре повествовательного стиля имеют большое значение не только приемы выбора действий, но и формы их последовательного течения. В этой сфере Пушкин создал множество стилистических вариаций. Вместе с тем смена процессов бывает сопряжена и со сменой субъектов действия. Синтаксис неразрывно связан с семантикой развития сюжета. Например, вдумавшись в композиционный строй сцены явления покойницы-графини Германну, легко понять, какая тонкая и глубокая подготовка художественной фантастики кроется в синтаксических и семантических формах обозначений субъектов такого отрывка: „... кто-то ходил, тихо шаркая туфлями. Дверь отворилась, вошла женщина в белом платье. Германн принял ее за свою старую кормилицу, и удивился, что могло привести ее в такую пору. Но белая женщина, скользя, очутилась вдруг перед ним, — и Германн узнал графиню!“ Личная независимая конструкция: „Дверь отворилась“ — поддерживает иллюзию чудесности явления белой женщины (ср. ниже: „дверь в сени была

заперта“).¹ Смена субъектных имен: кто-то, женщина в белом платье, белая женщина — все ближе и ближе подводит к таинственному образу умершей графини.

Однако, прямая логическая последовательность глаголов прош. вр. сов. вида — линейна, т. е. лишена пространственной перспективы. Это не значит, что временное движение форм сов. вида — всегда прямолинейно. Напротив, возможны разнообразные уклоны, синтаксические „фигуры“ в порядке смены глаголов. Так, в логической цепи последовательных действий могут быть обрывы. Тогда промежуточные звенья устраняются, и сразу же к началу цепи присоединяются обозначения результатов, или вообще более или менее опосредствованных действий. Бывает и так: намечающаяся линия развития действий прерывается, происходит резкий эмоционально-смысловой сдвиг внутри предложения, и синтаксический ряд замыкается после паузы неожиданным действием.²

Еще острее и оригинальнее прием зигзагообразного — союзного или бессоюзного — движения в динамике повествования (например: „бабушка дала ему пощечину и легла спать одна...“).

Пушкин самостоятельно разработал те синтаксические возможности, которые стали обозначаться в этом направлении у прозаиков конца XVIII — начала XIX в., поклонников французской стилистической культуры (прежде всего — у Карамзина, особенно в его переводах). Но вопрос об этой категории явлений, которые я условно называю открытыми или сдвинутыми конструкциями, выходит за пределы анализа форм времени в системе повествовательной связи предложений.

Вместе с тем приуроченность форм прош. вр. сов. вида к разным субъектным планам, причудливые формы пересечения и соединения этих субъектно-дифференцированных отрезков глагольной цепи — все это создает ступенчатую зигзагообразность повествовательного движения.

Например: „Она села, не раздеваясь, и стала припоминать все обстоятельства, в такое короткое время и так далеко ее завлекшие. <Здесь авторский рассказ пересекается „несобственно прямою речью“. > Не прошло трех недель с той поры, как она в первый раз увидела в окошко молодого человека, — и уже она была с ним в переписке, — и он успел вытребовать от нее ночное свидание!..“

В линейный (иногда как бы обозначенный пунктиром) чертеж повествования, которое образуют формы прош. вр. сов. вида, вносятся новые

¹ Стоит только произвести эксперимент над пушкинским текстом и достоверность предложенного объяснения окажется несомненной. Напр.: „Отворив дверь, вошла женщина в белом платье“. Ср. в IV главе изображение неожиданности явления Германна: „Вдруг дверь отворилась, и Герман вошел. Она затрепетала...“

² Напр.: „Она села за письменный столик, взяла перо, бумагу, — и задумалась...“, „Но белая женщина, скользнув, очутилась вдруг перед ним, — и Германн узнал графиню“.

измерения формами прош. вр. несов. вида. Именно эти формы создают пространственную перспективу в повествовании. Формы прош. вр. несов. вида намечают в свободных контурах широкий план прошлого. Они располагаются сами и размещают вещи в одной временной плоскости. Например: „Гроб стоял на богатом катафалке под бархатным балдахинном. Усопшая лежала в нем с руками, сложенными на груди, в кружевном чепце и в белом атласном платье. Кругом стояли ее домашние... Никто не плакал; слезы были бы — *une affectation*...“

„Германн смотрел на нее молча: сердце его также терзалось, но ни слезы бедной девушки, ни удивительная прелесть ее горести не тревожили суровой души его. Он не чувствовал угрызения совести при мысли о мертвой старухе. Одно его ужасало: невозвратная потеря тайны, от которой ожидал обогащения...“

Иногда глагольные формы прош. вр. несов. вида образуют почти пространственно-временную раму, в которую вмещается часть сюжета. Например, IV глава „Пиковой Дамы“ начинается словами: „Лизавета Ивановна сидела в своей комнате, еще в бальном своем наряде, погруженная в глубокие размышления...“ Так определяется обстановка разнообразных действий, которые затем излагаются и изображаются. И этот композиционный план повествования замыкается повторным указанием на тот же глагол и в той же форме времени: „Она сидела, сложа крестом голые руки, наклонив на открытую грудь голову, еще убранную цветами...“ Имперфект в пушкинском стиле выполняет функции пограничной черты: он устанавливает пределы той временной сферы, в которую замкнуты отрезки сюжетного действия. Но чаще образуются в пушкинском повествовании изменчивые формы соотношений и взаимодействий между глаголами прош. вр. сов. и несов. вида. Они многообразны. Они усложняют и углубляют временную перспективу повествования. От стилистических вариаций в приемах взаимодействия и смены форм прош. вр. сов. и несов. вида зависит темп сюжетного движения и самый характер повествования. Время повествования не только движется, но и меняет формы своего измерения. К тем объективным формам времени, которые заложены в самом сюжете, в его течении, присоединяется субъективное переживание времени как повествователем, так и героями. Время меняет свой счет и исходные точки измерения. Происходит непрерывное колебание временной перспективы. И эта подвижность, изменчивость форм времени, связанная с субъектными перемещениями сфер повествования, подчинена в ритме своего течения принципам соотношения форм сов. и несов. вида. Само включение процессов в тот или иной план сознания обусловлено характером движения глаголов. Необходимо привести несколько иллюстраций.

„Он проснулся уже ночью: луна озаряла его комнату. Он взглянул на часы: было без четверти три“.

Таков обычный принцип последовательности форм сов. и несов. вида в повествовательном стиле Пушкина: имперфект обозначает действие, которое сопровождается другой уже осуществившийся процесс. В языке Пушкина форма несов. вида чаще всего указывает в этих случаях на субъективно переживаемый фон другого действия или на сопутствующее ему, включенное в него, восприятие.

„Возвратясь домой, она подбежала к окошку, — офицер стоял на прежнем месте, устремив на нее глаза; она отошла, мучаясь любопытством...“ „Ему пригрезились карты, зеленый стол, кипы ассигнаций и груды червонцев. Он ставил карту за картой, гнул углы решительно, выигрывал беспрестанно...“ „Германн вошел в спальню. Перед кивотом, наполненным старинными образами, теплилась золотая лампада...“

„Он вышел в другую комнату. Деньщик его спал на полу“.

„Он спустился вниз по витой лестнице, и вошел опять в спальню графини. Мертвая старуха сидела, окаменев; лицо ее выражало глубокое спокойствие...“

„Он услышал незнакомую походку: кто-то ходил, тихо шаркая туфлями“.

„Германн вздрогнул: в самом деле, вместо туза у него стояла пиковая дама“.

„Она отерла заплаканные глаза и подняла их на Германна: он сидел на окошке, сложа руки и грозно нахмурясь“ и т. п.

Не менее характерен прием включения прош. вр. сов. вида в имперфект.

„Германн глядел в щелку: Лизавета Ивановна прошла мимо его.“

Форма прош. вр. сов. вида обозначает один из моментов того временного плана, который устанавливается формой имперфекта.

Таким образом, уже бессюзные принципы последовательности форм времени создают непрерывную перегруппировку субъектных планов речи, включая один в другой или отрывая один от другого.

Конечно, смена форм прош. вр. не всегда выражает субъектные соотношения в структуре речи. Иногда она передает лишь различия в длительности, законченности или незавершенности процессов, словом, разнообразные объективно-временные оттенки во взаимоотношении и последовательности действий.

Например: „С первого взгляда она удостоверилась в его отсутствии и благодарила судьбу за препятствие, помешавшее их свиданию“.

„Германн остановился перед нею, долго смотрел на нее, как бы желая удостовериться в ужасной истине; наконец вошел в кабинет...“

„Германн слышал, как хлопнула дверь в сенях, и увидел, что кто-то опять поглядел к нему в окошко“.

„Он остановился, и с трепетом ожидал ее ответа“ и т. п.

Однако изучение форм смены и последовательности предложений не может опираться только на проблему временных соотношений синтаксических единств. Не меньшее значение имеют в структуре повествовательного стиля логические формы синтаксической связи.

11. Об „открытых“ или „сдвинутых“ конструкциях в синтаксисе „Пиковой Дамы“

Многообразие и изменчивость субъектных форм речи выражается не только в приемах сюжетных сцеплений, но и в построении и сочетании простейших синтаксических единств. Ведь в структуре часть, как капля воды, отражает свойства целого. Соединение предложений, как предельных субъектно-синтаксических форм, подчинено тому же принципу скольжения и пересечения плоскостей. Как в сочетании больших отрезков композиции, и тут, в соединении мелких единиц, также подчеркнуты субъектные разрывы. Перспектива от этого раздвигается вглубь: разрыв заполняется экспрессивными намеками. Недоговоренность увеличивает силу смыслового и эмоционального напряжения. Смысловая связь основана не на непосредственно очевидном логическом соотношении сменяющих друг друга предложений, а на искомым, подразумеваемых звеньях, которые устранены повествователем, но лишь благодаря которым стало возможно присоединение. Богатое развитие „присоединительных“, „открытых“ конструкций — характерное свойство такого стиля. Присоединительными можно назвать такие конструкции, где части не умещаются в одну смысловую плоскость, логически не объединяются в целостное, хотя сложное представление, но образуют цепь последовательных присоединений, смысловое соотношение которых не усматривается из союзов, а выводится из намеков, подразумеваний или из сопоставления предметных значений синтагм. В языке пушкинской прозы союзы не являются определителями, указателями логического движения, а служат символами недоговоренности, умолчания; смысл союзов определяется значениями поставленных рядом предложений, а не функциями, присущими самим синтаксическим формам.

Союзы часто являются в стиле Пушкина обманчивыми сигналами связи, которая или вовсе не осуществляется, или осложняется неожиданными побочными значениями. Поэтому союзы вообще не обязательны для присоединительных конструкций: существенен лишь момент соседства, сопоставленности, примыкания.

Прием недоговоренности в его разных вариантах сознательно культивируется Пушкиным: „Еще слово об Кавк<азском> Пле<ннике> ты говоришь, душа моя, что он сукин сын за то что не горюет о Черкешенки — но что говорить ему — *все понял он* выражает все; мысль об ней должна была овладеть его душою и соединиться со всеми его мыслями —

это разумеется, иначе быть нельзя; не надобно все высказывать — это есть тайна занимательности“.¹

Связанные с приемом недоговоренности своеобразные принципы синтаксического построения отмечены В. И. Чернышевым, правда на случайных примерах и без теоретического разъяснения. Но В. И. Чернышев тонко истолковал относящееся сюда место из „Капитанской Дочки“, где функция присоединения выражена союзом *и*: „Ну, прощай, Маша. Василиса Егоровна, уведи же ее поскорее“. Маша кинулась ему на шею, и зарыдала“. Объясняя запятую перед союзом *и*, поставленную между фразой „кинулась ему на шею“ и присоединительной синтагмой „зарыдала“, В. И. Чернышев пишет: „«Кинулась ему на шею и (тотчас) зарыдала» — вульгарное толкование, которое не допускается Пушкиным. Он ставит запятую, которая показывает внимательному читателю, что между двумя действиями был момент ожидания, не выраженный внешними проявлениями, но наполненный внутренней борьбой нежной и сдержанной Марьи Ивановны с теми чувствами, которые были не у места и могли встревожить более твердых по характеру родителей. Она некоторое время сдерживалась, крепилась, — и все-таки зарыдала“.²

Открытые конструкции, более всего соответствуя частой смене, быстрому пересечению разных субъектных плоскостей речи, подчеркивают и усложняют многосоставность, многопланность художественной композиции. Синтаксическое своеобразие открытых конструкций сочетается с тонкими экспрессивными нюансами фразовой семантики и отчасти мотивируется ими. Неожиданность, ироническая нарочитость сочетания лексических или фразовых элементов предрасполагает к этому типу синтаксических конструкций. Субъективные оттенки речи, резкие переходы и внезапные сдвиги, скачки экспрессии тут играют основную роль. Субъективные мотивы, тонкие изломы экспрессивных форм меняют и разрушают привычную логику синтаксического движения, создавая разрывы, несоответствия между нормальными значениями синтаксических форм и их стилистическими применениями. Делается необыкновенно красочной и многообразной гамма семантических нюансов, „тембров“, связанных, например, с тем или иным союзом. Особенно многочисленны и разнообразны виды открытых конструкций среди форм сочинительной связи. На первом месте по обилию вариаций стоит союз *и*.

Сюда относятся формы последовательного присоединения: „Бабушка дала ему пощечину и легла спать одна, в знак своей немилости“.

Наиболее часты случаи контрастного, противительного присоединения или, вернее, присоединения на основе семантического несоответствия сцепляемых частей.

¹ „Переписка Пушкина“, т. I, стр. 68.

² В. И. Чернышев. „Заметки о знаках препинания у Пушкина“, „Пушкин и его современники“, в. V, стр. 135.

„У себя она принимала весь город, наблюдая строгий этикет и не узнавая никого в лицо“.

„Многочисленная челядь ее, разжирев и поседев в ее передней...“

„Она разливала чай, и получала выговор за лишний расход сахара; она вслух читала романы, и виновата была во всех ошибках автора; она сопровождала графиню в ее прогулках, и отвечала за погоду и за мостовую“.

„Все ее знали, и никто ее не замечал“.

“... с трепетом вошла к себе, надеясь найти там Германна, и желая не найти его“.

„Под председательством славного Чекалинского, проведшего весь век за картами и нажившего некогда миллионы, выигрывая векселя и проигрывая чистые деньги“.

Этот тип контрастирующих присоединений, подчиненных прихоти остроумия, был утверджен в русской литературе Карамзиным. Пушкин, воспользовавшись этими конструкциями, придал им характер или стремительного, хотя и зигзагообразного движения, или напряженно-эмоциональных, то каламбурных, то трагических, но всегда — символически-обобщенных характеристик.

Например: „Приехав домой, она спешила отослать заспанную девку, нехотя предлагавшую ей свою услугу, — сказала, что разденется сама, и с трепетом вошла к себе, надеясь найти там Германна, и желая не найти его...“

„Многочисленная челядь ее, разжирев и поседев в ее передней и девичьей, делала что хотела, наперерыв обкрадывая умирающую старуху...“

Иногда несоответствие сцепляемых словесных частей всецело обусловлено принадлежностью их к разным субъектным планам речи, к семантическим сферам, отражающим точки зрения разных лиц.

„Письмо содержало в себе признание в любви; оно было нежно, почтительно, и слово-в-слово взято из немецкого романа. Но Лизавета Иванова по-немецки не умела и была очень им довольна“.

К присоединительным типам связей примыкает и употребление последовательного союза *и* в тех случаях, когда этому союзу предшествует эмоциональная пауза, которой символизируется разрыв прямой линии повествовательного движения речи.

„Она села за письменный столик, взяла перо, бумагу, — и задумалась. Несколько раз начинала она свое письмо, и рвала его“.

„Она не в силах была поклониться до земли, — и одна пролила несколько слез, поцеловав холодную руку госпожи своей“.

„После обеда она подошла к окошку с чувством некоторого беспокойства, но уже офицера не было, — и она про него забыла...“

Разбежавшееся повествование как бы упирается в барьер и стремительно отскакивает в сторону. Между двумя соседними синтагмами или предложениями возникает пауза умолчания, конденсирующая эмоциональную напряженность фраз. Ищется в этом прерывистом движении внутренняя, смысловая непрерывность.

Те же смысловые оттенки наблюдаются и в сочетании определений внутри одной синтагмы. Например: „...уродливое и необходимое украшение бальной залы...“, „...оставя тихонько скучную и пышную гостиную...“

Разновидностью того же синтаксического приема являются формы бессоюзного присоединения фразовых элементов и целых предложений. Здесь также ощутителен экспрессивно-смысловой скачек от одной мысли к другой. Получается волнистая, неровная, иронически-прерывистая фактура речи. Например: „...услышав о таком ужасном проигрыше, он вышел из себя, принес счета, доказал ей...“

Семантические формы речи, заложенные в системе „присоединительных“ связей, могут влиять на характер и других синтаксических соединений, создавая в них смысловые несоответствия и контрасты, субъектно-экспрессивные разрывы частей. Например: „Ей было назначено жалование, которое никогда не доплачивали...“, „...требовали от нее, чтоб она одета была, как и все, т. е. как очень немногие...“

12. Лексика повествовательного стиля в „Пиковой Даме“

Словарь „Пиковой Дамы“ вмещается в пределы того среднего „светского“ стиля, который исключал церковно-славянизмы и канцелярские, официальные архаизмы и который чуждался открытых форм фамильно-бытового просторечия. Очень характерно, что О. И. Сенковскому язык „Пиковой Дамы“ с этой точки зрения казался идеальным образцом светского повествования.¹ И действительно, соответственно изображаемому кругу, образ автора остается в рамках „салонного“ стиля. Но Пушкин освобождает салонный стиль от риторической патетики, от декламации. Вместе с тем он сокращает до предельной черты качественные определения в составе речи. Лексический состав повествовательного стиля органически связан с отношением писателя к слову. Пушкин, как противник метафор и перифраз, близок к Стендалю, который писал в „Красном и Черном“: „Неисчислимые и широковещательные фразы г. де Шатобриана принудили меня чрезмерно раскромсать стиль «Красного и Черного»“. Характерно отрицательное отношение Пушкина к перифразам и условным метафорам прозаической речи кн. Вяземского, который находился под влиянием Шатобриана (ср. заметки Пушкина на полях статьи

¹ „Переписка Пушкина“, т. III, стр. 158—159.

Вяземского об Озерове). Пушкинские идеи о „нагой простоте“, тяготение Пушкина к строгим и точным предметным обозначениям достаточно известны. В „Современнике“ (1836 г., № 2), в рецензии на поэму Эдгара Кинэ „Napoléon“, развивались стилистические принципы, родственные пушкинским: „Роскошь красок, фигур, сравнений, прилагательных — все это легче дается, нежели положительная мысль, простое чувство, голые существительные, которые должно одеть и украсить верностью и свежестью выражения“ (стр. 279). Или: „Современная поэзия должна быть особенно буквальная: в этом случае дух именно в букве и заключается, точно как достоинство и душа портрета в рабском сходстве. Аллегорические портреты не удовлетворяют истинному чувству: оно требует не холодной отвлеченности, а живой и теплой действительности“ (ibid.). Метафорической изысканности Пушкин противопоставляет многообразие субъектных применений слова. Центр тяжести в пушкинском стиле переносится из области фразеологической семантики в сферу семантики слова. Углубленная семантическая перспектива слова, сложные вариации субъектных применений — все это позволяет Пушкину в „Пиковой Даме“ идти не типичным для его эпохи путем экстенсивного захвата лексических форм, считавшихся до первой четверти XIX в. внелитературными, а путем интенсивной семантической разработки литературно-светской лексики.

Если оставить в стороне карточные арготизмы, то слов, заимствованных из иностранных языков, в лексическом составе „Пиковой Дамы“ окажется немного. Все эти варваризмы традиционны. Они не имеют русских или церковно-славянских синонимов. Поэтому они прошли через все националистические гонения XIX в. и окончательно утвердились в русском литературном языке как „европеизмы“. Вот иностранные слова из „Пиковой Дамы“ (кроме арготизмов): „ели с большим аппетитом“; „следовала модам семидесятых годов“; ср. в речи Томского: „бабушка была там в большой моде“; „разрумяненная и одетая по старинной моде“; „наблюдая строгий этикет“; „погружена в холодный эгоизм“; „в свете играла она самую жалкую роль“; „стояли ширмы... комод... и... сальная свеча темно горела в медном шандале“; „за неделю перед той сценой, на которой мы остановились“; „не имея привычки кокетничать с прохожими офицерами“; „кокетничала не с ним“; „улица была заставлена экипажами“; „гремучая ботфорты“; „снять капот“; „стояли в печальной симметрии около стен“; „рулетки“; „Германн был свидетелем отвратительных тайнств ее туалета“; „по действию скрытого гальванизма“; „приобрели уважение публики“ и некоторые другие.

Точно так же лексические и фразеологические кальки французских слов и выражений в „Пиковой Даме“ ограничены обще-литературным употреблением. Иными словами: Пушкин пользуется лишь такими словесными ресурсами „французского слога“, которые к 30-м годам XIX в. уже перестали ощущаться и оцениваться как кальки и которые уже вошли

в обиход общедворянской и буржуазно-разночинской литературной речи. Таковы: „прочие в рассеянности сидели перед пустыми своими приборами“; „отвечал рассеянно Томский“; „все приняли в нем участие“; „барышня... сделала знак молодому человеку“; „поминутно делать в карете вопросы“; „этот эпизод возмутил на несколько минут торжественность мрачного обряда“ и т. п.

Вместе с тем в повествовательном стиле „Пиковой Дамы“ очень мало специфически книжных выражений, не входивших в повседневный фонд дворянской разговорной речи или носивших оттенок „риторической“ литературности: „она участвовала во всех суетностях большого света“; „и села в карету с трепетом неизъяснимым“; „это мертвое лицо изменилось неизъяснимо“; „между им и ею учредились неусловленные сношения“; „вдохновенный страстию“; „вынудить клад у очарованной фортуны“.

Конечно, такие слова, как следовать за чем-нибудь (в значении следить: „и следовала с лихорадочным трепетом за различными оборотами игры“), полагать надежду на что-нибудь (ср. в рассказе Томского: „надежду полагает на его дружбу и любезность“), подействовать над кем-нибудь („наказание над ним подействовало“) и т. п. кажутся архаизмами лишь с точки зрения современного литературного языка.

Точно также чужды языку повествования в „Пиковой Даме“ и просторечные слова („т а с к а л а с ь на балы“, но ср. в письме Онегина к Татьяне: „тащусь повсюду наудачу“. Впрочем в рассказе Томского: „долг долгу розь“).

Несколько более характерны для светской речи литературно-разговорные выражения с специфической „салонной“ окраской, вроде: „Лизавета Ивановна была сто раз милее наглых и холодных невест, около которых они уживались“ и др.

Однако и лексем, в которых явно выступает экспрессия фамильярно-бытовой разговорности, в авторском стиле „Пиковой Дамы“ нет (ср. в рассказе Томского: „сплела маленькую историю“).

Таким образом, лексика „Пиковой Дамы“, вращаясь в пределах „среднего стиля“ и представляя собою продукт строгого художественного отбора, направленного особенно в сторону исключения литературных „архаизмов“, в сторону разрушения перифрастической и метафорической фразеологии риторических стилей сентиментализма и романтизма, отражает идеальные нормы современного Пушкину „светского“ литературного стиля. Поэт, верный принципу имманентно-исторического и социологического понимания и воспроизведения действительности, ориентируется на речевые нормы изображаемой среды, но подвергает их художественному преобразованию, художественному переосмыслению — в соответствии с своей эстетической теорией о точном, ясном и простом языке хорошего общества.

13. Вариации повествовательной манеры в пушкинской прозе

Стиль „Пиковой Дамы“ не покрывает собою всех приемов пушкинского повествования. Так, структура субъекта, „образа автора“ в „Повестях Белкина“, в „Истории села Горюхина“, и даже в „Капитанской Дочке“ сложнее и качественно многообразнее. Взаимодействие разных авторских ликов существенно изменяет всю систему субъектного изображения. Однако, общие тенденции, состоящие в структурном смещении и переплетении разнородных субъектных оболочек, остаются и здесь ненарушенными.

Точно также и формы символического воспроизведения действительности в „Пиковой Даме“ непосредственно соотнесены с бытом, между тем как, например, в „Капитанской Дочке“ или в „Дубровском“ они осложнены приемами исторической стилизации.

Конечно, проблема художественного понимания действительности сохраняет то же содержание и в композиции „Пиковой Дамы“. Но здесь формы художественного осознания мира направлены на непосредственную данность. Культурно-исторический контекст этой эпохи был для Пушкина содержанием лично пережитого и литературно осознанного опыта. В „Капитанской Дочке“, „Дубровском“ и отчасти в „Повестях Белкина“ приемы изображения опосредствованы формами эстетического понимания соотношений между поэзией и историей. Теория культурно-исторических контекстов, как замкнутых структур и стилей, ставила Пушкина перед сложным вопросом о связи литературных стилей с разными типами и стилями культуры. В творчестве Пушкина — от периода художественного самоопределения, т. е. с конца 10-х гг. до середины 20-х гг. многообразные стили мировой литературы представляли боевой арсенал освоенных поэтом художественных форм, сквозь призму которых Пушкин — в зависимости от своего выбора — рассматривал разные эпохи и разные стороны действительности и при посредстве которых воплощал все темы и сюжеты. Художественное мышление Пушкина — это было мышление литературными стилями, все многообразие которых было доступно поэту. Быт, история — подвергались художественной нейтрализации, пропускались через фильтр сознательно выбранных и скомбинированных поэтом стилей. Одна и та же тема — в аспекте разных стилистических традиций — могла получить разнородные формы воплощения. С середины 20-х гг. Пушкин осложнил свое творчество задачей — понять и дифференцировать социальное разнообразие стилей самой истории, самой материальной культуры. Возникла проблема взаимодействия литературно-художественных и культурно-бытовых стилей. В литературное воспроизведение быта других эпох, далеких от современности (напр., пугачевщины) вносится принцип художественной реставра-

ции. Стилъ „Пиково́й Дамы“ свободен от реставрационных условий. Его историзм обращен не только к прошлому и настоящему, но смотрит в будущее, в процесс капиталистического преобразования общественной идеологии и характерологии. Это резко отличает композицию „Пиково́й Дамы“, например, от композиции „Дубровского“, в котором не только „история“, но и „поэзия“ носит явный отпечаток архаической стилизации. В „Пиково́й Даме“ Пушкин сам предписывает, определяет для современности ее стиль, который должен совмещать в себе формы поэзии и истории. В этом отношении Пушкин близок к Стендалю, который писал Бальзаку: „Я ненавижу закругленный стиль. Работая над «Пармским монастырем», я каждое утро, для отыскания верного тона, прочитывал две-три страницы гражданского кодекса“. И в пушкинской манере повествования глубина и многообразие приемов литературного искусства сочетаются со стилем делового протокола.



ЛИДИЯ ГИНЗБУРГ

ПУШКИН И БЕНЕДИКТОВ

I

В истории литературы существуют „вечные цитаты“, по определенному поводу неизменно всплывающие на поверхность. В скудной бенедиктовской библиографии: в некрологах и критических очерках, в биографическом словаре и во всех энциклопедических, — в полном или сокращенном виде, — мы обязательно встречаем:

„Появление стихотворений Бенедиктова произвело страшный гвалт и шум не только в литературном, но и в чиновничьем мире. И литераторы и чиновники петербургские были в экстазе от Бенедиктова. О статьях Полевого <на самом деле статья Полевого написана гораздо позднее, в 1838 г. Л. Г.> и Белинского они отзывались с негодованием и были очень довольны статьею профессора Шевырева, провозгласившего Бенедиктова поэтом мысли. Жуковский, говорят, до того был поражен и восхищен книжечкою Бенедиктова, что несколько дней сряду не расставался с нею, и, гуляя по царскосельскому саду, оглашал воздух бенедиктовскими звуками. Один Пушкин остался хладнокровным, прочитав Бенедиктова, и на вопросы: какого он мнения о новом поэте? — отвечал, что у него есть превосходное сравнение неба с опрокинутой чашей; к этому он ничего не прибавлял более...“¹

Запись Панаева, очевидно воспроизводящая какие-то слухи, положила начало традиции, в силу которой Пушкин, рядом с Белинским, широко привлекался к разоблачению Бенедиктова. Ссылка на авторитет Пушкина, который „один только остался хладнокровен“, проделала путь от Я. П. Полонского до Бориса Садовского.²

Полонский, цитируя Панаева, от себя добавляет:

„Бенедиктов рассказывал в одном доме, что, благоговей перед Пушкиным, он послал ему книжку своих стихотворений, и затем хотел сделать ему визит — но по пути к нему встретил его на улице, и Пушкин, очень любезно поблагодарив его за стихи, сказал: «У вас удивительные рифмы — ни у кого нет таких рифм. — Спасибо, спасибо». Бенедиктов, конечно, был настолько умен, что понял иронический отзыв Пушкина, и быть может, даже задумался“.³

¹ И. Панаев. „Литературные воспоминания“, Л., 1928, стр. 116.

² См. Б. Садовской, „Поэт-чиновник“, „Русская Мысль“, 1909, № 11 (также „Русская Камена“, М., 1910, стр. 89—101).

³ „Биография В. Г. Бенедиктова, составленная Я. П. Полонским“, „Сочинения“ Бенедиктова, СПб., 1902, стр. XIII.

По этому поводу Ю. Н. Тынянов в статье „Пушкин и Тютчев“ писал:

„Пушкин отозвался о Бенедиктове, что у того есть прекрасное сравнение неба с опрокинутой чашей, а в другой раз, что у него прекрасные рифмы. Из этого делают заключение, что Пушкин ничего другого за поэзией Бенедиктова не признавал. Так ли это было, или не так, — неизвестно, но важно то, что в этом заключении всецело сказывается наш современник, который произвольно реконструирует литературные отношения прошедшей эпохи, исходя из литературной оценки (вернее, переоценки) Бенедиктова, произведенной уже после Пушкина“.¹

Панаев, Тургенев, отчасти Полонский — люди второй половины XIX в., усиленно занимавшиеся „реконструкцией“ своей литературной молодости, которой они стыдились. Одним из самых тяжких грехов этой молодости был как раз Бенедиктов. Тургенев с самоуничижением признавался: „И я, не хуже других, упивался этими стихотворениями, знал многие наизусть, восторгался «Утесом», «Горами» и даже «Матильдой» на жеребце, гордившейся «усестом красивым и плотным»“ („Литературные воспоминания“). Между тем за предвзятой реконструкцией прошлого очень важно найти подлинное соотношение сил. Успех Бенедиктова был „сезонный“, но, вероятно, кроме Пушкина, Лермонтова, Некрасова — ни один русский поэт XIX в. не пользовался столь шумной и массовой известностью. В 30-х годах „...вся читающая Россия упивалась стихами Бенедиктова“ (Полонский); в частности ими упивались люди очень высокой квалификации. Среди современников, ценивших стихи Бенедиктова (диапазон оценки колеблется от одобрения до восторга), можно назвать имена Жуковского, Вяземского, А. И. Тургенева, Плетнева, Шевырева, Краевского, Тютчева, Сенковского, И. С. Тургенева, Грановского, Ап. Григорьева, Фета, Некрасова, Ник. Бестужева и т. д., и т. д.

В 1835—1836 гг. „Стихотворения“ Бенедиктова оказались одним из узловых пунктов, явлением, вне которого поэтическая история двух этих лет просто не может быть понята. В этой точке сошлись основные линии момента: борьба с эпигонством, требование мысли в поэзии, конфликт московской и петербургской литературы, вражда Белинского с Шевыревым, наконец, то антипушкинское движение, которое с конца 20-х гг. все возрастает до самой смерти поэта.

Если от „вечных цитат“ обратиться к фактам, то факты оказываются противоречивыми. На ряду с канонизованными утверждениями Панаева и Полонского имеются обратные показания, которые, разумеется, не учитывались. Так, приятельница Бенедиктова Е. А. Карлгоф-Драшусова в своих воспоминаниях говорит: „Жуковский, Пушкин и Крылов высоко ставили поэтический дар Бенедиктова и находили, что он представляет собой отрадное явление в нашей литературе“.² Свидетельство — не слишком

¹ Ю. Н. Тынянов. „Архаисты и новаторы“, Л., 1929, стр. 330—331.

² „Жизнь прожить — не поле перейти. Записки неизвестной“, „Русский Вестник“, 1881, №№ 9—11.

достоверное, но в конце концов оно не менее достоверно чем свидетельство Панаева. Важнее следующее: в 1838 г., рецензируя вторую книгу стихотворений Бенедиктова, А. Краевский писал: „С каким восторгом приветствовали мы Бенедиктова, только-что выступившего... на литературное поприще, и приветствовали в то время, когда еще был жив наш Пушкин, любовавшийся этим новым талантом“.¹ Вообще говоря, такого рода журнальные комплименты ни к чему не обязывают. Но надо учесть, что в 1838 г. Краевский, — чье имя было выставлено на обложке после-пушкинского „Современника“ рядом с именами Жуковского, Вяземского, Плетнева, — афишировал позицию человека, близкого к пушкинскому кругу. Он должен был соблюдать известную осторожность, обращаясь к загробному авторитету „нашего Пушкина“. Вот почему фраза Краевского: „наш Пушкин любовался прекрасным талантом Бенедиктова“ заслуживает, если не доверия, то внимания.

Противоречивые показания современников, быть-может, приводятся в некоторую связь письмом князя Ивана Гагарина к Тютчеву, опубликованным в 1899 г. (И. Гагарин сблизился с Тютчевым за границей и впоследствии служил посредником при передаче тютчевских стихотворений в „Современник“).

СПб., март 1836.

„Мне было очень приятно узнать от вашей жены, что вы нашли удовольствие в чтении стихов Бенедиктова. Не правда ли, это истинный и глубокий талант? Когда я в первый раз говорил вам о нем, я писал под влиянием чувства восхищения и удивления, которое его книга вызвала в маленьком литературном кружке Москвы. Теперь, находясь в Петербурге, я постоянно выдаюсь с тем, что можно назвать литературным миром: с Вяземским, Жуковским, Пушкиным и т. д. У Жуковского каждую субботу бывают довольно любопытные и иногда интересные собрания, где я встретил Бенедиктова. С первого шага он занял место среди них, но тщедушная, неприятная и, скажу, почти уродливая наружность, привычки военной дисциплины, которых нисколько не умерило посещение света, заставляют держать его в отдалении от общества, с которым у него не может быть взаимных симпатий. Пушкин, который молчит при посторонних, нападает на него в маленьком кружке с ожесточением и несправедливостью, которые служат пробным камнем действительной ценности Бенедиктова. Впрочем, вы должны знать, что Пушкин предпринял издание трехмесячного журнала под названием «Современник»; ему придется определить свои суждения и защищать их“.²

Оставляя сейчас в стороне вопрос о заведомо враждебном отношении Гагарина к Пушкину, выделим два существенных для нас момента: Пушкин по поводу Бенедиктова „молчит при посторонних“ и „нападает на Бенедиктова... в маленьком кружке“. В письме Гагарина это звучит убедительно именно потому, что примиряет ряд противоречивых свидетельств. Оказывается возможным, что у Пушкина было два мнения о Бенедиктове: одно — официальное, другое — только для маленького кружка.

¹ „Литературные прибавления к Русскому Инвалиду“, 1838, № 15.

² „Книжки Недели“, 1899, январь, стр. 228—229. В том же году перепечатано в „Новом Времени“. Подлинник письма по-французски.

В книге А. Эфроса „Рисунки поэта“ помещен пушкинский рисунок мужского профиля на странице, изображающей как бы титульный лист „Фракийских элегий“ В. Теплякова (на следующих страницах Пушкин начал рецензию на „Фракийские элегии“).

А. Эфрос считает, что рисунок изображает не Теплякова, а Бенедиктова, и действительно сходство с Бенедиктовым очень большое. „Чем было обусловлено появление бенедиктовского портрета среди заглавия критической заметки о Теплякове? Думается, тем, что пушкинские похвалы «Фракийским элегиям» явились едва ли не демонстративным противовесом повальным восторгам, которыми была в эту пору встречена первая книжка стихов Бенедиктова...“¹ В самом деле, горячий отзыв Пушкина („самобытный талант“, „необыкновенное искусство в описаниях, яркость в выражениях и сила в мыслях“, „блеск и энергия“, и „везде гармония, везде мысли, изредка истина чувств“ и т. д.) о стихах Теплякова, над которыми тогда же, в „Библиотеке для Чтения“, глумился Сенковский, легко стать, имел особую подоплеку. Тепляков, неизменно называвший Пушкина великим учителем, был во всяком случае „свой поэт“. Еще в 1832 г., по выходе первой его книжки Надеждин писал:

„...талант Теплякова, по нашему крайнему разумению, кажется, обещает в себе достойное продолжение таланта Пушкина... Но это все не обогатит нашей бедной словесности никаким важным приобретением... Новый поэт может продолжать для нас эпоху Пушкина, может наполнить более или менее яркими, искусственными блестками ужасную пустоту нашей словесности; но — не осеменит ее для новой, самобытной, самопроизводительной жизни!“²

Поскольку речь шла о молодом поэтическом поколении, Тепляков мог быть выдвинут Пушкиным в противовес явлениям чуждым и враждебным. Так намечается предположительная связь между титульным листом „Фракийских элегий“ и полукарикатурным профилем Бенедиктова.

Отзыв Пушкина на „Фракийские элегии“ Теплякова появился в третьем номере „Современника“, в том же номере напечатано пушкинское письмо „К издателю“ за подписью А. Б. (письмо это должно было нейтрализовать впечатление от чересчур откровенной статьи Гоголя „О движении журнальной литературы“). А. Б. между прочим пишет: „Вы говорите, что в последнее время замечено было в публике равнодушие к поэзии... И где подметили вы это равнодушие?... Новые поэты, Кукольник и Бенедиктов, приняты были с восторгом. Кольцов обратил на себя общее благосклонное внимание...“ Это единственное, дошедшее до нас, прямое высказывание Пушкина о Бенедиктове — притом аноним-

¹ А. Эфрос. „Рисунки поэта“, 1933, стр. 458. К сожалению далее у Эфроса следует неизбежное: „Но Пушкин... остался разборчив, холоден и строг, и на вопрос о своем отношении к бенедиктовской книжке отозвался боковой фразой, что там есть сложные рифмы и неплохие сравнения“.

² „Телескоп“, 1832, ч. IX, стр. 118—122.

ное (принадлежность письма А. Б. — Пушкину современникам была неизвестна). Бенедиктов назван здесь в сочетании с Кукольниковом и Кольцовым. Характер отношения Пушкина к Кукольнику не вызывал никаких сомнений. „Надобно заметить, что Пушкин никогда ни слова не говорил о сочинениях Кукольника, хотя он, как известно, радовался появлению всякого таланта“, писал Панаев, не подозревавший, конечно, что Пушкин высказался о Кукольнике в письме тверского помещика А. Б. к издателю журнала „Современник“. Это очень похоже на утверждение Гагарина относительно Бенедиктова: „Пушкин... молчит при посторонних“. Что касается „маленького кружка“, то тут Пушкин, как видно, говорил и о Кукольнике. По крайней мере 10 января 1836 г. Никитенко записал:

„Интересно, как Пушкин судит о Кукольнике. Однажды у Плетнева зашла речь о последнем; я был тут же. Пушкин, по обыкновению, грызя ногти или яблоко — не помню, сказал: «А что, ведь у Кукольника есть хорошие стихи? Говорят, что у него есть и мысли». Это было сказано тоном двойного аристократа: аристократа природы и положения в свете. Пушкин иногда впадает в этот тон и тогда становится крайне неприятным“.¹

В этом самом тоне Пушкин отозвался о Кукольнике в своем дневнике от 1834 г.: „...обедал у кн. Ник. Трубецкого с Вяземским, Норовым и с Кукольником, которого видел в первый раз. Он, кажется, очень порядочный молодой человек. Не знаю, имеет ли он талант. Я не дочел его Тасса и не видел его Руки etc. Он хороший музыкант. Вяземский сказал об его игре на фортепьяно: *Il brédouille en musique, comme en vers.* — Кукольник пишет Ляпунова, Хомяков тоже. — Ни тот, ни другой не напишут хорошей трагедии. Барон Розен имеет более таланта“.

Барон Розен, тщетно старавшийся отвоевать у Кукольника положение любимого драматурга петербургской публики, — пишет Пушкину в 1836 г.:

„Quant aux articles en prose que Vous me demandez (речь, конечно, идет о статьях для „Современника“. Л. Г.), j'y pense sérieusement; d'abord je voudrais en écrire un sur Кукольник. *Comme nous sommes à peu près d'accord dans notre jugement sur lui* (курсив мой. Л. Г.), il n'y aurait aucun obstacle à insérer l'article en question, dont le but serait de prouver à l'auteur sus-mentionné, que tout ce qu'il a écrit ne vaut pas grand chose et qu'il ne sait pas même la forme technique du drame; de sévir d'une manière impitoyable contre le genre fatal qu'il a choisi, ou qu'il a du talent qui, à force d'être cultivé, pourrait peut-être s'élever au dessus de sa pâle médiocrité d'aujourd'hui“.²

¹ А. Никитенко. „Записки и дневник“, СПб., 1904, стр. 270.

² „Переписка Пушкина“, т. III, стр. 275. Перевод: „Что касается статей, которых вы у меня просите, я думаю об этом серьезно; сначала я хотел бы написать статью о Кукольнике. Так как мы более или менее сходимся в наших суждениях о нем, то я не вижу препятствий к напечатанию упомянутой статьи. Задача же — доказать автору, что все его произведения не многого стоят, и что он не владеет даже драматургической техникой.“

Письмо Розена датировано 4 февраля 1836 г. „Письмо“ А. Б. появилось в третьем номере „Современника“, но было заготовлено еще для второго, вышедшего в начале июля — очевидно, что за этот срок Пушкин не мог пересмотреть свое отношение к Кукольникову. Отзыв А. Б. о Кукольнике — в духе всего „Письма“ (с его благими пожеланиями по адресу Сенковского и пр.), написанного с целью затушевать наиболее резкие противоречия в литературных отношениях 1836 г.

Второе имя, рядом с которым поставлено имя Бенедиктова — Кольцов. О личной встрече Кольцова с Пушкиным сообщил еще в 1846 г. Ал. Юдин. В 1836 г., услышав от Одоевского и Жуковского о Кольцове, Пушкин позвал его к себе. „Едва Кольцов сказал ему свое имя, как Пушкин схватил его за руку и сказал: «Здравствуй, любезный друг! Я давно желал тебя видеть». Кольцов пробыл у него довольно долго, и потом был у него еще несколько раз. Он никому не говорил, о чем он беседовал с Пушкиным, и когда рассказывал о своем свидании с ним, то погружался в какое-то размышление“.¹ То же примерно у Белинского: „С особенным чувством вспоминал он всегда о радушном и теплом приеме, который оказал ему тот, кого он с трепетом готовился увидеть, как божество какое-нибудь, — Пушкин. Почти со слезами на глазах рассказывал нам Кольцов об этой торжественной в его жизни минуте“.²

Приводя эти умышленно туманные сведения, очевидно, имевшие источником рассказы самого Кольцова, — биограф Кольцова М. де-Пуле выдвигает далее следующие соображения: „Кольцов явился в Петербург с запасом тетрадок своих стихотворений. Одну из таких тетрадок взял Пушкин, издававший в это время «Современник». Первая книжка «Современника» вышла 6 января 1836 г., затем Пушкин уехал из Петербурга (в феврале) и не возвращался до мая. Вторая книжка «Современника» была набрана без него и составлена П. А. Плетневым, при содействии А. А. Краевского, из материалов, найденных ими в кабинете редактора. В числе этих материалов находилась и тетрадка с стихами Кольцова, из которой Плетнев и Краевский выбрали только одно стихотворение «Урожай». Затем, в четырех книжках пушкинского «Современника» ничего кольцовского более не было. Возвратясь в Петербург и благодаря за хлопоты по изданию второй книжки журнала, Пушкин заметил, что не все стихотворения Кольцова можно печатать, и при этом высказался о нем, «как о человеке с большим талантом, широким кругозором, но бедным

обрушиться самым беспощадным образом на избранный им роковой жанр литературы; словом, сказать, что у него есть талант, который, при надлежащей обработке, быть может поднялся бы над тем уровнем бледной посредственности, на котором он находится сейчас“.

¹ А. Юдин. „Опыты в сочинениях студентов Харьковского университета“, 1846, т. I, стр. 221.

² „Стихотворения А. В. Кольцова“, 1846, стр. 24.

образованием, отчего эта ширь рассыпается более в `фразах».¹ Такой отзыв вполне оправдывается отсутствием стихотворений Кольцова в пушкинском «Современнике». Последнее обстоятельство очень тревожило нашего поэта, как это видно из писем его к Краевскому: «Вы ничего не пишете (говорит он в письме от 12 февраля 1837 г., написанном еще до получения известия с смерти Пушкина), отчего именно не могли войти в «Современник» мои пьески. Тут что-нибудь должно быть другое. Меня сильно беспокоит эта тайна, а вы скрываете... Пожалуйста, объясните просто».² Тайна не напрасно беспокоила Кольцова. Соображения де-Пуле подтверждаются известными строками из письма Пушкина к жене от 11 мая: „Ты пишешь о статье *Гольцовской*. Что такое? Кольцовской или Гоголевской? — Гоголя печатать, а Кольцова рассмотреть...“

Сочетание имен: Бенедиктов, Кукольник, Кольцов — не случайно; в нем зашифрована ирония по отношению к публике, „восторженно встретившей“ „новых поэтов“. Эти двусмысленные отзывы вполне совпадают с концепцией Гагарина о двойной оценке: одна — для публики, другая — для себя и для „маленького кружка“.³

Собранные здесь факты позволяют утверждать: во-первых, что Пушкин относился к Бенедиктову (как и к Кольцову и к Кукольнику) — отрицательно; во-вторых, что перед публикой он считал нужным скрывать свое отношение, частью молчанием, частью холодным доброжелательством. Это значит, что Пушкин заметил в Бенедиктове не одно только сравнение неба с опрокинутой чашей, но вещи, имевшие к нему гораздо более близкое отношение. Каков исторический смысл пушкинской враждебности и что вынудило Пушкина свою враждебность зашифровать — этот вопрос может быть поставлен только на фоне основных явлений литературной борьбы 30-х годов.

II

Провозгласив в 1834 г.: *кончился пушкинский период русской словесности*, Белинский выразил всеобщее убеждение в распаде великой поэтической системы, основания которой были заложены в XVIII в., и которую Пушкин довел до предельного совершенства. Распад изощренной, замкнутой дворянской культуры — один из социальных процессов, связанных с ростом русского капитализма. В литературе — потенции,

¹ Сообщено А. А. Краевским, по словам которого, Лермонтов, не знавший лично Кольцова, отзывался о его таланте с большой похвалой. (*Примеч. де-Пуле*)

² М. де-Пуле. „А. В. Кольцов“, СПб., 1878, стр. 81—82.

³ Отмечу еще, что О. С. Павлищева пишет в 1835 г. из Петербурга, где она постоянно встречается с братом (хотя, конечно, ее оценка могла сложиться самостоятельно): „А ргороз de vers: я читала стихи Бенедиктова; есть вещи прекрасные, но и безвкусия довольно. Показались ли они у вас?“ („Пушкин и его современники“, вып. 17-18, стр. 203).

порожденные этим ростом, вели преимущественно к натуральной школе (реализоваться им предстояло позднее, в 40-х—50-х гг.). Поэзия — литературный плацдарм старой дворянской культуры; это не благоприятствовало возникновению потенций. Вот почему вопрос об эпигонстве — большое место поэзии 30-х гг. По мнению современников — читатели стихов не читают; журналы их по возможности не печатают; поэты стихи не пишут или пишут плохие стихи.

„Стихотворения Аполлона Де ***, М., 1836 г.

Аполлон, известный сын Юпитера и Латоны, брат Дианы, президент академии муз, был большой волокита, насмешник, забияка, сдирал кожи, приставлял ослиные уши, переодевался, бродил везде, был даже раза два вытолкан с неба багюшкой очень неучливо. Куда ему деваться? Он ушел в Москву, зная, что там крепко пишут стихи, — это по его части, — прибавил к своему имени частицу *де*, чтоб показать свое старинное благородное происхождение, и называется теперь *Apollon de Moscou*. Теперь он издал свои московские стихотворения... Эго Аполлон! Аполлон, сам Аполлон, нег сомнения, что он теперь в Москве влочится за какою-нибудь московскою Дафною, и напевает ей:

Прошла пора, пора мечтаний,
Пора дум сладких и любви,
Когда ро й пламенных желаний
Теснился и кипел в крови. —

Да, почтенейший! прошла эта пора. Нынче вам и стихи не удаются“.¹

Если бы собрать воедино отклики на поэтическую продукцию 30-х гг., то к ним нельзя подобрать лучший эпитаф чем обращение Сенковского к Аполлону: „Да, почтенейший, прошла эта пора. Нынче вам и стихи не удаются!“

По вопросу о состоянии поэзии в 30-х гг. солидарны Сенковский и Надеждин, Полевой и Шевырев, Белинский и рецензенты „Северной Пчелы“. Люди, враждовавшие между собой по любым другим поводам, — единодушно утверждают, что „хорошие стихи“ надоели и что впредь поэзии нужны мысли. *Требование мысли* становится общезначимым литературным критерием 30-х гг. Он принимается всеми, хотя понимается и применяется самым противоречивым образом. Оказалось, что литература не есть нечто само собой разумеющееся, что она должна быть заново оправдана и обоснована в ряду общественных, философских, бытовых интересов читателя. Речь шла, таким образом, об изменении самой социальной функции литературы; прежде всего, о новом отношении к теме. В жанровой поэзии XVIII и начала XIX в. круг предметов изображения был принципиально ограничен. Сущность жанрового мышления именно в этой стандартности тем и в постоянном соотношении между изображением и „предметом“. В жанровой литературе, с ее предрешенными и вместе с тем многообразными откликами на действительность, — та или иная тема не могла

¹ „Библиотека для Чтения“, 1836, т. XVIII; „Литературная летопись“, стр. 8.

достигнуть всепоглощающего значения. На рубеже 20-х и 30-х гг. это соотношение нарушается с разных сторон. В русскую прозу из буржуазной Франции хлынул поток непредреженных бытовых тем, беспрерывно выбрасываемых действительностью.

В поэзии — влияние немецкого романтического идеализма утверждает гегемонию единой философской темы. Одно дело, — когда поэт школы Батюшкова — Жуковского отдает дань медитативному жанру. Другое дело, когда творчество поэта целиком предано художественному развитию определенной философской концепции и освобожденная тема становится самодовлеющей и ведущей. Молодые московские шеллингианцы — любомудры и выдвинули из своей среды таких однотемных поэтов (начиная с Веневитинова). В 30-х гг. Пушкин откровенно оценил функцию немецкой идеалистической философии в процессе вынужденного отречения дворянства от политических чаяний 1810-х — 1820-х гг.: „Философия немецкая... нашла в Москве, может быть слишком много молодых последователей... Тем не менее влияние ее было благотворно: она спасла нашу молодежь от холодного скептицизма французской философии и удалила ее от упоительных и вредных мечтаний, которые имели столь ужасное влияние на лучший цвет предшествовавшего поколения“ („Путешествие из Москвы в Петербург“). Пушкин видел в любомудрах дворянскую интеллигенцию на новом этапе, во всяком случае наследников дворянской культуры. В частности немецко-романтический культ поэзии скрещивается у них с традиционным в этой культуре представлением о поэзии, иерархически вознесенной над „низкой прозой“.

Московские шеллингианцы и фихтеанцы разделяют убеждение своих современников в том, что *стихов нет*, но, в отличие от других, они полагали, что стихи *должны быть*. Только этим стихам предназначалось новое место в культурном сознании. Необычайной напряженности достигают попытки молодого Белинского переосмыслить литературу в свете вопросов духовного становления личности. Для Белинского романтического периода, как и для других „москвичей“, дело было не в том, что у русских поэтов прежде отсутствовали мысли, а теперь должны появиться; дело было в поисках нового отношения между поэтической мыслью и бытием человека¹. И все это — от исканий Киреевского до опытов Булгарина — на промежуточном языке 30-х гг. выражалось *требованием мысли*.

В 1827 г. Пушкин писал Дельвигу о московской немецкой метафизике: „Бог видит, как я ненавижу и презираю ее...“ В 1827 г. Пушкин

¹ Жанровая литература отражала рационалистическое представление о действительности, расчлененной на категории, устанавливаемые разумом. И в попытке создания философской лирики по немецкому образцу, и в попытках разработки нового социального материала (натуральная школа, ориентировавшаяся на левый французский романтизм) обнаруживалось стремление овладеть новым романтическим отношением к действительности.

чувствовал себя в силах справиться с метафизическими соблазнами, но в 30-х гг. никто из корифеев 20-х гг. не мог уже побороть тайной уверенности в наступающем конце „пушкинского периода русской словесности“. Окружение, чуждое, даже враждебное, но властное своей исторической актуальностью, подсказывает им поиски нового содержания. Очень сложен путь Пушкина, пролегающий между прозой, профессиональным журнализмом, историей. Вяземский оживляет свою замирающую литературную деятельность всяческим документализмом. Для Пушкина, для Вяземского 30-х гг. „новое содержание“ — это в первую очередь мысль об общественно-политических отношениях и, как замена запретной в России политики — история, от исторических анекдотов в „Старой записной книжке“ Вяземского до ненаписанной Пушкиным „Истории Петра Великого“. Для дворянской верхушки того времени история была занятием особого рода, смежным с государственной службой и имевшим мало общего с академической наукой (это, конечно, лишь частично относится к такому профессиональному историку как Карамзин).

Специфическое требование мысли в литературе, выдвинутое в 30-х гг. Пушкиным, Вяземским, восходит к этой аристократической гражданственности, враждебной демократической гражданственности Полевого и чуждой метафизической абст. актности Любомудров. Но для публики и в особенности для критики Пушкин — историк явление гораздо более случайное, нежели Пушкин — автор поэм и лирических стихотворений, породивших тьмы и тьмы бессмысленных подражателей.

„Г. Вердеревский принадлежит к поколению тоскующих поэтов (так, по крайней мере, они величают сами себя), пущенных в свет музой Байрона или Пушкина (для нас это все равно), и когда-то бывших в моде — кажется с 1822 по 1828. — „Волна“, „Черный локон“, „Гречанка“, „Я разлюбил“, и проч. изображают страдания и разочарования; все это написано гладко, по правилам версификации, но, увы, подбор чистых, остриженных слов и довольно звучных рифм никто уже не называет поэзией... что толку в легкости? Читаешь, не спотыкаясь, и ничего не вычитаешь“.¹

„Дайте мне любящую душу, — говорит автор в эпиграфе к своим стихотворениям, — она поймет слова мои... Наша душа, давно отлюбившая, уверяет, что стих г-на Деларю гладок и звучен, р.л.фма его чиста и богата... Но она же, не будучи в состоянии ослепить себя внешними качествами и красивыми формами уверяет, что содержание этих красивеньких и миленьких пьесок вообще ничтожно, однообразно и не ведет ровно ни к чему“.²

Вопрос о „безыдейности“ неразрывно связан в сознании современников с вопросом о гладком эпигонском стихе. В 1838 г. об этом соотношении с замечательной отчетливостью писал Полевой:

„... Но та самая услуга, которую оказал Пушкин нашей поэзии, причинила ей и большой вред... Мы окружены «гладкими» поэтами... Пушкин открыл им тайну известной

¹ „Северная Пчела“, 1838, № 46.

² „Северная Пчела“, 1836, № 101.

расстановки слов, известных созвучий, угадал то, что прежде делало стих наш вялым и прозаическим, и его четырехстопный ямб так развязал нам руки, что мы пустились чудесно писать стихами. Сам Пушкин испугался впоследствии, какое обширное поле открыл он бездарности и пустозвучию своим ямбом. Правда, никто не умел похитить у Пушкина настоящей тайны этого стиха, но манере его так искусно начали подражать, что, несмотря на полное бессмыслие, стих выигрывал невольное одобрение“.¹

Итак, ответственность за гладкие стихи без мысли Полевой возлагает на Пушкина. Он учитывает при этом, что Пушкин сам далеко ушел за пределы той „пушкинской“ системы, которая по преимуществу стала достоянием эпигонов.² Ответственность за Трилунного и Деларю, за Романовского и Зилова возлагается на Пушкина ямбического; на элегического Пушкина — поскольку дело касается лирики. Пушкин батюшковских традиций — существовал, хотя это был Пушкин, понятый односторонне и узко; он не столько исчерпывал, сколько *симболизировал* все те явления, которые относились за его счет. В статье „О духовной поэзии“ Полевой собственно подводит итоги тому движению против пушкинской „бессодержательности“, которое насчитывало уже больше десятилетия.

Едва ли не Веневитинов был первым в этом ряду:

„Кто отказывает Пушкину в *истинном таланте*? Кто не восхищался его стихами? Но для чего же всегда сравнивать его с Байроном, с поэтом, который, духом принадлежа не одной Англии, а нашему времени, в пламенной душе своей сосредоточил стремление целого века... Теперь, Г. Издатель Телеграфа, повторю вам вопрос: что такое Онегин?... этот герой поэмы Пушкина, по собственным словам вашим, *шалун с умом, ветренник с сердцем*, и ничего более“.³

¹ „О духовной поэзии“, „Библиотека для Чт-ья“, 1838, т. XXVI. Н. Ашукни в статье „Пушкин перед картиной Брюллова“ приводит слова Пушкина в передаче некоего Андреева (сообщение, конечно, сомнительной авторитетности): „...стихи, под известный каданс можно... наделать тысячи, и все они будут хороши. Я ударил об наковальню русского языка, и вышел стих — и все начали писать хорошо“ („Звенья“, т. II, стр. 238).

² Заблуждению современников способствовало то, что пушкинские искания 30-х гг. в лирике доходили до публики крайне скупой и разрозненной. Если взять, скажем, наиболее принципиальные стихотворения 1836 г., то только „Отцы пустынноики...“ напечатано в первом посмертном номере „Современника“. „Художнику“, „Мирская власть“, „Из Пиндемонта“, „Когда за городом...“, „Я памятник себе воздвиг нерукотворный“ — все это впервые появилось в изданиях 1841 и 1855 гг. Из стихотворений 1833 г. „Родословная моего героя“ — появлялась урывками, „Осень“ и „Не дай мне бог сойти с ума“ — напечатаны в 1841 г. Таким образом, при жизни Пушкина и в ближайшие годы после его смерти публика и критика не ощущали глубокого сдвига в его элегико-медитативной лирике, ибо продукция последних лет была ей попросту неизвестна. Новая пушкинская лирическая система не могла вырисоваться и заслонить прежнюю. При жизни Пушкина не печатался и „Медный Всадник“.

³ Д. Веневитинов. „Разбор статьи о Евгении Онегине, помещенной в № 5 Московского Телеграфа на 1825 год“, „Собрание сочинений“, СПб., 1862, стр. 200—201.

Иван Киреевский повторил суждение Веневитинова об „Онегине“ в статье 1828 г.:

„Эта пустота главного героя была, может быть, одною из причин пустоты содержания первых пяти глав романа; но форма повествования, вероятно, также к тому содействовала“.¹

Враждебность московских шеллингианцев умерялась традиционным уважением к величайшему представителю культуры русского дворянства. Иначе зазвучали упреки в 1830 г. — столь роковым в литературной судьбе Пушкина. С 1830 г. разворачивается единый фронт антидворянской журналистики: „Нет! воля ваша! А Пушкин — не мастер мыслить!“ (Надеждин).² „Онегин есть собрание отдельных, бессвязных заметок и мыслей о том, о сем, вставленных в одну раму, из которых автор не составил ничего, имеющего отдельное значение“ (Полевой).³ И в том же году, Булгарин в своем пасквиле „Анекдот“ писал: „...Француз <Пушкин. Л. Г.>, который в своих сочинениях не обнаружил ни одной высокой мысли, ни одного возвышенного чувства, у которого сердце холодное, а голова род побрякушки, набитой гремучими рифмами...“⁴

Веневитинов, Киреевский, Надеждин, Полевой, Булгарин с замечательным единодушием высказываются по вопросу о бессодержательности Пушкина. Между тем в творчестве 30-х гг. Пушкин с невиданной силой осуществляет новое реалистическое понимание действительности издает свой ответ на требование мысли в литературе, выдвинутое эпохой. Но в данный исторический момент и любомудрам с их идеалистической философией, и Полевому с его буржуазным демократизмом нужно было другое содержание, чем то, которое предлагал Пушкин, чем то, по крайней мере, которое они сумели увидеть в зрелом пушкинском творчестве; вот почему современники продолжают бороться с Пушкиным 30-х гг. как с „карамзинистом“. Философские воззрения любомудров, общественные интересы Полевого объясняют их позицию. Несколько более неожиданно в этом контексте имя Булгарина. Вопрос о позиции Булгарина в антипушкинском движении не должен упрощаться на том основании, что Булгарин сводил личные счеты. Сущность не в том, какие причины могли быть у Булгарина для травли Пушкина, а в том, какими критериями он при этом пользовался. И если мы находим в руках у Булгарина знакомый критерий требования мысли, то спрашивается,

¹ И. В. Киреевский. „Нечто о характере поэзии Пушкина“, „Полное собрание сочинений“, М., 1911, т. II, стр. 11.

² „Вестник Европы“, 1830, № 7, стр. 209. Характерно, что даже Погодин, которому Пушкин всячески покровительствовал, впоследствии писал: „Надеждин вооружился против Пушкина и говорил много дела между прочим, хотя и семинарским тоном“.

³ „Московский Телеграф“, 1830, ч. 32, стр. 241.

⁴ „Северная Пчела“, 1830, № 30.

кем, какой группой, какой средой был уполномочен на это требование Булгарин?

В отличие и от любомудров и от литературных аристократов Булгарин говорил от лица очень широкого читательского круга. Именно того круга, который несколько позднее (в 1840 г.) Белинский характеризует в письме к Боткину: „...говоря об эстетическом вкусе и литературной образованности российской публики, нельзя быть тривиальным, и каких похабств ни наговори о ней, ее имя все останется самым похабным словом. Кого она поддерживает, кого любит? Или людей по плечу себе, или плутов и мошенников, которые ее надувают... Греча, Булгарина — да, они, особенно первый, в Питере, даже при жизни Пушкина, были важнее его и доселе сохраняют свой авторитет“.¹ „Российская публика“ 30-х годов — потребители и заказчики литературной продукции, сменившие избранных читателей 10-х—20-х гг. — была достаточно пестрой по своему социальному составу. Но современники в своих отзывах склонны суживать этот круг, — во-первых топографически („Питер“), во-вторых — социально. В 1841 г. Белинский пишет Боткину о Полевом: „Я могу простить ему... грубое непонимание Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Марлинского (идола петербургских чиновников и образованных лакеев)... но для меня уже смешно, жалко, позорно видеть его фарисейско-патриотические, предательские драмы народные... цену, которую он дает вниманию и вызову ярыжной публики Александровского театра, составленной из офицеров и чиновников“.² Панаев впоследствии писал, желая засвидетельствовать успех Бенедиктова у публики, на ряду с успехом в литературных кругах: „Появление стихотворений Бенедиктова произвело страшный гвалт и шум не только в литературном, но и в чиновничьем мире. И литераторы и чиновники петербургские были в экстазе от Бенедиктова“. *Петербургский чиновник* символизировал собой читающую публику 30-х гг., — и потому, что петербургский чиновник составлял как бы верхушку низового читательского слоя, и потому, что петербургский чиновник осознавался как наиболее полное выражение основ николаевской государственности, как идеальный тип обывателя 30-х гг. Именно в этой среде с наибольшей полнотой проявились свойства общества, воспитанного самодержавием и бюрократизмом: атрофия общественных интересов и неспособность к выработке обобщающих идей и собственных культурных ценностей. Режим Николая I в сущности пытался привести все население к идеологическому паразитизму. Операция эта удалась не вполне: культурное дворянство и новая демократическая интеллигенция отвечали глухим еще движением идей, выросшим впоследствии в западничество и славянофильство. Зато низо-

¹ Белинский, „Письма“, т. II, стр. 43—44.

² Там же, стр. 197.

вая бюрократия, служилое мещанство 30-х гг. представляло собой превосходный материал для идеологического выхолащивания.

Публику усердно обслуживали. Главные организаторы этого обслуживания — Булгарин с его реакционным мещанским демократизмом и Сенковский, человек большой и разносторонней культуры, но твердо усвоивший буржуазно-коммерческую идею учета читательских вкусов. „Библиотека для Чтения“ и „Северная Пчела“ — два огромных очага „смирдинской словесности“.¹

Обывательское сознание 30-х гг. неспособно было самостоятельно вырабатывать идеологические и культурные ценности, но из этого не следует, что обыватель не хотел обладать ценностями. Он стремился к „красивой жизни“, во всем вплоть до идей, и охотно пользовался упрощенными результатами чужих достижений; последнее потому, что он не создавал, а брал, и внутренняя взаимоисключаемость идей была ему непонятна. Все это готовые красивые вещи, которые можно соединить, как позднее соединялись ампир с модерном в буржуазной гостиной.

В 30-х гг. „Северная Пчела“ требует мыслей в литературе с неменьшей энергией, чем „Московский Наблюдатель“. В этой связи проясняется позиция Булгарина в борьбе с Пушкиным. Проясняется, между прочим, антипушкинская подоплека целого ряда статей и рецензий „Северной Пчелы“.

Вот, например, рецензия на „Семейство Комариных“. Роман в стихах Н. Карпова (М., 1834):

„Пусть уверяют, что пушкинский период кончился, что теперь настает новая эпоха. Это, может быть, справедливо в отношении к столицам; но в Саратовской губернии царствует и продолжается еще пушкинский период. Доказательство несомненное, печатное доказательство перед нами.

⟨Следует пересказ с цитатами этого довольно безграмотного произведения. Л. Г.⟩

Приехали на постоялый двор и пьем чай; да какой? сквозник душистый! Даша разливает чай снежною рукой, а автор, воспользовавшись случаем, показывает, что он не держится мнений Пушкина, и говорит:

Хоть я женатый человек,
Но признаюсь тебе, читатель,
Я милых ручек обожатель.
В наш просвещенный, умный век
Об ножках много говорили;
Их Пушкин по свету пустил,
Он пару ножек расхвалил —
За ним их сотни расхвалили.
Но согласись, читатель мой,
Что в ножке башмачек пленяет,
А ручка просто восхищает
Своей открытой красотой.

Ну теперь ясно, что автор не подражает Пушкину, любит ручки, а не ножки...²

¹ Выражение „смирдинский период“ употребил Белинский в „Литературных мечтаниях“.

² „Северная Пчела“, 1835, № 29.

Автор рецензии на „Семейство Комариных“ — Р. М., т. е. В. Строев, тот самый, который сперва превозносил, а потом бранил в „Пчеле“ „Стихотворения“ Бенедиктова.

Самому Булгарину (с откровенной подписью „Ф. Б.“) принадлежит еще более красноречивая рецензия на „Бориса Годунова. Трагедию в трех действиях“ М. Лобанова:

„До сих пор судьба Годунова в нашей литературе была так же несчастна, как и в истории: никому не удалось воспользоваться вполне этим удивительным явлением нравственного мира, повтически разгадать эту чудесную загадку... развить во всем его объеме этот колоссальный, истинно драматический характер. Кажется, все элементы у нас под рукою... Чего же не достает? Безделицы: гения мощного и исполинского, как сам предмет; художника с душою, которая, из этого хаоса событий и характеров, сплавил бы одно целое, исполинское и прекрасное, осветила бы создание свое пламенем поэзии, влила бы в него весь пыл жизни; — одним словом, не достает другого Шекспира.

А. С. Пушкин написал несколько удачных и замечательных сцен из истории Бориса — и только. Но произведение Пушкина было создано без особой формы — и поэтому мы не в праве ничего более требовать. Теперь Г. Лобанов издал трагедию: Борис Годунов...

Стихи в ней прекрасные, гладкие, такие гладкие, что вы не спотыкнетесь в них ни на одну мысль, ни на одно счастливое выражение. Вообще в трагедии все обстоит благополучно“.

„Смирдинская словесность“ 30-х гг. — замечательный пример упрощения модных идей и критериев, заимствованных из романтического обихода. Здесь самое широкое распространение находит доморощенная натурфилософия, давно оторвавшаяся от своих философских источников. Особым успехом пользуется здесь романтическая тема поэта, чуждого бессмысленной толпе. В русской литературе эта тема проделала характерную кривую — от программного „Поэта“ Веневитинова, восходящего к основам немецкой идеалистической эстетики, через Хомякова и Пушкина, до общедоступного применения у Полевого („Абадонна“), Кукольника („Торквато Тассо“), Тимофеева („Поэт“, „Елисавета Кульман“) и пр. В 1845 г., когда эта тема успела окончательно выродиться, Белинский писал: „...маленькие талантики — несносные люди, раздражительные, мелочные, самолюбивые, заносчивые... Они уверены, что только они одни и чувствуют, и мыслят, и страдают, — и потому нещадно бранят толпу, которая предпочитает свои домашние заботы и личные выгоды их хорошеньким стишкам... Они, извольте видеть, — гении, толпа должна видеть ореол над их головами, а на челе звезду бессмертия“.

Вот основания, на которых в недрах „Библиотеки для Чтения“ и „Северной Пчелы“ создалась особая обывательская „поэзия мысли“, крупнейшими представителями которой были Кукольник и Тимофеев. „Библиотека для Чтения“ провозглашает обоих корифеев „русскими Байронами и Гете“. „Северная Пчела“ нисколько не уступает ей в цинизме:

„Поэт“. Фантазия в 3-х сценах Т-м-ф-ва. „... Из этого краткого обзора читатели увидят, какую обширную, высокую мысль автор положил во главу угла своего творения. В самом

деле, мысль сия по своей глубокости, силе и теплоте, есть нечто совсем новое в нашей литературе. Создание, основанное на ней. . . , могло бы заключать в себе более эпической и драматической жизни, менее философии и более поэзии; видно, что это один еще очерк здания огромного и великолепного. . .¹

„Елизавета Кульман“. Фантазия Т-м-ф-ва. „ . . . Г. Тимофеев силою своего прекрасного таланта исторг из этой души ее мир, ее поэзию, и подарил нам произведение, которое в современной литературе нашей должно занять одно из почетных мест . . . Она <героиня. Л. Г.> существо, обреченное искусству и гибели; в ее сердце и судьбе все подчинено высокому призванию — и вы видите, как из каждого биения сердца ее, по воле одной природы, восстают светлые лики небожителей, как самая природа облекается в мысль и слово, чтобы служить отблеском могучих стремлений таланта . . .²

„Исния“ Т-м-ф-ва. . . „Веселость и насмешливость не главные достоинства песен Г. Тимофеева: они видны только в тех песнях, которые выливались из души его в те немногие минуты, когда она отдыхала от тяготивших ее тяжелых дум“.³

При оценке этого материала не следует забывать, что произведения Тимофеева носят на себе отпечаток глупости, вероятно, единственной в истории мировой литературы.

Официальный представитель группы — Кукольник, учитывая, что он выдвинут „петербургской литературой“ против Пушкина и пушкинского круга, отнесся к этому заданию вполне сознательно:

„Кукольник преследовал мелкое, по его мнению направление литературы, данное Пушкиным, все проповедывал о колоссальных созданиях; он полагал, что ему по плечу были только героические личности“ (И. И. Панаев. „Литературные воспоминания“).

В другом месте „Воспоминаний“ Панаев воспроизводит слова Кукольника:

„ — Пушкин, бесспорно, поэт с огромным талантом, гармония и звучность его стиха удивительны, но он легкомыслен и не глубок. Он не создал ничего значительного; а если мне бог продлит жизнь, то я создам что-нибудь прочное, серьезное и может быть дам другое направление литературе. . . (Передавая слышанное мною из уст поэта, я ручаюсь, конечно, только за верность мысли, а не за слова и обороты фраз)“.

Сравним с этим свидетельство П. М. Ковалевского, относящееся уже к 40-м гг.:

„ . . . Сашенька принес квас, который Нестор Васильевич выпил вперемежку с каким-то еще четверостишием Державина, старческий портрет которого в колапке висел над диваном. К старику (так он называл Державина) он обращался с набожным благоговением, к Пушкину снисходил, Гоголя не одобрял и к имени его постоянно прибавлял Яновский“.⁴

Кукольник чувствовал презрение Пушкина и не собирался уступать место. Это была настоящая, обоюдно осознанная вражда. И в историческом плане вражда эта вовсе не кажется смешной, если вспомнить, что за Кукольником стояла читательская масса, посетители столичных театров и влиятельнейшие органы петербургской печати.

¹ „Северная Пчела“, 1834, № 125.

² „Северная Пчела“, 1836, № 276.

³ „Северная Пчела“, 1836, № 217.

⁴ П. М. Ковалевский. „Стихи и воспоминания“, СПб., 1912, стр. 221—222.

III

Имя Кукольника было не безразличным и не случайным для Пушкина, как не случайно, что в „Письме“ А. Б. рядом с ним стоит имя Бенедиктова. Бенедиктов—явление во многих отношениях подобное же и выдвинутое не только той же средой, но в значительной мере одними и теми же людьми.

„Стихотворения“ Бенедиктова 1835 г. попали в точку. Они имели непосредственное отношение к двум самым насущным вопросам момента: к требованию „мысли“ и к стремлению преодолеть гладкие эпигонские формы (оба момента теснейшим образом связаны между собой). Попытки разрешения этих задач шли с разных сторон: от „москвичей“ с их философией, от Пушкина с его историческими и политическими темами, от петербургской литературы. Именно здесь на „почве смирдинской словесности“ удобно было экспериментировать: ведь эту литературу создавала среда, для которой строгие нормы дворянского хорошего вкуса были уже необязательны и непонятны.

Первоначально мещанскую публику 30-х гг. обслуживали по преимуществу люди, пришедшие из другой эпохи, от других литературных связей и отношений. Таков Воейков, старый соратник Жуковского и Андрея Тургенева, или академический специалист Греч. Не следует забывать, что и Булгарин начал свое поприще в иных литературных сферах—близости от Рыльева и Грибоедова. Но со временем деятели на потребу публике должны были появиться из рядов самой публики. Так постепенно выдвигались Кукольник, Тимофеев, Бернет и др. Из этого набора самым сильным и даровитым оказался Бенедиктов.

Отец Бенедиктова был попович, женатый на дочери придворного кофишенка, и служил советником губернского правления в Петрозаводске. В Петрозаводске же Бенедиктов окончил четырехклассную Олонецкую гимназию, после чего поступил во 2-й кадетский корпус в Петербурге. Из корпуса, как первый по успехам, Бенедиктов был выпущен прапорщиком в лейб-гвардии Измайловский полк. Гвардейский офицер в отставке—фигура вполне уместная в „хорошем обществе“, однако, князь Иван Гагарин, восторженный почитатель поэзии Бенедиктова, отозвался о поэте: „его тщедушная, неприятная, скажу—почти уродливая наружность, привычки военной дисциплины, которых нисколько не умерило посещение света, заставляют держать его в отдалении от общества, с которым у него не может быть взаимных симпатий“. Светский человек Гагарин почуял в бывшем измайловском офицере—поповского внука, воспитанника Олонецкой гимназии, почуял то мелкочиновничье и армейское, что Бенедиктов сохранил до конца жизни, несмотря на обширные литературные связи—от суббот Жуковского до салона Штакеншнейдеров в 50-х—60-х гг.,—несмотря на занятия высшей математикой, на знание четырех языков и осведомленность в текущей европейской литературе.

В 1843 г. Плетнев, вообще поощрявший Бенедиктова, писал Гроту:

„К чаю... приехала Карлгоф. Она спешила... на вечер к Филимонову, автору «Непостижимой»!!!... И туда она уже отвезла *Бенедиктова* с его сестрою. Эта женщина только и ищет выпечтанной рожи. Таков был ее муж, автор нечитанных мною повестей. Но Бенедиктову я удивляюсь и истинно сожалею о нем. Этот поэт стоил бы лучшего общества. Вот что значит быть воспитану во 2-м кадетском корпусе! Ни служба в Измайловском полку, ни поэтический талант не подняли его для создания себе жизни, соответственной потребностям его души. Он теперь тонет в чиновничестве и между знакомыми. Как я часто благословляю провидение, что оно с-из-детства вложило в сердце мне неодолимое влечение к обществу избранных“.¹

„Выпечатанные рожи“—это, очевидно, литераторы, потому что Плетнев сообщает в предыдущем письме: „Эта Карлгоф совершенная провинциалка в своем поклонении каждому *выпечатанному имени*. Она только и бредит знакомством с известными в публике лицами...“

Типичная петербургская литературная среда 30-х гг.— это профессионалы—от „столпов“, вроде Греча, Булгарина, Воейкова, до грошевых поденщиков журнального дела, — и любители из чиновников и офицеров средней руки, „полужандармы и полулитераторы“, как писал впоследствии Герцен о посетителях князя Одоевского, имея, очевидно, в виду известного Владиславлева, жандармского полковника и издателя, альманахи которого распространялись с помощью полицейского аппарата. Одним из самых усердных любителей был В. И. Карлгоф, литератор, капитан и старший адъютант гвардейского корпуса. Карлгоф женился на „богатой тамбовской девице“ (по выражению Бурнашева), которая немедленно превратила его в мецената, а себя в хозяйку салона. Попытки Карлгофов поднять свой салон до уровня знаменитостей первого ранга были безуспешны; на практике здесь царили примитивные чиновничьи нравы, в силу которых за ужином перед Кукольниковом ставился дорогой лафит, а перед писателями попроще — медок от Фохтса по 1 р. 20 к. ассигнациями.² Салоны типа карлгофского— это образования внутри самой петербургской публики, приспособленные для выявления дарований. Так Карлгоф менее чем в два года издал на свой счет и представил обществу Кукольника и Бенедиктова.

Бенедиктов — ставленник бюрократических низов — не имел правильного литературного воспитания. Перед Пушкиным он благоговел. Но ему с младенчества не была привита стиховая культура высокой дворянской лирики, культура, отличавшаяся абсолютной нормативностью и мощной инерцией стиховых форм, преодолеть которую было необыкновенно трудно. Дурное литературное воспитание Бенедиктова и мещанское отсутствие традиций развязали ему руки. Бенедиктову удалось произвести стилистический взрыв, поколебавший самые основы стиховой системы Батюшкова — Жуковского — Пушкина, омертвевшей в руках эпигонов.

¹ „Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым“, т. II, стр. 135—136. (Плетнев происходил из духовного звания.)

² И. И. Панаев. „Литературные воспоминания“, 1928, стр. 106.

Иерархичность литературы начала XIX в. — наследие XVIII в. с его жестким сословным мышлением. В основе ее лежало представление о незыблемой иерархии социальных ценностей, которой соответствует иерархия всяческих знаков культурного выражения (языковых, жанровых и пр.). Отсюда стилистическая однородность внутри отдельных жанровых образований. Слова одного уровня ценности отбираются по признакам предметным, лексическим, или, наконец, стилистическим. Карамзинисты в значительной мере отпоявлялись еще от эстетики классицизма, и в их творчестве жанровая дифференциация была смягчена, но не снята. В частности, у карамзинистов, на основе строгого стилистического расслоения, обособился специальный элегический слог. Пушкин, работая в разнообразных жанрах, уже в 20-х гг. далеко уходит от первоначальных карамзинистских установок, но в элегии он еще долго (вплоть до 30-х гг.) сохраняет батюшковскую традицию:

Где муки, где любовь? Увы в душе моей
 Для бедной легковерной тени,
 Для сладкой памяти невозвратимых дней
 Не нахожу ни слез, ни пени.

Здесь, — за исключением слов нейтральных или формальных, — все значимые в смысловом отношении слова — это слова как бы заранее окруженные ореолом *поэтичности*. Бытовое, непрепарированное слово с чрезвычайным трудом проникает в условный и устойчивый лирический словарь. Плетнев, воспитанный поэтической школой 10-х—20-х гг., писал о Пушкине: „Он постигнул, что язык не есть произвол, не есть собственность автора, а род сущности, влитой природою вещей в их бытие и формы проявления“.¹ Представление весьма характерное.

Элементы поэтической речи, в этом представлении, существуют как заданные и общеобязательные. Они как бы не продукт индивидуального творческого акта, а достояние сознания социальной группы. Они не столько создаются, сколько применяются к случаю. Это ощущение привычности возможно только при незаметном образе: прямое название, языковые тропы, логические и аналитические определения, сросшиеся словосочетания — составляют основу элегического стиля (стиль этот, разумеется, не покрывает собой творчества Пушкина, Вяземского и других, но в 10-х—20-х гг. образует одну из ведущих линий).

Если образ в принципе — не индивидуален, если слово является постоянной, а не создаваемой единицей лирической речи, то оно естественно тяготеет к обобщенности, абстрактности. Здесь не обязательна полная замена прямого значения слова метафорическим. Для элегического стиля характернее другой случай: фактический смысл слова не отменен, но

¹ „Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым“, т. II, стр. 271.

в стихе слово живет привнесенным в него поэтическим смыслом; оно превращается в условный литературный знак. (Таковы элегические муки, улыбки, слезы или вечные эпитеты нежный, мятежный, томный и проч.)

Обставленное целой системой норм и запретов, это слово было доведено до чрезвычайной смысловой чувствительности. И каждое прикосновение мастера могло дать огромный смысловой эффект. Слово это было точным, в том смысле, что всякий сдвиг, который не был большой художественной удачей, оказывался ошибкой, и речь шла об отборе наиболее подходящих вещей из поэтического запаса, о наиболее рациональном их применении. Но в разных исторических условиях одни и те же свойства оказывались то силой, то слабостью. Представим себе это словоупотребление в эпоху, когда рушилась та самая классовая эстетика, которая его породила, в эпоху упадка дворянской поэтической культуры, когда в пределах ее движение заменилось механическим воспроизведением форм. Словом, представим себе поэзию условную и абстрактную, притом не обоснованную уже целостным мировоззрением и потерявшую способность развиваться. Именно так обстояло с катастрофическим эпигонством 30-х гг.

Естественно, впрочем, что эпоха распада поэтической культуры 20-х гг., на ряду с эпигонством, дала брожение, экспериментаторство. Поэты, группировавшиеся вокруг „Библиотеки для Чтения“ (Кукольник, Тимофеев, Бернет, Ершов и др.), экспериментировали, но как-то случайно, наскоками. В конечном счете все они работали на основе общих мест тогдашнего поэтического языка, и ни одному из них не удалось найти ничего похожего на новый метод. Бенедиктов первый возвел в систему отклонения от норм дворянской эстетики 10-х—20-х гг., образовал стиль на основе миропонимания „ерыжной публики, состоящей из офицеров и чиновников“.

В этом разгадка массового успеха Бенедиктова, и это превосходно понял и выразил Белинский в статье 1842 г. („Отечественные Записки“):

„... На Руси есть несколько поэтов, в произведениях которых больше чувства, души и изящества, чем в произведениях Бенедиктова; но эти поэты не произвели и никогда не произведут на публику и в половину такого впечатления, какое произвел г. Бенедиктов. И публика, в этом случае, совершенно права: те поэты незначительны в той сфере искусства, к которой они принадлежат: они заслоняются в ней высшими поэтами той же сферы; а г. Бенедиктов сам велик в той сфере искусства, к которой принадлежит, потому, никому не подражая, имеет толпу подражателей...“

В области литературы мещанский эклектический тип сознания должен был решительно исключить строгий жанровый строй, основанный на иерархии литературных категорий в их соотносительности с социальными категориями. Бенедиктову ничего не стоит соединить Батюшкова с Державиным и Пушкина с Шиллером и Гюго, ибо все это только отдельные

красивые вещи, культурно-идеологический смысл которых утрачен. Натурфилософская тема переплетается с темой дружеского послания. В плане лексическом беспощадно смешаны славянизмы и архаизмы, городское просторечие, народные слова, „галлантерейные“ выражения, деловая речь и пр., и пр.

Прихотливо поднялась,
Прихотливо подлетела
К паре черненьких очей —

один из бесчисленных у Бенедиктова примеров поразительной лексической какофонии. Вместе с тем лирика утрачивает стилистическую непроницаемость. Например, в военном стихотворении „Возвратись“ — любопытное смешение лирических абстракций с реальными предметами офицерского обихода. „Ружье на молитву“ — и тут же: „И снова мечи потонули в ножнах“. У Бенедиктова меч употребляется на ряду с ружьем, потому что для него высокие слова — не принадлежность обособленной одической речи, а просто украшение слога. В „Возвратись“ на ряду с „мечами“ и даже „предбитвенными мечами“ — специальная терминология:

А сабли на отпуск, коней на зерно . . . —

Это весьма реальные кони. Впрочем, тут же, в качестве военно-поэтической абстракции, фигурирует и „конь-товарищ“:

А славу добуду — пол-славы ему.

Раскрывая условную лирическую речь бытовому словесному сырью, Бенедиктов поэтизировал обиходное слово. Это позволило ему ввести в эстетическую сферу такие элементы окружающей действительности, которые прежде оставались за ее пределами (или находили себе место в низовой „альбомной словесности“). Это опять-таки понял и выразил Белинский все в той же статье 1842 г.:

„Стихотворения г. Бенедиктова имели особенный успех в Петербурге, успех, можно сказать, народный, — такой же, какой Пушкин имел в России: разница только в продолжительности, но не в силе. И это очень легко объясняется тем, что поэзия г. Бенедиктова не поэзия природы, или истории, или народа, — а поэзия средних кружков бюрократического народонаселения Петербурга. Она вполне выразила их, с их любовью и любезностью, с их балами и светскостью, с их чувствами и понятиями, — словом со всеми их особенностями, и выразила простодушно-восторженно, без всякой иронии, без всякой скрытой мысли“.

Белинский понял, что быт чиновничьей гостиной сублимирован и идеологизирован Бенедиктовым, что впервые им найдена эстетика этого социального факта. Вот что, по мнению Белинского, обеспечило в некоторых слоях Бенедиктову успех, равный пушкинскому, конечно не по продолжительности, но по силе.

Бенедиктов извлек самые крайние возможности из романтических предпосылок эмоционального и экспрессивного стиля. Совмещение несовместимых элементов, принципиальная неограниченность средств выра-

жения, *допущение любых слов в любых комбинациях* — вот черты стилистического максимализма, своеобразной „футуристичности“ 30-х гг. XIX в.

Одним из существеннейших моментов реформы Некрасова также было допущение в поэзию *любых слов*. У Некрасова этот стилистический демократизм осмыслился определенной демократической идеологией — у Бенедиктова это бессознательный, стихийный демократизм служилого мещанства, не имеющий отчетливого идеологического стержня и вполне совместимый с политической лояльностью, даже реакционностью. Как бы то ни было, в 30-х гг. всякий опыт преодоления мощной инерции узкого и устойчивого элегического словаря был опытом на путях к великой некрасовской реформе. С другой стороны, Некрасов в своем первом периоде, периоде еще бессознательного демократизма, не случайно прошел через рьяное подражание Бенедиктову („Мечты и звуки“, 1840 г.).

Поэт типа Некрасова вырабатывает новый стилистический строй на основе нового мировоззрения. Для поэта идеологически несамостоятельного естественный путь — это деформация уже существующих элементов, в конечном счете истории всегда бесплодная.

Для Бенедиктова введение бытовых слов (будь то слова военного или „салонного“ обихода) — частный случай. В основном он эклектически смешивает разнородные пласты унаследованного стиля, подвергая их резким изменениям.

На каждом шагу лирические штампы раздуваются в гиперболу или происходит смешение и смещение их признаков:

Любовь лишь только капля яду
На остром жале красоты.

Любовь, красота, яд, жало — все это в отдельности ходячие поэтические вещи, но здесь они сгущены в новую и довольно запутанную комбинацию. Путь этот легко приводит к смысловой какофонии. Один образный ряд вмешивается в другой, причем они взаимно уничтожают друг в друге и логическую связь признаков и предметную реальность.

Бенедиктов на десятки лет предвосхитил опыты русских поэтов XX в. в области реализации словесного образа. Бенедиктову, как поэту, отрешенному от живых идеологических источников, в высшей степени свойственно чисто словесное мышление. В этом существеннейшее различие, при наружном сходстве, между реализацией метафоры у Бенедиктова и хотя бы у символистов. Саморазвивающееся слово легко охватывает сюжет целых стихотворений. На основе образа *огонь любви* возникает стихотворение о сердце сгоревшем, испепелившемся и вновь возродившемся из пепла. Душевный холод реализуется „льдяным венцом потухшего вулкана“:

И он в огне лучей твоих блестит,
Но от огня лучей твоих не тает („Алине“).

„Железное сердце“ попадает на наковальню кузнеца (это судьба). Грудь женщины — пучина, и в ней, на самом дне, скрываются перлы и крокодилы („Бездна“) и т. д.

Лирическая речь Бенедиктова либо разворачивается этими охватывающими образами, либо распадается на множество мельчайших смысловых образований, замкнутых структур, из которых каждая имеет внутреннее движение и разрешение, представляя собой рудимент сюжета. Эта многопредметность, одним концом упиравшаяся в Державина, другим в Гюго — нечто крайне противоположное „прозрачному“ элегическому стилю 10-х—20-х гг., со свойственной ему скупостью в подборе выразительных средств и тяготением к повторяющимся словосочетаниям, как бы заранее заданным поэту. Напротив того, резкая, неожиданная метафора — это уже индивидуальный случай, изобретение поэта. Так намечается связь метафоричности с романтическим индивидуализмом, в чем и заключался социальный смысл метафорического стиля. Метафорический стиль Бенедиктова питался романтической атмосферой 30-х гг., восходившей к французской, частью к немецкой литературе, но, разумеется, питался паразитически.

Эклектизм Бенедиктова резко сказывается в подборе тем. Здесь все, что угодно: наследственная элегическая лирика с сильной примесью архаистического пафоса, словом, Батюшков, исправленный Державиным; здесь романтическая тема „непризнанного поэта“ („Скорбь поэта“) и рядом мещанская эротика, заслужившая Бенедиктову обвинения в порнографии. И, наконец, обильная „натурфилософия“ („Утес“, „Жалоба дня“, „Буря и тишь“, „Две реки“ и пр. и пр.), по поводу которой рецензент „Северной Пчелы“ наивно заметил: „Особенно г. Бенедиктов умеет представить самую строгую, самую важную мысль в форме всем доступной и понятной. Таких стихотворений у него много в небольшом собрании, теперь изданном. К этому роду принадлежит и *Жалоба дня*“¹.

Для поэта начала века многообразие тем и методов подачи было бы непременно связано с дифференциацией жанров, отражавшей дворянское представление о иерархии социальных ценностей. Для Бенедиктова все эти темы в сущности равноправны, потому что заимствованы из разных не связанных между собой идеологических источников.

Однако стихи, которые, по свидетельству современников, „твердила наизусть вся читающая Россия“, должны были обладать некоторой реальностью, если не мировоззрения, то мироощущения, причем в этом реальном содержании совместились „скорбь поэта“ и натурфилософия с „ножкой летуньей“ и с военно-парадной бодростью, вроде:

Бодро выставь грудь младую,
 Мошь и крепость юных плеч!
 Облечись в броню стальную!
 Прицепи булатный меч! („К—му“).

¹ „Северная Пчела“, 1835, № 114.

Лирический герой Бенедиктова это „самый красивый человек“, украшенный всем, что только можно было позаимствовать в общедоступном виде из романтического обихода. У него мощные страсти, глубокая философия, военная выправка, разбитое сердце и повадки „орла-мужчины“, и все это выражено на языке, звучащем необыкновенно громко.

Создать этого героя на потребу действительно очень широких кругов дворянско-мещанской публики средней руки было исторически трудным делом. Это требовало таланта и готовности употреблять самые крайние средства.

Однако, все построение Бенедиктова, провозглашаемое то высокой романтикой, то пошлостью, висит на волоске. Здесь мы упираемся в проблему адекватности средств выражения стоящим за ним социальным ценностям. В поэзии идеологически-подлинной слово обосновывается трудом, борьбой, мыслью, вложенными в его социальный источник. Неправомерно торжественное или неправомерно-лирическое слово оскорбляет в этическом аспекте — как обман, в эстетическом аспекте — как безвкусица. Безвкусица и есть в значительной мере некритическое употребление „высоких“ и „красивых“ слов, уже отмененных в тех самых идеологических сферах, которые некогда их породили. Знаменитая безвкусица 30-х гг. — продукт идеологической подражательности мещанско-бюрократической среды, для которой не существовало вопроса об адекватности поэтического слова стоящей за ним социальной ценности.¹

Бенедиктовский пафос не находил себе оправдания ни в цельности романтического мировоззрения, ни в эмоциональном единстве личности поэта. Вот почему Бенедиктов так сильно зависел от капризов читательского вкуса. Удалось убедить читателя — удача, не удалось — образ проваливается в безвкусное или комическое.

Этим именно объясняются два основных момента в удивительной судьбе Бенедиктова — во-первых, непрочность его успеха, во-вторых, необычайная разноголосица критических истолкований.

Поэт, который напоминал одним читателям Шиллера, другим Козьму Пруткува, должен был распастись в сознании современников на разные и даже противоречивые элементы, осмыслявшиеся в зависимости от тенденций каждой группы. Так Бенедиктов одновременно провозглашается *поэтом мысли* и автором непристойных стихов.

¹ Шевырев писал о Кукольнике:

„Г. Кукольник хочет принадлежать к числу тех гениальных писателей, для пера которых нет исторического имени страшного, нет славы непобедимой. Все должно с покорностью ложиться под их перо, не признающее трудностей. И Гете неохотно бы выступил на Рафаэля, Микель-Анджело, Канову, но г. Кукольник пускается на всех“ («Москвитянин», 1841, ч. I.)

IV

Преодоление Пушкина и преодоление последствий пушкинской гегемонии (засилия эпигонов) — одна из основных задач в лирике 30-х гг. Только через это преодоление современники мыслили путь к новой философской или гражданской, или вообще „романтической“ поэзии. Панаев наивно полагал, что Пушкин Бенедиктова не заметил. Пушкин не только должен был заметить Бенедиктова, но он не мог не видеть, что именно в Бенедиктове осуществилось полное крушение норм высокой дворянской поэзии и последовательно развернулась эстетика мелкобюрократических и мещанских низов, т. е. Пушкин должен был в Бенедиктове усмотреть один из наиболее сильных центров развернутого антипушкинского фронта.

Это проливает уже достаточный свет на факты, собранные в первой главе настоящей статьи, факты, свидетельствующие о враждебности и беспокойстве Пушкина, и вместе с тем о желании это беспокойство скрыть.

На травлю критики и равнодушие публики Пушкин реагировал болезненно и настороженно. Отношение к Бенедиктову осложнялось еще особой позицией, которую заняли в этом деле пушкинские литературные друзья. Бенедиктова выдвинул низовой петербургский салон Карлгофов. В литературной иерархии 30-х гг. это как бы прикрепляло его к „Кукольниковскому братству“, сознательно враждебно противопоставлявшему себя Пушкину и всему пушкинскому кругу. Однако литературные аристократы (за исключением Пушкина) явно покровительствовали Бенедиктову в начале его карьеры.

О положительном отношении Жуковского, на ряду с Панаевым, свидетельствует в своих воспоминаниях Карлгоф-Драшусова, которой, впрочем, больше всего хочется показать, что Жуковский писал ее мужу „премилые записки“ с просьбой привести к нему Бенедиктова.

Я. П. Полонский в своей статье о Бенедиктове даже заимствует из некролога „Всемирной Иллюстрации“¹ утверждение, будто у Жуковского Бенедиктов познакомился с министром Канкриным, предложившим ему перейти из военной службы в министерство финансов. Это не верно, так как Бенедиктов перешел в министерство финансов еще в 1832 г., но несомненно, что в 1835—1836 гг. он был постоянным посетителем суббот Жуковского. Повидимому, на этих собраниях с Бенедиктовым познакомился Вяземский, который отнесся к нему с большим интересом. 30 ноября 1835 г. Вяземский пишет А. И. Тургеневу: „У нас появился новый поэт, Бенедиктов. Не знаю успею ли отправить его к тебе. Замечательное, живое, свежее, самобытное явление“. И в конце того же письма: „Графине Шуваловой-Зубовой передай мой сердечный поклон. Что ее здоровье? Прочти ей от меня несколько стихотворений Бенедиктова“.²

¹ „Всемирная Иллюстрация“, 1873, № 270.

² „Остафьевский Архив“, т. III, стр. 279.

А через две недели Вяземский сообщает А. О. Смирновой: „У <Жуковского> Субботы и по этому случаю он взял себе в законную супругу и домоправительницу Плетнева. Вам было бы приятно познакомиться с Бенедиктовым. Это живой и освежительный источник, пробившийся в пустыне нашей словесности, в такое время, когда можно было наименее ожидать того“.¹ Наконец в письме к Тургеневу от 19 января 1836 г. Вяземский возвращается к той же теме: „Вчера начал я читать у него <Жуковского. Л. Г.> твое последнее от 21 января при Бенедиктове, и в первых строках похвала ему, которою он был очень доволен. Радуюсь, что он понравился и графине Шуваловой; не даром полюбил я ее за ее поэтическое чувство“.²

Для Вяземского Бенедиктов вовсе не исчадие сенковско-булгаринской среды, но человек, которого он считает нужным сблизить с культурнейшими представителями тогдашнего своего литературного круга. 29 октября 1837 г. Вяземский пишет Шевыреву: „Перед вами Бенедиктов, живая грамота и живая рекомендация. Сведите его с Баратынским, Хомяковым, Павловым“.³ Шевырев отвечает: „До сих пор я оставался перед вами в долгу за приятное ваше письмо, полученное мною с Бенедиктовым... Но в то время были у меня домашние хлопоты: болезнь сына помешала мне познакомиться короче с Бенедиктовым и отвечать вам“.⁴

Вяземский принимал Бенедиктова и у себя. 10 декабря 1836 г. Ал. Ив. Тургенев записывает в своем дневнике: „Встретил Абр. Норова, обедал в трактире, гулял с Бенедиктовым... Был в театре, в ложе Пушки. (у коих был накануне) и веч. у Вяземского с Бенедиктовым“.⁵ В это же время саксонский посланник при русском дворе Лютцереде, завязавший дружеские отношения с Пушкиным, Вяземским, Жуковским, Плетневым, переводил на немецкий язык Пушкина, Кольцова и Бенедиктова.⁶ Очевидно, что Лютцереде переводил Бенедиктова по совету тех же Вяземского, Жуковского, Плетнева.

В 30-х гг. такого рода факты в значительной мере определяли литературное положение писателя. Бенедиктов, посещающий „высокопоставленного“ Жуковского и щепетильного Вяземского, не мог безоговорочно смешиваться с толпой „смирдинских литераторов“. Место в этой толпе, впрочем, приуроченное ему Карлгофом, закреплено было за Бенедиктовым уже ретроспективно. Сначала же все обстояло настолько неясно, что в 1836 г. Ф. Ф. Вигель писал Загоскину: „... нынешнею зимою он <Жуковский...> по субботам собирал у себя литераторов, и я иногда являлся

¹ „Русский Архив“, 1888, т. II, стр. 294.

² „Остафьевский Архив“, т. III, стр. 284.

³ „Русский Архив“, 1885, т. III, стр. 305.

⁴ „Старина и Новизна“, 1901, кн. IV, стр. 136.

⁵ П. Е. Щеголев. „Дуэль и смерть Пушкина“, изд. 3, стр. 277.

⁶ „Остафьевский Архив“, т. III, стр. 610.

туда как в неприятельский стан. Первостепенные там князя Вяземский и Одоевский и г. Гоголь. Всегда бывал там и Пушкин, но этот все придерживается Руси; еще видел я там Теплякова, холодного поэта; и молодого Бенедиктова, который явился в таком блеске и которого, боюсь, заря скоро затмится. Разумеется, все сии господа в совершенной противоположности с другим обществом, которое ежедневно собирается у г. Греча: там вы находите Булгарина, Воейкова, Сенковского, Мосальского, и мало ли кого там увидишь — также Европа, но в другом духе, менее умеренном“.¹

Итак, здесь Сенковскому и Булгарину, заодно с Жуковским, Вяземским, Пушкиным, противопоставлен Бенедиктов.

Аналогичное противопоставление находим в рецензии Воейкова на „Стихотворения“ Бенедиктова 1835 г.:

„Наш век есть существенно прозаический... Он стал еще более прозаическим с тех пор, как высокостепенный барон *Брамбеус* торжественно объявил господам поэтам, что «Редакция Библиотеки для Чтения убедительнейше просит их не присылать в этот журнал стихов, поелику он в них не имеет надобности...» Мы уже видели поэзию свертывающую свои золотые крылья и возвращающую небу свои небесные вдохновения. Горькие стихотворения гг. *Банникова*, *Струговицкова*, *Гулевова*, *Чурманалеева*, бесконечные, как голые саратовские степи, вирши Тимофеева, в Б. для Ч., без равбора и выбора помещаемые, утвердили нас в этом несчастном мнении. Но в тот самый миг, когда казалось, божественная оставляла неблагоприятную словесность, которая важно перебирала в руках щеты вместо лиры, и подслушивала в харчевнях остроты лабазников и рассказы чумаков — великодушная и искусная рука удержала ее за радужное покрывало. Благодаря ей, явились на Руси *Стихотворения Бенедиктова*...“²

Бенедиктов использован в ожесточенной журнально-коммерческой конкуренции Воейкова с Сенковским. Полемический ход Воейкова вознес его в сферу высокой поэзии (поэзия с лирой, в отличие от поэзии „со счетами“), т. е. поэзии, состоящей под протекторатом Жуковского и Пушкина.

Воейков, подголосок литературных аристократов, отмежевывался от „смирдинской словесности“ с тем большим усердием, что фактически сам был втянут в ее ряды. Еще характернее позиция Плетнева, полноправного члена пушкинской группы, официального ее представителя в журналистике и критике.³ Плетневу, который в течение некоторого времени пытался сделать послепушкинский „Современник“ выразителем мнений пушкинской группы, принадлежит помещенная в „Современнике“ 1838 г. очень хвалебная статья о второй книге Бенедиктова. Пуризм Плетнева сказался при этом в усиленных попытках извинить бенедиктовские „излишества“.

¹ „Русская Старина“, 1902, кв. III, стр. 101.

² „Литературные прибавления к Русскому Инвалиду“, 1835, № 96, стр. 765—767.

³ Интерес Плетнева к Бенедиктову подтверждается целым рядом фактов. Например, в начале 1837 г. Гребенка на вечере у Плетнева, по просьбе хозяина, читал стихи Бенедиктова.

Благосклонность Жуковского всего понятнее. Романтический „немецкий туман“ всегда отделял Жуковского от Вяземского, от Пушкина — поэтов, воспитанных на рационалистической французской поэтике XVIII в. Эти же черты сблизили его с литературным поколением 30-х гг. В поэзии Бенедиктова Жуковскому должны были быть близки элементы немецкой ориентации (Шиллер).

Вяземский, утомленный механизовавшимися формами стиха, в эти годы жадно ищет новизны, в особенности „новизны“, которая согласилась бы оставаться под руководством корифеев высокой дворянской поэзии.

Вообще в отношении Жуковского, Вяземского, А. И. Тургенева к Бенедиктову — очень много от пресыщенности и гурманского любования „молодым дикарем“. Интерес к новаторству, как таковому, в известные моменты, особенно в моменты культурного разброда, бывает свойствен специалистам от литературы, и он всегда чужд читателям, до которых произведение искусства доходит в своем эмоциональном и идеологическом аспекте.

Жуковский и Вяземский 30-х гг. тем более были склонны к гурманству, что принципиальный боевой период их литературной деятельности остался позади. Не связанные отстаиванием определенных эстетических принципов, они могли дать волю капризам изощренного вкуса.

Арзамасская борьба за новый слог против старого и проблематика романтизма 20-х гг. потеряли свою остроту. В 30-х гг. происходит перегруппировка сил на новых основаниях, и наиболее принципиальным для литературных аристократов оказывается социальный момент — противопоставление себя плебейской литературе и журналистике.

„Плебейская литература“ не оставалась в долгу. 29 января 1837 г. Кукольник записывает в своем дневнике:

„Пушкин умер . . . мне бы следовало радоваться, — он был злейший мой враг: сколько обид, сколько незаслуженных оскорблений он мне нанес и за что? Я никогда не подал ему ни малейшего повода. Я напротив избегал его, как избегаю вообще аристократии; а он непрестанно меня преследовал. Я всегда почитал в нем высокое дарование, поэтический гений, хотя находил его ученость слишком поверхностною, *аристократическою*; но в сию минуту забываю все и, как русский, скорблю душевно об утрате столь замечательного таланта . . .“¹

Между тем крайний разрушитель норм аристократической эстетики, Бенедиктов, оставался почтительным в быту. Он не пожелал стать в ряды воинствующего литературного мещанства.²

¹ „Дневник Кукольника“, „Баян“, 1888, № 11, стр. 98.

² Например, характерный случай: воспользовавшись приездом в Петербург своего старого знакомого Д. В. Давыдова, Карлгоф устраивает 27 января 1836 г. обед при участии друзей поэта-партизана. На обеде, кроме обычных посетителей — Бенедиктова, бар. Розена, Теплякова, Бернета, — присутствуют Пушкин, Жуковский, Плетнев. „Оставались уже немно-

Это отсутствие признаков открытой социальной вражды позволило литературным аристократам сохранить благосклонность к начинающему Бенедиктову и обеспечило ему своеобразное положение в литературной иерархии 30-х гг.

Единственный из всей группы, Пушкин в 30-х гг. остается активным писателем, писателем на посту. Он эволюционирует, и не так, как Жуковский, в стороне от большой дороги литературы, но эволюционирует в самой гуще борьбы и противоречий. Пушкин поэтому никак не мог позволить себе роскоши гурманства и бессистемного поощрения молодых талантов.

Изолированность Пушкина в его творческой работе 30-х гг. была тем более тягостна, что он оказался под ударом не только профессиональной критики, не только публики, но и старых своих соратников. Пушкин был совершенным и полным выражением генерального пути литературы 10-х—20-х гг., и потому удары со всех боковых путей (в частности архаистических) целили прямо в него. Баратынский и Языков сознательно искали эти боковые пути, чтобы не ступать по пушкинским следам.¹ Трагедия Пушкина в том, что каждый литературный деятель, претендовавший на своеобразие, должен был начинать с противодействия силе пушкинского стиха. Против пресловутой пушкинской безидейности издавна протестовали самые близкие к нему люди. В 1825 г. Вяземский писал Тургеневу: „Я восхищаюсь „Чернецом“, в нем красоты глубокие, и скажу тебе на ухо — более чувства, более размышления, чем в поэмах Пушкина“.² А. И. Тургенев отвечал: „Замечание сие <об эклектизме. Л. Г.> не мешает Козлову иметь гораздо более истинной чувствительности и души, нежели в Пушкине, но воображения меньше...“³ Так Вяземский тайно „предавал“ Пушкина. А после смерти Пушкина Баратынский в письме к жене выражал удивление по поводу того, что Пушкин мог быть глубок: „Провел у <Жуковского> часа три, разбирая не напечатанные новые стихотворения Пушкина. Есть красоты удивительной, вовсе новых и духом и формой. Все последние пьесы его отличаются, чем бы ты думала? Силою и глубиною. Он только что созревал...“⁴

гие, — пишет Драшусова, — когда приехал Кукольник... Я была довольна, что так случилось. *Литературная аристократия* не жаловала Кукольника. Но мы не могли не пригласить человека, бывшего нашим коротким знакомым. Полевой, тот сам отказался присутствовать на обеде. Он был в явном разладе со всеми этими господами“. Таким образом, Бенедиктов невозбранно присутствует на сборище, на котором хозяйка так боялась появления Кукольника.

¹ В предисловии к „Эде“ Баратынский писал о себе: „... следовать за Пушкиным ему показалось труднее и отважнее, нежели итти новою, собственною дорогою“. В последнем издании стихотворений Языкова (Academia, 1934, под ред. М. К. Азадовского) собран материал, свидетельствующий о резко отрицательном отношении молодого Языкова к Пушкину. См. стр. 766—767 и др.

² „Остафьевский Архив“, т. III, стр. 114.

³ Там же, стр. 117.

⁴ „Пушкин и его современники“, вып. IV, стр. 152.

Если так думал Баратынский, то не удивительно, что публика и критика, увлеченная борьбой с Пушкиным, как с величайшим представителем карамзинизма, проглядела созревание нового „духа и формы“. За протестом против „безидейности“ Пушкина нередко стояла потребность в других идеях и бессилие найти собственный язык для выражения этих идей.

В 30-х гг. положение Пушкина пошатнулось. И факты такого порядка, как восхищение Жуковского и Вяземского поэзией Бенедиктова, приобретали особый оттенок „предательства“. Натиск шел с разных сторон. Кюхельбекер, человек иных, архаистических традиций, но во всяком случае того же круга, в 1836 г. довел до сведения Пушкина свою высокую оценку Кукольника. Он писал из Баргузина: „Не слишком ли ты строг и к Кукольнику? все же он не то, что Тимофеев, который (par parenthèse) безбожно обкрадывает и тебя и меня. — Язык Кукольник знает плохо, стих его слишком изнежен, главный порок его — болтовня; но все же он стоит того, чтоб напр. ты принял его в руки: в нем мог бы быть путь; дай ему более сжатости, силы, бойкости: мыслей и чувства у него довольно, особенно (не во гнев тебе) если сравнить его кое с кем из наших сверстников и старших братьев“.¹ Кюхельбекер с оговорками, осторожно, но в конце концов присоединяется к тем, кто противопоставлял возвышенного Кукольника, поэта мысли — безидейным поэтам школы Батюшкова-Жуковского. Удар был бы чувствительнее, если бы Пушкин мог знать, что около этого же времени Кюхельбекер в своем дневнике — и гораздо резче — противопоставил Кукольника самому Пушкину:

„По утру прочел в третий раз «Торквато Тассо» Кукольника. Это лучшее создание нашего молодого поэта. Первый акт и начало второго... так хороши, что на нашем языке я ничего подобного не знаю: они достойны Шиллера, могут смело выдержать сравнение с лучшими сценами германского трагика... «Торквато Тассо» Кукольника лучшая трагедия на русском языке, не исключая и «Годунова» Пушкина, который, нет сомнения — гораздо умнее и зреее, гораздо более обдуман, мужественнее и сильнее в создании и в подробностях, но зато холоден, слишком отзывается подражанием Шекспиру и слишком чужд того самозабвения, без которого нет истинной поэзии“ (16 апреля 1835 г.).²

А месяца через полтора записано:

„Пушкин, [Марлицский] и Кукольник — надежда и подпора нашей словесности; ближайший к ним — Сенковский, погом Баратынский“.³

Под пером старого лицеиста, хотя бы и архаистического толка, это стоило заявления Вяземского (в 1835 г.), что Бенедиктов „живительный источник, пробившийся в пустыне нашей словесности“.

Молодые московские шеллингианцы — другая группа, с которой Пушкин считался, с которой он, несмотря на все разногласия, считал

¹ „Переписка“ Пушкина, т. III, стр. 361.

² „Дневник“ Кюхельбекера, 1929, стр. 232.

³ Там же, стр. 235.

нужным объединиться для борьбы с идеологами реакционного мещанства. В этой связи особое значение приобретает то обстоятельство, что в 1835 г. Шевырев объявил Бенедиктова первым в России мыслящим поэтом — обстоятельство, которому так долго удивлялась русская критика и русская история литературы.

Для Шевырева, как и для многих его современников, вопрос о новой философической теме был неразрывно связан с вопросом о новом смысловом строе стиха, т. е. о преодолении элегической инерции. Об этом свидетельствуют теоретические высказывания Шевырева и его поэтическая практика 30-х гг. Шевырев сопоставил Бенедиктова с Шиллером, и это подводит к самому существу вопроса. Для московских поэтов 30-х гг. искомый метод русского философского стиха — это в значительной мере метод, с помощью которого может быть освоена немецкая философская лирика, — традиционный русский элегический стих, сформированный французским рационализмом, подавался в этом направлении туго.¹ В 30-х гг. вопрос о французской или немецкой ориентации русской поэзии ставится крайне остро: „... ведь это замечательно, что мы думаем по немецки, а выражаемся по французски“ — писал о русских романтиках Шевырев.² Но привычка „выражаться по французски“ оказывалась роковой, хотя бы для тех, кто ставил себе задачей освоение Шиллера. Две опасности постоянно угрожали последователю и переводчику: с одной стороны, при стремлении к точности опасность впасть в смысловую какофонию и безвкусицу; с другой стороны, опасность сгладить Шиллера, подменить шиллеровский образ привычными формами элегического стиля. Бенедиктов, в достаточной мере далекий от Шиллера, близок к русскому шиллеризму 30-х гг. резкой метафоричностью, непредвиденностью словосочетаний.³ Шевыреву до крайности нужен был философский поэт, и он соответственным образом истолковал Бенедиктова. Все это несомненно содержало полузамаскированную полемику против пушкинских традиций. В знаменитом предисловии к своему экспериментальному переводу „Освобожденного Иерусалима“, где он между прочим называет Пушкина „представителем нашей поэзии“, Шевырев прямо признал русский классический стих непригодным для выражения серьезных запросов современной мысли:

¹ Противоречие между философской темой и инерцией элегического стиха отчетливо сказалось в творчестве Веневитинова (см. об этом мою статью „Опыт философской лирики“, „Поэтика“, № 5, Л., 1929). Тот же вопрос существенен для творчества философских поэтов кружка Станкевича — Ключникова, Красова.

² „Взгляд на современную русскую литературу“, „Москвитянин“, 1842, № 3, стр. 159.

³ Вместе с именем Шиллера имена Гюго, Барбье, Ламартина, Деламина сопровождают Бенедиктова через 30-е—40-е годы. Пересадка чужеродного смыслового строя французских романтиков („выражаться по французски“ — означало выражаться по канону французского классицизма) в русский стих — это на ряду с шиллеризмом одно из основных средств борьбы с господством дворянского элегического стиля, один из характерных симптомов культурного движения 30-х—40-х гг.

„Я предчувствовал необходимость переворота в нашем стихотворном языке; мне думалось, что сильные, огромные произведения музы не могут у нас явиться в таких тесных, скудных формах языка; что нам нужен больший простор для новых подвигов. Без этого переворота ни создать свое великое, ни переводить творения чужие мне казалось и кажется до сих пор невозможным“.¹

Замечательно, что эта теоретическая декларация поэта напечатана в той же книге „Московского Наблюдателя“, что и рецензия на „Стихотворения“ Бенедиктова, в которой Шевырев, ко всеобщему соблазну, объявил Бенедиктова поэтом мысли:

„Вдруг, сегодня, нечаянно является в нашей литературе новый поэт, с высоким порывом неподдельного вдохновения, со стихом могучим и полным, с грацией образов, но что всего важнее: с глубокою мыслью на челе, с чувством нравственного целомудрия и даже с некоторым опытом жизни... Совершенно неожиданно раздаются его песни, в такое время, когда мы, погружаясь в мир прозы, уже отчаялись за нашу поэзию... и мы, давно не испытывавшие восторгов поэтических, всею душою предаемся новому наслаждению, которое предлагает поэт внезапный, поэт неожиданный... После могучего первоначального периода создания языка, расцвел в нашей поэзии период форм самых изящных, самых утонченных... это была эпоха изящного материализма в нашей поэзии... Формы убивали дух... Нежные, сладкие, упоительные звуки оплетали нас своею невидимою сетью... Это был период необходимый... Такой бывает у всех народов... Но есть еще другая сторона в поэзии, другой мир, который развивается позднее... Это мир мысли, мир идеи поэтической, которая скрыта глубоко... В немногих современных поэтах уже сильно пробивалась эта мысль, или лучше сказать, это стремление к мысли; оно было частью следствием не столько поэтического, сколько философского направления, привитого к нам из Германии... Для форм мы уже много сделали, для мысли еще мало, почти ничего. Период форм — период материальный, языческий. Одним словом, *период стихов* и пластицизма уже кончился в нашей литературе сладкозвучною сказкою: пора наступить другому периоду духовному, периоду мысли“.²

Значение этой статьи недвусмысленно — она зачисляет Пушкина и его соратников в период „изящного материализма“, во-первых, отживший, во-вторых, низший, по сравнению с новым „периодом мысли“. При всех разногласиях между кружком Станкевича и компанией Погодина-Шевырева в 1835 г. между ними существовало еще достаточно связующих элементов. Характерно, что в начале 1836 г. основные положения Шевырева повторил друг Станкевича и Грановского — Януарий Неверов, рецензировавший первую книгу стихов Бенедиктова в „Журнале Министерства народного просвещения“:

„Уже несколько лет гений поэзии, как бы истощенный прекрасными произведениями наших известнейших писателей, дремал у нас в каком-то бездействии, являя признаки новой жизни только в слабых переделках народных преданий и повестей, или в глухих отзывах чувств неясных, неопределенных, не развитых. Вдруг неожиданно он пробудился... эту зарю мы приветствуем в стихотворениях Г. Бенедиктова, явившихся в эпоху самую благоприятную, когда внимание публики совершенно свободно, не приковано ни к какой знаменитости, не связано никаким литературным пристрастием... Г. Бенедиктов изумил

¹ „Московский Наблюдатель“, 1835, ч. III, стр. 8.

² „Московский Наблюдатель“, 1835, ч. III, стр. 439—440, 442.

нас новыми, звучными, прекрасными и глубокими своими песнопениями;... хорошие стихи нас не удивляют: мы привыкли к ним, слух наш изнежен, утончен и не прельщается гармонией, если не открывает под нею мысли. Мысль есть главное условие всякого создания: она определяет образ и форму, она вдыхает жизнь в творения всякого художника и от силы ее зависит долговечность его произведений“.¹

Бенедиктов взят здесь на фоне эпигонской поэзии. Но подразумеваются, конечно, не одни эпигоны. Характеристика эпохи, как „самой благоприятной, когда внимание публики совершенно свободно, не приковано ни к какой знаменитости, не связано никаким литературным пристрастием“ имело определенный смысл при живых Пушкине, Жуковском, Вяземском, Баратынском, Языкове.

Старые соратники Пушкина и вообще люди близкие к кругу „литературных аристократов“ никогда не полемизировали с Пушкиным публично (это считалось делом интимным). Полемика москвичей зашифровывалась по тактическим соображениям и в силу традиционного почтения к корифеям дворянской поэзии. Иначе обстояло дело в тех прослойках, куда требование мысли спускалось с дворянско-шеллингианских высот. Здесь на уровне „смирдинской словесности“ уже вполне прямо и грубо пользуются Бенедиктовым как оружием в борьбе против Пушкина и пушкинских традиций:

„Появление стихотворений г-на Бенедиктова, — пишет рецензент „Северной Пчелы“, — которых мы нигде еще не читали, поразило нас самым приятным изумлением... Здесь настоящее — *embarras de richesses*, не знаем с чего начать; в каждой песне свежая мысль, одетая гармоническим стихом и сильным выражением... Это уж не вялый плач, не смешные слезы, которыми подчивают нас элегические поэты“.²

В конце 30-х гг. Сенковский придумал новый способ оживления библиографического отдела „Библиотеки для Чтения“. В „Литературной летописи“, превратившейся в „1001 ночь“, две сестры, Критикзада и Иронизада, заговаривают зубы своему повелителю Султан-Публик-Богадур отзывами о современных русских книгах. В „Литературной летописи“ 1838 г. Критикзада иносказательно упомянула о двух замечательных поэтах и заодно прочитала стихотворение Бенедиктова „Горы“:

„ — Машаллах! вскричал в восторге Публик-Султан-Багадур. Удивительно! превосходно... Как зовут этих поэтов?

— Первому имя Пушкин, — отвечала Критикзада, — а второму Бенедиктов.

— Ты знаешь наизусть бесчисленное множество прекрасных стихов, — промолвила Иронизада... не помнишь ли заглавий тех книг, в которых они помещены?

— Помню, любезная сестрица... Да впрочем вот они: я принесла их с собою. Первую часть «Стихотворений» Бенедиктова ты уже знаешь, любезная сестрица, и они тебе доставили много удовольствия... Во второй книге найдешь ты несколько пьес прелестных, приближающихся достоинством к картине горных высей, которую ты сейчас слышала...

¹ „Журнал Министерства народного просвещения“, 1836, ч. IX, стр. 192—193.

² „Северная Пчела“, 1835, № 240.

Султан прочитал пьесу Н. В. Кукольника, и сказал «Машаллах! славно!» Прочитал также пьесы Ф. Н. Глинка, Г. Гребенки, еще одно посмертное стихотворение бессмертного Пушкина, и несколько страниц из книги Бенедиктова и объявил свое совершенное благоволение обеим книгам“.

Подобные воздаяния памяти „бессмертного Пушкина“ входили в тактику Сенковского. Через несколько месяцев после смерти Пушкина он писал, рецензируя дубовые стихи Тимофеева: „Вот четвертый русский поэт, для замещения, если возможно, Пушкина. И из всего числа поэтов, которых произвел Пушкин, Г. Тимофеев едва-ли не тот, чьи произведения соединяют в себе наиболее начал пушкинской поэзии. Г. Тимофеев, по выражению одной умной дамы, проложил себе тропинку подле столбовой дороги Пушкина, и идет по ней, все вперед. У него заметно много пушкинской фантазии, много воображения, много огня и чувства... и еще одно из блистательных качеств Пушкина — остроумие“.¹

Пушкин не дождал до сравнения своего остроумия с остроумием Тимофеева, но и при жизни его накопилось достаточно угрожающих симптомов. 23 января 1837 г. в „Литературных прибавлениях к Русскому Инвалиду“, в отделе „Смесь“, появилось сообщение: „В следующих номерах „Литературных прибавлений“ будут помещены повести Безгласного „Черная Перчатка“, барона Розена „Мэри“, казака Луганского „Ведьма“ и несколько стихотворений Пушкина и Бенедиктова“.² Угрожающие симптомы сгущались, росли прямо из быта. Вспомним рассказ Фета, относящийся к его студенческим годам:

„... как описать восторг мой, когда после лекции, на которой Ив. Ив. Давыдов с похвалою отозвался о появлении книжки стихов Бенедиктова, я побежал в лавку за этой книжкой!

— Что стоит Бенедиктов? спросил я приказчика.

— Пять рублей,— да и стоит. Этот почище Пушкина-то будет.

Я заплатил деньги и бросился с книжкой домой, где целый вечер мы с Аполлоном (Григорьевым) с упоением завывали при ее чтении“.³

В смутное время 30-х гг. Бенедиктов был выдвинут голосом читательских кругов, охват которых был ужасающе широк, — от приказчика, уверявшего Фета, что „этот почище Пушкина будет“, до декабриста Николая Бестужева, который в 1836 г. писал из Сибири: „Каков Бенедиктов? Откуда он взялся со своим зрелым талантом? У него, к счастью нашей настоящей литературы, мыслей побольше, нежели у Пушкина, а стихи звучат также“.⁴

¹ „Библиотека для Чтения“, 1837, т. 21, стр. 42. *

² „Литературные прибавления к Русскому Инвалиду“, 1837, № 4, стр. 38. На это объявление указал мне Ю. Г. Оксман.

³ А. Фет. „Ранние годы моей жизни“, М., 1893, стр. 153.

⁴ „Бунт декабристов“ под ред. Ю. Г. Оксмана и П. Е. Щеголева, Л., 1926, стр. 364.

В этой разогретой атмосфере сформировалось утверждение Ивана Гагарина: Пушкин „нападает на него с ожесточением и несправедливостью, которые служат пробным камнем действительной ценности Бенедиктова“. Грубоватый и красочный комментарий к этому утверждению находим в „Воспоминаниях“ А. Островской о Тургеневе:

„Да что я молодежь внешнюю обвиняю! — сказал он. — И мы хороши были! Знаете ли вы, кого мы ставили рядом с Пушкиным? Бенедиктова. Знаете ли вы что-нибудь из Бенедиктова? Вот я вам скажу что-нибудь. Только его надо декламировать особенным образом, по тогдашнему, — нараспев и звукоподражательно. Вот слушайте.

Он продекламировал какой-то «Каскад» и представил голосом, как падает каскад с высоты, и как разбивается вода о камень.

А то вот еще. Представьте себе, что вам декламирует стихи армейский офицер, — завитой, надушенный, но с грязной шеей.

Он прочел стихотворение о кудрях:

«Кудри кольца, кудри змейки, кудри шелковый каскад...»

— Стих: «и поцелуем припекает» — надо было говорить так, чтобы слышалось шипенье щипцов. Да-с, — и вот какой чепухой восхищались не кое-кто, а Грановский, например, ваш покорнейший слуга и другие, не хуже нас с Грановским.¹ Одно нас только немножко смущало: мы слышали, что Пушкин прочитал и остался холоден. Мы кончили тем, что решили: великий человек Александр Сергеевич, а тут погрешил — позавидовал.²

¹ В 1856 г. Тургенев писал Толстому: „... знаете ли Вы, что я целовал имя Марлинского на обертке журнала, плакал, обнявшись с Грановским, над книжкой стихов Бенедиктова — и пришел в ужасное негодование, услышав о дерзости Белинского, поднявшего на них руку?“ („Толстой и Тургенев. Переписка“, М., 1928).

² „Тургеневский сборник“ под ред. Н. К. Пиксанова, П., 1915, стр. 82.



Гл. ГЛЕБОВ

ФИЛОСОФИЯ ПРИРОДЫ В ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВЫСКАЗЫВАНИЯХ И ТВОРЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ ПУШКИНА

Пушкин был поэтом и историком, но не философом и не натуралистом. Он не чувствовал ни малейшей склонности к отвлеченной философии, к теоретическому мышлению.

Больше того: после близкого соприкосновения с членами „Общества любителей“ в Москве,¹ увлеченными учениями Канта, Фихте и в особенности Шеллинга, Пушкин — с не совсем теперь для нас понятной горячностью — заявляет в 1827 г., что он „ненавидит и презирает“ немецкую метафизику. Поэт упрекает московских любителей в том, что они „из пуста в порожнее переливают“, что это еще „хорошо для немцев пресыщенных уже положительными познаниями“, но не для русских...“²

Тогда же, в разговоре с Погодиным, он „декламирует против философии“, причем его собеседник отмечает в дневнике: „Я не мог возражать дельно, и вообще молчал, хотя очень уверен в нелепости им говоренного“³

Из этих высказываний Пушкина можно заключить, что его симпатии — на стороне положительного знания, а не отвлеченного философствования.

Через несколько лет поэт резко выступает и против французской философии XVIII в. „Ничто не могло быть противоположнее поэзии, как та философия, которой XVIII век дал свое имя, — пишет он в 1834 г. — ...любимым орудием ее была ирония холодная и осторожная и насмешка, бешеная и площадная“. „Разрушительный гений Вольтера“⁴ „пошлая

¹ В. Ф. Одоевский, Д. В. Веневитинов, И. В. Киреевский, М. П. Погодин, С. П. Шевырев, А. И. Кошелев и др.

² ППМ, II, 27. Произведения Пушкина, приводимые без ссылок, цитируются по „Полному собранию сочинений“, изданному Государственным издательством художественной литературы в 1931—1933 гг. Принятые сокращения: 1) ППС — переписка Пушкина, изданная под ред. В. И. Саитова; 2) ППМ — письма Пушкина, изданные под ред. Б. Л. Модзалевского; 3) ЕО — „Евгений Онегин“; 4) РЛ — „Руслан и Людмила“; 5) КП — „Кавказский Пленник“.

³ М. Цявловский. „Пушкин по документам Погодинского архива“, П., 1916, стр. 22.

⁴ „О русской литературе, с очерком французской“ (1834 г.).

и бесплодная метафизика Гельвеция“, „политический цинизм“ Дидро¹ — такова характеристика крупнейших мыслителей этого века, данная Пушкиным.

Примерно в это же время он с сочувствием отмечает, что „философия немецкая, которая нашла в Москве может быть слишком много молодых последователей, кажется начинает уступать духу более практическому“, и что „она спасла нашу молодежь от холодного скептицизма французской философии“.² Следует, однако подчеркнуть, что и тут поэт сочувственно говорит не о самой „немецкой философии“, а о новом практическом духе, о конкретном изучении действительности.³

Наконец, в 1836 г. Пушкин высказывает такую мысль: „Умствования великих европейских мыслителей не были тщетны и для нас. Теория наук освободилась от эмпиризма, возымела вид более общий, оказала более стремления к единству“. Примечательно, что поэт здесь говорит о „теории наук“, а не о философии. Он видит положительное влияние на научной мысли, движение науки вперед: переход от накопления фактов к обобщению положительных знаний, сведение научных представлений человека о бытии к некоему единству.⁴ Но роль и значение философии в этом процессе обходит молчанием.

Вместе с тем для Пушкина характерна мысль об относительности философского и научного знания. Философские и научные понятия и обобщения, — замечает Пушкин, — с течением веков изменяются, заменяются другими, совершенствуются. А это значит, что они, в силу своих относительных свойств, связанных с условиями времени, нуждаются в совершенствовании. Вот почему то, что кажется истинным в одну эпоху — перестает быть таким в другую.

¹ „Александр Радищев“ (1836 г.).

² „Путешествие из Москвы в Петербург“ (1834 г.).

³ Ср. интересное замечание С. А. Соболевского в письме к С. П. Шевыреву от 14 ноября 1832 г.: „Пушкин столь же умен, сколь практичен; он практик и большой практик; даже всегда писал то, что от него просило время и обстоятельства...“ (Сб. „Соболевский друг Пушкина“, П., 1922, стр. 39).

⁴ В остатках библиотеки Пушкина, описанных Б. Л. Модзалевским („Пушкин и его современники“, вып. IX—X), имеются следующие книги по естествознанию: 1) „Histoire naturelle de Pline“, Paris, MDCCCXXIX—MDCCCXXXIII; 2) „Lettres de Pline le Jeune“, Paris, MDCCCXXVI—MDCCCXXIX; 3) Hippocrate. „Aphorismes“, Paris, 1817; 4) Buffon. „Oeuvres complètes“, Bruxelles, MDCCCXXII; 5) Buffon. „Histoire naturelle, générale et particulière“ (vol. XVII), Lausanne, MDCCCXCI; 6) Buffon. „Histoire naturelle“ (vol. II), Paris, 1799; 7) Cuvier. „Discours sur les Révolutions de la Surface du Globe, et sur les changements qu'elles ont produit dans le règne animal“, Paris, 1828; 8) Herschel. „Traité d'astronomie“, Bruxelles, 1835; 9) Herschel. „Publication complète des nouvelles découvertes“, Paris, 1836; 10) Laplace. „Essai philosophique sur les Probabilités“, Paris, 1825; 11) X. Bichat. „Recherches physiologiques sur la Vie et la Mort“, Paris, 1829. Кроме того: Фонтенелл, „Разговоры о множестве миров“ (СПб., MDCCXL) и М. Максимович, „Размышления о природе“ (М., 1833). Бюффона Пушкин называет „великим живописцем природы“ (1822 г.).

Этой относительности философии и науки Пушкин противопоставляет и непреходящую значимость поэзии. Пушкин утверждает: поэзия „не стареет и не изменяется“ потому, что она всегда и везде одними и теми же средствами выражает одно и то же — чувства, ощущения, стремления, желания человека.

„Век может идти себе вперед, науки, философия и гражданственность могут усовершенствоваться и изменяться, — но поэзия остается на одном месте. Цель ее одна, средства те же. И между тем, как понятия, труды, открытия великих представителей старинной астрономии, физики, медицины и философии состарелись и каждый день заменяются другими — произведения истинных поэтов остаются свежими и вечно юны“.¹

Повторяю, Пушкин ни в коей мере не был философом. Он был поэтом, поэтом-мыслителем, имевшим своеобразные и глубокие взгляды на человека, историю, социально-экономические отношения, природу, искусство и т. д. Через понимание противоречий исторической действительности поэт шел к пониманию противоречий бытия. Знание сложности, противоречивости бытия — „вечных противоречий сущности“² — определяло творческий путь поэта. Диалектическое понимание жизни и смерти определяло его жизнеощущение. Во взглядах поэта с течением жизни многое изменялось. Многое было и противоречиво. Но он не чувствовал потребности свести их в определенную систему, привести их к формальному единству.

При исследовании мировоззрения Пушкина необходимо вместе с тем помнить, что его знания и взгляды определялись условиями эпохи и среды, в которой он жил. Очень многое кажется нам теперь ошибочным, устаревшим, утратившим какое бы то ни было действительное значение. Но в этом случае мы не должны забывать одного. То, что так воспринимается нами, людьми сталинской эпохи строительства социализма и революционных завоеваний науки, для людей того времени — времени крепостного права и самодержавного полицейски-церковного государства — было жизненно важным, зачастую толкающим вперед, дающим творческий импульс. И исследование мировоззрения Пушкина представляет для нас с этой точки зрения определенный интерес.

В частности, такой интерес представляет исследование взглядов Пушкина на природу, его отношения к природе. Мы ведь знаем, что природоотношение поэта обладало чертами, оказавшими значительное влияние и на его жизнеощущение, и на его житейские стремления, и на его творческую работу.

¹ Проект предисловия (1830 г.) к предполагавшемуся изданию 8 и 9 глав „Евгения Онегина“ (Путешествие Онегина и 8 глава).

² П. Анненков. „А. С. Пушкин в Александровскую эпоху“, СПб., 1874, стр. 153.

*

В Пушкине было много „жизнерадостного свободомыслия“.¹ Вместе с тем, его отношение к природе обладало той чертой, которую, говоря про греков, Ф. Энгельс называет „стихийным материализмом“.²

Поэт не чувствовал себя связанным какой-либо отвлеченной доктриной, какой-либо догмой. Он был в полном смысле слова свободомыслящим. Это свободомыслие соединялось у него с ощущением телесности бытия, огромной любовью к жизни, радостным интересом к ее богатству, разнообразию, возможностям.

Можно сказать, что жизнерадостное свободомыслие и стихийный материализм являлись той основой, на которой выросло и формировалось мировоззрение Пушкина. На этой же основе строилось и отношение поэта к природе.

У Пушкина не было систематических, логически продуманных в целом и частях, воззрений на природу. Его отношение к природе не было обусловлено ни научной, ни философской системой взглядов. Оно определялось непосредственным чувством, созерцанием.

Объективная реальность внешнего мира, объективная закономерность природы — для Пушкина факт непреложный, в своей истинности самоочевидный. Характерной, существенной чертой мироотношения поэта является именно этот объективный реализм:

И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вечною сиять.³

Человеческое сознание гаснет, человек умирает. Но тот объективный мир, в котором он жил и умер, продолжает существовать. „Равнодушная природа“ — это значит объективно существующая природа. Человек из нее выходит и в нее „возвращается“. Непрерывным потоком совершается смерть людей — уход их через „гробовой вход“. И в то же время непрерывным потоком на смену им идет „младая жизнь“. Этот круговорот человеческой жизни и смена поколений совершаются в мире, который существовал до рождения человека и будет существовать после его смерти.

Такова одна — объективная — сторона отношения человека и природы. Другая сторона этого отношения заключается в субъективности восприятия природы человеком. Великолепный показ объективной картины

¹ Ф. Энгельс указывал, что жизнерадостное свободомыслие является характерной чертой ренессансного мироощущения („Диалектика природы“, Партиздат, изд. 6, М., 1932, стр. 86).

² Там же, стр. 104.

³ „Стансы“ (1829).

природы и субъективного восприятия ее человеком дает Пушкин в „Полтаве“.

Вот какова природа ночью:

Тиха украинская ночь.
Прозрачно небо. Звезды блещут.
Своей дремоты превозмочь
Не хочет воздух. Чуть трепещут
Сребристых тополей листы.

Классическая картина спокойной, теплой, ясной южной ночи!
И вот как воспринимает эту ночь омраченная душа Мазепы:

...звезды ночи,
Как обвинительные очи,
За ним насмешливо глядят.
И тополи, стеснившись в ряд,
Качая тихо головою,
Как судьи, шепчут меж собою.
И летней, теплой ночи тьма
Душна, как черная тюрьма.

Тут Пушкин рисует две картины: одну — природы, существующей независимо от сознания Мазепы, и другую — природы, преломленной в призме его чувств. Этот образ человека в природе — смертного человека, обуреваемого страстями, и вечной природы, „равнодушной“ в своей закономерности, — отчетливо выражает реалистическую черту мироотношения поэта.

*

Природа — не хаос. В ней есть порядок. В ней все совершается по неизменным „общим законам“,¹ „вечным законам природы“.²

Все чередой идет определенной,
Всему пора, всему свой миг...³

Объективная закономерность природы образует определенный ритм жизни. Если человек вглядывается в окружающий мир, то он с полной непосредственностью усматривает его закономерность, ощущает его ритм

Светил небесных дивный хор
Течет так тихо, так согласно...⁴

По этим законам протекает и жизнь человека. „Оборот во всем кругообразный“⁵ захватывает и его. Он включен в ритм космической

¹ „Вновь я посетил...“ (1835).

² „Путешествие из Москвы в Петербург“.

³ „К П. П. Каверину“ (1817).

⁴ ЕО, 5, IX.

⁵ „К вельможе“ (1830).

жизни. Ритм этот обуславливает ритм жизни человеческой. У человека образуются определенные „привычки бытия“: ¹ „чредой слетает сон, чредой находит голод“; ² „бдения и сна приходит час определенный“.³

Рождение, жизнь, смерть всякого живого существа — строго закономерны. Непрерывность жизни, функция воспроизведения, смена поколений — основной закон природы. И человек, и зверь, и растение проходят круговорот рождения, роста, расцвета, увядания. И человек, и зверь, и растение оставляют в мире семена новой жизни.

Во второй главе (строфа XXVIII) „Евгения Онегина“ Пушкин так говорит об этом круговороте жизни человеческой, об этой смене поколений:

... на жизненных браздах
Мгновенной жатвой, поколенья,
По тайной воле Провиденья,
Восходят, зреют и падут;
Другие им во след идут...
Так наше ветреное племя
Растет, волнуется, кипит
И к гробу прадедов теснит.⁴

Этот же круговорот жизни, эту же смену поколений Пушкин усматривает и в растительном мире. Приехав в 1835 г. в Михайловское, он увидел, что около столь знакомых ему старых сосен

... молодая роща разрослась,
Зеленая семья; кусты теснятся
Под сенью их, как дети.

И Пушкин приветствует это молодое поколение сосен:

Здравствуй, племя
Младое, незнакомое! Не я
Увижу твой могучий поздний возраст,
Когда перерастешь моих знакомцев
И старую главу их эзслонишь
От глаз прохожего...⁵

Характерно: поэт говорит о „зеленой семье“, о „племени младом“, о „приходящем на смену отживающему свой век старшему поколению,

¹ „Осень“ (1830).

² Там же.

³ ЕО, 6, XXI.

⁴ Аналогичный образ находится в „Илиаде“ (VI, 146—149, пер. Минского):

Также как листья в лесу нарождаются смертные люди.
Ветер на землю срывает одни, между тем как другие
Лес, зеленея, приносит, едва лишь весна возвратится.
Так поколенья людей: эти живы, а те исчезают.

⁵ „Вновь я посетил...“ Ср. слова о цыганах: „Здравствуй, счастливое племя!“ („Цыганы“, 1830).

в том же тоне и в тех выражениях, в которых говорит о человеке. Он чувствует, видит, что здесь действует один и тот же закон природы, один и тот же закон жизни и смерти.

*

Пушкин как-то просто принимает смерть. Смерть человека столь же естественна, как его рождение и жизнь. Она — естественное завершение процесса жизни, природная необходимость.

На первый взгляд кажется непонятной реакция Пушкина на смерть близких ему людей. Кажется странным безоговорочное принятие факта смерти. Между тем, странного тут ничего нет: такое принятие смерти органически вытекает из жизнеощущения и непонимания поэта, и его активного отношения к жизни.

Пять декабристов казнены. Пушкин пишет П. А. Вяземскому: „Повешенные повешены, но каторга 120 друзей, братьев, товарищей ужасна“.¹ Почему тут стоит „но“? Разве смерть казненных не менее ужасна, чем каторга живых? Нет, не в этом дело. „Повешенные повешены“ — тут уже все кончено. Смерть положила конец всему. И как бы это само по себе трагично не было, но делать больше нечего: их нельзя вернуть к жизни. А вот каторга живых ужасна потому, что их еще можно вернуть к жизни, и в то же время нельзя спасти от медленного умирания в рудниках и казематах.

Умер Дельвиг. Пушкин пишет П. А. Плетневу: „Грустно, тоска. Вот первая смерть мною оплаканная... Никто на свете не был мне ближе Дельвига“.² И тотчас же вслед за этим он принимает смерть самого близкого человека и утверждает жизнь живых. „... Говорили о нем, называя его покойник Дельвиг, и этот эпитет был столь же странным, как и страшен. Нечего делать! согласимся. Покойник Дельвиг. Быть так. Баратынский болен от огорчения. Меня не так-то легко с ног свалить. Будь здоров — и постараемся быть живы“.³ Строки эти далеки от „олимпийского“ спокойствия: в них чувствуется горе, тоска, боль. Но одновременно чувствуется и другое: принятие неизбежного закона, принятие совершившегося факта смерти, каким бы странным и страшным он ни казался. Эта черта мироотношения поэта отчетливо проявляется в словах: „Нечего делать! согласимся“, „Быть так“. Черта, характерной особенностью которой является вместе с тем утверждение жизни: „постараемся быть живы“.

Смерть естественна и неизбежна. Жизнь богата и прекрасна. Поэт любит жизнь, хочет жить. Но не отступает перед лицом смерти. Он умеет бесстрашно видеть и принимать неизбежное.

В письме к П. А. Плетневу, написанном через несколько месяцев после отмеченного, Пушкин вновь возвращается к вопросу о смерти. Он

¹ ППМ, II, 15.

² ППС, II, 220.

³ Там же.

пытается утешить Плетнева в смерти его друга Молчанова. Смысл слов поэта такой: жизнь, несмотря на смерть близких, все еще богата, а подрастающее юное поколение, идущее на смену старому, дает много радости, радости жизни, делящейся в детях. „Дельви́г умер, Молчанов умер, погоди — умрет и Жуковский, умрем и мы. Но жизнь все еще богата; мы встретим еще новых знакомцев, новые созреют нам друзья, дочь у тебя будет расти, вырастет невестой, мы будем старые хрычи, жены наши — старые хрычовки, а детки будут славные, молодые, веселые ребята, мальчишки станут повесничать, а девченки — сентиментальничать, а нам то и любо“.¹ И далее характерная мысль: „были бы мы живы, будем когда-нибудь и веселы“.

Почившим песнь окончил я,
Живых надеждою поздравим...²

Пушкин умирал. Вряд ли можно сомневаться, что он, умирая, со всей напряженностью ощущал трагизм конца, кладущего предел жизни и казавшимся неисчерпаемым творческим возможностям. Разве не он сам писал когда-то о смерти Ленского:

Его страдальческая тень,
Быть может, унесла с собою
Святую тайну...

Как же поэт переживал эти роковые мгновенья? Как он относился к собственной смерти?

Записи свидетелей последних часов Пушкина — доктора В. И. Даля, доктора И. Т. Спасского, В. А. Жуковского — говорят об одном и том же: о твердости и спокойствии поэта. Он отчетливо сознавал, что умирает. И на призыв друзей не отчаиваться отвечал: „Я умру, да видно так и надо“.³ Тяжкие страдания он переносил с необыкновенным мужеством. „Я был в тридцати сражениях, — говорил доктор Арендт, — я видел много умирающих, но мало видел подобного“.⁴

За полчаса до смерти „спокойное выражение лица“ поэта и „твердость голоса“ обманули Н. Н. Пушкину, которая сказала: „Он будет жить, он не умрет“.⁵ А за несколько мгновений до смерти он, с прояснившимся лицом, тихо, спокойно и внятно сказал: „Кончена жизнь“.⁶

Картина смерти Пушкина говорит о том, что он понимал и просто, спокойно принимал „общий закон“ природы, закон жизни, несущей в себе

¹ ППС, II, 286—287. Ср. такие же слова о семействе, которое „умножается, растет, шумит“, в письме к П. В. Нащокину, писанном в конце октября 1835 г. (ППС, III, 243).

² „Чем чаще празднует лицей...“ (1831).

³ Письмо В. А. Жуковского к С. Л. Пушкину в первоначальной редакции (П. Е. Щеголев. „Дуэль и смерть Пушкина“, изд. 3-е, ГИЗ, 1928, стр. 188).

⁴ Там же, стр. 182.

⁵ Там же, стр. 193.

⁶ Записка доктора В. И. Даля, там же, стр. 208.

смерть. Вот почему В. И. Даль мог написать такие слова: „Пушкин заставил всех присутствовавших сдружиться со смертью, так спокойно он ее ожидал, так твердо был уверен, что роковой час ударил“.¹

Итак, поэт утверждает жизнь во всем ее бесконечном богатстве, со всеми ее беспредельными возможностями. И вместе с тем — „покорный общему закону“ — принимает ее естественный, неизбежный конец. Он знает, что отрицание жизни заложено в самой жизни.²

*

Отношение Пушкина к природе — просто и непосредственно. Поэта не интересуют физические, химические, биологические законы. Для него существует непосредственно предстоящий человеку живой организм природы, а не формулы закономерностей или натурфилософская схема.

У Пушкина нет стремления к овладению силами природы. Ему чужда идея господства над природой. Правда, он знает значение борьбы человека со стихиями. Ценит человеческое творчество и в этой сфере жизни. Понимает величие „победы человеческой воли над сопротивлением стихий“.³ Он рисует образ изобретателя пороха Бертольда — ученого, пытающегося открыть неистощимый источник энергии. „Если найду вечное движение, — говорит Бертольд, — то я не вижу границ творчеству человеческому“.⁴ Он предвидит то время, когда человек „раздвинет горы“, проложит под водой туннели, построит металлические мосты через реки,⁵ проведет железные дороги, изобретет механические снегоочистители и т. п. В одном наброске 1829 г. Пушкин пишет:

О, сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенья дух
И знает . . .

И все же, его отношение к природе определяется не желанием овладеть ею и технически использовать. В нем нет устремленности, которая, например, заставила Гете создать образ Фауста — инженера.

Поэт любит природу, ощущает ее красоту, обретает в ней силы. Не случайно он называет себя „сыном природы“,⁶ „воспитанником природы“.⁷ Он действительно обладает своего рода сыновним чувством по отношению к природе.

¹ Записка доктора В. И. Даля, цит. раб., стр. 205. Даль приводит слова П. А. Плетнева: „Глядя на Пушкина, я в первый раз не боюсь смерти“.

² Ср., напр., слова о том, что жизнь „судьбою тайной“ „на казнь осуждена“ („26 мая 1828“).

³ „Арап Петра Великого“.

⁴ „Сцены из рыцарских времен“.

⁵ ЕО, 7, XXXIII.

⁶ „К моей чернильнице“ (1824).

⁷ „К гр. Н. В. Кочубей“ (1827). Ср. в КП: „друг природы“.

Для него великое счастье — созерцать „красоту мира“.¹ Он с юных лет „природы... востороженный свидетель“.² Его мечта — скитаться по земле, „дивясь божественным природы красотам“.³ И такое отношение к природе в течение всей жизни поэта не изменяется. В его словах о природе всегда светит солнце: „ясные, как радость, небеса“,⁴ „солнце ясное“,⁵ „солнца ясный лик“,⁶ „улыбка ясная природы“,⁷ „ликующий день“,⁸ „радостная денница“,⁹ „упоенья бытия“,¹⁰ „земля прекрасна“,¹¹ и т. д., и т. п.

В одной из статей 1825 года поэт высказывает мысль, чрезвычайно важную для понимания его взглядов на отношение человека к природе, для понимания его отношения к природе. Он говорит о „ясности души, потребной для наслаждения красотами природы“.

Ясность — это, быть может, прекраснейшее в природе. Ясность природы — это, быть может, прекраснейшее в жизни. Ведь ясность есть выраженная в телах, в вещах, в движении гармоничность природы. И для того, чтобы это ощутить, понять, пережить, — сам человек должен обладать „ясностью души“ — упорядоченным внутренним миром. Мы уже видели, как человек омраченный, обуреваемый страстями — Мазепа — искаженно воспринимает и переживает природу.

Ясность, красота, радость природы — вот что чувствует, что любит Пушкин. Полушутливо, полусерьезно он высказывает мысль, что природу бог создал для себя, а все прочее („свой рай и счастье“) — для глупцов.¹² И рисуя образ человека, „лишенного всех опор“, он отмечает утрату им одной из этих опор — утрату чувства природы:

Напрасно, в пышности свободной простоты,
Природы перед ним открыты красоты...¹³

Из такого ощущения, восприятия, понимания природы Пушкин делает в отношении человека существенный вывод.

Человек — „сын природы“ — в своем развитии должен следовать природе. Пушкин неоднократно говорит о естественном росте, развитии

¹ „К сестре“ (1814).

² „К ней“ (1817).

³ „Из Пиндемонте“ (1836).

⁴ „Желание“ (1821).

⁵ „К Овидию“ (1821).

⁶ „Аквилон“ (1824).

⁷ ЕО, 7, 1.

⁸ „Туча“ (1835).

⁹ „Вадим“ (1822).

¹⁰ „Критон...“ (1829).

¹¹ „Анджело“ (1833).

¹² „Послание к В. Л. Пушкину“ (1817).

¹³ „Безверие“ (1817).

человека. Этот рост, это развитие имеет свои законы. Нарушение их не проходит для человека даром:

Природы глас предупреждая,
Мы только счастью вредим...¹

И еще:

Блажен, кто смолоду был молод,
Блажен, кто во время созрел...²

В образах Евгения Онегина и Татьяны Пушкин показывает нам не только черты, но и результаты естественного и „неестественного“ развития человека. Онегин — престарелый юноша, нарушивший один из основных законов природы — закон роста. Силы физические и душевные он рано растратил на разные забавы и бурные наслаждения. Не познав глубины жизни, он к ней охладел. Чувства остыли в нем еще до того, как он испытал их глубину. Отсюда — душевная пустота, хроническая скука. В конце концов, действительно, Онегин стал пародией на человека. Наоборот, Татьяна живет и развивается так же естественно и просто, как природа, которую она так хорошо, так интимно ощущает. И любовь в ней рождается подобно тому, как при весеннем пробуждении природы из семени рождается плод:

Пора пришла, она влюбилась.
Так в землю падшее зерно
Весны огнем оживлено.³

В этом — источник силы Татьяны, силы ее любви, силы ее чувства верности. В этом естественном развитии человека — источник глубины, силы, цельности человеческих чувств.

*

Но Пушкин знает не только ясную, солнечную, радостную природу. Он знает также природу, лишенную солнца, тёмную, губительную.

Ощущение дряхлейшей, торжествующей жизни сопряжено с ощущением предела, сообщающим максимальную наполненность и напряженность переживанию бытия. Природа дает жизнь. Но она же несет и смерть. Дыхание жизни сосуществует с „дуновением чумы“... Тут явлено одно из основных „противоречий сущности“.

В „упоениях бытия“ радостное переплетено со страшным. Упоение есть не только в солнечной радости жизни, но и в страшной радости гибели.

Есть упоение в бою
И бездны мрачной на краю,
И в разъяренном океане
Средь грозных волн и бурной тьмы,
И в аравийском урагане,
И в дуновении чумы.⁴

¹ ЕО, 1, выпущенная IX строфа.

² Там же, 8, X.

³ ЕО, 3, III.

⁴ „Пир во время чумы“.

Пушкин. Временник, 2

Так рождается в человеке героическая — и в то же время „тёмная“ — „жажда гибели“.¹

И вот, поэт переживает это страшное, гибельное, предельное в природе, в жизни, как нечто безмерно обогщающее человека:

Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья —
Бессмертья, может быть, залог!
И счастлив тот, кто среди волненья
Их обретать и ведать мог.

Пушкин касается здесь той неосознанной могущественной стороны человеческой природы, которая нередко определяет большие чувства и дает импульс к большим деяниям, совершаемым человеком вопреки здравому смыслу и рациональному расчету.

С потрясающей глубиной поэт проникает в неисследованную область диалектики человеческой природы. И раскрывает один из путей преодоления вечно преодолеваемых и вечно пребывающих непреодоленными „противоречий сущности“ — путь утверждения смертным человеком своей воли в бессмертной природе вопреки смерти, через смерть, ценою смерти. Путь, озаряющий „темную“ природу блеском несбыточной мечты или безумного деяния.

*

Природу — эту объективную реальность — поэт воспринимает как живой организм. „Одушевленные поля“,² „природа оживленная“³ — эти слова выражают определенное переживание. Однако они вызывались не чувством населенности природы какими-то стихийными духами. Нимфы, дриады, фавны и т. д. древних греков, гномы, эльфы, саламандры и т. п. европейского средневековья, лешие, водяные, полевые и т. п. русского фольклора — для Пушкина всегда были только продуктами человеческой фантазии, человеческого творчества.⁴ „Одушевленность“, „оживленность“ природы Пушкин постигал в непосредственном ощущеньи цветка, дерева, реки, моря и т. п., как живого организма, подобного организму человека.

Не случайно Пушкин говорит о явлениях природы так же, как он говорит о человеке. В своих описаниях природы он употребляет „человеческие“ эпитеты, „человеческие“ сравнения.

Вот несколько выразительных примеров.

Описывая кавказские горы, Пушкин прибегает к терминам, характеризующим феодальные отношения: „Величавый Бешту чернее и чернее

¹ „Война“ (1821). Ср. в КП: „жаждой гибели горел“.

² „Таврида“ (1822).

³ ЕО, 7, III.

⁴ Ср., напр., шутливые слова в стихотворении „Ек. Ник. Ушаковой“ (1827).

рисовался в отдалении, окруженный горами, своими вассалами, и наконец исчез во мраке...¹ А о своем чувстве к Кавказу говорит, как о чувстве к женщине: „В тебя влюблен я был безумно“.²

... В наши дни
Гораздо менее бесов и привидений;
Бог ведает, куда девались они.

Подобным же „человеческим“ образом Пушкин пишет о буре:

... Будто путник запоздалый,
Стучится буря к нам в окно...³

И еще:

То как зверь она завоет,
То заплачет как дитя...⁴

О ветре он говорит так: „Ветер выл с такой свирепой выразительностью, что казался одушевленным“.⁵

Течение ручья поэт уподобляет течению жизни человеческой: „Тихое течение ручья, уносящего несколько поблекших листьев“ — „подобие жизни — подобие столь верное, обыкновенное“.⁶

Особенный интерес представляет описание Невы. Этой — столь близкой Пушкину — реке посвящено немало строк в „Медном Всаднике“. Вот наиболее характерные: Нева

... пуще свирепела.
Приподымалась и ревела,
Котлом клокоча и клубясь,
И наконец, остервенясь,
На город кинулась...

Осада! Приступ! Леаут волны,
Как звери, в окна...

Нева металась, как больной,
В своей постели беспокойной.

... тяжело Нева дышала,
Как с битвы прибежавший конь.

... Мрачный вал
Плескал на пристань, ропща пени
И бьясь об гладкие ступени,
Как челобитчик у дверей
Ему не внемлющих судей.

¹ „Путешествие в Арзрум“.

² Черновой набросок „Путешествия Онегина“.

³ „Как быстро в поле...“ (1829).

⁴ „Зимний вечер“ (1825).

⁵ „Капитанская дочка“.

⁶ „Дубровский“.

Ощущение „оживленности“, „одушевленности“ реки тут воплощено с огромной выразительностью. Разгар наводнения — свирепая, остервенелая, как зверь, река; наводнение идет на убыль — река в своих окаймленных гранитом берегах мечется, как беспокойный больной в своей постели; наводнение кончилось, но волнение еще не улеглось — река дышит тяжело, как загнанный конь; нормальное положение восстановилось — река тихо и настойчиво, как „смирренный“ челобитчик, бьется о ступени пристани.

Теперь — об осени.

Осень это то время года, когда кончается период цветения, тепла, интенсивной жизнедеятельности. Мороз и снег сковывают природу. Наступает мертвенная тишина и неподвижность.

Природа, как жертва, ждет зимы:

Природа трепетна, бледна,
Как жертва, пышно убрана...¹

Есть у Пушкина и другой образ осени: умирающей чахоточной девы, блистающей своей „прощальной красой“.

Приведу полностью три строфы (V, VI, VII) из стихотворения „Осень“ (1833), в которых особенно отчетливо видно переживание Пушкиным осени (которую, как известно, он любил больше других времен года, и которая являлась для него творчески наиболее плодотворным временем).

Дни поздней осени бранят обыкновенно,
Но мне она мила, читатель дорогой,
Красою тихую, блистающей смиренно.
Так нелюбимое дитя в семье родной
К себе меня влечет. Сказать вам откровенно:
Из годовых времен я рад лишь ей одной,
В ней много доброго; любовник не тщеславный,
Я нечто в ней нашел мечтою своенравной.

Как это объяснить? Мне нравится она,
Как, вероятно, вам чахоточная дева
Порою нравится. На смерть осуждена,
Бедняжка клонится без ропота, без гнева.
Улыбка на устах увянувших видна;
Могильной пропасти она не слышит зева;
Играет. — На лице еще багровый цвет.
Она жива еще сегодня, завтра нет.

Унылая пора! очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса —
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса,

¹ ЕО, 7, XXIX.

В их сеньях ветра шум и свежее дыханье,
И мглой волнистою покрыты небеса,
И редкий солнца луч, и первые морозы,
И отдаленные седой зимы угрозы.

Тут поэт дает яркий образ осеннего умирания природы, уподобляемого им умиранию человека. Как человек перед смертью живет полной жизнью („играет“), так и природа пышно цветет в своей „прощальной красе“. И поэт видит в этом расцвете, полноте жизни, начало увядания, смерти.

Что касается зимы, то поэт изображает ее, как „бодрого вождя“, ведущего на нас „косматые дружины своих морозов и снегов“.¹ Тут мы видим ту же манеру сравнения, уподобления.

Отмечу также отдельные выражения, имеющие значение для исследуемого вопроса.

„Дряхлый лист“.² Плющ: „любовник скал и расселин“.³ „Нахмуренная краса“ сосен.⁴ „Надменная краса“ дуба.⁵ „Море, древний душегубец“.⁶ „Гордая краса“ моря.⁷ „Своенравные порывы“ моря.⁸ „Говор волн“.⁹ „Говор водопада“.¹⁰ „Седой поток“.¹¹ Терек: „как зверь живой, ревет и воет“.¹² Бештау: „пустынник величавый“.¹³ „Отдаленные громады седых, румяных, синих гор“.¹⁴ „Буря голосистая“.¹⁵ „Зима дышала“.¹⁶ „Зима старуха“.¹⁷ „Угрюмые снега“.¹⁸ „Умиравший огонь“.¹⁹ „Просыпались небеса“.²⁰ „Багряная рука“ зари.²¹ „Улыбка ясная природы“.²² „Веселая природа“.²³ „Лысое Сатурна темя“.²⁴

¹ „Пир во время чумы“ (1830).

² РЛ, песнь первая.

³ „В рощах карийских...“ (1827).

⁴ ЕО, 5, XIII.

⁵ „Аквилон“ (1824).

⁶ „Так море...“ (1826).

⁷ „К морю“ (1825).

⁸ Там же.

⁹ Там же.

¹⁰ „Желание“ (1821).

¹¹ ЕО, 5, XI.

¹² „Меж горных рек...“ (предположительно 1829).

¹³ КП, посвящение.

¹⁴ КП, часть первая.

¹⁵ Неоконченная поэма о Тазите (1833).

¹⁶ „К Овидию“ (1821).

¹⁷ „Осень“ (1833).

¹⁸ „Желание“ (1821).

¹⁹ РЛ, песнь первая.

²⁰ РЛ, песнь шестая.

²¹ ЕО, 5, XXV.

²² ЕО, 7, I.

²³ ЕО, 7, XXVIII.

²⁴ ЕО, 4, XLIII, первоначальный текст первого четверостишия.

Итак, природа у Пушкина дремлет, просыпается, дышет, плачет, шепчет, говорит, ревет, увядает, умирает, бывает равнодушной, угрюмой, нахмуренной, веселой, улыбающейся, насмешливой, ясной, радостной, ликующей, бурной, свирепой, остервенелой, неукротимой, своенравной, гордой, надменной, величавой, дряхлой, бледной, седой, румяной, трепетной, голосистой, молчаливой.

Явления природы поэт сравнивает с путником, любовником, пустынным, вассалом, вождем, дитятею, девой, старухой, больным, челобитчиком, судьей, душегубцем. И сравнительно гораздо реже — со зверем.

Повторяю: выбор эпитетов, сравнений не случаен, в нем есть определенная закономерность. Выбор определяется не только и не столько требованиями художественно-технического порядка, сколько манерой чувствовать, ощущать, видеть природу. Манера поэтического выражения с необходимостью вытекает из непосредственного восприятия и переживания Пушкиным явлений природы. Природа — живой организм. Она близка, родственна человеку. Рождение, рост, расцвет, увядание цветка, дерева и т. п. подобны жизни и смерти человека. „Оборот кругообразный“ весны, лета, осени, зимы — подобен завершению кругу человеческой жизни. Волнения и бури природы — подобны волнениям и бурям человеческих страстей.

*

С сознанием реальности внешнего мира у Пушкина связано восприятие времени и пространства как объективно-реальных форм бытия.¹ Но отношение его к этим формам различное. Он особенно остро и отчетливо воспринимает и переживает в р е м я — реальное и историческое.² Чувство времени является преобладающим. Бег времени интенсивно ощущается всем существом поэта. Чувство старения, движения во времени, превалирует над чувством отдаления, движения в пространстве. Реальное и историческое время — первый план переживаний. Космическая объемность — второй.

Можно сказать так: Пушкин смотрит на мир взглядом историка, а не натуралиста. Но историка не в том смысле, что ему присуще сознание историчности законов жизни природы. Нет, тут Пушкин стоит на почве воззрений XVIII в.: природа вечна и неизменна. Историзм взгляда поэта состоит в другом. Человек всем существом своим принадлежит природе, находится внутри ее. Поэт ощущает единство человека и природы.³

¹ Ср. В. И. Ленин. „Материализм и эмпириокритицизм“, ГИЗ, Л., 1925, в особенности стр. 130 и сл.

² Вопрос о чувстве исторического времени, о чувстве стиля исторических эпох, „исторической совести“ (ППС, III, 181), анахронизмах Пушкина и т. п. подлежит специальному исследованию.

³ Ср. у Ф. Энгельса, цит. соч., стр. 57, 58.

И полагает: в природе история появляется вместе с человеком. История для Пушкина — история человека.

Он признает объективное, независимое от человеческого сознания существование природы. Но вместе с тем воспринимает ее только в связи с человеком, через человека, для человека. Пейзаж не имеет у Пушкина самодовлеющего значения. Идея „натюр-морта“ ему абсолютна чужда.

Эти ощущения и сознание и определяли тот взгляд Пушкина на мир, который я назвал взглядом историка.

С этой точки зрения особенный интерес представляет выражение Пушкиным своего переживания времени.

В течение всей своей недолгой жизни Пушкин с необыкновенной остротой ощущает бег времени, его невозвратность, его связь с жизнью человека. Движение времени обуславливает непрерывную переменную: человек меняется, становится другим, стареет, близится к „началу своему“.

Уже в 1816 г. мы встречаем у поэта такие строки:

В губительном стремленье
За годом год летит.
И старость в отдаленье
Красавице грозит.¹

И еще:

... Все на свете скоротечно:
Летят губительны часы!
Румяны щеки пожелтеют,
И черны кудри поседеют,
И старость выбелит усы.²

В послании „К А. М. Горчакову“, относящемся к 1819 г., поэт пишет о той же перемене:

Ужь я не тот! Мои златые годы,
Безумства жар, веселость, острота,
Любовь стихов, любовь моей свободы, —
Проходит все, как легкая мечта.

Чувство времени, его бега, отношения к нему человека в разные периоды жизни ярко выражены поэтом в стихотворении „Телега жизни“ (1823).

Хоть тяжело подчас в ней бремя, —
Телега на ходу легка;
Ямщик лихой, — седое Время, —
Везет, не слезет с облучка.

На утре жизни человек, „презирая лень и негу“, спешит ехать вперед, все скорее. В полдень человеку уже „страшней и косогоры, и овраги“. Он стремится ехать потише. А под вечер человек и привык к этому

¹ „Фавн и пастушка“.

² „Усы“.

неуклонному бегу и устал. Он, дремля, едет „до ночлега“. Но как бы человек ни относился к бегу времени, как бы он ни хотел изменить течение жизни — „катит по-прежнему телега“, и „время гонит лошадей“ без остановки...

Тема эта — уже в других тонах — звучит в пьесе „19 октября“ 1825 года. В нее влетает тема судьбы:

Судьба глядит, мы вянем; дни бегут;
Невидимо склоняясь и хладея,
Мы близимся к началу своему...

Поэт чувствует, что это — „увядание“ человека, связанное с ослаблением творческих сил: с годами страсти и воображение скудеют.

В сентябре того же года он пишет высланному из Петербурга П. А. Катенину:

„Ты огорчаешь меня уверением, что оставил поэзию — общую нашу любовницу. Если это правда, что ж утешает тебя, кто утешит ее?.. Я думал, что в своей глуши — ты созидаешь; нет — ты хлопочешь и тягашься — а между тем годы бегут.“

*Neu fugant, Posthume, Posthume, labuntur anni.*¹

А что всего хуже, с ними улетают и страсти и воображение“.²

Встретившись, после долгого перерыва, со своими старыми друзьями на Кавказе, во время путешествия 1829 года, Пушкин тотчас же заметил в них перемену. И записал в своем „Путешествии в Арзрум“: „Как они переменились! как быстро уходит время!“

Та же мысль повторяется у поэта в 1830 г.:

Бегут, меняясь, наши лета,
Меняя все, меняя нас...³

Осенью 1835 г. Пушкин посетил Михайловское. Вот как он описывает в письме к жене от 25 сентября свои впечатления: „В Михайловском нашел я все по старому, кроме того, что нет уж в нем няни моей, и что около знакомых старых сосен поднялась, во время моего отсутствия, молодая сосновая семья, на которую досадно мне смотреть... Но делать нечего; все кругом меня говорит, что я старею, иногда даже чистым русским языком. Наприм. вчера мне встретилась знакомая баба, которой я не мог не сказать, что она переменилась. А она мне: да и ты, мой кормилец, состарился да и подурнел“.⁴

¹ Увы, Постум, бегут, падают годы (неточная цитата из Горация).

² ППМ, I, 160—161.

³ „В последний раз твой образ милый...“

⁴ ППС, III, 232. Ср. сцену приезда молодого барина в село Горюхино.

Эти перемены — общий закон природы, закон жизни. И поэт на следующий день, 26 сентября, пишет такие строки в стихотворении „Вновь я посетил...“:

... Много
Переменилось в жизни для меня,
И сам, покорный общему закону,
Переменился я...

Характерная черта — принятие этого „общего закона“ жизни природы. 19 октября 1836 г. Пушкин и его товарищи праздновали лицейскую годовщину, совпадавшую с двадцатипятилетием основания лицея. По старой традиции поэт к этому дню написал, хотя и не успел — или не мог — закончить, стихотворение. В нем он как бы подводит некоторый итог пройденному пути, вехи которого — ежегодное празднование окончания лицея. И вместе с тем пытается осмыслить происшедшие за минувшие годы в нем самом и его товарищах перемены:

Прошли года чредою незаметной,
И как они переменили нас!
Не даром — нет! — промчалась четверть века!
Не сетуйте: таков судьбы закон;
Вращается весь мир вокруг человека, —
Ужель один недвижим будет он?

Из юных „душой беспечных невежд“, радостных и смелых, товарищи превратились в умудренных многотрудным жизненным опытом мужей, грустных и присмиривших. Это превращение — результат действия закона движения, роста, развития, имеющего всеобщее значение. Ведь за эти годы „весь мир“ энергично „двигался“, и в этом движении принимал участие человек.

Игралища таинственной игры,
Метались смущенные народы;
И высились и падали цари;
И кровь людей то славы, то свободы,
То гордости багрила алтари.

Поэт призывает не сетовать на перемену. Ибо бессмысленно сетовать на „судьбы закон“. „Время изменяет человека, — пишет Пушкин, — как в физическом, так и в духовном отношении. Муж, со вздохом иль с улыбкою, отвергает мечты, волновавшие юношу. Моложавые мысли, как и молоджавое лицо, всегда имеют что-то странное и смешное. Глупец один не изменяется, ибо время не приносит ему развития, а опыты для него не существуют“.¹

¹ „Александр Радищев“. Слова относятся к 1836 г. Ср. в наброске статьи о Баратынском: „Понятия и чувства 18-летнего поэта еще близки и сродны всякому, молодые читатели понимают его и с восхищением в его произведениях узнают собственные чувства и мысли, выраженные ясно, живо и гармонически. Но лета идут — юный поэт мужает, талант его растет, понятия становятся выше, чувства изменяются. Песни его уже не те“.

Эти слова чрезвычайно важны для понимания отношения Пушкина к развитию человека и связи этого процесса со временем. Опыт, который несет с собою время, и физически и духовно изменяет человека. Это — естественный процесс. И если человек задерживается в своем развитии („моложавые мысли“, „моложавое лицо“), если опыт жизни ничего ему не дает, то он, тем самым, в каких-то отношениях ненормален. Он противоестественен — „странен и смешон“.

Вместе с тем, Пушкин с каждым годом сильнее чувствует, как течение времени все быстрее уносит жизнь.

Ощущение смертоубийственного бега времени предельной напряженности достигает в стихотворении о „покое и воле“, написанном в последний — трагический — период жизни Пушкина. Вот эти строки:

Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит,
Летят за днями дни, и каждый час уносит
Частичку бытия, а мы с тобой вдвоем
Предполагаем жить, и глядь, как раз умрем.

Тут дано настолько яркое чувство неуклонного бега времени, что кажется: поэт это исчезновение „частичек бытия“ воспринимает так же, как он воспринимал бы отрыв частичек собственного тела. Тут мы впервые встречаем у Пушкина столь интенсивное ощущение телесности времени, телесности бытия.

*

Остро ставит Пушкин проблему города и деревни. Социально-экономическая трактовка поэтом этой проблемы нуждается в специальном исследовании. Здесь же необходимо отметить, как он ставит и пытается разрешить ее с „природной“ точки зрения.

Город для Пушкина — это та форма бытия, в которую исторический процесс втискивает человека, вырывая его природные корни. „Историческая“ форма бытия — это град Петров, увенчанный „кумиром на бронзовом коне“. Город Пушкин воспринимает как символ истории.

Красуйся, Град Петров, и стой
Неколебимо, как Россия...¹

Бедная пышность, холодная стройность, дух неволи — вот как характеризует поэт каменный символ истории, вот что видит он внутри ограды, отделяющей город от природы.

Город пышный, город бедный,
Дух неволи, стройный вид,
Свод небес зелено-бледный,
Скука, холод и гранит...²

¹ „Медный Всадник“ (1833).

² „Город пышный...“ (1828).

Отрыв от природы приводит к извращению чувств человека, обезображивает его лицо. Любовь — предается, мысль — изгоняется, воля — протитутуируется. Получается нечто с точки зрения Пушкина вполне противоестественное:

Там люди в кучах, за оградой,
Не дышат утренней прохладой,
Ни вешним запахом лугов,
Любви стыдятся, мысли гонят,
Торгуют волею своей,
Главы пред идолами клонят
И просят денег да цепей.¹

В городе сердце человеческое каменеет. Недаром у поэта вырываются такие слова о Петербурге:

... город чопорный, унылой,
Здесь речи — лед, сердца — гранит...²

„Неволедушных городов“,³ каменному плену Пушкин противопоставляет вольный воздух природы, деревни.⁴ И делает из этого жизненно-важный практический вывод: бежать из плена.

Мотив бегства в природу, из плена на волю, звучит в творчестве Пушкина с большой силой.

Молодой поэт, еще не переживший горечи изгнания и трагической судьбы друзей, призывает — „прочь от городов“,⁵ мечтает о жизни в природе:

Сокроюсь с тайною свободой,
С цевницей, негой и природой,
Под сенью дедовских лесов...⁶

В этот же период своей жизни, после тяжелой болезни, он повторяет ту же мысль, им руководит то же стремление:

Меня зовут поля, луга,
Тенисты липы огорода,
Озер пустынных берега,
И деревенская свобода.⁷

„Деревенская свобода“, „сельская свобода“⁸ — вот что чарует, что зовет поэта. Там, в деревне, на лоне природы стремится он найти приют для вдохновенных трудов, для глубоких размышлений, для познания

¹ „Цыганы“ (1824).

² „Ответ“ (1830).

³ „Цыганы“.

⁴ В ряде приводимых ниже высказываний поэта деревня является синонимом природы.

⁵ „Сон“ (1816).

⁶ „А. Ф. Орлову“ (1819).

⁷ „В. В. Энгельгардту“ (1819).

⁸ ЕО, 4, XVII.

истины. Вот как говорит об этом поэт в одном из своих значительнейших стихотворений — „Деревня“ (1819):

Приветствую тебя, пустынный уголок,
 Приют спокойствия, трудов и вдохновенья,
 Где льется дней моих невидимый поток
 На лоне счастья и забвенья!
 Я твой — я променял порочный двор цирцей,
 Роскошные пиры, забавы, заблужденья,
 На мирный шум дубров, на тишину полей,
 На праздность вольную, подругу размышленья.
 Я твой — люблю сей темный сад,
 С его прохладой и цветами,
 Сей луг, уставленный душистыми скирдами,
 Где светлые ручьи в кустарниках шумят.
 Везде передо мной подвижные картины:
 Здесь вижу двух озер лазурные равнины,
 Где парус рыбака белеет иногда,
 За ними ряд холмов и нивы полосаты,
 Вдали рассыпанные хаты,
 На влажных берегах бродящие стада,
 Овины дымные и мельницы крылаты;
 Везде — следы довольства и труда.
 Я здесь, от суетных оков освобожденный,
 Учуся в истине блаженство находить,
 Свободною душой закон боготворить,
 Роптанью не внимать толпы непросвещенной,
 Участьем отвечать застенчивой мольбе
 И не завидовать судьбе
 Злодея иль глупца в величии неправом.
 Оракулы веков, здесь вопрошаю вас!
 В уединеньи величавом
 Слышнее ваш отрадный глас:
 Он гонит лени сон угрюмый,
 К трудам рождает жар во мне,
 И ваши творческие думы
 В душевной зреют глубине.

Это — первая часть стихотворения „Деревня“. В ней раскрываются какие-то интимные глубокие черты отношения поэта к природе. После чтения этих строк начинает казаться так: Пушкин полагает, что творческий расцвет личности возможен только на лоне природы, вдали от „суетных оков“, налагаемых городом.

В этих строках нет идеализации действительности. В них — просто раскрытие чувства, выражение убежденности поэта, направленных на природу. Действительность же социальная в своей жуткой обнаженности появляется во второй части стихотворения. Тут поэт говорит уже о деревне не как о природе, а как о социально-экономическом явлении. И тогда на фоне „мирного шума дубров“, „тишины полей“, „светлых ручьев“,

„лазурных равнин“ озер мы видим картину угнетения, эксплуатации человека человеком. Поэт страстно протестует против насильственного присвоения „барством диким“ труда, собственности, времени земледельца, страстно протестует против рабства. Его душа омрачена тем злом, которое он видит. Но источником этого зла является человек, а не природа — „равнодушная“ в своей всеобъемлющей закономерности к судьбе человека, чуждая добру и злу.

На всех стихиях человек
Тиран, предатель или узник.¹

В угнетении человека человеком Пушкин видит нечто противное природному порядку. Такое ощущение, убеждение выражено в его имеющих первостепенное значение произведениях — „Деревня“, „Вольность“ и др. „Тиранов мира“, „самовластительного злодея“ императора поэт называет „стыдом природы“. Он утверждает: власть „владыкам“ „дает закон — а не природа“. И хотя они стоят выше народа, но вечные законы природы стоят над ними: „вечный выше вас закон“. Этот взгляд Пушкина находится в прямом родстве с основной идеей естественного права, сыгравшей важнейшую роль в формировании революционного мировоззрения XVIII века.

При такой настроенности вполне естественными представляются строки, набросанные поэтом в 1826 г., после того как он — вызванный Николаем I из ссылки — побывал в Москве и затем уже „свободным“ вернулся в Михайловское:

Как счастлив я, когда могу покинуть
Докучный шум столицы и двора
И убежать в пустынные дубравы,
На берега сих молчаливых вод.

Но не только тишины и уединения ищет поэт в природе. Его тянет к ней какое-то первобытное чувство, которое можно было бы назвать чувством „стихийного“ родства. Характер этого чувства немного приоткрывается в пьесе „Не дай мне бог сойти с ума“ (1833). Человек, расставшийся с разумом, как бы „возвращается“ в природу. И там он находит то, чего был лишен в нормальном, „городском“ состоянии: чудные грезы, счастье, силу, свободу.

Я пел бы в пламенном бреду,
Я забывался бы в чаду
Нестройных, чудных грез,
И я б заслушивался волн,
И я глядел бы, счастья полн,
В пустые небеса.
И силен, волен был бы я,
Как вихорь, роющий поля,
Ломающий леса . . .

¹ „Так море, древний душегубец . . .“ (1826).

В эти строки вложено огромной силы чувство близости с природой, „стихийного“ родства. Лишившись разума, человек подобен природе в ее стихийных проявлениях.

Резко противопоставляет всему этому поэт отношение „стихийного“ человека и города. Город страшится его, как чумы. И поэтому — сажает его на цепь, прячет за решетку, изолирует и от людей и от природы.

Не будет преувеличением сказать, что нечто подобное ощущал Пушкин и во взаимоотношении поэта и города.

В городе поэт погружен в „заботы суетного света“, душа его спит „хладным сном“. Иначе говоря, его поэтический гений как бы заключен в темницу. Но когда „божественный глагол“ доходит до него, когда происходит освобождение творческих сил человека, пробуждение поэзии, тогда он вырывается из плена, бежит в природу (подобно безумцу, который бежит „в темный лес“):

Бежит он, дикий и суровый,
И звуков, и смятенья полн,
На берега пустынных волн,
В широкошумные дубровы...¹

В чем Пушкин видит смысл бегства в природу, жизни в природе?

Противоречия города и деревни, столь остро ощущаемые поэтом, вырастают из отмеченных им „вечных противоречий сущности“ и связанных с ними противоречий исторической и природной жизни. Эти противоречия каждый человек носит в себе. Их борьба и их соединение в некоем живом единстве определяют рост, познание, творчество человека. И вот этого единства Пушкин ищет на пути создания гармонической культуры, основанной на природе, а не вопреки природе. Отсюда становится ясным и смысл бегства в природу. Человек, поэт бежит от противоречия естественного строя жизни. Это бегство для Пушкина — возвращение в „отчий дом“ природы, приближение к источнику силы. И с его точки зрения вполне естественно, что именно там наиболее свободно и наиболее полно расцветает творчество.

В глуши звучнее голос лирный,
Живее творческие сны.²

Там, на лоне природы, творческие сны превращаются в явь. И поэту является Муза:

... в таинственных долинах,
Весной, при кликах лебединых,
Близ вод, сиявших в тишине,
Являться Муза стала мне.³

¹ „Поэт“ (1827).

² ЕО, 1. V. Ср. также в черновом наброске предыдущей строфы: „Занятиям деревня учит“; слова из незаконченного романа в письмах: „Петербург — прихожая, Москва — девичья, деревня же — наш кабинет“; фразу в письме М. П. Погодину: „Я убежал в деревню, почуя рифмы“ (ППМ, II, 41).

³ ЕО, 8, I.

В этом поэтическом образе выражена какая-то связь природы с явлением Музы. Это весьма существенно для Пушкина. Он утверждает „сотрудничество“ Музы и природы. И вместе с тем свидетельствует о том, что Муза вела его по пути познания тайн космоса. Вдохновение и познание взаимно переплетались и обогащали друг друга. Вот почему поэт, вспоминая о пройденном пути, так выразительно говорит в восьмой главе „Евгения Онегина“:

Как часто ласковая Муза
Мне услаждала путь немой
Волшебством тайного рассказа!
Как часто, по скалам Кавказа,
Она Ленорой, при луне,
Со мной скакала на коне!
Как часто по берегам Тавриды
Она меня во мгле ночной
Водила слушать шум морской,
Немолчный шопот Нереиды,
Глубокий, вечный хор валов.
Хвалебный гимн Отцу миров.

Действительно, длинный ряд произведений Пушкина убеждает нас в том, что в лазури неба, в шуме волн, в полете ветра, в блеске звезд, в сиянии солнца ему открывалась изначальная правда природы — ее закономерность, ее красота. Поэт многому учился у природы. И с полным правом мог сказать: „В гармонии соперник мой“ — „шум лесов“, „вихорь буйный“, „моря гул глухой“.¹

Но природа человеческая вообще, и поэта в особенности, „к противоречию склонна“.²

Любя природу, деревню, стремясь бежать от „неволи душных городов“, Пушкин в то же время любит мировой город, с его шумом, техникой, журналами, культурными учреждениями. В Кишиневе он мечтает о Петербурге, в Одессе — о Константинополе, в Михайловском — о Париже и Лондоне.

Противоречивы чувства поэта к Москве и Петербургу. Он неоднократно с ненавистью и презрением говорит о Москве: „Москва губернский город, получающий журналы мод“.³ „Скучна Москва, пуста Москва, бедна Москва“.⁴ „Пакостная Москва, которую ненавижу“.⁵ „Калуга немного гаже Москвы, которая гораздо гаже Петербурга“.⁶ И т. д., и т. п. И вме-

¹ „Разговор книгопродавца с поэтом“ (1824). В наброске одной заметки, относящейся к 1834 г., встречаются такие слова: „Поэзия как природа“.

² ЕО, 5, VII.

³ ППС, II, 339.

⁴ Там же, III, 38.

⁵ Там же, стр. 58.

⁶ Там же, стр. 126.

сте с тем, в седьмой главе „Евгения Онегина“ поэт посвящает Москве строки, проникнутые большим, теплым чувством:

Как часто в горестной разлуке,
В моей блуждающей судьбе,
Москва, я думал о тебе!
Москва... Как много в этом звуке
Для сердца Русского слилось!
Как много в нем отозвалось!

Не менее отрицательно, казалось бы, относится поэт к Петербургу. „Пакостный Петербург“.¹ „Я зол на Петербург и радуюсь каждой его гадости“.² „Свинский Петербург... гадок мне“.³ „Свинский П. Б.“⁴ Но одновременно он пишет: „Люблю тебя, Петра творенье...“ И в „Медном Всаднике“ создает своего рода апофеоз города.

Существо положительного отношения Пушкина к городу немного вскрывается в письме к П. А. Вяземскому из Михайловского от 27 мая 1826 г. „Мы живем в печальном веке, но когда воображаю Лондон, чугунные дороги, паровые корабли, английские журналы или парижские театры, — пишет поэт, — то мое глухое Михайловское наводит на меня тоску и бешенство“.⁵ В этих строках чувствуется тоска по неведомому ему мировому городу, страстное стремление к центрам европейской культуры. Стремление это порождалось не только и не столько специфическими обстоятельствами жизни поэта, — сначала ссылка, потом запрещение ехать за границу, — сколько сознанием культурного значения мирового города и желанием общения с выдающимися людьми своего времени.

Те же чувства испытывал поэт и в позднейший — петербургский — период своей жизни. Вот что пишет об этом хорошо знавший Пушкина в эти годы Ф. А. Леве-Веймар в некрологе, напечатанном в „Journal des Débats“ от 3 марта 1837 г. „Какою грустью проникался его взор, когда он говорил о Лондоне и в особенности о Париже! С каким жаром он мечтал об удовольствии посещений знаменитых людей, великих ораторов и великих писателей. Это была его мечта!“⁶

И тем не менее, поэт на закате своих дней думает о природе, которая у него связывается с мыслью о „покое и воле“. „О, скоро ли перенесу я мои пенаты в деревню“.⁷ Там, на лоне природы, поэт надеется

¹ ППМ, I, 18.

² ППС, III, 107.

³ Там же, III, 120.

⁴ Там же, III, 127.

⁵ ППМ, II, 12.

⁶ Цит. по П. Е. Щеголеву, „Дуэль и смерть Пушкина“, изд. 3-е, ГИЗ, 1928, стр. 415.

⁷ „Неизданный Пушкин“, изд. „Атеней“, 1922, стр. 137.

найти душевный покой и возможность свободного творчества. Он думает о полях, саде, книгах, трудах поэтических.

Давно, усталый, раб, замыслил я побег
В обитель дальнюю трудов и чистых нег.¹

В этой пьесе „Пора, мой друг, пора!“ выражена смертельная усталость от петербургского плена, предчувствие наступающего трагического в своей бессмыслице конца, страстное желание спастись бегством в природу.² Всем существом своим он, — скованный по рукам и по ногам, — ощущает смертоубийственный бег времени, когда „каждый час унесит частичку бытия“. И надо думать, что по другому ощущал бы поэт бег времени, если бы ему удалось преобразовать свою жизнь так, как он хотел в последние годы.

*

Законы природы и истории — так утверждает Пушкин — принципиально отличны друг от друга. Природа подчинена закономерностям, всеобщим и неизменным, исключающим случайность. Истории — подобно судьбе человека — присущи неповторимые, особенные черты. Законы истории нельзя — подобно законам природы — выразить математической формулой. Если бы законы истории были подобны законам природы, то „историк был бы астроном, и события жизни человеческой были бы показаны в календарях как и затмения солнечные. Но провидение не алгебра“.³ Человек может установить лишь общие тенденции и направления исторического процесса. Но случайное, особенное он предвидеть не может. „Ум человеческий, по простонародному выражению, не пророк, а угадчик, он видит общий ход вещей и может выводить из онаго глубокие предположения, часто оправданные временем, но не возможно ему предвидеть случая“. Пушкин поясняет свою мысль таким примером: „Один из остроумнейших людей XVIII столетия предсказал Камеру Французских депутатов и могущественное владычество России, но никто не предсказал ни Наполеона, ни Полюньяка“.⁴

В конце 1825 г. Пушкин, читая „Лукрецию“ Шекспира, размышлял о случайном в истории: „Что если б Лукреции пришло в голову дать пощечину Тарквинию?“ В этом случае все последующие поступки дей-

¹ „Неизданный Пушкин“, стр. 136. Ср. в „Страннике“ (1836): „Как узник, из тюрьмы замысливший побег“.

² Как известно, Пушкин пытался оставить столицу и двор, переехать в деревню. Но Николай I и Бенкендорф этому препятствовали.

³ Наброски третьей статьи об „Истории русского народа“ (1831 г.). У Пушкина „провидение“ — синоним „судьбы“.

⁴ Там же. Ср. слова Ф. Энгельса: „В историческом развитии случайность играет свою роль, которая в диалектическом мышлении, как и в развитии зародыша, выражается в необходимости“ (цит. соч., стр. 112); также о „слепой игре непредвиденных воздействий неконтролируемых сил“ (цит. соч., стр. 96).

ствующих лиц были бы другими и — „мир и история мира были бы не те“. Такого случая предвидеть нельзя. Но „опыты жизни“ убеждают поэта в возможности, в реальности случайного, непредвиденного.

Поэт ошутительно испытал это на себе.

Около 10 декабря 1825 г. до Пушкина, жившего в Михайловском, дошли сведения о смерти Александра I и о неурядице с престолонаследием. К этому примерно времени им было получено письмо от И. И. Пущина из Москвы, в котором тот извещал, „что едет в Петербург и очень бы желал увидиться там с Ал. С-чем“.¹ По преданию, Пушкин поехал в Петербург. Но дорогу перебежал заяц, а при отъезде он встретил попа. Поэт счел это дурным предзнаменованием и вернулся домой.

„А вот каковы были бы последствия моей поездки, — рассказывал потом поэт С. А. Соболевскому: — Я рассчитывал приехать в Петербург поздно вечером, чтобы не огласился слишком скоро мой приезд, и следовательно попал бы к Рылееву прямо на совещание 13 декабря. Меня приняли бы с восторгом; вероятно я забыл бы о Вейсгаупте и попал бы с прочими на Сенатскую площадь и не сидел бы теперь с вами, мои милые!“² В результате, у поэта не могло не сложиться убеждение, что случай спас его от смерти или каторги.

Размышления о случайном в истории, связанные с чтением „Луcreции“, вызвали желание „пародировать историю и Шекспира“. И Пушкин 13 и 14 декабря 1825 г. написал „Графа Нулина“. По этому поводу поэт позднее (вероятно в 1827 г.) заметил: „бывают странные сближения“. Действительно, случайная встреча заставила его остаться в Михайловском, и случайно именно в те дни, когда в Петербурге происходило последнее совещание декабристов и восстание, он писал повесть, порожденную мыслью о случайном в истории...

В жизни природы нет той черты неповторимости, особенности, неожиданности, которая присуща „судьбе человеческой“, „судьбе народной“.³ Природа, так думает Пушкин, не имеет подобно человеку судьбы. И в жизни ее нет, следовательно, и трагизма судьбы. Вот почему в природе поэт ощущает великую гармонию. Вот почему отношение его к природе жизнерадостно.

В строгой закономерности „равнодушной“ природы поэт чувствует себя свободным. Необходимость законов природы для него глубоко — принципиально — отлична от необходимости судьбы. Необходимость дышать, подчиняться законам тяготения, стареть, умирать, не есть для Пушкина нарушение свободы. Это — лишь естественные условия и формы жизни. Мало того, это — сама жизнь, в ее непосредственной данности. И поэт —

¹ Сообщение декабриста Н. И. Лорера со слов Л. С. Пушкина.

² С. Соболевский. „Таинственные приметы в жизни Пушкина“, сб. „Соболевский, друг Пушкина“, П., 1922, стр. 34—35.

³ „Заметки о народной драме“ (1830).

„сын природы“, глубоко чувствующий свое единство с природой, единство, устраняющее „бесмысленное и противоестественное представление о какой-то противоположности между духом и материей, человеком и природой, душой и телом“¹ — свободно живет этой природной жизнью. Во всяком случае, — таково его жизнеощущение. Наоборот, в исторической жизни Пушкин чувствует действие „неведомой“ и „враждебной“, да к тому же „неизбежной“ судьбы. Отсюда его трагическая настороженность, его мучительная борьба с этой неизбежностью.

*

• Теперь можно подвести краткие итоги.

1. Пушкин был поэтом и историком, но не философом и не натуралистом. Он не чувствовал склонности к отвлеченной философии и резко отрицательно относился к метафизике.

2. Признавая положительное значение наук о природе, и в частности „теории наук“, Пушкин в то же время утверждал относительность философского и научного знания. Философские и научные понятия и обобщения непрерывно изменяются, заменяются новыми, совершенствуются. Истинное для одной эпохи перестает быть таким в другую.

3. Относительному значению философии и науки Пушкин противопоставлял непреходящую значимость поэзии. Поэзия „не стареет и не изменяется“, всегда остается „свежей и вечно юной“, потому что она всегда и везде одними и теми же средствами выражает одно и то же — чувства и страсти человека.

4. Отношение Пушкина к природе не обусловлено ни научной, ни философской системой взглядов. В этом отношении поэта нет логической продуманности. Оно просто и непосредственно. Его определяют чувство и созерцание, а не отвлеченные идеи и схемы.

5. Внешний мир — объективно существующая реальность. В нем все совершается по неизменным „общим законам“. Время и пространство — объективно-реальные формы бытия.

6. Особенность пушкинского восприятия объективно-реальных форм бытия заключается в преобладании чувства времени над чувством пространства. Реальное и историческое время — первый план переживаний. Взгляд Пушкина на природу — взгляд историка, а не натуралиста.

7. В природе, подчиненной всеобщим и неизменным законам, нет ничего случайного. Наоборот, история обладает неповторимыми, особенными чертами. Жизнь природы лишена случайности, неповторимости, особенности, присущей „судьбе человеческой“, „судьбе народной“. Законы истории нельзя, подобно законам природы, выразить математической формулой. События в жизни человека и народа нельзя предвидеть, подобно

¹ Ф. Энгельс, цит. соч., стр. 58.

затмениям солнца. Человек может устанавливать общие тенденции и направления исторического процесса, но случайного, особенного он не в состоянии предвидеть.

8. Рождение, жизнь, смерть человека — строго закономерны, подчинены „общим законам“ природы. Утверждая и любя жизнь, Пушкин в то же время понимает, что в самой жизни заложено ее отрицание. Он принимает смерть как естественное завершение жизни.

9. Пушкину чужда идея господства над природой, стремление овладеть силами природы. Он воспринимает природу как живой организм, подобный организму человека. И просто и непосредственно любит ее, ощущает ее силу, созерцает ее красоту.

10. Человек — „сын природы“ — в своем развитии должен следовать природе. Отрыв от природы, нарушение естественного порядка развития приводит к извращению чувств и обезображиванию жизни человека.

11. На лоне природы творчество человека расцветает наиболее свободно. Познание закономерности, гармоничности, красоты природы и творческая работа взаимно обогащают друг друга.

12. Пушкин по разному воспринимает и переживает необходимость законов природы и необходимость законов истории. В строгой закономерности природы поэт чувствует себя свободным. Он свободно и радостно живет природной жизнью. В исторической жизни поэт ощущает неизбежность „неведомой“ и „враждебной“ судьбы. Просто принимая неизбежность смерти, он не принимает ту неизбежность, которую, как он думал, несет с собою судьба. И ведет с ней мучительную борьбу.

Представление Пушкина о вечности и неизменности жизни природы непосредственно связано, как я уже отметил, со взглядами XVIII в. на природу. Ведь „мы можем познавать только при данных нашей эпохой условиях и настолько, насколько эти условия позволяют“.¹

Вместе с тем, расчленение и анализ природы, этот метод познания, созданный „новым“ временем, по своей сути чужд поэту. Ощущение, представление о закономерностях природы, „общих законах“, „чреде определенной“, связях человека и природы и т. д. является у поэта результатом непосредственного созерцания. И в этом он близок не „новому“ времени, а грекам, с которыми его связывает стихийный материализм и радостное чувство живого тела.

Наконец, своим утверждением первичности и независимости от человеческого сознания бытия природы, равно как и диалектическим пониманием жизни, несущей в себе свое отрицание, Пушкин стоит на твердой почве передового воззрения XIX в.

¹ Ф. Энгельс, цит. соч., стр. 7.



ИВ. Н. РОЗАНОВ

РАННИЕ ПОДРАЖАНИЯ „ЕВГЕНИЮ ОНЕГИНУ“

Центральное место в изучении творчества Пушкина должно занимать важнейшее его произведение „Евгений Онегин“. Центральное место в изучении „Евгения Онегина“ должно занимать выяснение его значения.

Пушкинский роман, по словам Белинского, оказал „огромное влияние и на современную и на последующую русскую литературу“, но каково было это влияние крупнейшего произведения величайшего русского поэта, до сих пор осталось невыясненным.

Вместо ознакомления с конкретным материалом, дело ограничивалось общими рассуждениями или отдельными разрозненными наблюдениями. Даже более узкая тема: влияние пушкинского романа на поэтическую продукцию современников Пушкина — ни разу не разрабатывалась.

А между тем, изучать „Евгения Онегина“ в отрыве от того поэтического резонанса, который имел роман в современном ему обществе, это так же неправильно, как рассматривать его в отрыве от среды, его породившей.

Одним из важнейших показателей поэтического резонанса является литературное подражание.

Есть три основных вида подражаний: 1) подражание — мода. Всякий крупный успех выражается, между прочим, в эпидемии подражаний; 2) подражание — усвоение чужого творчества; 3) подражание — создание аналогичных ценностей.

Два последних вида являются необходимым условием всякого литературного развития. Подражание — освоение есть активное осмысление поразившего воображение читателей литературного явления. Большинство читателей ограничиваются пассивным восприятием или критическим анализом прочитанного, у читателей же более творческого типа возникает желание перекроить образец по собственному росту, корректируя оригинал с точки зрения своей социальной среды и своего личного опыта.

Этим определяется, каким запросам какой среды удовлетворяя оригинал и каким — нет, и, таким образом, уточняется социальная значимость его для современников.

В данной статье, являющейся частью нашего исследования об „Евгении Онегине“, мы ограничимся рассмотрением только подражаний, появившихся до окончания пушкинского романа, т. е. до 1832 г.

I

Неприятие романа

Поэты с именами из старших по возрасту или из сверстников Пушкина, даже доказавшие своими произведениями склонность к эпосу, не откликнулись творчески на такое поразительное и необычайное литературное явление, каким был „Евгений Онегин“. Ни Жуковский, ни Козлов, ни лицейские товарищи Пушкина — Дельвиг и Кюхельбекер, ни восходившее тогда новое светило — Языков творчески не восприняли пушкинского романа. Пушкинский переход от романтических поэм к реалистическому творчеству для многих из них был слишком неожидан и смел. Некоторые даже отзывались об „Евгении Онегине“ резко отрицательно. Языков писал брату в феврале 1825 г.: „Онегин мне очень не понравился. Думаю, что это самое худое из произведений Пушкина“, а через несколько месяцев (в мае того же года) повторяет свой отзыв в такой форме, что для нас становится совершенно ясно, в чем дело: „Я читал недавно вторую главу Онегина в рукописи — не лучше первой: то же отсутствие вдохновения, та же рифмованная проза“.

Отрицательный отзыв дал и Баратынский в письме к И. В. Киреевскому в 1832 г., по прочтении всех глав „Онегина“. Он находит, что характеры бледны, а что хорошо, то заимствовано у Байрона. Сам Баратынский в своих стихотворных повестях „Бал“ и „Наложница“ постарался, взяв героев из того же круга, перенеся только действие в Москву, создать другие характеры. И Арсений и Елецкий также люди без всякой службы и без дела. Вступив в свет, Елецкий скоро начал томиться „пределов светских теснотой“:

Ему в гостиных стало душно:
То было глупо, это скучно.
Из них Елецкий мой исчез.

И здесь начинается различие между Онегиным и Елецким. Первый исчез для того, чтоб запереться в своем кабинете, второй — чтобы зажить „житьем новым“, „среди буянов и повес“. „Развратных, своевольных правил несчастный кодекс он составил... Мысли буйством увлечен, вдвойне молву озлобил он“.

Но если герои Баратынского еще могут быть сближаемы с Онегиным, — его героини Нина и Сарра задуманы совершенно оригинально.

Все у Баратынского заострено в сторону преступности и трагизма. Сарра по ошибке отравляет любимого человека, Нина отравляется сама.

Критика ставила в заслугу Баратынскому, что он, несмотря на близость к великому поэту, в своих повестях сумел удержаться на своих собственных ногах. Анализ произведений подтверждает это замечание: действительно, дело ограничилось заимствованием отдельных пушкинских строчек. В „Бале“ читаем: „Красой изнеженной Арсений не привлекал к себе очей“, у Пушкина о Татьяне: „ни красотой сестры своей... не привлекла б она очей“. В „Наложнице“ мы нашли онегинские строчки: „Своим пенатам возвращенный“, „Примите исповедь мою“, „Сядь теперь ко мне, поговорим по старине“. В сюжетах же и характерах здесь скорее состязание с Пушкиным, чем подражание ему.

Состязается Баратынский и на поприще стихосложения. Его „Бал“ печатается обычно сплошным текстом, без деления на строфы, а между тем везде выдержано строфическое построение, только без обозначения строф римскими цифрами. Баратынский берет также 14 стихов, как и Пушкин в „Онегине“, но придумывает свое собственное чередование рифм. Двустипшие с парными рифмами, что у Пушкина заключает строфы, он переносит выше, вставляя его между вторым и третьим четверостишием, и из трех четверостиший в первом дает он опоясные рифмы, а в остальных обычные, перекрестные. Получается оригинальный рисунок. Эта своеобразная строфа Баратынского в противоположность онегинской строфе совершенно не была осознана последующими поэтами и осталась без литературного потомства.

Первая глава „Онегина“ вызвала ряд печатных протестов со стороны представителей старых литературных вкусов. В этом отношении особенно интересна литературная пародия „Отрывки из поэмы «Иван Алексеевич» или новый «Евгений Онегин»“ („Галатей“, 1829, VII, стр. 146).

... Как дали имя мне Иван,
Мне был несложный жребий дан:
Я был воспитан пресурово,
Ко мне от самых нежных дней
Покойной матушкой моей
Приставлен дядька был дворовый...
Там, где о каменные грани
Невы покорной волны бьют,
Где люди весело живут,
Я жертвой старых был преданий,
Что двух за битого дают,
Шесть дней бывало не секут,
А по субботам секли в бане.

Заканчивается этот отрывок таким заключением:

Вот вам глава о воспитаньи.
Она довольно коротка,

Она не слишком глубока,
 Но все тут есть: и о преданьи,
 И о других, и обо мне.
 Не назовите винигретом,
 Читайте далее, а я
 Предупреждаю вас, друзья,
 Что модным следую поэтам.

Как видим, здесь автор литературной пародии, подписавшийся „Неизвестный“, старается осмеять и заглавие и содержание пушкинского романа — то и другое кажется ему слишком обыденным и план произведения слишком, по его мнению, разбросанным. Общее впечатление, какое произвела первая глава „Онегина“ на литературных староверов, определяется словом „винигрет“.

Если поэты старшего поколения и „имена“ оказались мало восприимчивы к тому новаторству, которое было в „Евгении Онегине“, то среди начинающих поэтов пушкинский роман имел успех необычайный.

II

Поток подражаний

Армия подражателей вербовалась из поклонников Пушкина. „Пушкин мой кумир“, открыто заявляет один из них (Башилов). Не соперничество с великим поэтом руководило ими. Это было активное осмысление поразившего их литературного факта.

У поэтов или читателей творческого типа являлось естественное желание попробовать себя в этом новом очаровавшем их жанре, дополняя или переиначивая тематику, стараясь овладеть формой, иногда как бы корректируя оригинал с точки зрения своего опыта.

Это было закреплением в литературе новаторства Пушкина. Достижения гения без этого могли бы утратиться, как пропала для последующей литературы оригинальность поэм Баратынского. Освоение всего сразу было непосильно для начинающих, и потому идет оно по разным участкам. Кто старается дать аналогичный тип героя, кто просто усвоить себе онегинскую строфу, кто — научиться непринужденной манере изложения с лирическими отступлениями и т. д.

Всё в „Евгении Онегине“ — и содержание, и композиция, и строфика, всё, начиная от заглавия, обозначающего имя и фамилию неисторического лица, подзаголовка „Роман в стихах“ и кончая типографскими особенностями (римские цифры при обозначении строф, пропуски отдельных строф, замена пропущенного точками) и способом появления в свет романа — по отдельным главам — всё это было для русской литературы двадцатых годов прошлого века ново и необычайно. Правда, многое тут было заимствовано у Байрона. Сам Пушкин указывал на „Дон Жуана“ и на „Беппо“. Баратынский, в письме к Ивану Киреевскому в 1832 г.,

находил, что в романе „форма принадлежит Байрону, тон тоже“, Пушкину же принадлежит изображение быта и характеров. Любопытно, что подражатели Пушкина легче всего заимствовали то из внешних приемов, что шло от Байрона, и очень туго—то, где проявлялось полное своеобразие Пушкина, например, Онегинскую строфу; в Евгении и Татьяне наиболее внимания привлекли все более внешнее и показное, прежде всего их имена. Вслед за Онегиным появляются Печорин, Томский, Двинский, все по северным рекам; вслед за Ленским идут близкие по звучанию: Ленин (через „ять“), барон Велен, Алинин, вслед за Лариным — Чарин, Гарин, Харин, Комарин. Подражатели состязаются друг с другом в придумывании звучных фамилий, например, Евгений Вельский, Вадим Лельский, Владимир Стрельский, Сергей Зарельский.

Обозначение имени и фамилии героя, как заглавия произведения — „Евгений Онегин“ — было новаторством в русской поэзии, хотя сам Пушкин имел в этом отношении образцом для себя Байрона. В этом пушкинском заглавии уже обозначается переход к реальному. Романтические поэмы имели или безыменных героев или исторических лиц. Из собственных имен мы встречаем в заглавиях такие: „Громвал“, „Теон и Эсхин“, „Светлана“, „Ольга“, „Людмила“, „Руслан и Людмила“. Только для исторических лиц допускалось озаглавливание фамилиями („Князь Курбский“, „Миних“ и т. д.).

В последующей стихотворной реалистической повести (и не только реалистической) такие заглавия, в духе „Евгения Онегина“, нередки: „Борис Ульянов“ — А. Карамзина, „Олимпий Радин“ — Аполлона Григорьева, „Семен Клеветский“ — Давиденко, „Елена Деева“ — Л. Столицы. Полежаев, в подражание Пушкину выведши героем своего якобы „доброего приятеля“, сохраняя подражательный характер, мог бы назвать свою повесть „Александр Полежаев“ и этим предвосхитил бы Маяковского с его трагедией. В обозначении же „Сашка“ уже есть пародийность. Проще, обыденнее и домашнее, чем по имени и фамилии, называть по имени и отчеству, и литературная пародия на „Евгения Онегина“, появившаяся в „Галатее“ в 1829 г., носила название „Иван Алексеевич“, но еще непринужденнее, конечно, звучит „Сашка“.

Большинство подражаний „Евгению Онегину“ носило обозначение „повесть в стихах“. Приниматься за „роман в стихах“ решились не многие, и начинавшие ограничивались обычно одной, двумя, тремя главами; ни одного законченного стихотворного романа в течение 15 лет, с 1825 по 1840 г., мы не знаем. Позднее, в 50-х—60-х гг. стали появляться такие романы, размером превосходящие „Онегина“.

Вслед за первыми главами пушкинского „Евгения Онегина“, напечатаны были отдельным изданием первые главы следующих романов в стихах: 1) 1828 г. „Евгений Вельский“, I глава (в 1829 г. 2-я и 3-я главы), 2) 1829 г. „Котильон“ Н. Муравьева (первая глава из романа „Ленин“).

И первые главы „повестей в стихах“: 1) 1828 г. „Признание на тридцатом году жизни“ Платона Волкова, 2) 1831 г. „Консилиум“ Ивелева (Великопольского) — первая глава из повести „Московские минеральные воды“.

Кроме того, в журналах и альманахах этого времени появились: „Отрывок из романа в стихах“ А. Башилова („Невский Альманах“, 1830), „Владимир и Анета“ — А. Северинова („Славянин“, 1830, ч. XIII, первая глава романа) и несколько отрывков из „повестей в стихах“: И. Бартдинского „Роман моего отца“ („Календарь Муз“, 1827), А. Башилова „Гусар“ („Памятник Отечественных Муз“, 1828), И. Косяровского „Именины“ („Северный Меркурий“, 1831, № 28), В. Горкуши „Отрывок из безыменной повести“ („Сын Отечества“, 1831, XIX).

Все эти произведения и писались, как пробы и попытки, без уверенности, что будут доведены до конца.

Предисловие к первой главе „Евгения Онегина“, вероятно, сыграло и тут свою роль. В этом „предисловии“ читаем: „Вот начало большого стихотворения, которое вероятно не будет окончено“ и ниже: „первая глава представляет нечто целое“. Соответственно этому, у некоторых последователей Пушкина — Муравьева и Великопольского — первые главы, как мы только что видели, имели особые названия. О первой главе „Евгения Онегина“ Пушкина говорит: „Она в себе заключает описание светской жизни петербургского молодого человека в конце 1819 г. и напоминает Беппо, шуточное произведение мрачного Байрона“.

Описание жизни молодого дворянина увлекало подражателей, но дворянин этот, по своему общественному положению, имуществу, месту жительства и воспитанию, не говоря уже о личных качествах, мог и не походить на Онегина. И вот на ряду с богатым неслужащим молодым дворянином мы встречаем и дворянина-чиновника, и гусара, и студента. И здесь было поле для собственного творчества, для вышивания новых узоров по готовой канве.

Вот несколько начал:

Мой дядя — человек сердитый...

Далее характеристика этого дяди, более подробная, чем в „Онегине“, размышления о предстоящей скуке и притворстве перед ним и его супругой и мысленное посылание его детей „к чорту“:

Так, растянувшись на телеге,
Студент московский размышлял,
Когда в ночном из ней побеге
Он к дяде в Питер поскакал.

(Полежаев, „Сашка“).

Повесть А. Башилова „Гусар“ начинается описанием зимней дороги. Мчатся сани. В санях лежит герой повести, „гусар, полковник удалой“. На облучке дремлет слуга Андрей.

„Консилиум“ Великопольского также начинается описанием езды, но в городе, и седок не герой повести, а его слуга:

Стуча по звонкой мостовой
Дрожа летят ямские дрожки.

„Евгений Вельский“ начинается разговором о предстоящем переезде героя, помещичьего сына, из деревни в Москву. В начале „Котильона“ Н. Муравьева мы находим характеристику героя, которому „судьба велела расстаться с гордою Москвой“, а затем описание тройки.

Готова тройка почтовая,
Храпит и рвется коренная и т. д.

Приездом героя из провинции в Петербург начинается и „безыменная повесть“ В. Горкуши.

Нетрудно было заимствовать некоторые особенности плана и содержания, например, начать первую главу с переезда героя из города в деревню или наоборот, или из одной столицы в другую, в отступлении дать сведения о его родителях и воспитании, потом, вернув героя в город, описать его образ жизни, торжество „на играх Вакха и Киприды“, посещение балов или театра, все время аттестуя героя, как приятеля автора и, наконец, закончить первую главу обращением к критике или читателям по поводу написанного, и обещанием продолжать роман, если понадобится; такова схема громадного большинства подражаний первой главе „Онегина“.

III

„Сашка“ Полежаева

Первое впечатление бывает обыкновенно самым сильным. Первая глава „Онегина“ наиболее поразила читателей и вызвала, как мы уже отметили, наибольшее число подражаний. Первое подражание написано было студентом Московского университета Полежаевым. Его „Сашка“ (1825 г., напечатано впервые в 1861 г.) — полупародия, полуподражание. Из всей первой главы „Онегина“ подражателя, повидимому, наиболее поразило, во-первых, что герой — „молодой повеса“: такой персонаж можно было найти и среди московского студенчества; во-вторых, что Онегин умел искусно притворяться („как рано мог он лицемерить“), — и герой Полежаева искусно обманывает дядю; в-третьих, что в театре Онегин зевает (полежаевский Сашка считает это признаком хорошего тона), и, наконец, что главным занятием героя („и труд и мука и отрада“) была „наука страсти нежной“. То, что говорится у Пушкина о пресыщении и неудовлетворенности Онегина этой жизнью, было оставлено подражателем без внимания, как будто дальше XXXVI строфы „Онегина“ он не стал читать. Пародийность заключается, главным образом, в замене

светских наслаждений похождениями в домах терпимости и драками с будочниками. Как мы уже говорили, пародийность чувствуется в самом заглавии.

„Не для славы, для забавы я пишу“, заявляет Полежаев. Пародия всегда имеет элемент „забавы“. Несоответствие между знакомою формой и непривычным для этой формы содержанием — один из распространенных видов комизма. Но это несколько не мешает произведению иметь и серьезное общественное значение, и пародия может быть орудием классовой борьбы; такова полупародия, полуподражание „Сашка“. Подражание сказывается в искреннем любовании некоторыми онегинскими чертами в Сашке, его умении при случае франтить, лицемерить и т. д. Но другими своими чертами Сашка не подражает Онегину, а обличает его. Это ясно выступает у Полежаева. „Формазоном“ и вольнодумцем неслужащий богатый помещик Онегин мог показаться только захоластным и заскорузлым помещицам; и основания для такого мнения самые комические: „он пьет одно стаканом красное вино, он дамам к ручкам не подходит“ и т. д. Иное дело вольнодумство среди студенчества: Евгений Вельский возбуждает против себя общественное мнение резкостью своих суждений; студент в повести Анордиста „Евгения и Людмила“¹ объясняет старым помещикам, что гроза не от бога, а от электричества, и за это признается „безбожником“, и вызывает намерение: „его бы надобно связать“. Повести в стихах эпохи народовольчества знают и студента-революционера, преследуемого полицией. Родоначальником всех этих студентов-вольнодумцев является в русской стихотворной повести, конечно, Сашка Полежаев. Он открыто восстает против религии.

Он ничему тому не верит:
„Все это сказки“, говорит,
Своим аршином бога мерит
И в церковь гроша не дарит.

По его мнению, „весь свет наш на обманах или духовных или мирских“ ... Мы находим у него яркий и вполне определенный призыв.

Отринем, свергнем с себя бремя
Старинных умственных цепей.

Сашка — враг „подчиненности трусливой“ и горит „враждой закоренелой к мохнатым шельмам в хомутах“. Россия для него „глупая отчизна“, „умы гнетущая цепями“.

Когда тебе настанет время
Очнуться в дикости своей?
Когда ты свергнешь с себя бремя
Своих презренных палачей?

¹ „Альманах на 1840 г.“ Н. Анордиста, М., 1840.

Конечно, не за порнографию Николай I отдал Полежаева в солдаты.

Самая тяга к бесцеремонным и нецензурным выражениям и описаниям у Полежаева носит характер протеста против лощености и приличий того „света“, который изображен в „Онегине“. Таково, например, пародирование пушкинской строфы о балерине Истоминой. „Блестательна, полувоздушна“, у Полежаева: „растянута, полувоздушна Калипсо юная лежит“, далее идут строки, неудобные в печати.

Перекрещивающиеся влияния „Онегина“ и „Сашки“ отразились на последующих стихотворных повестях с героем студентом. Таких повестей было немало, и среди них были вещи далеко не бездарные; „Сашка“ Лермонтова, „Две доли“ Митрофанова, „Былое“ М. Стаховича и др. Но рассмотрение этих повестей, как боковой линии онегинского наследства, выходит за пределы нашей статьи.¹

Чужды полежаевского влияния автор „Евгения Вельского“ и Анордист, заставляющие своих героев пройти университет и проявлять черты свободомыслия. Переходим к довольно загадочному явлению в области подражательной литературы, к „Евгению Вельскому“. Критика недоумевала, что это: спекуляция на новый модный жанр, добросовестная попытка дать посильное изображение знакомого быта или, наконец, как думал „Московский Телеграф“, талантливая пародия на подражателей Пушкина?

IV

Овладение онегинской строфой

Из всех подражаний „Евгению Онегину“, появившихся в печати до окончания пушкинского романа, первое место безусловно надо отвести „Евгению Вельскому“.

Прежде всего, это едва ли не первая попытка среди современников Пушкина овладеть онегинской строфой. Нам теперь трудно даже понять, почему здесь надо видеть какую-то заслугу. После того, как пушкинский роман стал одним из краеугольных камней нашего литературного, поэтического воспитания, бойкое владение онегинской строфой стало доступно всем и каждому, пишущему стихи. Не то было во время Пушкина. Четырнадцатистишие строгой формы с определенным чередованием рифм перекрестных, парных и опоясных, целиком изобретенное Пушкиным, оказалось не по плечу его современникам. Многочисленные последователи Пушкина, усердно копировавшие манеру его романтических поэм и его реалистического романа „Евгений Онегин“, заимствовавшие его мысли, рифмы и эпитеты, остались невосприимчивы к его замечательнейшему достижению в области русской строфики. „Русланом и Людмилой“,

¹ См. „Две повести в стихах о московском студенте“ („Сборник статей к 40-летию ученой деятельности акад. А. С. Орлова“, 1934, стр. 391—400).

„Кавказским Пленником“ и „Бахчисарайским Фонтаном“ Пушкин приучил поэтов к свободному, т. е. к не-строфическому четырехстопному ямбу, где в каждом четверостишии рифмы могли чередоваться в любом из трех основных способов (парные, перекрестные, опоясные), независимо от рифмовки соседних четверостиший. Самый принцип четверостишия строго не выдерживался, кое-где бывало пятистишие и т. д. Понятно, что писать такие строки было гораздо легче, чем выдерживать строгий рифмовый рисунок онегинской строфы.

Почти все авторы стихотворных романов и повестей, написанных в подражание „Онегину“, этого барьера взять не могут. Они предпочитают в большинстве случаев подражать новому реалистическому содержанию и композиции романа Пушкина, пользуясь привычным свободным ямбом романтических поэм; так написана даже явная пародия, явившаяся под заглавием „Иван Алексеевич или новый Онегин“ („Галатея“, 1829, VII), где осмеивается содержание и композиция первой главы пушкинского романа. Из подражателей Пушкина только очень немногие в своих стихотворных повестях решились отойти от непрерывного течения рассказа романтических поэм. Н. Н. Муравьев в своем „Котильоне“ (первая глава из стихотворного романа „Ленин, или жизнь поэта“ М., 1829) и Платон Волков в „Признании на тридцатом году жизни“ (повесть в стихах, глава первая, М., 1828) вводят в своих книгах римские цифры для обозначения тех отдельных стихотворных кусков, из которых составляется глава. Таких кусков или стихотворных абзацов у Муравьева LV, у Волкова XXXV. В подражание Пушкину, у которого опущены некоторые строфы и проставлены только римские цифры, и у этих двух поэтов мы находим кое-где ряд римских цифр с опущенным текстом: у Муравьева на стр. 29 встречаем такое обозначение

XXX, XXXI, XXXII

.....

Нечто подобное и на стр. 31.

У Волкова такие обозначения римских цифр идут без точек вслед за ними, в трех местах повести; всего опущено 7 стихотворных абзацов.

Число стихотворных строчек в абзаце колеблется у наших поэтов от 6 до 20 слишком. Многие абзацы в 12 или 13 стихов, т. е. по первому беглому впечатлению могут быть приняты за онегинские четырнадцатистишия, тогда как, кроме римских цифр — признака совершенно внешнего и несущественного, ничего общего с какой-либо строфой, а тем более с онегинской, здесь нет.

Если обратимся к произведению „презревшему печать“ — к „Сашке“ Полежаева, то здесь римские цифры, действительно, обозначают строфы, но строфа в „Сашке“ очень проста: двенадцатистишие исключительно

с перекрестными рифмами. Такую строфу никак нельзя отнести к строфой форме.

Если строфа полежаевского „Сашки“ чересчур примитивна, то Великопольский, наоборот, чересчур перемудрил. Вслед за Пушкиным он решил создать свою сложную строфу и свою повесть „Московские минеральные воды“ („Глава первая, Консилиум“) пишет семнадцатистишием; строфа у него состоит из рифмовки слегка измененной октавы (*abba-bacc*) вначале, из четверостишия с перекрестными рифмами посредине и из 5 заключительных стихов с рифмовкой: *ababa*. Эта попытка Великопольского обратила на себя внимание рецензентов. Один рецензент („Гирлянда“, 1832, № 14, стр. 349) пишет: „Стихи его вообще быстры, живы, и в них часто сверкает удачное остроумие. Жаль, что он, наложив на себя вериги семнадцатистишных куплетов, должен иногда подчинять себя скудости и неправильности рифм, например: к тайне — описание, будет — голубят; приволье — лукоморье“. Встречались и другие указания у критиков Великопольского, находивших, что семнадцатистишие слишком длинная строфа, плохо воспринимаемая слушателем, а потом для автора не только трудная, но и не выгодная.

Стихосложение „Евгения Вельского“ интересно тем, что здесь мы видим борьбу за овладение онегинской строфой:

Вначале встречаются иногда строфы с иным чередованием рифм, количество стихов иногда меньше или больше четырнадцати. Только XXX строфа впервые выдержана с онегинским чередованием рифм, а с XXXVI строфы идут уже только выдержанные онегинские строфы до конца I главы; так вся II и III главы.

V

„Евгений Вельский“. Первая глава

Всего вышло две книжки романа: в 1828 г. первая глава, в 1829 г. вторая и третья вместе. Все это появилось, следовательно, до седьмой главы „Онегина“. Как первая глава „Онегина“ начиналась „Разговором книгопродавца с поэтом“, так первая „Вельского“ начинается „Разговором автора с книгопродавцем“. В этом разговоре речь идет о „маленьком романе“ Пушкина и о цели издания в свет „Вельского“. „Это-то стихотворенье я пародировать хочу“, — заявляет книгопродавцу автор. Необходимо добавить, что как отрывки из „Онегина“ появлялись в альманахах до издания главы отдельной книжкой, так и отрывки из „Евгения Вельского“ печатались предварительно в альманахах, но „Онегин“ в лучших петербургских („Северные Цветы“, „Невский Альманах“, рылеевская „Полярная Звезда“), а отрывки из „Вельского“ — в захудалых московских: отрывок из главы II — в „Венке Граций“ на 1829 г., отрывки из

IV главы — в „Улыбке Весны“ на 1832 г. и в „Полярной Звезде“ на 1832, ничего общего не имеющей с рылеевской.

Приступил ли автор к V и к последующим главам, мы не знаем, но, судя по отрывкам из IV главы, роману далеко еще было до конца. Уже в самом заглавии „Евгений Вельский“ чувствуется или сознательное подражание или даже пародия. Если заглавие пушкинского романа поразило современников, а литературных староверов и шокировало своей обыденностью, то надо отметить, что фамилия „Вельский“ была одна из самых употребительных в комедиях и повестях 20-х и 30-х годов. Внешний вид первой главы „Евгения Вельского“ (а также и последующей книжки, содержащей 2-ю и 3-ю главы) по возможности копирует внешность отдельных глав „Онегина“; тот же формат, такая же почти обложка: серенькая, с рамкой. „Московский Телеграф“ (1828, № 9, „Русская Литература“, стр. 125—127) увидел в первой главе только пародию.

„Подвинь свой стул ко мне, Евгений“ — так начинается словами одного из выведенных лиц, как у Пушкина в „Онегине“, и словами самыми обыденными, роман. Это мать прощается с сыном Евгением, который до сих пор жил в кругу родных, а теперь должен направиться в Москву — граф Знатов хочет позаботиться о его судьбе.

Евгений мой, сын дворянина,
 Не очень хоть большого чина
 Покойный был его отец,
 Но впрочем нажил состоянье,
 Кой-как дал сыну воспитанье
 И после умер, наконец,
 Оставивши вдове и сыну
 Две сотни душ. Но половина
 Вдова давно уж продала,
 Долги за мужа раздала.

Именье их находилось в Тамбовской губернии, и учился Евгений в Тамбове у француза.

Евгений мой четыре года
 Жил в пансионе у Дюкло:
 Тамбов ведь тоже же село.

Подробнее о детстве и воспитании героя читатель узнает из приложенного тут же „Журнала Евгения“. Мальчик оказался очень влюбчивым. „Любовь мне в сердце запросилась, лишь только начал я ходить... и признаюсь — в тринадцать лет мне стал знаком довольно свет с его волшебной красотой“.

В связи с таким ранним развитием в известном направлении явилась и ранняя разочарованность.

Прежних нет мечтаний,
 Погас огонь моих желаний,
 Разочарован я душой

„В латыни кой-чего добился, с французским также подружился“, а так как его ментор писал приятные, сладкие стишки, то и Евгений скоро узнал „словесный бред“.

Пишу стихи, — но преплохие.
Моя болезнь Метромания —
Зараза наша юных дней —
Не я один подвержен ей.

XVIII

Пришла пора страстей жестоких:
Мне минуло осмнадцать лет —
И я младый полу-поэт
В кругу тамбовских чернооких,
Блистал не редко остротой
И — даже иногда чужой...
Но кто ж, любезный мой читатель,
Кто в мире сем не подражатель?

Здесь кончается журнал Евгения, и автор подводит итоги:

Евгений мой
Был точно малый с головой
Добр сердцем, несколько мечтатель,
Другого пола обожатель
И что-то грустен уж душой...

Довольно подробно описываются проводы и отъезд Евгения.

Прощаться съехались все соседи-помещики, их жены, „в чепцах старинного покрою“ и „сынки и дочки разных лет“. „Садятся; самовар приносят, гостей по чину чаем просят...“ В чай льют ром или мадеру: „мадеру тем, кто хоть и пьет, да не совсем — то есть не семь раз пьян в неделю“. Один из гостей дает Евгению рекомендательное письмо к своему брату в Москве. „И вот Евгений в путь пустился, в пуху подушек он, как хан, в своей повозке развалился“. На облучке сидел его дядька Роман, который когда-то был крепостным графа Знатова. От него Евгений узнает, что граф Знатов старик, женатый на молодой красавице.

Кончается глава въездом Вельского в Москву.

VI

2-я и 3-я главы „Евгения Вельского“

В общем, первая глава Вельского встретила недурной прием: „Московский Телеграф“ признал его „удачной пародией“, неодобрительный отзыв в „Московском Вестнике“ встретил отпор на страницах того же журнала; наконец „Атеней“, признавая талант автора, бранил его за то же, за что бранил и Пушкина.

Во второй главе рассказывается про то, как Евгений увлекся красотой княгини Знатовой до знакомства еще с нею. В 3-й главе автор переносит нас через три года.

Кто это в синем виц-мундире,
С малиновым воротником?
Пред ним тетрадь, две, три, четыре.
Сидит за письменным столом?
Читает, пишет. . .

Это Евгений — студент. „Перешагнем еще годок“. Окончив полный курс в университете на юридическом факультете, он „постиг законов дух и не боялся мыслить вслух“, что возбудило ряд неблагоприятных толков: „Как жалко, милый, ты пропал, а все, чай, книги погубили. Он настоящий нехрись стал“. Он забыл думать об обедне и в страстную ест мясо... Одна старушка богомолка жаловалась на его острый язычок, ей поддакивали две девицы, встречавшиеся с Евгением у Хрюминых. Один педант в очках рассуждал, что Евгений, очевидно, не очень-то умен, если не стал магистром:

Сбирался он и на магистра
Держать экзамен; но знать честь
Не всем дается. В свете есть
Fortuna dextra et sinistra.
И Вельскому лишь дан патент,
Что он действительный студент.

Один отставной чиновник негодует: однажды он послал со слугою письмо Вельскому; Вельский лежал на диване и, начав читать, закричал слуге: „письмо без смысла; вон пошел, и ты и барин твой — осел“.

XXXVIII

„И вот общественное мнение“.
Я вместе с Чацким повторю.
Порой иссякнет все терпенье,
И я как на огне горю,
Когда иной невежда смелый,
Иль старовер закоренелый,
Или классический поэт,
Или кокетка в сорок лет,
Начнут с улыбкою гримасной
Обсуживать про молодежь:
От их насмешек не уйдешь.
И наш же век такой несчастный,
Что двух столетий перелом
Весьма, весьма заметно в нем!

XXXIX

Но что же делал наш Евгений?
С усмешкой гордой слушал он

Шипенье злых змеиных мнений.
 Так шум привычный ярых волн
 Для кормчего совсем не внятн,
 Порою даже и приятн;
 Так залетев за облака,
 Орел смеется свысока
 Усилям слабого стрелка,
 Так, иногда . . . Но для сравненья,
 Я, позабывшись, согрешил
 И стих пятнадцатый вклеил
 В строфу мою. Прошу прощенья
 Иному б может невдогад,
 Но я в грехе сознаться рад.

Приведенные строфы доказывают, что к концу третьей главы автор Вельского уже превосходно усвоил себе манеру Пушкина, и если ошибся, допустив в строфу лишний стих, то умело использовал свою ошибку в стиле непринужденной болтовни.

В отрывке из IV главы, помещенном в „Полярной Звезде на 1832 год“ является новая героиня Груня: „от делать нечего Евгений за Груней волочиться стал . . .“ Он уже был „пресыщен и зевал“ от любви женской, „она ж любила первый раз . . .“

Все, что мы знаем о романе, не дает нам никаких оснований думать, что перед нами сплошь пародия, — цель автора скорее была дать собственную вариацию на новую, выдвинутую Пушкиным тему: история современного молодого дворянина на фоне быта. Вторая книжка „Евгения Вельского“ вызвала еще больше разногласия оценок у рецензентов. „Атеней“, против которого во второй главе была полемическая строфа, отозвался резче, чем о первой: „Поэт, как водится, считает за необходимость заговориться и бросается из угла в угол, толкует о том, о сем, и больше, разумеется, ни о чем, все это по-пушкински, по-байроновски, и все так утомительно“. „Северная Пчела“ хвалит намерение описать быт московского юношества подобно описанию петербургской жизни Онегина, но бранит исполнение; но та же „Северная Пчела“ в другой рецензии, не на „Вельского“, а на VII главу „Онегина“, нашла, что „Вельский“ „в сравнении с нею кажется чем-то похожим на дело“. Этот полемический выпад Булгарина против Пушкина подхвачен был Бестужевым-Рюминым, который, приведя это мнение Булгарина, добавляет от себя: „Если говорить правду, то 7-я глава Онегина, в отношении к дарованию Пушкина и к некоторым другим главам сего романа, не должна обижаться сравнением с «Вельским», который, вероятно, есть первый опыт своего автора“. По мнению Бестужева-Рюмина, „автор Вельского предполагал написать пародию на Онегина, но, приступив к делу, сбился с своего плана и не достиг цели“. Если бы кто-нибудь из опытных литераторов исправил ошибки против языка, то „Вельский действительно был

бы недурен... Если справедливые критики находят весьма много плохих стихов в Онегине, то с равным же беспристрастием должно сказать, что есть довольно много хороших стихов в «Вельском». Не забудьте, что Онегина пишет А. Пушкин, а Вельского новый поклонник муз, может быть, весьма еще новый, коего талант, впоследствии времени, может достигнуть до определенной ему зрелости. Мы с своей стороны считаем несправедливостью умолчать о том, что в сочинителе «Вельского» находим иногда приятную остроту ума, иногда мысли, и замечаем в нем довольно хорошую способность к авторскому ремеслу. Его стихи часто показывают ту непринужденную легкость, с какой они писаны». Как пример таких стихов рецензент приводит II и V строфы третьей главы, посвященные луне. Приведем вторую из них:

Гы пребогатое сравненье,
 Для всех унылых героинь,
 Затеяливое украшеньё,
 Лугов, лесов, долин, пустынь;
 А сколько видов ей: кровава,
 Томна, печальна, величава,
 Скромна, задумчива, бледна,
 Под час глупа, под час красна,
 Подчас отрада в грустной доле,
 Ну словом: бедную луну,
 Хотя все ту же и одну,
 Мы все коверкаем по воле,
 И каждый автор, как портной,
 Дает ей цвет свой и покрой.

По поводу выражения „подчас глупа“ рецензент делает сноску: „Каков Вельский! этим он намекает на знаменитого своего современника: «как эта глупая луна на этом глупом небосклоне», а вообще по поводу этих строф Бестужев-Рюмин „клянется Апполоном“, что „если бы эти стихи встретились в Онегине, то беспристрастные критики отличили бы их в числе хороших. Заметьте, даже и в Онегине“ („Северный Меркурий“, 1830, № 58).

Но всего интереснее отношение Пушкина. В проекте „предисловия к VIII и IX главам“, приведя отзыв Булгарина, что „в сравнении с 7-й главой Онегина даже «Евгений Вельский» кажется чем-то похожим на дело“. Пушкин делает такую сноску:

„Прошу извинения у неизвестного мне поэта, что принужден повторить эту грубость. Судя по отрывкам его поэмы, я ничуть не полагаю для себя обидным, если находят Евгения Онегина ниже Евгения Вельского“.¹

Как тип, Евгений Вельский так же мало похож на своего знаменитого тезку, как его и полежаевский Сашка. Это не столичный житель, увозящий свою хандру в деревню, а, как и Сашка, провинциал, приехавший в столицу

¹ „Полное собрание сочинений Пушкина. Приложение к «Красной Ниве», 1930, т. V, стр. 523.

и жадный до впечатлений. Такое явление среди молодых дворян того времени было, конечно, гораздо более обычным. С Онегиным сближает его только критическое отношение к окружающему, но Онегин брезгливо отстраняется от того, что ему приходится не по вкусу, а Вельский, как Чацкий, всем и каждому в глаза высказывает свои мнения, и язык у Вельского, по словам одной старушки, „как иголка“. „Он, — замечает автор, — не боялся «мыслить вслух», всегда с наклоном к сатире“. С Ленским сближает его то, что он „красавец“ и поэт. Впрочем, облик Вельского не дорисован. В четвертой главе он является в роли пресыщенного сердцеда, что мало мотивировано предыдущими главами. Попытка дать историю молодого дворянина, получившего несколько иное воспитание, чем Онегин, менее блестящее, но более систематическое, осталась незаконченной.

VII

„Признание на тридцатом году жизни“ Платона Волкова

Три подражания „Онегину“, вышедшие в Москве вслед за „Евгением Вельским“, в 1828—1831 гг., отдельными брошюрками и представляющие собою только первую главу, за которою не последовало второй, различаются между собой прежде всего по степени подражательности, законченности главы и основной ориентировке. Два автора, кроме общего заглавия произведения обозначают отдельным заглавием первую главу: Ивелев (Великопольский), озаглавив повесть „Московские минеральные воды“, называет первую главу „Консилиум“; Н. Н. Муравьев роман „Ленин или жизнь поэта“ начинает главой „Котильон“. Третий автор — Платон Волков — обещает не роман, а только повесть в стихах и потому, может-быть, считает неудобным озаглавливать особо главу.

Из этих трех произведений более самостоятельным является повесть Великопольского; наиболее беспомощным — Н. Н. Муравьева, который был автором также „Киргизского Пленника“, очень неудачного подражания „Кавказскому“.

Судя по другим его стихам, Платон Волков в своей повести „Признание на тридцатом году жизни“ был в гораздо большей степени подражателем Жуковского, чем Пушкина. Это отразилось на его восприятии пушкинского „Онегина“. Молодой человек бесцельно тратил свою жизнь, предаваясь наслаждениям любви. Могло ли это пройти безнаказанно? Когда-нибудь должна была наступить минута раскаянья и жажды исповеди: „Признание на тридцатом году жизни“. Конечно рассказ ведется от первого лица. Первые две строчки — перифраза начальных строк „Шильонского узника“ Жуковского.

Жуковский:

Взгляните на меня: я сед,
Но не от старости и лет

Пл. Волков:

Мне двадцать девять только лет,
А я, друзья мои, уж сед.

Далее герой Волкова объясняет:

Я рано жизнью наслаждался,
Небрег здоровья своего,
Грешил, — грешил, — и для того
Теперь покаяться решился

Мать Вадима Лельского (так зовут героя) имела непобедимую страсть к чтению романов „она их прелестью звала, от них была в очарованьи, любила их душой“. И имя „Вадим“ заимствовано было из любимого романа, иначе бы героя звали бы по традиции их старинного дворянского рода Иваном. Мать умерла, когда ребенку было 5 лет. Далее повествование развивается по плану первых глав „Онегина“: 1. Отец героя. 2. Воспитание героя. 3. Вступление в свет и образ жизни. 4. Переезд в деревню, в имение, полученное по наследству от отца. 5. Образ жизни в деревне. 6. Знакомство с помещицей семьей Чариных, где младшая дочь Полина приковывает к себе внимание героя. На этом первая глава кончается. Вторая, обещает автор, появится в том случае, если читателям понравится первая.

Рассмотрим, как Платон Волков по чужой канве и часто чужими нитками вышивал собственные узоры.

Большое внимание уделяет он отцу героя: в противоположность отцу Онегина, который, „служба отлично благородно“, жил в столице и принадлежал, повидимому, к образованному дворянству, отец Лельского был рязанский помещик, богатый, но невежественный, учившийся, что называется, на медные деньги.

Отец мой... то есть: Моп рара...
Имел не много дарованья;
Он от приходского попа
Заимствовал свои познанья.

Научился он очень немногому, но пользовался уважением за знатность рода и богатство.

Читал гражданскую печать,
По нужде даже мог писать,
Псалтир он знал от слова в слово,
Умел на счетах верно класть,
Живал в губернии рязанской
И вписан в книге был дворянской
В почетную шестую часть...

Он „имел пять тысяч душ крестьян“, был хлебосол; любил звать гостей на обед, где шла усиленная выпивка, и старик Лельский, где сидит, там и уснет. „И батюшку уж еле-еле уложат слуги на постели“.

Сам герой Вадим Лельский получил воспитание во французском пансионе.

В училище у де ля Шеза
Я был изрядная повеса;

Уроков никогда не знал,
 За то прелестно танцевал.
 Я строен был, красив собою,
 И дамы, посещая нас
 Всегда по четвергам — в танц-класс —,
 Как куклой любовались мною;
 И хоть тогда я молод был,
 Но ласки дамские любил.

Но кончились годы ученья, „ударил... час свободы“ и юноша „принял во владенье отца покойного имень“. Будучи с детства записан на службу, герой наш получал чины и награждения, но, получивши наследство, бросил и эту номинальную службу, вышел в отставку и начал проживать „до гроша“ тысяч сто годового доходу. Все усилия его были направлены на то, чтобы „следовать законам моды“:

Для лучшего лицу убранства,
 Для щегольства и для красоты,
 Не брил по вольности дворянства
 Мои кольчатые усы.
 Я щеголь был первостатейный,
 Всегда костюм носил затейный...

Далее идет перечисление модных портных, парфюмеров, сапожников и т. д. — все иностранцы, у которых Вадим Лельский заказывал свои наряды. Гордился он также своими выездами: имел „экипаж отменный“, и роскошью задаваемых обедов, и изысканностью блюд. Имел пристрастие к театру, но сожалел, что театр подружился „со вкусом черни“.

Пушкинские строчки о блаженстве тех, „кто странным снам не предавался“ и т. д. находят почти полный пересказ своими словами у Платона Волкова. И только одно слово, взятое нами курсивом не в духе пушкинского романа, а свое платоново-волковское.

Блажен, блажен, кому судьбами
 Душа не пылкая дана;
 Кто не знакомился с мечтами.
 Кто карт не знал, не пил вина,
 И с грешниками не дружился;
 Кто не истратился душой,
 Кто бы по виду холостой,
 Или по выгодам женился и т. д.

Затем идет абзац, помеченный цифрой XXVIII, — пожалуй, наиболее удачное место в повести.

Таков был мой знакомый Чарин
 Давно забывший суеты,
 И променявший все мечты,
 Как настоящий русский барин, —
 Я разумею в старину —

На триста душ и на жену.
 Отцов храня обычай древний,
 Не расставался он с деревней,
 И там воспитывал гусей,
 Баранов, уток и детей.

Младшая дочь Чарина Полина воспитывалась у тетки в Москве и „даже там, в рассаднике прелестных дам, она красой своей блистала“. Когда она вернулась к отцу, тот, „платя приличью дань, явился с дочерью в Рязань“, и в Рязани в театре встретил ее Вадим. Любопытно объяснение автора, почему он назвал свою героиню Полиной. Вслед за Пушкиным, который обратил внимание читателей на выбор им для героини имени Татьяна, многие подражатели стали производить оценку имен своих героев. Волков говорит:

Полиной я назвал. — Не смея
 Назвать по-русски: Пелагея:
 Наш век, не то, что старина,
 Не терпит эти имена.

Вадим Лельский имеет с Онегиным только поверхностное сходство, это, как-бы раскрытие строчки „как *Dandy* лондонский одет“ и некоторых других. Но Вадим не „сердцеед“, и вообще психология его совсем не показана.

В „Московском Телеграфе“ Вадим Лельский определен был почему-то словом „шалун“, что в данном случае совершенно не подходит, так как в герое Платона Волкова много тщеславия, хвастовства своим богатством, но нет никакой резвости и никаких проказ.

Вот эта рецензия „Московского Телеграфа“ (1828, 14, стр. 290):

„Еще подражание Евгению Онегину: описание проказ какого-то шалуна; первая глава, издаваемая отдельно; Ч а р и н ы вместо Л а р и н ы х; выпускные строфы и проч. и проч. Жаль, потому что по некоторым стихам в авторе заметен талант.“

VIII

Подражания Н. Муравьева и Ивелера (Великопольского)

Как повесть Платона Волкова, так и „Котильон“ Н. Н. Муравьева и „Консилиум“ Ивелера (Великопольского) принадлежат к тем произведениям, где сказывается влияние не только первой, но и второй главы „Онегина“: герой стоит ближе к Ленскому, чем к Онегину. Самая фамилия „Ленин“ у Муравьева невольно сближается с Ленским. Муравьев сам подчеркивает эту близость. Его герой танцует „как Ленский Пушкина живой“. По свойству всех почти подражателей упрощать и вульгаризировать, Муравьев в характеристике пушкинского Ленского — „красавец в полном цвете лет, поклонник Канта и поэт“ — оставил в стороне Канта: остались „красавец“

и „поэт“. „Богат, хорош собою, Ленский везде был принят, как жених“ — это повторено с точностью. Муравьевский Ленин завидный жених для всех уездных матушек и дочек; но приезжает он не „из Германии туманной“, а всего только из Москвы, где блистал в высшем свете, как щеголь и танцор. Поэт он не заурядный, а совершенно исключительный; по уверению Муравьева, герой его без сожаленья отдал на съедение критикам свои „дивные творения“. Но образцов творчества своего поэта, как это сделал Пушкин по отношению к Ленскому, Муравьев не дает, вполне понятно почему: слишком большую ответственность он на себя бы взял. И читатели остаются в неведении, что это за „дивные творения...“ Но автор вообще постарался сделать своего героя несколько загадочным в духе героев романтических поэм. Если Платон Волков пришел к Пушкину через Жуковского, то Н. Н. Муравьев, подражая реалистическому роману Пушкина, все еще находится под обаянием пушкинских же романтических поэм. Поэтому Муравьев совершенно игнорирует происхождение и воспитание героя — ведь ни о „Кавказском Пленнике“ ни об „Алеко“ мы ничего подобного не узнаем. Также совершенно не мотивирован отъезд героя из Москвы в город *** (рецензент предполагает, что надо читать Тамбов); по воле судьбы почему-то ему пришлось покинуть Москву... Читатель вправе предполагать, что, очевидно, не по своей воле. Реалистическая повесть требует указания реальной причины. Так, например, у Платона Волкова приезд Лельского, как и Евгения Онегина, мотивирован получением наследства.

Совершенно иначе преподнесен поэт Великопольским: барон Велен (в „Консилиуме“) — поэт сентиментальный, в духе Геснера. Автор приводит образчик его стихов. Наружность Велена не подходит к обычному представлению о сентиментальном поэте: он не бледен, не томен. Это здоровяк, которому более подходило бы писать удалые стихи в духе Дениса Давыдова или Языкова. На этом несоответствии основан комизм произведения. Другой источник комизма — мнительность этого человека, от которого пышет здоровьем: он считает себя больным. Созывается консилиум докторов, которые долго ждут пациента: но Велен — поэт и мечтатель; во время прогулки он так замечтался, что несколько раз вынимал часы, не пора ли ехать на консилиум и каждый раз клал их обратно, в рассеянии так и не посмотревши, который час. Попутно дается несколько комических фигур докторов, приехавших на консилиум. Автор, очевидно, ни на что серьезное и не претендовал: дальше легкой шутки замыслы его не шли. Но своему роману он предпослал длинное, витиеватое предисловие своей „будущей невесте“, наполненное, по определению „Северной Пчелы“ (1831, № 151), „шутками легкими, как пляска слона“, а по отзыву „Гирлянды“ (1832, № 14, стр. 349) „написанное довольно забавно“. Журнал „Гирлянда“ посмотрел на „Консилиум“ именно, как на шутку. И потому говорит: „Мы с удовольствием прочли сию книжку“.

Но другие журналы обрушились на автора. Насмешка Великопольского направлена не столько против докторов, которые взяты, как фигуры второстепенные, сколько против главного героя. Возьмем хотя бы такие строки:

Но уж три четверти второго,
И каждый стал из докторов
Его спрашивать: каков?
Сам мысля, глядя на больного:
Ах, еслиб я был так здоров.

Конечно, это насмешка не над докторами, а над больным. Далее поясняется в чем дело:

А точно болен был барон:
Болезнь ужасная: здоровье.

Когда доктора заперлись в кабинете для совещания, барон „от недуга, между дел, подсев к трепещущей кухне, спросил котлетку и поел“ В другом месте узнаем про Велена:

Он одного хотел: любить,
И с мыслью полною мечтою
С душой исполненной огня,
Скучал от сердца пустотою...

Вообразив себя новым Стерном, он „вздыхая, мечтал и сочинял“.

Всякий денди больше всего боится попасть в комическое положение, а Великопольский своего Велена старается сделать смешным. Автор говорит про Велена: „мой читатель легко заметит... что он и жалок и смешон“. Если к этому прибавить указание, что Велен живет в том кругу, „где вся работа: есть да пить“, то повесть „Консилиум“ Великопольского приобретает и общественное значение. Велен приехал с берегов Волги в Москву лечиться, вообразив себя больным. Рабочий человек о таком субъекте сказал бы: „с жиру бесится“, что он мог бы сказать, впрочем, и об Онегине.

Надо еще отметить, что „Московские минеральные воды“ написаны были на злобу дня. Под тем же заглавием в „Московском Вестнике“ за 1828 г. (№ XIV) помещено было описание „Московских минеральных вод на Остоженке“. Они были местом встреч московского бомонда. Не столько лечились, сколько показывали свои наряды и флиртовали. Недаром и слово „лодырь“ произошло от доктора Лодера, организатора одного из таких великосветских лечебных заведений.

IX

Отрывки из ненапечатанных романов и повестей в стихах

Изображая светского молодого человека и при этом обкрадывая „Евгения Онегина“ во внешнем облике и деталях повествования, почти

все подражатели вносят что-нибудь свое, или в профессию, или в социальное происхождение, или в воспитание героя. Большинство авторов идут тут по линии упрощения и снижения. Очевидно, по их мнению, Онегин был бы привлекательнее, если бы он был не штатский, а военный — гусар или кавалергард, — и не человек равнодушный к ямбам, а, наоборот, сам поэт. Такой герой был бы понятен читателям, упрощая вместе с тем задачу сочинителя. Один из подражателей, А. Северинов, начал первую главу своего романа „Владимир и Анета“, по образцу „Евгения Онегина“, размышлениями героя, причем тема этих размышлений, очевидно, вдохновлена пушкинскими строками: „бывало, он еще в постели, к нему записочки несут“:

„Нет, надоел мне белый свет
И с маскарадами, с балами!
В нем счастья прямого нет!“
Так, с полусонными глазами
Держа записочку в руках,
В халате, в желтых сапогах,
Владимир Стрельский на диване,
Усталый, лежа рассуждал.
„Охота париться как в бане,
Вертись, покуда не упал.
Теперь с постели только встал,
Еще на вечер приглашают.
А я, того они не знают,
Что сряду ночи три не спал:
Но отказаться невозможно:
Хоть нехотя, а поезжай,
День целый мучься и зевай,
А ночью не уснуть как должно.“

Далее автор объясняет, что Владимиру, корнету-кавалергарду, 18 лет, что он „собою прекрасен и очень мило танцевал...“, имеет огромный успех у женщин: „весь девичий легион... в него без памяти влюблен“. По его милости „мужья часто жен бросали“. Его отец, „знатный“ дворянин, всегда жил в Петербурге, „не помню где служил“, — бросает небрежно автор. Владимир рано лишился матери, воспитан был приглашенным за тысячу в год *monsieur Furet*; далее перечисляется, что он знал по истории, по французской словесности; сам сочиняя стихи девушкам в альбомы и т. д. Так как отец женился во второй раз, и мачеха оказалась драчливой („служанок бьет всех без пощады“, доставалось и слуге Владимира) и ворчливой, Владимир не захотел жить в родительском доме, поступил в кавалергарды, через год был произведен в корнеты и был в восхищении от корнетского мундира.

Он в день пятнадцать, двадцать раз
В мундир военный одевался,
И перед зеркалом стоял,

То галстух выше подымал,
 То опустить его старался,
 То шпагу, шпоры поправлял,
 И недовольным оставался.
 Так точно иногда поэт,
 Стихами новыми прельщенный,
 Пять раз на дню их перечтет,
 Напишет чище, изорвет,
 И, снова ими восхищенный,
 В цензуру строгую несет.

На этом кончается отрывок, помещенный в журнале „Славянин“ (1830, ч. 13, № 1). Ни о какой Анете нет, еще и помина.

Снижение героя и всей среды может выражаться в переносе места действия в провинцию. Позднее, в повести Фомы Вахрушева „Гусар“, вышедшей в Москве в 1846 г., „хорошенький“ Евгений Алинин, молодой гусар, блистает своей формой и покоряет женские сердца в глухом уездном городишке, танцуя в гостях у исправника, городничего, лекаря, аптекаря и у двух купцов. Повесть написана онегинской строфой, но в разных отношениях довольно слаба. Лучшее место — описание танцев.

Музыка русскую играет;
 И танцевать желает всяк,
 И вот всех прежде начинает
 Гусар с Еленой вальс-казак.
 За ними гости. Шум и топот,
 Танцующих невнятный шопот;
 Фигуры до конца одне —
 Как это все приятно мне.
 Во всем какая-то свобода
 И удаль чудная видна, —
 И все же это старина.
 А впрочем жаль, что нынче мода,
 Французских полек возлюбя,
 Забыла, вальс-казак, тебя.

Особенный интерес представляют попытки вывести дворянина не родовитого, представителя „новой знати“, „дворян по кресту“. Так, у Башилова в повести „Гусар“ („Памятник Отечественных Муз“, 1828):

На эту пору, в их соседство
 Для получения наследства
 Приехал новый господин,
 Новокрещеный дворянин.

„Актер парижский“, „шарлатан“ приехал в Россию „с запасом без гроша в театре прыгать антраша“. Он скоро втерся в дома, оборочил какую-то рафиню и женился на ней.

И в их-то сыне мой читатель
 Увидит шалостей пример.
 Он был Ловласа подражатель
 И словом — модный кавалер.
 Поклонник шумных котильонов,
 Киприды баловень прямой,
 Умножил скоро он собой
 Число мужей-амфитрионов.
 И много счастливых семей
 Лишил покоя прежних дней.

Он был „мудрец недоученый, зато весьма ученый враль“.

Из обольстительных обманов
 Составил он для жизни план.
 И жизнь его из всех романов
 Была опаснейший роман:
 В речах обманчивая нежность
 Всегда затейливый наряд,
 И дерзкий тон и хитрый взгляд
 И в обращении небрежность, —
 Вот все, что он употреблял,
 Когда понравиться желал.

В „Сыне Отечества“ за 1831 г., № XV, помещен был „Отрывок из безыменной повести“ Василия Горкуши. Отрывок состоит из „Предисловия“ и „Письма первого“ героя повести, который обозначен NN.¹ Герой повести молодой чиновник из „новой знати“.

Париж по красоте лица,
 Но с модно-жесткою душою
 Он свет увидел над Невой,
 Под кровлей царского дворца;
 Не отыскавши родословной,
 Я разузнал издалика,
 Что был он сын — и сын законный —
 Придворного истопника:
 Что истопник в чины пробрался,
 Жил, нажил дом, а все служил...
 Потом с столицей распрощался,
 Дом продал и крестьян купил;
 Устроил мило деревеньку,
 Соседей добрых угощал,
 Пахал, менял и торговал,
 И со дня на день помаленьку
 Скопил изрядный капитал.

¹ В. М. Жирмунский ошибочно приписал безыменную повесть не Горкуше, а неизвестному, скрывавшемуся будто бы под инициалами NN.

У сына его не было гувернеров-французов. Воспитывался он домашним отцом в строгости, „учился мало, знал немного“.

Спознавшись с горем — по наслышке,
И по ландкарте зная свет,
А добродетели — по книжке,
Он был невинным, как поэт;
Когда ж обрил усы впервые
И через связи родовые,
Без службы — регистратор стал:
То с божим благословеньем,
Служить в столицу прискакал...

В письме к приятелю он описывает свои впечатления от северной столицы: „модно-жесткая душа“ его ни в чем пока не проявляется. На этом и оканчивается пока отрывок.

Отрывки из повестей в стихах Бартдинского и Косяровского, напечатанные в журналах, слишком малы, чтобы по ним судить об авторских замыслах, но одно в них несомненно: героини этих ненаписанных повестей должны были походить на пушкинскую Ольгу, а не на Татьяну.

В отрывке из повести И. Косяровского „Именины“ („Северный Меркурий“, 1831, № 26) находим такие строки:

Пусть Ольга Пушкина румяна
И потому не так мила,
Как часто грустная Татьяна
Прелестной бледностью чела,
Но вас любовью идеальной
Поэт увлек, читатель мой,
Он как волшебник над душой,
И вы с Татьяною печальной
Забыли Ольгу... Но она
В Алине будет вам видна.

Не Татьяну, а Ольгу напоминает и Фанни, героиня в повести И. Бартдинского „Роман моего отца“ („Памятник Отечественных Муз“, 1828, стр. 233—235; „Фанни“, отрывок из повести „Роман моего отца“)-

Предмет любви, предмет желаний,
Всегда невинна и мила,
Самой беспечностию Фанни
Среди подруг своих цвела
Чужда забот, чужда печали,
В поре семнадцатой весны
Ее груди не волновали
Любви мечтательные сны.
Среди пиров и в шуме света,
Она душой была чиста,
Как вдохновение поэта,
Любви задумчивой мечта.

Ср. у Пушкина: „Как мысль поэта простодушна, как поцелуй любви мила“.

Подведем некоторые итоги.

1. До появления в печати последней главы пушкинского романа (1832) подражали главным образом первой главе, отчасти второй и пятой, где вызывали на подражание картины помещичьего быта и характеристики Ленского и Ольги.

2. Только два подражания: „Сашка“ Полежаева и „Консилиум“ Великопольского имеют законченный смысл. В остальных еще не нащупывается костяка сюжета, в лучшем случае (у Пл. Волкова и Муравьева) повествование кончается первой встречей героя и героини.

3. Из первой главы пушкинского романа наибольший успех у подражателей имели начало: — дорожные размышления героя, и концовка: обращение автора к читателю или критикам по поводу законченной главы. Заметное внимание уделяется также характеристике отца героя, рассказу о воспитании героя и особенно описанию его беззаботной жизни и успехов в обществе.

4. Герой часто походит на Ленского, но очень мало на Онегина, героиня — на Ольгу, но не на Татьяну. Образы Онегина и Татьяны „не дошли“.

5. Герой обычно не петербуржец, а москвич, а еще чаще провинциал.

6. Неслужащий молодой дворянин заменяется чаще всего или гусаром или студентом. Обычно он красавец и пишет стихи.

7. Онегинская строфа усваивалась с трудом.

8. Пушкинский роман понят был как призыв к реальному изображению действительности, конкретнее — к изображению дворянского быта. Подражание это как бы „голоса с мест“ в ответ на этот призыв. И голоса эти доказывали, что Онегин, представитель столичной верхушки дворянства, не был типичен для кондовой помещицкой Руси, которая, судя по этим „голосам с мест“, оказалась проще, грубее и невежественнее, но она тянулась за столицей.

9. При всех своих недостатках, а иногда и полной художественной беспомощности, эта безвестная армия подражателей, бесславно погибшая на полдороге к цели, была все же положительным симптомом, как отход от романтических поэм, которых в эти годы появлялось гораздо больше, как освоение новых путей творчества.



МИКАЭЛЬ РАФИЛИ

ПУШКИН И МИРЗА ФАТАЛИ АХУНДОВ

I

Столетие смерти Пушкина—крупнейшая дата в истории русской литературы. Но ограничить значение Пушкина национальными рамками, одной только русской литературой,—это значит умалить его величие и поэтический гений, не понять и не дооценить его мировое значение, не видеть того почетного места, которое заслуженно занимает художественное наследие Пушкина в истории всемирной литературы.

Об этом ясно и убедительно говорит нам и необычайная популярность поэта среди самых широких масс читателей многочисленных народов Советского Союза.

Первый сборник переводов Пушкина на тюркский язык был издан в 1868 г. Пятидесятилетие со дня смерти и столетие со дня рождения поэта возбудили большой интерес к творчеству Пушкина в Азербайджане.¹ Один из крупнейших поэтов Азербайджана, Сеид-Азим Ширвани, посвятил его памяти стихотворение. К концу прошлого столетия на тюркский язык уже были переведены повести „Дубровский“ и „Барышня-Крестьянка“—М. Г. Эфендиевым; Фридун-бек Кочарлинский перевел „Сказку о рыбаке и рыбке“ и „Песнь о Вещем Олеге“. Ряд небольших стихотворений был переведен Ахмед-беком Джаванширом.²

Талантливый буржуазный поэт-романтик Аббас Саххат—переводчик Альфреда де-Мюссе, Лермонтова и Некрасова, издал в 1911—1912 г. два небольших сборника под названием „Западное Солнце“,³ где был помещен ряд прекрасных переводов из Пушкина, в том числе отрывок из поэмы „Цыганы“. В тюркской периодической печати время от времени появлялись и другие переводы Пушкина на тюркский язык.

¹ Мамедтаги Сидги Орлубади. „А. С. Пушкин. Речь, произнесенная на торжестве 6 мая 1899 года в Нахичеванской школе“. Издана впоследствии в Баку, в 1914 г.

² Ф. Кочарлинский. „Литература Азербайджанских татар“, Тифлис, 1903, стр. 53.

³ „Западное Солнце“. Сборник стихотворений русских писателей. 1 и 2 выпуски. Перевел с русского языка Аббас-Саххат, 1911—1912, Баку.



Мирза Фатали Ахундов.
(С современной литографии).

Особенно вырос интерес широких тюркских читательских масс к великому поэту после апрельской революции 1920 года. Переход на новый тюркский латинизированный алфавит, необычайный рост грамотности населения и жажды знаний выдвинули в Азербайджане как большую культурную и политическую задачу — издание лучших произведений русской и мировой классической литературы.

За 15 лет существования Советского Азербайджана, Азернешр (Азербайджанское государственное издательство) выпустило на тюркском языке в больших тиражах ряд произведений корифеев мировой литературы. Из произведений Пушкина в переводе на тюркский язык изданы: „Капитанская Дочка“ (А. Джавад), „Дубровский“ (А. Эфендиев), „Арап Петра Великого“, „Повести Белкина“, „Борис Годунов“ (в переводе поэта Саид Ордубади), „Цыганы“ (М. Мюшфик), „Бахчисарайский Фонтан“ и ряд других произведений. О большом интересе к творчеству Пушкина говорит и недавно вышедшее второе издание „Капитанской Дочки“ и „Повестей Белкина“.

Один из крупных и талантливых тюркских поэтов Самед Вургун Векилов печатает перевод „Евгения Онегина“. К столетнему юбилею Азернешр готовит двухтомник произведений Пушкина. Азербайджанский филиал Академии Наук СССР издает монографию о творчестве поэта.

Эти факты несомненно свидетельствуют о громадном значении творчества Пушкина для литератур братских народов Советского Союза и в частности Азербайджана.

Но это только одна сторона вопроса.

Есть еще другая, мало изученная, мало знакомая, но со всей ясностью говорящая о том, что солнце пушкинского гения еще задолго до революции озаряло путь лучших передовых людей народов Востока.

Гибель великого поэта заставила вздрогнуть сердца не только лучших людей старой царской России. Не один Лермонтов отозвался с глубоким возмущением на убийство Пушкина. Смерть поэта нашла свои печальные отзвуки и в стихах ряда других поэтов — современников и близких друзей Пушкина, но среди всех этих сравнительно бледных и незаметных стихов „На смерть поэта“ Лермонтова блеснуло как молния, рассекая мрак тупого равнодушия николаевской России. Бичующий стих мятежного Лермонтова прямо указывал на подлинных убийц поэта, чью „праведную кровь“ не могли бы смыть всей своей „черной кровью“ царские вельможи.

Одновременно с Лермонтовым, далеко за кавказскими горами, в тихом полувосточном городке, откуда велась со всей жестокостью и беспощадностью кровопролитная завоевательная колониальная политика в Закавказье, выступил другой, „еще неведомый избранник“, с „восточной“ поэмой на смерть Пушкина.

Это было в Тифлисе, в самом начале 1837 г. Автором этой элегии был юный тюркский поэт Мирза Фатали Ахундов—в будущем крупнейший писатель и общественный деятель Азербайджана. И не случайно переводчиком этой замечательной поэмы оказался друг Пушкина—декабрист Александр Бестужев (Марлинский).

II

Знаменитый тюркский писатель, основатель азербайджанской драматургии и театра, поэт, философ, крупнейший общественный деятель ближнего Востока, впервые выдвинувший идею нового алфавита, поднявший свой голос против фанатизма, религии, духовенства, суеверия, деспотического строя восточных стран, затворничества женщин, Мирза Фатали Ахундов является одним из замечательных современников Пушкина.

Ахундов родился в 1812 г. в городе Нухе, в семье крупного ахунда. Отец его, Мирза Мамед-Таги—выходец из персидского Азербайджана—был старшиной местечка Химне вблизи Тавриза. В 1811 г., он в торговых целях прибыл в город Нуху и, поселившись там, женился вторым браком на племяннице известного нухинского духовного лица—ахунда Гаджи Алескера. После рождения Фатали, Мирза Мамед-Таги перебрался со своей семьей обратно на родину, в Иран. Но Фатали не долго пришлось жить со своим отцом. Вскоре мать будущего писателя развелась с мужем и переехала к своему дяде Гаджи Алескеру. В 1825 г. Гаджи Алескер вместе с Фатали переехал в Нуху.

Гаджи Алескер усердно взялся за воспитание юного Фатали. Чтобы подготовить его к духовному сану, Гаджи Алескер стремился дать ему религиозное образование, учил его корану, арабскому и персидскому языкам и средневековым восточным наукам. Приемный отец Фатали считался в Нухе самым образованным ахундом, владеющим схоластической наукой Востока. Свои глубокие познания в этой области он постарался передать любознательному и способному мальчику.

Когда в 1826 г. вновь вспыхнула русско-персидская война, семья Гаджи Алескера находилась в Гандже. Под кровавым натиском карательных полчищ, после тяжелой и неравной борьбы пали последние владельческие могикане феодального Азербайджана. Царская Россия надолго наложила лапу на провинции Азербайджана, превратив его в одну из своих колоний.

Война принесла разорение Гаджи Алескеру. Его имущество было разграблено завоевателями, и Гаджи Алескер окончательно переехал в Нуху, где продолжал работать над образованием своего приемного сына. Мирза Фатали уже научился свободно говорить на арабском и персидском языках. К этому времени Гаджи Алескер предпринял путешествие в святые места—Мекку. На время своего отсутствия он отvez Мирза Фатали в Ганджу и оставил его у ученого ахунда Молла Гусейна,

который стал преподавать юноше арабскую логику и другие науки. Встреча с поэтом Мирза Шафи, ставшим известным в Европе благодаря переводам Фридриха Боденштедта,¹ раскрыла глаза будущему писателю, и он, отказавшись от священнического сана, решил посвятить себя изучению русского языка и русской литературы.

По возвращении отца, Мирза Фатали в 1833 г. поступил в открывшееся тогда в Нухе казенное училище, но после одногодичной учебы был вынужден бросить его. Мирза Фатали был уже взрослым юношей, и его годы не подходили к уставу школы.

В 1834 г. отец Мирза Фатали повез его в Тифлис, где благодаря своим связям устроил его помощником переводчика восточных языков в канцелярии главноуправляющего гражданской частью на Кавказе барона Розена.

С этих пор начинается подлинная жизнь Мирза Фатали. Молодой писатель попадает в совершенно чуждую, незнакомую ему обстановку. Он быстро ориентируется в ней и посвящает все свободное время изучению русского языка, чтению Ломоносова, Державина, Пушкина и других русских и европейских классиков. На ряду с этим Мирза Фатали берется за изучение истории, географии и быта Европы и России.

Обогащенный новыми знаниями, ознакомившись с совершенно новым для него миром, Мирза Фатали начинает смотреть на действительность иными глазами, чувствует отсталость, темноту и невежество своего народа и решает посвятить всю свою жизнь борьбе за светлую, свободную и культурную жизнь своей родины.

Видя в арабском алфавите, навязанном азербайджанским тюркам исламом, главный тормоз в распространении просвещения и образованности среди народа, Мирза Фатали принимается деятельно и активно бороться за реформу алфавита, составляет проект новой азбуки, пишет публицистические статьи и брошюры, едет с целью агитации за новый алфавит в Стамбул к турецкому султану, направляет свой проект через русское консульство к шаху Ирана, но все безуспешно: султанская Турция и консервативно-феодалный Иран отнеслись к его реформам с сомнением и отклонили его проекты.

Одновременно с этим Мирза Фатали пишет первые драматические произведения на тюркском языке. В 1853 г. в Тифлисе выходит сборник переводов комедий Ахундова на русский язык.² В росте этого крупного писателя определенную роль сыграло и его литературное окружение в Тифлисе (А. А. Бестужев, Я. П. Полонский, граф В. А. Соллогуб, армянский писатель Хачатур Абовьян, ориенталисты Адольф Берже, Ханьков и др.).

Произведения Мирза Фатали Ахундова — „Медведь, победитель разбойника“, „Гаджи Кара“ („Скупой“), „Мосье Жордан“, „Алхимик“, „Визирь

¹ „Lieder des Mirza Schaffi“ и „Tausend und ein Tag in Orient“.

² „Комедии Мирзы Фет-Али Ахундова“, Тифлис, 1853.

Ленкоранского ханства“, „Адвокаты“ и повесть „Обманутые звезды“ — переводятся на английский, французский, немецкий, персидский и др. языки. Имя Мирза Фатали появляется в европейских изданиях.

В 60-х гг. Мирза Фатали Ахундов увлекается философскими и экономическими науками. Он изучает книги Джона Стюарта Милля, „Персидские письма“ Монтескье, „Историю философии“ Бауэра, „Историю цивилизации в Англии“ Бокля, близко знакомится с философией Вольтера, Дидро, барона Гольбаха и других материалистов XVIII в. Результатом всей этой упорной работы явилось ценнейшее философское и политическое произведение Ахундова „Переписка индийского принца Кемалуд-довле и персидского принца Желалуд-довле“ и ряд других критических и публицистических статей.

В трактате „Переписка индийского принца Кемалуд-довле и персидского принца Желалуд-довле“ автор дает в весьма интересной и новой в тюркской литературе форме (очевидно, заимствованной из западной литературы) писем, написанных приехавшим после продолжительного путешествия по Европе и Америке в Иран индийским принцем Кемалуд-довле и ответов Желалуд-довле, находящегося в Каире, — блестящую критику основ исламизма и религиозных учений, деспотического феодального государства, правящей аристократической верхушки Ирана, рисует ужасающие картины восточного деспотизма, обмана и продажности мулл, нищету, беззаконие, невежество и рабство народа.

Всю силу своего талантливое пера Ахундов направляет на разоблачение феодального мира и феодальной идеологии, политического и экономического состояния тогдашнего Ирана. Глубокая критика старого мира талантливо переплетена с проповедью материалистических идей.

Ахундов указывает путь к освобождению народа от варварства и деспотизма, видит его в европейской цивилизации, в ликвидации деспотического строя, в установлении европейской государственности на конституционных началах. На ряду с этим он со всей резкостью выдвигает идею протестантизма, коренной реформы ислама, как временную меру в борьбе с религией вообще, которую Ахундов считает „легендой и пустыми разговорами“.

Если сравнить эти взгляды Ахундова с писаниями передовых мыслителей тогдашней Европы, то невольно может броситься в глаза некоторая ограниченность его взглядов, диктовавшаяся неизмеримой отсталостью Азербайджана, невежественной и забитой колонии русского царизма, слабостью буржуазных прослоек. Недостаточная революционность его взглядов была продиктована классовой ограниченностью его мировоззрения. Книга Ахундова явилась тем не менее крупнейшим шагом вперед в истории мусульманского Востока. Критика иранского деспотизма и мусульманской религии, защита конституции, выступление против духовенства — в середине XIX столетия были актами большого мужества.

Мирза Фатали Ахундов выступает в своих трудах как убежденный материалист. Он выводит свои философские идеи из учения французских материалистов XVIII в., ставит вопрос о существовании бога и перво-причины, решая все это с материалистических позиций. В числе своих учителей Ахундов называет Джелалэдина Руми, Вольтера и „еврея Спинозу“.

В 70-е годы, когда в России подымался революционный шквал, когда на Западе в сердце Франции взвилось пламенное знамя парижских коммунаров, Мирза Фатали Ахундов, отчасти под влиянием этих событий, в своих письмах доходит до революционных выводов, требуя „по примеру Европы“ насильственного свержения монархов, поправших права и свободу народа.

Книги Ахундова несомненно сыграли большую роль в развитии революционного движения на Востоке. „Переписка“ была сильнейшим орудием агитации в руках персидских революционеров конца прошлого столетия. Идеи же латинизации алфавита, раскрепощения женщины Востока, ликвидации деспотического строя, невежества, отсталости, религии и духовенства могли быть претворены в жизнь только после победы пролетарской революции в Азербайджане.

Не случайно, что именно рабочий класс, прямой наследник всего ценного в человеческой культуре, с глубоким уважением отнесся к памяти этого великого азербайджанца, поставив ему памятник в центре столицы АССР — Баку, в годовщину пятидесятилетия со дня его смерти.

Таким образом, посвящение Мирза Фатали Ахундовым „восточной поэмы“ на смерть А. С. Пушкина приобретает еще большее значение, когда читателю становится ясным, кто такой Ахундов, и какое значительное место занимает он в истории культуры Ближнего Востока. Поэма Ахундова говорит не только о его личном отношении к великому поэту. Одновременно, эта поэма наиболее ярко выражает настроение передовых представителей интеллигенции Ближнего Востока и Закавказья в первой половине XIX столетия.

III

Ахундов познакомился с переводчиком поэмы „На смерть Пушкина“ А. А. Бестужевым (Марлинским) в Тифлисе. В Тифлисе Бестужев оставался не долго. „Штрафной офицер“ вскоре очутился в Эрзеруме, в действующей армии, и участвовал в штурме Байбурта. Когда наступило временное затишье, Бестужев некоторое время бродил по Армении, был у подножия Арарата и в Эривани. В Тифлис он вернулся с сильно расшатанным здоровьем. Приезд его в Тифлис совпал с сосредоточением там ряда сосланных на Кавказ декабристов (М. И. Пущин, Н. П. Кожевников, Ф. Г. Вишневский, Е. С. Мусин-Пушкин, Н. Н. Оржиц-

кий и др.). Там же проживали братья А. А. Бестужева — Петр и Павел Бестужевы.

„В зиму 1830 года, — вспоминает декабрист А. С. Гангелов, — случилось, что несколько декабристов, не принадлежавших к Тифлисскому гарнизону, проживали в Тифлисе под разными законными и незаконными предложениями. В ту пору А. А. Бестужев только что выздоровел... В настроении духа декабристов нисколько не замечалось, чтобы они приуныли, чтобы выражали сожаление о том, что жизненные надежды каждого из них им изменили. Где ни встречались, где ни сходились они, начиная с Арзрума, всегда они казались веселыми, приветливыми как между собой, так и с другими“.¹

Александр Бестужев предполагал вздохнуть свободно в Тифлисе и весело провести время среди своих друзей и товарищей. Но его пребывание в Тифлисе вскоре было прервано. Доносы сделали свое дело, и Бестужев был обвинен в том, что он подбивал на ослушивание офицеров. В начале 1830 г. Бестужев был выслан из Тифлиса и переведен в Дербентский гарнизонный батальон, где ему пришлось провести целых четыре года (1830—1834 гг.).

„Я живу, то-есть дышу я, то-есть задыхаюсь я всё в душном Дербенте. Судьба моя неподвижна как Азия“, — писал своим родным в 1833 г. А. А. Бестужев.²

Тем не менее дербентские годы не прошли даром для писателя Бестужева-Марлинского. Особый расцвет его творчества относится именно к этому времени. За эти годы им написаны: „Аммалат-бек“, „Наезды“, „Лейтенант Белозор“, „Страшное гаданье“, „Письма из Дагестана“, „Фрегат Надежда“.

В Дербенте Бестужев сблизился с местным тюркским населением. „Здесь от меня без ума“, говорит он в своих письмах. Местные жители называли его просто Искендер-бек. Бестужев в Дербенте принялся за изучение тюркского языка.

Цель этого изучения не всегда носила невинный характер. „Что за прелесть тот край!.. я был там, но в этот раз врежусь далее, под видом татарина. Я говорю довольно хорошо, чтобы обмануть лезгин. За смелостью же дело не станет“.³

Но это „не мешало“ ему относиться с глубоким уважением к врагам царской армии, в рядах которой боролся с горцами „штрафной офицер“ А. Бестужев.

„Я топтал снега Кавказа, и дрался с сынами его — достойные враги... Как искусно умеют они сражаться, как геройски решаются умирать!“ (письмо к брату).

¹ „Воспоминания“ А. С. Гангелова, М., 1888, стр. 202—205.

² „Русский Вестник“, 1870, кн. VII, стр. 51.

³ Письмо к Полевому от 15 июня 1833 г. „Русский Вестник“, 1861, кн. IV, стр. 446.

Тяжелые дни, проведенные Бестужевым в Дербенте, очень часто прояснялись встречами с местным населением. Бестужев в Дербенте находился со многими в самых дружеских отношениях. Будучи еще в Тифлисе, он близко сошелся с одним молодым ногайским князем Хассай-Мусой, „предобрый и презабавным мальчиком“.¹ Имя этого молодого друга Бестужева встречается в целом ряде его писем к братьям,² в которых он отзывается о Хассасе с большой дружеской теплотой. В этих же письмах упоминается некий Гаджи Кассим (находящийся в Дербенте), общий и близкий друг Бестужева и Хассая-Мусы.

Все это создавало благоприятные условия для изучения Бестужевым тюркского языка. Лингвистические успехи Бестужева дают ему возможность писать Полевому: „новгородское наречие мне знакомо, татарский язык тоже, и потому я могу судить о спорных словах с большей основательностью“.³

О знаниях Бестужева в области тюркского языка можно судить и по материалу ряда его произведений. Бестужев в повести „Мулла-Нур“ ясно показывает свое знакомство с тюркским языком.

„Мулла-Нур“ начинается большим эпиграфом из тюркской народной сказки: „О вахта эди-ки Гиндустан падшахи эглишиб, меджилисында аали зияфат варыды; нече шахзаделяр, нече пеглеванляр, нече везирляр, нече улемляр, дести раст дести растдан, дести чан дести чандан, эглешиб, мешкулядылар“. („В эту пору случилось индийскому царю сидеть в беседе; было у него пирование, великий пир. Сколько царевичей, сколько богатырей, сколько визирей, сколько улем, от правой руки к левой, от левой руки к правой усевшись, промеж собой перемолвливали“).

В этом эпиграфе встречается ряд сложных слов и арабизмов, с которыми мог быть знаком человек, более или менее близко знающий литературный тюркский язык. Это дает нам основание предполагать некоторое знакомство Бестужева и с тюркской поэзией. О тюркской литературе, вернее о дербентских поэтах, упоминает Бестужев и в письме к родным от 15 января 1833 г.⁴ Очевидно, Бестужев, находясь в Дербенте, имел тесную связь с местными тюркскими поэтами, составлявшими в то время значительную литературную группу.

О знании тюркского языка Бестужевым можно судить и по другим материалам. В той же повести „Мулла-Нур“ Бестужев дает довольно грамотные лингвистические объяснения: Мулла Нур, кызыл гюль, чюмче, джам, ураза, дерман, джегеннем, дюрдюст, сюз, иншааллах, герчек диди, инсан дегилми, темис темислярдя, баш урсун, Кербела и других слов.

¹ Письмо брату от 29 декабря 1832 г. „Русский Вестник“, 1870, кн. VI, стр. 523—524.

² Письма от 13 апреля, 12 июня, 30 июля, 30 июля, 3 и 11 августа, 7 сентября и 12 октября 1833 г.

³ „Русский Вестник“, 1870, кн. VII, стр. 47.

⁴ Там же.

Кроме того, Бестужев вкрапливает в свою повесть ряд тюркских песен, поговорок, пословиц, дает их переводы и объяснения. Это можно проследить по целому ряду его произведений, посвященных дербентской жизни.

Интерес к тюркскому языку и тюркской поэзии не мог не свести А. А. Бестужева впоследствии в Тифлисе с Мирза Фатали Ахундовым, тогда уже выдающимся молодым тюркским поэтом.

В Тифлис Бестужев приехал в мае 1834 г. После участия в ряде военных экспедиций, в начале 1837 г. он опять возвратился в Тифлис. Встреча и знакомство его с М. Ф. Ахундовым состоялась именно в это время.

Зная М. Ф. Ахундова как прекрасного знатока восточных языков, А. А. Бестужев выразил желание заниматься с ним тюркским и персидским языками. М. Ф. Ахундов дал на это согласие и некоторое время занимался с Бестужевым.

Частые встречи на уроках сблизили этих двух писателей. Иначе и не могло быть, ибо в таком небольшом городке, каким был Тифлис в 30-е годы, почти каждый житель прекрасно знал другого, и встречи, а также быстрое знакомство были совершенно естественным делом. „Это будет чудесный город со временем, — писал Бестужев о Тифлисе Н. А. Полевому, — это один след победной стопы Европы в Азии, только один. Другие города Закавказья нисколько не глядят Русью; да и в Тифлисе одни стены европейские, все прочее неотмываемая Азия“.¹

Смерть Пушкина сильно взволновала Бестужева: „Я был глубоко тронут трагическою кончиною Пушкина... — писал он своему брату из Тифлиса. — Всякое внезапное несчастье не вдруг проникает в глубину сердца: оно, повидимому, действует только на его оболочку, но через несколько часов, в тиши и уединении ночи, яд горечи вливается внутрь. Я не сомкнул глаз во всю ночь и на рассвете дня был уже на крутой горе, ведущей в монастырь Святого Давида... Придя туда, я призвал священника и попросил отслужить панихиду над могилой Грибоедова, над могилой поэта, попрянутого святотатственными ногами, без камня, без надписи. Я плакал тогда, как плачу теперь, — плакал горячими слезами, плакал над другом и товарищем по жизни, оплакивал самого себя. А когда священник запел: «за убиенных бояр Александра и Александра», я чуть не задохся от рыданий: этот возглас показался мне не только поминовением, но и предсказанием... Да, я сам предчувствую, что смерть моя будет также насильственна и необычайна, и она не далека от меня. Во мне слишком много горячей крови, эта кровь кипит в жилах и не охлаждается годами. Единственная моя молитва — не умереть на одре страданий, либо не пасть на незначительной стычке. В остальном да будет воля провидения. Какая однако роковая судьба тяготеет над поэтами нашего времени. Вот уже трое погибли,² и какую смертью...“

¹ „Русский Вестник“, 1861, кн. IV, стр. 458.

² Рылеев, Грибоедов и Пушкин.

Такою же глубокой и большой скорбью встретил весть о гибели Пушкина молодой Мирза Фатали Ахундов.

Ахундов в то время находился только в преддверии своей будущей славы. С неустанным рвением он изучал классическую русскую литературу, был влюблен в могучего мастера поэтического слова — Пушкина, относился с большим уважением к творчеству Ломоносова, Карамзина и Державина. Он хорошо знал произведения этих писателей, понимал их роль и место в развитии русской литературы. Но больше всех он любил и ценил Пушкина.

Гибель Пушкина глубоко поразила Ахундова, вдохновив его на создание большой элегической поэмы. Поэма была переведена самим автором и представлена барону Розену, бывшему в период 1831—1837 гг. главным управляющим гражданской частью на Кавказе. В канцелярии бар. Розена майор М. Ф. Ахундов служил в качестве переводчика.¹

Вскоре поэма „На смерть Пушкина“ вместе с подстрочным переводом была переслана находящимся в то время в Тифлисе И. И. Клементьевым в редакцию „Московского Наблюдателя“.

Редакция журнала отнеслась с симпатией к этому произведению тюркского поэта, и поэма была немедленно напечатана в XI книге журнала (разрешение цензуры от 14 марта 1837 г.).

Очевидно впад в ошибку, редакция „Московского Наблюдателя“ именует Ахундова „современным персидским <?> поэтом“. Редакция, учитывая достоинства этого раннего произведения Ахундова, напечатала к тексту поэмы следующее примечание:

„Мы получили это замечательное персидское <?> стихотворение вместе с переводом, сделанным по-русски самим автором, от Ивана Ивановича Клементьева, пребывающего в Тифлисе. Вот несколько слов из письма, при котором прислано г. Клементьевым это стихотворение.

„Вам конечно будет приятно довести до сведения публики то впечатление, которое певец Кавказа и Бахчисарая произвел на молодого поэта Востока, подающего во многих отношениях прекрасные надежды. Оригинал нарочно написан арабским шрифтом (курами), как легчайшим для чтения... Я уверен — жестокость <!> и дикость выражения <!> некоторых мест будут извинены достаточно духом Востока, столь противоположным европейскому; сохранить его в возможной верности было главной целью сочинителя при переводе, почти без исправления мною оставленного; и я считал необходимым удержать яркий колорит Ирана и блеск игривый сравнений, иногда более остроумных, чем верных... Неизъяснимо утешительно для сердца русского видеть благотворные следы гражданственности <!> в той части света, где мерцает первая образованность мира, в той стране, где могучая природа расточает свое величие и богатство среди племен,

¹ „Русская Старина“, 1874, кн. IX, стр. 76.

еще гнетомых ярмом страстей диких <!>. И эта гражданственность, это постепенное усмирение бурных сил человека, враждебных природе, обильно изливающей дары свои, совершается русскими“.

„Вполне разделяя чувства г. Клементьева, — продолжает редакция „Московского Наблюдателя“, — и благодаря его искренне за доставление нам прекрасного цветка, брошенного рукою персидского поэта на могилу Пушкина, — мы от души желаем успеха замечательному таланту, тем более, что видим в нем такое сочувствие к образованности русской“.¹ (Курсив наш. М. Р.)

Мы оставляем в стороне замечания Клементьева о „жестокости и дикости выражений“ и „благотворных следах гражданственности“. Но нельзя не заметить, что как в письме Клементьева, так и в примечании редакции „Московского Наблюдателя“ четко проявляется высокая оценка и произведения и самого автора.

Перевод этой восточной поэмы Бестужевым был сделан немного позднее ее написания, незадолго перед смертью самого Бестужева.

В апреле 1837 г. Бестужев находился в Кутаисе. В мае того же года была предпринята военная экспедиция в Абхазию, к мысу Адлера, для подавления восставших цебельдинцев.

Экспедиция находилась под личным начальством главнокомандующего барона Розена. „Участвовал при покорении мыса Адлера“ — отмечено в формулярном списке Мирзы Фатали Ахундова. Барон Розен взял с собою в поход М. Ф. Ахундова, а также А. А. Бестужева, к которому относился благосклонно, и прикомандировал его к грузинскому гренадерскому полку.

Экспедиция барона Розена имела стоянку в Цебельде. После подавления восстания отряд вернулся в Сухум, где он должен был сесть на суда для отправления против других восставших — в горах. За несколько дней до отплытия судов, Бестужев и Мирза Фатали Ахундов обедали у барона Розена. Во время обеда барон Розен обратился к Бестужеву с вопросом: читал ли он поэму Мирза Фатали, и, получив отрицательный ответ, попросил его перевести эту поэму на русский язык при содействии автора.²

А. А. Бестужев, очевидно, в тот же день перевел поэму „На смерть Пушкина“ и отдал перевод М. Ф. Ахундову. Этому переводу суждено было стать последним произведением автора „Мулла-Нура“. Через три дня, высадившись вместе с отрядом у мыса Адлера, Бестужев был убит в перестрелке с черкесами.

В 1874 г. Мирза Фатали Ахундов, перед отъездом проживавшего в Тифлисе ориенталиста Адольфа Берже, передал ему сделанный

¹ „Московский Наблюдатель“, 1837, кн. XI, стр. 397—399.

² „Русская Старина“, 1874, кн. IX, стр. 76

Бестужевым перевод его поэмы „На смерть Пушкина“.¹ В том же году этот перевод был опубликован в „Русской Старине“ с небольшим предисловием Адольфа Берже. Придавая большое значение этому произведению Ахундова, считаем не лишним восстановить в памяти его поэму на смерть А. С. Пушкина.²

НА СМЕРТЬ ПУШКИНА

Не предавая очей сну, сидел я в темную ночь и говорил своему сердцу: О, родник жемчужин тайны! Отчего забыл песни соловей цветника твоего? Отчего замолк попугай твоего красноречия?

Отчего стало, что запал путь твоей поэзии? Отчего стало, что гонец мечтаний твоих остановился?

Взгляни кругом — наступила весна, и все растения красуются юною прелестью словно девы! Берега ручейков, бегущих по лугу, подернулись фиалками. Огненные почки розы вспыхнули в цветниках. Степь изукрашена как невеста: угорье, мнится, собрало все цветы в полу свою, чтобы осыпать ее имя, как драгоценными камнями.

В невозмутимом величии, в короне цветов, как царь, возвышается дерево посреди сада, а лилия и ясмин, будто вельможи, пьют в честь его росу из чашечек тюльпана.

Луг до того ярко блещет ясынями, что от взора на него помутились очи упоенного нарциса. Приветливый соловей несет в дар гостю листик розы.

Готово облако обрызгнуть цветник дождем, а ветерок — отдать ему свое благоухание.

Сладко поют птички: красавица — зелень, прогляни из-под фаты праха!

Все живое знакомо с каким-нибудь художеством — от каждого есть приношение на торжище природы.

Одно величается красотой или пленительными взорами, другое — стенанием выражает любовь свою. Все теперь наслаждается и веселится, распростившись с печалью.

Все, кроме тебя, сердце мое. Не участник ты в общей радости и восторге; не просыпашься ты из безмолвия.

И в глубине твоей нет ни к чему склонности, нет ни к кому любви. Далеко ты от страсти к славе и от мечты поэзии.

¹ Адольф Берже, а также В. В. Каллаш в своей книге „Puschkiniana“ утверждают, что оригинал поэмы М. Ф. Ахундова утерян и не сохранился. И действительно, в тюркской литературе поэма Ахундова известна только по русскому переводу. Правда, предполагают, что поэма сохранилась в отрывках у известного собирателя азербайджанских рукописей и историка тюркской литературы С. Мумтаза. Но, к сожалению, до сих пор мы не могли добиться определенного заявления о поэме Ахундова. Тем не менее, мы предполагаем, что оригинал поэмы все же не утерян и находится в архиве „Московского Наблюдателя“. Это подтверждается и тем, что недавно в материалах Института Литературы была обнаружена рукопись, оказавшаяся подлинником перевода поэмы с комментариями самого автора. Этот перевод был послан в „Московский Наблюдатель“ вместе с оригиналом.

² На нашу просьбу, познакомить нас с текстом перевода этой поэмы, помещенной в издаваемом в Баку собрании сочинений М. Ф. Ахундова, один из составителей, т. Эмин Абид, показал неправильный и сокращенный текст перевода Бестужева (Марлинского). Этот текст — перепечатка из статьи Гришашвили в журнале „Литературное Закавказье“ (Тифлис, 1933, № 1). Считаем необходимым указать на это. Лучшим и более правильным текстом является текст перевода поэмы, опубликованный в „Русской Старине“.

Разве ты не то самое сердце, что погружалось в море мыслей, на ловлю стихов, подобных жемчужинам царским, и дарило целые нити их, в украшение тысячам игривых выражений, будто красавицам?

Откуда же теперь печаль твоя? Не знаю. Для чего теперь ты стенаешь и сокрушаешься, как плакальщица похоронная?

Отвечало на это сердце: Товарищ моего одиночества, оставь меня теперь самому себе.

Еслиб я, наравне с красавицами луга, не ведало, что за вешним ветерком дуют вихри осенние — о, тогда я препоясало бы мечем слова стан наездника поэзии на славную битву; но мне знакомо вероломство судьбы и жестокость этой изменницы. Я предвижу конец мой.

Безумна птица, которая, однажды увидев сеть своими глазами, для зерна вновь летит на опасность!

Что такое гром славы, что такое хвала за доблести, как не отклики звуков внутри этого коловратного свода! Не говори мне о поэзии! Я не знаю, чем это небо награждает своих поклонников.

Разве ты, чуждый миру, не слышал о Пушкине, о главе собора поэтов? О том Пушкине, которому стократно гремела хвала со всех концов света за его игриво текущие песнопения! О том Пушкине, от которого бумага жаждала потерять свою белизну, лишь бы его перо рисовало черты на лице ее!

В мечтаниях его, как в движении павлина, являлись тысячи радужных отливов словесности.

Ломоносов красотами гения украсил обитель поэзии — мечта Пушкина водворилась в ней. Державин завоевал державу поэзии, но властелином ее Пушкин был избран свыше.

Карамзин наполнил чашу вином знания — Пушкин выпил вино этой полной чаши. Разошлась слава его по Европе, как могущество царское, от Китая до Татарии.

Светлотою ума был он любимцем Севера, так как взор молодой луны драгоценен Востоку.

Такого остроумного, такого даровитого сына не рождали доселе четыре матери от семи отцов (т. е. стихии и семь небес).

С удивлением теперь внимай мне: эти родители не устыдились быть к нему жестокосерды.

Прицелились в него смертной стрелой. Исторгли корень его бытия. Черная туча, по воле их, одною градиною побила плод его жизни. Грозный ветер гибели потушил светильник его души. Как тюрьма, стало мрачно его тело.

Старый садовник — свет пересек его стан безжалостною секирою, как юную ветку своего цветника.

Глава его, в которой таился клад ума, волей змеенравного рока стала виталищем змей. Из сердца, подобного розе, в которой пел соловей его гения, растут теперь тернии. Будто птица из гнезда, упорхнула душа его — и все, стар и млад, сдружились с горестью. Россия в скорби и воздыхании восклицает по нем: Убитый злодейской рукой разбойника мира!

И так, не спас тебя от оков колдовства этой старой волшебницы — судьбы, талисман твой. Удалился ты от земных друзей своих — да будет же тебе в небе другом милосердие божие! Бахчисарайский фонтан шлет тебе, с весенним зephyром, благоухание двух роз твоих. Седовласый старец — Кавказ отвечает на песнопения твои стоном в стихах Сабухия.

Этот перевод поэмы М. Ф. Ахундова получил значительную популярность в Закавказье и долго ходил по рукам в рукописном виде.¹

¹ На это указывает и В. В. Каллаш, „Puschkiniana“, вып. II, Киев, 1903.

Сличая подстрочный перевод автора с переводом Бестужева (Марлинского), можно убедиться, что переводчик внес ряд стилистических поправок, но смысл, образы и содержание поэмы совершенно не тронуты.

В поэме чувствуется самая глубокая и искренняя скорбь Ахундова о смерти „главы собора поэтов“. С величайшим уважением и любовью относится автор к творчеству поэта, очаровавшего его „тысячами радужных отливов словесности“.

С глубокой прозорливостью увидел молодой Ахундов мощный гений „песнопения“, и „светлый ум“ Пушкина. Возмущением пылают эти строки: „Россия в скорби и воздыхании восклицает по нем: Убитый злодейской рукою разбойника — мир!“

Может быть, Мирза Фатали смутно и подозревал, кто подлинные убийцы поэта. Это могли ему подсказать и находящиеся в Тифлисе декабристы, в том числе и сам А. А. Бестужев. Наконец, очевидно, к тому времени и в Тифлисе знали о гневных стихах Лермонтова „На смерть поэта“. Во всяком случае, в поэме, правда в завуалированной форме, в образах, свойственных восточной поэзии, можно отчетливо видеть протест молодого азербайджанского поэта.

Элегии, конечно, в поэме больше. „Прицелились в него смертной стрелой. Исторгли корень его бытия... Старый садовник — свет пересек его стан безжалостною секирою, как юную ветку своего цветника“.

Или последние строки поэмы:

„Седовласый старец — Кавказ отвечает на песнопении твои стоном в стихах Сабухи“.¹

„На смерть Пушкина“ — это искренняя, волнующая, высокохудожественная, самобытная элегия, которую можно сравнить только с лермонтовским произведением. У Лермонтова буря желчи, гнева, ненависти, обличения правящих верхов — подлинных убийц великого поэта. У Ахундова — больше элегичности, больше поэтической грусти, больше лирики, пробуждающей у читателя любовь и симпатии к Пушкину, не лишённые однако чувства ненависти к убийцам поэта. Лермонтов, в выражении своей ненависти и печали, прибегает к сильным, бичующим, гневным словам, тогда как Ахундов лиричностью своего произведения, образами природы — характерной особенностью восточной поэзии, — живописностью и мягкостью красок, достигает также значительного художественного эффекта. Эти два произведения, написанные почти одновременно, дополняют друг друга и являются лучшими поэтическими памятниками на смерть Пушкина, которые оставили нам его современники — М. Ю. Лермонтов и М. Ф. Ахундов.

Произведение Ахундова говорит об огромном влиянии, которое оказывал великий поэт на лучших людей своего времени.

¹ Поэтический псевдоним Мирза Фатали Ахундова.

Поэма „На смерть Пушкина“ тем более интересна для нас, что она написана представителем народа, который на протяжении целого столетия находился под самым тяжким гнетом великодержавной нации. И никто не посмел бы в мрачные годы царизма указать на это. Но теперь, в эпоху строительства социализма, когда на одной шестой части всего мира бесповоротно победила великая пролетарская революция, Азербайджан, бывшая колония Российской империи, вошедшая как равноправный член в могучую семью народов Советского Союза, не может не напомнить о великом тюркском писателе, с такой искренней и теплой грустью откликнувшемся сто лет тому назад на смерть одного из великих гениев мировой поэзии — Александра Сергеевича Пушкина.



A decorative flourish consisting of two horizontal lines with intricate, symmetrical scrollwork and loops extending upwards and downwards from the center.

МАТЕРИАЛЫ

И

СООБЩЕНИЯ



В. С. ЛЮБЛИНСКИЙ

НЕИЗВЕСТНЫЙ АВТОГРАФ ВОЛЬТЕРА В БУМАГАХ ПУШКИНА

При разборе и описании некоторых документов личного архива Пушкина, находившихся в распоряжении П. Е. Щеголева и поступивших в 1934 г. в Пушкинский Дом, внимание исследователей привлек обрывок вержированной писчей бумаги XVIII в. (с частью гербового водяного знака), размером 143×165 мм, заполненный с обеих сторон стихотворным текстом — с одной стороны на французском, а с другой — на латинском языке. Листок этот был вырван, судя по его краю, из тетради и дошел до нас без своей нижней части, утраченной уже после того, как сделаны были отмеченные выше записи.

Предположение Ю. Г. Оксмана, что листок этот является не случайной записью стихотворных текстов, а специально хранимым Пушкиным автографом какого-нибудь литератора XVIII в., некоторое время спустя подтверждено было соображениями Л. Б. Модзалевского о сходстве автографа с известными ему факсимильными воспроизведениями текстов Вольтера. Догадка эта вполне оправдалась в результате сличения нами листка с автографами Вольтера, хранящимися в ленинградской Государственной Публичной библиотеке.

Что же представляют собой записи вновь найденного автографа?

На одной стороне листка почти без помарок и с одной лишь поправкой над 10 строкой переписаны начисто следующие 13 стихов:

les lauriers d'apollon fannoient sur la terre
tous les arts languissoient ainsi que les vertus
la fraude aux yeux menteurs et l'aveugle Plutus
entre les mains des rois gouvernoient le tonnerre
La nature en fremit, et dit a haute voix

je veux montrer au monde un regne heureux et juste
 je veux qu'un heros naisse, et qu'il joigne a la fois
 les talents de virgile, et les vertus d'Auguste
 [pour] le bonheur du monde et l'exemple des rois
 elle dit. et du ciel¹ les vertus descendirent
 tout le nord tressaillit, tout l'olimpe acourut
 l'olive les lauriers les mirtes reverdirent
 et federic Parut

Это — хорошо известное начало февральского, 1737 года, письма Вольтера к Фридриху, тогда наследнику прусского престола; варианты, вместо которых в изданиях² приводится

- 2 *Les beaux arts languissaient ainsi que les vertus*
- 5 *La nature indignée élève alors sa voix*
- 6 *Je veux former dit-elle un règne heureux et juste*
- 10 *Pour l'ornement du monde et l'exemple des rois,*

если и свидетельствуют, как более выразительные, не об одной из черновых обработок, но именно о ревизии текста, не поддаются однако приурочению к какому-либо определенному моменту после отправки письма, так как не вошли ни в одно из позднейших изданий. Таким образом, на первый взгляд, даже приближенная датировка документа становится безнадёжной, поскольку на обороте листка мы имеем несомненно лишь выдержки из латинских поэтов с пометками — сверху: „Из Персия“ и сбоку от девятой строки: „Ювенал“, которые в сколько-нибудь близком сочетании ни в одном из произведений Вольтера не встречаются, равно как и две глоссы Вольтера 1) о том, что „преступление имеет свою градацию“ (дословная реминисценция о „степенях злодеяния“ из Расиновой „Федры“, IV, сд. II.) и 2) о том, что стеклянные приапические сосуды „изготавливаются в Венеции“.

De Perse.

⟨1⟩ O curas hominum, o³ quantum est in rebus inane

usque adeone

scire tuum nihil est nisi te scire hoc sciat alter

¹ Слова „et du ciel“ надписаны над строкой. *

² Voltaire. „Oeuvres complètes“, Paris, Garnier Frères (под ред. Louis Moland). Т. XXXIV (1880), стр. 221 № 724. „Briefwechsel Friedrichs des Grossen mit Voltaire“. Her. von R. Koser und H. Droysen. Berlin, 1908, стр. 36. Оба издания восходят к тексту издания Бешо; оригинал письма неизвестен.

³ Буква „о“ вписана над строкой.

librat in antitetis doctus posuisse figuras
dicite pontifices in sancto quid facit aurum?

indulge genio, carpamus dulcia nostrum est
quod vivis, cinis manes, et fabula fies.
Vive memor lheti. fugit hora. hoc quod loquor inde est

cum fugit a collo *trahitur pars magna catena* } Juvenal.
<10> aude aliquid brevibus giaris et carcere dignum
si vis esse aliquid
qui curios simulant et bacchanalia vivunt
fronti nulla fides, castigas turpia turpis

nemo repente fuit turpissimus. Le crime a ses degrez
vitreo bibit ille priapo — on en fait a venise

esse aliquos manes et subterranea regna
[et contum et stigio ranas in gurgite nigras]
nec pueri credunt nisi qui nondum aere lavantur
graeculus esuriens in coelum jusseris ibit

<20> nil habet infelix paupertas durius in se
quam quod ridiculos homines facit

haud facile emergunt quorum conatibus obstat
res angusta domi

plurima sunt quae, non audunt homines pertusa dicere lana

Все это — дословное цитирование отдельных стихов из сатир Персия и Ювенала (Pers. I 1, 26—27, 86, II 69, V 151—153, 160; Juv. I 73—74, II 3, 8, 9, 83, 95, 149—150, 152, III 152—153, 164—165, V 130—131), с некоторыми однако отличиями от ныне принятых чтений и с контаминацией в 13 строчке, где произвольно начало одного стиха слито с концом следующего.¹

За отсутствием видимой связи этого материала с литературным наследием Вольтера естественнее всего искать его отражения в переписке за месяцы, ближайšie к написанию письма к Фридриху. Однако просмотр обширной изданной корреспонденции Вольтера за 1736—1738 гг.

¹ Отметим сразу же следующие несомненные описки Вольтера: в строке 7 пропущено et между cinis и manes; в строке 9 отчетливо catena вм. catenae (ср. совершенно характерные ae в строках 18 aere, 19 graeculus, 24 quae) и в последней строке lana вм. laena.

не приводит ни к одной из этих цитат и единственный раз сталкивает с ювеналовским оборотом в августе 1736 г. в письме к Тьерю: это часть 40-го стиха VII сатиры („...tertius e coelo cecidit Cato...“), в настоящем списке не фигурирующего. Но более внимательному наблюдению несмотря на это открываются дальнейшие выводы. Прежде всего можно убедиться, что Вольтер не просто вспоминает на выбор те или иные стихи, но именно выписывает их по мере чтения латинских авторов, причем почти незаметно от Персия переходит к Ювеналу: 1) за одним исключением здесь вовсе отсутствуют обычно обильные у Вольтера при цитациях по памяти замены одних слов другими, умышленная перефразировка и т. п., 2) весь текст следует в строгом порядке последовательности Сатир, начиная с первых, и с соблюдением последовательности стихов внутри каждой отдельной сатиры.¹

Для суждения о документации Вольтера в том или ином случае наука имеет первоклассный источник в виде хранящейся в Государственной Публичной библиотеке в Ленинграде собственной библиотеки Вольтера, как известно, приобретенной Екатериной II в 1778 г., но в течение многих десятилетий остававшейся вовсе недоступной изучению,² а в дальнейшем (за малыми исключениями) тоже полузабытой как западной, так и русской наукой.

Среди латинских авторов представлены в библиотеке Вольтера и те два, из сочинений которых сделаны выписки на автографе, оказавшемся в архиве Пушкина. За вычетом изданий (одного лишь Ювенала) второй половины XVIII в. остаются только две книжки: Сатиры Персия и Ювенала в переводе ученого иезуита Жерома Тартерона³ с латинским текстом *en regard*, изданные в 1698 и 1714 гг., стоящие рядом под шифрами (эри-тажными) 6—168 и 6—169 в том шкафу, где как раз представлено большинство древних авторов. Ни одна из них не была школьным пособием юного Аруэ: та, которая по году своего издания могла бы служить этой

¹ В пользу цитирования по памяти могло бы говорить одно лишь „*conatibus obstat*“ в *Juv. III 164* вместо правильного „*virtutibus...*“, подсказанное мнемонически (но ведь и зрительно!) близким „*conatus*“ в начале 166 стиха.

² G. R. Havens and N. L. Torrey. „The private library of Voltaire at Leningrad“ (Publications of the Modern Language Association of America, Vol. XLIII, № 4, December 1928, 990—1009), стр. 991—994. См. также мою публикацию „Наследие Вольтера в СССР“ („Литературное Наследство“, 1937) и очерк „Библиотека Вольтера“ в книге „Вольтеровские фонды Публичной библиотеки“ (готовится к печати), а также сообщение Д. П. Якубовича „Пушкин в библиотеке Вольтера“ в пушкинском томе „Литературного Наследства“, № 16—18, 1934, стр. 905—922.

³ О нем см. *Saxii Onomasticon Litterarium*, V (1785), 337, и статью Weiss'a в „*Bibliographie Universelle Ancienne et Moderne*“, 44 (1826), 577 сл. (где он ошибочно назван Жаком). Сам же Вольтер упоминает о нем в „Каталоге французских писателей“ своего „Века Людовика XIV“, отмечая, что перевод Тартерона недостаточно буквален для молодежи, на которую он рассчитан: „передан смысл, но не значение слов“ (Voltaire, „*Oeuvres complètes*“, под ред. Л. Молана, XIV, 139).

цели,¹ носит на титульном листе пометку: „Ex libris marci antonii Duchatelet | Rhetoris anno Domini 1706“, т. е. принадлежала близкому родственнику „Урании“ — М. А. Дюшатле-Тришато,² жившему с 1736 г. в Сире и умершему в 1740 г. (о том же говорит и школьного характера надпись на обресе книги: TRICHATEau), другая же издана, когда Вольтеру было уже 20 лет. Но именно эта последняя (6—169) — „Traduction des satyres de Perse et de Juvenal, Par le Révérend Père Tarteron, de la Compagnie de Jésus. Nouvelle edition. A Paris, Par la Compagnie des Libraires MDCCXIV. Avec privilège du Roy“ (48 + 591 + 4 стр., фронтиспис, 17 см) — испещрена множеством закладок — после страниц 8, 24, 40, 46 и т. д.³

И вот, первой же из этих закладок соответствует карандашная пометка на левом поле против стихов, выписанных на втором месте в нашем автографе (Pers. I 26—27), третьей закладке — такая же отметка против стихов 151—153 V сатиры Персия, занимающих следующие три строки автографа, и далее каждому из выписанных Вольтером стихов, кроме последнего, отвечает очередная закладка. Первая же и четвертая строки автографа относятся к стихам, хотя и не сохранившим соответствующих закладок, но отмеченным карандашом точно таким же образом — Pers. I 1 на стр. 4 и I 86 на стр. 18. Вторая закладка, приводящая к стиху „Aurículas asini quis non habet“ (Pers. I 121), тоже отмеченному карандашом, не послужила сигналом к выписке, вероятнее всего потому, что, оказавшись „утопленной“, не выдавалась над краем страницы: в таком виде она сохранилась до 1935 г., хотя, с одной стороны, в таком же положении оказалась и пятая закладка (после стр. 94), отмеченные же на этой странице стихи были выписаны, а, с другой стороны, закладка четвертая (после стр. 46 = Pers. III 26—29) не имеет параллели в вольтеровских выдержках, и на этой странице ни один стих не отмечен.

В дальнейшем получается следующее соответствие:

Строка автографа	Стихи Ювенала	Страница издания	Закладка	Каранд. пометка
10—11	I 73—74	126	шестая	против стихов
12	II 3	140	седьмая	против стиха
13	II 8 (первая половина стиха)	”	”	” ”
	II 9 (вторая половина)			

¹ „Traduction nouvelle des satyres de Perse et de Juvénal. A Paris, par la Compagnie des Libraires. MDCXCVIII. Avec privilège du Roy“ [64], 587 стр. (Вольтер родился в 1694 г.).

² О маркизе де-Тришато см. G. Desnoiresterres, „Voltaire et la société française au XVIII siècle“, v. II: „Voltaire à Cirey“ P., 1868, стр. 255—257, и упоминания в переписке Вольтера в 34 томе его Сочинений под ред. Луи Молана. О книгах из его библиотеки, вошедших в состав библиотеки Вольтера, см. между прочим в названном сочинении Navens'a и Torrey, стр. 977, сноски 26, и мои поправки в указанной работе.

³ Обозначая закладки по предшествующей им четной странице, так как на нечетных помещен лишь французский перевод.

14	II 83	148	отсутствует	против стиха
15	II 95	150	восьмая	стих отмечен не только в начале, но и перед „vitreo“
16—17	II 149—150	154	девятая	сплошная отметка
18	II 152	154	”	против стихов 149—152
—	III 55—56	166	десятая	против стихов
19	III 78	168	отсутствует	против стихов 76—77
20—21	III 152—153	172	одинадцатая	против стихов
22—23	III 164—165	174	двенадцатая	” ”
24	V 130	—	отсутствует	отсутствуют
—	VII 14—28	306	тринадцатая, с надписью на ней „wel- ches“	”
—	VII 195—207	330	четырнадцатая	”
—	X 113	410	пятнадцатая	(начало стиха отмечено бумажной наклейкой)
—	X 141	414	шестнадцатая	то же
—	X 160—174	418	семнадцатая	без отметок
—	XIV 207—222	544	восемнадцатая	” ”

Совершенно очевидно, что 24-я строка автографа — не последняя, но шедшие за ней не сохранились; в отношении же всех прочих случаев одна выпадающая из общего ряда десятая закладка не может опровергнуть факт составления выписки именно из этого экземпляра книги, после предварительной его разметки. Это устанавливается тем более бесспорно, что чтение Тартерона выдержано в тех стихах, где Вольтер отклоняется от ныне принятого чтения: напр. „turpis“ вм. „cum sis“ в Juv. II 9, „contum“ вм. „Cocytum“ в Juv. II 150, „doctus“ вм. „doctas“ в Pers. I 86. Маргинальных записей наш экземпляр не имеет, но зато в нем представлена одна из редчайших и, вместе с тем, оригинальнейших разновидностей вольтеровских читательских пометок: мельчайшие, иногда менее 0.5 кв. см, обрывки белой бумаги, наклеваемые, повидимому, слюной — на начальные буквы привлекая внимание строки.¹ Отметки этого рода по своей малозаметности были в большинстве случаев упущены Ваньером при пересмотре в 1779 г. вольтеровской библиотеки и, кроме того, держатся настолько непрочны, что зачастую бывает в высшей степени трудно установить первоначальное местонахождение этих наклеек. Весьма любопытно, что такими наклейками богата как раз та соседняя с этой книга, которая принадлежала маркизу Тришато, но вернее всего еще до его смерти перешла в руки Вольтера: в ней шесть таких наклеек, причем лишь одна из них, на

¹ Ср. Havens and Torrey, назв. соч., 995; G. Peignot, „Souvenirs relatifs à quelques bibliothèques des temps passés“ (P., 1836), стр. 15 (цитирую по G. Desnoiresterres, назв. соч., т. VIII, Retour et mort de Voltaire, P., 1876, стр. 419), уже знал об этих наклейках, но ошибочно считал их прилепляемыми с помощью хлебных облаток.

стр. 406, приходится на стихи 112 и 113 десятой сатиры Ювенала, т. е. совпадает с разметкой вольтеровского экземпляра издания 1714 г.¹

Заслуживает внимания и самый материал закладок. За редкими исключениями, это — не нарезанные узкие полосы чистой бумаги, а наспех вырванные из каких-то черновиков куски довольно неопределенной формы. Сохранившиеся же на них математические расчеты, следы карандашного чертежа, слова вроде *chaleur, traité, géometrie, gravit, ligne*, и (на закладке седьмой) целая задача,² все это приводит к сирейскому периоду и притом именно ко второй половине 30-х годов, когда Вольтер с особым рвением делил страсть мадам дю-Шатле к точным наукам, т. е. говорит в пользу если не одновременности, то во всяком случае значительной хронологической близости заполнения этого листка к моменту сочинения стихов к Фридриху в январе 1737 г. Но если в переписке тех месяцев цитаты из Горация, Вергилия и Овидия расцветают особенно обильно, то просмотр Ювенала не дал даже такой полутворческой переработки ни в ту эпоху, ни позднее, хотя самые отрывки были подобраны единственно по признаку броскости выражений, просящихся в цитаты, в чем легко убедиться при просмотре их хотя бы в русском переводе.³

[Персий]

О вы заботы людей! О сколько в делах их пустого!

Ужели и вправду

Знание твое ни во что, коль другой, что ты знаешь, не знает?

<Вину> в антигезах

Чистых он взвешивать стал, его за ученые тропы

<хвалят>

Мне скажите, жрецы, что золоту делать в святыне?

Гения ты ублажи, насытимся сладостью! Наше

Вот, что живешь ты; золой и тенью и сказкою станешь.

Помня о смерти, живи! Проносится час, как и слово.

Как побежит, волочит часть длинную цепи на шее.

[Ювенал.]

Сделай что-либо, что стоит тюрьмы и утесов Гиара,

Если чем-либо быть хочешь.

Те, что под маскою Куриев живут среди Вакханалий.

Вовсе не верь их лицу!

Ты разврат порицаешь, а сам ты . . .

¹ Прочие отметки этого рода в данном экземпляре относятся к следующим местам: стр. 252—Juv. VI 160, стр. 260—к одному из стихов 227—248 той же сатиры (точнее установить нельзя, так как бумажка отклеилась), стр. 284—VI 547, стр. 358—VIII 191, стр. 364—VIII 244—245, стр. 406—X 112—113, стр. 462—последний стих XI сатиры.

² „Canon en une seconde 4 fois plus chargé 4 fois plus vite fera til un trou seize fois plus grand“.

³ А. Фет. Сатиры Персия, СПб., 1879; А. Адольф. Сатиры Д. Юния Ювенала, М., 1888.

Сразу не стать никому негоднейшим.

Другой из стеклянного тянет приапа.

Что существуют какие-то маны, подземное царство
И Коцит, и лягушки черные в Стикса пучине,
Верят только те дети, что даром моются в бане.

... голодный греченок; на небо, прикажешь, пойдет он.

Бедность несчастная так ничем не бывает сурова,
Как отдавая людей на посмешище.

Те не легко всплывают, которых достоинствам дома
Скудный достаток мешает.

Много есть слов, что нельзя говорить в протертой одежде.

Столь же случайный характер имеют и те места, которые так или иначе были выделены Вольтером из обычного текста, но почему-либо в его выписку не вошли.

Несмотря на то, что сам Вольтер, по слову Пушкина, был „злым крикуном“, т. е. именно сатириком и по натуре и по излюбленному жанру, живым фондом для него беспощадно-хлесткая сатира Персия и Ювенала стать не могла. Слишком различны были социальные функции античной и вольтеровской сатиры: издевательское вышучивание пережитков не могло вооружиться бичем горького гнева на измену прежним общественным устоям. Напротив того, использование этих же авторов в виде чисто-исторического источника, но как раз вне плана выписок 1737 г. — несомненно. Так, Вольтер, уже в последнее десятилетие своей жизни в „Questions sur l'Encyclopédie“¹ и в „Истории установления христианства“² приводит стихи Персия о „дне Ирода“ и соответствующем угощении (V, 180),² и в письме 1772 г. к Д'Аламберу цитирует Персия III 38;³ а надпись *welches* (т. е. „галлы“, „кельты“) на нашей 13 закладке нельзя не сопоставить с неоднократными в 60-х годах выступлениями, в которых фернейский патриарх подчеркивал дикость и грубость предков своих соотечественников до их столкновения с римской цивилизацией. Таков „Discours aux *welches*“, таковы статьи о Галлии в „Философском словаре“, таковы его частые иронические обращения в переписке; но вместе с тем, единственный стих на отмеченной странице Ювенала (VII, 16), говорящий о голой пятке, относится не к Галлии, а к Галатии (*altera... Gallia*) что, вероятно, впоследствии было замечено и удержало от использования в соответствующих местах именно этого стиха. Две ссылки на Ювенала (XV, 93 и XV, 83) относительно людоедства египтян и гасконцев (!) в 1761 г. украшают „Lettre de M. Clopître à M. Eratou“.⁴

¹ Voltaire, „Oeuvres complètes“, под ред. Л. Молана, XLVIII, 123, № 8569.

² Ibid., XVIII, 479.

³ Ibid., XXXI, 53. Ср. также XI, 67 и 70.

⁴ Ibid., XXIV, 236. Впрочем, Juv. II, 24 цитируется и в 1739 г., *ibid.*, XXXIII, 25.

Les lauriers d'apollon se fannoient sur la terre
tous les arts languissoient ainsi que les vertus
la fraude aux yeux menteurs et l'aveugle Plutus
entre les mains des vils gouverneurs le tonnerre
La nature en fremit, et dit a haute voix
je veux montrer au monde un regne heureux et juste
je veux qu'un heros naisse, et qu'il joigne a la fois
les talents de virgile, et les vertus d'auguste
pour le bonheur du monde et l'exemple des vils
elle dit ^{adieu} les vertus des cendres
tout le nord tremblait, tout l'empire courait
l'olive les lauriers les myrtes reverdoient
et federic parut

De Perse

O curas formidare, quantum est in rebus mea
Sere tuum nihil est nisi, te laere hoc bene ^(U quae adcom)
libras in antibus dicitur posuisse, fumes
Dicite pontifices in sancto quid facit aurum?
Indulget genio, corporibus dubia nocturne
quod visis, cinis manus, et fabula fies.
vives memor caeli. fuge horas. hoc quod loquor videtur

cum fuge ex collo ~~habetus~~ part magna catenas
audax aliquid brevibus gemit et carceres dignum } Juvenal
si vis assualiquid

qui curio simulacra et baccanalia, visum
fronti nulla fides, castigat turpia tempore
nemo repente fuit turpissimus. Icarus me ad id dignum

vitreo bibis ille magis - on en fait a venise

esse aliquos manes et subterranea regna
et ~~contum~~ et ~~stagn~~ ~~omnes~~ ~~iniquitate~~ ~~negros~~
nec pueri credunt nisi qui mundum ora lavantur
greculis avaros in calicibus jactent, bibi
nil habes or felix paupertas durius in te,
quam quod ridiculos homines facis

haud facile emergunt quorum conatibus obstant
res angusta domi

ultima sunt quae, non audent homines partem ducere laeva

Выписки из латинских поэтов. Автограф Вольтера. Из бумаг Пушкина.

Остается невыясненным — вероятно, безнадежно — самый интересный вопрос: о том, как этот листок попал в руки Пушкина. Здесь можно строить лишь догадки, а поэтому имеют свое значение даже и чисто отрицательные выводы. В качестве такого ограничения произвола гипотез необходимо подчеркнуть, что листок этот происходит несомненно не из находившейся при жизни Пушкина в Эрмитаже библиотеки Вольтера: 1) все вольтеровские рукописи были еще в XVIII в. переплетены, и никаких следов повреждения старые сафьяновые переплеты не обнаруживают, 2) среди слоев переписки Вольтера с Фридрихом — в томах VII и X рукописей Вольтера — нет аналогичных по форме и близких по эпохе материалов,¹ 3) оторванная нижняя половина листка — явление крайне не характерное для тщательно подобранных Ваньером вольтеровских рукописей.

Количество обращавшихся по рукам еще в первой четверти XIX в. вольтеровских автографов и, вместе с тем, путей, по которым они могли доходить до Пушкина, было столь велико, что едва ли можно претендовать на убедительность той или иной догадки.



¹ Необходимо впрочем оговорить, что в IX томе рукописей Вольтера мы имеем целый ряд весьма сходных по внешности листов с выписками из латинских (118 v — D'Horace), итальянских, английских и французских поэтов (лл. 111—118 г); никаких однако следов повреждений или связи с перепиской с Фридрихом эти листы не имеют. Более того, на л. 112 мы имеем цитату из Ювенала, не связанную с той выборкой цитат, которая отражена на описываемом автографе.



П. А. САДИКОВ.

ПОСЛАНИЕ Ф. Ф. ЮРЬЕВУ 1820 г.

В творческой биографии Пушкина 1819 год отмечен появлением серии „посланий“ к членам общества „Зеленой Лампы“: начинаясь посланием В. В. Энгельгардту (конец июня), пьесы следуют непрерывно до конца года (Щербинину, Я. Толстому, Мансурову, Никите Всеволожскому). В этом ряду свое место имеет и Федор Филиппович Юрьев, с именем которого связано даже два обращения к нему Пушкина. Одно из них целиком может быть включено в указанную цепь. Это—куплеты „Здорово, Юрьев-именинник, здорово, Юрьев-лейб-улан...“, написанные около 20—23 сентября 1819 г. и в качестве веселой застольной песни пропетые на „заседании“ „Зеленой Лампы“ при праздновании двойного торжества Юрьева: его именин и перевода „за отличия по службе и по собственному желанию“ в гвардию.¹ Другое послание („Любимец ветреных Лаис...“), значительно более интересное по заключающейся в нем автохарактеристике Пушкина, датируется обычно 1818 г. (даже точнее—первыми месяцами этого года) и тем невольно заставляет ставить вопрос о причинах своего столь раннего появления и столь ранней, очевидно, близости Пушкина и Юрьева.² В основание датировки кладут обыкновенно слова самого Пушкина, много лет спустя (в 1830 г.) по поводу внезапного появления ряда своих стихов в „Северной Звезде на 1829 г.“ М. А. Бестужева-Рюмина с негодованием записавшего, что некоторые из них „простиительно... написать на 19 году, но непростительно признать публично в возрасте более зрелом и степенном (например—*Послание к Юрьеву*)“.

Сомневаясь, однако, в безусловной точности такой позднейшей и нарочитой хронологизации послания, хотя бы и сделанной самым автором, комментаторы ссылаются также и на глухое указание П. В. Анненкова,

¹ Б. Л. Модзалевский. „Ф. Ф. Юрьев и послание к нему Пушкина (1819)“, „Пушкин и его современники“, вып. III, СПб., 1905, стр. 92—95; его же статьи в соч. Пушкина под ред. С. А. Венгерова, т. I, СПб., 1907, стр. 480—482 и 536.

² Сомнение усугубляется еще и справками в биография Юрьева, до 8 августа 1818 г. служившего в Литовском уланском полку и, вероятно, редко бывавшего в столице.

упомянувшего при печатании пьесы в своем издании, что она, по словам „сведущих людей“, должна быть отнесена действительно к 1818 г.¹

Автографа послания до нас не дошло—ни белого ни чернового; известно оно лишь по двум печатным текстам: 1) упомянутой выше „Северной Звезды“, пользовавшейся, при печатании стихов без ведома и согласия Пушкина, неизвестно какими рукописями и 2) по особому оттиску, попавшему к П. А. Ефремову в бумагах самого Ф. Ф. Юрьева. Печатаемая послание, П. А. Ефремов сопроводил его следующим примечанием: „К Ф. Ф. Юрьеву—не для публики было напечатано в единственном экземпляре самим Юрьевым без цензуры и указания года и места печатания, с водяным знаком «1819 г.», под заглавием «Ю—ву». Рукою его подписано: «А. Пушкин, 1821 года», но подпись сделана, вероятно, долго спустя по напечатании, когда память уже изменила Юрьеву...“ (последняя оговорка нужна была потому, что Ефремов, несмотря на категорическое, казалось бы, указание своего текста, принял все же традиционную для стихотворения дату—1818 г.).² В настоящее время именно этот „экземпляр“ находится в архиве Пушкинского Дома Академии Наук СССР; он состоит из двух полулистов (4 страниц) ватманской бумаги; печатный текст занимает стр. 1 и 2, а рукописные приписки расположены несколько иначе, чем указывает П. А. Ефремов (на стр. 2-й, в левом углу под печатным текстом помещена дата „1821 г.“, а в правом—подпись „А. Пушкин“).

Вполне разъясняет вопрос неопубликованное письмо самого Ф. Ф. Юрьева к Александру Всеволодовичу Всеволожскому:

Vous avez bien raison mon cher ami de me titrer de vilain dans la lettre de Vôtre frère; j'avoue que je suis fautif envers Vous, ingrat-même de ne Vous avoir pas écrits depuis tant de temps; je sens bien ma faute et je Vous en demande bien pardon; je n'essayerai pas de m'excuser, ce serait une peine inutile; je Vous assure que ce n'est point de l'oubliée, c'est la mauvaise habitude que j'ai contractée de ne rien faire depuis le matin jusqu'au soir, qui

¹ Ср. соображения В. Е. Якушкина в „Сочинениях Пушкина“, изд. Акад. Наук, т. II, стр. 30—32, высчитавшего, комбинируя оба указания, что „19-й“ год жизни поэта в 1818 г. должен быть ограничен 1 января—26 мая, на какой период он и относит создание стихотворения; шаткость аргумента, опирающегося на слова Пушкина, сказанные в полемике с бесцеремонными альманашиками, чувствовалась и Якушкиным: „Конечно, это указание, сделанное через двенадцать лет, может быть и не совсем точно“, замечает он. Отзыв Пушкина—см. „Опыт отражения некоторых нелитературных обвинений“ („Сочинения“, т. VI, М.-Л., 1934, стр. 70—71; в этом последнем издании послание отнесено к 1818 г.—т. I, стр. 275—276). В одностороннем издании под ред. Б. В. Томашевского (Л., 1935) послание также напечатано под 1818 г., но в примечании допускается возможность написания и в 1819 г. (стр. 331, 865).

² „Сочинения А. С. Пушкина“, изд. Суворина, под ред. П. А. Ефремова, т. VIII, СПб., 1905, стр. 106. Историю текста в остальных изданиях см. в т. II старого Академического издания, стр. 30—32.

est cause de mon silence.—C'est une maladie qui règne dans la maison de Vôtre frère;¹ accusez eu donc en partie le sort qui nous envoie un tél fleau. Au reste, sans ce défaut-même, j'auroid été fort embarrassé de soutenir une correspondance avec une personne aussi raisonnable que Vous, il ne me résteraït qu'à m'accorder en tout avec Vous, ce qui est fort triste.—Je suis trop peu an fait de Vos affaires de Moscou, j'apprends seulement que Vous allez devenir heureux² et cette nouvelle me comble de joie.—Mais je n'en resterai pas la, je <veux> me rendre en ce cas vérs la fin du mois prochain.—En attendant ces heureux moments où je Vous verrai je Vous embrasse de tout mon coeur et suis pour la vie Vôtre deuoué ami Yurieff.

11 juillet 1820.
St-Pétérсbourg.

P. S. Voici des vérs que Pouchkin me fét avant son depart.³

Письмо написано на листке почтовой бумаги большого формата; к нему приложен листок, буквально такой же, как и полученный от Юрьева же П. А. Ефремовым, с тем же текстом послания „Ю-ву“ („Любимец ветреных Лаис...“).⁴

Датированное 11-м июля 1820 г. письмо это устанавливает несколько важных фактов для самой, так сказать, „истории“ пьесы.

Во-первых, вполне точно определяется время создания стихотворения — Пушкин написал его в 1820 г., перед своим отъездом на юг, т. е. до 5—6 мая. Таким образом должны отпасть все гадания на счет сделанного 10 лет спустя, самим Пушкиным, впрочем, так и неопубликован-

¹ Никиты Всеволодовича Всеволожского.

² Александр Всеволодович Всеволожский женился в 1820 г. на княжне Софье Ивановне Трубецкой (1800—1852).

³ *Перевод:* Вы имели полное основание, дорогой мой друг, назвать меня гадким в письме к Вашему брату; сознаюсь, что я неисправен перед Вами, даже неблагодарен, не писав Вам столько времени; я очень чувствую свою вину и усиленно прошу у Вас прощения; не буду пытаться оправдываться—это будет бесполезный труд.—Уверяю Вас, что вовсе не забывчивость, а приобретенная мною скверная привычка ничего не делать с утра до вечера является причиной моего молчания.—Это—болезнь, царящая в доме Вашего брата; обвиняйте же их, а вместе и судьбу, которая ниспосылает нам подобное бедствие! Впрочем, даже без этого недостатка, я буду весьма затруднен поддерживать переписку с особой, столь рассудительной как Вы: мне остается только во всем соглашаться с Вами, а это очень печально!—Я слишком мало в курсе Ваших московских дел, знаю только, что Вы собираетесь стать счастливым, и эта новость наполняет меня радостью.—Но я не останусь там, я возвращусь, в этом случае, к концу будущего месяца.—В ожидании того счастливого момента, когда я Вас увижу, обнимаю Вас от всего сердца и остаюсь Ваш преданный друг Юрьев. 11 июля 1820. С.-Петербург.

P. S. Вот стихи, которыми Пушкин чествует меня перед своим отъездом.

⁴ Подлинник письма и приложенный к нему печатный листок с посланием „Ю-ву“ находятся в архиве Всеволожских, Централархив РСФСР.

ного, указания на „19-й“ год, как на вполне реальную дату; слова эти надо понимать лишь как общее подкрепление его же положения, что многое из напечатанного в „Северной Звезде“ он желал бы уничтожить, что он „не должен... отвечать за перепечатание грехов... отрочества“, недопустимых для солидного человека: неожиданное опубликование признаний о секрете успехов у „юной красоты“ в обстоятельствах жизни Пушкина 1829 г. являлось для него в высшей степени неуместным и досадным. Нельзя, очевидно, затем для датирования послания опираться и на глухое сообщение П. В. Анненкова о каких-то „сведущих“ людях, помнивших будто-бы вполне точно дату через двадцать с лишним лет. Наконец — помету Юрьева („1821 г.“) на экземпляре листка, перешедшего от него к П. А. Ефремову, надо признать ошибочной и сделанной действительно тогда уже, „когда память изменила Юрьеву“ и когда он помнил только, что стихи от Пушкина получил в начале 20-х годов.

Во-вторых, сопоставив данные письма с имеющимися сведениями о взаимоотношениях Юрьева, некоторых других членов кружка Всеволожских и Пушкина, можно попытаться восстановить и ту обстановку, при которой создавалось послание.

Очень близкий вообще с семейством Всеволожских, Ф. Ф. Юрьев был особенно дружен, повидимому, со старшим из братьев — „рассудительным“, серьезным, хозяйственным и совсем, кажется, „не литературным“ Александром, а не с „беспечным амфитрионом“ „Зеленой Лампы“ Никитой, с которым, наоборот, был так близок Пушкин.¹ И А. В. Всеволожский и Ф. Ф. Юрьев — почти однолетки² — вместе в 1812 г. вступили в конный полк Нижегородского ополчения и сделали кампании 1813—1815 гг. (правда, богач-аристократ Всеволожский стал адъютантом кн. П. И. Багратиона и затем быстро перешел в гвардию и в адъютанты влиятельного дежурного генерала при Главном штабе А. А. Закревского, а Юрьеву пришлось довольно долго тянуть армейскую лямку); в тяжелые минуты жизни Юрьев прибегал к Ал. Всеволожскому за материальной

¹ Следов отношений Пушкина и А. В. Всеволожского сохранилось очень мало. Так, Пушкин упомянул его вместе с братом в письме из Кишинева к Я. Н. Толстому от 22 сентября 1822 г. („Письма Пушкина“ под ред. Б. Л. Модзалевского, т. I, М.-Л., 1926, стр. 38), а за год перед тем, набрасывая черновик „общего“ послания к „Зеленой Лампе“ (см. ниже) вспомнил о нем в стихах: „Но где же он, твой милый брат, недавний рекрут Гименея?“ В Петербурге А. В. Всеволожский, повидимому, иногда склонен был сдерживать порывы поэта — он препятствовал, напр., его переписке со своим родственником П. Б. Мансуровым, если считал таковую почему-либо неудобной („Письма“, т. I, стр. 8). — Биографические данные об А. В. Всеволожском см. в „Сборнике биографий кавалергардов, 1801—1826“, СПб., 1906, стр. 305—306. Приложенный здесь портрет Всеволожского (в пожилые годы) представляет изображение несколько надменного, но серьезного человека. Портрет его же (времени службы в Нижегородском полку) см. у барона Н. Врангеля, „Иностранцы XIX в. в России“ („Старые Годы“, 1912, № 7—9, к стр. 12).

² А. В. Всеволожский — р. 1793 г., ум. 1864 г.; Ф. Ф. Юрьев — р. 1796 г., ум. 1860 г.

помощью, а в конце жизни назначил его одним из своих душеприказчиков.¹

Другим неизменным приятелем Юрьева из веселой компании Всеволожских был П. Б. Мансуров (его сын Николай значится также свидетелем в духовном завещании Юрьева). В отношениях своих к Пушкину Юрьев и Мансуров первое время, повидимому, были одинаковы, и Пушкин мало разделял их обоих. Так, отправляя к П. Б. Мансурову 27 октября 1819 г. шутовское и очень ласковое письмо, он считал долгом несколько удалски-хващливо сообщить ему интимные подробности о своем и Юрьева нездоровье, а из Кишинева обоим им посылал свои дружеские „поцелуи“.² Почти одновременно получили они от Пушкина и по „посланию“: Юрьев — 20—23 сентября 1819 г. упомянутые выше именные куплеты („Здорово, Юрьев - именинник...“), а Мансуров — шуточно-утешительные стихи, посвященные его отношениям к танцовщице Крыловой, написанные, по всей вероятности, около времени отправки письма (27 октября);³ Юрьев и Мансуров — оба „рыцари лихие любви, свободы и вина“, к которым в качестве их „закадышного друга“ (послание Мансурову) причислял себя и Пушкин.

Следует отметить, что Ф. Ф. Юрьев не только тщательно хранил посвященные ему „куплеты“, сообщив их в 1859 г. Геннади для издания сочинений Пушкина, но и собирал другие автографы Пушкина, поскольку это оказывалось для него возможным. Так, именно в его бумагах сохранился и перешел затем к П. А. Ефремову подлинник послания к Никите Всеволожскому (датировано самим Пушкиным 27 ноября 1819 г., перед отъездом Всеволожского в Москву) — беспечный „лучший из минутных друзей минутной молодости“ Пушкина, очевидно, не так уж ценил это произведение, передав его в чужие руки. Сберег Юрьев и другие стихи — „Мне бой знаком...“, также сообщив их для издания 1859 г., а затем П. А. Ефремову. Последний в своем издании⁴ сопроводил эту пьесу очень важным примечанием, дающим ключ и к уяснению обстоятельств, при которых было написано само послание „Ю-ву“. „Автограф этот принадлежал... мне, — пишет Ефремов, — но не возвращен издателем сочинений 1882 г., взявшим его для снимка к изданию. Он был на четверке синей бумаги с водяным знаком «1819» и на обороте рукою, вероятно, Д. Н. Баркова набросан недельный репертуар за две недели.⁵ Он относится ко времени 5—17 апреля 1820 г. («Летопись русского театра Арапова) и подобные же репертуары я видел в бумагах «Зеленой Лампы»,

¹ Б. Л. Модзалевский. „Ф. Ф. Юрьев и послание к нему Пушкина (1819)“, стр. 95.

² „Письма Пушкина“, т. I, стр. 9, 22.

³ А. С. Пушкин. „Полное собрание сочинений“, т. I, М.-Л., 1934, стр. 286, 296.

⁴ „Сочинения А. С. Пушкина“, изд. А. С. Суворина, СПб., 1905, т. VIII, стр. 138.

Факсимиле стихотворения действительно приложено к т. VII изд. 1882 г.; к сожалению, не воспроизведен оборот листка с „репертуаром“.

представлявшихся в заседаниях, так что, вероятно, и этот листок был из тех же бумаг¹. Если сопоставить это последнее сообщение с указанием Юрьева, что Пушкин „чувствовал“ его („me fét“) стихами-посланием перед своим отъездом, то можно сделать крайне любопытные догадки.

Очевидно, что и послание „Ю-ву“, и „Мне бой знаком...“ — вещи, написанные почти одновременно (обе перед отъездом Пушкина на юг, во второй половине апреля 1820 г.). К этому времени у Юрьева накопилось уже достаточно впечатлений от того, чем именно Пушкин „чувствует“ своих приятелей: он сам имел у себя куплеты 1819 г., но это была всего только именная шутка — не более, в которой, кстати сказать, и самому-то адресату отведен был только первый куплет, ничего, кроме общих приветствий, не заключавший. Затем, Юрьев знал, безусловно, послание Н. В. Всеволожскому, а, может быть, имел у себя уже и самый автограф этой пьесы; известны ему были также, конечно, и послания другим членам „Зеленой Лампы“ (Энгельгардту, Щербинину, Я. Н. Толстому — все написанные еще в 1819 г., причем Толстой свое „послание“ настойчиво и гласно выпрашивал у Пушкина)². Юрьеву не хватало лишь одного: настоящего, „серьезного“ послания Пушкина и для себя самого. Конкретный повод получить его представился, надо думать, только в обстоятельствах прощания Пушкина с друзьями по „Зеленой Лампе“.

Об этом последнем факте нет сведений. Но Пушкин уехал с такими теплыми воспоминаниями о кружке и его „амфитрионе“ Никите, от которого получил на отъезд и замаскированную ссуду, „полупроиграв-полупродав“ ему рукопись своих подготовленных к печати стихов, что трудно представить, чтобы под гостеприимным абажуром „Зеленой Лампы“, в честь исчезающего на неопределенное время одного из постоянных и чтимых ее членов, дело обошлось без какого-либо собрания — если не всего „плenums“ общества, то, по крайней мере, интимных друзей...

Время, когда могли состояться подобные „проводы“, устанавливается довольно точно. Так, Н. И. Тургенев, в письме к своему брату Сергею от 20 апреля еще только выражавший надежду на благополучный исход объ-

¹ „Репертуары“ Д. Н. Баркова за апрель—май 1819 г. сохранились в бумагах „Зеленой Лампы“ и опубликованы Б. Л. Модзалевским, „К истории Зеленой Лампы“ (сб. „Декабристы и их время“, М., 1927, т. I, стр. 25—28). — Л. Н. Майков датирует „Мне бой знаком...“ половиной апреля 1820 г. („Материалы для академического издания сочинений А. С. Пушкина“, СПб., 1902, стр. 60—61).

² „Послание А. С. Пушкину“, в результате которого и появились, наконец, „Стансы“ последнего Я. Н. Толстому, было прочитано автором на одном из заседаний „Зеленой Лампы“ (см. Б. Л. Модзалевский, „К истории Зеленой Лампы“, стр. 17, лл. 71—72; также его статьи: „Я. Н. Толстой“, СПб., 1899, и в соч. Пушкина, под редакцией С. А. Венгера, т. I, СПб., 1907, стр. 562—563).

яснений поэта с графом М. А. Милорадовичем, 23-го числа уже спешил ему сообщить, по всей видимости со слов самого виновника тревоги: „Пушкина дело кончилось очень хорошо... Он теперь собирается ехать с молодым Раевским в Киев и Крым“.¹ Конечно, у Всеволожских узнали об этом событии одновременно с Тургеневыми — и отпраздновали его, не откладывая в долгий ящик. Очень вероятно, что на этом именно собрании Д. Н. Барков и прочел свой очередной, еще не потерявший остроты новизны, „репертуар“ за 5—17 апреля, а Пушкин для него занес на обороте листка отрывки „Мне бой знаком“... Вслед за этими стихами и Юрьев, наконец, получил вождеденное „послание“ Пушкина, а оригинал Барковского репертуара со стихами, едва ли не тогда же, также перешел в его руки. При таком допущении „Мне бой знаком...“ следует датировать 22—24 апреля 1820 г., а послание „Ю-ву“ считать или написанным с ним одновременно, или несколько дней спустя, т. е. между 24 апреля и 5 мая 1820 г.

Что набросок „Мне бой знаком“ действительно необходимо связывать с именем Д. Н. Баркова (кстати, тоже не имевшего, повидимому, никакого „памятного“ для себя стихотворения Пушкина)², что эта пьеса и послание „Юрьеву“ близки друг к другу по обстановке, в которой они были созданы, что у Пушкина перед отъездом происходило прощание с кружком Всеволожских — все это находит подтверждение в неполучившем окончательного оформления, но сохранившемся в черновых фрагментах „общем“ послании к „Зеленой Лампе“ из Кишинева (1821 г.).³ В этом послании звучат, безусловно, отзвуки последних встреч: поэт, вспомнив, видимо, последние минуты своего пребывания в кружке „друзей-обжор“, обращается к некоторым из них, к тем, кто был ближе и резче запечатлелся в памяти, причем к Юрьеву — почти буквально повторив начальные строки своего последнего „досылочного“ произведения:

Приди, прелестный Адонис,
Жилец Пафоса и Киферы
Любимец ветр(еных) Лаис)
Счастливей баловень Венеры...⁴

¹ А. Н. Шебунин. „Пушкин по неопубликованным материалам архива братьев Тургеневых“, „Пушкин. Временник Пушкинской комиссии Института Литературы Академии Наук СССР“, I, М.-Л., 1936, стр. 198.

² Если не считать приписываемого Пушкину шутилого четверостишия „Желал бы быть твоим, Семенова, покровом...“, где есть намек на отношения Баркова и артистки Нимфодоры Семеновны Семеновой.

³ С. М. Бонди. „Неосуществленное послание к «Зеленой Лампе»“ („Пушкин. Временник Пушкинской комиссии Института Литературы Академии Наук СССР“, I, М.-Л., 1936, стр. 33—52).

⁴ Цитир. по чтению С. М. Бонди (вариант: вместо „Приди“ — „Где ты?“).

А следующим за Юрьевым лицом Пушкин намечал Баркова:

И ты, о гражданин кулис,
Театра злой летописатель,
Очаровательниц актрис
Непостоянный обожатель...¹

В вариантах второго стиха („Театра злой летописатель...“) Барков первоначально должен был быть назван „Поэт, остряк и мирный воин...“ — т. е. так, как Пушкин назвал себя в „Мне бой знаком...“ („Во цвете лет свободы верный воин...“): очевидно, как послание к Юрьеву было свежо в памяти его, так и слово „воин“ ассоциировалось с обликом „гражданина кулис“, необходимо было лишь изменить эпитет: не „свободы верный“, а „мирный“, как более соответствующий всему поведению Баркова, не столько военного, сколько всем существом своим привязанного к театру человека, „поэта и остряка“.² После упоминания Юрьева и Баркова по отдельности, Пушкин затем вспоминает их вместе, отметив ту роль, которую они играли по отношению к нему в кружке „Зеленой Лампы“:

*Вы оба в прежни времена
В ночных беседах пировали
И сладкой лестью баловали³
Певца свободы и вина...*

С. М. Бонди в своей окончательной „реконструкции“ всего послания отнес эти строки к братьям Всеволожским (ор. cit., стр. 48), так как от характеристики Баркова он сделал логический переход к характеристике „очаровательниц“ („... И я люблю их... веселость, ум и разговоры...“), а затем — к раскаянию Пушкина в проступке перед одной из них, Колосовой: „Но оскорбил я красоту...“. Однако первоначальное место четырехстишия в рукописи (непосредственно вслед за обращением к Баркову и предшествующим — к Юрьеву) не оставляет сомнения в первоначальном же замысле Пушкина отнести этот отрывок именно к ним, а не к хозяевам — Всеволожским.

¹ Обращения к Юрьеву и Баркову разрываются, правда, в рукописи четырьмя строками, обращенными уже ко всем „поэтам“ („Услышу ль я, мои поэты...“) и открывающими новую (60_в) страницу, но последовательность обращения к Юрьеву и Баркову от этого не страдает — в окончательном тексте (как это и сделано С. М. Бонди в его „реконструкции“) стихи эти, конечно, должны были встать на иные места.

² Характерно, однако, что и в „Мне бой знаком...“ слова „свободы верный“ были сперва зачеркнуты, заменены словами „восторга полный“ и уже потом вновь восстановлены (см. факсимиле наброска): следовательно, Пушкин и тогда уже колебался и подбирал необходимое определение к слову „воин“. Мотивом о „весельи“ и „лобзаниях милых жен“ ваканчивается и весь отрывок „Мне бой знаком...“, отвечая, таким образом, настроению поэта, которое им владело на веселой пирушке с участием, очень возможно, кого-либо из этих „милых жен“ и „ветреных Лаис“...

³ Один из вариантов — „и похвалами (или „похваляю“) баловали“; другие варианты (первоначальные) к этому четверостишию — см. в цитированной статье С. М. Бонди, стр. 42, примечания 7—9.

„Похвалами“, „лестью“ цель была достигнута; после наброска для Баркова, написанного на „репертуаре“, Юрьев имел уже послание Пушкина, целиком посвященное ему самому — правда, и на этот раз проникнутое достаточной долей дружеской иронии над „прелестным“, но малоудачливым Адонисом, с прямым нравоучением, как надо вести себя с женщинами, чтобы не быть только платоническим вздыхателем и мечтателем. Оставалось только шире похвастать подарком перед приятелями. И Юрьев это сделал, отпечатав стихи, которыми его „почествовал“ Пушкин, на отдельных листках и разослав их своим близким друзьям.¹ Конечно, один из таких именно оттисков от кого-то попал (если верить рассказу-преданию П. В. Анненкова) и к К. Н. Батюшкову, высоко оценившему это, столь строго впоследствии осужденное Пушкиным произведение: „Батюшков судорожно сжал в руках листок бумаги, на котором читал «Послание к Юрьеву», и проговорил: «О! как стал писать этот злодей!»“² — А в недавнее время найден и еще один точно такой же экземпляр „послания“ — в Государственной Публичной библиотеке в Ленинграде („Русское Отделение“). К сожалению, выяснить, от кого именно он поступил туда — нет возможности; можно (и очень соблазнительно) лишь предположить, что, так как в собраниях той же библиотеки хранятся автографы послания Пушкина к П. Б. Мансурову и письма Пушкина к нему от 27 октября 1819 г., то и библиотечный оттиск принадлежал когда-то этому „закадышному другу“ Пушкина и Юрьева.

¹ Отпечатать послание Юрьеву было, вероятно, не очень затруднительно: будучи в это время старшим адъютантом легкой кавалерийской дивизии, он должен был, по службе, для печатания приказов сноситься с типографиями. Такого рода „вольное печатание“ вообще было в ходу — сам Пушкин, отправляя летом 1819 г. А. И. Тургеневу свое послание к А. Ф. Орлову, писал: „... Напечатайте в собственной типографии и подарите один экземпляр пламенному питомцу Беллоны...“ („Письма“, т. I, стр. 7).

² П. В. Анненков. „А. С. Пушкин. Материалы для биографии“, СПб., 1873, стр. 50.



Г. П. СЕРБСКИЙ

ДЕЛО „О САРАНЧЕ“

(Из разысканий в области одесского периода биографии Пушкина)

Командировка Пушкина по делу о саранче занимает в биографии поэта, и в особенности ее южного периода, довольно значительное место. Эта командировка была одним из обстоятельств, ускоривших разрыв Пушкина с графом М. С. Воронцовым и затем высылку его из Одессы в село Михайловское.

Наиболее ценным источником для всестороннего освещения этого эпизода является дело „О саранче“ канцелярии Новороссийского и Бессарабского генерал-губернатора,¹ которое позволяет нам заново рассмотреть служебные отношения и командировку поэта на фоне общей борьбы с саранчей в Новороссийском крае в 1823 и 1824 гг.

Бедствие от неурожая плодов, засухи и саранчи, поразившее территорию Новороссийского края в 1823 и 1824 гг., заставило гр. Воронцова, сейчас же по вступлении в должность Новороссийского генерал-губернатора и полномочного наместника Бессарабской области, предпринять ряд мер.

По его просьбе, министерство внутренних дел отпустило 100 тысяч рублей на борьбу с саранчей, а также разрешило степным татарам Крыма, за положенную правительством плату, выволочку из казенных соляных озер от двух до трех миллионов пудов соли.

Оставив за собой главное руководство и наблюдение за ходом этой борьбы в управляемом крае, гр. Воронцов всю работу в отдельных губерниях поручил гражданским губернаторам. Последние же привлекли к участию в ней как служилый элемент в уездах — уездных предводителей дворянства, уездный и нижний земские суды, полицию, — так и местное население.

¹ Одесский областной архив. Дела 1824 года. №№ 26 (на 356 листах), 76 (на 626 листах) и 89 (на 129 листах). Материалы эти в наших копиях были предоставлены для ознакомления П. Е. Щеголеву, который частично и учел их в своей статье „А. С. Пушкин и гр. М. С. Воронцов“ („Красный Архив“, т. XXXVIII, стр. 177—178).

Осень и ранняя зима 1823—1824 г. были периодом подготовительных мероприятий: отыскивались и истреблялись зародыши саранчи, разрабатывались меры борьбы с нею предстоящей весной.

18 марта 1824 г. Комитет министров разрешил приостановить отделку дорог, чтобы освободить от этого помещичьих и казенных крестьян для борьбы с саранчей.

С первых чисел мая со всех концов края стали поступать к гр. Воронцову донесения о том, что саранча начала возрождаться. Наступило время самой напряженной работы. Надо было воспользоваться тем небольшим промежутком времени, когда саранча еще не может летать. Гр. Воронцов, „желая оправдать все ожидания правительства“, начал рассылать своих чиновников в разные концы Херсонской губернии, а также, „с высочайшего разрешения“, прибег к помощи воинских частей.

С 5 июля стали получаться известия, что саранча в своем движении угрожает Подольской губернии, а с 13 июля начались, наконец, перелеты саранчи, продолжавшиеся и в августе месяце с самыми опустошительными последствиями. Неубранные яровые хлеба погибли.¹

В Крыму, несмотря на все принятые меры, бедствие приняло еще бóльшие размеры. „Саранча распространилась в ужасном количестве... Река Салгир была остановлена в течении своем упавшею в нее тучею сих вредных насекомых, и 150 человек несколько дней и ночей работали для очищения протока. Более 300 четвертей собрано оных в одном пункте. Некоторые дома около Симферополя до того наполнены ими, что жители принуждены были выбраться из них“.²

В числе чиновников, командированных гр. Воронцовым на борьбу с саранчей, был и Пушкин.

Источниками для изучения самой командировки могут служить, кроме свидетельства самого поэта, следующие материалы: воспоминания современников Пушкина — В. Э. Писаренко,³ Н. М. Лонгинова,⁴ Ф. Ф. Вигеля,⁵ И. П. Липранди,⁶ а также письмо М. Ф. Орлова к жене от 29 мая 1824 г.,⁷ расписка Пушкина в получении прогонных при коман-

¹ О несметном количестве саранчи, появившейся в это время подле Одессы, рассказывал впоследствии муж знаменитой тогда певицы Каталани А. Я. Булгакову („Русский Архив“, 1901, кн. II, стр. 75).

² Одесский областной архив, дело № 76, л. 175 об.

³ „Москвитянин“, 1854, № 9, т. III, отд. V, стр. 11.

⁴ М. Лонгинов. „Пушкин в Одессе“, „Библиографические Записки“, 1859, стр. 553—555.

⁵ „Записки Ф. Ф. Вигеля“. Изд. 1892 г., ч. 6, стр. 173—174, а также изд. 1856 г., стр. 137—138.

⁶ „Русский Архив“, 1866, стлб. 1478.

⁷ М. О. Гершензон. „Семья декабристов“, „Былое“, 1906, октябрь, стр. 308. Лишены всякого значения сведения первой одесской газеты (Н. Лернер. „Первая Одесская

дивровке на саранчу,¹ и, наконец рассматриваемое нами дело „О саранче“.

Воспоминания современников поражают своей малой фактичностью: в них нет подробностей, нет точной передачи фактов, нет дат.

Губернский секретарь В. Э. Писаренко, находившийся в канцелярии гр. Воронцова при журналисте тит. сов. Шепелеве,² командированный правителем канцелярии 26 мая 1824 г. по тому же делу о саранче в село Маяки и Овидиополь,³ вернулся оттуда в Одессу на следующий день, 27 мая,⁴ за день до приезда Пушкина из командировки и, следовательно, мог быть очевидцем событий, происшедших в Одессе до отъезда поэта и после его возвращения.

В 50-х годах он рассказал К. П. Зеленецкому следующее:⁵ „Раз в 1824 г. дали Пушкину в распоряжение 2 батальона солдат и послали с ними в Херсонский уезд истреблять саранчу. Вместо всякого официального донесения по этому делу, он прислал стихи: «Саранча летела, летела и села; сидела, сидела, все съела, и вновь улетела»“.

Как увидим далее, все в этих строках вздорно — и два батальона, посланные с поэтом, и командировка Пушкина только в Херсонский уезд, и присылка стихов.

Начальник 1-го отделения канцелярии Новороссийского генерал-губернатора коллежский ассесор Никанор Михайлович Лонгинов⁶ ограничивается словами: „поездка его была непродолжительна, он возвратился чуть ли не через неделю“.⁷

Н. М. Лонгинов, первое лицо в канцелярии после правителя ее А. И. Казначеева, ближайший секретарь⁸ и старый мобежский и петербургский знакомый гр. Воронцова,⁹ мог бы, конечно, рассказать об этом факте подробнее.

газета“, стр. 17), а также целого ряда позднейших мемуаристов, касавшихся этого эпизода, но писавших о нем не как очевидцы, а по рассказам из вторых рук. Таковы: П. Капнист. „К эпизоду высылки Пушкина из Одессы“, „Русская Старина“, 1899, май, стр. 241—245; рассказы Е. Францевой в „Русском Обозрении“, 1897, январь, февраль, март; А. И. Маркевич. „Пушкинские заметки“, „Пушкин и его современники“, вып. III, стр. 96—105; В. В. Лорович. „Воспоминание о Пушкине“, „Одесский Вестник“, 1900, № 123; и др. Легенды, сообщенные ими, говорят только о популярности личности Пушкина на юге России.

¹ Г. П. Сербский. „Неизданные расписки Пушкина“, „Пушкин“, вып. I, изд. Пушкинской комиссии Одесского Дома ученых, под ред. М. П. Алексеева, Одесса, 1925, стр. 51.

² Архив Новороссийского генерал-губернаторства. Секретный фонд, 1823 г., д. № 1.

³ Дело „О саранче“, № 76, л. 115.

⁴ Ibid., л. 141.

⁵ „Москвитянин“, 1854, т. III, № 9, отд. V, стр. 11.

⁶ Архив Новоросс. ген.-губернаторства Секретный фонд, 1823 г., д. № 1, л. 53.

⁷ „Библиографические Записки“, 1859, ст. 553—555.

⁸ И. П. Липранди. „Замечания на воспоминания Вигеля“, стр. 143.

⁹ „Архив Воронцовых“, кн. XXXV; Ф. Ф. Вигель. „Записки“, ч. 6, стр. 92.

Наконец, очевидцем этих событий был Ф. Ф. Вигель, который 16 мая 1824 г. в четвертый раз приехал в Одессу, где и находился до 24 июня того же года.¹

О самой командировке Пушкина он рассказывает следующее: „Через несколько дней по приезде моем в Одессу, встревоженный Пушкин вбежал ко мне сказать, что ему готовится величайшее неудовольствие. В это время несколько самых низших чиновников из канцелярии генерал-губернаторской, равно как и из присутственных мест, отряжено было для возможного еще истребления ползающей по степи саранчи, в число их попал и Пушкин. Ничего не могло быть для него унижительнее... Для отвращения сего добрейший Казначеев медлил исполнением, а между тем тщетно ходатайствовал об отменении приговора. Я тоже заикнулся было на этот счет; куда тебе! он побледнел, губы его задрожали, и он сказал мне: «любезный Ф. Ф., если вы хотите, чтобы мы остались в прежних приятных отношениях, не упоминайте мне никогда об этом мерзавце», а через полминуты прибавил «также и о достойном друге его Раевском». Последнее меня удивило и породило во мне много догадок. Во всем этом было так много злого и низкого, что оно само собою не могло родиться в голове Воронцова, а, как узнали после, через Франка ввнушено было самим же Раевским. По совету сего любезного друга, Пушкин отправился и, возвратясь дней через десять, подал донесение об исполнении порученного. Но в то же время, под диктовку того же друга, написал к Воронцову французское письмо...“²

Этот рассказ Вигеля страдает многими неточностями и измышлениями. Во-первых, „несколько самых низших чиновников“ — не совсем верно, ни вообще в отношении посылавшихся по делу о саранче лицах,³ ни в частности по отношению к командированным в одно время с Пушкиным тит. сов. Сафонову,⁴ столоначальнику первого стола 4-го отделения канцелярии гр. Воронцова, и тит. сов. Северину. Во-вторых, Пушкин пробыл в командировке не дней „десять“, а максимум пять. В-третьих, никакого „донесения“ „об исполнении порученного“, как увидим ниже, поэт не мог прислать. Наконец, все, что относится к роли А. Н. Раевского не является бесспор-

¹ „Записки Ф. Ф. Вигеля“, изд. 1892 г., ч. 6, стр. 173—174.

² Там же, стр. 171—172.

³ Например, нельзя сказать так о Никите Степановиче Завалиевском, сыне петербургского вице-губернатора, бывшем во время пребывания Пушкина в Одессе отставным офицером гвардии саперного батальона и занимавшем должность эзекутора канцелярии гр. Воронцова (Ф. Ф. Вигель. „Записки“, ч. 6, стр. 120). О нем см. также: И. П. Липранди. „Замечания на воспоминания Ф. Ф. Вигеля“, стр. 160.

⁴ О Степане Васильевиче Сафонове, как о первом любимце Воронцова, ставшем впоследствии „первым его министром“, всегда и всюду неизменно его сопровождавшем, сам Ф. Ф. Вигель неоднократно говорит в своих „Записках“ (см. ч. 6, стр. 82, 97, 171, 186); см. также И. П. Липранди, „Замечания на воспоминания Вигеля“, стр. 171, 173—174.

ным,¹ как не заслуживает внимания и разговор Вигеля с гр. Воронцовым накануне командировки.²

Зато правильно отмечено состояние саранчи в это время, правильно указано на факт посылки Пушкиным французского письма графу Воронцову,

¹ Об этом Вигелю рассказывал барон Отто Романович Франк, как указывает сам мемуарист. Он же, смею думать, говорит и о времени этого сообщения. „Года за полтора (т. е. в конце 1826 г., так как речь идет о марте 1827 г.) перед тем, из расчетов не столько корысти, женился он (Франк) на деде, которая его и меня по крайней мере десятью годами была старше. Пусть вспомнят в Белой Церкви Ергольскую, столь любимую и уважаемую семейством Браницких, без которой сама графиня жить не могла и которая саму Воронцову называла просто Лизой. Вероятно, Франк полагал, что за ней будет невисть что приданного и что посредством этого брака он поступит почти в родство с своим покровителем. И как он ошибся! Граф и графиня Воронцовы, без ведома коих дело было положено и совершено, не знаю почему, нашли сей поступок подлым и совершенно к нему переменились; графине же Браницкой больно было бы расстаться со своей любимицей, и она умела удержать ее при себе. К тому же, не находя в супруге ожидаемой горячности, и сама Наталья Николаевна скоро к нему охладела, жить им вместе не оставалось возможности, и он женат был только номинально. Вот положение! Однако он по прежнему оставался в службе; в начале зимы Воронцов отправился к родителям в Англию, а он, пользуясь его отсутствием, приехал разделить горе со счастливым братом. Заметив, что назначением в градоначальники справедливая моя досада не совсем потушена, стал он говорить со мной откровенно; богов своих спустил он на землю и принялся вычитывать все слабости сих смертных“ („Записки“, ч. 6, стр. 142). Если же ко всему этому обратим внимание на способности Франка еще до своего „несчастья“ „своим передраживанием, каламбурами чрезвычайно смешить графиню и все ее женское общество“, а „начальника своего наедине ябавлять городскими и всякого рода вестями“, о которых говорит сам Вигель и о которых хорошо знали одесситы (ср. отзыв П. Т. Морозова: „известный собиратель новостей барон Ф. Франк“ — „Из Одесских воспоминаний“, „Русский Архив“, 1877, III, стр. 324); с другой же стороны вспомним недовольство Вигеля Воронцовыми и бешеную ненависть его к А. Н. Раевскому, „тайными наговорами“ лишившего его гостиной гр. Воронцовой, то и о достоверности этой Франко-Вигелевской легенды нельзя говорить при отсутствии каких-либо неоспоримых подтверждений. Наконец, не лишним будет напомнить, что эта часть „Записок“, в которых находятся строки о Пушкине, писалась Вигелем в начале 50-х годов, т. е. спустя 30 лет после происходившего (в VIII гл. 6-й части, стр. 114 Вигель, говоря о кишиневском доме Инзова, добавляет в примечании: „Теперь, слышно, он в развалинах“, ср. А. Яцимирский „Пушкин в Бессарабии“, „Пушкин“, под ред. С. А. Венгерова, т. II, стр. 161), когда, как говорит сам автор, — „воображение гаснет, память тускнеет, охота пропадает“ („Записки Ф. Ф. Вигеля“, ч. 6, стр. 89).

² Слова гр. Воронцова об А. Н. Раевском вряд ли могли быть сказаны Вигелю, бывшему с графом в исключительно официальных отношениях, тем более, что еще долго после этого отношения Воронцова к А. Н. Раевскому не переставали быть дружескими. Об этом свидетельствует следующий рапорт Воронцова, представленный в ответ на письмо Александра I к последнему (А. В. Флоровский. „Из Одесской старины“, „Известия Одесского Библиографического общества“, т. I, стр. 356—357 и отд.) как-раз в тот день, когда, якобы происходил разговор гр. Воронцова с Вигелем: „В с е п о д д а н н ы й р а п о р т. Приняв надлежащие меры во исполнение высочайшей воли вашего императорского величества, изображенной во всемилодивейшем ко мне рескрипте от 2 мая, я долгом поставляю всеподданнейше донести, что в числе военных чиновников, в Одессе находящихся, проживает здесь полковник 6-го Егерского полка Раевский, который не имеет отпуска

что подтверждает сам поэт;¹ медлительность А. И. Казначеева при исполнении приказа Воронцова также вполне возможна и, быть может, находится в соответствии с тем обстоятельством, что, получив предписание 22 мая, Пушкин не отправился в командировку в тот же день, как поступали другие чиновники, а еще следующий день оставался в Одессе, что видно из расписки поэта в получении 400 рублей на прогоны.²

Наконец, остановимся и на воспоминаниях И. П. Липранди. Последний, хотя и не был очевидцем описываемых событий, ибо незадолго перед этим выехал из Одессы,³ но, возвращаясь в кругу знакомых Пушкина, был, вообще говоря, очень хорошо осведомлен о нем. О командировке Пушкина пишет он следующее: „Через несколько времени получены были из разных мест известия о появлении саранчи, выходявшей уже из зимних квартир своих, на иных местах еще ползающей, на других перешедшей в период скачки. Несмотря на меры, принятые местными губернаторами, граф послал и от себя несколько военных и гражданских чиновников (от полковника до губернского секретаря); в числе их был назначен и Пушкин“.⁴

В этих строках нашла себе верное отражение лишь официальная сторона дела. Проблематична только посылка военных чиновников, о которых нет никаких указаний в делах о саранче.

Все эти воспоминания, таким образом, или совершенно вздорны (В. З. Писаренко), или почти ничего не говорят (Н. М. Лонгинов), или в лучшем случае дают для самой командировки Пушкина очень незначительный и не совсем точный материал (Вигель, Липранди).

Значительно больше фактически точного материала дает разбираемое нами „дело о саранче“.

Внимательное изучение обнаруживает в нем целый ряд интереснейших деталей, которые ускользнули от предыдущих исследователей

именно в Одессу. Он, будучи долго весьма болен, уволен за границу до излечения еще в 1822 году; но познакомившись в Белой церкви с доктором, приехавшим со мною из Англии, начал у него лечиться и, следуя советам, нашел отъезд в чужие края ненужным: ибо в продолжении немного больше года приведен из отчаянного почти состояния в положение, по сравнению с прежним, здоровое; но будучи после таковой болезни весьма слаб, никак не может вступить в действительную службу и желает пользоваться еще сего года здесь в Одессе морскими ваннами. Представляя все сии обстоятельства, лично мне известные, на благоусмотрение вашего императорского величества, буду ожидать на счет г. Раевского высочайшего разрешения. 23 мая 1824. Одесса“. (Архив Новороссийского ген.-губернаторства, секретн. часть, 1824 г., д. № 7, л. 14 и об.).

¹ Письмо Пушкина к кн. П. А. Вяземскому (конец июня 1824 г., Одесса). „Письма Пушкина“, под ред. Б. Л. Модзалевского, т. I, стр. 84—85.

² Г. П. Сербский. „Пушкин“, вып. I, изд. Пушкинской комиссии при Одесском Доме ученых, под ред. М. П. Алексеева, Одесса, 1925, стр. 51.

³ „Русский Архив“, 1866, стлб. 1477.

⁴ Там же, стлб. 1478.

(К. П. Зеленецкий,¹ А. А. Скальковский² и др.), позволяют нам более полно нарисовать картину командировки Пушкина и даже бросают, правда косвенным образом, некоторый свет на ее причины и следствия.

В первых числах мая 1824 г. дело борьбы с саранчей в Херсонской губернии стало вестись с большей энергией, ибо сперва в уездах Херсонском и Александрийском, а затем в Елисаветградском саранча начала возрождаться. Гр. Воронцов стал рассылать своих чиновников,³ частью с специально изобретенными мешками, а еще до командировки первых чиновников: отставного поручика гвардии Н. С. Завальевского и актуариуса В. И. Туманского⁴ в Ольвиопольский и Тираспольский уезды, и именно 29 апреля 1824 г. туда были вытребованы две роты солдат.⁵

В это время, быть может, если верить Воронцову, в различные места Херсонской губернии были посланы и его адъютанты.⁶

20 мая на смену Туманскому был послан канцелярист Колмогоров,⁷ а вслед за ним 21 мая в Ольвиополь была командирована рота солдат.⁸ 22 мая Воронцовым были командированы три чиновника: тит. сов. Сафонов в Екатеринославскую губ.,⁹ кол. секр. Пушкин в уезды Херсонский, Елисаветградский и Александрийский¹⁰ и в Таганрог тит. сов. Северин.¹¹ Наконец, 26 мая в Маяки и Овидиополь по предписанию правителя канцелярии гр. Воронцова был послан губ. секр. Писаренко.¹²

¹ „Библиографические Записки“, 1858, стр. 553—555.

² „Пушкин и его современники“, вып. III, стр. 96—106.

³ Предписание гр. Воронцова от 15 мая 1824 г. отправиться в уезды Тираспольский и Ольвиопольский, а оттуда в Подольскую губернию к М. К. Собанскому. „Дело о саранче“, № 76, л. 21.

⁴ Предписание гр. Воронцов от 15 мая 1824 г. отправиться в Тираспольский уезд. „Дело о саранче“, № 76, л. 28.

⁵ Открытый лист на следование двух рот в селение Маяки Тираспольского уезда. „Дело“, № 26, л. 353.

⁶ Отношение гр. Воронцова управляющему мин. внутр. дел от 16 мая 24 г. („Дело“, № 76, л. 48 об. и 30 мая, л. 129). Между тем в отношении графа Воронцова Херсонскому гражданскому губернатору (28 мая, л. 20) говорится о командировке только чиновников канцелярии. К тому же и во всем деле нет больше никаких упоминаний об адъютантах, а также отсутствуют какие бы то ни было следы деятельности последних.

⁷ „Дело“ № 76, л. 74.

⁸ Овидиопольскому частному приставу фон-Мирбаху от правителя канцелярии. Назв. дело, л. 81.

⁹ Назв. дело, лл. 92, 93.

¹⁰ Предписание гр. Воронцова 22 мая. Назв. дело, лл. 98—99.

¹¹ О командировке Северина в Екатеринославскую губ. говорит только сумма 122 р. 72 к. асс., выданная ему на прогоны 22 мая 1824 г. (Предписание гр. Воронцова Екатеринославскому гражд. губ. от 3/XI 24 г. Назв. дело, л. 616). В ведомости же о „прогонах“ (назв. дело, л. 618) титулярный советник Северин значится командированным по Таганрогскому округу, за что до Таганрога за 2 лошади выдано ему 122 р. 72 к. асс.

¹² Назв. дело, л. 115.

Всем чиновникам поручалось выяснить, в каких местах появилась саранча, в каком количестве, какие меры приняты на местах, какого успеха они достигают, а некоторым из них поручалось еще отвезти специальные для истребления саранчи мешки.¹

Самые небольшие командировки выпали на долю Писаренка,² Туманского,³ и Колмогорова.⁴ Отдаленнее была командировка Завальевского⁵ и еще больше был путь двух чиновников — Сафонова⁶ и Северина,⁷ посланных в один день с Пушкиным. Предписание же последнему было таково:⁸

№ 7976

22 Мая 1824 г.

Одесса

Отделение 1-е Состоящему в штате моем ведомства Коллегии Иностранных дел Господину Коллежскому Секретарю Пушкину

Желая удостовериться о количестве появившейся в Херсонской Губернии саранчи равно и том с каким успехом исполняются меры преподанные мною к истреблению оной, я поручаю вам отправиться в уезды Херсонский, Елисаветградский и Александрийский. По прибытии в города Херсон, Елисаветград и Александрию явитесь в тамошние общие уездные Присутствия и потребуйте от них сведения: в каких местах саранча возродилась, в каком количестве, какие учинены распоряжения к истреблению оной и какие средства к тому употребляются. После сего имеете осмотреть важнейшие места, где саранча наиболее возродилась и обозреть с каким успехом действуют употребленные к истреблению оной средства и достаточны ли распоряжения учиненные Уездными Присутствиями.

Обо всем что по сему вами найдено будет рекомендую донести мне.

Нов<ороссийский> Г<енерал->Г<убернатор> и П<олномочный> Н<аместник> Б<ессарабской> Области

<Подпись>

¹ Мешки в количестве четырех штук отвозились Туманским и Сафоновым.

² Всего около 100 верст, за что получил на прогоны 20 р.

³ 125 верст — прогонов 30 р.

⁴ Колмогоров посылался в распоряжение тираспольского предводителя дворянства. От Одессы до Тирасполя — 95 верст.

⁵ Путь: Одесса — Севериновка — Тирасполь — имение М. К. Собанского, Подольская губерния — Ольвиополь — Одесса, вероятно немногим превышал 500 верст.

⁶ Сафонов командирован был в г. Екатеринослав, отсюда предписывалось ему обозреть места большого скопления саранчи. Путь от Одессы до Екатеринослава и обратно равен 950 верстам.

⁷ До Таганрога и обратно — 1438 верст.

⁸ „Дело“ № 76, лл. 98, 98 об., 99.

Из этого предписания следует, что командировка Пушкина предполагалась такой же длительной, как и командировка Сафонова¹ и уступала по продолжительности только командировке Северина.

Получив предписание 22 мая, Пушкин выехал из Одессы не ранее следующего дня² и возвратился не позже 28 мая.³ Таким образом, он пробыл в командировке максимум 5 дней.

Если бы Пушкин пожелал в точности выполнить свое поручение, ему понадобилось бы времени около месяца.⁴ Ежели бы он и не пожелал в каждом уезде „осмотреть важнейшие места, где саранча наиболее возродилась“, что, однако, входило в его обязанности согласно предписанию, а только объездил города Херсон, Елисаветград и Александрию, являясь в „тамошние общие уездные присутствия за получением от них нужных сведений о саранче“, то и тогда Пушкину потребовалось бы времени более 5 дней, которые он находился в командировке.⁵

Отсюда можно заключить, что Пушкин не выполнил возложенного на него поручения и никакого рапорта об исполнении им порученного следовательно дать не мог.

Между тем за свою командировку он получил в три раза больше того, что должен был бы получить, исполнив даже в полной мере поручение Воронцова.⁶

Это любопытное обстоятельство, не давая нам достаточного основания для каких-либо положительных выводов, все же позволяет вывести командировку Пушкина из ряда всех обычных чиновничьих командировок по делу о саранче, данных гр. Воронцовым.

Вот все те фактические данные, которые дают „дела о саранче“ относительно самой командировки Пушкина.

Каковы же были причины и следствия ее?

¹ Путь Пушкина: от Одессы до Херсона — 173 версты, Херсон — Елисаветград — 240 верст, Елисаветград — Александрия — 70 верст, Александрия — Одесса — 347 верст. Итого приблизительно 830 верст. Маршруты вычислены по таблице „Новороссийского календаря“ на 1841 г., стр. 74—76.

² См. расписку Пушкина в получении 400 р. на прогоны.

³ „Былое“, 1906, кн. X, стр. 308.

⁴ Ср. с такой же командировкой Сафонова. Последний, выехав из Одессы 22 мая, вернулся не ранее 18 июня, для подачи гр. Воронцову рапорта об исполнении порученного.

⁵ Исключительная, по словам Анненкова, „молниеобразная“ езда Пушкина из Пскова в Москву (752 версты) продолжалась четверо суток. Безостановочный путь Пушкина из Одессы в с. Михайловское (1650 верст) был пройден с 30 июля по 9 августа, т. е. ежедневно Пушкин проезжал 150 верст. Почта из Одессы в Петербург (1660 верст) шла две недели, в сутки — около 120 в. Езда Пушкина во время командировки может быть сравниваема по своей быстроте только с ездой почты. К тому же это было весеннее время, когда дорога, вследствие таяния снегов и разлива рек, могла затруднять езду.

⁶ По 8 коп. за версту на две лошади прогонных за 830 верст причиталось бы 132 р. 80 к. В. И. Туманский за 125 верст на три лошади получил 30 рублей.

Об этом „дела“ говорят, конечно, очень мало. В них нашла себе место только официальная сторона командировки. Между тем отношения между Пушкиным и Воронцовым к данному времени были настолько сложные и далеко не исчерпывающиеся взаимоотношениями по служебным делам (которых у Пушкина перед этим, к тому же, и не было), что наивно было бы о причинах, побудивших гр. Воронцова дать Пушкину подобную командировку, судить по строкам его предписания, писанным рукой какого-нибудь канцеляриста.

„Дело“ говорит нам только, во-первых, что, предписывая Пушкину отправиться в командировку, гр. Воронцов давал ему одно из самых больших поручений, требовавшее от поэта большой затраты времени — около месяца; во-вторых, что эта служебная поездка была довольно щедро оплачена.

Если таким образом „дело“ прямо не говорит о причинах, то почти все современники, писавшие о жизни поэта на юге России, не обходят этого вопроса молчанием.

Их голоса, однако, самые противоречивые.

И. П. Липранди, состоявший при штате гр. Воронцова, отрицал в этом деле желание со стороны последнего унижить поэта и говорил о распоряжении гр. Воронцова „положительно с целью, чтобы по окончании командировки иметь повод сделать о нем представление к какой-либо награде“.¹ Мнение это было подхвачено Анненковым² и Бартеневым.

Конечно, борьба с саранчей являлась делом громадной важности. Саранча была подлинным народным бедствием, и Воронцов серьезно относился к нему. В своих „Mémoires du prince M. Voronzov“, 1819—1833 г., в которых Воронцов всегда коротко говорит о фактах, для него весьма памятных, он между прочим под 1823 г. пишет: „Durant cette année commencèrent en Nouvelle Russie les ravages des souterelles, qui désolèrent les campagnes et nous firent beaucoup de mal pendant cinq ou six années depuis. Nous fîmes tous ce que nous pûmes, pour diminuer le mal en détruisant, autant que possible, ces insectes si malfaisants, ainsi que les oeufs qu'ils laissent pour l'hiver dans les champs qu'ils ont ravagés; mais ce travail n'est possible que là où il y a beaucoup d'habitants ou des troupes en cantonnement dans le voisinage“.³

Всю важность борьбы с саранчей в его глазах достаточно выдает и изученное нами „Дело“.

Но разве мало было в громадной канцелярии Воронцова чиновников более опытных в служебных делах, чтобы явилась необходимость и целесообразность посылать Пушкина в уезды Елисаветградский и Александрый-

¹ „Русский Архив“, 1866, стлб. 1478.

² П. В. Анненков. „Пушкин в Александровскую эпоху“, стр. 253.

³ „Архив кн. Воронцовых“, кн. XXXVII, стр. 74.

ский, где никто из чиновников Воронцова еще не был, и где, может быть, предстояло серьезно налаживать дело истребления саранчи?

Поскольку же, конечно, всякое мнение современника по этому вопросу (если оно беспристрастно) есть не более как вывод из известных фактов взаимоотношений Пушкина и Воронцова, мы в настоящее время можем сказать, что ни о каком желании гр. Воронцова наградить поэта не может быть и речи.

Мнение Ф. Ф. Вигеля (принятое Н. О. Лернером и другими биографами поэта) уже более справедливо.

Будучи в это время в Одессе, он видел, как страшно был встревожен и недоволен этой командировкой Пушкин.

Вполне правдоподобная медлительность А. И. Казначеева и просьба его, обращенная к Воронцову об отмене командировки, а также непреклонность графа свидетельствуют о скрытой цели Воронцова, продиктованной ненавистью к Пушкину.

Бюрократу Вигелю, который, как говорят в один голос современники, „никогда не прощал, если не оплатят ему тотчас же визита, если нарушат в нем права местничества, т. е. посадят его за стол не на то место, которое он считал подобающем чину его“, ¹ казалось, что в данной командировке Пушкин был оскорблен тем, что вместе с ним посылались „самые низшие“ чиновники.

Это похоже на Вигеля, но неверно для Пушкина. Мы, например, определенно знаем, что с Туманским и Завальевским поэт находился в приятельских отношениях.²

Пушкин мог быть недоволен своей командировкой как непривычной, неприятной, тяжелой служебной обязанностью,³ но так озлобленно встревожен стал он, только подозревая еще какие-то скрытые причины распоряжения Воронцова.

Каковы же были эти причины?

¹ Отзыв кн. Вяземского. См. „Русский Архив“, 1866, стлб. 219.

² Черновое письмо Пушкина к Вигелю (нобрь 1823 г., Одесса). („Переписка“, т. I, 80—82), письмо А. Н. Раевского к Пушкину от 21 июля 24 г. („Переписка“, т. I, стр. 126—128). „Записки“ Вигеля, ч. 6, стр. 120—121, ч. 7, стр. 134.

³ См. в письме кн. В. Ф. Вяземской к мужу от 19 июля 1824 г.: „Он провинился лишь ребячествами, да еще тем, что несколько обнаружил справедливую досаду на то, что его послали искать местопребывание саранчи, — и то ведь он повиновался. Он был там и по возвращении попросил отставки, потому что чувствовал себя оскорбленным. Вот и все“ („Ослафьевский Архив“, т. V, вып. 2, СПб., 1913). Об этом см. также черновики полуофициального письма Пушкина к А. И. Казначееву от 22 мая 1824 г. („Переписка“ Пушкина, т. I, стр. 108—111). Перебеленный черновик этого письма предположительно датируется 25 мая. Эга датировка, восходящая к Анненкову („Пушкин в Александровскую эпоху“, стр. 255—25.), вряд ли справедлива. Письмо это, заключающее в себе еще сдержанную просьбу об отмене командировки, отражает первое впечатление Пушкина от предписания гр. Воронцова, характеризующее отсутствием какого-либо определенного решения. Так мог писать Пушкин только до 23 мая, когда он, получив прогонные деньги, решил отправиться

В январе 1825 г. поэт, несколько успокоившись от волнений в Одессе и семейных ссор в Михайловском, говоря о причинах своего удаления из Одессы, передавал своему лицейскому другу И. И. Пущину, человеку редкой искренности, чуткости и честности, о „кознях графа Воронцова из ревности; думал даже, что тут могли действовать некоторые смелые его бумаги по службе, эпиграммы на управление и неосторожные частые разговоры о религии“.

О ревности, как о причине высылки Пушкина, говорили в свое время в Петербурге с большей или меньшей определенностью и Д. П. Северин,¹ сам не задолго перед этим побывавший в Одессе² и имевший там связи,³ А. И. Тургенев⁴ и Н. М. Карамзин.⁵ Первый-то и положил основание тем слухам, которые широко распространились в столицах и которые были неприятны Пушкину.⁶ Об этом говорили и в семье Раевских, которые могли быть, конечно, хорошо осведомлены.⁷

Наконец, кн. П. П. Вяземский, выросший в семье, где имя Пушкина было родным именем, который сам с четырехлетнего возраста стал запоминать рассказы о поэте, так передает о причинах самой командировки: „В этом предложении новороссийского генерал-губернатора он увидел злейшую иронию над поэтом-сатириком, принижение честолюбивого дворянства и вероятно паче всего одурачение Ловеласа, подготовившего свое торжество“.⁸

Так объяснял дело и сам Пушкин в письме к А. И. Тургеневу из Одессы 14 июля 1824 г.: „Не странно ли что я поладил с Инзовым, а не мог ужиться с Воронцовым; дело в том что он начал вдруг обходиться со мною с непристойным неуважением, я мог дожидаться больших неприятностей и своей просьбой предупредил его желания. Воронцов—Вандал,

в командировку. Быть может дата „25 мая“, находящаяся, как сообщает П. Анненков, в бумагах Пушкина, неразборчива и ее должно читать, например, — 23 мая. В противном случае следовало бы думать, что Пушкин ошибся или что начальные строки этого письма: „Будучи совершенно чужд ходу деловых бумаг, не знаю вправе ли отозваться на предписание Е. С.“, как и все письмо, не являются отказом от исполнения порученного. Тогда следовало бы считать, что письмо написано не в Одессе, а в дороге и подано только по возвращении из командировки.

¹ Письмо А. И. Тургенева кн. П. А. Вяземскому от 1 июля 1824 г. („Остафьевский Архив“, т. III, стр. 57).

² См. письмо А. И. Тургенева к кн. П. А. Вяземскому от 25 ноября 1823 г. из Петербурга.

³ Женат был на сестре Александра Скарлатовича Стурдзы — Елене Скарлатовне.

⁴ Письмо А. И. Тургенева кн. П. А. Вяземскому от 1 июня 1824 г.

⁵ Письмо А. И. Тургенева кн. П. А. Вяземскому от 5 августа 1824 г. („Остафьевский Архив“, т. III, стр. 66) и П. Бартевев, „Пушкин“, вып. II, стр. 27—28.

⁶ Письмо Л. С. Пушкина кн. П. А. Вяземскому (январь 1825 г.) (П. Бартевев. „Пушкин“, вып. II, стр. 28).

⁷ Черновое письмо генерала Н. Н. Раевского к Николаю I (М. О. Гершензон. „Мудрость Пушкина“, статья „Пушкин и гр. Е. К. Воронцова“, стр. 203).

⁸ П. Бартевев. „Пушкин“, вып. II, стр. 27.

придворный хам и мелкий эгоист. Он видел во мне коллежского секретаря, а я, признаюсь, думаю о себе что то другое“.

Вот почему поэт, никогда не подписываясь как чиновник, при получении денег по службе, на этот раз, принимая деньги на прогоны, к своей обычной подписи с горечью приписал: „Коллежский Секретарь“.¹

Последнее же замечание П. П. Вяземского находится в соответствии с настойчивыми просьбами гр. Воронцова удалить Пушкина из Одессы и боязнию, чтобы поэта не перевели к И. Н. Инзову, с одной стороны, и с нетерпеливым желанием выехать с семьей в Крым,² с другой.

¹ Г. Сербский, назв. публикация, стр. 54—55.

² Уже 27 марта 1824 г. гр. Воронцов послал гр. Нессельроде официальное отношение — просьбу удалить Пушкина из Одессы. В нем особенно должно обратить внимание биографов Пушкина указание на самолюбие (*l'amour propre*) поэта и скрытая боязнь графа, чтобы Пушкина не перевели к Инзову: „Il ne servais à rien de le remettre purement au Général Insov, car autre que cela ne l'élignerait guère d'Odessa il serait même alors hors de ma surveillance, Kicheneff est si près d'ici que les mêmes personnes iraient l'y chercher et à Kicheneff même, il trouverait parmi les jeunes boyards et les jeunes grecs assez de très mauvaise société“ („Дело канцелярии новороссийского генерал-губернаторства, 1824 г., № 144. О высылке из Одессы в Псковскую губ. кол. секр. Пушкина“, лл. 3, об. и 4). Эта последняя мысль, вероятно, особенно сильно тревожила Воронцова, так как, еще не получив ответа на первое официальное отношение, он из Кишинева 2 мая написал гр. Нессельроде другое полуофициальное письмо, в котором говорил о прибывших в Молдавию греческих выходцах, к которым русское правительство, обьятое реакцией и страшившееся революционных вспышек, относилось подозрительно и неодобрительно. Сообщая министру об установлении через полицию и секретных агентов наблюдения за всем, что делается среди греков и молодых людей других национальностей, Воронцов так заключил свое письмо: „à propos de cela je gèrète ma prière—delivrez moi de Pouchkin; cela peut être un excellent garçon et un bon poète, mais je ne voudrais pas l'avoir plus longtemps ni à Odessa, ni à Kicheneff“ (Н. О. Лернер. „Воронцов о Пушкине“ „Пушкин и его современники“, вып. XVI, стр. 68). 16 мая Нессельроде в ответ сообщил об одобрении царем соображений Воронцова, но окончательное решение о Пушкине откладывалось: „Mais quant au parti à prendre definitivement à son égard il s'est réservé de me donner ses ordres à un prochain travail“ („Архив кн. Воронцовых“, т. XI).

Между тем и сам Воронцов в это время торопился выехать из Одессы. Еще зимою, задумав провести лето в Крыму, о чем свидетельствуют строки письма Пушкина к кн. Вяземскому от 20 декабря 1823 г. („что еслиб ты заехал к нам на Юг нынешней весною. Мы бы провели лето в Крыму, куда собирается попасть пропасть дельного народа женщин и мужчин“. „Переписка“, т. I, стр. 93). Воронцов 22 апреля 1824 г., только что вернувшись в Одессу из своего путешествия в Белую Церковь, вместе с графиней, А. Н. Раевским, Туманским и др. (В. И. Туманский, „Стихотворения и письма“, П., 1912. Письмо Туманского из Одессы от 3 мая 1824 г., стр. 262), просил государя разрешить ему после Бессарабии, Крыма и Таганрога приехать в начале июня в Петербург. 13 мая последовало на это высочайшее разрешение (Архив Новоросс. и Бессарабск. ген.-губернаторства. Секретные дела, 1824 г., № 5). Однако, в то время, в которое предполагалась поездка („Граф и графиня едут в середине мая в Крым“ — письмо В. И. Туманского к С. Г. Туманской от 3 мая 1824 г. — „Стихотворения и письма В. И. Туманского“, изд. 1912 г., стр. 263), Воронцов не мог выехать из Одессы, так как тяжело заболела его дочь (см. „Записки“ Вигеля, ч. 6, стр. 173, и отношение Воронцова В. С. Ланскому, управляющему министерством внутренних дел, от 2 июня 1824 г., в котором граф писал, что „опасная болезнь дочери

Но Воронцову не везло. Правительство медлило с высылкою Пушкина, а болезнь дочери мешала Воронцовым уехать из Одессы. Тогда Воронцов, пользуясь своим положением начальника, дает поэту необычную для него, а главное длительную командировку. Эти свои скрытые причины и цели Воронцов, чьи „мелкие интриги, нахальное лицепрятие и даже ложь“¹ хорошо были известны современникам, который всегда весьма заботился о поддержании своего „благородства“ в глазах общественного мнения, — эту злую, циническую командировку Воронцов пытается прикрыть тем, что без мелочных расчетов „щедро“ выдает прогонные деньги поэту, остро переживавшему нужду в них.

Однако, Пушкин неожиданно быстро вернулся из командировки, еще застав Воронцовых в Одессе; зато распоряжение об увольнении со службы и высылке поэта было получено в Одессе тогда, когда семья графа находилась уже далеко — в Симферополе.²

По возвращении же из командировки, Пушкин, если верить Н. М. Лонгинову, „явился к графу Воронцову в его кабинет. Разговор был самый лаконический; Пушкин отвечал на вопросы графа только повторением последних слов его; например: «Ты сам саранчу видел?» — «Видел». «Что ее много?» — «Много» и т. д.“³

Достоверно же известно, что фактическими последствиями командировки было первое письмо Пушкина к А. И. Казначееву, заключающее просьбу поэта об отставке,⁴ а затем второе письмо к А. И. Казна-

мой и вместе с тем обязанности по случаю явившейся здесь саранчи и заразной болезни со стороны Турции, задержали меня здесь, и так как ни в каком случае я не могу ехать в Петербург, не быв в Крыму и в Таганроге, то и <неразб. — прошу высочайшего разрешения?> вместо июня месяца приехать в Петербург осенью после возвращения е. и. в. из дороги“ (Архив Новорос. и Бессарабск. ген.-губернаторства. Секретные дела, 1824 г., № 5). Только 6 июня, в связи с выздоровлением дочери, Воронцов мог написать в своем посланном в министерство внутренних дел докладе о состоянии саранчи, что собирается в Крым „на сих днях“ (Дело „О саранче“, № 76, л. 176 об.). Этот отъезд состоялся, вероятно, 14 июня. Об этом говорят следующие строки письма кн. В. Ф. Вяземской из Одессы к мужу от 13 июня: „le C-te et la C-tesse V<oronzof> partent demain pour la côté méridionale de la Crimée et y resteront deux mois“ („Остафьевский Архив“, т. V, вып. 2-й, стр. 102).

¹ Отзыв сенатора К. И. Фишера. „Исторический Вестник“, 1908, № 1, стр. 444.

² Этому противоречит рассказ П. И. Бартенева о том, что в момент получения Пушкиным увольнения со службы гр. Воронцова находилась в Одессе („Русский Архив“, 1884, кн. III, стр. 188), так как увольнение последовало только 8 июля („Русская Старина“, 1887, январь, стр. 246).

³ М. Лонгинов. „Пушкин в Одессе“, „Библиографические Записки“, 1859, стр. 554.

⁴ Об этом писала кн. В. Ф. Вяземская из Одессы своему мужу 13 июля 1824 г. следующее: „Je n'ai rien de bon à te dire du neveu de Василий Львович. C'est un cerveau tout-à-fait renversé et que nul ne pourra dominer; il vient de faire de nouvelles farces à la suite desquelles il a demandé son congé; tous les torts sont de son côté. Je sais de bonne part qu'il ne l'aura point. Je fais tout ce que je peux pour calmer sa tête; je le gronde de ta part en assurant que bien certainement tu l'aurais accusé le premier, car ses derniers torts sont ceux d'un éventé. Il a cherché à donner du ridicule à un personnage important pour lui et l'a

чееву,¹ содержащее, как говорит П. В. Анненков,² „формальное объявление войны“, недошедшая до нас переписка Пушкина с гр. Воронцовым, окончательный разрыв с ним и, наконец, ссылка поэта в село Михайловское, о которой В. Л. Пушкин со слезами говорил, что „la sauterelle l'a fait sauter“,³ где хоть и тоскливо было поэту, но зато не было „ни саранчи, ни милордов Уоронцовых“.⁴

Есть еще указание на присылку поэтом в виде рапорта гр. Воронцову стихов:

Саранча летела, летела . . . и т. д.

Из всех современников Пушкина один только В. З. Писаренко говорит об этом. Однако, достоверность этого сообщения прежде всего подрывается вздорностью остальных сообщенных им фактов. Но не мог поэт такими стихами докладывать после своей поездки и по той простой причине, что саранча в то время не летела, а только ползла.

Именно подобное состояние саранчи вспомнилось потом Пушкину в „Полтаве“:

И падшими вся степь покрылась
Как роем черной саранчи.

fait: cela s'est su, et, de raison, on ne peut plus le voir de bon oeil. Il me peine véritablement mais jamais j'en n'ai rencontré autant d'étourderie et de penchant à la médisance qu'en lui; avec cela je lui crois bon coeur et beaucoup de misanthropie; non point qu'il fuie la société, mais c'est les hommes qu'il craint; c'est peut-être l'effet du malheur et les torts de ses parents, qui l'on rendu ainsi“ („Остафьевский Архив“, т. V, вып. 2, стр. 103).

¹ „Переписка Пушкина“, т. I, стр. 114—115.

² „Пушкин в Александровскую эпоху“, стр. 256.

³ „Остафьевский Архив“, т. V, вып. 1, стр. 40.

⁴ „Переписка“, т. I, стр. 154.



Б. П. ГОРОДЕЦКИЙ

К ИСТОРИИ ИЗДАНИЯ „КАВКАЗСКОГО ПЛЕННИКА“

Вышедшее в сентябре 1822 г. первое издание „Кавказского Пленника“ Пушкина („Кавказский Пленник, повесть. Соч. А. Пушкина. Санктпетербург, в типографии Н. Греча. 1822“) было распродано в несколько месяцев. Успех поэмы сказался, между прочим, в ряде попыток перевода ее на иностранные языки. Летом 1823 г. вышел в Петербурге немецкий перевод поэмы, сделанный Александром Евстафьевичем Вульффертом: „Der Berggefangene (Кавказский Пленник) von Alexander Puschkin. Aus dem russischen übersetzt. St.-Petersburg“, ценз. разрешение А. И. Красовского 7 июня 1823 г.

К этому времени русское издание поэмы уже разошлось, и Пушкин получил ряд предложений о переиздании ее. Летом 1823 г. Н. И. Гнедич предложил поэту переиздать „Руслана и Людмилу“ и „Кавказского Пленника“.

Недовольный своими прежними расчетами с Гнедичем, Пушкин в письме от 19 августа 1823 г. просил кн. П. А. Вяземского взять на себя это второе издание, повторив свою просьбу и в письме к нему от 14 октября 1823 г.

В 1824 г. Пушкин, нуждаясь в средствах, ухватился за предложение брата — продать второе издание „Кавказского Пленника“ одному из книгопродавцев за 2000 рублей: „... Слушай душа моя,— писал он брату 13 июня 1824 г. — деньги мне нужны. Продай на год Кавк. Плен. за 2000 р. кому бишь?“ Тогда же он известил П. А. Вяземского об отмене своего прежнего поручения ему: „... 3-е издание от нас не уйдет“.¹

В это время в Петербурге неожиданно как для самого Пушкина, так и для его друзей и издателей, вышло новое издание „Кавказского Пленника“. Это был переизданный почтовым цензором Евстафием Ольдекопом уже упомянутый выше немецкий перевод А. Е. Вульфферта, но снабженный на этот раз русским текстом всей поэмы, напечатанным, параллельно немецкому переводу, на четных страницах книги: „Кавказский Пленник, повесть.

¹ Письмо к П. А. Вяземскому от конца июня 1824 г.

Соч. А. Пушкина, Санктпетербург. Печатано в типографии, состоящей при Особенной Канцелярии Министерства Внутренних Дел. 1824. Der Berggefangene von Alexander Puschkin. Aus dem russischen übersetzt. Gedruckt in der Buchdruckerei der besondern Kanzlei des Ministeriums des Innern. 1824“. Издание было разрешено к печати цензором А. И. Красовским 17 апреля 1824 г.

Издание Е. Ольдекопа являлось прямой контрафакцией, грубым нарушением авторских прав Пушкина.¹ Весь смысл предприятия Ольдекопа заключался в „приложенном“, якобы для сравнения, русском тексте поэмы. 15 июля 1824 г. Пушкин писал П. А. Вяземскому; „я было хотел сбыть с рук Пленника, но плутня Ольдекопа мне помешала... и я должен буду хлопотать о взыскании по законам“.

Хлопоты были начаты в Петербурге С. Л. Пушкиным, подавшим прошение в С.-Петербургский цензурный комитет. Последний сообщил Е. Ольдекопу копию прошения С. Л. Пушкина, но не нашел оснований для возмещения Ольдекопом материальных убытков Пушкина.²

Продажу издания Ольдекопа в Петербурге, видимо, удалось временно приостановить, однако часть тиража была уже прежде того переслана в Москву через книгопродавца Ширяева.³ П. А. Вяземский, прочитав в „Московских Ведомостях“ объявление о продаже нового издания, написал об этом кн. П. И. Шаликову, прося его переговорить с Ширяевым.⁴ Последний заявил, что С. Л. Пушкин „сделался“ с Ольдекопом и позволил ему продавать издание. „... Правда ли это?“ — спрашивал Вяземский Жуковского в письме от 9 сентября того же года.⁵

По всей вероятности, Пушкин и его друзья переоценивали опасность ольдекоповского издания и недооценивали емкости рынка. Любопытно, что книгопродавцев появление нового издания нисколько не смутило. 10 сентября А. А. Дельвиг писал Пушкину о новых возможностях еще более выгодной продажи права на издание: „... об этом меня трое книгопродавцев просят... я могу произвести между ними торг и продать выгодно твое рукоделье...“⁶

В. А. Жуковский, получив письмо П. А. Вяземского от 9 сентября, выяснил, что никакой сделки между С. Л. Пушкиным и Ольдекопом не было, и в этом духе ответил Вяземскому.⁷ Тогда Вяземский послал за Ширяевым, который вновь подтвердил, что С. Л. Пушкин получил от

¹ Ю. Г. Оксман. „Нарушение авторских прав ссыльного Пушкина в 1824 г.“ („Пушкин“. Статьи и материалы под ред. М. П. Алексеева, вып. I, Одесса, 1925, стр. 6—11).

² Там же.

³ П. И. Бартенев. „Пушкин“, вып. II, стр. 25.

⁴ Там же, письмо П. А. Вяземского к В. А. Жуковскому от 9 сентября 1824 г.

⁵ Там же.

⁶ „Переписка Пушкина“, ред. В. И. Саитова, т. I, стр. 131.

⁷ Там же, стр. 135, см. письмо П. А. Вяземского к Пушкину от начала октября 1824 г.

Ольдекопа деньги и позволил продавать издание. „Которое из двух обстоятельств справедливо...“ спрашивал Вяземский Пушкина в письме от начала октября 1824 г.¹

„Ольдекоп украл и соврал“, — ответил Пушкин 10 октября. Получив это письмо, Вяземский в тот же день написал А. И. Тургеневу, прося у него совета. 1 ноября Тургенев ответил Вяземскому, что говорил с Дельвигом и поручил ему „постращать“ Ольдекопа.² 6 ноября Вяземский написал Пушкину, что продажу ольдекоповского издания в Москве остановить уже невозможно, и советовал ему жаловаться на Ольдекопа министру А. С. Шишкову.³ Пушкин, которому вся эта история изрядно надоела, ответил Вяземскому 29 ноября: „Ольдекоп мать его в рифму, надоел! Плюнем на него и квит“. В январе 1825 г. он все же попробовал обратиться к Шишкову, однако, дальше чернового наброска письма дело не пошло.⁴

*

Переданный мною в Архив Пушкинского Дома Академии Наук СССР экземпляр первого издания „Кавказского Пленника“ Пушкина вскрывает новые детали описанной выше истории ольдекоповской перепечатки.

Экземпляр первого издания „Кавказского Пленника“ (СПб., 1823) переплетен в крышки прежнего так наз. „ученического“ типа, причем от срезанных переплетчиком полей (со всех трех сторон) формат книги уменьшился до 200×135.

На обороте титульного листа напечатанное разрешение цензора Бирукова к первому изданию поэмы („Печатать позволено. В Санкт-Петербурге. 12 июня 1822 года. Цензор Александр Бируков“) — зачеркнуто карандашом.

Вслед за титульным листом вплетен в книгу лист желтоватой бумаги с письменной визой цензора А. И. Красовского (написано чернилами):

„Печатать позволено, с тем, чтобы по напечатании, до выпуска из типографии, представлены были в С. Петербургский Цензурный Комитет семь экземпляров сей книги, для доставления, куда следует, на основании узаконений. С. Петербург, апреля «17» дня 1824 года. Цензор Александр Красовский“. <Печать.>

На следующем листе (3-я страница) переплетчиком полусрезана дата (в правом углу верхнего поля): „10 апреля 1...“ (или „16“ апреля 1...?).

На каждом листе текста внизу имеется подпись цензора: „цензор“, на следующем листе: „Александр“, на третьем: „Красовский“ и т. д. до

¹ „Переписка Пушкина“, т. I, стр. 135.

² „Остафьевский архив кн. Вяземских“, т. III, стр. 86—87 и 90.

³ „Переписка Пушкина“, ред. В. И. Саитова, т. I, стр. 144.

⁴ Подробно о контрафакции Ольдекопа, кроме упомянутой статьи Ю. Г. Оксмана, см. Сергей Гессен, „Книгоиздатель Александр Пушкин“, Л., 1930, стр. 42—49.

П Р И М Ъ Ч А Н І Я.

Издатели присовокупляютъ порпортъ Авлиора, въ молодости съ него рисованный. Они думаютъ, что пріятно сохранить юныя черты Поэта, котораго первыя произведе- нія ознаменованы даромъ необыкновеннымъ.

1. *Бештау*, или правильнѣе *Бештау*, Кавказ- ская гора въ 40 верстахъ отъ Георгіевска. Из- вѣстна въ нашей Исторіи.

2. *Ацль*. Такъ называются деревни Кавказскихъ народовъ.

3. *Уздень*, начальникъ или князь.

4. *Шашка*, Черкеская сабля.

5. *Сакля*, хижина.

6. *Кульбъс* дѣлается изъ кобыльаго молока: напитокъ сей въ большемъ употребленіи между всѣми горскими и кочующими народами Азіи. Онъ довольно пріятенъ вкусу и почищается весьма здоровымъ.

7. Счастливыи климатъ Грузіи не вознагра- ждаетъ сей прекрасной страны за всѣ бѣдствія.

А. Шванъ

конца книги. В конце, после „примечаний“ — полная подпись: „цензор Александр Красовский“. Все подписи сделаны чернилами.

В тексте поэмы вымарок и исправлений нет, но на стр. 49 в „Примечаниях“ известные слова — „Издатели присовокупляют портрет автора, в молодости с него рисованный. Они думают, что приятно сохранить юные черты поэта, которого первые произведения ознаменованы даром необыкновенным“ — вычеркнуты пятью вертикальными чертами, а справа, на поле, поставлен знак, напоминающий знак „нота-бене“. Вычеркивание понятно: опальный Пушкин находился в ссылке.

Описанный экземпляр первого издания „Кавказского Пленника“ Пушкина был представлен в 1824 г. Евстафием Ольдекопом в С. Петербургский цензурный комитет для соискания разрешения на задуманное им издание.



Б. ТОМАШЕВСКИЙ
МЕЛОЧИ О ПУШКИНЕ

1. Виньетка к „Цыганам“

Как известно, виньетка к „Цыганам“ дважды привлекала внимание жандармов, усмотревших в ней политическую эмблему. 30 июня 1827 г. Бенкендорф предложил московскому жандармскому генералу Волкову учинить расследование по поводу того, каким образом появилась виньетка. При этом рекомендовалось „взглянуть на нее испытующим оком“, чтобы убедиться, что она появилась при поэме неспроста. Волков навел очень точные справки. Оказалось, что Пушкин выбрал ее сам из числа имевшихся в типографии Августа Семена; что виньетка эта не русского происхождения, а прислана от парижской фирмы Фирмен-Дидо. Сам Волков склонялся к невинному истолкованию смысла виньетки (см. „Дела III отделения“, 1905, стр. 260—261).

Через пять лет эта же виньетка в новом месте возбудила подобные же подозрения. Жандармский подполковник Баранович доносил по начальству, что неблагонамеренное направление „Телескопа“ Надеждина облицевается между прочим титульной виньеткой журнала; в этой виньетке, совершенно тождественной с виньеткой „Цыган“, он находил „идею более политическую, нежели относящуюся к предметам литературным и ученым“. Соображения жандарма были препровождены Бенкендорфу, который далее сообщил их Уварову. В результате эта виньетка, начиная с апреля 1834, с обложки журнала исчезла.¹

Показания Августа Семена повидимому совершенно искренни и правдивы. Конечно, нельзя ныне установить, действительно ли клише было прислано из Парижа или изготовлено в Москве по парижскому образцу, нельзя установить, появился ли оттиск в книге типографских образцов, предъявленной жандармам, после издания „Цыган“ или до того,— всё это не меняет существа дела. Важно, что выбор принадлежал Пушкину. Выбор же этот был повидимому не случаен.

В 1824 г. в Париже в издательстве Фирмен-Дидо вышел четырехтомный труд Пуквиля о Греческой революции (Е.-С.-Н.-К. Pouqueville.

¹ Мих. Лемке. „Чаадаев и Надеждин“. „Мир Божий“, 1905, октябрь, стр. 128—130.

ЦЫГАНЫ.

(Писано въ 1824 году).



МОСКВА.

ВЪ ТИПОГРАФИИ АВГУСТА СЕМЕНА,
при Императорской Мед.-Хирург. Академіи.

1827.

LIVRE IV, CHAPITRE VI. 395

naire, il parvint à faire d'un ramassis de marins de l'Archipel un corps militaire tellement discipliné, qu'il aurait pu tenir tête aux Turcs d'Ibraïlof, si les Grecs n'avaient pas été destinés, comme tous les peuples qui se sont émancipés jusqu'à présent, à ne triompher qu'après avoir été éprouvés par l'adversité.



Заглавный лист „Цыган“, изд. 1827 г.

Страница из труда Пухвилья о Герцеской революційи.

„Histoire de la régénération de la Grèce“). Этот труд был в свое время основным источником сведений о ходе греческого движения. В 1825 г. издание было повторено. Книга лишена типографских украшений, но, в виде исключения, в конце четвертой книги второго тома помещена данная виньетка. Она замыкает главу, в которой излагается история неудачного похода Александра Ипсиланти. Принимая во внимание, что Пуквиль пользовался чрезвычайной известностью, что именно глава об Ипсиланти должна была привлечь особое внимание Пушкина, можно не сомневаться, что эта виньетка в книге Пуквиля была перед глазами Пушкина. Дата выбора виньетки не слишком удалена от даты выхода в свет книги Пуквиля. Приходится заключить, что подозрения Бенкендорфа были не так уж неосновательны и что во всяком случае Пушкин знал политический смысл изображенной на ней аллегии. Вот кстати истолкование виньетки, данное Барановичем: „Кинжал, пронзающий хартию, разорванная в начале цепь, над коими изображен опрокинутый сосуд с разъяренной змеею и знаком победного торжества — лавровою ветвью“. Волков, истолковавший чашу со змеей, как эмблему яда, кинжал, как эмблему мести, и писанный лист, как эмблему измены, умалчивает о разорванной цепи.

2. „Бесовское болото“

В описании села Горюхина имеется одна географическая деталь. Горюхино примыкает на востоке „к диким, необитаемым местам, к непроходимому болоту, где произрастает одна клюква, где раздается однообразное кваканье лягушек и где суеверное предание предполагает быть обиталищу некоего беса“.

Эта деталь повидимому подсказана Пушкину заметкой в „Московских Ведомостях“ 23 января 1829 г.:

„*Бесовское озеро*. При селении Нураки находится озеро, или лучше сказать, болото, того же имени, имеющее милю в окружности и сделавшееся чрез одно старое народное поверье предметом ужаса для всего округа. Тамошние жители утверждают, что часто ночью слышится со дна сего озера странный вой, отчего испуганные стада бегут прочь, и они приписывают это собранию нечистых духов, будто бы тут обитающему“.



А. Б. МОДЗАЛЕВСКИЙ и В. Д. ДОНДУА

ЗАПИСЬ ГРУЗИНСКОЙ ПЕСНИ В АРХИВЕ ПУШКИНА

1

В собрании Л. Н. Майкова, поступившем в 1931 г. в Пушкинский Дом, нашелся лист писчей бумаги размером 215×350 мм, с красной жандармской цифрой „25“ по середине лицевой стороны листа, указывающей на происхождение его из личного архива Пушкина. На лицевой стороне в два столбца неизвестною рукою написан грузинский текст и дословный перевод его на русский язык, под заглавием: „Весенняя песня“. На обороте листка Пушкиным сделаны карандашом следующие рисунки: 1) женский погрудный профиль, грузинского типа, влево, в национальном головном уборе, 2) набросок мужского профиля, влево и 3) неоконченный профиль, влево (нос, рот, подбородок и глаз). Около рисунков карандашом написано „Н“. Бумага, на которой находятся перечисленные записи и рисунки, имеет водяной знак: гербовое изображение льва в овале под княжеской короной. Содержание записей и рисунков указывает на возможность связать их происхождение с временем пребывания Пушкина на Кавказе в 1829 г. Действительно, запись „Весенней песни“ имеет грузинский источник, так как Пушкин получил ее на Кавказе и использовал в своем „Путешествии в Арзрум“, где во второй главе он прямо отметил:

„Голос песен грузинских приятен: мне перевели одну из них слово в слово;¹ она, кажется, сложена в новейшее время; в ней есть какая-то восточная бессмыслица, имеющая свое поэтическое достоинство. Вот вам она:

«Душа, недавно рожденная в раю! Душа, созданная для моего счастья!
От тебя, бессмертная, ожидаю жизни.

От тебя, весна цветущая, от тебя, луна двунедельная, от тебя, ангел мой хранитель, от тебя ожидаю жизни.

Ты сияешь лицом и веселишь улыбкою. Не хочу обладать миром;
хочу твоего взора. От тебя ожидаю жизни.

¹ Курсив наш. Л. М.

Горная роза, освеженная росой! Избранная любимица природы! Тихое, потаенное сокровище! от тебя ожидаю жизни»“.

По нашей просьбе специалист по грузинской литературе В. Д. Дондуа подготовил грузинский текст записи из архива Пушкина и произвел анализ перевода его на русский язык (см. ниже). Из сличения записи перевода песни с песней, приведенной Пушкиным в „Путешествии в Арзрум“, видна замечательная работа поэта. Из расплывчатых, неоднократно повторяющихся в записи образов и сравнений Пушкин взял лишь наиболее характерные, цельные и осмысленные мотивы восточной поэзии и спаял их в единый, насыщенный содержанием восточный напев, так как, несмотря на „какую-то восточную бессмыслицу“, он признал за ней „поэтическое достоинство“. Однако Пушкин полагал, что песня является произведением устного грузинского творчества, и не знал, что она принадлежит перу известного грузинского поэта Димитри Туманишвили, песни которого, вероятно, нередко исполнялись в народе. Не слышал ли Пушкин эту песню в исполнении той грузинки, изображение которой он попробовал нарисовать на обороте листа с записью? Предположение это, на наш взгляд, довольно вероятно.

Л. Модзалевский.

2

Весенняя пѣсня

ახალა აღნაგო სულო და,
ედემში აღმოსულო და,
ხემს ეტლზედ დანერგულო და,
სიტოცხლეს შენგან მოველი,
უკვდავება ხარ ცხოველი!

*

არის კვირისა მთვარეო
ნათელ ბრწყინვალე არეო
ანგელოზ მიწეინ [მ]თვარეო
სიტოცხლეს შენგან მოველი
უკვდავება ხარ ცხოველი!

*

ბუნების ხატო შემეკულო

ცისკარო მრჩობლად დართულო
ბეზიგო ეშით მართულო
სიტოცხლეს შენგან მოველი
უკვდავება ხარ ცხოველი!

*

Вновь созданная душа,
Въ Эдемѣ произращенная,
Для счастья моего сотворенная,
Отъ тебя ожидаю жизни, бессмерт-
ная!

*

двухъ недѣльная

Отъ тебя юная луна,
Отъ тебя цвѣтается, свѣтлая весна,
Отъ тебя Ангель хранитель мой,
Отъ тебя бессмертная, ожидаю
жизни!

*

Отъ тебя прелестное изображение
натуры,

Заря усугубленная,
Великолѣпно убранная Красавица,
Отъ тебя ожидаю жизни, бессмерт-
ная

*

შირის კამკამით ელვარებ,
შუქნებით მეტრებს სხარებ,
ნახად ქტვიით მიმუარებ,
სიტყვებს შენგან მოგველი,
უკვდაება ხარ ცხოველი!

*

საუგუნოთ მაქუს სურვილი,
ტრფილები სწურვილი,
სატრფოდ ქვეყნის სურვილი,
სიტყვებს შენგან მოგველი,
უკვდაება ხარ ცხოველი!

*

შმაგო მიჯნურა და ხელო
თინაყის ტურფად შემსქელო
სატრფოდ ქვეყნის დამწველო
სიტყვებს შენგან მოგველი
უკვდაება ხარ ცხოველი!

*

შთის ვარდო ნამით ცვრეულო,
უვაილ კელმციფათ <sic> რხეულო,
კეთილ შუქდ მარად ჩვეულო,
სიტყვებს შენგან მოგველი,
უკვდაება ხარ ცხოველი!

Свѣтлый образъ твой сіяетъ,
Твоя улыбка веселить,
Нѣжною поступью ты восхищаешь,
Отъ тебя безсмертная жизни жду!

*

Питаю страсть къ тебѣ,
Я жажду твоей улыбки,
Больше, чѣмъ обладанія міромъ
Хочу отъ тебя жизни, безсмертная!

*

Упоенная сладкимъ триакомъ
Приведенная онимъ <в> изступленіе
Отъ тебя красавица міры воспламе-
няющая,
Отъ тебя ожидаю жизни, безсмерт-
ная!

*

Роза горь, росомъ <sic> окропленная
Избранная любимца <sic> весны,
Всегда къ тишинѣ привыкшая,
Отъ тебя, безсмертная, ожидаю,
жизни!

3

Грузинское стихотворение „Весенняя песня“ из архива Пушкина принадлежит перу известного грузинского поэта Димитри Туманишвили. Оно хорошо известно в литературе.¹ В новейшее время оно было перепечатано с оригинала² и снабжено критической заметкой Гиорги Леонидзе.³ В этой заметке, путем сличения соответствующих текстов, устанавливается, что стихотворение „Душа, недавно рожденная в раю...“, вошедшее в „Путешествие в Арзрум“ Пушкина, представляет собою перевод стихотворения Туманишвили. Таким образом, уточнен смысл указания Пушкина, что приводимое им стихотворение есть перевод одной из „песен“ грузинских („Путешествие в Арзрум“).

¹ Давид Чубинов. „Грузинская хрестоматия“, ч. II, СПб., 1863, стр. 114. То же стихотворение напечатано и в сборнике грузинских стихов, составленном Скандарнова: Тифлис, 1895, стр. 113. См. также Александр Хаханашвили, „История грузинской словесности“, Тифлис, 1904, стр. 540 (на грузинском языке).

² Рукопись № 1512, хранящаяся в Рукописном отделе Музея Грузии в Тифлисе.

³ Гиорги Леонидзе. „Ал. Пушкин и Димитри Туманишвили“, в грузинском журнале „Картули мцрлоба“ („Грузинская литература“), Тифлис, 1929, № 8—9, стр. 112—114.

Теперь, когда обнаружено стихотворение Туманишвили в рукописи из личного архива Пушкина, мы можем составить себе более ясное представление о судьбе как стихотворения Туманишвили, так и русского перевода этого стихотворения.

Перелажая это стихотворение, вернее, его русский дословный перевод (см. выше) в „Путешествии в Арзрум“,¹ Пушкин вскользь замечает, что „она <песня>, кажется, сложена в новейшее время“: Пушкин был прав. Туманишвили мог написать это стихотворение около 1821 г. (год смерти поэта).² Если же верно утверждение, что стихотворение было написано в Петербурге,³ то пришлось бы считать, что оно написано не ранее 1803 г., когда Туманишвили, мдиван (секретарь) при дворе последнего царя Грузии Георгия XIII, выезжает в Петербург,⁴ и до обратного отъезда его в Грузию, что, повидимому, имело место около 1806 г. (9 мая).⁵ Вот еще некоторые из дошедших до нас сведений о поэте. Димитри Туманишвили упоминается наряду с шестью младшими братьями в грамоте, данной в 1784 г. царем Ираклием II отцу поэта Иосифу, „придворному мдивану-секретарю“, и его детям.⁶ В 1801 г. он, мдиван только что умершего царя Георгия (ум. 1800), дает и свою подпись под воззвание, призывавшее радикально настроенные группы грузинского дворянства к сохранению лояльности по отношению к побеждающему русскому царизму.⁷ В эмиграции поэт жил у грузинского царевича Михаила Георгиевича.⁸ Оттуда, как сказано выше, сравнительно скоро возвращается на родину. Он умер в Тифлисе⁹ в 1821 г.

Не останавливаясь специально на некоторых расхождениях текстуального порядка, которые наблюдаются при сличении „песни“ из архива Пушкина с той же „песней“ в издании Чубинова,¹⁰ отмечаем здесь те

¹ Таким образом список грузинских поэтов, современников А. С. Пушкина, вписавших свои имена в Пушкиниану (К. Дондуа „Пушкин в грузинской литературе“ в сборнике „Пушкин в мировой литературе“, Л., 1926, стр. 199—214), должен быть дополнен именем грузинского поэта Димитри Туманишвили.

² Платон Игнатович Иоселиани. „Жизнь царя Георгия XIII“ etc., Тифлис, 1895, стр. 287, прим. 68 и стр. 319 (на грузинском языке).

³ Там же.

⁴ Акты, собранные Кавказской археографической комиссией, II, стр. 41.

⁵ Иоселиани, назв. соч., стр. 287, прим. 68.

⁶ Грузинские древности, т. III, Тифлис, 1910 (под ред. Е. Такайшвили), стр. 518.

⁷ Иоселиани, назв. соч., стр. 278, прим. 65.

⁸ Назв. соч., стр. 287.

⁹ Там же. Ср. Гиорги Леонидзе, назв. соч., стр. 114.

¹⁰ Вот наиболее важные из них:

Пушкинский вариант:

II₈ Angeloz mitkin fareo
V₈ SatrƆod qveknisa survili
VII₃ Keđil mšvid marad řveulo

Чубинов:

Angelozđ mitkiv mdareo
Gonebis řvretid survili, и ли, по С к а н д а р -
н о в а, Gonebis řvretid řurvili
Keđil řšvid marad řveulo



Б. КАЗАНСКИЙ

РАЗГОВОР С АНГЛИЧАНИНОМ

В 1832 г. в Лондоне вышла книга: „Narrative of a visit to the courts of Russia and Sweden, in the years 1830 and 1831. By captain C. Colville Frankland, R. N. In two volumes.¹ London, Henry Colborn and Richard Bentley, New Burlington Street“, 1832, которая осталась вне поля зрения исследователей. Между тем, в этих записках отмечены три любопытные встречи капитана Фрэнкланда с Пушкиным в Москве в мае 1831 г.

По данным английских биографических словарей, Кольвиль Фрэнкленд родился в 1797 г., поступил во флот в 1813 г., получил чин капитана в 1841 г., вышел в отставку адмиралом в 1875 г., умер в 1876 г. Из посвящения автора (обращенного к леди Кодрингтон, жене английского адмирала)² явствует, что после продолжительной болезни, схваченной „в горах Ливана“, ему было предписано провести зиму в холодном климате. Между тем, пребывание на ближнем Востоке во время русско-персидской и русско-турецкой войн возбудило в нем сильный интерес к России, и он решил провести зиму в Петербурге. Он приехал сюда 27 сентября 1830 г. и благодаря чинам английского посольства, адмиралу Кодрингтону, находившемуся в то время в Петербурге, и некоторым знакомым англичанам и русским, быстро был введен в петербургский высший свет и сделался постоянным посетителем домов графини Фикельмон и княгини Юсуповой. Будучи ценителем музыки и певцом-любителем, он познакомился со многими домами, где занимались музыкой (Виельгорского, Шимановской, Базен, Пашкова, Демидова и т. д.). 1 мая 1831 г. он выехал в Москву, откуда возвратился в Петербург 5 июня, а 19-го отбыл в Англию.

Сочинение Фрэнкланда написано в форме дневника, веденного день за днем. Только некоторые дополнительные замечания в конце 2-го тома

¹ „Описание посещения дворов русского и шведского, в 1830 и 1831 гг., <составленное> капитаном Кольвилем Фрэнклендом К.<оролевского>Ф.<лота>“, в двух томах, т. I, XII, 399 стр.; т. II, VIII, 404 стр.

² Баронет Эдвард Кодрингтон (1770—1851), был командиром средиземноморской эскадры в 1826—1828 гг., командовал соединенным флотом Англии, Франции и России в сражении при Наварине против турок.

он написал, уже покинув Россию, на пароходе. Посвящение датировано 15 декабря 1831 г., так что он и не имел много времени для обработки своих записей. Во всяком случае они сохраняют вполне непосредственный характер. К тому же они всецело личного характера. Это дневник светского человека и меломана. Автор сам отдает себе отчет в том, что пишет преимущественно о пустяках, и утешает себя надеждой дать своим дневником представление о том, как может провести время „иностранец с хорошими знакомствами“ в Петербурге и Москве. Однако, он касается и более серьезных тем: холеры, которая все более угрожала Петербургу и Москве; польского восстания, разразившегося во время его пребывания в Петербурге; турецкой войны 1828 г.; русской армии; состояния управления, торговли и промышленности в России и т. д.

В доме гр. Фикельмон, он познакомился с Е. М. Хитрово (7 ноября 1830 г.) и, когда собрался ехать в Москву, получил от нее рекомендательное письмо к Пушкину, которое и переслал поэту на следующий день после своего приезда, 5-го мая. Он хотел явиться к нему 6-го, но не поспел за множеством визитов, которые поспешил сделать (кн. П. Салтыкову, кн. Долгоруковой, кн. А. Щербатовой, кн. Вл. Голицыну), а 7-го не застал его дома и, вероятно, оставил свою визитную карточку. Поэт ответил ему визитом на следующий день. Свиданье продолжалось всего лишь „около часа“, но англичанин сумел не только оценить Пушкина, как собеседника, но и убедиться в его широкой осведомленности о прошлом России и ее современном состоянии. Это единственный отзыв его о собеседнике вообще, за исключением еще отзыва о Николае I. Любопытно, что разговор, повидимому, скоро получил общественно-политический характер—очевидно, Пушкин охотно шел на это; возможно даже, что сам вел к этому. Англичанин, конечно, воспользовался его готовностью. Он отмечал уже в Петербурге плохое знание страны у столичных бар. В Москве, помимо большей осведомленности, он отметил и большую откровенность и свободу мысли. Разговор с Пушкиным был для него, может быть, первым подобным разговором. Во всяком случае он передает мнения Пушкина и услышанные от него сведения и соображения с исключительной обстоятельностью. Единственно рассказам лейб-медика Вилье (7 декабря 1830 г.) отведено не меньше места.

Запись начинается с общего вопроса о реформе политического строя России, и вскоре сосредоточивается на освобождении крестьян — основном, надо думать, в глазах англичанина, причем Пушкин, повидимому, сообщил ему конкретные данные о положении крепостных. Весьма вероятно, что Фрэнкленд несколько развил это сообщение Пушкина и даже добавил кое-какие данные уже впоследствии. Однако, вполне естественно думать, что Пушкин, проведенный три года безвыездно в Михайловском, а теперь всего полгода назад возвратившийся из своего трехмесячного сиденья

в Болдине, был первым источником всего того, что сообщает Фрэнкленд в непосредственной связи с этой беседой.

Пушкин выступает в этом разговоре весьма умеренным либералом, сторонником осторожных и постепенных реформ. В вопросе об освобождении крестьян он стоит на позиции — сначала просвещение, потом свобода. Обрисованная здесь картина положения крепостных в России является, несомненно, идиллической, и самое изложение носит, пожалуй, апологетический характер. Но следует учесть, что разговор был записан не тотчас же. Фрэнкленд сообщает тут же, что в 1 час дня он поехал с визитом к кн. Щербатовой, потом в Кремль, после обеда гулял на Тверском бульваре, а вечер провел у Булгаковых. Между тем сам Фрэнкленд, судя по его высказываниям и поведению, отнюдь не был демократом. В России он видел полуазиатскую страну с деспотическим правлением и патриархальными пережитками феодализма, соответствующими разбро-санному, культурно отсталому и этнографически пестрому населению.

С другой стороны, и Пушкин, весьма вероятно, сознательно или невольно рисовал положение русского крестьянина перед англичанином, которого видел впервые, более светлыми красками, чем он это сделал бы перед русскими и перед друзьями.¹ Сочувствие, открыто высказывавшееся польскому восстанию во Франции и в Англии, настраивало его враждебно по отношению к политическим тенденциям Запада. При всем том, позиция Пушкина в отношении реформ и в особенности крепостного права остается, несомненно, консервативной. Принято думать, что на эту позицию Пушкин отступил определенно после холерных бунтов лета 1831 г. Но разговор с Фрэнклендом происходил ранее этих волнений. Можно предположить, что значительное влияние в этом отношении на Пушкина оказало долгое пребывание в Болдине осенью 1830 года. Вероятно, именно тогда, убедившись своими глазами в размерах разоренья, в которое пришло заброшенное отцом имение, он стал задумываться над материальными невыгодами и общественными и моральными недостатками и даже опасностями абсентеизма помещиков как для них самих, так и для их крестьян, а также над общественно-культурными обязанностями дворянства по отношению к своим именьям и крепостным. Отголоски этих раздумий слышатся в „Истории села Горюхина“, в отрывках из „Романа в письмах“ и в личных письмах Пушкина. С другой стороны, однако, может быть уже тогда в нем начало складываться практически-хозяйское убеждение в необходимости и даже пользе для мужика помещичьей власти, пусть строгой, но справедливой и дельной — „тиранство“ и беззаботная снисходительность одинаково вредны и невыгодны и для помещика и для его крепостных.

¹ Даже, в ссылке, когда поэт выражал намерение покинуть Россию, как только получит свободу, он тут же признавался Вяземскому: „Я конечно презираю отечество мое с головы до ног. Но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство“.

Наконец, можно думать, что разочарованность в республиканском идеале поставила Пушкина в тупик перед основным отношением к общественному строю. В отрывке „Что такое дворянство?“ он приходит к до-вольно безнадежному рассуждению:

- „— Кто составляет дворянство в республике?
 — Богатые люди, которыми народ кормится.
 — А в государстве [монархическом]?
 — Военные люди, которые составляют гвардию и войско государево.
 — Чем *кончается* дворянство в республике?
 — Аристократ<ическим> прав<лением>.¹
 — А в государстве?
 — Рабством народа. А = Б“.

Иначе говоря, Пушкин с необыкновенной для своего времени и своего исторического и политического опыта проницательностью пришел к убеждению, что как монархически-аристократическая, так и республиканская система правления приводят к тому же социальному результату, одинаково служа закабалению народа. И не находя выхода из этого параллелизма, он перенес решение социально-политического конфликта в плоскость культуры, просвещения, разумности и нравственности. Нельзя при этом забывать, что принципиально освобождение крестьян в это время было общепризнанным элементом государственной программы. Даже шеф жандармов, давая „обозрение расположения умов“ за 1834 г., излагает так позицию благонамеренных кругов общества в этом вопросе:

„Благомыслящие люди понимают всю трудность сего дела, и с какою крайнею осмотрительностью надлежит в сем случае действовать, дабы не возбудить пагубного между крестьянами волнения, ибо крестьянин наш не имеет точного еще понятия о свободе, и волю смешивает с своевольством. А потому, сколько, с одной стороны, признается необходимым, дабы правительство исподволь приближалось к цели освобождения крестьян от крепостного владения, столько, с другой, все уверены, что всякая неосторожность, слишком поспешная в сем деле мера, должна иметь вредные последствия для общественного спокойствия. Многие, размышляющие о сем предмете, полагают самым лучшим средством дать делу сему такое направление, чтобы освобождение крестьян происходило от самих помещиков.“

Впрочем, высшее наблюдение <Третьего Отделения> имело обязанность указать лишь на сие обстоятельство, *важное для будущего счастья России*, но какими мерами может быть достигнута *благодетельная цель уничтожения крепостного права*, это подлежит уже соображениям мудрого правительства“.²

¹ Все издания Пушкина восстанавливают текст здесь: „Аристократ<ией> прав.“ Но, уже не говоря о том, что при этом получается вряд ли удовлетворительный смысл, Пушкин в эти годы и в этом самом отрывке употребляет только термин „аристократия“. Б. К. Соображения Б. В. Казанского подтверждаются и автографом заметки Пушкина, в котором не „прав“, а „правл“. Ред.

² „Крестьянское движение 1827—1860 годов“, вып. I, 1931, стр. 19.

Таким образом, сам глава III Отделения и шеф жандармов в докладе царю определял освобождение крестьян как благотворную цель, важную для будущего счастья России (что не мешало, конечно, видеть во всяком призыве к освобождению преступную попытку ниспровержения существующего строя).

Весьма важно было бы выяснить, имел ли этот разговор Пушкина с Фрэнклендом какое-либо отношение к известному „Разговору с англичанином“, составляющему вариант к 5-й главе „Путешествия из Москвы в Петербург“ и посвященному также всецело вопросу о положении русского крестьянина. Любопытно, что запись Фрэнкленда от положения русского крепостного непосредственно переходит к рекрутчине, а этому отведена 7-я глава „Путешествия“.

Текстуальной близости между записью Фрэнкленда и этими главами „Путешествия“ нет, хотя некоторые мысли и сходятся. В частности, в первой нет ни слова о положении английского рабочего и вообще никаких сравнений с Англией и Европой. Но нужно принять во внимание, что англичанин записал, конечно, полученные им сведения — о своей доле в разговоре он не упоминает. Пушкин же определенно ставил себе задачей провести сравнение, и притом писал для русских же, которым не было нужды рассказывать общеизвестные данные о положении крепостных. С другой стороны, „Путешествие“ прошло несколько стадий переработки: в окончательной — персонаж англичанина выброшен, диалог сведен к изложению от собственного лица и к отзывам об английском крестьянине, английском народопрямстве, раболепстве низшего круга перед высшим, угнетении Индии и других отрицательных сторонах английского общественного и государственного быта.

В свою очередь, запись Фрэнкленда включает некоторые соображения — например надежду на освобождение крестьян в результате подъема третьего сословия, городской буржуазии, едва лишь возникающей в России, — которых в „Путешествии“ не находим и которые, быть может, формулированы самим автором дневника.

Нельзя не отметить также, что в „Путешествии“ разговор происходит в дороге. Но эта черта могла быть сознательно внесена Пушкиным ради соответствия форме дорожных записок.

Как бы то ни было, можно думать, что эта встреча и этот разговор на тему, живо интересовавшую Пушкина, запомнились ему и в какой-то мере отразились в первоначальном замысле „Разговора с англичанином“, а затем и в „Путешествии из Москвы в Петербург“.

Следует отметить, что дневник Фрэнкленда имелся в библиотеке Пушкина (оба тома сохранились в собрании Пушкинского Дома Академии Наук),¹ но вряд ли сам Фрэнкленд прислал их Пушкину, так как на книгах

¹ Б. Л. Модзалевский. „Библиотека Пушкина“, СПб., 1910, № 980.

нет никакой дарительной надписи. Ничего неизвестно и о каком-нибудь сопроводительном письме автора. Вернее, что Пушкин, услышав от кого-нибудь об этой книге, сам выписал ее.

Оба тома разрезаны, за исключением стр. 385—396 в 1-м томе (записка о шелководстве в Грузии) и стр. 73—76 (история Москвы), 371—374, 417—424, 441—444 во 2-м томе.

Однако, никаких замечаний или отметок в книге нет. Только во 2-м томе на стр. 39 отчеркнута с правой стороны фраза, занимающая три строки — в конце записи 3/15 марта, где говорится о маскараде в залах Энгельгардта, на котором Фрэнкленд был с 10 ч. 30 м. до 3 ч. 30 м. ночи: „Ничего не может быть скучнее русского публичного маскарада; половина масок — полицейские шпионы, так что никто не смеет сказать ни слова“.

Обстановка отъезда из Москвы содержит в „Путешествии“ несколько очень конкретных подробностей, производящих впечатление автобиографических. „Я записался в конторе поспешных дилижансов... и 15 октября в десять часов утра выехал из тверской заставы. Собравшись в дорогу... я хотел запастись книгою... зашел я к старому моему приятелю ***, коего библиотекой привык я пользоваться. Я просил у него книгу скучную, но любопытную в каком бы то ни было отношении... «Постой, сказал мне ***, есть у меня для тебя книжка». С этим словом вынул он из-за полного собрания сочинений Александра Сумарокова и Михаила Хераскова книгу <Радищева>... «Прошу беречь ее», сказал он таинственным голосом“ и т. д. И потом: „Подле меня в карете сидел англичанин, человек лет 36...“¹ и т. д. — „Англичанин мой разгорячился“ и т. д. Однако, наряду с этим имеются несомненно вымышленные штрихи: „я вздумал съездить в Петербург, где не бывал более пятнадцати лет“ и т. п.

Первоначальный текст „Путешествия“ написан, повидимому, в декабре 1833 г. Во всяком случае в конце первой главы („Шоссе“) стоит дата „2 декабря 1833 г.“, а „Разговор с англичанином“ (5-я глава) датирован „9 декабря“, очевидно того же года. Возможно, что Пушкин использовал при этом некоторые впечатления своего возвращения в Петербург из Москвы в середине октября 1832 г. (Н. О. Лернер принимал датой выезда 10 октября на основании письма Киреевского Языкову от 12 октября 1833 г.: „третьего дня“ и т. д.; по сведениям московской полиции Пушкин уехал 16 октября). Именно в это путешествие Пушкин ехал (в Москву) „поспешным дилижансом“ (письмо к жене от 22 сентября 1832 г.).

¹ Фрэнкленду в 1831 г. было 34—35 лет.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ДНЕВНИКА ФРЭНКЛЕНДА¹

Мая 6/18. Вчера я послал письмо госпожи Хитровой Александру Пушкину,² русскому поэту, но не имел времени сегодня сделать ему визит.

Мая 7/19. В полдень я явился с визитом к Александру Пушкину, но не застал его дома.³

Мая 8/20. Погода чудесно солнечная и ясная. В полдень Пушкин (русский Байрон) посетил меня и сидел со мною около часу. Его разговор занимателен и поучителен. Он, повидимому, основательно знаком с политической, гражданской и литературной историей своей страны, а также вполне осведомлен о погрешностях и пороках русского управления. Он, однако, того мнения (как все разумные и хорошие люди), что никакая большая и существенная перемена не может иметь места в политическом и общественном строе этой обширной и разнородной империи иначе, как постепенными и осторожными шагами, каждый из которых должен быть поставлен на твердую основу культурного подъема; или, другими словами, на просветлении человеческих взглядов и на расширении разумений. Многое еще остается сделать среди высших классов; когда они будут научены понимать свои истинные интересы и интересы своих бедных крепостных, тогда кое-что можно будет сделать, чтобы улучшить положение последних, — все это требует времени. Никакая перемена не может быть длительной, если не покоится на хорошей и прочной основе.⁴

Русский крепостной находится еще не в таких условиях, чтобы желать и заслуживать освобождения от крепостной зависимости; если бы даже они однажды были освобождены от нее, то большая часть добровольно или по необходимости возвратилась бы под ярмо. Покровительство помещика подобно крылу матери, простертому над беспомощными птенцами; часто, очень часто они «помещики» несут из собственных запасов издержки по содержанию целых деревень, которые собрали плохой урожай или пострадали от болезни или других бедствий.

Свобода — неоцененное благо для культурного человека, это правда; но некультурный человек в состоянии ли оценить ее, получить от нее пользу, сохранить ее? Факт тот, что Россия все еще *общественно* управляется феодальной системой, под властью которой так долго стонал

¹ Т. I, стр. 227—270. Приводим только записи, относящиеся к Пушкину, опуская все прочее.

² Это письмо не сохранилось.

³ Фрэнкленд, очевидно, оставил при этом визитную карточку или записку со своим адресом (он остановился в гостинице Коппа).

⁴ Ср. в „Путешествии из Москвы в Петербург“: „Конечно: должны еще произойти великие перемены; но не должно торопить времени и без того уже довольно деятельного. Лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от одного улучшения нравов, без насильственных потрясений политических, страшных для человечества...“ „Судьба крестьянина улучшается со дня на день по мере распространения просвещения“.

Запад Европы. Европа сбрасывала феодальные отношения медленными этапами и, под конец, только влиянием богатства, умственного развития и культуры буржуазных классов свободных городов — слоев общества, которые никогда не были подвластны баронам, — с помощью монарха, который был всегда счастлив помочь унижить беспокойную и могущественную знать. Подобные классы постепенно появляются в России и, по всей вероятности, когда-нибудь, с помощью верховной власти, осуществят освобождение своих соотечественников. Торговля и мануфактура быстро находят свой путь в сердце этой империи, и эти большие культурные силы должны раньше или позже произвести свое действие. К несчастью, постоянные войны России задерживают народ в его движении к благосостоянию; они ужасно истощают земледельческий и фабричный классы. Они уменьшали очень чувствительно силы населения, которое до сих пор столь плачевно недостаточно. Когда они прекратятся, монарх будет иметь время обратить все свое внимание на внутренние и жизненные интересы своей страны, — но не раньше.

Но меня могут спросить, не являются ли русские крестьяне униженными и несчастными вследствие их крепостного состояния? Это — вопрос, на который мне трудно ответить. Я того мнения, однако, что хотя овечий тулуп (*shube*), длинная борода и меланхолическая внешность мужика (*mujsk*), конечно, внушают иностранцу невыгодное представление о сумме счастья, приходящегося на долю крестьянина, все же он отнюдь не несчастен, не бедствует и не недоволен своей участью.¹

В тех поместьях, которые принадлежат богатым помещикам, не живущим в них лично, крепостные управляются по совершенно патриархальной системе. У них есть совет старшин (*Elders*) и род местного начальника, называемого старостой (*Starost*). Староста и старшины собирают оброк (*obrok*) или сумму, которую крепостной обязан ежегодно выплачивать помещику, и когда эта сумма уплачена, то остаток, полученный крепостным со своей фермы (ибо каждый крепостной-земледелец имеет известное количество земли, предоставленной ему для обработки), принадлежит не помещику, а ему самому.

Многие крепостные известны, как чрезвычайно богатые; больше того — некоторые из них *миллионеры*, но они обычно занимаются торговлей и живут в больших городах.

Каждый крепостной, который желает отлучиться из своей деревни, чтобы заняться профессией ямщика (*yamshick*), т. е. возчика, или извозчика (*isvoshick*), т. е. собственника экипажа, или купца, или любой другой, в городе или на окраинах, должен быть снабжен паспортом от своего помещика, и пока он выплачивает оброк своему господину, он так же сво-

¹ Ср. там же: „Взгляните на русского крестьянина: есть ли тень рабского унижения в его поступи и речи? О его смелости и смысленности и говорить нечего“.

боден, как воздух, которым он дышит; так что представление о рабстве есть чистый жупел; зло заключается в слове, а не в действительности.

Русский крепостной является кочевым по природе, в виду огромных расстояний, на которые ему приходится возить свои товары, чтобы доставить их на рынок.¹ Оброк ни в каком случае не превышает двадцати пяти рублей в год, а в большинстве случаев бесконечно ниже этой суммы. Крепостной земледелец может быть назван арендатором (соруholder), который сохраняет владение своей фермой, пока в состоянии платить ежегодную аренду (fine).

Когда русский крепостной взывает об освобождении, он понимает, что он станет свободным собственником, т. е. не будет больше платить оброка помещику.

Помещик ответственен перед казной (Сrown) за все государственные повинности; и весьма часто, как в случаях плохого урожая или стихийного бедствия (visitations of Providence), все тяготы падают на него, а не на крепостных.² Помещик имеет право на три дня труда в неделю своих крепостных земледельцев; прочие три дня принадлежат крестьянину, и в особенности воскресенье, которое он использует наверняка: многочисленные праздники греко-русской церкви обеспечивают крестьянина вдоволь бездельем, так что он ни в каком случае не может быть чрезмерно отягощен работой.

Что касается притеснений и жестокости, проявляемых помещиками по отношению своим крепостным, то я не верю, чтобы подобная вещь могла существовать в сколько-нибудь значительной степени, так как крестьянин может всегда представить жалобу начальнику полиции, который не преминет довести жалобу до верховной власти. Прибавьте к этому недовольство старшин и старост, которые непременно станут на сторону крепостного против помещика в случае чего-либо, похожего на неправомерное применение власти.

Гораздо вероятнее, что сами старосты могут злоупотреблять властью, а не помещики, но они также, в свою очередь, контролируются старшинами.

В тех случаях, когда сам помещик проживает в своем поместье — а здесь много таких под Москвой, — условия существования крепостных, в сравнении с существованием крестьян в странах, более близких нам, являются чрезвычайно завидными.

¹ Ср. там же: „Помещик, наложив оброк, оставляет на произвол своего крестьянина доставать оный, как и где он хочет. Крестьянин промышляет, чем вздумает, и уходит иногда за 2000 верст выбатывать себе деньгу (и это называете вы рабством? Я не знаю во всей Европе народа, которому было бы дано более простору действия!)“.

² Ср. там же: „Вообще в России» повинности не тягостны <для народа>. Подушная платится миром; <барщина определена законом;> оброк не разорителен“.

Крепостные, принадлежащие бедному помещику, несомненно хуже обставлены, чем принадлежащие более богатому, так как им, вероятно, приходится платить более высокий оброк.¹

Русский крепостной очень привязан к своему господину и к земле; он не может быть отчужден от земли без своего согласия, исключая слугаев набора в армию и флот.

Система набора замечательна по своей простоте; он происходит следующим образом. Правительство издает распоряжение о наборе стольких-то рекрутов с каждого двухсот крепостных, и указ (ukaz) рассылается соответствующими властями крупным помещикам, которые, в свою очередь, передают копию его своим старостам. Эти последние собирают крестьян каждый в своем старостате (starosty) и извещают их о приказе царя; затем молодежь тянет жребий, и тот, на кого бы ни пал роковой жребий, становится с этого мгновенья собственностью государства.

Бедный малый вступает в армию на двадцать пять лет. Он прощается со всеми своими друзьями, со всей своей семьей, с своей родной деревней, и оплакивается, как сходящий в могилу.

Его ведут, полумертвого, на ближайший сборный пункт (depot), с суммой в шестьдесят рублей (собранных старостой с других сельчан) в кармане на уплату за свое оружие и форменную одежду. Увы, он уже не рассчитывает увидеть когда-нибудь свое родимое село, свою жену, своего ребенка или, может быть, своих престарелых родителей или милую подругу сердца, — потому что у него есть сердце, и сердце, столь же способное к нежным чувствам, как ваше или мое. Он шествует, как я уже сказал, убитый, на сборный пункт, где с него снимают его тулуп, его толстые и высокие сапоги, его турецкие на вид шаровары (shalwas) или штаны; его волосы копной сбривают наголо до темени, оставляя только небольшой локон спереди; его одевают в тесный зеленый мундир с черным кожаным воротом, чтобы поддерживать голову, опять уводят вместе с сотнями других и отправляют к его полку в Грузию, в Черкесию, в Сибирь, в Польшу или Финляндию, от ледяных берегов полярных морей до зачумленных равнин Малой Азии или обогранных кровью берегов Вислы.

Тем не менее, он вскоре приобретает вкус к военной жизни; он послушен, он изобретателен, он искусник по природе, он фаталист. И он вскоре примиряется с переменой своего состояния. И грубый на вид, дикий мужик по прошествии шести месяцев становится красивым образцом солдата.²

¹ Ср. там же (черновик к гл. 2-й): „Крепостной мелкопоместного владельца терпит более притеснений и несет более повинностей, нежели крестьянин богатого барина“.

² Ср. там же, гл. 7-я: „Самая необходимая и тягчайшая из повинностей народных есть рекрутский набор... Рекрутство наше тяжело; лицемерить нечего... Но может ли государство обойтись без постоянного войска? Полумеры ни к чему доброму не ведут...“

Все можно сделать с таким народом, как этот. Мне часто говорил русские офицеры, флотские и армейские, что когда рекруты приходят на свое судно или в свой полк, соответствующие офицеры говорят им, чем они должны стать, без всякого отношения к их прежним занятиям:

— Ты будешь портным. — Ты сапожником. — Ты гренадером. — Ты музыкантом. — Ты канатчиком. — Ты кузнецом. — Ты художником. — Ты скульптором, — и как будто магия заключается в слове: человек преобразается согласно желанию офицера.¹

Все это напоминает мне турок, с которыми этот народ несомненно имеет большое сходство. „Когда Аллах находит место, — говорит турок, — он найдет и таланты, необходимые, чтобы его занять“. У них, как и у русских — как и у известных экс-министров известного экс-министерства — места приспособлены к людям, а не люди к местам.

После обеда я гулял по Тверскому бульвару (Boulevard of the Tverzkoia), где имел удовольствие встретить некоторых моих прекрасных знакомок вчерашнего вечера. Я заметил много красивых женщин на прогулке; среди прочих заметно блистала жена поэта Пушкина.

9/21 мая. Погода ясная и солнечная. В три часа я приехал в Английский клуб, названный так потому, что вряд ли хоть один англичанин принадлежит к нему. Здесь я был записан г. Пушкиным, с которым я обедал. Это великолепное заведение, поставленное на очень широкую ногу, и чистое, прохладное и удобное. Я был представлен графу Потемкину,² князю Владимиру Голицыну (Gallitzin),³ и молодому графу Алексею Бобринскому⁴ (внуку Екатерины II). Повидимому карты и бильярд имеют здесь пальму

Власть помещиков... необходима для рекрутского набора.—Без нее правительство в губерниях не могло бы собрать и десятой доли требуемого числа рекрут...“ Однако, при этом Пушкин считает нецелесообразным и несправедливым систему перебивки. „Безрассудно жертвовать полезным крестьянином, трудолюбивым, добрым отцом семейства, а щадить вора и пьяницу обнищало... И что значит эта жалкая пародия законности!“

¹ Ср. там же, гл. 5-я: „Переимчивость его <русского крестьянина> известна. Проворство и ловкость удивительны“.

² Граф Сергей Павлович Потемкин (1787—1858) в 1831 г. был старшиной Английского клуба, обязанного ему новым помещением в доме гр. Разумовской, отделанном с большим вкусом по его указаниям. Пушкин был хорошо знаком с Потемкиным, жена которого (кн. Е. П. Трубецкая, сестра декабриста) была посаженной матерью невесты на свадьбе поэта.

³ Князь Владимир Сергеевич Голицын (1794—1861), с которым Пушкин познакомился, вероятно, через Нащокина. Письма его к поэту („Переписка“, т. II, 205 сл., т. III, 213—214, а также „Литературное Наследство“, № 16-18, стр. 568, приглашение, подписанное „Покорный раб“) свидетельствуют о горячей симпатии его к Пушкину.

⁴ Граф Алексей Алексеевич Бобринский (1800—1868), в молодости гусар и кавалергард, с 1827 г. числился по Департаменту уделов, камер-юнкер, в это время увлеклся сельским хозяйством, живя в Тульской губернии. С 1832 г. перешел в министерство финансов в Петербурге. Пушкин нередко упоминает о нем в дневнике. Но близости между ними не было.

первенства перед гастрономической наукой. Я никогда не сидел столь короткого времени за обедом где бы то ни было. Русские — отчаянные игроки.

Никаких английских газет в Английском клубе не .получается; и никаких наших „Обзрений“. Я нашел статью в „La Revue Britannique“ о силе и составе русской армии, искалеченную цензурой. Библиотека состоит почти исключительно из старых французских сочинений. Здесь имеется очень обширный и приятный сад позади дома клуба, где господа забавляются игрой в кегли и национальной игрой в свайку (swaicka), — глупая игра школьного типа, состоящая в том, чтобы вогнать железный стержень в медное кольцо, лежащее на земле.

Здесь мой приятель г. Пушкин покинул меня на произвол судьбы и тихонько ускользнул, — как я подозреваю, к своей хорошенькой жене, — он поступил совершенно правильно. Однако я был оставлен его внезапным дезертирством в несколько неловком затруднении, так как мне пришлось заплатить по моему счету, для чего я был вынужден прибегнуть к любезной помощи князя Владимира Голицына в качестве переводчика. <Но> я полагаю, что все поэты имеют право на эксцентричность или рассеянность.¹

Мая 12/24. Я обедал у г. Пушкина, и встретил у него несколько очень приятных и умных русских, между прочим г-на Киреевского² и князя Вяземского.³ Прекрасная новобрачная не появилась.⁴

Здесь в Москве существует вольность речи, мысли и действия, которой нет в Петербурге,⁵ что делает этот город приятным местом для англичанина, девизом которого должно быть — „гражданская и религиозная свобода повсюду на свете“.

Факт тот, что Москва представляет род rendez-vous для всех отставных, недовольных и renvoué чинов империи, гражданских и военных.

¹ Можно думать, что Пушкину нередко приходилось обедать в Английском клубе в кредит, так что он мог, конечно, предположить, что и в этом случае его обед с гостем будет механически записан на его счет. Впрочем поэт бывал иногда довольно беспечен в подобных случаях. Ср., напр., рассказ Дуровой о том, как летом 1836 г. Пушкин предложил ей поселиться на его городской квартире, которую он, однако, уже ликвидировал.

² Фрэнкленд ограничился начальными буквами фамилий — должно быть потому, что не запомнил их. Вероятнее всего, что имеется в виду Киреевский, Иван Васильевич (1805—1856) или Петр Васильевич (1808—1856), друзья Пушкина с 1826 г., скорее первый, сотрудник „Московского Вестника“, потом редактор „Европейца“, приятель Баратынского, Одоевского, Веневитинова, Соболевского, Муханова, Погодина, присутствовавший на первом чтении „Бориса Годунова“ 10 сентября 1826 г., и участвовавший в мальчишнике Пушкина накануне свадьбы.

³ Несомненно кн. П. А. Вяземский.

⁴ Н. Н. Пушкина была еще очень молода, вероятно, еще не умела разыгрывать светскую даму, и Пушкин, пожалуй, не захотел ее показывать на обеде, где предполагались „умные разговоры“ с незнакомым иностранцем.

⁵ Это свидетельствует о том, что таков был тон разговоров именно за этим обедом.

Это ядро русской оппозиции. Поэтому почти все люди либеральных убеждений и те, политические взгляды которых не подходят к политике этих дней, удаляются сюда, где они могут сколько угодно критиковать двор, правительство и т. д., не слишком опасаясь какого-либо вмешательства «властей».

Я не сомневаюсь, что значительно больше можно узнать о действительном положении России в этом городе за один месяц, чем в Петербурге при крайних стараниях за шесть.

Тем не менее, Россия — страна, о которой путешественник может узнать лишь немного, и это по той очевидной причине, что помещики сами не знают своей собственной страны; а только от помещиков может путешественник узнать что-либо, в виду того, что он не может общаться с торговцем, ремесленником или крестьянином, языка которых он не знает и обычаи которых настолько не соответствуют его собственным, что он никак не может сблизиться (*amalgamate*) с ними. Присоедините к этим затруднениям огромные расстояния от одного места до другого, отсутствие дорог и отсутствие удобств, которые могли бы склонить путешественника затратить много времени на изучение обычаев и нравственности низших классов и крестьянства.

После обеда мы гуляли по Тверскому бульвару (*Tverzkoia*) до позднего часа. Я устал и отправился домой и в постель.



М. АЗАДОВСКИЙ

ПУШКИНСКИЕ СТРОКИ В „КОНЬКЕ-ГОРБУНКЕ“

Начиная с 1915 г. в изданиях Пушкина вводятся начальные четыре стиха из сказки Ершова „Конек-Горбунок“:

За горами, за лесами,
За широкими морями,
Против неба, на земле,
Жил старик в одном селе.

Впервые это было сделано Н. О. Лернером в издании Венгерова, в особом отделе, озаглавленном редактором „Новые приобретения пушкинского текста“. Основанием послужило примечание П. В. Анненкова, который со слов Смирдина сообщал, что эти четыре стиха принадлежат Пушкину, „удостоившему тщательного пересмотра“ сказку Ершова. „Свидетельству Смирдина нельзя не верить, — писал по этому поводу Н. О. Лернер. — Этот честный и благородный издатель не только довольно близко знал Пушкина и вообще вращался в том литературном кругу, центром которого был Пушкин, но и издавал «Библиотеку для чтения», где в 1834 г. (т. III) был помещен отрывок из сказки, и тогда же выпустил всю сказку отдельным изданием“.¹

На этом основании начало „Конька-Горбунка“ переходит и в другие издания — в последнем „Полном собрании сочинений“ Пушкина оно находится в отделе „Неоконченное и неотделанное“, в виде самостоятельной пьесы.²

Безоговорочное включение этого отрывка в полное собрание сочинений Пушкина представляется, однако, весьма сомнительным. Из сообщения Смирдина в передаче П. В. Анненкова в сущности не ясно, что было в действительности сделано Пушкиным: написал ли он вообще заново все четыре стиха или только дал новую редакцию, сохранив в основном ершовские слова и отдельные фразы. Ведь у Ершова было же какое-то

¹ Библиотека великих писателей, под ред. С. А. Венгерова, „Пушкин“, т. VI, стр. 219.

² А. С. Пушкин. „Полное собрание сочинений в шести томах“. Том второй. Стихотворения 1826—1836 г. Редакция М. А. Цявловского, М.—Л., 1931, стр. 259. Ср. то же, изд. 3, 1935, стр. 222.

начало, когда он принес или послал свою сказку Пушкину. Таким образом, даже отнесясь с максимальным доверием к свидетельству Смирдина, едва ли следует так решительно включать эти строки в основной текст. Самое большое, что можно сделать на основании рассказа Смирдина, — это печатать данный текст в отделе „коллективное“, если вообще его следует печатать; к этой оговорке я еще вернусь.

Но если и печатать его в том или ином отделе, то во всяком случае не в той редакции, в какой его публикуют Н. О. Лернер и М. А. Цявловский. Текст в данной редакции заимствован из 5-го издания „Конька-Горбунка“ 1856 г., значительно переработанного автором, — в тексте же „Библиотеки для чтения“, а также и первых трех изданий (1834, 1840, 1843) эти строки имели такой вид:

За горами, за лесами,
За широкими морями,
Не на небе, — на земле,
Жил старик в одном селе.

Само-собой, что с именем Пушкина может быть связана только эта первая редакция — и именно ее только и возможно включать (если эти строки вообще нужно включать) в собрание сочинений Пушкина. Это, конечно, совершенно бесспорно. Но правка произведения Ершовым заставляет взять под сомнение правомерность включения этого отрывка в пушкинские издания и позволяет по-иному осветить и осмыслить сообщение Смирдина. Если бы в самом деле весь зачин сказки был написан Пушкиным, то едва ли Ершов при том пиетете, который он питал к Пушкину, решился бы на какую-либо его правку. Очевидно, Ершову не приходило в голову, что, выправляя эти стихи, он правит Пушкина. Вероятнее всего, что Пушкин произвел только какую-то редакционную работу над стихами Ершова. Но от этого они не стали пушкинскими, как не стал, например, пушкинским „Водопад“ Вяземского, хотя ряд стихов в последнем выправлен Вяземским по указанию Пушкина, и мне думается, что было бы более правильно не вводить этого отрывка ни в отдел подлинных стихотворений, ни в отдел коллективных, ни даже в отдел сомнительных.



М. АЗАДОВСКИЙ и Б. ТОМАШЕВСКИЙ

О ДАТИРОВКЕ „СКАЗКИ О ПОПЕ И О РАБОТНИКЕ ЕГО БАЛДЕ“

1

„Сказку о Балде“ обычно принято датировать 1831 годом; эту дату впервые установил П. В. Анненков, и она была принята всеми последующими редакторами. В одготомном издании Пушкина Б. В. Томашевский предлагает, однако, иную дату — 1830 г.

Аргументация Б. В. Томашевского сводится к следующему: как известно на автографе сказки, хранящемся в Ленинской библиотеке, Пушкин пометил только месяц и день: „13 сент.“ Определение года (1831) сделано Анненковым по свидетельствам современников. „Однако, — пишет Б. В. Томашевский, — свидетельство современников основано лишь на том, что летом 1831 г. Пушкин читал ее в Царском Селе. Об этом написал Н. В. Гоголь 2 ноября 1831 г.“ „Но из письма Гоголя, — продолжает Б. В. Томашевский, — можно полагать, что об этой сказке он узнал в Царском Селе, откуда он уехал в августе“. Об этом же, по его мнению, свидетельствует и запись А. О. Смирновой-Россет. „Повидимому, сказку Пушкин привез из Болдина, и, следовательно, дата относится к 1830 г.“¹

Эта аргументация вызывает большие сомнения. Приведем прежде всего целиком соответствующее место из письма Гоголя к Данилевскому: „Все лето прожил в Павловске и Царском Селе. Стало быть не был свидетелем времен терроризма, бывших в столице. Почти каждый вечер собирались мы: Жуковский, Пушкин и я. О, если бы ты знал, сколько прелестей вышло из под пера этих мужей! У Пушкина повесть октавами написанная, «Кухарка», в которой вся Коломна и петербургская природа живая. Кроме того, сказки русские народные, — не то, что «Руслан и Людмила», но совершенно русские. Одна писана даже без размера, только с рифмами и прелесть невообразимая. У Жуковского тоже русские народные сказки, одни экзаметром другие просто четырехстопными стихами“² и т. д.

¹ А. Пушкин. „Сочинения“, Редакция, биографический очерк и примечания Б. Томашевского. Вступительная статья В. Десницкого. Государственное издательство „Художественная Литература“, Л., 1935, стр. 845.

² „Письма Н. В. Гоголя“, под ред. В. И. Шенрока, т. I, стр. 196.

Есть ли основание толковать письмо в том смысле, что Гоголь именно сам слышал в чтении Пушкина всю сказку о Балде целиком? Едва ли, — тем более, что этому предшествует другое письмо, к Жуковскому, из которого совершенно ясно, что Гоголь слышал в Царском Селе только отрывки каких-то сказок обоих поэтов. „Осталось воспоминание — и еще много кой-чего, что достаточно усладит здешнее одиночество: это известие, что сказка ваша уже окончена и начата другая, которой одно прелестное начало чуть не свело меня с ума. И Пушкин кончил свою сказку! Боже мой, что-то будет далее! Мне кажется, что теперь воздвигается огромное здание чистой русской поэзии...“ и далее: „Когда-то приобщусь я этой божественной сказки?“¹ Сказка, о которой упоминает Гоголь, конечно „Сказка о царе Салтане“, об окончании которой Пушкин сообщил Вяземскому 3 сентября того же года. Таким образом, совершенно очевидно, что Гоголь во время пребывания в Царском Селе еще не знал целиком ни сказок Пушкина ни сказок Жуковского, — а стало быть, либо письмо к Данилевскому находится в полном противоречии с письмом к Жуковскому, либо его надо понимать не в том смысле, какой ему придает Б. В. Томашевский. Из сопоставления этих двух писем явствует только, что Гоголь во время пребывания в Царском Селе знал о работе Пушкина и Жуковского над сказками, может быть даже слышал отрывки из них, — но целиком они стали ему известны уже значительно позже. Письмо к Данилевскому носит явно ретроспективный характер: Гоголь обобщает целый ряд ранних и поздних моментов и подает их в сознательно завуалированной форме. Следует подчеркнуть, что в письме к Жуковскому Гоголь говорит только о „Салтане“, — „о Балде“ же ничего не говорит и не спрашивает, — вероятнее всего, что в то время он еще не знал о существовании этой сказки.

Но если даже и знал, то и тогда нельзя утверждать, что это могло бы быть только в том случае, если б сказка была написана в 1830 г. Ведь автограф с пометкой „13 сент.“, является последней редакцией. Между тем, мы хорошо знаем, что окончательной редакции у Пушкина всегда предшествовал ряд промежуточных и черновых. Таким образом, единственно, что мог бы знать Гоголь из сказки о Балде, это ее первоначальные наброски, если они уже были в июле—августе, что, впрочем, как мы увидим далее, довольно сомнительно. А. О. Россет (на свидетельство которой также опирается Б. В. Томашевский) определенно говорит об отрывках, а не о целой сказке („Иногда Пушкин читал нам отрывки своих сказок“).

Но все эти соображения — косвенные. Есть более веские и прямые доводы за сохранение прежней датировки. Это, прежде всего, свидетельство самого Пушкина. Б. В. Томашевский утверждает, что дата „13 сент.“ относится к Болдинскому периоду. О работе Пушкина в этот период

¹ „Письма Н. В. Гоголя“, т. I, стр. 189. Письмо от 10 сентября 1831.

имеется почти исчерпывающий отчет в его письме к Плетневу от 9 декабря 1830 г. „Скажу тебе (за тайну), что я в Болдине писал, как давно уже не писал. Вот что я привез сюда: 2 последние главы Онегина, 8-ю и 9-ю, совсем готовые в печать. Повесть, писанную октавами (стихов 400), которую выдадим Апопуге. Несколько драматических сцен, или маленьких трагедий, имянно: *Скупой Рыцарь, Моцарт и Салиери, Пир во время чумы и Д. Жуан*. Сверх того написал около 30 мелких стихотворений. Хорошо? Еще не все: Весьма секретное. Написал я прозою 5 повестей, от которых Баратынский ржет и бьется — и которые напечатаем также Апопуге. Под моим именем нельзя будет, ибо Булгарин заругает“.¹ Таким образом, в перечне всего написанного им за „Болдинскую осень“ Пушкин ни единым словом не упоминает о „Балде“. Едва ли такое умолчание было возможно, если б, действительно, эта сказка была уже в то время совершенно закончена. Можно бы сделать предположение, что Пушкин не упоминает об этой сказке из соображений высшего порядка: боязнь перлюстрации, распространения слухов и т. д. Однако, в этом же письме он сообщает ряд вещей, которые доверяет только Плетневу и о которых просит хранить абсолютное молчание.

В декабре 1830 г. Пушкин приехал в Москву, где провел несколько месяцев. В Москве он неоднократно встречался с Погодиным и Вяземским, к которому ездил в Остафьево. Обоим им Пушкин читал свои новые вещи, написанные в Болдине. И Погодин и Вяземский оставили записи об этих чтениях в своих дневниках;² кроме того, сохранилось письмо Погодина к Шевыреву в Рим, в котором он подробно рассказывает о приезде Пушкина и его новых пьесах.³ Но ни Погодин, ни Вяземский ни единым словом или намеком не упоминают о „Балде“. Трудно допустить, что Пушкин не поделился своей новой сказкой с Вяземским; еще более трудно допустить, что последний не отметил такой крупной и острой пьесы в дневнике, — тем более, что запись его очень подробна и упоминает даже о весьма опасных вещах, как например запись стиха из X главы „Онегина“.

Вообще мы не имеем ни одного свидетельства или упоминания „Сказки о Балде“, которые относились бы к 1830 г. или началу 1831 г., — напротив, все упоминания идут только с конца 1831 г. Таковы цитируемые уже письма Гоголя и рассказ А. О. Смирновой-Россет; к началу 1832 г. относится упоминание „Сказки о Балде“ в переписке Языкова с Комовским. В апреле 1832 г. Языков запрашивает В. Д. Комовского: „Где же его <Пушкина> Сказка Балда“, на что в следующем письме (от 25 апреля

¹ Пушкин. „Письма“, под ред. и с прим. Б. Л. Модзалевского, т. II, 1826—1830, М—Л, 1928, стр. 121.

² М. А. Цявловский. „Пушкин по документам Погодинского архива“, „Пушкин и его современники“, вып. XXIII—XXIV, П., 1916, стр. 110—112; П. А. Вяземский. „Сочинения“, т. IX, стр. 152.

³ „Русский Архив“, 1882, кн. III, стр. 184.

1832 г.). Комовский отвечает: „Сказка о попе толоконном лбе и работнике его Балде не может, говорят, увидеть свет ни по наименованию, ни по содержанию“.¹ Очевидно, в начале 1832 г. „Сказка о Балде“ была еще свежей литературной новостью. Конечно, и эти соображения можно отнести к числу косвенных доказательств, но когда таких косвенных доказательств набирается достаточное количество, они уже меняют свое качество и переходят в разряд прямых. В данном случае это совершенно несомненно, так как к ним присоединяется еще одно, делающее совершенно невозможным иное толкование всех приведенных выше материалов. Это уже упоминавшееся письмо Пушкина к Вяземскому от 3 сентября 1831 г. „Жуковский все еще пишет; завел 6 тетрадей, и разом начал 6 стихотворений; так его и несет. Редкий день не прочтет мне чего нового; нынешний год он верно написал целый том. Это хорошо было бы для журнала. Я начал также подрисовывать; на днях изпрознилсся сказкой в тысяча стихов; другая в брюхе бурчит“.² „Сказка в тысяча стихов“ — „Салтан“, какая же другая, которая уже „бурчала“ в это время, т. е. наброски которой уже появились в начале сентября? Это письмо не только помогает совершенно четко осмыслить дату автографа „Сказки о Балде“, но и определить начало работы над этой сказкой. Нужно считать, что сказка о Балде начата не ранее второй половины августа 1831 г. (последнее перед письмом от 3 сентября письмо к Вяземскому было 14 августа) и окончена 13 сентября того же года.³

М. Азадовский.

2

Прежде всего остановлюсь на контраргументах М. К. Азадовского. Есть ли у нас основание утверждать, что Гоголь слышал в Царском Селе только отрывок „Балды“? Ведь в письме к Данилевскому определенно говорится: „одна (сказка) писана без размера, только с рифмами и прелесть невообразимая“. Это единственная сказка, которую он точно характеризует. Не следует ли из этого вывод, что она была единственная, которую Гоголь слышал, в то время, как о других был только общий разговор? Во всяком случае отметим, что из „сказок“ Пушкина (а мы знаем, что речь идет только о двух сказках) особое внимание уделено Гоголем „Балде“.

¹ „Из незаданной переписки Н. М. Языкова“, „Литературное Наследство“, № 19-21, М., 1935, стр. 76, 80.

² Пушкин. „Письма“, т. III, 1831—1833, под редакцией и с примечаниями Л. Б. Модвалевского, „Academia“, 1935, стр. 46.

³ Н. В. Гоголь уезжал из Царского Села, приехал числа 14—15 августа; см. его письмо к Пушкину из Петербурга от 16 августа 1831 г. и письмо к матери от 21 августа, где он пишет: „уже около недели живу я в Петербурге“.

В письме к Жуковскому говорится: „И Пушкин кончил сказку“. М. К. Азадовский сам отмечает, что речь идет о „Царе Салтане“. Можно ли из этого заключить, что обе сказки при Гоголе были не закончены? Ведь тогда бы Гоголь написал „сказки“, а не „сказку“. Разница между единственным и множественным числом даже в небрежной эпистолярной форме ощутительна. Мы в праве понимать фразу Гоголя так, что Пушкин не кончил *только одну* сказку, именно указанную Азадовским — „Царя Салтана“.¹ Отсюда заключение, что сказка о Балде была уже закончена. К этому приводит ясный смысл текста. Можно сомневаться в точности показаний Гоголя и не придавать абсолютного значения его свидетельствам, можно проявлять всяческий критический скептицизм, но нельзя из ясных посылок делать заключение прямо противоположное логическому выводу. В частности непонятно, как можно утверждать, что ко времени письма Жуковскому Гоголь „вероятно не знал о существовании“ сказки о Балде, в то время как из письма Данилевскому явствует, что речь идет о царско-сельском общении Гоголя с Пушкиным, а характеристика сказки настолько точна, что никаких сомнений нет, что речь идет именно о „Балде“.

Обратимся теперь ко второму аргументу, к „отчету“ Пушкина в письме Плетневу. Во-первых отметим, что Пушкин включает в список то, что готово к печати. Весь отчет перебивается словами „совсем готова к печати“, „выдадим“, „напечатаем“. Произведения, не предназначавшиеся к печати, не упомянуты. Так, не упомянута 10-я глава „Евгения Онегина“. Вообще, конечно, отчет не полон: нет указания на критическую прозу, и опять-таки потому, что к этому времени вопрос о печатании этих статей не был ясен. Но предположим, что сказку о „Балде“, хотя бы и невозможную в печати, Пушкин должен был бы упомянуть. В каком порядке, в каком жанре она должна была бы фигурировать? Ведь „сказок“ как жанра у Пушкина еще не было. Первую свою сказку „Жених“ (184 стиха) Пушкин не выделил из собрания стихотворений. А напомним, что первый вариант названия сборника был: „мелкие стихотворения“.

Конечно, „Балду“ Пушкин мог включать в число стихотворений. Этому не противоречит объем сказки — 190 стихов. Большие стихотворения Пушкина приближаются к этой цифре: „Воспоминания в Царском Селе“ — 172 стиха, „Послание к Юдину“ — 226 стихов, „Сон“ — 220 стихов, „Разговор книгопродавца“ — 192 стиха, „Андрей Шенья“ — 185 стихов, „Череп“ — 152 стиха плюс около 20 строк прозы, „19 октября“ — 152 стиха и т. д. Слово „мелкие стихотворения“ звучало для Пушкина как термин синонимичный современному „стихотворения“. „Мелкие“, т. е. не поэмы, не драмы.

¹ Кстати, дата „Царя Салтана“ определяется вполне точно. В Ленинградской Публичной библиотеке в составе рукописи VIII главы „Евгения Онегина“ хранится клочек бумаги с обрывками последних стихов сказки и с точной датой: „29 Авг. Ц. С. 1831“, (см. Л. Б. Модзалевский, „Рукописи Пушкина“. Л., 1931, № 27).

Количество написанных в Болдине стихотворений Пушкин определяет в „отчете“ Плетневу „около 30“. При всех возможных натяжках мы не можем насчитать более 24 известных нам стихотворений, написанных в 1830 г. в Болдине. Повидимому, несколько стихотворений, которые мы относим к другим датам, были написаны в Болдине. Почему же абсолютно исключается возможность того, что среди них был и „Балда“? Следовательно, даже с протоколно-следственной точки зрения „отчет“ Пушкина не может иметь силы отрицательного свидетельства.

Перейдем теперь к свидетельствам современников. Ни Погодин, ни Вяземский не пишут о „Балде“. Но Погодин в своем дневнике умолчал, например, о 8-й и 10-й главах „Онегина“ и упомянул 9-ю, умолчал о всех маленьких трагедиях, не упомянул ни одного стихотворения. В письме Шевыреву он умолчал о 10-й главе „Онегина“, о „Пире во время чумы“, о „Скупом Рыцаре“. Вяземский умалчивает о „Домике в Коломне“, о „Скупом Рыцаре“, о „Пире во время чумы“. Повидимому, и эти отчеты не обладают исчерпывающей полнотой.

Вообще — трудно что-нибудь доказать на том основании, что современники „умалчивают“ о „Балде“ в 1830 году. Пушкин приехал из Болдина в Москву 5 декабря, 17 января женился, 15 мая выехал через Петербург в Царское Село. Момент приезда в Москву отделен от момента выезда немногим более чем 5 месяцами. А к периоду пребывания в Царском Селе уже относятся „свидетельства современников“. Много ли мы найдем произведений, относительно которых упоминания современников отстоят от периода возможного их обращения менее чем на 5 месяцев? Совершенно естественно, что не в Москве в предсвадебный период и в первые месяцы брака, осложненного семейными неладами, а в Царском Селе „Сказка о Балде“ получила некоторую известность. Во время же коротких свиданий с Погодиным и Вяземским Пушкин физически лишен был возможности демонстрирования всех болдинских произведений.

„Гавриилиада“ написана в апреле 1821 г., а первый современник упомянул о ней 12 июля 1822 г. Достаточно вспомнить историю с датировкой „Вольности“, чтобы увидеть, что современники упоминают в дошедших до нас документах о произведениях Пушкина не всегда на следующий день после их создания. Неужели „Гавриилиада“ и „Вольность“ — произведения менее „острые“ чем „Балда“? Достаточно, наконец, сказать, что есть произведения Пушкина, которые вообще при его жизни совершенно не упоминались.

Наконец, решающий аргумент. Пушкин пишет 3 сентября: „другая <сказка> в брюхе бурчит“. Откуда мы знаем, что бурчала именно „Сказка о Балде“? А вдруг это бурчание так ни во что и не вылилось? Или разве мы не знаем случаев, когда подобное „бурчание в брюхе“ достигало желанных результатов через много лет? Одно небольшое стихотворение Шенье Пушкин начал переводить в 1825 г., а кончил в 1835. Маленькие

драмы „бурчали“ задолго до 1830 года, когда они были написаны. „Капитанская Дочка“ тоже не сразу написалась.

Да и странное „бурчание“ Балды, звуки которого доносятся до ушей Россет и Гоголя.

Вообще — „Сказка о Балде“ не такая сложная вещь, чтобы растягивать создание ее на много месяцев, даже на один месяц. Пушкин отлично мог написать ее „в один присест“, особенно в условиях творческого напряжения Болдинской осени 1830 г. Не надо преувеличивать беловой характер известного нам автографа. Принимая во внимание краткость всей сказки, вероятно было бы допустить, чтобы Пушкин читал из нее какие-то отрывки. И во всяком случае из того, что Гоголь пишет, что слышал только отрывки недоконченных сказок Жуковского и недоконченного „Салтана“, никак не следует, что „Балда“ тоже читался в отрывках. Есть же разница между чтением сказки, отнимающей полчаса и укладывающейся в 5—10 минут.

Надо сказать прямо — кроме голословного заявления Анненкова, относящегося к 1855 году, нет ни одного аргумента в пользу создания „Балды“ в сентябре 1831 г. А за Болдино есть, кроме приведенных мною, еще другие. Бумага, на которой писана сказка о Балде, употреблялась Пушкиным именно в Болдине. Болдинская бумага Пушкина особенная и вообще не встречается у Пушкина в иные годы. Поехал в Болдино он, повидимому, без запасов бумаги и закупил ее уже на месте. Вряд ли он вывез из Болдина большие запасы этой бумаги, да еще повез ее в Царское Село, когда у него была уже хорошая гончаровская бумага в любом количестве.

Обращу внимание еще на одну особенность „Балды“. Рукопись иллюстрирована картинками, рисованными Пушкиным. Это — особенность болдинских рукописей. Вспомним „Домик в Коломне“, „Гробовщика“, „Каменного Гостя“. Иллюстрации Пушкина в виде законченных картинок крайне редки у Пушкина. Расширяя несколько понятие картинки, мы находим в книге А. Эфроса „Рисунки поэта“ следующие автоиллюстрации:

- 1) „Кавказский Пленник“ (стр. 57),
- 2) „Евгений Онегин“ (схема заказа на картинку, стр. 207),
- 3—5) „Балда“ (при подписях картинок, стр. 301),
- 6 и 7) „Гробовщик“ (две картинки, стр. 303 и 305),
- 8 и 9) „Домик в Коломне“ (стр. 315 и 317),
- 10) „Каменный Гость“ (стр. 323, ср. стр. 331),
- 11) „Сват Иван“ (стр. 333).

Оставляя в стороне спорного „Балду“, мы получаем из 8 картинок — 5, относящихся к осени 1830 г., а считая и „Балду“ написанным тогда же — 8 из 11.

По этому поводу А. Эфрос отмечал „наклонность к автоиллюстрациям, проявившуюся впервые в болдинские месяцы, не имеющую

аналогий в остальных периодах пушкинского творчества и не свойственную в частности предыдущей пушкинской графике“.

Все это аргументы косвенные, но значит что-нибудь и самая совокупность доводов.

Наконец еще один аргумент. В тетради Пушкина № 2372 на л. 61 имеется план издания, составленный, повидимому, в 1830 г. Перед ним — отрывки „Участь моя решена“, после него письмо невесте, писанное в июне 1830 г. Этот план составлялся, вероятно, в Болдине или вскоре после Болдина. Сюда вошли болдинские произведения: „Домик в Коломне“ („октавы“) и маленькие трагедии („Сцены“). В списке „Евгений Онегин“ значится в 9 главах, а как известно, в 1831 г. летом Пушкин отказался от мысли печатать 9 глав, сократив их до 8-ми, и уже 19 ноября 1831 г. цензурой была разрешена последняя, 8-я, глава романа. Итак, в этом списке, где нет ни одного произведения, писанного после Болдина, имеется одна красноречивая строка: „сказка“ (отчетливо в единственном, а не во множественном числе). Вряд ли эту запись можно датировать промежутком от 3 до 13 сентября 1831 года.

Кстати, отмечу, что в алфавите однотомника (и не только в последнем, но и в первом издании 1924 г.) при названии сказки дата 1830 г. сопровождается вопросительным знаком, указывающим на некоторую осторожность в предложении данной даты. Полагаю, что для датировки сказки 1830 годом в условиях такой осторожности я имею все основания.

Б. Томашевский.



НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ АКАДЕМИЧЕСКОГО ИЗДАНИЯ ПЕРЕПИСКИ ПУШКИНА

Ю. Г. ОКСМАН

НЕИЗВЕСТНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ К ПИСЬМУ Ф. Н. ГЛИНКИ К ПУШКИНУ от 28 ИЮЛЯ 1831 г.

Письмо Федора Николаевича Глинки к Пушкину от 28 июля 1831 г.¹ до сих пор известно было без тех приложений, на внимание к которым особенно рассчитывал отправитель.

Видный петербургский масон и лидер правого крыла Союза Благоденствия, связанный и с позднейшими тайными организациями декабристов, полковник Ф. Н. Глинка, после трехмесячного заключения в крепости, 17 июня 1826 г. выслан был под надзор полиции в Олонецкую губернию, с разрешением служить „по гражданской части“. 4 марта 1830 г. он переведен был в Тверь на ту же должность сверхштатного советника губернского правления, которую занимал в Петрозаводске. В середине августа 1830 г. ссыльного поэта и общественного деятеля навестили проезжавшие через Тверь кн. П. А. Вяземский и Пушкин (об этом визите их к Глинке см. „Полное собрание сочинений кн. П. А. Вяземского“, т. IX, СПб., 1884, стр. 137). Судя по печатаемому нами письму, Пушкин тогда же сам „взялся похлопотать“ об „улучшении положения“ человека, которому, кстати сказать, был обязан серьезной поддержкой в почти аналогичных обстоятельствах весной 1820 г. Как известно, Ф. Н. Глинка, занимая в ту пору должность старшего адъютанта при петербургском генерал-губернаторе графе М. А. Милорадовиче, не только принял деятельное участие в хлопотах за Пушкина перед высылкой последнего из столицы на юг, но и публично подчеркнул свое сочувствие автору „Вольности“ и „Деревни“ дружеским посланием в сентябрьской книжке „Сына Отечества“ за 1820 г. Ответные строки Пушкина („Когда среди оргий жизни шумной меня постигнул остракизм“ и пр.) навсегда закрепили необычайно высокую оценку им всех особенностей общественно-политической позиции Ф. Н. Глинки.

¹ Впервые опубликовано в книге П. И. Бартенева „Бумаги А. С. Пушкина“, вып. 1, М., 1881, стр. 32; перепечатано в академическом издании переписки Пушкина, т. II, СПб., 1908, стр. 290—291. Автограф хранится во Всесоюзной Публичной библиотеке имени В. И. Ленина в Москве.

Более сложным было отношение Пушкина к поэтической продукции Глинки. В послании 1817 г. к В. Л. Пушкину „Глинка-офицер“ назван был „довольно плоским певцом“, в эпиграмме „Наш друг Фита“ он же иронически определен как „Кутейкин в эполетах“ (1825 г.), а в „Собрании насекомых“ — как „божия коровка“ (1829 г.). И тем не менее, несмотря на все свое отрицание примитивного аллегоризма и „ухарских“ бестактностей поэтического словаря „Опытов священной поэзии“ Глинки, Пушкин в 1830 г., рецензируя его „Карелию“, подчеркнул не только историческое своеобразие, но и мастерство творческих достижений Глинки: „Из всех наших поэтов Ф. Н. Глинка, может быть, самый оригинальный. Он не исповедует ни древнего, ни французского классицизма, он не следует ни готическому, ни новейшему романтизму; слог его не напоминает ни величавой плавности Ломоносова, ни яркой и неровной живописи Державина, ни гармонической точности, отличительной черты школы, основанной Жуковским и Батюшковым. Вы столь же легко угадаете Глинку в элегическом его псалме, как узнаете князя Вяземского в станцах метафизических или Крылова в сатирической притче. Небрежность рифм и слога, обороты то смелые, то прозаические, простота, соединенная с изысканностью, какая-то вялость и в то же время энергическая пылкость, поэтическое добродушие, теплота чувств, однообразие мыслей и свежесть живописи, иногда мелочной, — всё дает особенную печать его произведениям“.

Из стихотворений Глинки, отличающихся „энергической пылкостью“, самым значительным был, конечно, „Плач плененных иудеев“ (с его знаменитой концовкой: „Рабы, влачащие оковы, высоких песней не поют“), опубликованный впервые в „Полярной Звезде“ на 1823 г. и быстро сделавшийся одним из самых популярных произведений политической лирики декабристов. Но Пушкин знал, вероятно, в 1830 г. и те стихотворения Глинки, которые не могли пройти в печать, которые с необычайной четкостью и остротой отражали (в привычных, правда, для Глинки формах библейских аллегорий) его настроения эпохи следствия и суда над декабристами, годов его тюрьмы и ссылки.

Напомним важнейшие из этих произведений, не привлекавших до сих пор внимания ни наших историков, ни литературоведов. Тематика их была так остра и столь прямолинейно связана с политической злободневностью 1826 года, что даже сорок лет спустя, включая эти элегии в первый том собрания своих сочинений, Ф. Н. Глинка не рискнул прямо обозначить их даты. Печатаемые нами тексты были запряты им „без означения годов“ между стихотворениями, относящимися к периоду до 1826 г. и стихотворениями „с 1825 г. до последнего времени“.¹

¹ „Сочинения Ф. Н. Глинки“, т. I, М., 1869, стр. 241—242 и 247—248. Курсив везде подлинника.

И л и я — б о г у

Мы ждем и не дождемся сроков
 Сей бедственной с нечестьем при:
 Твоих зарезали Пророков,
 Твои разбили алтари!!...
 Проснись, бог сил! заговори!
 Нет места для твоей святости,
 И я теперь, жилец пустыни,
 Я плачу пред тобой один!..
 А ты им терпишь, Властелин
 Земли, морей и облаков!
 Ты терпишь от своих рабов!!!

Б о г — И л и е

Не сокрушайся, мой Пророк!
 На всё есть час, на всё есть срок;
 Пускай, кичась, растет порок:
 Будь зло добру в святой урок!
 Но не грусти! Твой Господин
 Здесь не совсем еще один:
 Не все пошли к Ваалу в сети!
 Есть тайные у бога дети,
 Есть тайный фимиам сердец,
 Который обонять Мне сладко!..
 Они бегут ко мне украдкой,
 И Я являюсь в тайне к ним;
 И их лелею, просветляю
 Высоким, истинным, святым!

И з п с а л м а 43-го

Забыл ты нас, забыл нас, боже!
 Враги пируют праздник свой:
 Вчера ругались, ныне тоже
 Над нашей бедной головой!..

Ты продал, боже! за бесценок,
 Негодных нас твоих рабов,
 И малолеток и ребенок
 Ведут нас как в ярме волов...
 Не за Тебя ли, боже! боже!

Играют нашу судьбой,
 И стерегут нас строже, строже
 Как обреченных на убой!..

Отец, ты отвращаешь взоры
 От плачущих твоих людей,
 А враг дождит на нас укоры
 И бьет нас прутом как детей!

Восстань же, боже! что ты дремлешь!
 Мы именем твоим святым
 Тебя зовем... Но ты не внимлешь:
 Ты предал нас врагам твоим!..

Но, и под гнетом горькой доли,
 Мы верными тебе стоим,
 И вопль тая душевной боли,
 Друг другу смело говорим:

Не воссылай чужому богу
 Молить из трепетной груди;
 Рассей все страхи, всю тревогу,
 И к богу своему иди!..

Сохранил ли Ф. Н. Глинка в пору встречи своей с Пушкиным и Вяземским в Твери надежды, вдохновлявшие его, невольного „пустыни жителя“, в самую жесткую пору той „бедственной с нечестьем при“,

которая стоила жизни его „пророкам“, — сказать трудно. Но от искушения поделиться с друзьями после нескольких лет литературной изоляции своими созданиями эпохи тюрьмы и ссылки он, конечно, не мог отказаться.

Дата обращения Ф. Н. Глинки к Пушкину не случайна: летом 1831 г. исполнилось пять лет со времени его высылки из Петербурга. Подобно многим декабристам, он рассчитывал если не на полную, то на частичную амнистию, на возможность возвращения к литературной работе в столице, хотя бы под полицейским надзором. Пушкин также вероятно разделял эти иллюзии и, вызвавшись помочь Ф. Н. Глинке, прежде всего должен был рассчитывать, конечно, на свое знакомство с министром внутренних дел А. А. Закревским, без формального представления которого в III Отделение или на „высочайшее имя“ участь ссыльного поэта никак не могла быть изменена. Однако все лето и осень 1831 г. А. А. Закревский пробыл в Финляндии, а по возвращении 28 сентября в Петербург оказался в опале и 19 ноября 1831 г. был уволен в отставку.¹ Естественно заключить, что Пушкин поэтому и лишен был возможности притти на помощь Ф. Н. Глинке. Так или иначе, но с историей этого неудачного посредничества связаны были, вероятно, строки письма Пушкина к Ф. Н. Глинке от 21 ноября 1831 г.: „Мне говорят, будто вы на меня сердиты. Хороши те, которые ссорят нас бог знает какими сплетнями. С моей стороны, моим искренним, глубоким уважением к вам и вашему прекрасному таланту, я перед вами совершенно чист“.²

Приводим по автографу письмо Ф. Н. Глинки, а затем публикуем обнаруженные в неизвестной до сих пор части архива Пушкина приложения к этому письму.³

Милостивый Государь Александр Сергеевич!

Драгоценное посещение ваше для меня сугубо-памятно. Вы утешили меня, как почитателя вашего, давно желавшего вас видеть и обнять и, в то же время, вы приняли во мне участие, как человек, в котором совсем *не отразился* настоящий век. С добродушием, приличным старому доброму времени, вы сами взялись похлопотать (разумеется по возмож-

¹ См. „Сборник Русского Исторического общества“, т. 73, СПб., 1890, стр. XI.

² Сводку биографических материалов о Ф. Н. Глинке см. в очерке А. Ельницкого в „Русском биографическом словаре“, том „Герберский — Гогенлоэ“, М., 1916; дополняют этот очерк статьи Н. К. Замкова „Пушкин и Ф. Н. Глинка“ („Пушкин и его современники“, вып. 29—30, П., 1918, стр. 78—97), С. Н. Чернова „К истории Союза Благоденствия“ („Каторга и ссылка“, 1926, № 2, стр. 120—132) и А. Н. Шебунина „Пушкин и «Общество Елизаветы»“ („Пушкин. Временник Пушкинской комиссии“, I, 1936, стр. 53—90).

³ Приложения писаны писарской рукою на пяти листах почтовой бумаги большого формата, сшитых в виде тетради; оборот последнего листа чистый. Водяной знак бумаги: „1828 г.“.

ности) об улучшении моего положения. Вот вам тетрадка! Имейте великодушные ее прочесть — и вы увидите: *каково* было мое служение в Ол. Губернии и *как* я рекомендован. Теперь всё, что обо мне представлено, *лежит* у министра. Если можно, хотя звуком вашей лиры возбудите спящее! — Государь и мудр, и милостив, и великодушен. Нужно только предстательство. Вы увидите с Василием Андреевичем; он мой благодетель, смольтесь с ним. Во всяком случае мне утешительно будет увидеть, что двое первых поэтов нашего времени приняли участие в моей изувечной судьбе. Прощайте! До радостнейшей возможности *опять* вас увидеть и обнять.

С отличным почитанием и совершенною преданностию, имею честь быть, Милостивый Государь! вашим покор. слугою

Федором Глинкою.

Р. S. Ваше живое стереотипное издание — милый братец ваш — посетил меня, обедал, погостил и с богом отправился далее по тракту к Кавказу. 1831 г.

Июля 28-го. Тверь.

⟨Приложения к письму:⟩

№ 1-й

ПИСЬМО АРХАНГЕЛЬСКОГО, ВОЛОГОДСКОГО И ОЛОНЕЦКОГО ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА

Милостивый Государь мой!

Федор Николаевич!

Получа письмо ваше из Петрозаводска от 3-го июня, я по содержанию оногo ничего другого ответствовать вам не имею, как токмо уверить вас, что я всегда думал и думаю об вас как о человеке совершенно благородном, с отличными познаниями для службы. По сей уверенности моей и прошу вас, Милостивый Государь мой, Федор Николаевич, по должности вашей действовать так, как служба вас обязывает и как честь и законы требуют, а судя по благородным вашим правилам и по уму, не должно вам никогда и думать, что вы не можете сего достигнуть, где бы вы ни находились. Откровенно вам должен присоединить, что по отдаленности Петрозаводска не всякая подробность сюда дойти может: однако же можно судить, что тамошний край, как кажется, не улучшается и после посещения г. Сенатора, а судя по поступку с г. Борисовым, мудрено ожидать теперь чего-либо доброго. В заключение повторив уверение в истинном к вам уважении, честь имею быть с всегдашнею преданностию, Милостивый Государь мой,

№ 1860.

7 июля 1828.

Архангельск.

Покорнейший слуга

Стефан Миницкий.

№ 2-й

ПИСЬМО ОЛОНЕЦКОГО ГРАЖДАНСКОГО ГУБЕРНАТОРА, И ПРИ ОНОМ: СПИСОК
С ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЕГО ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРУ О СОВЕТНИКЕ ГЛИНКЕ.

Милостивый Государь!
Федор Николаевич!

Приятным долгом поставляю препроводить у сего вам, Милостивый Государь, с зделанного мною Господину Генерал-Губернатору Архангельскому, Вологодскому и Олонецкому представления копию, о награде вас, за неусыпные труды ваши, благородные поступки, примерную деятельность в соревновании, чем споспешествовали событию, бывшему сего года февраля в 13-й день в Олонецком Губернском Правлении. С истинным почтением и таковою ж преданностию имею честь быть Милостивого Государя,

Марта 5-го дня.
1830-го.

Покорнейший Слуга
Александр Яковлев.

СПИСОК С ДОНЕСЕНИЯ ОЛОНЕЦКОГО ГРАЖДАНСКОГО ГУБЕРНАТОРА ГОСПОДИНУ
ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРУ АРХАНГЕЛЬСКОМУ, ВОЛОГОДСКОМУ И ОЛОНЕЦКОМУ
ОТ 24-ГО ЧИСЛА ФЕВРАЛЯ 1830-ГО ГОДА ЗА № 1169-М.

По состоявшемуся Указу Правительствующего Сената 1826 года, отставной Коллежский Советник Глинка (переименованный из полковников) определен Старшим Советником в Олонецкое Губернское Правление с жалованьем по 1500 руб. в год. Из *Аттестата* бывшего Гражданского Губернатора *Фан дер Флита*, с коего копию у сего имею честь представить, и *отзыва* состоявшего после него в должности Гражданского Губернатора 5-го класса *Лачинова* — видно: что Г-н Глинка продолжал служение свое по Олонецкому Губернскому Правлению по засвидетельствованию Фан-дер Флита: „При неусыпных трудах, примерной деятельности и благородных поступках, отличавших всё служение его, по должности Советника Олонецкого Губернского Правления“. 5-го же класса Лачинов, по случаю порученного Глинке надзора за разрешением *старых дел* в журнале Олонецкого Губернского Правления 20-го августа 1828 года, между прочим отзывается о нем так: „Поручив за точным сего исполнением надзор г. Советнику Глинке, Губернское Правление не могло лучше сделать выбора; усердие г. Глинки ручалось Губернскому Правлению за успех сего поручения: что и оправдалось на самом деле, в чем равномерно доказательством служат *ведомости* о коих сказано выше и проч.“ Таковы были отзывы о Советнике Глинке прежних Начальников Губернии, до прибытия моего в оную. — Из послужного списка его, который у сего имею честь препроводить, видно, что он употребляем был в особых Коммиссиях: 1-й. Старшим членом в коммиссии составленной (первоначально

по секрету) по случаю открывшегося недостатка в суммах по уездному Петрозаводскому Казначейству. 2-й. По личному распоряжению ревизовавшего Губернию Сенатора Баранова, назначен к учету Петрозаводской Градской Думы. 3-й. Двукратно находился при следствиях по случаю злоупотреблений по рекрутским наборам при гг. флигель адъютантах его императорского величества, князьях: Светлейшем Ливене и Голицыне 5-м. По прибытии моем в звании Гражданского Губернатора в Олонецкую Губернию застал я в Губернском Правлении к 1-му Июня 1829-го года дел 638 и бумаг 1281, да в течение 6-ти месяцев прибыло: дел 447 и бумаг 11 654. К 1-му же генваря текущего года осталось: дел 245 и то *таких*; коих решение (по состоянию оных за *другими* Губернскими правлениями и присутственными *местами*) нисколько не зависит от Олонецкого Губернского Правления; бумаг же ни одной! При чем ход дел так ускорился, что не только каждый месяц, но и каждая неделя сама себя очищает и надходящая почта не застаёт почти бумаг, полученных с прошедшею. Для достижения сего потребно было утроить труды, заботливость и усердие, и Г. Старший Советник Глинка в сем случае оказал себя, по отличным способностям, с неутомимою деятельностью в соревновании, к доведению дел до такой возможности, твердыми благородными и постоянными поступками; и когда (по предложению моему) Губернскому Правлению было предложено за таковой примерной успех дел воздать благодарение Господу Богу;—а как чрез сие достигло возможности Правление посвящать (чего доселе за множеством дел нельзя было сделать) свободный час (по предписанию Устава благочиния статьи 55-й и указа 1724 генваря 20) для чтения законов—то по убеждению моему, он Г. Советник Глинка составил: „*вступление к чтению законов в Олонецком Губернском Правлении*“ для канцелярских чиновников и канцелярских служителей, которое им, после бывшего молебствия сего февраля 13-го дня в Губернском Правлении было читано, с которого с сего копию имею честь представить. Таковое отличное усердие, ревность и рвение к пользе службы его Советника Глинки, священною обязанностью поставляю сим свидетельствовать. Соображая поведение и службу г. Советника Глинки, как при моих предшественниках, по их засвидетельствованиям, так и при мне, я долгом справедливого начальника считаю, представить о нем Вашему Высокопревосходительству, и убедительнейше просить почтить сие мое представление Вашим милостивым ходатайством. Я не назначаю награды г. Глинке. Мера оной будет зависеть от благоусмотрения Вашего Высокопревосходительства и воли высшего правительства;—но я смею присовокупить, что награждение Советника Глинки послужит ободрением, не токмо ему, но и всем, сего края чиновникам, продолжающим службу его императорского величества по прямому направлению чести и совести с отличным усердием и примерным успехом. Подписал Гражданский Губернатор Александр Яковлев.

№ 3-й

ПИСЬМО ОЛОНЕЦКОГО ГРАЖДАНСКОГО ГУБЕРНАТОРА, И ПРИ ОНОМ (НА ГЕРБОВОМ ЛИСТЕ) АТТЕСТАТ.

Милостивый Государь!
Федор Николаевич!

По случаю перевода вашего из Олонецкого Губернского Правления на службу в таковое ж Тверское, я вменияю себе в приятнейший долг, изъяснить вам Милостивый Государь, чувства искреннейшей благодарности и признательности за сотоварищество по службе, и за доказанные на опыте ревностные труды и попечительность вашу в исполнении вообще по Губернскому Правлению обязанности со дня моего прибытия в Олонецкую Губернию, и по день вашего к месту нового назначения «перемещения». Отдавая должную справедливость, прилагаю у сего за подписом моим, с приложением герба моего печати, должное вам свидетельство. Я вместе с тем убедительнейше прошу и о продолжении одинаких чувствований к тому, который всегда с удовольствием поставлять будет быть с неслесною преданностию вашим Милостивого Государя

№ 16.
Апреля 4 дня 1830,
г. Петрозаводск.

Покорнейшим слугою
Александр Яковлев.

Аттестат

Бывший Олонецкого Губернского Правления Советник, Коллежский Советник и кавалер Глинка; перемещенный к таковой же должности в Тверское Губернское Правление. В продолжении служения его по Олонецкой Губернии в звании Старшего Советника с 1826-го года, аттестовался по всем послужным спискам, отправляемым к Главному Начальству, способным и достойным, — равно и в продолжении управления моего Олонецкою Губерниєю, с 1-го июля прошедшего 1829-го года, Господин Советник Глинка по день нынешнего перемещения его, — исправлял должность свою с отличным усердием и деятельностью, оказывал всегда ревностное старание и благоуспешность в производстве порученной ему части дел, и вел себя во всех отношениях примерно. — В засвидетельствование чего обязанностию поставляю, дать ему сей Аттестат, за подписом моим и с приложением герба моего печати. Дан в Петрозаводске

№ 2008

Апреля 2-го дня 1830-го года.

Его императорского величества Всемилоостивейшего Государя моего действительный статский советник, Олонецкий Гражданский Губернатор, и орденов: Российских: Св. Анны 2-го класса бриллиантами украшенного, Св. Равноапостольного князя Владимира 4-й степени с бан-

том, — Прусского за достоинство, золотой шпаги с надписью за храбрость, серебрянных медалей: за взятие Парижа и установленной за 1812 год кавалер Яковлев.

№ 4-й

М. В. Д.
Олонецкого Гражданского
Губернатора,
6-го Сент. 1827.
№ 5.
Санкт-Петербург.

ПОДЛИННЫЙ АТТЕСТАТ ОТ ФАН-ДЕР-ФЛИТА.

Господину Советнику Олонецкого Губернского
Правления, Коллежскому Советнику и Кавалеру
Глинке.

Совершенно расстроенное здоровье мое, вынудило меня, при всем пламенном желании продолжать службу его императорского величества, утруждать всеподданнейшею просьбою об увольнении меня от настоящей должности. Ожидая Всемилостивейшего воззрения на сию прозьбу и готовясь растаться с гг. чиновниками Олонецкой Губернии в ведомстве моем состоящими, я вмению себе в приятный долг сим свидетельствовать вам, Милостивый Государь мой, то справедливое уважение мое и совершенную признательность, которые приобрели вы неусыпными трудами, примерною деятельностью и благородными поступками, отличавшими все служение ваше, по должности Советника Олонецкого Губернского Правления. Будучи уверен, что всякий начальник, исполненный любви к вверенной ему части, и пекущийся о доведении оной до возможного совершенства, поставит себе за честь иметь ревностных, благородно-мыслящих, и испытанной нравственности, подобно вам сотрудников, я желал только изъяснением сих чувствований, доказать вам, что лишенный возможности ходатайствовать о наградах, я не могу быть равнодушным к превосходным качествам ума и сердца. — Следовательно не могу равнодушно растаться с вами.

Гражданский Губернатор Фан-дер-Флит.

№ 5-й

ПИСЬМО ОЛОНЕЦКОГО ГРАЖДАНСКОГО ГУБЕРНАТОРА, И ПРИ ОНОМ СПИСОК С ОТЗЫВА К НЕМУ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА О СОВЕТНИКЕ ГЛИНКЕ.

Милостивый Государь!
Федор Николаевич!

С полученного мною от Господина Генерал-Губернатора Архангельского, Вологодского и Олонецкого предписания для сведения вашего у сего копию с приятным удовольствием препровождаю.

Имею честь быть с истинным почтением и таковою ж преданностию Милостивого Государя,

Покорный Слуга
Александр Яковлев.

Марта 18 д.
1830-го года.

Список Господину Олонецкому Гражданскому Губернатору
Марта 6-го дня 1830-го года за № 595.

Засвидетельствование вашего превосходительства об отличном усердии и ревности на пользу службы Советника Олонецкого Губернского Правления Коллежского Советника Глинки, я сообщил Г. Министру внутренних дел, отдавая и с своей стороны полную справедливость усердной и ревностной службы Г-на Глинки, о чем не излишним считаю уведомить ваше превосходительство в ответ на представление ваше Милостивый Государь мой 24-го минувшего февраля, № 1169-й.

Подлинное подписал Генерал-Губернатор Миницкой.

Верно. *Гражданский Губернатор Александр Яковлев.*

№ 6-й

СОБСТВЕННОРУЧНОЕ ПИСЬМО ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА К СОВЕТНИКУ ГЛИНКЕ.

Милостивый Государь!
Федор Николаевич!

Письмо ваше с приложением книжки (Карелии) трудов ваших, я имел удовольствие получить. От искренности сердца благодарю вас за сей приятный памятник. В след за сим получил я, чрез А. М., речь говоренную вами всем гражданским чиновникам, в которой так хорошо и внятно доказано каждому, какие от познания законов и исполнения в точности оных получаютя пользы для благополучия людей. За сие все слушавшие вам совершенно благодарны. В одно и то же время раскрываете вы пред соотчичами страну, почти всеми забытую (Карелию) и поселяете в правлении оной все доблести, которые делают человека счастливым.

С желанием вам всех благ остаюсь усердным ко услугам

С. М.

Архангельск

1830-го года, февраля 28.

П. Е. ЩЕГОЛЕВ

НЕИЗВЕСТНОЕ ПИСЬМО МОНТАНДОНА К ПУШКИНУ

В 1834 г. вышел в свет „Путеводитель по Крыму“ на французском языке, составленный неким Монтандоном.¹ В „Северной Пчеле“ появилась заметка об этой книге: „До сих пор не доставало путеводителя по Крыму и путешественники с трудом получали самые простые и обыкновенные сведения, необходимые при путешествиях. Г. Монтандон, заметив этот

¹ „Guide du voyageur en Crimée. Orné de cartes, de plans, de vues et de vignettes, et précédé d'une introduction sur les différentes manières de se rendre d'Odessa en Crimée. Par C. H. Montandon. Odessa, Imprimerie de la ville“, 1834.

Monsieur -

Le nom que de vous en venant
accepter est en échange de l'ancien
qui s'en est fait avec quasi immédiat.

Je vous en prie impérieusement et
de vous en venir de la part de
votre ami la guerre, au lieu de
d'être

Monsieur, votre humble et
Obedissant serviteur :

M. Montandon

Delma
le 12 Avril
1834

Je n'ai été que sur votre nom à
l'impératif et sur votre nom, au lieu de
de vous en venir de la part de
s'en venir, d'être librement de vous.

недостаток, издал книгу, в которой обстоятельно и подробно описал весь Крым в историческом, статистическом и географическом отношениях“. Указав, что автор пользовался пособием местного высшего начальства, рецензент „Северной Пчелы“ хвалил автора „за рачение и трудолюбие“ и предсказывал книге „блестательный успех“.¹ Действительно, уже к 1846 г. книга Монтандона стала редкостью.²

Книга посвящена графу М. С. Воронцову. „Осматривая со вниманием эту прекрасную страну, вверенную вашим заботам, я имел возможность видеть, что вы сделали для ее преуспевания и как администратор, и как частный человек; это соображение вызвало во мне желание видеть ваше имя во главе книги, которая говорит о стране, где всё говорит о вас“, писал в посвящении автор „Путеводителя“. Но он связал свою книгу и с именем Пушкина. На титульном листе напечатан по-русски эпиграф:

Волшебный край, очей отрада,
Все живо там, холмы, леса;
Янтарь и пурпур винограда,
Долин приятная краса.

Пушкин. „Бахчисар. Фонтан“.

Пушкин упомянут в книге при описании Бахчисарайского дворца, а в каталоге наиболее известных трудов, касающихся Крыма, назван и „Бахчисарайский Фонтан“ Пушкина.

Книга была прислана Пушкину с авторской подписью „à Monsieur A. Pouchekine hommage de l'Auteur, Odessa, 3 Avril 1834“. Она сохранилась до наших дней в библиотеке Пушкина.³ Среди бумаг Пушкина нашлось и письмо к нему Монтандона, доселе неизвестное, следующего содержания:⁴

Monsieur

Je vous prie de vouloir bien accepter ce livre en échange du larcin que je vous ai fait avec préméditation.

Je saisis avec empressement cette occasion pour vous assurer de la parfaite estime avec laquelle j'ai le honneur d'être

Monsieur,

vôtre très humble et très
obéissant serviteur
Montandon.

Odessa
ce 1^r Avril
1834

¹ „Северная Пчела“, 15 июня 1834, № 133, стр. 529—530.

² „Архив Раевских“, т. IV, стр. 245—246.

³ Б. Л. Модзалевский. „Библиотека А. С. Пушкина“, СПб., 1910, стр. 292—293.

⁴ Подлинник на двух листах почтовой бумаги большого формата, сложенных в виде конверта и запечатанных красной сургучной печатью. На обороте второго листа адрес:

Monsieur
Monsieur Al. Pouchekine
à St. Petersbourg.

J'ai établi mon domicile à Simpheropol et si jamais vous aviez besoin de quelques renseignements ou autres choses, veuillez, je vous prie, disposer librement de moi.¹

Первую фразу письма, по всей вероятности, надо понимать как извинительную вежливость по тому поводу, что Монтандон, не спрашивая автора, украсил свою книгу эпитафией из „Бахчисарайского Фонтана“. Другого толкования у нас нет. Трудно судить по письму, был ли Монтандон лично знаком с Пушкиным. Приписка к письму скорее свидетельствует о личном знакомстве.

Е. Б. ЧЕРНОВА

К ИСТОРИИ ПЕРЕПИСКИ ПУШКИНА И Е. К. ВОРОНЦОВОЙ

Среди писем к Пушкину разных лиц имеется письмо, опубликованное впервые И. А. Шляпкиным за подписью Е. Вибельман.² В академическое собрание писем Пушкина оно внесено как письмо неизвестной дамы. В примечании к письму Шляпкин высказывает предположение, что автором его была графиня Елизавета Ксавериевна Воронцова. В рецензиях на книгу П. Е. Щеголев³ и В. В. Сиповский⁴ считают мотивы, приводимые Шляпкиным в пользу этой гипотезы, неубедительными, однако своего решения вопроса не предлагают. П. А. Ефремов⁵ высказал предположение, что автором письма была жена писателя А. Ф. Вельтмана Елена Вельтман, но никаких аргументов в пользу этого предположения не привел.

В недавнее время Э. Бориневич-Бабайцева, в статье „Пушкин и одесские альманахи“⁶, выдвинула предположение, что письмо за подписью

¹ Перевод:

Милостивый государь,

Покорнейше прошу вас принять эту книгу взамен воровства, совершенного мной с заранее обдуманном намерением.

Охотно пользуюсь этим случаем, чтобы засвидетельствовать вам совершенное уважение, с каковым имею честь оставаться,

сударь,

Одесса, 1 апреля 1833.

вашим усерднейшим слугой Монтандон.

Я обосновался в Симферополе, и если у вас когда-либо явится надобность в каких-нибудь справках или в чем другом, прошу вас свободно располагать мною“.

² И. А. Шляпкин. „Из неизданных бумаг А. С. Пушкина“, СПб., 1903, стр. 185—189.

³ „Исторический Вестник“, 1903, № 5, стр. 693—694 и „Известия Отделения русского языка и словесности Академии Наук“, кн. 4, стр. 381—382.

⁴ „Журнал Министерства народного просвещения“, 1903, № 6, стр. 449.

⁵ „Новое Время“, 1903, № 9851.

⁶ Сб. „Пушкин“, под ред. М. П. Алексеева, вып. II, Одесса, 1926, стр. 57—65.

Je suis obligé de sortir dans l'instant
et je me fais plaisir de pleurer de vous
aussi. Au matin c'est moi; à demain à
midi c'est vous: en attendant recevoir
Monsieur mon compliment et mon
amour.
Monsieur
Le Grand

Письмо Е. К. Воронцовой к В. Г. Теплякову.

que depuis la naissance de ce monde il n'y a eu
ni sage ni sagesse. Deux points qui se laissent toujours
comme cela: le deux grands infans se
tout est relatif dans le monde, ont grande
cognition et en belles, — J'espère surtout en
à 10 jours pour me reposer un peu et puis
de bonjour que je ne puis avoir un
complet autre part: — Mon cœur s'étant
un peu fatigué à Moscou, qu'on appelle
avec raison l'âme de la capitale: en route il
s'est reposé parfaitement quoique le deux

Письмо Е. К. Воронцовой к Н. М. Лонгинову.

Société ne vise d'inciter la curiosité et d'utiliser les plaisirs.
— Une pensée littéraire a été entre autres jetée en avant:
cette pensée a pour de la consistance, par l'impression
qu'on a mis à la développer, à la soutenir... Un Almanach
au profit des pauvres a mérité l'approbation des personnes
influentes par leur propre secours ou par celui de leur amis.
Le ^{Principale} ~~le~~ Almanach ^{de} quel je prends la liberté de vous envoyer des
~~programmes~~ vous dira Monsieur comment il sera composé.

Quoique tant de personnes appellent maintenant l'atten-
tion de nos braves renommées littéraires pour rendre plus
riches le Théâtre de l'Opéra, comment aurais-je pu, ne
pas reconnaître le souvenir que vous nous avez peut-être consacré
encore de nos anciens supports d'amitié et ne pas vous en
demander au nom de ce souvenir, l'appui et la Protection
que donnera à notre Glaucous votre précieux talent; —
Veuillez donc ne pas en vouloir trop et si j'en de me de
plaire ma cause, dites vous je vous en prie pour savoir
mon impuissance et mon retour au pays, que la sienne
est la richesse de la vieillesse et que votre ancienne con-
science attaché un grand prix à sa sagesse.

Reçois Monsieur mes compliments les plus empressés
Odessa le 26 Décembre
1833.

E. Vibelman

Je prends la liberté, mon cher Longuinoz,
de vous recommander le porteur de cette lettre
M. le Docteur Papandopoulos, qui vous a été
recommandé par l'amiral Nicod sans
coup niens en core. Je profite de l'occasion
pour me rappeler à votre souvenir, je l'aurais
fait plus longuement, mais je suis indis-
posé depuis quelques jours, et je dois me
boucher pour cette fois à vous réitérer l'as-
urance de mon inviolable attachement.

12 Février

1834

R. Edling

Вибельман было написано Роксандрой Скарлатовной Эдлинг, рожденной Стурдза, одной из главных руководительниц дамского кружка в Одессе, предпринявшего в 1833 г. издание альманаха для бедных, о котором идет речь в этом письме. Однако и аргументы Э. Бориневич-Бабайцевой, опирающиеся на мнение М. П. Алексеева, также не могут быть признаны окончательно убедительными, оставляя много неясных, недоуменных вопросов.

Не вдаваясь в критическое рассмотрение ранее высказанных гипотез, постараемся разъяснить вопрос, подойдя к нему с иной стороны, чем все предыдущие исследователи, — не от общих биографических предпосылок, а от некоторых объективных документально-палеографических данных.

Прежде всего, трудно предположить, чтобы это письмо с зашифрованной подписью было писано не лично его автором, а каким-либо другим лицом. Во-первых, если автор зашифровал свое имя, значит он не хотел подвергать широкой огласке самый факт своего обращения к Пушкину, во-вторых, он рисковал быть неузнанным и самим Пушкиным, которому ничего бы не сказал чужой, незнакомый почерк. Между тем такое предположение нигде не высказано в письме даже и намеком. Автор твердо уверен, что Пушкин сразу узнает, от кого письмо, и дважды ссылается на свои прежние дружеские с ним отношения, во имя которых и просит у него подарок для альманаха в пользу бедных. При таких условиях естественно обратиться к сличению почерков.

Если мы сравним почерк Р. С. Эдлинг с почерком письма Вибельман, то окажется настолько резкое различие их общего характера, что ни о каком дальнейшем детальном сопоставлении говорить не придется (см. фотографии).

При сравнении же почерка Вибельман с автографами графини Е. К. Воронцовой сразу бросается в глаза разительное сходство их общей манеры — тот же наклон строк и букв, те же начертания, тот же росчерк с двумя точками. При детальном анализе оказываются и некоторые специфические особенности, общие для Вибельман и Воронцовой: во втором лице множественного числа и Воронцова и Вибельман систематически пишут в окончании *es* вместо *ez*; сочетание *ss* обеими постоянно пишется с удлинненным первым *s*; *h* одинаково спускается под строку; слово Киев у обеих имеет транскрипцию „Kioff“. В сплошном французском тексте письма Вибельман вкраплено несколько отдельных русских слов — „подарок бедным“ и „Анна Петровна“; такие вставки, особенно имен, обычны в письмах Воронцовой (напр. в письмах ее к Н. М. Лонгинову, из собрания Пушкинского Дома, постоянно встречается: „*mon cher* Николай Михайлович“). Сличая русский почерк Вибельман с русскими вставками в письмах Воронцовой, мы снова обнаружим их общую манеру, несколько отличную от французской. Русский почерк более старинный, приближающийся к уставу (ср. фотографии). Все эти детали позволяют утверждать, что

письма Вибельман и письма Воронцовой писаны одной рукой. Орфография письма Вибельман, далеко не правильная и чрезвычайно неустойчивая, на которую с некоторым недоумением указывает Бориневич-Бабайцева, при-
суца также и всем письмам Е. К. Воронцовой.

Наконец бумага, на которой писано письмо Вибельман, датированное 26 декабря 1833 г., имеет водяной знак „Middelton et Hodckinsons 1820“ на втором листе и марку „Bath Superfine“ в левом верхнем углу на первом листе; на той же бумаге писаны в 1833 и 1834 гг. письма Е. К. Воронцовой к Виктору Григорьевичу Теплякову (Архив Пушкинского Дома).

Остановимся теперь на подписи. Начертания ее не производят впечатления связно написанной фамилии, а скорее набора букв. Б. В. Томашевский высказал остроумное предположение, которое мне представляется вероятным, что здесь мы имеем дело с комплексом букв, поставленных в разбивку, из которых при другой расстановке должно сложиться подлинное имя автора. Если мы попробуем это сделать, то, переставив буквы и использовав два алфавита — и французский и русский, — получим подпись Elisabeth W.¹

Таким образом, анализ палеографических данных склоняет к убеждению, что автором письма была Е. К. Воронцова. Приняв это как гипотезу, посмотрим, не противоречит ли ей содержание письма.

Графиня Е. К. Воронцова была председательницей дамского кружка, предпринявшего издание альманаха в пользу бедных, а потому, естественно, более чем кто-либо другой и, во всяком случае, не менее Р. С. Эдлинг, была заинтересована в получении материалов для его украшения.

В приписке к письму говорится: „Devant faire bientôt un voyage à Kioff“; в „Одесском Вестнике“ 1834 г. имеется сообщение о возвращении графа М. С. Воронцова с супругой из поездки в Киев.

Упоминание об Иване Осиповиче Потоцком (Jean Potocki) и о стараниях получить рукопись его работы у членов его семьи („la famille ne la possède plus“) вполне естественно для Е. К. Воронцовой, находившейся в близких родственных отношениях с семьей Потоцких: ее сестра Софья Ксаверьевна была замужем за сыном Ивана Осиповича Потоцкого Артуром, а муж Елизаветы Ксаверьевны, граф Михаил Семенович Воронцов, был опекуном одной из племянниц Ивана Осиповича Потоцкого, дочери его брата Северина.

Таким образом, анализ содержания не только не противоречит предположению, что автором письма была Е. К. Воронцова, но дает еще новые дополнительные данные в его пользу.

Отношения Пушкина к Воронцовой, ревниво затушеванные самим поэтом, до последнего времени оставались неясными.

¹ Разметим буквы, входящие в подпись E. W i b e l m a n s, номерами и переставим их, учитывая при этом и графическое сходство начертаний „h“ и „n“: E l i s a b e t h w.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 6 3 10 8 4 5 7 9 2

Считается более или менее твердо установленным, что к ней относятся стихотворения „Сожженное письмо“ (1824 г.), „Талисман“, „Ангел“ (оба 1827 г.) и, по очень вероятному мнению некоторых биографов Пушкина, — „Ненастный день потух“ (1824 г.).

В черновых тетрадах одесского периода Пушкин часто чертил строгий профиль с наклоненною головою, в котором современники узнавали изображение Воронцовой. Тот же профиль иллюстрирует и стихотворение „Ангел“.

П. В. Анненков пишет, что после приезда Пушкина в Михайловскую ссылку „мысль его постоянно живет не в Тригорском, а где-то в другом далеком недавно покинутом крае. Получение письма из Одессы всегда становится событием в его уединенном Михайловском. После XXXII строфы 3-й главы «Онегина» он делает приписку: «5 сентября 1824 года — une lettre de ***». Сестра поэта, О. С. Павлищева, говорила нам, что когда приходило из Одессы письмо с печатью, изукрашенною такими же кабалистическими знаками, какие находились и на перстне ее брата — последний заперался в своей комнате, никуда не выходил и никого не принимал к себе. Памятником его благоговейного настроения при таких случаях и осталось стихотворение «Сожженное письмо»¹ — „Прощай, письмо любви, прощай! она велела...“

Здесь мы имеем и объяснение, почему до нас не дошло писем Воронцовой к Пушкину 1820-х годов; боясь огласки, она, повидимому, взяла с него слово немедленно их уничтожить. Вероятно уже в это время была изобретена и условная шифрованная подпись, с тем, чтобы если случайно письмо попадет в чужие руки, оно не было сразу опознано.

Почти через десять лет, в конце 1833 г., Воронцова обращается к Пушкину с просьбою помочь ей в начатом ею предприятии, помочь во имя прежних отношений, во имя памяти прошлого: „dites vous je vous en prie pour excuser mon importunité et mon retour au passé, que la mémoire est la richesse de la vieillesse et que vôtre ancienne connaissance attache un grand prix à sa richesse.“

По свидетельству П. И. Бартенева, „Воронцова до конца дней сохраняла о Пушкине теплые воспоминания и ежедневно читала его сочинения, когда зрение окончательно изменило ей, она приказывала читать себе вслух“².

Письмо Вибельман-Воронцовой 1833 г. связывает разрозненные прежде факты, укрепляет казавшиеся шаткими свидетельства мемуаристов, вносит новый штрих в биографию Пушкина.³

¹ П. В. Анненков. „Пушкин в Александровскую эпоху“, 1874, стр. 282—283.

² Сб. „Пушкин“, II, стр. 97—98.

³ Пушкин ответил на письмо. Данные об этом несохранившемся письме см. в статье Ю. Г. Оксмана в „Сборнике статей к сорокалетию ученой деятельности акад. А. С. Орлова“, Л., 1933, стр. 447.



ЛЕОНИД ГРОССМАН

ДОКУМЕНТЫ О ГЕККЕРНАХ*

1. ГОЛЛАНДСКИЙ ПОСЛАННИК

Среди держав, представленных полномочными посольствами в Петербурге 30-х годов, Голландия была одной из наименее значительных. Население страны немногим превышало два с половиной миллиона. Только что, после революции 1830 г., произошло отделение Бельгии, утвержденное державами на Лондонской конференции, что чрезвычайно снижало международный престиж Нидерландов. Маленькое государство, с скромнейшим бюджетом, не имело возможности содержать богатые представительства при европейских дворах, и голландское посольство в Петербурге носило весьма скромный характер. В отличие от французской или английской миссий, занимавших целые дворцы поблизости от Зимнего, барон Геккерн снимал для своего посольства обыкновенную квартиру в доходном доме на Невском проспекте, где и жил в непосредственном соседстве с канцелярией и архивом. В отличие от представительств великих держав, содержащих многочисленных секретарей, атташе, советников, драгоманов, консулов, переводчиков и дипломатических курьеров, голландское посольство было крайне малочисленно по своему составу. Ни о каких больших приемах, балах и раутах, которыми в течение сезона щеголяли такие послы, как лорд Дёрам, пэр Франции Барант, или представитель Австрии граф Фикельмон, не сообщает нам петербургская хроника 30-х годов в отношении голландского посольства. Само помещение его, в доме Влодека на Невском проспекте № 51, нисколько не соответствовало обстановке и масштабам дворцовых празднеств николаевского Петербурга. Для устройства описанных Пушкиным „олигархических бесед“ требовались крупнейшие ассигновки на представительство, в которых Оранская династия была вынуждена отказывать своему официальному делегату к царскому двору. На свой посольский оклад Геккерн¹ не только

¹ У нас установилось неправильное начертание фамилий обоих Геккернов: Геккерен, Дантес. Между тем фамилия Heeskegen произносится, как и фамилия Verhaegen, с опущением гласной в последнем слоге: не Верхарен, а Верхарн, не Геккерен, а Геккерн.

не мог собирать за своим столом петербургский кабинет и дипломатический корпус, но едва ли бы сам мог принимать заметное участие в той праздничной жизни царской столицы, в которой он играл весьма видную роль. Необходимо отметить при этом, что голландский посланник не обладал крупным родовым или личным состоянием. При наличии его он, конечно, не стал бы в момент катастрофы ссылаться в письме к своему министру Ферстольку на „крайнюю ограниченность“ своих личных средств, что впрочем было бы и невозможно при полной осведомленности правительства о материальном положении своих официальных представителей. Барон Геккерн отнюдь не был послом для почета и славы, он был настоящим чиновником, служившим своему правительству прежде всего в силу необходимости нести государственную службу.

По своему происхождению голландский дипломат вполне принадлежал к той „международной аристократии“, из круга которой вербовались в то время полномочные представители к таким дворам, как русский.

В своих записках Нессельроде, начинавший дипломатическую деятельность в Голландии, называет среди виднейших представителей нидерландской аристократии и род Геккернов. Они принадлежали к консервативной партии „оранжистов“, т. е. сторонников Оранской династии, относившихся с презрением и ненавистью к народной партии республиканцев. В то время „в Гааге поселены были многие оранжистские фамилии, как например, Виланды, Васернеры, Геккерны, Вандерштали. Семейства эти составляли основу хорошего общества: дипломатический корпус имел в них сильную поддержку“.¹

Род Геккернов был древен, обширен и многоветвист. Помимо ветви Бефервардов, к которой принадлежал петербургский представитель, были еще Геккерны фан-Бранденбург, фан-Энгизен, фан-Келль, фан-Молекатен, фан-Неттельгорст, фан-Родерло, фан-Сюидерас, фан-Валлен. Сведения о некоторых представителях рода восходят к XIII в. Среди них имелись епископы, воины, землевладельцы, бургомистры, адмиралы, ученые, врачи, кураторы университетов, послы, придворные.² Один из них — Ян фан-Геккерн (1774—1803) из Амстердама — учился на медицинском факультете

Пушкин совершенно правильно утверждал, что „имена собственные следует переводить как можно звукоподражательнее“ („Книга воспоминаний о Пушкине“, „Мир“, М., 1931, стр. 360), и сам всегда писал, как очевидно и произносил, Heckern. „Le baron d'Heckern vint chez moi et accepta un duel pour m-r d'Anthès...“ (Письмо Пушкина 21 ноября 1836) и в дневнике 28 ноября 1833 г.: „Эккерн удивляется смелости применений...“ Еще менее правильно слитное начертание приставки и фамилии d'Antès, что также противоречит безошибочному обозначению Пушкина: „Барон д'Антес и маркиз де Пина, два шуана...“ В немецких документах мы находим даже фон Антес (Joseph-Congrad von Antes; см. доверенность Жоржа-Шарля д'Антеса от 6 сентября 1834 г.; Архив 6. Министерства иностранных дел).

¹ „Русский Вестник“, 1865, кн. X, стр. 531.

² „Nieuw Nederlandsch biografisch Woordenboek onder redactie von Dr. P. C. Molhuysen, Prof. Dr. P. J. Blok en Dr. Fr. K. H. Kosemann“, Leiden, 1930, VIII, p. 709—786.

в Лейдене и в 1797 г. получил степень доктора; он состоял секретарем медицинского управления в Амстердаме и, несмотря на раннюю смерть, оставил целый ряд исследований.¹ Другой, Фальрафен фан-Геккерн, изучал в Лейдене литературу в 1758 г., что свидетельствует и о некоторых культурных традициях рода, быть может сказавшихся и на художественном коллекционерстве покровителя д'Антеса. Отметим, в целях наиболее полной характеристики, что русский посланник в Голландии в начале XX в. Н. В. Чарыков собрал ряд сведений о „пушкинском“ Геккерне от некоторых лиц, проживавших в то время в Гааге и лично знавших барона (скончавшегося лишь за 20—25 лет перед тем). „Все отзываются о нем, как о человеке выдающегося ума и дипломатических дарований. Пробыв некоторое время после отозвания из С.-Петербурга не у дел, он был назначен нидерландским посланником в Вену, где и пробыл непрерывно до 1870-х годов, пользуясь там совершенно исключительным по своей влиятельности положением. Лица, близко знакомые с бароном Геккерном, говорят о нем как о крайнем скептике и неразборчивом на средства дипломате. Однако его донесения из Вены были настолько интересны, что его оставили на этом посту до глубокой старости“.² Из того же весьма авторитетного источника мы знаем, что Геккерны-Бефервард владели родовым имением в провинции Утрехт, близ местечка Дриберг. „Род баронов Геккерен, один из древнейших в Нидерландах, владел этим имением еще на аллодиальном (саксонском) праве до введения здесь феодальных учреждений. Один из предков Геккерна (может быть его отец) подписал, в числе других нидерландских уполномоченных, акт присоединения Голландии к системе вооруженного нейтралитета императрицы Екатерины II... Вообще род баронов Геккерен, хотя и очень древний, но не богатый, так что известные упоминания Геккерна об ограниченности его средств не представляются преувеличенными“.

Последнее обстоятельство вероятно объясняет, почему Геккерн не придерживался в своей деятельности известного предписания Талейрана к своим сослуживцам и подчиненным: „только поменьше усердия, господа!“ Голландский посланник выполнял свои обязанности с чрезвычайной тщательностью, всячески стремясь заслужить расположение всероссийского суверена и занять выдающееся положение в придворных кругах. При его несомненном уме, ему это в значительной степени удалось достигнуть. В начале 30-х годов представитель скромной Голландии был весьма заметным членом петербургского дипломатического корпуса. Некоторая интимная близость Геккерна к русскому двору, вследствие того, что род-

¹ „Biographisches Lexikon der hervorragenden Ärzte aller Zeiten und Völker“, Berlin, 1931, III, p. 116—117.

² Н. Чарыков. „Известия о дуэли Пушкина, имеющиеся в Голландии“, „Пушкин и его современники“, вып. XI, стр. 71—72.

ная сестра Николая I Анна Павловна была женою голландского наследника престола — принца Оранского, несомненно способствовала этому. Во время своих поездок в Гаагу Геккерн становился отчасти и семейным посредником двух царствующих „домов“, о чем свидетельствуют личные аудиенции голландскому послу Николая I на другой же день по его возвращении из-за границы. Это был представитель родственной „фамилии“, к которому царь относился с особенным благоволением.

Высокое положение посланника нисколько не соответствовало уровню его моральных качеств. Общее мнение категорически осудило его роль в дуэльной истории. Даже его покровитель и друг Нессельроде, в первое время после поединка бывший на его стороне, но затем резко изменивший свое суждение (быть может в связи с позицией царя), замечал в письме к Мейендорфу от 28 декабря 1840 г., что Геккерн „на все способен: это человек без чести и совести; он вообще не имеет права на уважение и нетерпим в нашем круге. Величайшей ошибкой короля было бы предоставление ему важного поста“. Характерно и то чувство вражды, которое до конца жизни питала к нему вдова Пушкина.¹ Но до самой дуэльной истории Геккерн неизменно пользовался в петербургском обществе и при дворе всеобщим признанием и почетом. Несколько неопубликованных документов о награждении Геккерна орденом Анны 1-й степени дают представление об отношении к нему Николая I.

Воспроизводим текст копии „высочайшей грамоты на орден“, пожалованный отъезжающему послу:

Божией милостью мы, Николай Первый, император и самодержец всероссийский и прочая, и прочая, и прочая.

Королевскому Нидерландскому чрезвычайному посланнику и полномочному министру барону Геккерну.

Желая ознаменовать особенное наше к вам благоволение, пожаловали мы вас кавалером ордена св. Анны первой степени. Препровождая при сем орденские знаки, пребываем к вам благосклонны.

Подлинная подписана собственною его императорского величества рукою тако: Николай. В Александрии близ Петергофа. Июля 15 дня 1833 г.

На следующий же день Нессельроде обратился к канцлеру российских императорских и царских орденов А. Н. Голицыну с особым отношением. Воспроизводим его по черновику, сохранившемуся в деле.

Кн. Голицыну от гр. Нессельроде 16 июля 1833, № 5290.

М. Г.! князь Александр Николаевич!

Имею честь препроводить при сем к вашему сиятельству высочайшую грамоту о пожаловании пребывающего здесь нидерландского чрезвычайного посланника и полно-

¹ См. воспоминания ее дочери А. П. Араповой, „Новое Время“, 1907, № 11416.

мочного министра барона Геккерна кавалером св. Анны 1-й степени, покорнейше прося вас, М. Г., по контрасигнированию сей грамоты и приложении к ней орденской печати, возвратить мне оную, доставив при том и следующие означенному кавалеру орденские знаки.

Очевидно, после отправки этого письма выяснилось, что Геккерн отъезжает безотлагательно, вследствие чего и последовала вторая просьба прислать орден и вернуть грамоту „в течение завтрашнего утра“.

Капитул „российских императорских и царских орденов“ с максимальной точностью выполнил „просьбу“ вице-канцлера, и „экспедиция ордена св. Анны“ на другое же утро направила в министерство иностранных дел знаки отличия и почетные дипломы.

В тот же день, 17 июля 1833 г., Нессельроде, направляя Геккерну орден, патент и статуты известил его письмом:

Е. в. император желая выразить вам по случаю вашего отъезда свидетельство своего высокого благоволения и того удовлетворения, которое доставила ему отличная манера, с которой вы выполняли в течение вашего пребывания в этой столице функции, возложенные на вас вашим августейшим повелителем, возвел вас в степень кавалера и проч.

Эта поездка Геккерна в заграничный отпуск предопределила перелом в его дипломатической службе и катастрофически отразилась на биографии Пушкина. Закончив свое кратковременное пребывание на родине, Геккерн на обратном пути в Россию знакомится с Жоржем д'Антесом, в обществе которого он и возвращается в Петербург.

Открывалась новая эпоха в жизни голландского посланника. Размеренное и рассчитанное существование дальновидного карьериста сдвинулось с прочных устоев его великосветского быта. Если и раньше Геккерну приходилось подчас прибегать к особым статьям дохода, теперь он видимо теряет чувство меры в обращении к этим чрезвычайным источникам обогащения.

Недостаток в наследственных рентах и крупных окладах „больших“ послов, при извращенных инстинктах посланника, требовавших крупных средств для своего удовлетворения, рано заставил фан-Геккерна обратиться к одной из традиционных национальных добродетелей: к торговле. Сохранившаяся в архивах министерства иностранных дел объемистая папка с документами „о пропуске через таможенную вещь привезенных из-за границы на имя нидерландского посланника барона Геккерна“ обстоятельно и красноречиво повествует о его широкой деловой оборотистости и выдающейся коммерческой сноровке.

Задолго до драмы 1837 г., в самый год женитьбы Пушкина, правительство обращает впервые внимание на явные нарушения голландским посланником Геккерном установленных таможенных правил. Департамент внешней торговли министерства финансов обращается 19 марта 1831 г. в государственную коллегия иностранных дел с отношением.

Министерство Финансов
Департамент
внешней торговли
Отделение I, стол 3
19 марта 1831 года
№ 5253

О непредставленных к досмотру 2 ящиках провезенных из заграницы на имя нидерландского посланника барона Геккерна.

В Государственную Коллегию Иностранных Дел.

Проежавший из заграницы, чрез Полангенскую таможду 5 генваря сего года, служитель нидерландского посланника барона Геккерна, Виктор Поентен, имел при себе адресованные на имя сего посланника два ящика, в коих весу было брутто 2 пуда, 24 фунта и 48 золотников. Полангенская таможда, запломбировав сии ящики, выдала обратно помянутому Поентену под обязательство представить оные к досмотру в С.-Петербургскую таможду.

А как означенных ящиков и по сие время в С.-Петербургскую таможду не представлено, то Департамент внешней торговли покорнейше просит Государственную коллегию иностранных дел снести с господином нидерландским посланником, чтобы ящики сии по данному служителя Поентеном обязательству, для снятия с оных пломб и узаконенного досмотра представлены были в С.-Петербургскую таможду. О последующем же не оставить департамент уведомлением.

Директор [подпись]

Управляющий отделением [подпись]

Выполняя просьбу департамента внешней торговли министерства финансов, вице-канцлер Нессельроде обратился 28 марта 1831 г. к посланнику Геккерну с соответственным отношением, в котором между прочим ссылался на регламент о получении заграничных товаров дипломатическим корпусом от 2 июня 1822 г. Проект этой ноты („*Projet de Note au b-on de Heeckeren*“) на французском языке сохранился в деле.

Только через две недели последовал ответ Геккерна на полученный запрос.

Нижеподписавшийся чрезвычайный и полномочный посланник его величества короля Нидерландов имеет честь известить его сиятельство господина графа де-Нессельроде, вице-канцлера империи, в ответ на его ноту от 28 марта с. г., что два упомянутых в ней ящика были посланы из Митавы, пока г. Виктор Поентен был задержан там полицейскими формальностями, о чем императорское министерство было извещено и каковое обстоятельство оно впоследствии соизволило устранить. Нижеподписавшийся, получив указанные ящики без извещения, которое предупредило бы его об учинении законного досмотра, каковому они еще подлежали, распорядился о раскрытии их в своем доме, и только из вышеназванной ноты он узнал, что на них были наложены пломбы. Не имея поэтому возможности удовлетворить желание департамента внешней торговли и сожалая о допущенной ошибке он (нижеподписавшийся) торопится по крайней мере присоединить к настоящему письму подлинны накладные о содержимом обоих ящиков, в которых находились лишь предметы одежды для его личного пользования.

Нижеподписавшийся пользуется случаем, чтоб возобновить перед его сиятельством господином графом де-Нессельроде уверение в своем глубочайшем уважении.

Б. де-Геккерн

С.-Петербург 10/22 апреля 1831 г.

Его сиятельству господину графу де-Нессельроде.¹

Ответ Геккерна был весьма неудовлетворителен. Официальное лицо, он отзывается незнанием юридического акта, на который ссылается.

¹ Оригинал на французском. Канцелярская помета: № 2650—10 апреля 1831 г.

вице-канцлер (о правилах получения представителями дипломатического корпуса заграничных отправлений), ожидая для себя почему-то особого напоминания; вскрыв запломбированные таможенной ящики, он считает возможным оправдаться незнанием факта наложения пломб на полученные им товары, распечатанные на его квартире; наконец, вместо казенных накладных он представляет государству обыкновенные счета своих поставщиков, никакого официального значения не имеющие. Лишенные всякого делового смысла, документы эти представляют интерес лишь для позднейших исследователей пушкинской эпохи, рисуя быт общества, в котором вращался под конец жизни поэт. Они выясняют стоимость тогдашнего модного обихода и отчасти иллюстрируют запечатленный Пушкиным „уединенный кабинет“ 20-х — 30-х годов, „где мод воспитанник примерный“ собирал перед своими зеркалами —

Все, чем для прихоти обильной
Торгует Лондон щепетильный
И по балтийским волнам
За лес и сало возит нам,
Все, что в Париже вкус голодный,
Полезный промысел избрав,
Изобретает для забав,
Для роскоши, для неги модной...

Это счета различных поставщиков бальзаковского Парижа — башмачника Мосс с улицы дю-Тур Сен-Жермен, „брючника и перчаточника короля“ Жереля с улицы Эшель Сент-Оноре, „парфюмера их королевских высочеств“ Шардена Убигана, торгующего под фирмой „У цветочной корзины“ на улице Фобур Сент-Онорэ, портного Мишелю, имеющего магазин сукна на улице Вивьен, и пр.

Получив эти сведения, которые никакой проверке не могли подлежать и решительно ничего не доказывали, коллегия иностранных дел ограничилась пересылкой в департамент внешней торговли копии с ответа Геккерна о порядке получения из двух запломбированных ящиков вместе с „присланными нидерландским посланником реестрами вещей, кои заключались в вышеупомянутых ящиках“.

Министерство финансов было вынуждено удовлетвориться полученными сведениями. Этим дело и ограничилось.

Но, получив урок, Геккерт стал осторожнее. Отныне он испрашивает специальные разрешения на беспошлинный ввоз получаемых им товаров. Уже 28 июля (9 августа) 1831 г. он обращается в департамент внешней торговли с сообщением о выписанных им из Амстердама 75 кувшинах анисового ликера (75 cruches d'anisette) „для собственного своего употребления“. Через год 4/16 июня 1832 г. он снова обращается с просьбой „о беспрепятственном пропуске через здешнюю таможню двух ящиков, заключающих в себе 75 бутылок ликеру“, а также двух тюков и одного

ящика „с оружием и другими редкостями индейскими“, которые отправлены из Амстердама на „голландском коммерческом корабле La Pauline, шкипер И. Гейкерс“. Полтора месяца спустя, 21 августа 1832 г., подается аналогичное заявление „о двух небольших ящиках, из коих в одном 30 фунтов сыру, а в другом 18 серебрянных десертных ложек, две серебрянных солонки, три банки с горчицею, 24 фунта конфетов, 12 склянок парагвайского бальзама и 10 кувшинов вишневого водки (Kirschwasser)“. 16/28 сентября 1832 г. — новое заявление о ящике с оружием и другими редкостями, „отправленными из Амстердама на голландском купеческом корабле «Лизетта-Каролина»“. 18/30 октября 1832 г. просьба не вскрывать в таможене, а произвести на квартире посланника досмотр „двух ящиков с хрустальными, фарфоровыми и серебрянными вещами, которые ему привезены будут для собственного его употребления на имеющем прибыть из Лондона английском корабле «Union», шкипер James Vine“. 4/16 января 1834 г. Геккерн просил Нессельроде распорядиться о выдаче полангенской таможеню его доверенному Иоганну-Давиду Герле ящика с различными предметами одежды, 6 рисунками, золотой рамой и пуншевым кубком с серебрянным подносом.

Стеснительность этих непрерывных просьб, вызывавших переписку между несколькими министерствами, побудила Геккерна прибегнуть вскоре к другой системе. На этот раз он вспомнил те самые „утвержденные 22 июня 1822 года правила о провозимых к дипломатическим особам из-за границы вещах“, которые он так легко игнорировал, когда они противоречили его коммерческим интересам. В марте 1833 г. он обратился к Нессельроде с следующим заявлением.

С.-Петербург 2/14 марта 1833 г.

Господин граф!

В виду истечения сегодня десятилетнего срока с момента, как я имел честь быть аккредитованным к русскому двору, я обращаюсь с просьбой к императорскому Власти о предоставлении мне льгот, даруемых членам дипломатического корпуса.

Разрешите же мне, господин граф, прибегнуть по этому поводу к доброму расположению вашего сиятельства, дабы оно любезно соизволило отдать таможене необходимые распоряжения для свободного пропуска вещей, на какие это преимущество дает мне право.

Я тороплюсь воспользоваться этим случаем, чтоб возобновить перед вашим сиятельством уверение в моем глубочайшем уважении.

Б. де-Геккерн.

Его сиятельству господину графу Нессельроде, вице-канцлеру империи.

Соответственное предоставление прав, разумеется, последовало. На черновике отношения Нессельроде к Канкрину имелась следующая справка: „Барон Геккерн, по отъезде отсюда Нидерландского посланника Г. Верстолка фан-Зелена, вступил в отправление должности поверенного в делах 26 марта 1823 года; кредитивную же грамоту на звание послан-

ника представил 26 марта 1826 года. А потому и имеет право воспользоваться преимуществом“ и пр. 25 июля 1833 года Канкрин извещает вице-канцлера, что им „сделано по таможенному ведомству надлежащее распоряжение“.

Тем не менее льготы предполагали каждый раз особое заявление адресата, так как бумаги от Геккерна продолжали поступать в иностранную коллегию, отчетливо рисуя общую картину движения товаров из иностранных фирм в голландское посольство. Здесь и партия „серебряных, фарфоровых и хрустальных вещей“ (29/17 июня 1833) и „небольшой ящик с принадлежащими к одежде вещами, привезенными из Гавра на французском корабле «Эдмонд»“ (1/13 августа 1833), и 6 штук материи для обивки кареты и мебели, и богемское стекло, и английский фаянс. Вскоре впрочем произошел новый инцидент.

19-го августа 1833 г. департамент внешней торговли сообщал министерству иностранных дел, что „на пароходе «Александра» привезен на имя г. нидерландского посланника барона Геккерна один ящик под знаком HBV, H № 1 и что по досмотру сего ящика при доверенном от г. посланника оказались в нем 99 кусков белого льняного полотна для скатертей и салфеток и 137 штук салфеток таковых же необрубленных новых весом всего на лицо 13 пуд. 30 фун.: к провозу по действующему ныне тарифу запрещенных, кои оставлены в таможе впредь до разрешения“. Смущенный департамент, „не решаясь выпустить столь значительное количество полотна и салфеток“, просил разъяснений министерства иностранных дел. Последовало разъяснение Нессельроде о беспрепятственной выдаче ящика Нидерландской миссии.

Через месяц новое недоразумение. 29 сентября 1833 года все тот же департамент извещает министерство иностранных дел, что в новом ящике, привезенном на имя Геккерна, „оказались следующие запрещенные к привозу вещи: 2 вазы, 5 графинов, 3 дюжины блюд чайных, 3 молошника; 3 сахарницы, 3 чайника, 2 чайницы, 1 корзинка, 2 тарелки десертные с поддонниками, 1 солонка, 2 поддонника, 3 подноса, все фарфоровые с живописью и позолотою, 4 стакана хрустальные разноцветные с украшением, 1 кувшин хрустальный для сельтерской воды с украшением, 1 рюмка таковая же большая, 4 вазы аплике и позволенный к привозу 1 кувшин фаянсовый одноцветный“. Последовало снова разъяснение о беспрепятственной выдаче.

Но после сближения фан-Геккерна с его случайным попутчиком д'Антесом размеры торговых оборотов посланника заметно расширяются. Особенно широкий приток товаров в Голландскую миссию был вызван длительным путешествием Геккерна по Европе в 1835—1836 годах. Годовое отсутствие голландского посланника из Петербурга (с июля 1835 по май 1836 г.) должно быть учтено и для биографии Пушкина.¹ За этот год,

¹ См. письмо Геккерна к Нессельроде из Парижа от 19 февраля 1836 г.

разъезжая по разным странам, Геккерн не переставал приобретать вещи, которые к моменту отправления представляли собою 12 ящиков, оцененных им в 10 000 рублей. Представленная опись перечисляет различную серебряную, хрустальную и фарфоровую посуду в необыкновенном количестве, древние японские вазы, античную утварь, индийские портсигары, художественную бронзу, картины в рамах, громадные запасы разнообразных вин — рейнского, шампанского, — часы, мебель, статуи, экраны.

Количество и разнообразие получаемых Геккерном товаров, при непрерывной систематичности этих получений, не оставляют сомнений в торговых целях их выписки. Если принять во внимание, что голландский посланник не имел семьи и не устраивал больших приемов, этот непрерывный приток в его квартиру всевозможных предметов роскоши не может быть объяснен одними его коллекционерскими склонностями. Приходится заключить, что представитель Оранского дома при дворе Николая I широко усвоил методы торгового обогащения своих предприимчивых соплеменников, колонизировавших некогда побережье Азии. И если грузооборот его миссии, столь смущавший Петербургский департамент внешней торговли, не достиг еще больших размеров, то произошло это единственно из-за невозможности для Геккерна уверить контролирующие инстанции, что запасы беспошлинных товаров, предназначенные для петербургских негоциантов, поглощались исключительно „личными потребностями“ самого голландского посланника.

К середине 30-х годов потребность Геккерна в средствах значительно повышается. Происходит официальное усыновление д'Антеса, равнозначнее законному браку. Эпизод этот, интересовавший биографов Пушкина, уже был освещен архивными материалами. Документы об усыновлении Геккерном д'Антеса, которому он передает „свое имя, свой титул и свой герб“, опубликованы в книге Н. А. Гастфрейнда „Пушкин. Документы Государственного и С.-Петербургского главного архивов Министерства иностранных дел, относящиеся к службе его 1831—1837 гг.“, СПб., 1900.

Но публикатору этих материалов остался неизвестным один из важнейших документов дела об усыновлении — сообщение управляющего военным министерством вице-канцлеру о докладе дела царю и о „высочайшей“ резолюции. Бумага сохранилась в архивах министерства иностранных дел.

Министерство
военное
Департамент
инспекторский
Отделение I
Стол 4
Санктпетербург
4-го июня 1836 года
№ 4620

Господину вице-канцлеру.

Государь император по всеподданнейшему докладу его императорскому величеству отношения вашего сиятельства № 3799, высочайше соизволил на изъясненную в оном просьбу пребывающего в С.-Петербурге нидерландского посланника барона Геккерна об усыновлении им поручика барона Георга Карл д'Антеса, с тем чтобы он именован был впредь вместо нынешней фамилии: бароном Георгом Карлом Геккерном.

О таком монаршем соизволении имею честь уведомить вас, милостивый государь, привоскопляя, что об оном донесено Правительствующему Сенату и его императорскому высочеству командиру отдельного гвардейского корпуса.

Управляющий Военным министерством
генерал-адъютант [подпись] *Адлерберг*.

Исправляющий должность вице-директора [подпись].¹

Это был зенит петербургской карьеры Геккерна.

Наступало лето 1836 г., чрезвычайно осложнившее взаимоотношения его семьи с семейством Пушкиных-Гончаровых и уже осенью открывшее дуэльную эпопею, завершённую 27 января.

Менее чем через год после усыновления голландским посланником поручика кавалергардского полка первый из них получил вынужденную отставку без нового назначения, а второй был разжалован в солдаты после отмененного приговора о повешении.

К этому моменту благожелательное отношение Николая I к голландскому представителю резко меняется.

Николай, как известно, отказал Геккерну в аудиенции, которой тот усиленно добивался в надежде оправдаться перед царем и сохранить свой пост в Петербурге. Он усугубил удар, распорядившись о выдаче Геккерну „прощальной“ табакерки, хотя посланник не был отозван своим правительством и официально уезжал только в отпуск.

Приведем неизданные документы из дела „О пожаловании отъезжающему отсюда нидерландскому посланнику барону Геккерну золотой украшенной бриллиантами табакерки с портретом его императорского величества в 12 000 рублей“.

Князь Волконскому. От вице-канцлера № 1982. Марта 30 дня 1837.²

М. Г. князь Петр Михайлович!

Государь император всемилостивейше пожаловать соизволил отъезжающему отсюда нидерландскому посланнику барону Геккерну золотую украшенную бриллиантами табакерку с портретом его величества в двенадцать тысяч рублей.

Во исполнение монаршей воли покорнейше прося вашу светлость прикавать доставить мне таковую табакерку, имею честь быть.

На следующий же день последовал ответ.

Кабинет
его императорского
величества
Отделение 2
Стол I
В С.-Петербурге
31 марта 1837
№ 1371
С препровождением
табакерки с портретом
его величества

Господину вице-канцлеру.

Во исполнение высочайшего повеления, объявленного мне вашим сиятельством в отношении от 30-го ч. сего марта за № 1982-м, имею честь препроводить при сем к вам, милостивый государь, табакерку золотую с портретом государя императора, бриллиантами украшенную, всемилостивейше пожалованную нидерландскому посланнику барону Геккерну, прося покорнейше ополучении оной табакерки меня уведомить.

Министр императорского двора князь Волконский
Вице-президент гофмейстер [подпись].

¹ Архив внешних сношений.

² Черновик письма, оставшийся в делах министерства иностранных дел.

«На документе помета:» „Табакерка вручена его сиятельством вице-канцлером барону Геккерну.

Переписка завершается следующим сообщением.

Князю Волконскому. От вице-канцлера № 2074 апреля 5 дня 1837 ¹
М. Г. Князь Петр Михайлович!

Присланная при отношении вашей светлости от 31 марта под № 1371-м золотая табакерка с портретом государя императора, бриллиантами украшенная, всемиловитейше пожалованная отъезжающему отселе Нидерландскому посланнику барону Геккерну, доставлена по принадлежности.

Вменяя себе в обязанность уведомить о сем вас, М. Г., имею честь быть [подпись].

Таковыми выражениями безупречной официальной вежливости в сущности голландскому представителю нанесился тягчайший удар: иностранное правительство предписывало ему оставить занимаемый им пост помимо распоряжений представляемого им государства и даже не считая нужным согласовать этот вопрос с голландским министерством иностранных дел.

Это „верховное“ порицание Геккерну произвело сильное впечатление в Голландии, и долголетний дипломат пребывал в отставке в течение пяти лет. Угроза Пушкина сбылась: посланник был „обесчещен“ в глазах обоих дворов. Общественное мнение было решительно против него. Друзья Пушкина, считавшие возможным примириться с д'Антесом, были непреклонны в своем осуждении старшего Геккерна. Андрей Карамзин, возобновивший свои приятельские отношения с Жоржем после его откровенных признаний в Баден-Бадене, решительно демонстрировал свой отказ общаться с бывшим посланником: „На днях воротился сюда старый Геккерн, — сообщает он своим родным, — мы встретились с ним первый раз у рулетки, он мне почти поклонился, я сделал, как будто бы не замечаю. Потом он же заговорил, я отвечал, как незнакомому. отошел и таким образом отделался от его знакомства“.²

Только в 1842 г. „камергер Жак-Тьерри-Бернгард-Анна барон фан-Геккерн“ был аккредитован при венском дворе.³ Началось медленное восстановление Геккерна по пути нового завоевания общественной и политической репутации. Положение его в венском дипломатическом кругу было достаточно щекотливо: во главе австрийского правительства находился его бывший петербургский коллега Фикельмон, семья которого относилась к Пушкину с чувством искренней дружбы. В Вене в начале 40-х годов служили при посольствах петербуржцы 1837 года, в известной мере прикосновенные к знаменитой дуэли — Медженис и Гагарин. Неудивительно, что новый посол некоторое время мало показывался среди своих коллег.

¹ Черновик.

² „Старина и Новизна“, кн. XVIII, стр. 321.

³ 20 апреля или 1 июня 1842 г.; даты указаны различно в Готских альманахах 1865 и 1874 гг.

Только с годами, со сменой кабинетов и лиц, атмосфера официальной Вены настолько изменилась, что Геккерн почувствовал свое положение при дворе Франца-Иосифа вполне упроченным. Известный знаток русской литературы в Германии Фридрих Боденштедт так описывает свою встречу с Геккерном, почти через тридцать лет после дуэли 1837 г.: „Случай свел меня с старым бароном Геккерном в середине шестидесятых годов, в Вене, куда я прибыл на несколько недель из Мюнхена, вскоре после смерти короля Максимилиана; я встретил его у баварского посланника графа Брея, которому я нанес визит, но наша встреча была крайне непродолжительной: самый звук моего имени, произнесенного при представлении, казалось отпугивал старого грешника, которому, как это я узнал позже от графа Брея, не осталось неизвестным мое упоминание о нем в предисловии к моему переводу Пушкина. Мне однако было очень любопытно посмотреть на него. Он держал себя с той непринужденностью, которая обыкновенно вызывается богатством и высоким положением, и его высокой, худой и узкоплечей фигуре нельзя было отказать в известной ловкости. Он носил темный сюртук, застегнутый до самой его худой шеи. Сзади он мог показаться седым квакером, но достаточно было заглянуть ему в лицо, еще довольно свежее, несмотря на седину редких волос, чтобы убедиться в том, что перед вами прожженный жуир. Он не представлял собою приятного зрелища с бегающими глазами и окаменевшими чертами лица. Весь облик тщательно застегнутого на все пуговицы дипломата, причинившего такие бедствия своим интриганством и болтливостью, производил каучукообразной подвижностью самое отталкивающее впечатление. Духовное ничтожество Геккерна явствует из письма, написанного им Пушкину незадолго до дуэли между этим последним и его приемным сыном“.¹

В это время Геккерну уже было около 75 лет, но он еще не соби-
рался в отставку. Только в 1874 г., т. е. достигнув 83 лет, голландский
посланник в Вене уступает свой пост и навсегда оставляет службу. Начав
свою деятельность в эпоху господства в Европе Наполеона I, Геккерн
заканчивал ее в момент расцвета влияния Бисмарка. Сроками его государ-
ственной карьеры охвачен обширнейший перевал европейской истории от
„солнца Аустерлица“ до „пушек Седана“.

Барон Луи ван-Геккерн прожил исключительно долгую жизнь, отме-
ченную необычайно длительной деятельностью. Он умер 93 лет от роду,
когда в русской литературе на смену Пушкину пришел Чехов, а в русской
внутренней политике Бенкендорфа сменил Победоносцев.² Несмотря на
такую беспримерную семидесятилетнюю деятельность на самой авансцене

¹ F. Bodensetedt. „Erinnerungen aus meinem Leben“, В., 1888, 1, SS. 169—170. Ср. П. Е. Щеголев, „Дуэль и смерть Пушкина“, изд. 3, М.—Л., 1928, стр. 503.

² Возраст Геккерна в момент смерти неправильно указан у Метмана: „около 89 лет“ (Щеголев, стр. 370). Между тем Геккерн родился 30 ноября 1791 г., а умер 27 сентября 1884 г. (там же, стр. 21 и 370), т. е. не дожил всего двух месяцев до 93 лет.

современной истории, представитель Нидерландов не сумел проявить себя ни в одном политическом акте своей эпохи. Родина его за этот долгий срок переживала тяжчайшие испытания и подвергалась крупнейшим изменениям в своем составе и строе. Нужно помнить, что будущий покровитель д'Антеса родился еще в республике Соединенных провинций, рос в Батавском государстве, а начал свою службу уже в Голландском королевстве, которое вскоре было включено в состав Французской империи. Уже в пору его деятельности Голландия и Бельгия воссоединяются в единый союз, и в самый разгар петербургской карьеры посланника происходит отделение Бельгии от его родины. Ни к одному из последовавших затем крупных актов голландской истории XIX в., как отречение Вильгельма I от престола, введение новой конституции, отмена рабства и барщинного труда в колониях, — потомок Бефервардов не имел никакого отношения. Ни одно из значительных событий европейского мира на всем протяжении от Венского до Берлинского конгресса не вывело его из безвестного круга заурядных дипломатов, исчерпывающих свою международную активность на приемах, празднествах и банкетах. Только предсмертная трагедия одного из величайших мировых поэтов, испытавшего на себе изворотливое и темное искусство голландского посланника, ввела его родовитое и безвестное имя в историю, куда не дала ему права входа вся долголетняя государственная деятельность его носителя.

II. КАТЕРИНА ГОНЧАРОВА-ГЕККЕРН

На портрете, писанном живописцем Вельцем с Екатерины Николаевны Геккерн в 1840 г., перед нами выступает очень высокая и худощавая женщина, с близоруким взглядом, не лишенная, впрочем, некоторой приятности черт, свойственной фамилии Гончаровых. Восхищенное описание ее внука Луи Метмана, отмечающего изящный овал лица, матовый цвет кожи, восхитительную улыбку и стройную походку своей бабки, следует признать несколько преувеличенным; свидетельства современников были сдержаны в оценке ее наружности и даже не свободны от иронии, хотя Андрей Карамзин, например, отмечал ее в обществе своим вниманием и симпатией. Осенью 1834 г. эта девушка „с типом южанки“ вошла в дом Пушкина, где ей суждено было вскоре стать героиней романа, столь взволновавшего петербургское общество осенью 1836 г.

Ряд неизвестных материалов из иностранных источников освещает биографию старшей свояченицы поэта, одновременно отбрасывая свет и на предсмертную историю Пушкина. На первом месте здесь акт бракосочетания д'Антеса с Екатериной Гончаровой, отмечающий весьма заметный момент в январских событиях 1837 г. Сам поэт, как известно, на свадьбе не присутствовал, но по позднему свидетельству его противника, „прислал жену“. По мнению д'Антеса, это означало согласие устано-

вить мирные отношения между двумя семействами; впрочем, предпринятые им в этом направлении шаги не увенчались успехом.

В нашем распоряжении имеется официальный перевод брачного акта, сообщающего ряд интересных подробностей об этом видном эпизоде пушкинской семейной хроники.

С л а т и н с к о г о . Выписка из метрической книги о бракосочетавшихся С.-Петербургской римско-католической церкви во имя св. великомученицы Екатерины. 1837 года января 10 дня, совершив три оглашения, из коих первое было в воскресенье 27 декабря прошедшего года, второе в воскресенье 3-го января и третье в крещение 6-го января, не открыв никаких церковных препятствий и удостоверившись предварительно во взаимном согласии, каковое подтверждено достоверными свидетелями и утверждено собственноручным подписом под допросом как жениха и невесты, так равно и свидетелей, и вообще исполнив все согласно с постановлениями, я настоятель вышеозначенной церкви, иеромонах доминиканского ордена Домиан Родзевич, вопросив о взаимном согласии поручика Кавалергардского его величества императора всероссийского полка барона Георга Карла Геккерн, 24 лет, римско-католического вероисповедания, сына его превосходительства барона Иосифа-Конрада д'Антеса и супруги его графини Марии-Людовики де Гасфельд, усыновленного же его превосходительством бароном Людовиком Геккерном, чрезвычайным и полномочным министром е. в. к. нидерландского, и фрейлину двора ее императорского величества Катерину Гончарову, девицу 25 лет греко-российского исповедания, дочь его превосходительства Николая Гончарова и Натальи Загряжской, и получив подтверждение в оном, сочетал их браком по обрядам церкви. Свидетелями были: е. п. барон Людовик Геккерн, д. т. с. граф Григорий Строганов, ротмистр Кавалергардского полка Августин Бетанкур и граф Аршьяк.

Что сия выписка совершенно согласна с подлинником, в том сим удостоверяю за собственноручною моею подписью и с приложением печати римско-католической церкви Св. Екатерины. С.-Петербург 28 марта 1837 года. [Подпись:] священник и проповедник для французов при означенной церкви иеромонах Доминиканского ордена Андрей Кучинский.

Не прошло и трех недель с этого счастливого дня Екатерины Гончаровой, как на нее обрушились обломки непоправимой катастрофы, едва не стоившей жизни ее мужу. Сложный ход „домашних обстоятельств“ семьи Пушкиных отнес и ее в 1837 г. в стан врагов поэта. В партии Геккернов ответственность за поединок всецело относили на счет необузданности Пушкина, якобы отказавшегося принять огромные уступки и жертвы, принесенные его противниками в целях примирения. Неудивительно, что в этой психологической атмосфере Катерина Геккерн оставила Петербург со словами: „я прощаю Пушкина“. Она могла при этом считать, что все ее столь прихотливо сложившееся жизненное счастье совершенно выпало из последних соображений поэта о „неслыханном мщении“. Позднейшие исследователи, осудившие Катерину Гончарову за ее прощальную фразу, могли, конечно, спокойно отнести ко-всем этим сложным мотивам ее поведения; сама она имела право по-иному ощущать обиду и боль от проявленного к ее личности и судьбе безразличья. В сущности простая случайность спасла ее счастье, готовое вдребезги разбиться от выстрела Пушкина. Все, что она могла сделать, это не

питать вражды к его памяти и не проявлять посмертной неприязни к нему. Это она и сочла нужным высказать, оставляя навсегда Россию.

Дальнейшие документы представляют интерес для фамильной истории д'Антесов, тесно связанной с биографией Пушкина.

Приведем два метрических свидетельства. Первое из них представляет собою выпись из книг о родившихся в городе Сульце.

1837 года 19 октября в 3 часа пополудни, пред нас Григория Уссольца, 2-го помощника заведующего метрическими книгами г. Сульца в Кольмарском округе в департаменте Верхнего Рейна, явился г. барон Георг д'Антес де Геккерн, имеющий более 25 лет от роду, землевладелец, жительствующий в сем городе, который предъявил нам ребенка женского пола, родившегося вышезначащегося числа, в полдень в месте жительства его, прижитого в законном браке предъявителя с Екатериною Гончаровою, имеющей 25 лет и нареченною, по показанию его, Матильдою-Евгениею; каковые показания и предъявление состоялись в присутствии господ барона Осипа-Кондратия д'Антеса, 64 лет, помещика, и барона Людвига фан-Геккерн, 48 лет, уполномоченного министра Нидерландского двора, которые оба жительствуют в помянутом городе; а по прочтении подписали родители со свидетелями вместе с нами вышепрописанный акт о рождении. На метрике подписано: барон Георг д'Антес фан Геккерн, барон д'Антес, ф. Геккерн, Уссолец.

За сим на поле значится следующее:

По приказу Кольмарского суда от 8-го февраля 1842 г. предписано: Матильде-Евгении, родившейся в Сульце 19 октября 1837 г., носить впредь фамилию отца ее фан-Геккерн вместо д'Антеса, оставленной им, и тако именоваться ей в помянутой метрике. Сулец, 18 марта 1842 г. Подписался мер граф Серзе Люзиньян.

Аналогичные метрические свидетельства с такими же приписками на полях сохранились о рождении Берты-Жозефины 5 апреля 1839 г. (свидетели Осип-Кондратий д'Антес, 66 л., помещик, и г. Виктор Вест., 30 лет, доктор медицины), Леонии-Шарлотты 3 апреля 1840 г. (те же свидетели) и Луи-Жозефа-Мориса-Жоржа-Шарля 21 сентября 1843 г. (свидетели Альфонс д'Антес, 30 л., помещик, и Виктор Вест, 35 лет, доктор медицины).¹

Другая метрика — это акт о смерти Катерины Гончаровой-Геккерн. Приводим его в официальном переводе русских канцелярий:

С французского 15 октября 1843 г. Свидетельство о смерти Екатерины Гончаровой	Выписка из метрических книг об умерших в городе Сульце в 1843 году.
--	--

Тысяча восемьсот сорок третьего года пятнадцатого октября, в три часа пополудни, пред нас графа Генриха-Клавдия-Фердинанда Серзе-Люзиньяна, мера заведывающего метрическими книгами в городе Сульце в Кольмарском округе в Верхнерейнском департаменте, явились помещики Альфонс д'Антес 31 года, зять покойницы, и Григорий Уссолец, которые оба жительствуют в сем городе, и объявили нам, что вышезначащегося числа в десять часов утра скончалась в местожительстве ее в означенном городе Екатерина Гон-

¹ В последнем свидетельстве отец назван Жорж-Шарль барон де Геккерн, и вероятно поэтому отсутствует судебное постановление о фамилии ребенка (не д'Антес, а Геккерн).

чарова тридцати двух лет от роду, родом из Москвы (России), жительствовавшая в помпезном городе, бывшая в замужестве за бароном Карлом Георгием фан-Геккерн, помещиком, дочь Николая Гончарова и Наталии Загряцкой; а по надлежащем удостоверении мы составили настоящий акт, подписанный объявителями вместе с нами, по прочтении оного и перевода им на немецкий язык. На метрике подписано: д'Антес, Уссольц и граф Серзе-Люзиньян.

Наконец, опубликованное недавно во Франции письмо д'Антеса, адресованное, видимо, к иезуиту Гагарину (обвиненному в свое время в рассылке анонимных пасквилей Пушкину), дает ряд новых штрихов к истории Катерины Николаевны, ее мужа и некоторых других лиц, причастных к смерти Пушкина. Оно написано через десять лет после дуэли на Черной речке.

Mon cher ami!

Vous direz au F. Mertian,¹ combien je lui ai d'obligation pour l'exactitude avec laquelle il s'est acquitté de ma commission pour vous, exactitude à laquelle je suis redevable de votre bonne lettre si franchement amicale et qui me donne la conviction, que vous êtes toujours heureux de la résolution que vous avez prise de vouer votre existence à Dieu. Il faut, mon cher ami, que vous ayez la tête et le coeur énergiquement trempés pour avoir pu faire, et cela sans vertige, un pareil bond de votre existence d'autrefois, à celle que vous avez choisie aujourd'hui. C'est un courage qui n'est pas donné au vulgaire. Mais à chacun sa destinée; elle est réglée par une volonté supérieure à celle des hommes, et puisque votre destinée était de vous faire Jésuite, il faut avoir perdu la raison pour y trouver une seule observation à faire: c'est du moins la thèse, que j'ai soutenue à votre sujet, il n'y a pas trois mois et cela contre une colonie de Russes, avec laquelle j'ai passé une saison à Baden; vos compatriotes ne vous pardonnent pas votre vocation. Je vous fais cette confidence ou plutôt ce commerage, puisque je suis certain que leur approbation vous importe peu. Il paraît que vous ignorez que j'ai eu le malheur de perdre mon excellente femme: voila déjà 4 ans que la Providence nous a séparé. Mais si elle vivait encore, elle ne blâmerait pas votre résolution, elle même vous avait devancée dans cette voie: dès les premières années de notre mariage Catherine était passablement préoccupée de la pensée de voir pratiquer à tous ceux aux quels elle était attachée par les liens les plus tendres, une religion qui n'était pas la sienne, ce qui l'aurait privée de la douce satisfaction de diriger complètement le coeur et l'esprit de ses quatre enfants, mission, dont elle était si digne à tous égards! Ces motifs et d'autres encore ont puissamment déterminé ma femme à étudier et à embrasser le catholicisme; si elle n'a pas donné de la publicité à son abjuration, c'est qu'elle était retenue par le motif très louable, d'éviter un grand chagrin à sa mère, qui était la seule personne avec laquelle elle était restée en relations suivies. Malgré cela Catherine est morte entourée de toutes les consolations que donne notre église.

L'existence de d'Archiac a eu beaucoup de similitude avec la mienne. Comme moi il était marié et heureux, et comme moi il fut frappé dans ses affections les plus chères. Sa femme était la fille du maréchal Gérard, son premier enfant lui couta la vie de la mère. Depuis cette époque il vit très retiré avec son beau père. Je le vois quand je vais à Paris; à la première occasion je lui parlerai de vous, je suis certain que votre beau souvenir lui fera grand plaisir.

Mon cher ami, lorsque vous aurez le désir de savoir ce qui se passe dans ce monde, vous vous rappellerez, je l'espère, que vous avez un ami en Alsace qui sera toujours heureux de

¹ Барон Феликс Мертиан (1822—1885) был женат на сестре Жоржа д'Антеса — Александре-Клотильде.

recevoir de vos nouvelles et de vous en donner sur tout ce qui peut vous intéresser; au surplus je pense bien qu'avant bien d'années, nous nous verrons. Car votre ordre a une mission à Essenheim, qui est dans mon voisinage.

En attendant que j'aie le plaisir de vous serrer les mains, croyez moi votre tout dévoué ami.

Le b-on de Heeckeren.

Soultz, Dt. du Haut-Rhin à 17 9-ème 1847.

P. S. Le b-on de Heeckeren est toujours ministre à Vienne, il est à son poste dans ce moment.¹

Перевод:

Дорогой друг!

Передайте Ф. Мертиану, насколько я чувствую себя обязанным перед ним за точность, с какою он выполнил мое поручение, касающееся вас, благодаря чему я получил ваше славное письмо, столь откровенно дружеское и убеждающее меня, что вы попрежнему счастливы принятым вами решением посвятить вацу жизнь господу. Это доказывает, дорогой друг, что ум и сердце у вас крепко закалены, раз вы могли совершить без головокругления подобный скачек от вашего прежнего существования к тому, которое вы избрали сегодня. Подобное мужество мало свойственно людям толпы. Но каждому своя судьба; она управляет высшей волей, и раз ею было предопределено, чтобы вы стали иезуитом, нужно потерять рассудок, чтоб как-нибудь возражать против этого; таково, по крайней мере, мнение, которое я поддерживал три месяца назад против колонии русских, с которыми я провел сезон в Бадене; ваши соотечественники не прощают вам вашего призвания. Передаю вам это сообщение или вернее эту сплетню, ибо я уверен, что вы не нуждаетесь в их одобрении. Повидимому вы не знаете, что я имел несчастье потерять мою дорогую жену; вот уже четыре года, как мы разлучены провидением. Но если бы она была в живых, она бы не осудила вашего решения, ибо сама опередила вас на том же пути; с первых же лет нашего брака Катерина была сильно озабочена мыслью, что все лица, с которыми она была соединена самыми нежными нитями, исповедуют другую религию, что лишило бы ее отрадного удовлетворения направлять до конца сердце и разум ее четырех детей — призвание, которого она была во всех отношениях столь достойна. Эти соображения вместе с некоторыми другими решительно убедили мою жену изучить и принять католицизм; если она не заявила открыто о своем отречении, то произошло это потому, что она была удержана весьма похвальным соображением не вносить большого огорчения своей матери, — единственному лицу, с которым она сохранила постоянные отношения. Несмотря на это Катерина скончалась, окруженная всеми утешениями, какие доставляет наша церковь.

Жизнь д'Аршиака оказалась во многом похожей на мою. Подобно мне он был женат и был счастлив и так же, как и я, он был поражен в своих самых заветных привязанностях. Он был женат на дочери маршала Жерара, и его первый ребенок был оплачен жизнью матери. С этого времени он живет крайне замкнуто со своим тестем. Я навещаю его, когда бываю в Париже; при первом случае я напомню ему о вас; убежден, что ваша память о нем доставит ему большое удовольствие.

Когда у вас, дорогой друг, явится желание узнать, что происходит в этом мире, вы вспомните, я надеюсь, что у вас есть друг в Альзасе, который всегда будет счастлив получить от вас известия и в свою очередь сообщить их вам обо всем, что могло бы заинтере-

¹ „Временник Общества друзей русской книги“, III, Париж, 1932, стр. 154—156.

респовать вас; помимо этого надеюсь, что пройдет немного лет и мы увидимся. Ваш орден имеет миссию в Эссенгейме по соседству со мною.

В ожидании удовольствия пожать вашу руку остаюсь вашим преданным другом

Барон де Геккерн

Сульц, Департамент Верхнего Рейна, 17 сентября 1847 г.

P. S. Барон де Геккерн попрежнему посланником в Вене, в настоящее время он на своем посту.

Исключительная преданность католицизму в семье д'Антесов вполне соответствовала политическим традициям фамилии: легитимизм естественно и неизбежно сочетался с папством, как в России самодержавие с православием. На этих крайних позициях политической реакции счастливый победитель поединка 1837 года оставался, как известно, до самого конца своего длительного жизненного пути.



Т Р И Б У Н А



С. ГЕССЕН

ПУШКИН НАКАНУНЕ ДЕКАБРЬСКИХ СОБЫТИЙ 1825 ГОДА

1

В мемуарной литературе о Пушкине имеется несколько свидетельств, частью повторяющих одно другое, частью противоречивых, о том, будто в декабре 1825 г. Пушкин собирался нелегально съездить в Петербург, но ряд зловещих примет побудил его отказаться от своей рискованной затеи. Эти разрозненные упоминания до самого последнего времени не подвергались критическому анализу. Сообщение о несостоявшейся поездке поэта в Петербург принято было, так сказать, на веру всеми биографами Пушкина, с легкой руки канонизировавшего эту легенду П. В. Анненкова. Вводя ее безоговорочно в основной фонд биографических сведений о Пушкине, Анненков усомнился только в мотивах возвращения Пушкина с дороги. „Приметы приметами, — замечал он, — а известная осмотрительность Пушкина, наступавшая у него почасту тотчас же за первым увлечением, играла тут тоже немаловажную роль. Она-то, вероятно, и повернула его назад, внушив ему мысль подождать более подробных известий об исходе петербургского дела“.¹ Сам по себе этот факт ничего, по существу, не дополнял и не корректировал в политической биографии Пушкина. Легко можно допустить, совершенно вне зависимости от политических настроений Пушкина в эту пору, что напряженность политической атмосферы после внезапной смерти Александра I сделала для Пушкина еще тяжелее его михайловское уединение, и могла толкнуть его на рискованный поступок с целью узнать действительное положение дел. Но то или иное решение вопроса о наме-

¹ П. В. Анненков, „А. С. Пушкин в Александровскую эпоху“, „Вестник Европы“, 1874, № 2, стр. 545.

рении Пушкина съездить в Петербург не сулило внести нечто принципиально новое в разрешение проблемы о взаимоотношениях Пушкина и декабристов.

Однако, за последние годы фонд свидетельских показаний обогатился рядом новых документов, благодаря которым спорный вопрос о несостоявшейся поездке Пушкина приобрел несколько неожиданную остроту. Новые материалы, как мы ниже убедимся, привели исследователей к очень смелым и ответственным выводам, диктующим необходимость пересмотра всего вопроса в целом.¹

Первое печатное свидетельство о несостоявшейся поездке Пушкина исходило от Адама Мицкевича. В своих лекциях о славянской литературе, он передал рассказ о том, что в тревожные декабрьские дни, незадолго перед восстанием декабристов, Пушкин собрался нелегально проехать в Петербург, но ряд дурных предзнаменований побудил его, едва он успел выехать из усадьбы, повернуть обратно. „Autrement, — заключал Мицкевич, — il serait mort avec Rileiefe ou aurait fini sa carrière dans les mines de Sibérie“.² Мицкевич не указывал источника этого рассказа, который, по предположению С. А. Соболевского, он должен был слышать от самого Пушкина.³

Уже после опубликования книги Мицкевича, М. И. Семевский в 1866 г. совершил научную поездку в Тригорское, где еще жили А. Н. Вульф, бар. Е. Н. Вревская и М. И. Осипова, младшая дочь П. А. Осиповой. Эта последняя, в числе иных воспоминаний о Пушкине, рассказала М. И. Семевскому следующее:

„Однажды, под вечер, зимой, сидели мы все в зале, чуть ли не за чаем. Пушкин стоял у печки. Вдруг матушке докладывают, что приехал <из Петербурга повар> Арсений... Арсений рассказывал, что в Петербурге бунт, всюду разъезды и караулы, насилу выбрался за заставу, нанял почтовых и поспешил в деревню. Пушкин, услыша рассказ Арсения, страшно побледнел. В этот вечер он был очень скучен, говорил кое-что о существовании тайного общества, но что именно не помню. На другой день, слышим, — Пушкин быстро собрался в дорогу и поехал; но, доехав до погоста Врева, вернулся назад. Гораздо позднее мы узнали, что он отправился было в Петербург, но на пути заяц три раза перебежал ему дорогу, а при самом выезде из Михайловского Пушкину попалось навстречу духовное лицо. И кучер, и сам барин сочли это дурным предзнаменованием. Пушкин отложил свою поездку, а между тем подошло изве-

¹ Ряд интересных замечаний на эту тему высказал Георгий Чулков в статье: „Ревнители пушкинской славы (по поводу некоторых статей в Пушкинском сборнике «Литературного Наследства»)“, „Красная Новь“, 1935, № 8, стр. 212—214.

² „Pisma Adama Mickiewicza“, изд. 1860, IX, стр. 293.

³ „Русский Архив“, 1870, стр. 1387.

ствие о начавшихся в столицах арестах, что окончательно отбило в нем желание ехать туда...“¹

Таким образом, с самого начала в повествовании о поездке Пушкина обозначились две противоречивые версии, из которых одна приурочивала несостоявшуюся поездку к преддекабрьским дням, а другая связывала намерение Пушкина уже с получением известия о восстании 14 декабря. Все последующие свидетельства представляли более или менее близкие вариации первой версии. Наиболее полное выражение она получила в воспоминаниях С. А. Соболевского.

„Вот еще рассказ... моего друга, — писал Соболевский, — не раз слышанный мною при посторонних лицах.

„Известие о кончине императора Александра Павловича и о происшедших вследствие оной колебаний по вопросу о престолонаследии дошли до Михайловского около 10 декабря. Пушкину давно хотелось увидаться с его петербургскими приятелями. Рассчитывая, что при таких важных обстоятельствах не обратят строгого внимания на его непослушание, он решил отправиться туда, но — как быть? В гостинице остановиться нельзя — потребуют паспорта, у великосветских друзей тоже опасно — огласится тайный приезд ссыльного. Он положил заехать сперва на квартиру к Рылеву, который вел жизнь не светскую, и от него заpastись сведениями. Итак, Пушкин приказывает готовить повозку, а слуге собираться с ним в Питер, сам же едет проститься с тригорскими соседками. Но вот на пути в Тригорское заяц перебегает через дорогу; на возвратном пути из Тригорского в Михайловское — еще заяц. Пушкин в досаде приезжает домой: ему докладывают, что слуга, назначенный с ним ехать, заболел вдруг белою горячкой. Распоряжение поручается другому. Наконец, повозка заложена, трогаются от подъезда. Глядь, в воротах встречается священник, который шел проститься с отъезжающим барином. Всех этих встреч — не под силу суеверному Пушкину; он возвращается от ворот домой и остается у себя в деревне. «А вот каковы были бы последствия моей поездки, — прибавлял Пушкин. — Я рассчитывал приехать в Петербург поздно вечером, чтобы не огласился слишком скоро мой приезд и, следовательно, попал бы к Рылеву на совещание 13 декабря. Меня приняли бы с восторгом; вероятно, я забыл бы о Вейсгаупте, попал бы с прочими на Сенатскую площадь и не сидел бы теперь с вами, мои милые».

„Об этом же обстоятельстве, — заключает Соболевский, — передает Мицкевич в своих лекциях о славянской литературе, и вероятно со слов Пушкина, с которым он часто виделся (*Pisma Adama Mickiewicza*, изд. 1860, стр. 293)“.²

¹ М. И. Семевский. „Прогулка в Тригорское“, „С.-Петербургские Ведомости“, 1866, № 157.

² С. А. Соболевский. „Тайнственные приметы в жизни Пушкина“, „Русский Архив“, 1870, стр. 1386—1387.

Вслед за появлением статьи Соболевского весь рассказ этот без всяких оговорок, перепечатан был в книге М. П. Погодина.¹ А затем рассказ Соболевского—Погодина подтвержден был и П. А. Вяземским, который в 1874 г. писал Я. К. Гроту: „О предполагаемой поездке Пушкина incognito в Петербург в дек. 25-го года верно рассказано Погодиным в книге его «Простая речь...» Так и я слышал от Пушкина. Но сколько помнится, двух зайцев не было, а только один. А главное, что он бухнулся бы в самый кипяток мятежа у Рылеева в ночь с 13-го на 14-е дек.: совершенно верно“.²

Наконец в несколько иной, но очень близкой редакции весь этот эпизод передан в воспоминаниях о Пушкине В. И. Даля, опубликованных только в 1899 г. Л. Н. Майковым.³ Намерение Пушкина съездить в Петербург Даль объяснял желанием поэта, встревоженного „темными и несвязными слухами“ о смерти Александра I и отречении цесаревича Константина, „узнать положительно, сколько правды в носящихся разнородных слухах, что делается у нас и что будет“. Разноречия в рассказе Даля, как и в других рассказах, заключаются, главным образом, в количестве зайцев и т. п. Более существенно, что Даль точно определяет срок, на который Пушкин собирался съездить в столицу, „рассчитав так, чтобы прибыть в Петербург поздно вечером и потом через сутки возвратиться“. Даль указывает и другой петербургский адрес для Пушкина: место Рылеева в его рассказе занимает один „из товарищей Пушкина по лицу, который кончил жалкое и бедственное поприще свое на другой же день“, т. е. очевидно либо И. И. Пущин, либо В. К. Кюхельбекер. Даль, впрочем, не имеет в виду и возможности участия Пушкина в восстании. „Прошу сообразить все обстоятельства эти, — заключает он, — и найти средства и доводы, которые бы могли оправдать Пушкина впоследствии по крайней мере от слишком естественного обвинения, что он приехал не без цели и знал о преступных замыслах своего товарища“. Иначе говоря, в понимании Даля эта поездка Пушкина отнюдь не связывалась с намерением его участвовать в восстании декабристов.

Этими немногими данными, частью, как мы убедились, противоречивыми, исчерпывались сведения о несостоявшейся поездке Пушкина в Петербург, пока новейшие исследователи не создали на их основе пышную легенду, с очевидной претензией на сенсационность.

¹ М. П. Погодин. „Простая речь о мудреных вещах“, М., 1873, стр. 178—179.

² К. Я. Грот. „Пушкинский Лицей“, СПб., 1911, стр. 107; ср.: „Старина и Новизна“, кн. XIX, стр. 6—7.

³ Л. Майков. „Пушкин“, СПб., 1899, стр. 420—421.

2

В 1930 г. М. В. Нечкина опубликовала неизвестный дотоле отрывок из записок декабриста Н. И. Лорера. Со слов Л. С. Пушкина, Лорер рассказывал: „Александр Сергеевич был уже удален из Петербурга и жил в деревне родовой своей — Михайловском. Однажды он получает от Пуштина из Москвы письмо, в котором сей последний извещает Пушкина, что едет в Петербург и очень бы желал увидаться там с Александром Сергеевичем. Не долго думая, пылкий поэт мигом собрался и поскакал в столицу. Недалеко от Михайловского попался ему на дороге поп, и Пушкин, будучи суеверен, сказал при сем: «Не будет добра» <i>и</i> вернулся в свой мирный уединенный уголок. Это было в 1825 году, и провидению угодно было осенить своим покровом нашего поэта. Он был спасен!“

Мы не будем пока заглядывать в научную лабораторию М. В. Нечкиной, а отметим только, что, сопоставляя это свидетельство с приведенной выше версией Соболевского — Погодина, она пришла к заключению о том, что Пуштин писал Пушкину не из Москвы, а уже из Петербурга, куда вызывал его для участия в подготавливавшемся восстании.¹ Гипотеза М. В. Нечкиной безоговорочно принята была Д. Д. Благой.² Не нашел против нее возражений и Б. В. Казанский, в своем обзоре новейшей биографической литературы о Пушкине отметивший: „Важные подробности оказались выпущенными в прежних изданиях записок декабриста Лорера. Он сообщает, что Пуштин, отправляясь из Москвы для участия в декабрьском восстании, вызывал в Петербург Пушкина. Это дает объяснение эпизоду неудачного выезда Пушкина из Михайловского 11—12 декабря, внушавшему недоумения“.³ Наконец, С. Я. Штрайх поспешил столь же безоговорочно ввести эту легенду в новое издание записок Пуштина о Пушкине. В вступительном очерке читаем: „Надо еще иметь в виду попытку Пушкина приехать в декабре 1825 г. в Петербург по вызову Пуштина. Наиболее ценное свидетельство об этом — в записках декабриста Н. И. Лорера“.⁴

Таким образом, смелая догадка М. В. Нечкиной успела уже стать канонизованной. А еще несколько времени спустя, эта версия обросла новыми неожиданными подробностями.

¹ М. В. Нечкина. „О Пушкине, декабристах и их общих друзьях“, „Каторга и Ссылка“, 1930, № 4, стр. 20—24; ср.: „Записки декабриста Н. И. Лорера“, М., 1931, стр. 199, 414—416.

² Д. Д. Благой. „Социология творчества Пушкина“, 1931, стр. 96.

³ Б. В. Казанский. „Разработка биографии Пушкина“, „Литературное Наследство“, № 16—18, М., 1934, стр. 1139.

⁴ И. И. Пуштин. „Записки о Пушкине“. Статья и редакция С. Я. Штрайха, М., 1934, стр. 139—140.

Совсем недавно, А. М. Эфрос, на основании анализа рассказа Соболевского—Погодина и еще на основании того, что в декабристской графике Пушкина часто встречаются зарисовки Рылеева и Пуштина, пришел к заключению, что Пуштин, в бытность свою в январе 1825 г. в Михайловском, посвятил Пушкина в существование тайного общества и заручился его обязательством принять активное участие в восстании. Следствием этого и было его письмо к Пушкину, с указанием явки, данной в адрес Рылеева.¹

Но и это еще не все. Во вновь найденном архиве хозяйственных и семейных бумаг Пушкина П. С. Попов обнаружил весьма любопытный документ — билет на пропуск из Тригорского в Петербург двух крепостных П. А. Осиповой. Экспертизой специалистов установлено, что это автограф Пушкина, стилизовавшего писарской почерк документов своего времени.² Текст документа таков:

Б и л е т

Сей дан села Тригорского людям: Алексею Хохлову росту 2 арш. 4 вер. волосы темнорусые, глаза голубые, бороду бреет, лет 29, да Архипу Курочкину, росту 2 ар. 3¹/₂ в., волосы светлорусые, брови густые, глазом крив, ряб, лет 45, в удостоверение, что они точно посланы от меня в С.-Петербург по собственным моим надобностям и потому прошу господ командующих на заставах чинить им свободный пропуск, сего 1825 года, ноября 29 дня. Село Тригорское в Опоческом уезде.

Статская советница Прасковья Осипова.

Подчеркивая многозначительную дату этого документа, П. С. Попов замечает: „Можно предполагать, что через посылаемых в Петербург крепостных Осиповой Пушкин хотел снестись со своими друзьями-декабристами, чтобы быть в курсе дела заговора и всех политических событий“.³

В процессе обсуждения этого открытия в заседании московского филиала Пушкинской комиссии Академии Наук СССР, осторожное замечание П. С. Попова, будучи сопоставлено с рассказом Соболевского—Погодина, выросло в очень смелую и ответственную гипотезу. А именно, что под Алексеем Хохловым должен был скрываться сам Пушкин, намеревавшийся таким образом нелегально пробраться в Петербург.⁴

¹ Абрам Эфрос. „Декабристы в рисунках Пушкина“, „Литературное Наследство“, № 16—18, М., 1934, стр. 928—935.

² Установлено Л. Б. Модзалевским, к заключению которого присоединились Б. В. Томашевский, М. А. Цявловский, С. М. Бонди, Д. П. Якубович и др.

³ Павел Попов. „Новый архив А. С. Пушкина“, „Звенья“, т. III-IV, М., 1934, стр. 145—146.

⁴ М. Цявловский. „Пушкин—Хохлов“, „Литературная Газета“, 1934, № 31. Ср.: „Рукою Пушкина. Несобранные и неопубликованные тексты“, 1935, стр. 754—755, где эта догадка повторена М. А. Цявловским в категорической форме.

Суммируя все имеющиеся в нашем распоряжении материалы и выводы исследователей, получаем следующую схему:

В январе 1825 г. Пущин, в бытность свою в Михайловском, сообщил Пушкину о существовании тайного общества и заручился его обещанием активно участвовать в восстании.

29 ноября 1825 г. Пушкин, встревоженный неясными слухами о смерти Александра I и наступившем междуцарствии, собрался ехать в Петербург, по подложному, им же написанному, от лица П. А. Осиповой, билету на имя ее крепостного Алексея Хохлова.

Числа 10 декабря Пушкин тайно выехал в Петербург, но вернулся с дороги, смущенный дурными приметами. По одной версии, он ехал к Рылееву, по вызову Пущина, и, согласно заключению исследователей, должен был принять участие в восстании. По другой версии, он ехал к Пущину или Кюхельбекеру, с тем чтобы записаться сведениями и на другой день выехать обратно.

3

„Хоть Пушкин и не принадлежал к заговору, который приятели тайли от него, — вспоминал П. А. Вяземский, — но он жил и раскалялся в этой жгучей и вулканической атмосфере“.¹ Действительно, оставаясь в стороне от тайного общества, Пушкин подозревал его существование еще в Петербурге. С перемещением на юг подозрения эти должны были претвориться почти что в уверенность, благодаря тесному общению с В. Ф. Раевским и М. Ф. Орловым в Кишиневе и политическим дискуссиям в Каменке.² Ссылка в Михайловское вырвала Пушкина из этой напряженной атмосферы, но, конечно, не могла усыпить его подозрений. Напротив, с еще большим вниманием должен был он присматриваться к Пущину, который, приехав в Михайловское, явился для ссыльного поэта первой и единственной связующей нитью со всем, чего он был лишен.

Рассказывая о своем посещении Пушкина в январе 1825 г., Пущин писал: „Незаметно коснулись опять подозрений на счет <тайного> общества. Когда я ему сказал, что не я один поступил в это новое служение отечеству, он вскочил со стула и вскрикнул: «Верно, все это в связи с майором Раевским, которого пятый год держат в Тираспольской крепости и ничего не могут выпытать». Потом успокоившись, продолжал: «Может быть, ты и прав, что мне не доверяешь. Верно, я этого доверия не стою, — по многим

¹ „Старина и Новизна“, кн. VIII, стр. 42.

² См.: Ю. Г. Оксман. „Пушкин в ссылке“, I. „Вечер в Кишиневе (из бумаг «первого декабриста» Ф. В. Раевского)“, „Литературное Наследство“, № 16—18, М., 1934; его же справки: „Орлов, М. Ф.“ и „Раевский, В. Ф.“, в „Путеводителе по Пушкину“, 1931; П. Е. Щеголев, „Первый декабрист В. Ф. Раевский“, в кн. „Декабристы“, 1926; С. Я. Гессен, „Пушкин в Каменке“, „Литературный Современник“, 1935, № 1.

моим глупостям». Молча, я крепко расцеловал его; мы обнялись и пошли ходить: обоим нужно было вздохнуть“.¹

Никто не обратил внимания на многозначительность этого умолчания Пушкина, который на прямо поставленный другой вопрос и на взволнованное замечание Пушкина, что он не заслуживает доверия, ответил крепким поцелуем и примиряющим объятием. Пушкин не высказался бы яснее даже в том случае, если бы прямо ответил Пушкину: „Да, тайное общество существует, но ты не должен быть его членом“.

Напомним, что это было далеко не первое „нападение“ Пушкина на Пушкина в связи с подозрениями поэта на счет существования тайного общества. Ничто, казалось бы, не мешало Пушкину и на этот раз отшутиться и рассеять подозрения Пушкина, как он уже неоднократно делал прежде. Пушкин вспоминает, например, что после вступления его в тайное общество „Пушкин, увидя меня после первой нашей разлуки, заметил во мне некоторую перемену и начал подозревать, что я от него что-то скрываю... он затруднял меня спросами и распросами, от которых я, как умел, отделялся...“ Или другой раз, когда Пушкин, по выражению Пушкина, произвел на него „самое сильное нападение... по поводу общества“, повстречав его у Н. И. Тургенева на собрании сотрудников задуманного тогда политического журнала. „Мне и на этот раз, — заключает Пушкин, — легко было без большого обмана доказать ему, что это совсем не собрание общества... и что я сам тут совершенно неожиданно“.²

Но в Михайловском Пушкин не пожелал „отделяться“, а напротив того, своим красноречивым молчанием подтвердил подозрения Пушкина.³ Почему же Пушкин внезапно решился посвятить своего друга в тайну, которую ревниво оберегал от него в течение многих лет?

¹ И. И. Пушкин. „Записки о Пушкине и письма. Под ред. С. Я. Штрайха“, М., 1927, стр. 85. Интересно отметить, что то же самое, почти дословно, Пушкин повторил в 1827 г. А. Г. Муравьевой (в передаче ближайшего друга и единомышленника Пушкина сибирской поры, И. Д. Якушкина): „Я очень хорошо понимаю, почему эти господа не хотели принять меня в свое общество: я не стою этой чести“ (И. Д. Якушкин. „Записки“, М., 1905, стр. 52).

² И. И. Пушкин, назв. соч. стр. 77.

³ Следует оговорить, что еще в 1908 г. А. Л. Слонимский пришел к заключению, что в Михайловском Пушкин посвятил Пушкина в существование тайного общества. Но это утверждение А. Л. Слонимского основывалось на ошибочном истолковании текста записок Пушкина. Фразу этого последнего: „Когда я ему сказал, что не я один поступил в это новое служение отечеству...“, А. Л. Слонимский истолковал как признание Пушкина о вступлении в тайное общество и на основании этого заключил: „В 1825 г. Пушкин уже не боится прямо сообщить Пушкину о своей принадлежности к обществу“ (Александр Слонимский. „Пушкин и декабрьское движение“, в изд. соч. Пушкина, под ред. С. А. Венгерова, т. II, стр. 522—523). Между тем, фраза эта стоит в непосредственной связи с предыдущим абзацем: „Пушкин заставил меня рассказать ему про всех наших первокурсных Лицея: потребовал объяснения, каким образом из артиллерииста я преобразовался в судьи. Это было ему по сердцу, он гордился мною...“ Отсюда совершенно очевидно, что под „новым служением отечеству“ имелось в виду отнюдь не вступление Пушкина в тайное общество, а его „судейство“.

Очень может быть, что внезапная откровенность Пушкина вызвана была именно сознанием того, что Пушкин, накрепко запертый в деревне и стесненный в каждом своем поступке неотвязчивым и бдительным надзором начальства, все равно лишен был физической возможности принять какое-либо участие в подготовлявшихся событиях, и, стало-быть, теперь овладение тайной не угрожало его безопасности. Для того, чтобы оценить вероятность этой догадки, надо учесть, что из всех имевшихся у будущих декабристов мотивов к непринятию Пушкина в тайное общество, для Пушкина, несомненно, доминирующим всегда было стремление уберечь поэта от опасности, связанной с участием в политическом заговоре. Недаром после смерти Пушкина он писал их общему лицейскому товарищу, И. В. Малиновскому: „Последняя могила Пушкина. Кажется если бы при мне должна была случиться несчастная его история и если б я был на месте К. Данзаса, то роковая пуля встретила бы мою грудь: я бы нашел средство сохранить поэта-товарища, достояние России“.¹

Итак, в январе 1825 г. Пушкин признался Пушкину в существовании тайного общества. А. М. Эфрос проглядел в рассказе Пушкина это признание и совершенно неосновательно замечает, что „Пушкин ведет рассказ в том направлении, что попрежнему-де, несмотря на напор друга, он ни в чем ему не признался и его рвение охладил“.² Совершенно не поняв красноречивого умолчания Пушкина, А. М. Эфрос оказался вынужденным свою верную по существу догадку обосновать крайне неубедительными и более чем зыбкими соображениями о каком-то интимном характере пушкинских зарисовок Пушкина и Рылеева и явно голословным утверждением, что к 1825 г. „недоверчивая настороженность“ заговорщиков по отношению к Пушкину „была уже в достаточной мере изжита“ и что Пушкин „.. увез с собой не просто чувство исполненного долга, но

о котором Пушкин через несколько месяцев вспомнил в одном из исключенных вариантов „19 октября“:

... Ты, осятив тобой избранный сан,
 Ему в очах общественного мненья
 Завоевал почтение граждан.

Подробно об этом см.: Б. В. Томашевский, „Из пушкинских рукописей“, „Литературное Наследство“, № 16—18, М., 1934.

¹ И. И. Пушкин, назв. соч., стр. 133.

² На этой же точке зрения остался и Георгий Чулков. Оспаривая основные положения статьи А. М. Эфроса, он не понял многозначительности умолчания И. И. Пушкина и, перечисляя мотивы, побудившие его воздерживаться от принятия Пушкина в тайное общество, заключает: „Рассказ Пушкина о (последнем) свидании с поэтом не прибавляет к этому ничего нового“ (Георгий Чулков, „Ревнители пушкинской славы“, „Красная Новь“, 1935, № 8, стр. 214). Равным образом и С. Я. Штрайх, в статье „Пушкин и Пушкин“, не опроверг старую версию о пушкинском умолчании (И. И. Пушкин, „Записки о Пушкине“, М., 1934, стр. 137—139).

и сознание того, что опальный друг, которого он так долго держал поодаль от заветного дела, теперь приобщен к нему“.¹

Так или иначе, впрочем, А. М. Эфрос, хотя и не верным путем, но пришел к правильному заключению о том, что Пушкин узнал от Пущина о существовании тайного общества. Но от этого еще чрезвычайно далеко до утверждения, будто Пущин заручился согласием Пушкина участвовать в восстании. Между тем, А. М. Эфрос, безо всяких доказательств, заключает: „Знал ли Пушкин о готовящемся выступлении и должен ли он был сам принять в нем участие? — Видимо, да. После свидания с Пущиным в январе 1825 г. он был, повидимому, как бы на положении посвященного, сочувствующего, который был связан с заговором пока лишь нравственными обязательствами, но который должен был доказать, что достоин доверия, когда придет время действовать“.²

О предполагавшемся, якобы, участии Пушкина в восстании нам придется подробно говорить ниже, в связи с рассказом о письме к нему Пущина перед 14 декабря. Но и сейчас следует высказать два замечания, в корне подрывающие утверждение А. М. Эфроса. Прежде всего, мнимое желание Пущина непременно сделать друга участником восстания никак не вяжется с отмеченным выше всемерным стремлением Пущина уберечь Пушкина от опасности. Не решаясь втягивать Пушкина в подпольную борьбу, готовый подставить свою грудь навстречу „роковой пуле“ Дантеса, Пущин не мог бы решиться подставить грудь Пушкина под пули правительственных солдат и разделить с ним ответственность на случай неуспеха восстания.

Но утверждение А. М. Эфроса совершенно неправдоподобно еще и по другой причине. Дело в том, что в январе 1825 г. еще никто в Северном обществе о восстании не помышлял. И даже несколько месяцев спустя, когда вернувшийся из Киева С. П. Трубецкой сообщил о готовности Южного общества „начать действия“, К. Ф. Рылеев и Е. П. Оболенский вынуждены были признать, что в Северном обществе „дела в плохом положении“, и что они „ни на какое решительное действие не готовы по своей слабости“.³ Сам же Пущин, по свидетельству А. А. Бестужева, еще в мае 1825 г. „говорил, что начинать прежде

¹ А. М. Эфрос, назв. соч., стр. 934. Интимную осведомленность Пушкина в делах тайного общества автор мотивирует тем, что, судя по его зарисовкам начала января 1826 г., Пушкин знал об участии в заговоре Рылеева, Пущина, Трубецкого и др. тогда, когда будто бы об этом еще не было никаких сведений в печати. На самом деле все оригиналы пушкинских портретов значатся в первом списке „изобличенных зачинщиков“, опубликованном в „Русском Инвалиде“ еще 29 декабря 1825 г. Подробно см. в нашей рецензии на статью А. М. Эфроса в изд. „Пушкин, Временник Пушкинской комиссии Академии Наук СССР“, I, стр. 348—351.

² А. М. Эфрос, назв. соч., стр. 935.

³ „Восстание декабристов. Материалы“, Централархив, т. I, 1925, стр. 179—180 (показание К. Ф. Рылеева).

10 лет и подумать нельзя: что нет для того ни людей, ни средств“.¹ Стало-быть, если поверить А. М. Эфросу, придется признать, что обещание участвовать в восстании, взятое Пушциным у Пушкина, явилось первым мероприятием Северного общества по подготовке к восстанию и тогда еще, когда сам Пушчин считал возможным это восстание не менее, чем через 10 лет.

4

Известие о смерти Александра I получено было в Петербурге только 27 ноября. Петербург немедленно присягнул цесаревичу Константину. 29 ноября, т. е. в тот день, которым датирован отпускной билет крестьянам Осиповой, Пушкин едва ли мог уже знать об этом. Но само по себе новое царствование не предвещало никаких политических бурь, и, таким образом, у Пушкина не было никаких новых оснований стремиться в Петербург. Элементарная политическая осторожность должна была подсказать ему, что, рассчитывая на скорое освобождение в связи с переменой царствования, следует ждать этого освобождения в деревне, а не рисковать своим неповиновением сразу же навлечь на себя гнев нового императора.

Надо, впрочем, оговорить, что смерть Александра I издавна положена была в тайном обществе сигналом к началу действий. Однако событие это застало петербургских заговорщиков врасплох, совершенно неподготовленными. А вслед за тем успешно прошедшая присяга Константину родила в них даже своего рода „ликвидаторские“ настроения, вылившиеся в предварительное решение временно работу Общества прекратить. „В день присяги бывшему императору Константину Павловичу, — сообщал Е. П. Оболенский, — собрались мы у Рылеева... и, поздравляя друг друга с неожиданным для нас происшествием, мы сознались все в слабости наших сил и невозможности действовать сообразно цели нашей и растались, не положив ничего решительного“.² То же самое повторил и А. А. Бестужев, засвидетельствовавший, что „после разных толков, решили, чтобы всякое дело отложить по крайней мере на 2 года, а там, что покажут обстоятельства“.³

Если даже допустить, что каким-то невероятно счастливым случаем Пушкин узнал в конце ноября или в первых числах декабря (билет мог быть датирован задним числом) обо всем, происходящем в столице,⁴ то

¹ Там же, стр. 444 (показание А. А. Бестужева).

Там же, стр. 245.

³ Там же, стр. 436.

⁴ Билет датирован 29-м ноября, а 30-го ноября Пушкин отправил тому же А. А. Бестужеву письмо, из которого явствует его полное неведение о той политической буре, в которую попал адресат: „...радуюсь и твоим занятиям. Изучение новейших языков должно в наше время заменить латинский и греческий... Ты едешь в Москву; поговори там с Вяземским о журнале...“ и т. д.

чего ради он стал бы жестоко рисковать, чтобы очутиться в стоячем болоте, которое представляла собой политическая жизнь Петербурга в промежутке между присягой Константину и первыми слухами об его отречении, побудившими членов Северного общества спешно перестраивать ряды.

Уверенность петербургских заговорщиков в том, что Константин примет престол, пошатнулась только 9 или 10 декабря,¹ когда и родилась идея восстания, приуроченного ко дню принесения новой присяги. А Пушкин, до которого слухи об отречении могли дойти еще позднее, в это время не сомневался в замещении престола Константином, с которым у него, как сказано, связывалась надежда на освобождение. И еще 4 декабря (т. е. через пять дней после „подделки“ билета) он писал П. А. Катенину: „Может быть, нынешняя перемена сблизит меня с моими друзьями. Как верный подданный, должен я конечно печалиться о смерти государя, но как поэт радуюсь восшествию на престол Константина I. В нем очень много романтизма; бурная его молодость, походы с Суворовым, вражда с немцем Барклаем, напоминают Генриха V.—К тому же он умен, а с умными людьми все как-то лучше; словом я надеюсь от него много хорошего“.

Но и помимо приведенных соображений все обстоятельства написания этого билета не связываются логически с предположением о намерении Пушкина самому его использовать. Если Пушкин изготовлял этот билет для себя, то, казалось бы, естественнее и проще ему было писать билет на имя собственных крестьян и самому же и подписать его, а не подделывать подпись П. А. Осиповой.² П. С. Попов заключает, что он „понимал всю серьезность момента и никого не хотел делать ответственным за свой план...“³ В таком случае надо допустить, что Пушкин, оберегая от ответственности писаря, не побоялся сделать ответственной П. А. Осипову за свой крайне рискованный поступок: нелегальную прездку в мятежный Петербург по фальшивому документу. Эти соображения служат главным образом и к опровержению гипотезы М. А. Цявловского, предполагавшего, что „своим приездом в Петербург поэт хотел поставить друзей своих перед совершившимся фактом его смелого «самоосвобождения», которое они (в первую очередь, конечно, Карамзин и Жуковский) должны были так или иначе легализировать“.⁴ Но и при этом объяснении, конечно, несравненно более правдоподобном, тот риск, которому Пушкин должен был подвергать Осипову, не делается меньше.

¹ „Восстание декабристов“, т. I, стр. 245 (показание Е. П. Оболенского). Ср. там же, стр. 64, в показании С. П. Трубецкого, утверждавшего, что еще через несколько дней после присяги Константину Рылеев и он настолько были уверены в воцарении цесаревича, что думали закрыть Общество.

² Подделка Пушкиным также и подписи П. А. Осиповой установлена в самое последнее время Л. Б. Модзалевским и Б. В. Томашевским.

³ П. С. Попов, назв. соч., стр. 146.

⁴ М. А. Цявловский. „Пушкин — Хохлов“, „Литературная Газета“, 1934, № 31.

Приметы, указанные в описании Алексея Хохлова (темнорусые волосы, голубые глаза), частью не противоречат „приметам“ Пушкина. В 1825 г. Пушкину было 26 лет, а не 29, но повидимому, он выглядел старше своих лет, чем и могла бы быть объяснена эта разница. Ксенофонт Полевой, впервые встретившийся с Пушкиным осенью 1826 г., по возвращении поэта из ссылки увидел его „с резкими морщинами на лице, с широкими бакенбардами, покрывающими всю нижнюю часть его щек и подбородка...“¹ На основании изучения прижизненных портретов и автопортретов Пушкина, современный исследователь высказал предположение, что Пушкин „отпустил бакенбарды после высылки из Одессы в Михайловское“.² Эти бакенбарды находятся в резком противоречии с бритой бородой Алексея Хохлова. Но, однажды начав приписывать Пушкину свойства конспиратора, с равным успехом можно допустить и то, что, собираясь в опасный путь, он вознамерился изменить свою наружность и сбрить бакенбарды.³

Хуже обстоит дело с указанием о росте. Алексей Хохлов был ростом 2 арш. 3¹/₂ верш., а Пушкин — 2 арш. 5¹/₂ верш.⁴ Разница в 2 верш. должна была быть весьма ощутимой. Рост служил в те времена основной приметой, и не только любой чиновник, но и сам Пушкин не мог бы проглядеть эту разницу.⁵ В памяти современников запечатлелось, что Пушкин был чуть ниже среднего роста, а Алексей Хохлов должен был казаться уже маленького роста.

Каково же происхождение этого таинственного документа? Мы сейчас не беремся дать исчерпывающий ответ, ибо для этого требуется пристальное изучение будней Михайловского и Тригорского. По предположению Б. В. Томашевского, командировки в Петербург по разным хозяйственным делам дворовых Пушкина и Осиповой происходили систематически, по несколько раз в году, причем, в интересах экономии, они посылали своих людей по очереди. Это, конечно, не решает вопроса полностью, но отчасти объясняет возможность оформления Пушкиным очередной посылки в Петербург людей Осиповой.

¹ К. Полевой. „Записки“, СПб., 1888, стр. 198.

² Б. Борский. „Иконография Пушкина до портретов Кипренского и Тропинина“, „Литературное Наследство“, № 16—18, М., 1934, стр. 967.

³ Впрочем, петербургские полицейские власти знали как-раз безбородого Пушкина. Таким же он был изображен и на опубликованных к тому времени портретах. Так что, казалось бы, бакенбарды как-раз и удовлетворили бы требованиям конспирации.

⁴ Художник Г. Г. Чернецов на эскизе портрета Пушкина для картины „Парад на Марсовом поле“ записал: „Александр Сергеевич Пушкин, рисовано с натуры 1832-го года Апреля 15, ростом в 2 арш. 5 верш. с половиной“ (С. А. Венгеров. „Чернецовская галерея русских деятелей 1830-х годов.“, „Нива“, 1914, № 25, стр. 494). Ср. в воспоминаниях Л. С. Пушкина: „... ростом он был мал (в нем было с небольшим 5 вершков)“ (Л. Майков. „Пушкин“, СПб., 1899, стр. 9).

⁵ Эти соображения любезно сообщены Б. В. Томашевским.

М. А. Цявловский в книге „Рукою Пушкина“, как выше сказано, также отождествивший Алексея Хохлова с Пушкиным, заметил, что „о спутнике Пушкина, Архипе Курочкине, мы не имеем никаких сведений“. Между тем, уже упомянутая нами М. И. Осипова в 1866 г., в беседе с М. И. Семейским, вспоминая старожилы Михайловского и Тригорского, коротко знавших Пушкина, говорила: „Кто помнил и хорошо знал его, так это Петр и Архип, служившие при Александре Сергеевиче. Оба они умерли“.¹ Напрашивается догадка, что это и есть Архип Курочкин, а Петр — тот самый кучер Пушкина, Петр, рассказы которого о поэте, в записи К. И. Тимофеева, были напечатаны еще в 1859 г.² Впрочем, Петров и Архипов было так много, что отсюда рискованно делать какие-нибудь заключения.

5

Служа в Москве, И. И. Пущин 26 ноября 1825 г. подал прошение об отпуске в Петербург, куда ему удалось выехать только 5 декабря. На основании этих дат, и М. В. Нечкина и А. М. Эфрос согласно утверждают, что Пущина призывали в Петербург дела тайного общества. По недостаточным убедительным исчислениям М. В. Нечкиной, подача Пущиним прошения об отпуске пришлось как-раз на тот день, когда Москва узнала о смерти Александра I. „Ясно, — заключает М. В. Нечкина, — что из всех совершающихся событий И. Пущин делал определенный вывод: для тайного общества настало время решительных действий... Нет сомнений, что вопрос о неизбежности открытого выступления был ясен И. Пущину уже в это время“.³

Все это, конечно, совершенно не так. Дело в том, что Петербург о смерти Александра узнал только 27 ноября, а Москва, стало-быть, официально должна была узнать об этом не ранее 28—29 ноября. Но М. В. Нечкина совершенно убеждена в том, что фельдъегеря, сломя голову и загоня лошадей скакавшие из Таганрога в Петербург, рискуя головой за каждую минуту промедления, задерживались в Москве, разбалтывая все, что они знали, что, таким образом, в Москве днем раньше, чем в Петербурге, узнали о смерти государя, что об этом тотчас стало известно Пущину и что Пущин немедленно побежал к начальству просить об отпуске.

Такой калейдоскоп событий едва ли возможен был в действительности. По крайней мере, Следственная комиссия, так же как и М. В. Нечкина подозревавшая скрытый смысл поездки Пущина, но, по всей вероятности, лучше М. В. Нечкиной ориентированная в обстоятельствах дела, в обвинительном акте по делу Пущина вынуждена была признать:

¹ „С.-Петербургские Ведомости“, 1866, № 157.

² „Журнал Мин. народн. просвещения“, 1859, т. 103, стр. 144—156.

³ М. В. Нечкина, назв. соч., стр. 22.

„В ноябре, когда еще в Москве не было известно о болезни покойного императора, подав прошение в отпуск по собственным делам, приехал сюда в <Петербург> за 6 дней до 14-го декабря“.¹

Должно учесть и еще одно обстоятельство. Подав прошение об отпуске 26 ноября, Пущин выехал в Петербург, как сказано, только 5 декабря, несколько дней спустя после того как и Петербург и Москва присягнули Константину, и когда в Петербурге, как мы уже знаем, господствовали ликвидаторские настроения. А слухи об отречении от престола Константина Павловича стали известны Пущину только уже в Петербурге.² Почему же для М. В. Нечкиной „нет сомнений“ в том, что Пущину в это время был уже ясен „вопрос о неизбежности открытого выступления“?³

Дело объясняется гораздо проще. Переведясь в декабре 1823 г. в Москву, Пущин ровно через год поехал в отпуск в Петербург, где жила вся его семья.⁴ В 1825 г. он намеревался поступить по примеру прошлого года, и 26 июля писал брату Михаилу из Москвы в Петербург: „Я полагаю нынешний год месяца на два поехать в Петербург — кажется можно сделать эту дебошу после беспрестанных занятий целый год“.⁵ Когда время отпуска приблизилось, 9 ноября, И. Пущин снова уведомил брата: „В начале декабря непременно буду — в письме невозможно всего высказать: откровенно признаюсь тебе, что твое удаление из Петербурга для меня больше чем когда-либо горестно... Я должен буду соображаться с твоими действиями и увидеть, что необходимость заставит предпринять“.⁶

Опуская последнюю фразу, М. В. Нечкина относит и это письмо к числу доказательств преднамеренности поездки Пущина в Петербург. Между тем, как-раз эта последняя фраза весьма красноречиво свидетельствует о том, что Пущин имел в виду отнюдь не дела тайного общества, а какие-то личные дела, скорее всего тяжелое материальное положение семьи Пущиных, которое распутывать должны были старшие братья. Ибо никак нельзя предположить, чтобы свою заговорщицкую деятельность И. Пущин мог в какой-то мере соображать с действиями брата Михаила, до приезда И. Пущина в Петербург не знавшего даже о существовании тайного общества.

¹ Следственное дело И. И. Пущина, „Восстание декабристов“, т. II, 1926, стр. 236—237.

² „Восстание декабристов“, II, стр. 237.

³ Сам Пущин показывал на следствии: „Никакого намерения я не мог иметь, потому что 30-го ноября, по получении известия об учиненной в Петербурге присяге Константину Павловичу, в Москве также присягнули ему, а я отправился 5-го декабря“ („Восстание декабристов“, II, стр. 227).

⁴ „Имея здесь родных — отца, мать, сестер и братьев, — объяснял Пущин, — я приехал сюда для свидания с ними, как и прошлого 824-го года я был в декабре месяце здесь в Петербурге на 28 дней“ (там же).

⁵ И. И. Пущин. „Записки о Пушкине“, стр. 143.

⁶ Там же.

Таким образом, письмо к Пушкину Пущина, отправленное, согласно свидетельству Н. И. Лорера, еще из Москвы, никак не могло иметь целью привлечение поэта к участию в восстании. Но М. В. Нечкина, очевидно, предвидя возможность возражений, пытается корректировать рассказчиков и высказывает предположение, что „Пущин писал об этом Пушкину не из Москвы, а из Петербурга“. Мотивируется это, опять-таки, весьма сомнительными арифметическими расчетами, построенными сплошь на предположительных датах. Не более убедителен также второй и последний довод М. В. Нечкиной. „Поддержание связи между восставшим Петербургом и сочувствующими заговору в других местах, — пишет она, — входит в план действий И. Пущина — он пишет и рассылает письма с извещением о начале действий“. Отсюда прямой вывод, что Пущин „возможно и захотел, чтобы А. С. Пушкин не оставался чужд этому решительному моменту, и вызвал его письмом в Петербург“.

Но из всех, якобы, писавшихся и рассылавшихся Пущинным писем известно только одно его письмо в Москву к С. М. Семенову, в котором он извещал о решении выступить в день принесения новой присяги, добавляя в заключение: „Когда будете читать письмо, все будет кончено“. Семенов показал это письмо М. Ф. Орлову, М. Ф. Митькову и М. А. Фонвизину. По свидетельству последнего письмо было написано 11-го, а по свидетельству первого — даже 12 декабря, т. е. за день или два до восстания.¹ Отправленное, очевидно, с верной оказией, письмо попало к адресату, конечно, уже много позднее 14 декабря. „Предварительного уведомления о восстании войск в Петербурге я ни от кого не получал, — показывал на следствии М. А. Фонвизин. — 19-го декабря в обеденное время Семенов показал мне письмо, полученное им от Пущина, в котором сей уведомляет его о намерении, *не приглашая ни к помощи, ни к содействию*“.²

Излишне доказывать, что письмо Пущина к Семенову не имело целью поддержание связи. Пущин не мог, конечно, отправляя его, рассчитывать на помощь московских заговорщиков, заведомо зная, что ими письмо будет получено уже после восстания. Письмо, стало-быть, послано было не для деловой связи, а только для информации о петербургских событиях. Ссылаться на это письмо в качестве примера, подтверждающего возможность вызова Пущинным Пушкина, таким образом, нельзя, и доводы М. В. Нечкиной в пользу того, что письмо Пущина к Пушкину было написано не из Москвы, а из Петербурга, оказываются несостоятельными. Если вообще верить рассказу Лорера, то нет решительно никаких

¹ В обвинительном акте по делу Пущина сказано: „За два дни до 14-го декабря Пущин писал в Москву к Семенову...“ („Восстание декабристов“, т. II, стр. 237).

² „Восстание декабристов“, т. II, стр. 216, 217, 233; т. III, стр. 64, 74, 75, 81. Курсив мой. С. Г.

оснований сомневаться и в правильной передаче места отправления письма.¹

А. М. Эфрос мобилизует новые доводы в пользу вызова Пушкина Пушиным для участия в восстании. Анализируя рассказ Соболевского, он недоумевает, как Пушкин мог решиться поехать в Петербург в это тревожное время с единственной целью повидать друзей. А. М. Эфрос игнорирует тот факт, что Пушкин, сидя в Михайловском, не знал о междоусобице и о планах заговорщиков, а с воцарением Константина у него, как мы уже знаем, связывались самые радужные надежды.

По словам Соболевского, „Пушкин рассчитывал, что при таких важных обстоятельствах не обратят строгого внимания на его непослушание“. Но А. М. Эфрос доказывает, что полицейский надзор „в эти тревожные дни перед выступлением 14 декабря был усилен, и Пушкин об этом как раз знал по рассказу сбежавшего с перепугу из столицы повара П. А. Осиповой Арсения, вернувшегося в Тригорское около 10 декабря и сообщившего, что в «Петербургe бунт... всюду разъезды и караулы — насилу выбрался за заставу»“.

Тут самое удивительное в том, что автор не разобрался в цитате, которую сам же так тщательно выписал. Арсений никак не мог вернуться в Тригорское 10 декабря, выехав из Петербурга четырьмя днями позднее, 14 декабря. Все дело в том, что Арсений вернулся уже после 14 декабря, иначе он не мог бы рассказывать, что „в Петербурге бунт“. А об усилении полицейского надзора после восстания можно почерпнуть сведения далеко не только из рассказа Арсения.

Что же касается деятельности полицейского аппарата в преддекабрьские дни, то о расхлябанности его можно судить уже по одному тому, что полиция вовсе проглядела многочисленные собрания заговорщиков, происходившие в разное время в разных концах города и систематически у Рылеева.

Мы позволим себе не останавливаться на дальнейших столь же неубедительных доводах А. М. Эфроса, для иллюстрации которых сошлемся еще, например, на последний его довод. А. М. Эфрос полагает чрезвычайно многозначительным тот факт, что Пушкин в своих записках о Пушкине вовсе обошел молчанием „всем известный“ рассказ о несостоявшейся поездке в Петербург. Сделал он это, по мнению А. М. Эфроса, умышленно, ибо бегство Пушкина с дороги и уклонение от выполнения обещания, данного Пушкину, должны были набросить тень на политическую репутацию Пушкина. Однако, не трудно установить, что как-раз Пушкин

¹ Следует, однако, оговорить, что воспоминания Н. И. Лорера вообще отнюдь не отличаются непогрешимой точностью и потому не заслуживают абсолютного доверия. В частности, в других воспоминаниях своих о Пушкине Лорер допускает много грубейших ошибок, утверждая, например, что „многие из своих повестей Пушкин, под именем Белкина, написал в Каменке“ (Н. И. Лорер, назв. соч., стр. 140).

никак не мог узнать этот „всем известный“ рассказ о поездке и бегстве Пушкина, будучи сразу после восстания заключен в Петропавловскую крепость и затем, непосредственно оттуда, отправлен на каторгу в Сибирь.

6

Приходится, таким образом, убедиться в том, что исследователям ни в какой мере не удалось доказать политический смысл письма Пущина к Пушкину. Да и с какой стати стал бы Пущин вызывать Пушкина для участия в восстании? За многие годы своей заговорщицкой деятельности Пущин, сколько известно, принял в тайное общество одного Рыльева! Известно, что даже в атмосфере лихорадочной мобилизации сил в дни, непосредственно предшествовавшие восстанию, лично Пущин шел на это чрезвычайно неохотно. Попытка его вовлечь в восстание полковника л.-гв. Финляндского полка А. Ф. Моллера вызвана была тем, что от поведения Моллера в значительной мере зависело участие или неучастие в восстании Финляндского полка. За несколько дней до восстания Пущин принял в общество полковника А. М. Булатова, командовавшего армейским полком, но, по старым связям, пользовавшегося широкой популярностью в гвардейских солдатских массах, вследствие чего Булатов даже намечался на роль одного из руководителей восстания. Равным образом, тоже после больших колебаний, Пущин, уже за два дня до выступления, решился открыться брату, Михаилу, который командовал хотя и небольшой, но самостоятельной воинской частью — конно-пионерным батальоном.

Очевидно, что, не желая подвергать лишних людей жестокому риску, Пущин остерегался вовлекать в заговор новых лиц и решался на это только в тех случаях, когда за спиной вновь принимаемого стояла реальная воинская сила, служившая лишней гирей на весах победы или поражения.

Но зачем мог понадобиться Пущину Пушкин, еще один „фрачник“ в рядах „мятежников 14 декабря“? Если в прежние годы Пущин успокаивал Пушкина тем, что своими революционными стихами „он лично, без всякого воображаемого им общества, действует как нельзя лучше для благой цели“, то ведь 14 декабря восставшим было уже не до стихов, и дело решали не стихи, а оружие.

М. В. Нечкина пытается доказать, что „до вечера 13 декабря Пущин вовсе не думал о неизбежном поражении“. В подтверждение она ссылается на кипучую деятельность Пущина в декабрьские дни и на то, что „и сам Пущин в показаниях следствию определенно и ясно говорит о своем убеждении в необходимости восстания“.¹ Действительно 6 мая 1826 г. Пущин показал: „Я был такого мнения, что должно действовать, услышав о надежде, которую имеют на некоторые полки“.² Но из этого

¹ М. В. Нечкина, назв. соч., стр. 23.

² „Восстание декабристов“, т. II, стр. 227.

показания еще вовсе не следует, чтобы Пущин верил в успех восстания. Точно так же рассуждали тогда очень многие петербургские заговорщики, вне зависимости от шансов на успех, понимавшие необходимость выступления, потому что другого такого случая не дождешься, и еще потому, что ножны были сломаны и отступать было поздно. „Мы мало уверены были в наших силах... — вспоминал Н. А. Бестужев. — Часто в разговорах наших сомнение насчет успеха выражалось очень положительно. Не менее того, мы видели необходимость действовать...“¹ Столь же выразительны и воспоминания Е. П. Оболенского: „Не стану говорить о возможности успеха, едва ли кто из нас мог быть в этом убежден. Каждый надеялся на случай благоприятный, на то, что называется счастливою звездою; но, при всей невероятности успеха, каждый чувствовал, что обязан обществу исполнить свое назначение, и с этими убеждениями в неотразимой необходимости действовать каждый стал в ряды“.²

Вопреки всему этому, М. В. Нечкина убеждена в том, что Пущин верил в успех восстания и на основании этого считает вполне естественным его желание приобщить Пушкина к решительным событиям. Мы готовы были бы согласиться с М. В. Нечкиной, будь действительно доказан оптимизм Пущина в декабрьские дни. В таком случае не пришлось бы удивляться его стремлению к тому, чтобы в первых рядах восставших стал опальный великий поэт и друг, чтобы Пушкин вознесен был на гребне победоносной революции.

Но Пущин отнюдь не принадлежал к числу оптимистов. В подтверждение своей точки зрения М. В. Нечкина ссылается на его уже цитированную фразу в письме к Семенову: „когда будете читать письмо, все будет кончено“, свидетельствующую о вере Пущина в то, что восстание „одним ударом может все разрешить“. Восстание, само собою разумеется, должно было все разрешить, но в какую сторону — успеха или поражения — этого Пущин не знал или, во всяком случае, своих взглядов не высказал. На следствии он объяснял, что написал эту фразу потому, что „при отправлении письма пронесся слух о скором назначении дня присяги; в окончании же прибавил, *что успех в руках бога*“.³

Не надо ли это последнее замечание понимать в том смысле, что Пущин вынужден был возлагать надежду на бога, изверившись в людях и в материальных силах восстания?

¹ „Воспоминания Бестужевых“. Под редакцией М. К. Азадовского и И. М. Троицкого М., 1931, стр. 82.

² „Воспоминания кн. Е. П. Оболенского“, „Общественные движения в России в первую четверть XIX в.“, СПб., 1905, стр. 259. А. Е. Розен вспоминал, что Рылеев говорил ему: „Да, мало видов на успех, но все-таки надо, все-таки надо начать“ (А. Е. Розен. „Записки декабриста“, СПб., 1907, стр. 63).

³ „Восстание декабристов“, т. II, стр. 217. Курсив мой. С. Г.

Заговорщики вынуждены были идти ва-банк, потому что иного выхода у них не оставалось. Но можно с полной уверенностью сказать, что, при таких обстоятельствах, Пущин не стал бы требовать от Пушкина совершенно бесцельной жертвы, не мог рисковать головой Пушкина во имя того дела, от которого он вполне сознательно в течение многих лет держал Пушкина в стороне.

Существовало ли это письмо Пущина к Пушкину на самом деле, определенно сказать никогда не удастся. Если оно было получено Пушкиным, то он, конечно, уничтожил его после петербургских событий и ареста Пущина. Но даже в том случае, если Пущин действительно писал Пушкину о своем желании повидаться с ним в Петербурге, остается непонятным, почему это непременно надо ставить в связь с делами тайного общества.

„Ясно, что речь шла не о простом свидании друзей, — удостоверяет М. В. Нечкина, — такое свидание было в январе 1825 г., а вызвать опального Пушкина из деревни просто для дружеской встречи Пущин, явное дело, не мог“.¹ Но то, что так ясно для М. В. Нечкиной, для нас остается далеко не ясным. „Для всякого человека, свободного от желания во что бы то ни стало отыскивать задние мысли там, где их нет, — замечает Г. Чулков, — совершенно ясно, что Пущин, уезжая из Москвы в Петербург после смерти Александра I, надеялся, что новые политические условия позволят Пушкину освободиться от деревенской ссылки и приехать в столицу. Никакого вызова Пушкина ко дню восстания в сообщении Лорера не имеется. Пущин просто свидетельствует, что он будет рад увидеться с Пушкиным, когда это будет возможно“.²

С этим заключением нельзя не согласиться. Остается только недоумевать, как М. В. Нечкина могла истолковать пожелание Пущина, ехавшего в столицу, „увидаться там с Александром Сергеевичем“, как *вызов* Пушкина в Петербург.

7

Итак, от всех сенсационных „открытий“ последних лет, в конечном итоге, не остается ровно ничего. Нам надлежит теперь разобраться только в правдоподобии первоначальной версии о несостоявшейся поездке Пушкина в Петербург.

Согласно версии Соболевского—Погодина Пушкин должен был приехать в Петербург поздним вечером 13 декабря. Зимняя дорога из Михайловского в Петербург занимала около полутора суток, если не считать задержек на станциях.³ На эти задержки надо накинуть еще сутки.

¹ М. В. Нечкина, назв. соч., стр. 23.

² Георгий Чулков, назв. соч., стр. 213.

³ А. И. Тургенев, отвозивший тело Пушкина в Святогорский монастырь, выехал из Петербурга 3 февраля в полночь. 4 февраля, к 9 часам вечера, он приехал в Псков. Пробыв там 4 часа, он выехал в 1 час пополуночи на Остров и в 3 часа пополуночи, 5 февраля,

Стало-быть, Пушкин должен был выехать из Михайловского 11 утром.¹ Как кажется, в это самое время Пушкин занят был „Графом Нулиным“. Из черновой рукописи видно, что поэма эта окончена 13 декабря, а в другом месте Пушкин отметил, что написал ее в два утра, т. е. 12 и 13 декабря.

„В конце 1825 года, — писал Пушкин в заметках о происхождении замысла „Графа Нулина“, — находился я в деревне. Перечитывая „Лукрецию“, довольно слабую поэму Шекспира, я подумал, — что если б Лукреции пришла в голову мысль дать пощечину Тарквинию? Быть может, это охладило б его предприимчивость и он со стыдом принужден был отступить? Лукреция б не зарезалась, Публикола не взбесился бы, Брут не изгнал бы царей, и мир и история мира были бы не те. ... Мысль пародировать историю и Шекспира мне представилась. Я не мог воспротивиться двойному искушению и в два утра написал эту повесть“.

Отсюда следует, что несостоявшаяся поездка Пушкина в Петербург приходится как-раз в промежутке между перечитыванием „Лукреции“, размышлениями о пародийном использовании шекспировской темы и созданием „Графа Нулина“. То есть, примерно, так: Пушкин перечитал „Лукрецию“, задумался было о пародийности этого сюжета, но стремление поехать в Петербург, где назревали крупнейшие политические события, оказалось сильнее его литературных замыслов. Он отложил перо и велел закладывать. Затем — пресловутые зайцы, заболевший кучер, духовное лицо... Встревоженный поэт возвращается обратно, садится за стол и в два утра пишет „Графа Нулина“.

Решение поехать в Петербург могло явиться у Пушкина лишь в результате величайшего душевного напряжения, в том случае, если бы он, например, действительно, уловил какие-либо слухи о готовящихся в Петербурге событиях. И психологически совершенно невероятно, чтобы это не нашедшее выхода душевное напряжение разрядилось „Графом Нулиным“. Пушкин сам ощущал и отметил противоречие между петербургскими событиями и его занятиями в это время. В отмеченных выше его заметках читаем: „Я имею привычку на моих бумагах выставлять год и число. Гр. Нулин писан 13 и 14 декабря. Бывают странные сближения“.

14-е число, противоречащее датировке черновой рукописи, выставлено было Пушкиным, должно быть, для усиления драматичности сопоставления. Во всяком случае, совершенно очевидно, что до самого 14 декабря Пушкин решительно ничего не знал о подготовлявшихся в столице событиях и в мыслях не имел ехать в Петербург.

прибыл в Тригорское. Таким образом, путь от Петербурга до Пскова занял 21 час, от Пскова до Тригорского — 14 часов, а всего 35 часов.

¹ По Соболевскому тоже выходит, что Пушкин мог выехать не ранее 11-го, так как только „около 10 декабря“ он узнал о событиях, побудивших его к этой поездке.

В пользу разбираемой версии говорит многократное повторение ее в воспоминаниях современников. Но, помимо того, что эту версию мы узнаем из вторых рук (а у Лорера из третьих), почти все повторения ее тесно связаны между собою. Соболевский ссылается на рассказ Мицкевича, Погодин заимствует полностью рассказ Соболевского, Вяземский ограничивается подтверждением рассказа Соболевского—Погодина. Все же они впервые услышали этот рассказ едва ли не от того же Льва Пушкина, слов которого пересказал историю несостоявшейся поездки Пушкина Н. И. Лорер. Определенное указание на то, что именно Лев Пушкин занимался еще в 1826 г. популяризацией этого рассказа в Петербурге имеется в воспоминаниях И. П. Липранди, приехавшего в столицу в апреле 1826 г.

„Лев Сергеевич... — рассказывает Липранди, — на вопрос мой о брате сказал, что получил от него пресмешное письмо, в котором уведомляет, что, будто-бы, выезжая из дому, в воротах встретил попа и, не предчувствуя от сего добра, возвратился и пр.“ Липранди умалчивает о смысле и конечной цели этой поездки, однако его замечание: „Я посоветовал Льву Сергеевичу не рассказывать этого...“ — вскрывает политическое содержание данного эпизода. Будь письмо только „пресмешным“, его не надо было-бы скрывать. Совершенно очевидно, что речь идет о той же поездке Пушкина „к декабристам“, известие о которой должно было произвести крайне невыгодное впечатление в тот самый момент, когда решалась дальнейшая судьба поэта, почему Липранди и советовал Льву Пушкину не разглашать содержания этого письма.

„Но, — заключает Липранди, — кажется, это было сделано уже не мне одному, потому что я слышал об этом и от других, конечно, с комментариями“.¹ Отсюда с большою долей вероятности можно заключить, что и рассказы Соболевского—Вяземского восходят непосредственно к Льву Пушкину, сообщившему это известие, естественно, прежде всего ближайшим друзьям своим и своего брата. Очевидно отсюда еще и то, что уже тогда, в 1826 году, до возвращения Пушкина из ссылки, история эта стала обрастать фантастическими подробностями.

Необходимо учесть и очевидное наличие в этом рассказе элементов устной новеллы. Зайцы — обычный сюжет автобиографических рассказов Пушкина. Достаточно напомнить письмо его к жене из Симбирска от 14 сентября 1833 г.: „Опять я в Симбирске. Третьего дня, выехав ночью, отправился я к Оренбургу. Только выехал на большую дорогу, заяц перебежал мне ее. Чорт его побери, дорого бы дал я, чтоб его затравить. На третьей станции стали закладывать лошадей — гляжу: нет ямщиков — один слеп, другой пьян и спрятался. Пошумев изо всей мочи, решил я

¹ И. П. Липранди. „Из дневника и воспоминаний“, „Русский Архив“, 1866, стб. 1488.

я возвратиться и ехать другою дорогой; по этой на станциях везде по 6 лошадей, а почта ходит четыре раза в неделю. Повезли меня обратно — я заснул — просыпаюсь утром — что ж? не отъехал я и пяти верст. Гора — лошади не везут — около меня человек 25 мужиков. Черт знает, как бог помог — наконецъ взъехали мы, и я воротился в Симбирск. Дорого бы дал я, чтоб быть борзой собакой; уж этого зайца я бы отыскал“.

Близость обоих повествований столь очевидна, что не нуждается в комментариях.¹

Рассказ М. И. Осиповой является, по существу, единственным свидетельским показанием. В отличие от всех прочих рассказчиков, она передает о том, чему сама была свидетельницей. И этот рассказ ее, по нашему мнению, заслуживает наибольшего доверия.

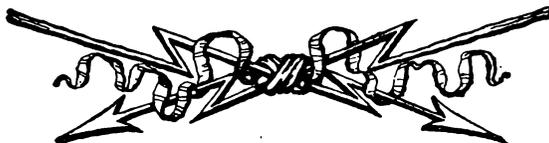
Ничего не зная о междуцарствии и о революционных планах заговорщиков, Пушкин первое известие о восстании получил от Арсения. Арсений выехал из Петербурга, повидимому, в самый день 14 декабря, прежде разгрома мятежников. Поэтому о бунте он рассказывал в настоящем времени („... в Петербурге бунт, всюду разъезды и караулы...“). Зная от Пущина о существовании тайного общества, Пушкин не мог сомневаться в том, кем организовано восстание („... говорил кое-что о существовании тайного общества...“). Не зная о том, что восстание уже подавлено, рисуя в своем воображении картины петербургского мятежа, возглавляемого его друзьями, Пушкин, естественно, мог мгновенно загореться желанием стать в ряды мятежников и разделить участь „друзей, братьев, товарищей“.

В таком случае, что же побудило Пушкина вернуться во-свояси? Это может быть объяснено по-разному. Какой-нибудь встречный проезжий из Петербурга мог сообщить ему о подавлении восстания. Сам он мог рассчитать в пути, что никак не успеет во время, что та или иная развязка должна наступить прежде его приезда: Арсений, выехав из Петербурга 14 декабря, должен был вернуться в Тригорское числа 17-го, а Пушкин, выехав на следующий день, 18-го, добрался бы до Петербурга только 20 декабря. Может быть, и запоздалая осмотрительность побудила Пушкина отказаться от смелого намерения.

Но и вернувшись в Михайловское, Пушкин оставался всецело во власти декабрьских событий. Напряженное состояние его долго не

¹ Ср. в письме Пушкина к жене от 2 октября 1833 г. из Болдина: „Въехав в границы Болдинские, встретил я попов, и так же озлился на них, как на Симбирского зайца“. Тот же заяц всплывает еще раз в рассказе писательницы Т. Толычевой (Е. В. Новосильцевой), болдинской соседки Пушкина. В 1830 г., приглашенный к обеду Пушкин оправдывался в опоздании: „Я выехал из дому и был уже недалеко отсюда, когда проклятый заяц пробежал поперек дороги. Ведь вы знаете, что я юридивый: вернулся домой, вышел из коляски, а потом сел в нее опять и приехал“ („Русский Архив“, 1877, II, стр. 99).

ослабевало, красноречивыми свидетелями чего служат его письма к Жуковскому, Дельвигу, Плетневу. После долгого молчания, во второй половине января, он объяснял Жуковскому: „Я не писал к тебе... потому что мне было не до себя“.





РЕЦЕНЗИИ
И
ОБЗОРЫ



К постановке проблемы реализма в пушкинской литературе

Д. Благой. „Развитие реализма в творчестве Пушкина“ („Литературная Учеба“, 1935, № 1). А. Цейтлин. „Наследство Пушкина“ („Литературное Наследство“, 1934, № 16—18).
И. Виноградов. „Путь Пушкина к реализму“ (там же).

Вопрос о реализме Пушкина становится одной из центральных тем пушкиноведения. Перед нами явление исторически чрезвычайно сложное. Ни Пушкин, ни его современники не употребляли слова реализм; они пользовались иным кругом понятий для обозначения фактов, которым мы сейчас присваиваем имя реализма, потому что в исторической перспективе мы видим, куда эти факты вели, в истоке каких явлений они стояли, с каким движением обще-европейской культуры — великим представителем которой явился Пушкин — эти факты были связаны. Терминологическая зыбкость порождает опасность упрощения; слишком легко не заметить специфики пушкинского реализма, механически перенести на Пушкина черты позднейших реалистических систем.

На материале нескольких новейших пушкиноведческих работ, посвященных проблеме реализма Пушкина, мы хотим показать, с какими недостаточными средствами, как небрежно и вместе с тем как решительно даются ответы на вопрос, который, казалось бы, требует от историка литературы величайшего чувства ответственности.

Прежде всего, реализм превращается в догматическое понятие, лишенное конкретного исторического содержания. Дело представляется, примерно, так: в литературе что реалистично, то хорошо; что хорошо, то реалистично. Пушкин — величайший русский поэт; проявляя свое положительное отношение к Пушкину, литературоведы стремятся найти у него реализма как можно больше и на как можно более ранних этапах творчества: „Уже в ранний классический период своей деятельности, он время от времени создает реалистические описания“ (А. Цейтлин). „Тенденции к реалистической передаче действительности находим уже в самых ранних произведениях Пушкина“ (Д. Благой).

Пушкин раннего периода, это Пушкин — арзамасец, карамзинист. Карамзинисты, осуществлявшие в России тот процесс очищения и рационализации языка, который имел место во Франции еще в XVII веке, были связаны с традициями французского классицизма. Сейчас это общеизвестно. Таким образом, исследователю прежде всего приходится столкнуться с вопросом о роли классицизма в творческом развитии Пушкина. Д. Благой, например, при постановке этого вопроса исходит из двух противоречащих друг другу положений.

С одной стороны подчеркивается, что и в классической литературе XVIII века уже существовали элементы реализма; с другой стороны, чтобы доказать, что лицейский и послелицейский Пушкин выделялся среди карамзинистов особыми реалистическими

задатками, Д. Благой создает у читателя впечатление, что теоретики классицизма предписывали поэту обязательное искажение действительности: „Теоретики классицизма не только не требовали от одописца точного соответствия действительности, но считали такую точность прямым пороком. Буало решительно заявлял, что плох тот поевд, который

... подвиг нам поет, содеянный мечом,
Справляясь с фактами, и с местом и с числом.

Одописцу, который хочет соблюдать в своих стихах верность действительности, Аполлон отказывает, по утверждению того же Буало, в „священном творческом огне“.

Это — о Буало, создавшем формулу, которая давно уже стала хрестоматийной:

Rien n'est beau que le vrai: le vrai seul est aimable;
Il doit régner partout et même dans la fable. (Épître IX.)

Французский классицизм — система, выразившая культуру двух веков, вместившая Расина и Корнеля, Вольтера и Шенье, — это явление такого масштаба, что не следовало бы давать о нем читателю „Литературной Учебы“ столь неточные сведения, начиная с неточного перевода. Если цитата должна охарактеризовать воззрения крупнейшего теоретика французского классицизма, лучше было бы привести эту цитату в подстрочном прозаическом переводе. Для устранения возможных сомнений, приведу соответствующее место в подлиннике:

Loin ces rimeurs craintifs, dont l'esprit flegmatique
Garde dans ses fureurs un ordre didactique;
Qui, chantant d'un héros les progrès éclatants,
Maigres historiens, suivront l'ordre des temps.
Ils n'osent un moment perdre un sujet de vue;
Pour prendre Dôle, il faut que Lille soit rendue,
Et que leur vers exact, ainsi que Mézeray,
Ait fait déjà tomber les remparts de Courtrai.
Apollon de son feu leur fut toujours avare. (L'art poétique, Chant II.)

Совершенно очевидно, что Буало протестует здесь не против соблюдения верности действительности, а против робости воображения, мелочности и педантизма. Д. Благой характеризует отношение Буало к оде, но в таком контексте, что читатель, особенно малоподготовленный, на которого рассчитана статья, непременно распространит эту характеристику на поэтику классицизма в целом. Мне кажется, нет нужды пространно доказывать, что рационалистическая поэтика, выросшая на почве культа логики и здравого смысла, не могла предписывать умышленное „искажение действительности“ (другой вопрос — какова объективная познавательная ценность и объективная реальность того соответствия действительности, какое могло осуществляться средствами классицизма). В „L'art poétique“ Буало настойчиво возвращается к требованию „правдоподобия“.

Jamais au spectateur n'offrez rien d'incroyable
Le vrai peut quelquefois n'être pas vraisemblable.
Une merveille absurde est pour moi sans appas:
L'esprit n'est point ému de ce qu'il ne croit pas.
.....
Toutefois aux grands coeurs donnez quelques faiblesses.
Achille déplorait, moins bouillant et moins prompt:
J'aime à lui voir verser des pleurs pour un affront.
A ces petits défauts marqués dans la peinture,
L'esprit avec plaisir reconnaît la nature.
.....

Conservez à chacun son propre caractère.
 Des siècles, des pays, étudiez les moeurs;
 Les climats font souvent les diverses humeurs.

 Que la nature donc soit votre étude unique,
 Auteurs qui prétendez aux honneurs du comique.

 Jamais de la nature il ne faut s'écarter.
 Contemplez de quel air un père dans Terence
 Vient d'un fils amoureux gourmender l'imprudence;
 De quel air cet amant écoute ses leçons
 Et court chez sa maîtresse oublier ces chansons.
 Ce n'est pas un portrait, une image semblable,
 C'est un amant, un fils, un père véritable.

Как известно, даже три единства Буало обосновывал тем, что „нестественно“, чтобы герой в первом действии был младенцем, а в последнем — взрослым мужчиной, или чтобы действие переносилось из одной местности в другую.

Конечно, классическое „подобие прекрасной природе“ имеет мало общего с реализмом XIX века; это не принцип отражения конкретной единичной вещи, но принцип соответствия известным логическим категориям, устанавливаемым познающим разумом. Если игнорировать в классицизме эту рационалистическую познавательную основу, если огульно сводить классицизм к „надутости“ и витийству, — то непременно придется целый ряд явлений, органически принадлежащих классической эстетике, вынести за ее пределы и назвать их другими именами; например, именем реализма, к которому они не имеют отношения. Так, Д. Благой ссылается на известные замечания Пушкина на полях „Опытов“ Батюшкова: „В другом стихотворении Батюшкова он же с неодобрением отметил строку: «Как ландыш под серпом убийственным жнеца», приписав на полях: «Не под *серпом*, а под *косой*: ландыш растет в лугах и рощах — не на пашнях засеянных»“. Д. Благой истолковывает эту запись, как борьбу Пушкина-реалиста с „неправдоподобием, несоответствием изображаемой действительности...“ Между тем, подобные толкования могут только затемнить вопрос о природе пушкинского реализма. Вот, например, другая цитата:

„В стенах внезапно укрепленна,
 И зданиями окруженна,—

что зданиями окруженна, я знаю, а что в стенах укрепленна — этого я не понимаю; еще бы мне понятнее было, ежелиб было сказано: стенами укрепленна; котя Нева стенами не укрепленна, кроме крепости. А укреплен Петербург, да не стенами, Кронштадтом...“

„И в поле весь свой век живет;

В поле весь свой век живет пастух, а войны в поле выходят, а живут часто и не в полях...“ и т. д.

Эти замечания, — совершенно так же как пушкинские относительно серпа и косы, — трактуют о правдоподобии реалей; находятя же они в „Критике на оду“, полемической статье Сумарокова, направленной против Ломоносова и написанной, вероятно в 1747 г., во всяком случае, не позднее 1751 г.

Требование правдоподобия и логического соотношения отображаемых реалей — один из основных принципов классицизма, в полной мере унаследованный карамзинистами. Переписка арзамасцев изобилует взаимными критическими разборами, в которых на ряду с замечаниями грамматического и чисто стилистического порядка огромную роль играет

именно *правка реалий*. Такой правкой занимались и Жуковский, и Вяземский, и А. И. Тургенев, и молодой Пушкин.

Классическое требование правдоподобия служило полемическим оружием очень долго — от Сумарокова до 30-х годов, когда его обратили против романтизма. В 1827 г. в „Атенее“ появился резко враждебный разбор „Евгения Онегина“, подписанный буквой „В“:

*„На красных лапках гусь тяжелый
Задумал плыть по лону вод.*

Не уплывет далеко на красных лапках. — Неверно также выражение: «плыть по лону», лону — означает глубину, недра.

*Скакать верхом в степи суровой?
Но конь, притупленной подковой
Неверный зацепляя лед,
Того и жди, что упадет.*

Эпитет *неверный* ко льду едва ли *верен*. Лошадь падает не от того, что *цепляет лед*, а потому, кажется, что не *цепляет*, скользит⁴.

Если последовательно придерживаться точки зрения Д. Благого, то окажется, что В., сотрудник „Атенее“, — очевидно реалист — громит автора „Евгения Онегина“ за „неправдоподобие“ и „несоответствие изображаемой действительности“. Из тупиков этого рода наша пушкинская литература и не выйдет, пока не откажется от догматического понимания пушкинского реализма.

Все это относится не только к теоретическим высказываниям Пушкина, но и, в особенности, к его поэтической практике. Д. Благой пишет о пушкинской „Деревне“: „... стили его резко ломается. Там, где он описывал пейзаж, природу, все было картинно, просто, точно, конкретно: парус рыбака, два озера, деревенские хаты. Поэт живописует здесь кистью художника-реалиста. Наоборот, там, где он говорит об ужасах рабства, описания сразу становятся абстрактными (характерно, что самая картина рабской России заимствована Пушкиным, как это установлено исследователями, из стихов и писем Парни о рабстве негров).¹ Взамен предметов и лиц на сцену являются столь излюбленные повзней XVIII в. олицетворения: „Здесь *барство дикое* ... присвоило себе», «здесь *рабство тощее* влечится по браздам ...» (барство, а не баре, помещики; рабство, а не рабы). Архаизируется, переполняется старыми церковно-славянскими словами и выражениями самый словарь (почто, витийство, манье и т. п.). Вся эта часть стихотворения звучит в типичном стиле классической оды XVIII в.“ Д. Благой цитирует — в качестве наиболее реалистических — следующие строки из „Деревни“:

Везде передо мной подвижные картины:
Здесь вижу двух озер лазурные равнины,
Где парус рыбака белеет иногда,
За ними ряд холмов и нивы полосаты,
Вдали рассыпанные хаты;
На влажных берегах бродящие стада,
Овины дымные и мельницы крылаты ...

¹ Д. Благой очень правильно сделал, что счел нужным ознакомить читателя „Литучебы“ с этим положением, высказанным в свое время С. А. Венгеровым. Зато А. Цейтлин придерживается другой точки зрения; не вступая, впрочем, в полемику с предшественниками, он сообщает: „В «Деревне» он переходит к отражению современности и создает в этом произведении хотя и не свободные от сентиментальной окраски, но вместе с тем достаточно реалистические картины ужасов крепостнического произвола“.

Если в „Деревне“ картины рабской России заимствованы из Парни, то подобный пейзаж мог быть свободно заимствован из описательной поэзии конца XVIII в. Делиль, — тот самый Делиль, к которому Пушкин впоследствии относился отрицательно, как к поэту мелочному и вычурному, типичному представителю позднего французского классицизма, — Делиль, особенно в своей знаменитой поэме „Сады“, как-раз отличается детальностью и предметностью описаний.

Là, d'un chemin public c'est la scene mouvante;
 C'est le boeuf matinal qui suit le soc tranchant;
 C'est le fier cavalier qui, distrait en marchant,
 Du coursier, dont sa main abandonnait l'allure,
 A l'aspect d'un passant relève l'encolure;
 C'est le piéton modeste, un bâton à la main,
 A qui la rêverie abrège le chemin;
 C'est le pas grave et lent de la riche fermière;
 C'est le pas lesté et vif de la jeune laitière,
 Qui, l'habit retroussé, le corps droit, va trottant,
 Son vase en équilibre, et chemine en chantant;
 C'est le lourd chariot, dont la marche bruyante
 Fait crier le pavé sous sa charge pesante;
 Le char léger du fat qui vole en un instant
 De l'ennui qui le chasse à l'ennui qui l'attend.
 Regardez se moulin, où tombent en cascades,
 Sur l'arbre de Cérès, les ondes des Naïades,
 Tandis qu'au gré d'Éole, un autre avec fracas
 Tourne en cercle sans fin des gigantesques bras.
 Plus loin, c'est un vieux bourg que des bois environnent,
 Là, de leurs longs crénaux les cités se couronnent,
 Et le clocher, où plane un coq audacieux,
 Court en sommet aigu se perdre dans les cieux.

„Сады“ написаны в 1782 г.

Из множества возможных приведу еще одну цитату:

Как волжанин, люблю близъ вод искать пролады;
 Люблю с угрюмых скал гремящи водопады;
 Люблю и озера спокойный, гладкий вид,
 Когда его стекло вечерний луч златит.
 А временем идя — куда и сам не зная —
 Чрез колмы, чрез леса, не видя сеням края,
 Под сводом зелени, вдруг на свет выхожу,
 И новую для глаз картину нахожу:
 Открытые поля под золотою нивой!
 Везде блестят серпы в руке трудолюбивой!
 Какой приятный шум! какая пестрота!
 Здесь взрослый, там старик, с ним рядом красота;
 Кто жнет, кто вяжет снопы, кто подбирает класы,
 А дети между тем, амуры светловласы,
 Украдкой по снопу, играючи, берут,
 Кряхтят под ношею, друг друга ею прут,
 Валяются, встают и, усмотря цветочик,
 Все врознь к нему летят, как майский ветерочик.

Здесь тоже озеро, закат, серпы, снопы, дети, которые „кряхтят“, „валяются“ и даже „прут“ друг дружку снопами — и прочий „реализм“ (за вычетом амуров и майских ветерочков) — и все это принадлежит Ивану Ивановичу Дмитриеву („Послание Карамзину“).

Ничего не поделаешь — нам и придется признать Дмитриева реалистом, если мы станем на путь механического выделения и сложения отдельных слов. Этот путь и приводит к тому, что в стихотворении „Деревня“ выражения „барство дикое“ и „рабство тощее“ — олицетворения, излюбленные поэзией XVIII в. — относятся к классицизму, а нивы, мельницы, стада, вообще предметы — уже к реализму. Подобные ошибки неизбежны, поскольку пушкинский реализм рассматривается вне вопроса о целостном миропонимании поэта и вне анализа стиля, понимаемого как система словесного выражения идеологии. К сожалению, конкретный стилистический анализ по большей части отсутствует в работах, затрагивающих вопрос о реализме Пушкина, если не считать статьи в „Литературной энциклопедии“, где этот анализ, к сожалению, присутствует. Там, между прочим, сказано, что Пушкин, будучи реалистом, изображал преимущественно осеннее время года как... наиболее распространенное в природе. „У Пушкина преобладает осенний пейзаж («Станционный смотритель», «Граф Нулин», «Домик в Коломне»), образующий собою дождливый и грустный фон действия, но это характерно для реалиста, тяготеющего к обыденному, типическому в природе“. Впрочем, „Литературная энциклопедия“, в той же статье высказывает и другую точку зрения: „Пушкин далек от предпочтения какого-либо времени года: в «Онегине» действие происходит в различные месяцы, всякий раз глубоко соответствуя переживаниям героев (начало романа — летом, «задумчивая лень» Онегина — осенью, сны Татьяны и смерть Ленского — зимой, *возникновение у Онегина страсти к Татьяне — весной*. . .“).

Изучение пушкинского стиля, на том или ином его творческом этапе, как целостной мировоззрительной системы сделает невозможным извлечение из юношеских стихотворений поэта отдельных слов и фраз, в качестве „реалистических“, — потому что тогда раскроется принцип словоупотребления. Молодой Пушкин исходит из условного, специально-поэтического языка карамзинистской лирики, языка повторяющихся формул, в котором каждое слово тяготело к абстрактности, к утрате своего предметного значения и превращению в знак привычных поэтических представлений. Вот почему, в частности, не следует торопиться с обнаружением реалистических элементов в дружеских посланиях карамзинистов; очевидно, что „треногий стол“ или „хата“ батюшковских „Пенатов“ — это тоже *знаки*, имеющие к реальному дворянскому быту не более близкое отношение чем лира, меч или Пегас.

Принято отмечать, что уже в южных поэмах Пушкина есть описания. Естественно: без обозначения конкретных предметов вообще не обходилось ни одно повествовательное произведение. Но эти обозначения еще суммарны, еще вещи даются в своих наиболее общих, так сказать аналитических, признаках. Чтобы понять качественно нового Пушкина 30-х годов — нужно сравнить описательные места „Кавказского Пленника“ или „Бахчисарайского Фонтана“ с поразительно уточненной детализацией вещей и душевных состояний (опять-таки в противовес суммарным элегическим дружбе, любви, разлуке и проч.) — хотя бы в поздней лирике Пушкина („Осень“, „Когда за городом задумчив я брожу“ и т. д.).

Но, конечно, конкретный анализ не к чему, если реализм берется не как миропонимание, не как художественный метод, но как патент, выдаваемый „хорошему писателю“. Тот реализм, который стремятся во что бы то ни стало найти у лицейского Пушкина и у Пушкина 1817—1820 годов, можно с неменьшим и даже большим успехом найти у его дяди Василия Львовича, у Сумарокова, у В. Майкова (разумеется, речь идет не о сравнении художественного качества). Если это не случилось, то потому лишь, что этих писателей никто не считает нужным награждать патентом. Но Пушкину оказана плохая услуга. Выходит, что реализм существовал уже в классицизме, что Пушкин сам был реалист по природе и от молодых ногтей; только сначала реализма в нем было мало, а потом, с годами, становилось все больше и больше; сначала он был реалистом, скажем, в первой и третьей строфе стихотворения, а во второй еще классиком или романтиком. Вот эта картина благополучного количествен-

ного наращивания реализма, чуть ли не биологически присущего поэту, разумеется не имеет ничего общего с подлинным творческим путем Пушкина, путем великих трудностей и великих исканий. Объявить шестнадцатилетнего Пушкина органическим реалистом — значит уничтожить величайшую заслугу поэта, заслугу гениального переворота, выхода к принципиально новому пониманию и отображению мира.

Чтобы понять во всей его специфичности тот реалистический метод, который Пушкин создал в конце своего творческого пути, приходится отправляться и от проблематики романтизма, захватывающей Пушкина в 20-х годах и, в первую очередь, от эстетики классицизма, формировавшей его раннее творчество. Теоретически известно, что в основе этой эстетики лежало жанрово-иерархическое мышление, соотносительное феодальным представлениям о незыблемой иерархии социальных ценностей (отсюда теория трех „штилей“). Между тем на практике у нас слишком часто забывают о том, что поэтика классицизма допускала и даже обязательно предполагала конкретный, бытовой и даже „простонародный“ материал, но только прикрепляла его к определенному месту своей социально-эстетической шкалы, к „низшим жанрам“. Вот почему предвзятые поиски реализма в комедии, басне, сатире XVIII в. спутывают историческую перспективу и затемняют социальную сущность явления (ведь помимо всего прочего, реализм окажется тогда орудием феодальной культуры). Когда реализм становится миропониманием и методом, он осмысляет действительность в целом. Классицизму, напротив того, совершенно не была свойственна концепция единой действительности. В классицизме эмпирическая действительность прежде чем стать эстетическим объектом рассекается и разносится по отдельным категориям, устанавливаемым разумом и иерархически между собой соотношенным. В классицизме бытовое и конкретное — только один из возможных аспектов, и область его применения строго предопределена шкалой социальных ценностей. Так вот, когда эстетическая система предписывает изображать мужика одним способом, а барина — другим, — можно говорить о бытовых элементах этой системы, но нельзя говорить о реализме, как о миропонимании, как о стиле.¹

Зато в тех случаях, когда русский классицизм говорил бытовым языком, он говорил с чрезвычайной резкостью. В этом отношении характерна русская героико-комическая поэма, закономерно включавшаяся в уложение классицизма и восходящая к шуточным поэмам Скаррона и Буало. Василий Майков был сумароковцем, т. е. принадлежал к литературной группе, наиболее последовательно ориентировавшейся на французский классицизм; он писал торжественные оды, что не помешало ему написать в высшей степени грубую поэму „Елисей или раздраженный Вах“:

Чтоб Зевс мой был болтун, Ерий шальной детина,
Нептун, как самая преглупая скотина,
И, словом, чтоб мои богини и божки
Изнадорвали всех читателей кишки.

.....

Там много вросло расквашенных носов,
Один был в сиячках, другой без волосов,
А третий отирал свои замерзлы губы,
Четвертый исчислял, не все-ль пропали зубы,
От поражения сторонних кулаков.
Там множество сошлось различных дураков.

¹ В настоящее время термин реализм употребляется как для обозначения исторически определенного литературного направления, так и для обозначения известного типа творчества, — в этом именно смысле мы говорим о гомеровском или шекспировском реализме. Но нельзя расширять это понятие до бесконечности, безразлично включая в него любые явления мировой литературы; в том числе явления наиболее чуждые реалистическому миропониманию, как, например, французский классицизм.

Едва ли не в каждой статье, касающейся проблемы пушкинского реализма, приводятся негодующие отзывы критики о „Руслане и Людмиле“. И. Виноградов пишет: „Борьба идет против грубости, «простонародности» темы и языка. Критика возмущает самый выбор «предмета» из народных сказок, возмущают выражения «удаваю», «щекотит ноздри копием», (рифму «кругом — копием» другой критик — Воейков — назвал «мужицкою»),¹ «я еду, еду не свищу, а как наеду не спущу», «рукавица» и т. п. Примечательно и то широко известное сравнение, которым критик иллюстрировал свое возмущение: «Если бы в московское благородное собрание как-нибудь втерся (предполагаем невозможное возможным) гость с бороною, в армяке, в лаптях и закричал бы зычным голосом: здорово ребята! неужели бы мы стали таким проказником любоваться?»“

Между тем, очевидно, что, по сравнению с „Елисеем“ или хотя бы с сатирой того же Воейкова „Дом сумасшедших“, „Руслан и Людмила“ — салонная вещь. Литераторов старшей школы в пушкинской поэме раздражало другое: явное нарушение жанровой иерархии, смешение комических, бурлескных элементов с лирическими и эпическими. С точки зрения консервативно-дворянской эстетики человек „с бороною, в армяке, в лаптях“ вполне терпим и даже необходим на своем месте; он возмущает не сам по себе, а именно тем, что он втерся в „благородное собрание“. Реализм не в чихании, не в оплеухах и рукавицах; и, разумеется, в „Руслане и Людмиле“ еще нет никакого реализма, но там есть очень важные для пушкинской эволюции элементы романтического отказа от иерархии жанров. Отчасти в этом значение романтизма в творческом становлении Пушкина.

Понятие *романтизм* покрывает собой большое количество разнородных и разновременных явлений, объединяемых все же общей противопоставленностью феодальной культуре. Ломяя иерархическую шкалу, романтизм стремился постичь единую действительность в вечном противоречии ее элементов, в бесконечной пестроте и движении, во взаимодействии серьезного и смешного, возвышенного и обыденного. Вот почему из определенных романтических формаций (не из всех, конечно) проросстал реализм. Так именно обстояло с левым французским романтизмом 20-х годов; в этом литературном движении, создавшем Бальзака, границы соприкасаются чрезвычайно тесно.

Пушкин принадлежал молодой культуре, которая именно в силу своей молодости была очень емкой. Почти что одновременно она осваивала явления, принадлежавшие разным этапам европейской культуры. На протяжении немногих лет в творчестве Пушкина отразились разнообразнейшие формации западного романтизма: предромантические искания (Оссиан, Парни), экзотика и патетика раннего Байрона, байроновская ирония эпохи „Беппо“ и „Дон-Жуана“, историзм Вальтер Скотта, теоретические воззрения ранних французских романтиков — де-Сталь и Бенжамена Констан (воспитанный на рационализме просветительной философии, Пушкин остался внутренне чужд „туманному“ немецкому романтизму); наконец, шекспиризм Пушкина, имевший огромное значение не только для пушкинской драматургии, но вообще для разрешения проблемы героя и характера в его творчестве, шекспиризм Пушкина глубоко связан с основами романтического миропонимания.

Однако, понятие романтизма нередко упрощается не в меньшей степени, чем понятие классицизма. Классицизм — это „витийство“; романтизм, собственно, тоже „витийство“, только романтическое. Но тогда как же быть с тем, что Пушкин назвал „Бориса Годунова“ „романтической трагедией“? .. остается снисходительно исправить Пушкину терминологию: „В письмах к друзьям, — пишет Д. Благой, — поэт, еще не вполне освободившийся от фразеологии своего первого романтического периода, называет «Бориса» «истинно романтической трагедией». На деле... поэт ставил своим Годуновым задание чисто реалистического порядка“. В статье „Реализм «Бориса Годунова»“ („Звезда“, 1935, № 4) А. Марголина пишет: „Пушкин не употребляет слова «реализм», он считает себя романтиком, а «Бориса

¹ Без сомнения „мужицкою“ потому, что здесь слово „копием“ дано, хотя и в славянской форме, но в русской огласовке.

Годунова» романтической трагедией, вкладывая в эти понятия иное, непривычное содержание. — Для кого, собственно, непривычное? Для Пушкина и его современников было вполне привычно вкладывать в романтизм понятия историзма, народности, правдоподобия и раскрепощенной литературной формы. Антиисторическая подстановка понятий, упрощая и обедняя эволюцию Пушкина, не оставляет возможности понять во всей специфичности каждый ее этап. Пушкин 20-х годов — выразитель в русской культуре общеевропейского романтизма; Пушкин, который параллельно корифеям французского романтизма, — своеобразным путем, — *изнутри* романтической эстетики, а не вопреки этой эстетике, шел к новому реальному пониманию мира, — это картина столь грандиозная, что не стоит жертвовать ею ради надуманного образа Пушкина — реалиста — пеленок.

Но для того, чтобы историческая жизнь Пушкина представилась закономерным развитием миропонимания и стиля, а не хаосом механически соединяемых кусков, — необходимо, кроме всего прочего, гораздо более осторожное обращение с пушкинской хронологией, чем то, какое нередко имеет место. Проза 30-х годов, „История Пугачева“, „Медный всадник“, „Евгений Онегин“, „Домик в Коломне“, „Борис Годунов“, „Граф Нулин“ — как произведения равно реалистические — рассматриваются в одной плоскости. Промежутки в 6—8—10 лет не принимаются во внимание. Нужно ли говорить о том, что значит промежуток в восемь лет для Пушкина, при исключительной интенсивности его творческого роста.

„Решительный поворот Пушкина к изображению процессов реальной действительности происходит в 1823 г., когда поэт пишет первую главу «Евгения Онегина»; за «Онегиным» следует шутивная поэма «Граф Нулин» и историческая трагедия «Борис Годунов» (А. Цейтлин). Здесь „Онегин“ использован для доказательства того, что Пушкин уже в 1823 г. был реалистом. Но существует и обратная тенденция: тенденция превратить „Онегина“ в произведение 30-х годов. И. Виноградов пишет: „Евгений Онегин“ писался почти 10 лет (1822—1831 гг.)... Между первой главой — шутивным изображением молодой повесы — и последними главами с их темами «низкой природы», «русской души», «нравственного долга» и т. п. — большая разница“. И ниже: „...Пушкина начинает занимать вопрос именно о низкой действительности. Интерес этот более всего усиливается около 1830 г., в период писания последних глав «Онегина» и повестей Белкина“. Под последними главами могут, скажем, подразумеваться последние три главы. Но ведь только VIII глава закончена в 1830 г. (в 1831 г. дописано лишь письмо Онегина), VII глава закончена в 1828 г., VI глава — в 1826 г. Сводить эти даты в одну — не приходится. Сам И. Виноградов сразу вслед за приведенными строками, для иллюстрации своего положения о „низкой действительности“ в главах, написанных около 1830 г., приводит цитаты из V главы („Зима!.. Крестьянин торжествуя“, именины у Лариных), написанной в 1826 г. Все эти неточности не случайны: они бессознательно проистекают из стремления оторвать первые главы „Онегина“ от последних, якобы написанных около 1830 г. Между тем, если первая глава задумана еще в ином, более легком тоне, чем весь роман, то этого нельзя уже сказать о II—III главах. И, очевидно, что в 1824—1825 гг., в Михайловском, Пушкин владел уже единственным художественным замыслом. Семь глав „Онегина“ закончены уже в 1828 г., а к 1831 г. относятся, собственно, только письмо Онегина. В основном „Онегин“ — произведение 20-х годов, начатое одновременно с „Бахчисарайским Фонтаном“, писавшееся одновременно с „Цыганами“, в главных чертах законченное раньше „Полтавы“. Эти даты красноречивы; они требуют истолкования. Тут либо придется принять что-нибудь вроде своеобразной, почти клинической теории „рецидивов“, которую предлагает Д. Благой („В конце 20-х годов в его творчестве возникают возвраты-рецидивы «классицизма» («Полтава», послание «К вельможе»). Через некоторое время, знаменитой болдинской осенью 1830 года, он оказывается во власти вновь нахлынувших на него романтических настроений“); либо придется признать: хронологическое сосуществование „Онегина“ с „Бахчисарайским Фонтаном“, с „Цыганами“, с „Полтавой“, с элегиями 20-х годов свидетельствует о том, что в годы основной работы над „Онегиным“ у Пушкина еще не было реалистической концепции, объемлющей действительность в целом. По мере

того, как Пушкин шел к этой концепции — чтобы овладеть ею в последние годы, — он преодолевал в себе жанровое мышление, унаследованное от французских классиков и русских карамзинистов; но в период, когда возникал замысел „Онегина“, жанровое мышление для Пушкина еще актуально: роман в стихах — особый жанр, позволяющий применить особый принцип рассмотрения действительности, вовсе еще не обязательный для всего творчества в целом.

Этот принцип рассмотрения в „Онегине“ Пушкину дала *романтическая ирония*, та высокая ирония, которую теоретически провозгласили иенские романтики, которая впоследствии стала методом Байрона эпохи „Бешпо“ и „Дон-Жуана“, методом Гейне. Иронический метод — существенный этап в процессе прорастания реализма из романтической культуры.

Если классицизм строжайшим образом прикреплял вещи к определенным местам, если он проводил резкое различие между высоким и низким, между комическим и трагическим, то романтизм, напротив того, выдвигал принцип смешения, промежуточных форм, бесконечных переходов. С романтической точки зрения каждая вещь представлялась многогранной. Одна и та же вещь оказывалась то смешной, то серьезной, то смешной и серьезной в одно и то же время. Пушкин остался равнодушен к философскому обоснованию иронии у немецких романтиков. Он воспринял романтическую иронию главным образом через Байрона, обратившего ее в орудие общественной сатиры. В условиях тогдашней русской действительности иронический стиль приобретал особый смысл. Он с исключительной остротой выразил известные стороны сознания дворянской интеллигенции 20-х годов. Ведь на ряду с политическими борцами — декабристами, из той же среды под влиянием аналогичных условий выходили и скептики, в которых сознание социальной неудовлетворенности сочеталось с сознанием безнадежности. В „Онегине“ Пушкин изобразил скептика своего времени, идеологически и социально неустроенного человека, и от социальной природы героя неотделимо все построение романа и разработанный в нем иронический стиль.

Для поэта, воспитанного на просветительной философии и рационалистической эстетике классицизма, непосредственный прыжок в реалистическое миропонимание был, разумеется, невозможен. Допускать это — значит безнадежно упрощать процесс идеологической и литературной эволюции Пушкина и его современников. Тут нужна была промежуточная инстанция, и такой именно инстанцией на пути от абстрактного к конкретному, от условного к реальному оказалась романтическая ирония. Д. Благой пишет об „Онегине“: „Элементы реализма проникают и в это последнее убежище пушкинской романтики. Романтически-мечтательный вздох лирических отступлений завершается чаще всего резко реалистической концовкой“. Корень ошибки в том, что Д. Благой не хочет отвлечься от понимания романтизма как „витийства“ и потому должен толковать стиль „Онегина“ как механическое столкновение и сложение двух противоречивых элементов. На самом деле „мечтательный вздох лирических отступлений“ и „реалистическая концовка“ — это единство противоречия, осуществляемое романтической иронией. Романтическая ирония — не комическое, но взаимодействие комического с трагическим, возвышенного с обыденным. Искусству этого взаимодействия Пушкин, как и европейские романтики, учился у Шекспира. В 1828 г. Пушкин писал: „Сцена тени в Гамлете вся писана шутивным, даже низким слогом, но волос становится дыбом от гамлетовых шуток“. В „Онегине“ Пушкин с умысленной „несерьезностью“ говорит о любви, о страданиях, даже о смерти своего героя:

Онегин сохнет, и едва-ль
Уж не чахоткою страдает,
Все шлют Онегина к врачам,
Те хором шлют его к водам.

Письму Онегина предпосланы строки:

Смелей здорового, больной
Княгине слабою рукой

Он пишет страстное посланье.
Хоть толку мало вообще
Он в письмах видел не вотще,
Но, зная, сердечное страданье
Уже пришло ему не в мочь.
Вот вам письмо его точь в точь.

Но сущность пушкинского метода в том, что несмотря на „несерьезную“ интродукцию, письмо Онегина принадлежит к самым потрясающим стихам о любви, какие существуют в мировой литературе. Здесь то же соотношение, что и в строфах, посвященных смерти Ленского. Д. Благой толкует эти строфы согласно своей теории столкновения двух стилей: „Разговор“ предпослан Онегину не зря. На протяжении всего романа звучат те же два голоса, два отношения к действительности — поэта и прозаика, романтика и реалиста, — которые с такой отчетливостью выражены в речах двух персонажей «Разговора»... Вспомним знаменитое лирическое обращение к читателям по поводу гибели Ленского:

Друзья мои, вам жаль поэта...
<и т. д.>

Это словно бы говорит поэт «Разговора». А вот что отвечает ему «Книгопродавец»

... поэта
Обыкновенный ждал удел...
<и т. д.>“

Вряд ли когда-либо великие произведения мировой литературы создавались на основе „двух отношений к действительности“¹ — в одно и то же время. В данном случае это, конечно, одно отношение к действительности, и существеннее всего в нем то, что *плаксивые бабы, лекаря, халат* и даже *рога* не отнимают в конечном счете у смерти Ленского ее трагического и лирического смысла. В противопоставлении двух строф — диалектика темы смерти Ленского, и сложное движение как бы разрешается, синтезируется в строках:

Но чтобы ни было, читатель,
Увы! любовник молодой,
Поэт, задумчивый мечтатель,
Убит приятельской рукой.

В „Онегине“ Пушкин отказывается и от условной приподнятости своих ранних романтических поэм, и от абсолютных истин и неподвижных ценностей, свойственных философии и эстетике классицизма. Но тем самым снимается и понятие безотнositельно *низкого, грубого* в том смысле, в каком оно присуще классицизму. Вещи движутся от торжественного к обыденному, от трагического к смешному и обратно; они обладают переменной ценностью, определяемой контекстом. В этом равноправии вещей — глубочайший социальный смысл иронического стиля, его реалистические потенции. Современники ощущали эти потенции, хотя термин реализм и не был им известен. В 1825 г. Полевой писал: „Пушкину суждено быть *первым* и в исполнении поэм и в изображении своих поэм. Надобно сказать, что вообще новые поэты в сочинениях сего рода открыли новые стороны, неизвестные старинным сочинениям: *Налой* или *Похищенный локон* однообразны, поэт только смешит; но Байрон не смешит только, но идет гораздо далее. Среди самых шут-

¹ Гораздо дальше идет в этом отношении А. Марголина в статье „Реализм «Бориса Годунова»“: „От классицизма — царственные герои, государственная проблематика, самое разрешение проблемы законности царской власти... От романтизма — колебания устоев, уничтожение этических схем. От реализма — попытка материалистического объяснения исторических событий, раскрытие героев во всей полноте их проявлений“.

ливых описаний, он резким стансом обнаруживает сердце человека, веселость его сливается с унылостью, улыбка с насмешкою, и в таком положении, как Байрон к Попу, Пушкин находится к прежним сочинителям шуточных русских поэм... И с каким неподражаемым умением рассказывает наш поэт: переходы из забавного в унылое, из веселого в грустное, из сатиры в рассказ сердца — очаровывают читателя”.

Для демонстрации реализма „Евгения Онегина“ охотнее всего приводят описание деревенских имений:

С своей супругою дородной
 Приехал толстый Пустяков;
 Гвоздин, хозяин превосходный,
 Владелец нищих мужиков;
 Скотинины, чета седая,
 С детьми всех возрастов, считая
 От тридцати до двух годов;
 Уездный франтик Петушков;
 Мой брат двоюродный, Буянов,
 В пуху, в картузе с козырьком,
 (Как вам, конечно, он знаком),
 И отставной советник Флянов,
 Тяжелый сплетник, старый плут,
 Обжора, взяточник и шут.

Это поразительные стихи, но не в них Пушкин осуществляет новое понимание мира. В этой строфе ссылки на Фонвизина и В. А. Пушкина не случайны: Пушкин — бытописатель идет здесь по следам своих предшественников, уступая им в резкости натуралистических деталей. Нового Пушкина надо искать в другом:

То видит он: на талом снеге,
 Как будто спящий на ночлеге,
 Недвижим юноша лежит,
 И слышит голос: чтож? убит!
 То видит он врагов забвенных,
 Клеветников и трусов злых,
 И рой изменниц молодых,
 И круг товарищей презренных.
 То сельский дом — и у окна
 Сидит она... и всё она!..

Он так привык теряться в этом
 Что чуть с ума не своротил,
 Или не сделался поэтом.
 Признаться: то-то б одолжил!
 А точно: силой магнетизма
 Стихов российских механизма
 Едва в то время не постиг
 Мой бестолковый ученик.
 Как походил он на поэта,
 Когда в углу сидел один.
 И перед ним пылал камин,
 И он мурлыкал: Benedetta
 Иль Idol mio, и ровнял
 В огонь то туфлю, то журнал.

И *магнетизм*, и *механизм*, и *журнал*, и *туфля* вошли в лирический контекст не париями, вечно осужденными нести на себе печать грубости и комизма, но равноправным элементом. Так Пушкин уничтожил раздел между специальными поэтическими формулами и словами вообще. Замкнутую поэтическую речь он открыл словам из быта, неисчерпаемо многообразным представителям действительности и позволил им приобретать лирический смысл. Вот это — то как-раз, чего не могло быть ни у классиков, ни у карамзинистов, ни у Пушкина южных поэм и даже, может быть, первой главы „Онегина“. Это открытие, по своей принципиальности подобное открытиям Толстого, который заставил Каренина в момент страшного объяснения с женой запутаться в словах: „вам все равно, что вся жизнь его рушилась, что он пеле . . . пеле . . . пелестрадал“, — и сделал так, что получилось не смешно, а трагично. В этом смысле „Евгений Онегин“ — переворот, вернее начало переворота, потому что здесь Пушкин еще не может уйти от иронии в процессе раскрепощения слова от жанровой иерархии, от условной поэтической абстрактности. Пушкин 30-х годов вышел из „Онегина“, но в 30-х годах он переступил и через романтическую иронию; в прозе, в „Медном Всаднике“, в поздней лирике он нашел способ прямого рассмотрения вещей.

Очень часто цитируются знаменитые строфы из „Путешествия Онегина“, в которых Пушкин говорит о двух периодах своего творчества:

Иные нужны мне картины:
Люблю песчаный косогор,
Перед избушкой две рябины,
Калитку, сломанный забор. . . и т. д.

Смысл этих строк вовсе не в том, что Пушкин заговорил об избе и рябине, об утках и балалайке; об этом в русской поэзии неоднократно говорили до Пушкина, — но только говорили, как о предметах „низких“. Пушкин впервые показал, что скудный русский пейзаж эстетически равноправен экзотике моря, скал и пустынь. „Простонародные“ слова, словесное сырье, непричастное отобранному „языку богов“, он обратил в ряд идеологических ценностей.¹

Эти соображения непосредственно подводят нас к источнику многих ошибок. Дело в том, что вопрос о пушкинском реализме обычно трактуется в связи с вопросом о „снижении“ темы и литературного стиля. „Пушкин сам все время иронизирует, — пишет Благой о „Руслане и Людмиле“, — над своими сказочными героями и тем непрестанно реалистически «снижает» их. Особый прием утверждения реализма, который с таким блеском и последовательностью будет проводится им в «Евгении Онегине»“. Прежде всего должен быть как-то раскрыт самый термин *снижение* (некоторые историки литературы, употребляя этот термин, заключают его в кавычки — отчего он не становится более плодотворным). Если не ограничиться сравнением одних слов с другими, если искать социальный смысл понятий *сниженный*, *низкий* — и соотносительного им понятия *высокий*, то окажется, что основу этих понятий, по крайней мере в их наиболее четком, полном, последовательном виде, мы найдем в классицизме, где они сопряжены со всей системой феодального, сословного мышления. Понятие высокого и низкого, в их непреодолимой расчлененности, — краеугольный камень эстетики классицизма. Эстетика эта оказалась очень устойчивой: инерция жанрово-иерархического мышления не только в значительной мере еще владеет сознанием карамзинистов, но проникает и в поэтическую практику 30-х—40-х годов. Но во всяком случае это была инерция представлений, уже изживавшихся именно в наиболее прогрессивных формациях культуры. Романтическая литература полна еще пафосом преодоления; романтическая ирония — на ощущении двух начал, высокого и низкого (трагического и комического), и на отказе от того соотношения, которое для этих начал установил класси-

¹ Это один из существенных факторов эволюции Пушкина, но, разумеется, он не исчерпывает ни реалистических тенденций „Онегина“, ни тем более содержания пушкинского реализма 30-х годов. Последнее складывалось из целого ряда явлений, которые еще предстоит исследовать.

цизм. В реализме, как созревшем историческом образовании, — противоречие уже снято. Понятие низкого, следовательно и сниженного, в сущности, как нельзя более чуждо реалистическому мышлению, для которого существует „нормальная“ действительность, действительность видимая и постигаемая в своем единстве. Когда в XVIII в. Сумароков или Василий Майков писали о мужиках, то для них это было снижение, потому что речь шла о предметах „низких“ с социальной точки зрения, низких и бурлескных с эстетической точки зрения. Но когда Некрасов написал:

Где бы сеятель твой и хранитель,
Где бы русский мужик не стонал . . . ,

то уж это никак не снижение. Ведь смысл великой некрасовской реформы в том, что она позволила слову *мужик* звучать так, как звучали прежде слова *царь* и *бог*.

Жанрово-иерархические представления, как вообще вся рационалистическая культура XVIII века, глубоко вошли в сознание Пушкина. Когда Пушкин совмещает высокое с низким, комическое с серьезным, то это не обход, не игнорирование факта, это преодоление, в которое вложена вся сила побеждаемой трудности.

В „Онегине“ не мало бытоописательного материала, по отношению к которому термин *снижение* уместен, потому что речь идет о сатирическом аспекте, обязательно лишаящем вещь ее социальной ценности, „высокости“. Таково именно сатирическое описание деревенских именин и проч. Но только материал этот привлекается литературоведами для крайне сомнительных выводов. Д. Благой цитирует:

„А муж в углу за нею дремлет,
В просонках *фора* закричит,
Зевнет и снова захрапит.

Каватины, мольбы и храп мужа.

И элементы реализма не только все время борются в «Евгении Онегине» с элементами романтики, но в общем итоге романа одерживают решительную победу.“

Так вот, если пушкинский реализм измерялся бы „храпом“ и вообще степенью снижения натуры, то Пушкину несомненно пришлось бы уступить первое место своему дяде Василию Львовичу, который еще в 1810 г. в „Опасном Соседе“ безукоризненным александровским стихом писал:

Вся пробвонявшая и чесноком и водкой,
Сидела сводня тут с известною красоткой — и т. д.,

не говоря уже о других выражениях, до такой степени „разговорных“, что их приходится заменять точками.

Подлинно реалистическое мировоззрение не снижает, а возвышает вещи, потому что оно в принципе признает все вещи, существующие в действительности, равноправными объектами познания и потенциальными носителями трагической, героической, лирической эмоции. Это не значит, что реализм не способен к оценке; но он заново дифференцирует жизненные ценности, устанавливает их соотношение — в зависимости от социальной природы, от мировоззрения писателя; реализм не исходит из заранее заданной формальной принадлежности понятия к определенной смысловой и лексической категории.

Сведение пушкинского реализма (и реализма вообще) к „низкой натуре“, намеченное в большей части работ, касающихся этого вопроса, достигло особой отчетливости в статье И. А. Виноградова „Путь Пушкина к реализму“: „Если романтический метод был средством героизации (разочарованности), то средством ее снижения и средством утверждения нового действительного героя явился метод реалистический“ — формулирует И. А. Виноградов свою основную установку (ср. выше цитату из этой же статьи о „низкой“ действительности). На страницах „Литературного Критика“ (1935, № 12) отмечалась уже ошибочность утверждения Виноградова, что реализм Пушкина „... следствие консервативных общественно-

политических устремлений Пушкина... следствие политического компромисса". — Я хочу подчеркнуть только, что вывод Виноградова — не случайный вывод. Если исходить из того, что реализм снижает вещи, т. е. лишает их социальной ценности (ибо как же иначе понимать слово снижение?), то нет ничего легче, как притти к выводу о примиренческой, даже реакционной сущности реализма. И. А. Виноградов базировал свою точку зрения на ряде пушкинских произведений 20-х—30-х годов („Евгений Онегин“, „Граф Нулин“, „Домик в Коломне“, проза) и при этом ни разу не упоминал „Медного Всадника“. Казалось бы, „Медный Всадник“ является выражением последнего творческого периода Пушкина в гораздо большей степени, чем „Онегин“ — в основном написанный в 20-х годах, — чем „Станционный Смотритель“ или „Домик в Коломне“, бесконечно уступающие ему в гениальности замысла и выполнения. Но дело в том, что „Медный Всадник“ уж никак не вмещается в концепцию, ставящую знак равенства между снижением и реализмом.

Не буду здесь касаться вопроса о том, насколько политические воззрения Пушкина, ориентированные на европейский конституционализм, действительно являлись консервативными в условиях русской политической ситуации 30-х годов. Несомненно одно: творческий метод зрелого Пушкина — явление социально-прогрессивное. Пушкин 30-х годов глубочайшим образом преодолел инерцию феодальной эстетики. Он освободил поэтическое слово от искусственной жанровой дифференциации, от обязательного бытования в узкой сфере языка „избранного, условленного“, как сам он назвал в заметке 1828 года поэтический язык карамзинистов. Он сделал поэтическое слово средством изображения конкретности, вещественной и психологической; средством выражения действительности, противоречивой и бесконечно разнообразной в своем единстве. Но какой бы неповторимо точной детализации вещей ни достиг Пушкин — для него изображаемый мир никогда не переставал быть объектом идеологического обобщения и разумного познания. В этой рационалистической закуске Пушкина — огромная организующая сила. Через Пушкина проходит путь к величайшим явлениям русского реализма второй половины XIX века.

Лидия Гинзбург.

А. Пушкин. Сочинения. Редакция, биографический очерк и примечания Б. Томашевского. Вступительная статья В. Десницкого. Государственное издательство „Художественная Литература“. Ленинград, 1935. Стр. 975. Цена 15 рублей.

1

Новый однотомник Пушкина — одно из значительных явлений пушкиноведения за последние годы. В том всенародном торжестве советской культуры, которое готовится к столетнему юбилею поэта, именно этому однотомнику предстоит почетная роль служить интересам широчайшей пропаганды пушкинского творчества, привлечения к Пушкину все новых и новых десятков и сотен тысяч читателей.

Новый однотомник Пушкина ни в коей мере не повторяет однотомника 1924 г., выдержавшего в свое время шесть изданий. Он значительно полнее своего предшественника, его текст заново проверен по рукописям и прижизненным изданиям Пушкина. Самый выбор произведений, особенно поэтических, произведен с большим вкусом и с достаточной полнотой. Редактор однотомника Б. В. Томашевский реализовал собрание сочинений Пушкина, стоящее на высоком уровне текстологической работы и по своему значению выходящее за пределы просто популярного издания. Можно с уверенностью сказать, что ни одно сколько-нибудь значительное поэтическое произведение Пушкина не осталось за бортом этого однотомника. Менее полно представлена проза Пушкина, еще слабее — его критические и исторические работы.

Интересны вступительные статьи однотомника — „Пушкин и мы“ В. А. Десницкого и „Пушкин“ Б. В. Томашевского. Обе они как-будто обращены к читателю однотомника, к советской интеллигенции, но вместе с тем они не просто популяризируют

сведения, добытые советской наукой, но в целом ряде важнейших вопросов пушкиноведения говорят новое слово, имеющее большое научное значение.

Вступительная статья В. Десницкого пытается расширить узкие классовые и национальные рамки, в пределах которых Пушкин интерпретируется многими советскими историками литературы. Для В. Десницкого Пушкин — явление не только русской дворянской, но и общеевропейской, мировой, всечеловеческой литературы.

Мы изучали до сих пор европейские связи Пушкина лишь в плане выяснения влияний на него, сопоставлений, изучения источников пушкинских произведений. Время от времени в пушкинской литературе подымались голоса и о европейском значении Пушкина, однако до сих пор эти обе линии пушкинианы не связывались между собой. В. Десницкий поставил Пушкина в связь с теми общеевропейскими литературными и общественными процессами, в которых голос Пушкина звучит наравне с голосами Гете, Байрона или Бальзака, и притом придал этим европейским связям Пушкина обобщающий политический смысл. Пушкин не просто является русским представителем западных литературных явлений, он становится идеологом и выразителем общеевропейского исторического процесса, он в той же мере отражает этот процесс, как и крупнейшие художники Запада.

Другой центральной задачей В. Десницкого является попытка восстановления политического мировоззрения Пушкина, если не единого и не целостного мировоззрения, то во всяком случае освобожденного от представления о капитуляции поэта перед лицом торжествующей николаевской реакции.

Без учета общей эволюции русской общественной мысли не получается и эволюция социально-политических взглядов Пушкина. В. Десницкий неоднократно отмечает наличие этой эволюции, намеренно связывая ее с отношением Пушкина не столько к русской, сколько к общеевропейской, преимущественно французской действительности (стр. XIV). К такому противопоставлению русской и французской общественной мысли нет, пожалуй, серьезных оснований: ведь и декабристы и последекабрьская общественная мысль в значительной мере испытали влияние идей европейских, преимущественно французских. Слишком мало сказать, что если „юный“ Пушкин „пел «свободу» и «закон»... в принципах революции 1789 г., то зрелый Пушкин близок в понимании «свободы» и «закона» к французским либералам-буржуа эпохи реставрации“ (стр. XIX). Основное содержание политических взглядов Пушкина получается у В. Десницкого никогда не менявшимся: юный Пушкин, как и зрелый, был, в сущности, умеренным радикалом, как мы сказали бы теперь. Но была, очевидно, разница в оттенках этого радикализма, и была эволюция общей общественной идеологии, если один раз за этот радикализм человека ссылают, а другой раз с ним договариваются. Нельзя, конечно, требовать от обобщенной вступительной статьи детального анализа отдельных вопросов. Бесспорно значительна самая постановка проблемы Пушкина, как всевропейского поэта, хотя, надо думать, в порядке развития и углубления этой проблематики будут найдены в Пушкине соотношения между национальным и всеевропейским началами не столь резко противопоставленные, как это сделал, заостряя вопрос, В. Десницкий. Сложность общественной позиции Пушкина как-то соотносится со сложностью общественной позиции Байрона, с умеренностью Шатобриана, но она в корне противоречит, например, революционной позиции Мицкевича и не соотносится с революционно-демократическими устремлениями русских западников, например Белинского. Основное звено здесь, повидимому, не столько в отношении Пушкина к русской или европейской действительности вообще, сколько в отношении к основному процессу нарастания и победы капитализма, к возрастающей общественной роли буржуазии, к падению удельного веса дворянства, словом — к тем историческим международным процессам, которые происходили в то время в России и Европе и которые должны были волновать дворянство как международный класс. Проблема крестьянской революции, волновавшая Пушкина в 30-е годы, была, конечно, специально русской, а не европейской проблемой. Думается, что правильное сочетание национальных и международных начал пушкинского социально-политического мировоззрения не заманит Пушкина в узкие рамки российского средне-поместного дворянства, но в то же время и не превратит

его только в русского представителя европейского, главным образом французского и английского романтизма. Следует особо отметить, что статья В. Десницкого в основных своих положениях корреспондирует со всем научным аппаратом издания, — с биографией поэта и примечаниями Б. В. Томашевского. Здесь мы находим и целый ряд ответов на вопросы, неизбежно возникающие при чтении статьи В. Десницкого.

Две статьи Б. В. Томашевского — „Пушкин“ и „Язык и стиль Пушкина“ — имеют несомненно большое самостоятельное значение. Они действительно подводят итоги всему состоянию пушкиноведения в области изучения пушкинской биографии и его творчества, и в то же время они обобщают целый ряд частных исследований самого Б. В. Томашевского. Огромная исследовательская работа автора по изучению французских связей пушкинского творчества и частные исследования по изучению отношений Пушкина к декабристам и Николаю — пресловутый вопрос о перемене пушкинского политического мировоззрения после 1825 г. — осмыслены здесь Б. Томашевским в свете всей пушкинской идеологической биографии. Поэтому можно смело сказать, что для широкого читателя, незнакомого с частными исследованиями пушкинистов, Пушкин предстает в одностороннем в совершенно новом виде, — таким, каким его читатель по старым работам представить себе не мог. Поэтому образ Пушкина, очерченный Б. Томашевским, не только не противоречит, но и углубляет и расширяет образ поэта, намеченный В. Десницким. Весь научный аппарат одностороннего действия удивительно слаженно, единообразно, — явление, от которого мы давно уже отвыкли в изданиях сочинений Пушкина.

Что касается реального материала, наполняющего пушкинскую биографию, то его единственным недостатком является некоторая осторожность исследователя в привлечении широкого исторического материала. Пушкинская эпоха могла бы шире и ярче отразиться в биографии Пушкина. Пушкинское окружение, люди, журналы и литературные группировки — все они могли бы войти в биографию Пушкина более широко, более подробно, чем это имеет место. Может быть, Б. Томашевский был здесь связан объемом своей статьи, но ведь совершенно ясно, что от этого в первую очередь теряет сам Пушкин. Слишком мало сказано, например, об отношениях Пушкина и Мицкевича, — а ведь именно эти отношения чрезвычайно характерны для идеологической биографии Пушкина. Очень жаль также, что статья „Язык и стиль Пушкина“, посвященная существенным проблемам творчества поэта, загнана почему-то в конец примечаний, набрана петитом и вообще подана как какое-то необязательное послесловие. Весь ее материал должен был быть включен в ту же идеологическую биографию Пушкина, в которой дан анализ его творчества.

Примечания к произведениям Пушкина импонируют читателю главным образом своим типом. В отличие от распространенного в пушкиноведческой литературе типа комментария, загроможденного справочными сведениями, не всегда позволяющими читателю углубить понимание Пушкина, комментарий Б. В. Томашевского прост, ясен, понятен и почти всегда дает именно то и в той степени, что нужно читателю одностороннего Пушкина. Нескоро спорно использование в комментарии заметок Пушкина о своих произведениях. Почему, например, в примечании к „Полтаве“ приведено предисловие Пушкина к первому изданию поэмы и нет даже ссылок на известную заметку о Полтаве („Habent sua fata libelli“), напечатанную в основном тексте? Нет таких ссылок и в примечаниях к „Модарту и Сальери“, „Евгению Онегину“, „Борису Годунову“ и др. В то же время в примечании к „Полководцу“ приведена заметка Пушкина из „Современника“. Для массового читателя обрабатывающего к комментарию за разъяснением пушкинских произведений, нужно было, конечно, систематически указывать все заметки Пушкина о своих произведениях, в особенности те, которые помещены в этом издании. Именно комментарий должен быть руководящей нитью в работе читателя.

Разъяснения, даваемые Б. В. Томашевским в комментариях, нередко подводят итог всем частным исследованиям пушкинских произведений. Излишне отмечать высокое качество этого громадного труда, свойственное всем работам Б. В. Томашевского. Жаль поэту, что комментарий как правило не заключает в себе библиографических указаний: они увели-

чили бы его объем пропорционально не на много, а ценность его для читателей, желающих детально познакомиться с тем или иным произведением Пушкина, выросла бы значительно.

Простое и остроумное разрешение нашли себе собственные имена, названия и слова, требующие пояснений. Они вынесены из комментария в особый словарь, почему-то названный словарем имен и слов „в необычном их значении“ (стр. 921). Что необычного в словах „деист“, „дактиль“, „цезура“, и многие другие? С другой стороны, „Рубикон“ разъяснен как река на границе Италии и Галлии (стр. 943), — здесь следовало бы указать и переносное значение слова, обычно употребляемое. При имени В. Л. Давыдова (стр. 932) имеется ссылка на Каменку, которая в словарь не введена. Аспазия (стр. 928) названа женой Перикла, Ф. Н. Глинка — „членом Коренной управы“ (стр. 932), хотя эта загадочная „Коренная управа“ в свою очередь требует объяснений, которых в словаре, конечно, не найти. Все эти и подобные им мелкие промахи, так же как и имеющиеся в книге досадные опечатки, надо думать будут исправлены в ближайших же изданиях однотомника.

М. Аронсон.

2

Вышедшее в 1924 г. первое издание однотомника под ред. Б. В. Томашевского ставило себе целью дать „исключительно художественные произведения Пушкина приблизительно в том составе, в каком поэт мыслил свое собрание в 30-х годах“, почему из него были „устранены все черновики, наброски, интимные послания, эпиграммы и проч., не предназначавшиеся к широкому распространению“ и „все произведения, отвергнутые самим поэтом по эстетическим мотивам“. Эти строгие принципы отбора, чрезмерно сузившие собрание произведений Пушкина, в последующих изданиях были несколько ослаблены — но лишь для отдельных важнейших произведений, без которых творчество Пушкина было бы неполно и неверно представлено. Общие же основания построения издания и отбора входящих в него стихотворений оставались неизменными, вплоть до последнего, 6-го издания однотомника 1930 г. С тех пор уровень и требования читателей Пушкина выросли чрезвычайно. Вышедшие за эти годы четыре шеститомные издания не в состоянии были удовлетворить потребности книжного рынка. Старый же однотомник отстал от требований читательской массы. Советскому читателю нужен весь Пушкин, а не избранный и произвольно „очищенный“. Новый однотомник, явившийся ответом на эти требования, в корне поэтому отступил от принципов составления старого однотомника. Не меняя основных разделов, по которым расположены стихотворные произведения Пушкина в их жанрах, издание почти вдвое увеличило количество печатаемых произведений, изменив в сторону упрощения и систему расположения их. Несколько сопоставлений покажут сущность переработки.

Основные разделы и их порядок, как сказано, остались те же: поэмы и повести в стихах; „Евгений Онегин“; сказки; драматические произведения; стихотворения. Этот порядок, необычный для изданий Пушкина, начинающих или с „мелких“ стихотворений (почти все старые издания, от Анненкова до Морозова и Ефремова, издание 1920 г. под ред. В. Брюсова, шеститомные издания Гослитиздата, девятитомное издание „Academia“, новое Академическое издание), или с беспринципного смешения стихотворных произведений разных жанров, расположенных хронологически (издание под ред. С. А. Венгерова, старое Академическое издание), имеет серьезные исторические основания. Пушкин сам создавал себя как создателя больших форм в поэзии, новых жанров поэмы и стихотворной повести, от шутивно-сказочной до исторической и сатирико-бытовой, новых драматургических жанров, от шекспировской трагедии до проблемных „драматических изучений“, нового „романа в стихах“. Лирика, в особенности элегическая, интимная, стояла для него на втором плане. Это сознание отразилось в проектах собрания сочинений, составлявшихся им с конца 1820-х и в 1830-х годах (теперь собранных в книге „Рукою Пушкина“, Л.—М., 1935, отд. IV, „Планы изданий“, №№ 9, 10, 13, 14, 15, 19). В более ранних планах (№№ 10, 13, 14), I том занят поэмами 1820—1825 годов, II — „Е. Онегиным“ и „Полтавою“, III — „Борисом Годуновым“, IV — мелкими стихотворениями. В более поздних поэмы, включая „Полтаву“

и „Домик в Коломне“, занимают два первые тома, в III — „Б. Годунов“, „драматические сцены“ и мелкие стихотворения, в IV — „Е. Онегин“ (№ 15),¹ или же в самом позднем № 19, — в первых двух томах поэмы до „Полтавы“ включительно, в третьем — „Домик в Коломне“, „Анджело“ и „Онегин“, в четвертом — „Б. Годунов“ и мелкие стихотворения; сказки записаны особо, составляя, быть может, отдельный том. При всех колебаниях, общий принцип твердо установлен: собрание сочинений должно открываться поэмами, далее идут „Евгений Онегин“, „Борис Годунов“ с „драматическими сценами“, наконец, — стихотворения. Этот принцип, исторически обоснованный, положен Б. В. Томашевским в основу нового однотомника. Такой порядок дает читателю правильное представление о характере и составе творчества Пушкина, избегая механичности и слепого следования принципу хронологии старых изданий.

Состав первых отделов (поэм, сказок и драматических произведений), сравнительно с прежним однотомником, пополнен немного. В поэмы внесена „Гавриилиада“, в сказки — „Начало сказки о медведе“, в драматические произведения — „Сцены из рыцарских времен“. Если первая должна по праву входить, как законченная поэма, в сборник, имеющий целью дать достаточно полное и широкое представление о творчестве Пушкина, то внесение в отдел сказок отрывка „Как весенней теплою порою“ вряд ли оправдано: будучи последовательным, редактор должен был ввести в отдел поэм „отрывок из неоконченной поэмы“ — „Вадим“ („Свод неба мраком обложился. . .“), имеющий гораздо больше прав, чем „сказка о медведе“, быть выделенным из стихотворений, но он, между тем, сохранен в отделе стихотворений 1822 года. Прозаические „Сцены из рыцарских времен“ выпадают из раздела „Стихотворных произведений“: редактор пожертвовал выдержанностью стихового признака распределения материала ради цельности отдела драматических произведений. Действительно, создание подотдела драм в разделе „Художественной прозы“ ради одних этих „Сцен“ было бы нецелесообразно, тем более, что, по всем вероятностям, при обработке этого „плана“ Пушкин превратил бы его из прозаического в стихотворный, на что сохранены указания в виде набросков стиховых переложений начальной сцены.

В отношении текста эти первые четыре отдела не дают чего-либо „нового“, да и не в этом цель издания. Всё же некоторые особенности должны быть отмечены. Сложный вопрос о выборе текста „Руслана и Людмилы“ — брать ли за основу текст 1820 или текст 1828 года — решается редактором не догматически, но путем рассмотрения и оценки изменений, внесенных при переиздании поэмы. Решение совершенно правильное — но не всё в его выполнении ясно и бесспорно. За основу издания принят текст 1828 г. Мелкие исправления отдельных слов и полустихий все, как правило, приняты и включены в издание. Более крупные — обнимающие больше одного стиха — переделки, внесенные в издание 1828 г., также все, как правило, отвергнуты (кроме одного исключения — 4 стихов в V песни, после стиха „Укор невнятный лепегала. . .“, стр. 23). Между тем, если одни исправления, имеющие целью ослабить места с налетом вольнодумства, шалости или эротизма — описание Людмилы во II песни („Вы знаете, что наша дева. . .“, стр. 10), тирада о волшебниках и о Вольтере в начале IV песни (стр. 17), иронический выпад по адресу Жуковского (там же, стр. 18 — „Дерзну ли истину вещать?“ и т. д.), неудачное покушение Черномора (в конце IV песни, стр. 20), а также случайно пропущенный стих в конце III песни („Возьми его, и бог с тобой!“, стр. 17), из-за чего предыдущий стих остался без рифмы, — должны быть безусловно восстановлены по изданию 1820 г., то другие внесенные в 1828 г. изменения, имеющие чисто художественный характер и нейтральные в смысловом отношении, ничем в принципе не отличаются от правки отдельных слов или от исключения четырех стихов в описании умирающей головы на стр. 23 и должны быть внесены в издание, без восстановления текста 1820 г. Таковы: обращение Финна к Руслану в I песни, прерывающее его рассказ („Руслан, не знаешь ты мученья. . .“, стр. 7), заключительные 4 стиха в лири-

¹ Приписанные позднее „Анджело“, „Медный всадник“ и сказки — произведения 1831—1833 гг. — должны были, вероятно, составить V том или распределиться по первым трем.

ческом вступлении ко II песни („Ужели бог нам дал одно...“, стр. 8), два стиха о Людмиле на стр. 10 („Где ложе радости младой? Одна с ужасной тишиной...“), шутовское, отступление несколько далее в той же песни („О люди, странные созданыя!“, стр. 12); спорным может быть, как кажется, лишь один отрывок в рассказе Финна („В надежде сладостных наград...“ и т. д., стр. 7), но и он переработан, вероятно, потому, что разговорный его характер с оттенком иронии нарушал общий тон рассказа Финна. В общем выводе — с построением текста „Руслана и Людмилы“ в одномомнике не во всем можно согласиться; та же работа, произведенная С. М. Бонди в IV томе издания „Academia“ (М., 1936), представляется более убедительной.

Тексты других поэм не имеют существенных отличий от общепринятого. Сомнительным представляется сохранение эпиграфа „Полтавы“, опущенного во втором издании поэмы („Поэмы и повести Александра Пушкина“, 1835); отсутствующий там же эпиграф „Бахчисарайского Фонтана“, повторенный перед тем дважды (1827 и 1830) мог, действительно, выпасть случайно, по типографским причинам; Пушкин им дорожил. Но эпиграф к „Полтаве“, теснейшим образом связанный с предисловием, должен был естественно опасть при исключении последнего. Эпиграф, говорящий о „торжествующем царе“, в 1828 г. указывал на современность; но к 1835 году настроения Пушкина, обуславливавшие сопоставление Николая I с Петром I, давно прошли, эпиграф стал лишним; кроме того, прямое указание на Байрона в главе поэмы было Пушкину неприятно, после всех, обнаруживших полное непонимание, сопоставлений журналов 1829 года, и вело к недоразумениям. Одна опечатка в предисловии к поэме, помещенном в примечаниях к изданию (стр. 826), требует исправления, так как существенно меняет смысл: „Некто в романтической повести изобразил Мазепу...“ (о „Кочубее“ Аладына) — следует читать: „в романтической повести“. Ошибку эту повторяют, впрочем, почти все издания, включительно до издания „Academia“. В „Медном Всаднике“ введено новое чтение в конце I части: „Насмешка неба над землей“ вместо обычного „Насмешка рока“, находящее себе полное оправдание в тексте первой беловой (болдинской) рукописи поэмы и уничтоженное в „цензурном“ беловом автографе из соображений осторожности, хотя при этом нарушалась прямая антитеза.¹ С другой стороны, отклонены два исправления „писарской“ копии: „Ни о почиющей родне“ — исправлено там: „о покойнице“, но можно спорить — рукою Пушкина или Жуковского? и „Ужо тебе!...“ И вдруг стремглав...“ — исправлено: „Но вдруг“ — и это исправление вряд ли связано с предшествующей цензурной правкой.

В отделе драматических произведений трудная задача установления текста неотделанной „Русалки“ разрешена редактором наиболее удовлетворительным образом для издания, где нет возможности вводить в текст означенные скобками конъектурные чтения. Так, в реплике дочери в I сцене принят основной текст, несмотря на то, что он зачеркнут: „Да кто, скажи, разлучница моя? Я доберусь — я ей скажу, злодейке...“ Это вполне правильно, так как карандашное исправление не доработано, и приходится дополнять его в двух случаях конъектурами — а насколько они шатки, показывают колебания редакторов двух последних критических изданий „Русалки“ — Академического (т. VII, стр. 195) и „Academia“ (т. VI, стр. 243). Точно так же в монолог русалки (конец сцены „Днепровское дно“) не введена недоработанная карандашная вставка, и дано чтение по основному тексту. Такое чтение компромиссно, но построения С. М. Бонди (Акад., VII, 211) и Д. П. Якубовича („Academia“, VI, 263), существенно отличающиеся друг от друга, не решают вопроса, который, впрочем, и не имеет „канонического“ решения. Вопрос об установлении места части монолога князя („Невольню к этим грустным берегам...“ до „Так ветрено от счастья отказаться“) — об указанном Пушкиным переносе его из последней сцены в сцену „Днепр. Ночь“ — решен редактором в пользу переноса (в противность слишком осторожному решению Академического издания — VII, 204 и 212; ср., однако, изд. „Academia“, VI, 255 и 262); с этим необхо-

¹ Впрочем, это чтение принято уже ранее одним из выпусков „Школьной серии“ под ред. Д. Д. Благого (1929), а теперь вошло и в издание „Academia“, т. IV, под ред. С. М. Бонди.

димо согласиться, в виду устранения параллелизма двух сцен и сообщения большей стройности всей пьесе — тем более в виду прямого указания Пушкина.

Переходим к отделу стихотворений. Сравнительно с прежним изданием однотомника количество их увеличено почти вдвое: там их было всего 309, здесь — 503. Особенно выросло количество Лицейских стихотворений, в новом издании выделенных в особый отдел: их здесь 110, а в старом издании было всего 11, вошедших в собрание стихотворений Пушкина 1829 г., что, в сущности, изымало из творчества Пушкина всю лицейскую эпоху Громоздкое, но вызванное принципами его составления разделение стихотворений в прежнем однотомнике — на основной отдел (стихотворения, вошедшие в собрание 1829—1835 гг., части I—IV); политические стихотворения (всего 5!); стихотворения, напечатанные при жизни Пушкина, но не вошедшие в собрание стихотворений, и эпиграммы; стихотворения, известные по автографам, но не напечатанные при его жизни; стихотворения, напечатанные после смерти Пушкина, не известные в автографах, — это деление заменено теперь единым хронологическим порядком, из которого выделены лишь лицейские стихи (1814—1817, до окончания Лицея, и неизвестные годы), „Песни Западных Славян“ — как особый цикл 1833—1835 гг. — и неизвестные годы. Включив 503 стихотворения, издание, конечно, не стремилось к „полноте“, невозможной в нем и даже вредной. По сравнению с изданием ГИХЛ под ред. М. А. Цявловского (тт. I—II, 1931), содержащим 875 стихотворных „опусов“, оно кажется очень неполным, но дело меняется, если вспомнить, что в основном отделе стихотворений изд. ГИХЛ содержится всего 576 №№ (из них лицейских 116), далее же следуют: неоконченное и неотделенное (225 №№), черновые наброски (34), коллективные (24), dubia по тексту или по авторству (76). Все эти отделы крайне неустойчивы и неопределенны, но очевидно, что мнимая полнота не является достоинством издания ГИХЛ, в особенности при отсутствии комментария, мотивирующего отрывочные тексты, извлеченные из черновых рукописей, и многочисленные dubia. Подбор текстов в новом однотомнике нужно признать вполне удачным и обоснованным; ничто, имеющее значение и более или менее законченное, не пропущено. Некоторое недоумение может возбудить распределение внутри каждого года, очень отличающееся от других изданий (шеститомников и „Academia“) и нигде не оговоренное и потому не ясное читателю-неспециалисту. В каждом году напечатаны сначала стихотворения, входившие в собрание 1829—1835 гг., в порядке их помещения там; затем — напечатанные при жизни Пушкина в других изданиях; далее — при жизни не напечатанные, наконец — извлеченные из черновых рукописей. При шаткости хронологии стихотворений Пушкина, лишь в редких случаях поддающейся точному определению в пределах одного года, эта система имеет основание, так как избавляет от произвола и гаданий. Но выдержана она не вполне строго, и можно указать несколько нарушений ее, ничем не мотивированных (напр., „Вольность“ возглавляет собою стихотворения 1817 г. после Лицея, а „Кинжал“ открывает стихотворения 1821 года, очевидно, лишь в силу важного значения этих политических од, между тем как они, конечно, не относятся к числу напечатанных Пушкиным; „Родословная моего героя“ поставлена после стихотворения „Когда б не смутное влечение“, хотя последнее извлечено из рукописи Анненковым, а первое напечатано в 1836 г.). Неудобство этой системы заключается в том, что иногда стихотворения, хронология которых точно установлена, оказываются в разных местах, противоречащих датировке (напр., „Анчар“, датированный 9 ноября 1828 г., и „Ответ Катенину“, датированный 10 ноября, напечатаны: первое — под № XIX, а второе — под № VI, 1828 г., потому что они напечатаны в разное время: „Анчар“ — в изд. 1832 г., ч. III; „Ответ Катенину“ — в изд. 1829 г., ч. II). Но неудобства искупаются последовательностью и исторической обоснованностью системы; вряд ли только нужно было отступать от нее в ряде случаев.

От рассмотрения текста отдельных стихотворений приходится воздержаться, так как пришлось бы развернуть рецензию в целый текстологический комментарий к изданию. Здесь при установлении текста, извлекаемого из черновых рукописей, возникает ряд вопросов и дается ряд интересных и новых чтений. Учитывая условия массового издания, редактор

должен был воздержаться от осложняющих чтение приемов — от конъектурных скобок и от выделения скобками зачеркнутых слов и стихов, вводимых в основной текст. Получается несколько упрощенный текст — в котором, тем не менее, специалист узнает результат большой текстологической работы, препарированной самым доступным для читателя образом.

Однотомник — массовое издание. Но ни один специалист не сможет обойтись без него, не сможет работать, не считаясь с его текстами, а очень часто — и с замечаниями, рассеянными в популярно составленных примечаниях. Соединение популярности и научности, применение тончайших приемов пушкинской текстологии к массовому изданию — это большое научное достижение и большая культурная победа.

Н. Измайлов.

3

Приемы публикации художественной прозы Пушкина в однотомнике вполне отвечают принципу строгой научности и, одновременно, популярности всего издания, рассчитанного на массового читателя. Бесспорные преимущества новой публикации текстов художественной прозы особенно выделяются при сопоставлении однотомника 1935 г. с однотомником 1924 г. и всех шести его перепечаток. Новая работа Б. В. Томашевского оставляет далеко позади это первое издание, значительные несовершенства которого в разделе художественной прозы сейчас почти полностью устранены. Большую помощь здесь оказал редактору шеститомник Пушкина (1930—1931 гг.), в котором текст всех повестей подвергался систематической выправке по рукописям и прижизненным изданиям Пушкина. Б. В. Томашевский в своем новом издании внимательно учел результаты этой работы, многое приняв, но с некоторыми поправками не согласившись и предложив новые решения спорных текстологических случаев.

Так, прежде всего отметим в новом однотомнике отказ Б. В. Томашевского от произвольного обращения с эпиграфами к „Арапу Петра Великого“. Эпиграфы, заготовленные Пушкиным без указания, к какой именно главе каждый из них относится, были в издании 1924 г. отнесены к отдельным главам, а один из них — ко всему произведению. Сделано это было совершенно произвольно, по интуиции редактора, нигде к тому же не оговоренной. Теперь эти эпиграфы приведены в примечаниях, что, несомненно, значительно более правильно. Исправлена и погрешность с эпиграфом к „Выстрелу“, который в издании 1924 г. был отнесен к первой главе повести. Более существенно, что в начале второй главы „Выстрела“ Б. В. Томашевский на основании автографа Пушкина впервые выправил опечатку, обезобразившую и прижизненные издания Пушкина и все последующие их перепечатки. Так, в строках: „Всего труднее было мне привыкнуть проводить осенние и зимние вечера в совершенном уединении“ — вместо „осенние“ ошибочно печаталось до сих пор „весенние“.

Более правильно, чем в 1924 г., печатается в новом издании „Рославлев“. Прежде Б. В. Томашевский без достаточных оснований давал лишь отрывок, опубликованный при жизни Пушкина, причем даже не оговаривал, что в бумагах поэта сохранилось продолжение „Рославлева“, опущенное в „Современнике“ 1836 г. явно по цензурным соображениям.

Устранены в новом издании однотомника и нередкие прежде неправильные чтения отдельных слов и строк, внимательно восстановлены допущенные прежде пропуски. Так, например, в „Выстреле“ по изданию 1924 г. читаем: „я всех сильнее прежде всего был привязан к человеку, коего жизнь была загадкой“; в однотомнике 1936 г. дается правильное чтение: „прежде сего“; в „Арапе Петра Великого“ в издании 1924 г.: „графиня, испуганная исступлению его страсти“, теперь — „исступлением“; там же было: „посадил в карету и повез домой“, исправлено: „отвез домой“; кроме того исправлены опечатки и ошибки, сохранившиеся в последних изданиях вплоть до IV тома изд. Гослитиздата (1936), например, напечатано: „картину самую занимательную“ вместо неправильного „картину очень занимательную“,¹ „дурную дорогу“ вместо „дурную погоду“,² „в плафорке“ вместо

¹ Однотомник, стр. 465, стлб. 2, IV том, стр. 10.

² Там же, стр. 468, стлб. 2, IV том, стр. 18.

„в шлафроке“,¹ „произведениям“ вместо „к произведению“;² „тому два году“ вместо „тому два года“;³ в „Рославлеве“ читаем: „светской черни“ вместо прежнего „светской мелочи“; текст „Дубровского“ заметно обогащен вставками строк, исключенных Пушкиным при переписке романа явно по цензурным соображениям.

Несравненно более значительны исправления текста пропущенной главы „Капитанской Дочки“. Эта глава в однотомнике 1924 г. была дана крайне неисправно (см. замечания Д. П. Якубовича в „Литературном Наследстве“, 1934, кн. 16—18). Теперь восстановлены досадные пропуски отдельных слов, например: „Глаза грозно сверкали“, „*статный* молодой мужик“ (слова, отсутствовавшие в издании 1924 г., отмечаем курсивом). Фраза: „Гребцы равнодушно ожидали меня, удерживая плот багром“ прежде читалась: „Гребцы смотрели равнодушно, ожидали меня, удерживая плот багром“, что явилось результатом соединения первоначального варианта фразы с окончательным чтением ее. Можно было бы привести ряд других исправленных чтений отдельных слов, напр.: „никто мне не встретился“ вместо неправильного „не встречался“, „услыша, что я требую лошадей“ вместо прежнего „услышав“ и т. д.

При всех указанных улучшениях раздела художественной прозы в новом издании однотомника, все же он не свободен от некоторых недочетов, спорных и не вполне обоснованных мест. Так, совершенно необидительным представляется устранение из черновых текстов Пушкина недоработанных, но все же не отмененных автором строк, например следующей фразы в начале пропущенной главы „Капитанской Дочки“: „Я погрузился в мечты воображения: (спокойствие природы и ужасы политические), любовь etc.“ (т. IV, стр. 583). На стр. 903 почему-то пропущена фраза, печатаемая нами курсивом: „*Прошло около получаса. Мы достигли середины реки*“ (том IV, стр. 583). Далее абзац: „Тотчас толпа злодеев окружила нас и с криком потащила к воротам“ (т. IV, стр. 589) почему-то печатается Б. В. Томашевским с традиционными искажениями: „Толпа тотчас окружила нас и потащила к воротам“ (стр. 905). Неправильным считаем мы и сохранение в новейшем издании однотомника произвольного объединения в одной реплике слов, относящихся к беседе старика Гринева с его крепостными: „Виноваты! Конечно виноваты“ (стр. 906). Два последних слова ясно произносит Гринева, а не рассказывшиеся мятежники (см. правильное воспроизведение этих строк в шеститомнике, т. IV, стр. 590). Трудно согласиться также с отказом от выделения редакторских конъектур, даже принимая в соображение популярность издания. Такие, например, конъектуры, как „Лодка скользила по темным волнам“, „Я всё еще не мог его различить“, „*Я взял за руки матушку Марью Ивановну*“ или: „Прощайте, *Авдотья Васильевна*“, передаются редактором без всяких обозначений (стр. 903 и 905), в то время как здесь вполне возможен и несколько иной текст. Однако против этого принципа подачи текста в популярном издании было бы трудно спорить, если бы он был проведен последовательно. Но дело в том, что последовательности этой в издании все же нет. Так, в „Арапе Петра Великого“ фразу „я родился под [15] градусом“ редактор вынужден передать с обозначением конъектуры.⁴ К тому же конъектура эта передается в прямых скобках, так же как и зачеркнутые места в „Дубровском“, благодаря чему стирается грань между редакторской вставкой и чтением, отмененным автором, что опять-таки едва ли можно допустить даже в популярном издании. Непоследовательным представляется и выделение зачеркнутых мест при воспроизведении черновых текстов в одних случаях („Дубровский“), на ряду с отсутствием такого выделения — в других. Вряд ли следовало отказываться от выделения зачеркнутых слов в пропущенной главе „Капитанской Дочки“: читателю было бы, например, полезно узнать, что слово „заводский“ в описании повешенных бунтовщиков: „Один из

¹ Там же, стр. 471, стлб. 2 (ср. стр. 480, стлб. 2), IV том, стр. 25 (ср. стр. 47).

² Там же, стр. 473, стлб. 2, IV том, стр. 31, где слова эти даны по изданию 1834 г.

³ Там же, стр. 477, стлб. 1, IV том, стр. 39.

⁴ Однотомник, стр. 477, стлб. 2. Кстати сказать, думается, что конъектура, предложенная П. В. Анненковым: „под знойным градусом“ при всей ее смелости все же более соответствует контексту и вряд ли подлежала отмене.

них был старый чуваш, другой [заводский] русский крестьянин“ (т. IV, стр. 583. Ср. однотомник, стр. 903) было отменено автором.

Досадно отсутствие к однотомнике набросков повести о Пегронии („Цезарь путешествовал“ и пр.). Замысел этот, правда, отмечается во вступительной статье В. А. Десницкого, но, к сожалению, с теми цензурными искажениями, которые устранены были Ю. Г. Оксманом еще в издании 1930 г. Вместо: „Хитрый стихотворец хотел рассмешить Августа и Мецената своей трусостью, чтобы не напомнить им о сподвижнике Кассия и Брута. Воля ваша, нахожу более искренности в его восслуцании: Красно и сладостно паденье за отчизну...“ в однотомнике, на стр. X, строки, печатаемые нами курсивом, заменены одним словом: о другом, что существенно искажает и подлинный смысл пушкинской оценки Горация и самый характер автопризнания, усматриваемого в этих строках В. А. Десницким.

Орфография и пунктуация прозаических текстов в однотомнике систематически модернизируется, что, разумеется, для популярного издания совершенно правильно, поскольку при этом сохраняются особенности пушкинской фонетики. Можно было бы оспорить лишь такие написания, как, например, „чуяло“ (стр. 906) вместо пушкинского „чуло“ („Сердце чуло новую бурю“). В шеститомнике это слово подано значительно острее — „чүяло“, но поскольку редактор однотомника отказался от обозначения конъектур и тем самым лишил себя возможности отделить свою догадку от авторского текста, следовало бы сохранить пушкинское написание, так как здесь не может быть полной уверенности в том, что данное написание является случайной ошибкой автора.

Г. Бялый.

4

К критическим соображениям Г. А. Бялого об особенностях публикации текстов художественной прозы в новом издании однотомника мы присоединим лишь несколько замечаний о спорных местах предлагаемой Б. В. Томашевским редакции „Истории села Горюхина“ и „Станционного Смотрителя“ и о некоторых бесспорных ошибках, вкравшихся в тексты „Истории села Горюхина“, „Рославлева“ и „Романа в письмах“.

Публикация „История села Горюхина“ в однотомнике 1924 г. (стр. 451—457), впервые установившая подлинную композицию всех черновых набросков этого произведения и правильные чтения отдельных его строк и слов, явилась одной из первых больших текстологических работ Б. В. Томашевского, столь обогативших советское пушкиноведение. В издании „Красной Нивы“ и в двух изданиях шеститомника текст этот перепечатывался без перемен, если не считать многочисленных опечаток, да дополнительно расшифрованной Б. В. Томашевским фамилии генерала, при котором „батьюшка“ Белкина „был некогда адъютантом“.¹ В новом издании однотомника Б. В. Томашевский в основном повторяет текст, установленный в 1924 г., отходя от него лишь в редких случаях. Проверив по рукописи текст „Истории“, установленный в однотомнике, мы обратили внимание на следующие неточности Б. В. Томашевского:

Стр. 512 (ст. 1): „Смерть дражайших моих родителей, *воспоследовавшая в одно время*, принудила меня подать в отставку“. Слова, выделенные нами курсивом, в однотомнике отсутствуют.

Стр. 512 (ст. 2): „Повар, ныне в бездействии отрастивший себе бороду, вызвался приготовить мне обед...“ Слово „ныне“ должно быть устранено, ибо оно явно лишь по недосмотру осталось не вычеркнутым при правке черновой редакции этого места: „[Бывший] повар, ныне [хлебопашец], в бездействии отрастивший себе бороду...“

¹ Фамилия эта, в старых изданиях обозначавшаяся многоточием или „NN“, прочитана была Б. В. Томашевским: „Племянников“. Следует отметить, что Пушкин имел в виду совершенно конкретное лицо — генерал-аншефа П. Г. Племянникова, умершего в 1775 г. Характерно, что прежде чем остановиться на Племянникове, Пушкин, судя по расшифрованному нами зачеркнутому варианту фамилии генерала, предполагал связать отца своего героя с генералом Вейсманом. (Речь шла, конечно, об Отто-Адольфе Вейсман фон Вейсенштейне, убитом у дер. Кучук-Кайнарджи в 1773 г. См. упоминание о нем в думе Рыльева „Святослав“.)

Стр. 515 (ст. 1). Строки, извлеченные из Горюхинской летописи: „Тришка за грубость бѣ“, „Сенька за пьянство бѣ“, — писанные с титлами, что в пушкинском тексте прямо оговорено („Первые 20 частей исписано старинным почерком с титлами“), печатаются в однотомнике без титлов.

Стр. 516 (ст. 1): „Сие болото и называется бесовским“ и „Все вообще склонны к чувственному наслаждению пьянства“. Слова, отмеченные нами курсивом, отсутствуют в однотомнике.

Стр. 516 (ст. 2): „Весною переправляются они на челноках, подобно древним скандинавским“. В рукописи эта строка первоначально написана была Пушкиным так: „На плотях, подобным суднам скандинавским“, затем заменено: „на челноках, подобно древним“, а последнее слово осталось невыправленным явно по недосмотру, т. е. вм. слова „скандинавским“ следует дать редакторскую конъектуру „скандинавам“, что делал в предыдущих изданиях и сам Б. В. Томашевский.

Стр. 516 (ст. 2): „а прочие времена года переходят в брод“. В рукописи же: „а прочее время года“ и пр.

Стр. 517 (ст. 2): „Вот что достоверно“. В рукописи же: „Вот что [кажется] достоверным“.

Наконец, на основании одного из планов „Истории села Горюхина“ в тетради ЛБ № 2387А, л. 1 („Глава I. Статистическое обозрение Горюхина. Правление и обитатели“) мы считаем возможным приурочить к совершенно определенному месту „Истории“ и тот ее фрагмент, который до сих пор резко нарушал стройность ее композиции. Мы имеем в виду строки от „Образ правления в Горюхине несколько раз изменялся“ и кончая „Будут развиты мною в течение моего повествования“ (стр. 517, ст. 1), печатавшиеся во всех прежних изданиях перед разделом „Баснословные времена“, а в однотомнике данные сейчас после песни Архипа Лысого, но, как свидетельствует план самого Пушкина, подлежащие перемещению на стр. 516, перед разделом „Обитатели Горюхина большею частью“ и пр.

В тексте „Станционного Смотрителя“, вопреки последнему прижизненному изданию „Повестей А. Пушкина“ 1834 г. (стр. 99 и 110), Б. В. Томашевский изменяет имя героя повести (Симеон Вырин) и отчество его дочери (Авдотья Симеоновна) на „Самсон Вырин“ и „Авдотья Самсоновна“ (стр. 499 и 501). Это уклонение от текста, санкционированного самим Пушкиным, хотя и основано на вариантах первого издания „Повестей Белкина“ (в издании 1831 г. имя отца — Симеон — и отчество дочери — Самсоновна — оказались несогласованными, в виду чего в „опечатках“ предлагалось исправить „Симеона“ на „Самсона“), представляется нам редакторской вольностью, особенно неуместной в массовом издании, в котором не может быть специально оговорено и мотивировано это расхождение текста однотомника с текстами всех прочих советских (в том числе и школьных) публикаций „Повестей Белкина“.

Быше были уже отмечены существенные изменения, внесенные в новом издании однотомника в текст „Рославлева“, прежде печатавшийся Б. В. Томашевским по неполному и неисправному тексту „Современника“. Однако, печатая ныне полную рукописную редакцию „Рославлева“, Б. В. Томашевский оставляет в подзаголовке „1811 год“ (стр. 519), понятный в первопечатном тексте, ибо Пушкин по цензурным условиям ограничился публикацией только части своего произведения, но недопустимый в однотомнике, где дана и вторая часть „Рославлева“, посвященная 1812 году. Здесь же на стр. 521 (столбец 2), в строке „все закалялись говорить по французски“ вместо „закалялись“ (или „закаились“, как в автографе) дано неверное чтение: „закалялись“.

При сравнении с рукописью Пушкина новой публикации „Романа в письмах“ мы заметили в тексте письма девятого две ошибки, не устраненные в свое время и нами из шеститомника. Так, например, на стр. 634, вместо якобы недописанной фразы „Конечно, дворянство...“ следует печатать: „Конечно дворянин [совершенно независим. Время нам ограничиться]“. Вместо „дворянин“ первоначально в рукописи было еще более четко „русский помещик“. На этой же странице очень досаден пропуск, отмечаемый нами курсивом: „Охота тебе корчить г. Фобласа и вечно возиться с женщинами. Это недостойно тебя“.

Вслед за „Художественной прозой“ в однотомнике идет отдел „Статьи“, разбитый на четыре рубрики, из которых последняя к „статьям“, конечно, отнесена ошибочно: 1. Исторические произведения. 2. Журнальные статьи, критические заметки и наброски. 3. Заметки Пушкина о своих произведениях. 4. Воспоминания и дневники.

Трудности отбора для этого раздела однотомника тех, а не иных публикаций и заметок Пушкина преодолены Б. В. Томашевским весьма успешно, если не считать одного пробела, с нашей точки зрения очень существенного: „История Пугачева“ включена в однотомник не только без документальных приложений к ней, обычно опускаемых в массовых изданиях, но и без примечаний Пушкина, отсутствие которых необычайно обедняет всю фактическую часть этой исторической монографии, создает ложное впечатление о самом ее жанре и неприемлемо, наконец, потому, что в примечания к „Истории“ Пушкину нередко приходилось переносить материал, недопустимый в основном тексте по соображениям цензурно-тактического порядка. Этот досадный пробел однотомника не компенсируется ни восстановлением имени Вольтера в предисловии к „Истории“ (стр. 661), ни публикацией в комментариях впервые расшифрованных Б. В. Томашевским нескольких любопытных строк переписки Пушкина с М. Л. Яковлевым, директором типографии, в которой печаталась „История“. Строки эти сохранились на типографском оригинале рукописи Пушкина. На отметку М. Л. Яковлева: „Нельзя ли без Вольтера“ Пушкин там же отвечал: „А почему ж? Вольтер человек очень порядочный и его сношения с Екатериною суть исторические“ (стр. 908—909).

Пользуемся случаем здесь же исправить предлагаемую Б. В. Томашевским датировку работы Пушкина над „Историей Пугачева“. Утверждая, что „шесть глав были написаны к 22 мая (помета в рукописи)“, Б. В. Томашевский повторяет прочно утвердившуюся в нашей специальной литературе ошибочную справку академического комментатора „Истории Пугачева“ проф. Н. Н. Фирсова, удостоверившего, что шестая глава самим автором в рукописи датирована 22 мая 1833 г. („Соч. Пушкина“, т. XI, 1914 г., примеч., стр. 41). Однако произведенное нами детальное обследование рукописи Пушкина позволяет установить, что дата „22 мая 1833“ относилась не к перебеленной шестой главе, а к черновому наброску заключительных строк главы восьмой, — именно к описанию отправки пленного Пугачева в Москву и его казни (от слов „Пу(гачева) в железной клетке под крепкой стражей отправили в Москву“ до „Казнь его совершилась 10 января 1775 года. Очевидец, в то время едва вышедший из отрочества, ныне старец, покрытый многими славами, в неизданных своих записках таким образом описывает сие происшествие“). Отмеченная нами черновая запись занимает частичку двойного листа плотной белой бумаги, который несколько месяцев спустя был использован Пушкиным для обложки шестой главы, что и ввело в заблуждение как Н. Н. Фирсова, так и позднейших исследователей „Истории Пугачева“ (эта ошибка повторялась и нами). Устанавливая наличие в портфеле Пушкина уже 22 мая 1833 г. не только шестой главы, но и черногого абриса *всей* „Истории Пугачева“, мы с полным вниманием должны отнестись к давно известному, но считавшемуся не заслуживающим доверия сообщению Гоголя в письме от 8 мая 1833 г. к Погодину о том, что Пушкин „уже почти кончил историю Пугачева“. Эта начальная редакция „Истории“, конечно, самым существенным образом в течение всего 1833 г. и начала 1834 г. дополнялась, исправлялась и перестраивалась на основании получаемых Пушкиным новых документальных и мемуарных данных, но как некоторая цельная, хотя бы и черновая конструкция, охватывающая всю жизнь Пугачева, она все же уже существовала за несколько месяцев до поездки Пушкина на Волгу и в Оренбург.

Из журнальных статей, критических и автобиографических заметок Пушкина, включенных в однотомник, важнейшие даются по их первопечатным текстам или по редакциям, установленным в шеститомнике С. М. Бонди, Т. Г. Зенгер, нами и самим Б. В. Томашевским. Некоторые сомнения общего порядка вызывают в этом разделе прежде всего условные заголовки, даваемые редактором черновым статьям и заметкам, самим Пушкиным не озаглавленным. О том, что эти заголовки („О драме“, „О Викторе Гюго“, „О Шекспире“.

„Об Альфреде Мюссе“ и мн. др.), принадлежат не Пушкину, а Б. В. Томашевскому, следовало сказать хотя бы в примечаниях, если редактор (вполне законно) не хотел пестрить массового издания обычно принятыми в таких случаях угловыми или квадратными скобками.

Статьи, даваемые в одномомнике по первопечатным редакциям и беловым рукописям, не вызывают никаких сомнений, если не считать заметки о „Полтаве“ („Habent sua fata libelli“), которая дается Б. В. Томашевским (стр. 789—790) по усеченному тексту альманаха „Денница“, в то время как автограф этой статьи (Ленинская библиотека, тетрадь 2387/Б, лл. 37 об. и 61) имеет концовку, устраненную из „Денницы“ явно по цензурным соображениям. Мы имеем в виду абзац, в котором Пушкин полемизировал с Рылеевым (от слов „Прочитав в первый раз в Войнаровском стихе «Жену страдальца Кочубея»“ и пр. до „Полтаву написал я в несколько дней. Долее не мог бы ею заниматься, и бросил бы всё“); мы считаем ошибкой не только отсутствие этой концовки в основном тексте статьи, но и отсутствие упоминаний об этих замечательных строках хотя бы в примечаниях (см. стр. 916).

Во многих критических набросках, печатаемых по черновым рукописям, до сих пор до конца не расшифрованным, Б. В. Томашевский сохраняет ошибки своих предшественников, хотя, как отмечено на стр. 820 редакционного введения к примечаниям, в одномомнике „проверен по первоисточникам почти весь текст“ его и „только в немногих случаях (для десятка стихотворений и приблизительно такого же количества статей) в издание введен текст шеститомника“. К сожалению, текст шеститомника в первых его изданиях не до конца был выверен по первоисточникам и опирался в нескольких случаях на ошибочные чтения и конъектуры старого академического издания. Не останавливаясь на местах спорных и промахах незначительных, отметим лишь наиболее досадные дефекты текстов критических статей, подлежащие устранению из ближайших же переизданий одномомника:

Стр. 701, в заметке „Причинами, замедлившими ход нашей словесности“, слова „метафизический язык“, взятые в скобки, являются не вариантом следующих слов („проза наша“), а сбывшим в правке Пушкина знаком переноса в это место других строк — в данном случае сентенции о „метафизическом языке“, стоявшей выше, т. е. окончательная редакция этих строк такова: „Ученость, политика и философия еще по русски не изъяснялись — метафизического языка у нас вовсе не существует; проза наша так еще мало обработана“ и пр.

Стр. 703, в заметках „По поводу статьи Кюхельбекера“ вместо явно бессмысленной строки „ода стоит на низших степенях поэм“ надо печатать по рукописи: „Ода стоит на низших степенях [творчества] — не говоря уже об эпосе, трагедия, поэма, комедия, сатира — все более ее требуют творчества“. Слово „творчества“ в начале фразы Пушкин зачеркнул, как повторяющееся в конце этой же сентенции, но другим не заменил, редактор же принял за эту замену вставку слова „поэма“ в другое место рукописи. В этой же статье Б. В. Томашевский произвольно оставляет (даже без условных скобок) зачеркнутые Пушкиным слова „не существует“, что изменяет весь смысл сентенции.

Стр. 723—726, в заметках „О драме“ необходимо отделить текст самой статьи от набросков ее плана (статья должна начинаться со слов: „Между тем, как эстетика со времен Канта и Лессинга“ и пр.), отдельные положения статьи должны быть выделены, как в автографе Пушкина, линейками и отбивкою строк, наконец, в сентенции „У Кальдерона храбрый Кориолан вызывает консула на дуэль и бросает ему перчатку. У Расина полу-скиф Ипполит ее поднимает и говорит языком молодого благовоспитанного маркиза“ — необходимо устранить обесмысливающие этот текст слова „ее поднимает и“, ибо они относятся не к Ипполиту, а к черновой редакции строк о Кориолане же у Кальдерона.

Стр. 791, в заметке „Граф Нулин“ вместо „Публикола не взбесился бы, Брут не изгнал бы царей“ напечатано: „Публикола не взбесился бы, не изгнал бы царей“, ¹ а знаменитая концовка этой же заметки: „Я имею привычку на моих бумагах выставлять год и число. Граф

¹ В процессе допечатки тиража одномомника эта ошибка, восходящая, как и следующая, к тексту, опубликованному Н. К. Козминым, была в части экземпляров исправлена.

Нулин писан 13 и 14 декабря — бывают странные сближения“ произвольно из основного текста изъята и дана только в примечаниях (стр. 916), как якобы „недописанная фраза“ (?).

Стр. 811, в анекдоте „Когда Пугачев сидел на Меновом дворе“ необходимо восстановить строки, зачеркнутые явно по соображениям цензурно-тактического порядка при подготовке Пушкиным к печати части записанных им анекдотов (текст зачеркнутых строк см. далее на стр. 435).

Из новых чтений отдельных черновых строк и слов, предлагаемых Б. В. Томашевским в разделах критической и автобиографической прозы однотомника, представляется нам особенно интересной новая расшифровка нескольких слов в заметке „О народности в литературе“. Напомним, что в старом академическом издании (т. IX, стр. 26—27) это место печаталось так:

„...что есть народного в Римской литературе и в — — как справедливо заметили“.

Далее, через 13 строк после нами приведенных: „Что есть народного в Ксении, рассуждающей* (*Сверху написано: шести стопный) ямбич. (стих) о власти родительской с наперсницей посреди стана Димитрия“.

В издании 1930 г. мы восстановим этот абзац статьи на основании анализа всего текста автографа, учета техники пушкинских сносок и перестановок, а также мемуарных данных о высказываниях Державина об Озере, следующим образом:

„Что есть народного в Русской трагедии и в Ксении Озерова, рассуждающей шестистопными ямбическими стихами) о власти родительской с наперсницей посреди стана Димитрия, как справедливо заметил Державин“.

Приняв за основу нашу реконструкцию текста, Б. В. Томашевский уточнил ее, прочитав как „Рос. и Влад.“ Хераскова слова, расшифрованные нами как „Рус. траг.“ Вот редакция отрывка, предлагаемая в однотомнике:

„Что есть народного в Россиаде и Владимире и, как справедливо заметил Державин, что есть народного в Ксении Озерова, рассуждающей шестистопными ямбами о власти родительской с наперсницей посреди стана Димитрия“.

Из менее существенных конъектур в других черновых текстах отметим в заметке о Байроне остроумное чтение места о „нелепой испанской повести“ (стр. 707) вм. прежнего „нелепой и пошлой повести“, а также расшифровку прежнего „Фрейлина“ — как „Фредерикс“ (придворная дама, приятельница царицы) в дневнике Пушкина от 3 марта 1834 г. (стр. 917).

Наши замечания о некоторых особенно сложных и спорных деталях прозаических текстов однотомника исходили из требований, предъявляемых, конечно, не к массовым изданиям, а к специальным академическим трудам. Имя редактора рецензируемой книги и известные высокие ее качества позволили однако нам, не повторяя заслуженных однотомником похвал, остановиться больше на некоторых его недочетах, чем на общепризнанных достижениях.

Ю. Г. Оксман.

Рукою Пушкина. Несобранные и неопубликованные тексты. Подготовили к печати и комментировали М. А. Цявловский, Л. Б. Модзалевский, Т. Г. Зенгер. Труды Пушкинской комиссии Института литературы (Пушкинского Дома) Академии Наук СССР. Academia, Москва—Ленинград, 1935. Стр. 926.

Книга „Рукою Пушкина“ представляет собою сборник текстов поэта, писанных лично им, но не входящих в полные собрания его сочинений. Тексты эти, весьма различные и по размерам, и по содержанию, объединены и опубликованы с примечаниями впервые. До сих пор, рассеянные в разных изданиях, затерявшиеся в тетрадях Пушкина и частью не появлявшиеся в печати, они не были в поле зрения исследователей, иногда нуждающихся в самых малозначительных на первый взгляд записях Пушкина для лучшего разъяснения тех или иных недостаточно изученных фактов, либо для подтверждения того или иного вывода. Таким образом, большое значение нового издания текстов Пушкина не подлежит сомнению.

Нельзя не признать и большого труда, положенного на эту книгу М. А. Цявловским, Л. Б. Модзалевским и Т. Г. Зенгер, подготовившими к печати и комментировавшими собранный ими огромный материал.

Полнота этого материала, система в размещении его, точность воспроизведения текстов и обстоятельность примечаний должны определить ценность книги „Рукою Пушкина“.

1. Полнота материала, по словам самого М. А. Цявловского, не исчерпывающая (стр. 857). Если оставить в стороне вошедшие в собрания сочинений заметки Пушкина на полях „Опытов“ Батюшкова, статьи П. А. Вяземского об Озерове, статьи М. П. Погодина о Борисе Годунове или объяснения древнерусских слов в „Слове о Полку Игореве“, печатающиеся в „Летописи“ Литературного музея, — все же неясно, почему исключены исправления и замечания Пушкина в тексте рукописи стихотворений А. А. Дельвига. Они, правда, обрабатываются для печати Ю. Н. Верховским, но, с другой стороны, они уже были использованы Б. В. Томашевским в примечаниях к стихотворениям Дельвига (изд. 1934 г.). По непонятным соображениям оставлены без внимания тексты, опубликованные недавно в „Литературном Наследстве“ (кн. 16—18, стр. 598, 880 и др.): запись Пушкина на письме Д. И. Хвостова, план статьи о феодализме и др. Затем опущены замечания, отметки и корректурные поправки Пушкина на полях „Записок о жизни и службе А. И. Бибикова“ (СПб., 1817), „Песни ополчению Игоря“ А. Ф. Вельтмана (М., 1829), „Древнего сказания о победе в. к. Д. И. Донского“ (М., 1829), „Собрания 4291 древних российских пословиц“ (М., 1770), „Voyage en Orient“ Фонтанье (Paris, 1829), „Заседания, бывшего в Российской Академии 18 января 1836 г.“ и т. д. Не воспроизведены отчеркнутые Пушкиным места из „Русских пословиц“ И. Богдановича (СПб., 1785), „Полного собрания пословиц и поговорок“ (СПб., 1822), „Собрания сочинений Георгия Конисского“ (СПб., 1835), „Шекспировых духов“ В. К. Кюхельбекера (СПб., 1825), драмы Е. Ф. Розена „Россия и Баторий“ (СПб., 1833), „Топографии Оренбургской“ П. И. Рычкова (СПб., 1762), „Mémoires de lord Byron“ (Paris, 1830), „Oeuvres de Denis Diderot“ (Paris, 1821) и т. п.

Все перечисленные записи и пометки в той или иной степени связаны с работой Пушкина над „Историей Пугачева“, „Путешествием в Арзрум“ и статьей о Георгии Конисском, с его изучением русских пословиц и „Слова о Полку Игореве“, с его чтением изданий И. М. Снегирева, произведений Кюхельбекера, с его историческими и литературными справками об интересовавших его политических и общественных деятелях (Е. Р. Дашкова, А. Поссевино и др.).

И естественно возникает вопрос: каким критерием руководились редакторы книги, опуская любопытные заметки и отдавая предпочтение мало понятным записям, как например: „Q. G. F. O. Y.“ (стр. 298, № 17); „Кучер — 19 февр.“ (стр. 314, № 43); „20 мая 1828 при“ (стр. 315, № 46) и т. п. Эти начертания приводили в недоумение редакторов, обычно писавших: „Смысл букв расшифровать не можем“; „Что она <запись> означает, объяснить не можем“; „Смысл записи остается темен“. Отсюда, конечно, не следует, что подобные слова или цифры, написанные рукою Пушкина, подлежат изъятию, но нельзя не пожалеть о невключенном в книгу более ценном материале. Вместо того чтобы собрать всевозможные догадки по поводу „кучера“ и „19 февраля“, читателю гораздо важнее узнать, какие именно страницы Дидро, посвященные Е. Р. Дашковой, интересовали Пушкина, или какая связь между многочисленными его заметками на экземпляре „Древнего сказания о победе Д. И. Донского над Мамаем“ и программой статьи о русской литературе, где упоминается „Песнь о побоище Мамаеве“.

2. Кроме полноты материала, важна система его размещения в книге. В данном случае материал определяется как собрание текстов Пушкина, которые 1) „не являются произведениями“, „плодом его творчества“ и поэтому 2) „не входят в полное собрание сочинений“ или входят лишь в некоторые из них. Этот материал разбивается, прежде всего, на две большие группы текстов: а) на „тексты, находившиеся в личном архиве Пушкина, его писания интимного характера, для себя“; б) на „тексты, находившиеся в архивах государственных учреждений и частных лиц, писания по природе своей предназначавшиеся для

других писания, так сказать, публичного характера“ (стр. 9). Каждая из упомянутых больших групп, в свою очередь, распадается на 11 отделов. Первая группа включает 1) переводы Пушкина с иностранных языков; 2) исправления Пушкина, сделанные им в текстах других авторов; 3) фрагменты произведений в виде черновых набросков, не приурочиваемых к произведениям, известным в печати, черновые отрывки писем, беловые которых неизвестны, заметки при чтении книг, записи мыслей; 4) проекты и планы изданий собственных произведений и томов „Современника“; 5) списки собственных произведений; 6) „записи самого разнообразного содержания: пометы о событиях в жизни Пушкина, списки лиц, которым надо написать письма, списки покупок вещей, адреса, рецепт, стихи народных песен с метрической схемой, тексты обложек рукописей произведений, подсчеты стихов и т. д.“; 7) приходо-расходные записи, списки долгов и сметы расходов; 8) подписи к рисункам; 9) записи народных сказок и песен; 10) копии текстов стихотворений русских и иностранных авторов; 11) надписи на книгах. — Вторая группа текстов содержит также 11 отделов, из которых отмечаются нами лишь некоторые: 1) переводы русских народных песен на французский язык; 2) записи в альбомы произведений Пушкина и других авторов; 3) подписи к рисункам; 4) записи на рукописях других лиц; 5) надписи Пушкина на книгах собственных сочинений и сочинений других авторов; 8) деловые документы (прошения, доверенности, контракты); 9) векселя и денежные обязательства.

Содержание основных групп и их отделов наглядно указывает, что в данном случае трудно говорить о какой-либо классификации текстов, либо отыскивать основание или принцип деления. Первые отделы обеих групп (переводы), по существу, тождественны, независимо от того, с какого и на какой язык перевод сделан. Седьмой отдел первой группы и девятый отдел второй группы (списки долгов, сметы расходов, векселя), по характеру своему тоже однородны. Восьмой отдел первой группы и третий отдел второй группы (подписи к рисункам) всецело совпадают. Такое же явление наблюдается и в рамках каждой группы в отдельности. Третий и шестой отделы первой группы, содержащие самый пестрый материал, не поддающийся точному определению, естественно, частично покрывают друг друга. Восьмой и девятый отделы второй группы (доверенности, контракты, векселя, денежные обязательства) тоже сходны между собой, и любопытно, что обязательства по ссуде в 20 000 руб. (стр. 768, 785—787) и обязательства об уплате денег на счета частных лиц (Беллизара, Бригеля, фабрики Кайдановой и т. п.) помещены в разных отделах.

Впрочем, недостатки системы в размещении материала отчасти признаны и главным редактором. Самый выбор материала, повидимому, для него затруднителен, так как, по его словам, „признание того или иного писания «произведением», продуктом творчества, достойным в качестве такового включения в собрание сочинений, часто дело весьма условное“ (стр. 9). Вынужден редактор оговорить и отсутствие четкости в делении материала на две основных группы. „Деление это, — пишет он, — до известной степени, конечно, условно. Относительно некоторых текстов трудно определить, к какой категории они должны бы быть отнесены“ (стр. 9).

3. Книга „Рукою Пушкина“, по существу своему, сборник документов, т. е. издание дипломатическое. В подобном издании тексты должны воспроизводиться с большой тщательностью, обязательно должны быть переданы все мельчайшие особенности оригиналов. Так, повидимому, смотрели на свою задачу и редакторы разбираемой книги. В предисловии к последней сказано: „Почти все печатаемые пушкинские тексты воспроизводятся по подлинникам“ (стр. 12).

Степень точности передачи подлинников в сборнике „Рукою Пушкина“ может быть до известной степени выяснена путем сличения напечатанных текстов с их автографами или с их прежними фотографическими воспроизведениями. Проверены были нами следующие тексты: копия примечания В. А. Жуковского к стихотворению „Лалла Рук“ („Руссо сказал...“, стр. 490—491), запись о „Слове о Полку Игореве“, начинающаяся словами: „Все толкователи поэмы...“ (стр. 217) и копия записки А. Х. Востокова о „Слове“ (стр. 585).

Примечание к „Лалла Рук“ написано без помарок, вполне четким почерком. Несмотря на это, сличение фотогографического снимка с печатным текстом обнаруживает их различие, особенно в пунктуации:

В книге „Рукою Пушкина“
для того, чтобы
соединяется съ ними грусть
къ чему-то
далекому, что́

В фотографическом снимке
для того чтобы
соединяется съ нимъ грусть
къ чему то
далекому что

С двумя незначительными помарками, четко, почти каллиграфически переписана и записка А. Х. Востокова. Между тем и в этом случае расхождения печатного текста с фотографией еще более значительны:

В книге „Рукою Пушкина“
Что касается
не согласнаго
сіе касается
какъ то:
бяхетъ, помняшетъ
неумышленно по привычкѣ

В фотографическом снимке
что касается
несогласнаго
сіе касается
какъ то
бяхетъ помняшетъ
неумышленно, по привычкѣ

Печатный текст записи самого Пушкина о „Слове“ также не вполне совпадает с фотографическим снимком:

В книге „Рукою Пушкина“
сіе мѣсто
одинаковымъ
Не прилично
по былинамъ
такимъ
частица ли
мѣста [гдѣ] коего смыслъ
встрѣчается
напримѣръ во саду ли

В фотографическом снимке
[сіе] сіе мѣсто
одинакимъ
Неприличн(о)
по былин(амъ)
Такимъ
Частица ли
мѣсто [гдѣ] коего смыслъ
встрѣчаемъ
Напримѣръ — Во саду-ли

Несколько странное впечатление производит неточное воспроизведение тех самых факсимиле, которые помещены рядом с печатными текстами:

В тексте книги
русскимъ (стр. 136)
Предисловіе (стр. 329)
[tantaene animis irae. Virg]
Драматическіе очерки (стр. 331)
Драматическія изученія
Фракийскія (стр. 347)
и часть (стр. 398)

В факсимиле
рускимъ
Придисловіе
[tantaene animis — irae!] Virg.
Драматическіе очерки
Драматическія изученія
Фракийскія
(и) часть

Беглый обзор других текстов приводит к заключению, что и в них есть расхождения с общеизвестными, в разных местах опубликованными факсимиле. Вот несколько примеров:

В книге „Рукою Пушкина“
Sans gloires (стр. 504)
Пульхерія (стр. 629)
Екатерины — (стр. 641)

В факсимиле
sans gloire¹
Пульхерія²
Екатерины³

¹ Б. Л. Модзалевский. „Библиотека А. С. Пушкина“, СПб., 1910, стр. 192. В транскрипции: sans gloires, но в факсимиле: sans gloire.

² „Пушкин“, изд. Брокгауз-Ефрона, т. IV, стр. 92.

³ „Нива“, 1913, № 43, стр. 851.

Наблюдается также невыдержанность транскрипции: незаконченные слова то воспроизводятся полностью с заключением в ломаные скобки недописанных букв, то оставляются незаконченными. Так, на стр. 365 напечатано: „деньг. матушкѣ. день.<гами>, день.<гами> разходу вс., всего разх.“ и т. п.

4. Ко м м е н т а р и й в такой книге, как „Рукою Пушкина“, приобретает особую ценность. Обрывки фраз, отдельные слова, буквы и цифры часто нуждаются в детальном, всестороннем обследовании для уяснения их смысла и значения. Это обследование произведено тремя редакторами книги. Бесспорно, они с величайшим вниманием разыскивали и изучали каждую малоизвестную, полустершуюся строку, начертанную поэтом, и старались заставить заговорить немые знаки. Однако, несмотря на это, не со всеми их догадками можно согласиться, и не всегда удачны их опровержения чужих мнений; есть и неполнота в подборе фактов.

Перевод начальных строк из байроновского „Гяура“, любовь Пушкина к этому произведению и его занятия английским языком с Н. Н. Раевским (стр. 29) могли бы получить лучшее объяснение при учете сохранившегося в бумагах опеки (в Пушкинском Доме) перевода из „Гяура“. Этот перевод, написанный рукою Н. Н. Раевского на листе голубоватой бумаги с водяным знаком: — 1818 — озаглавлен: „Fragment de Guiaour. Mot-à-mot avec les tournures anglaises“. Он мог бы указать, как велик был интерес к „Гяуру“ Раевского, в какой мере последний владел в то время английским языком (ср. Г. И. Филипсов, „Воспоминания“, М., 1885, стр. 155) и имел ли к этому переводу непосредственное отношение Пушкин.

Признание пушкинским переводом немецкой биографии А. П. Ганнибала (стр. 34—59), несмотря на недостатки языка, тяжелого и неправильного, вызывает естественные сомнения. Между тем редакторы склонны стать именно на эту точку зрения, хотя сами признают отсутствие „достаточных данных для решения вопроса“. Приписать перевод Пушкину оказывается возможным при условиях: 1) если Пушкин — согласно мало правдоподобному свидетельству Кс. А. Полевого — не раз выучивался немецкому языку, а затем его забывал, и сделал данный перевод как-раз в тот момент, пока не забыл; 2) если Пушкин и в этот момент был настолько поглощен „преодолением трудности передачи содержания“, что оказался неспособен „отделывать слог“. Не проще ли сохранить старое объяснение, что Пушкин записывал под диктовку чужой перевод, который не исправил, видя в нем только черновой материал?

В комментариях к переводу „Слова о Полку Игореве“, сделанному В. А. Жуковским, вполне правильно видное место отведено выдержкам из письма А. И. Тургенева от 13 декабря 1836 г., причем (стр. 147) сделана ссылка на стр. 278 известного труда П. Е. Щеголева „Дуэль и смерть Пушкина“ (3 изд., 1928). А немного ниже сказано: „Другие веские свидетельства о занятиях Пушкина «Словом о Полку Игореве» весной и летом 1836 г. собраны Н. К. Козминым“, и сделана ссылка на стр. 595—596 девятого тома академического издания сочинений Пушкина. Между тем именно в этом томе, в отделе „Дополнения и поправки“, на стр. 969 цитируется упомянутое письмо Тургенева по книге Щеголева. Очевидно IX том не был просмотрен до конца, и „Дополнения“ ускользнули из виду. Совершенно аналогичный случай повторился и в другом комментарии, тоже посвященном „Слову“ и относящемся к записи: „Все толкователи поэмы“ и т. д. (стр. 217—218). Эта запись, по заявлению редактора, печатается впервые, тогда как на самом деле она была уже опубликована в вышеупомянутом IX томе на стр. 588—589.

Слова Пушкина: „Г. Сенковский съ удивл(еніемъ) ¹ видитъ тутъ <„хощу копие предломити“> выраженіе рыцарское“, по мнению комментаторов никоим образом не дают повода предположить наличие ошибки поэта, случайно смешавшего Сенковского с Каченовским, который писал: „Фраза рыцарская!! Rompre une lance avec и также pour quelqu'un. Смотри Словари. Странная ¹ встреча!“ (1834 г.). Комментатор склонен привлечь для толкования пушкинских слов не современную объясняемому тексту статью, а напечатанную

¹ Курсив наш.

семнадцать лет спустя после смерти Пушкина рецензию О. И. Сенковского, который в одном примечании повторяет хорошо известное ему с 1834 г. мнение М. Т. Каченовского, не высказывая при этом, подобно последнему, отмеченного Пушкиным удивления,¹ по крайней мере в цитируемых словах: „Rompre les lances — выражение, принадлежащее турнирам французского рыцарства“ (1854). Комментатор категорически отрицает возможность ошибки или опiski Пушкина; хотя наличие их в черновых рукописях поэта давно установлено (Лагарп в м. Ривароль, Мильтон в м. Кромвель и т. п.); он видит в пушкинской записи возражение на словесно сделанное замечание, тогда как естественнее усмотреть здесь опровержение взгляда, распространяемого в печати; он недооценивает того обстоятельства, что именно с Каченовским вел Пушкин большие прения по поводу „Слова“. Отрываясь от твердой почвы фактов, комментатор вступает в область гаданий и вынужден для подтверждения своих заключений строить произвольные домыслы — предполагать, что в 1830-х годах Сенковский, независимо от Каченовского, открыл „рыцарские выражения“ в „Слове“, беседовал по поводу „Слова“ с Пушкиным и сообщил ему свое толкование слов: „копье преломити“ (стр. 219—220).

Относительно записки А. Х. Востокова о „Слове“ в комментариях есть рассуждения, которые вызывают большие сомнения. Прежде всего, читатель узнает, что „специальной работы о «Слове о Полку Игореве» у Востокова нет“, что в его „Филологических наблюдениях“ (СПб., 1865 г.) и в его ученой переписке (СПб., 1873 г.) „нет даже ни одного упоминания“ о „Слове“ и что „лишь в «Опыте о русском стихосложении» есть страницы, посвященные этому памятнику“ (стр. 586). Между тем, и помимо „Опыта“ существуют работы Востокова, в которых он проявляет интерес к „Слову“. Это — „Рассуждение о славянском языке“ („Труды Общества любителей российской словесности“, 1820, ч. XXII, кн. 25, стр. 7) и „Словарь церковно-славянского и древне-русского языков“ (СПб., 1858 г.).

Копия записки Востокова дает повод комментатору сделать предположение, что он написал эту записку для В. А. Жуковского или А. Ф. Вельтмана или еще какого-либо переводчика и исследователя „Слова“, но не для Пушкина, так как в данном случае оригинал обязательно сохранился бы в бумагах поэта, высоко ценившего великого филолога. Но такие аргументы не вполне убедительны. Разве до нас дошли все бумаги, бывшие в архиве Пушкина? Как бы он ни прожил ни берег автограф, последний мог пропасть после его смерти. Ссылка на Жуковского и Вельтмана ничем не обоснована, а наличие копии у Пушкина есть неопровержимый факт. И поэт мог снять копию с принадлежащего лично ему автографа Востокова, чтобы присоединить ее, в виде приложения, к своей статье о „Слове“. Подобные приложения есть хотя бы в очерке „Александр Радищев“, писанном в 1836 г.

Самый обширный из всех комментариев в книге „Рукою Пушкина“ посвящен К. А. Собаньской. Это — целый трактат, занимающий полтора листа мелкого шрифта (стр. 184—208) и предназначенный для всестороннего освещения двух черновых писем Пушкина (стр. 179—184). Собаньская не столь неизвестно лицо, чтобы о ней нужно было подробно распространяться. Вполне достаточно было бы просто сослаться на результаты био-библиографических разысканий Б. Л. Модзалевского и М. П. Алексеева („Архив Раевских“, т. I, стр. 311—314; „Пушкин. Статьи и материалы“, Одесса, 1927, вып. III, стр. 84—86) и привести лишь небольшие выдержки из немногих новых документов, которые удалось разыскать в архивах. Такой способ изложения оказался, однако, неприемлемым. Какие же причины побуждают пересмотреть заново материалы о Собаньской и прийти к новым заключениям? Очевидно, ни письмо Собаньской к А. Х. Бенкендорфу, ни письмо Николая I к И. Ф. Паскевичу в этом отношении ничего не дают. Остается письмо А. М. де-Рибаса (от 8 февраля 1934 г.), которое побудило комментатора отнести к Собаньской два черновых письма Пушкина и отсюда сделать желательные ему выводы. В этих выводах комментатор заходит далеко. Вместо того, чтобы осторожно отметить возможную связь письма Собаньской к Пушкину с черновыми набросками его обращения к неизвестной, коммента-

¹ Ср. фразу М. Т. Каченовского: „Странная встреча!“

тор пытается отвести Собаньской совершенно исключительное место в жизни поэта. Но такая переоценка значения Собаньской покупается дорогой ценою. Недостаток проверенных сведений приходится прикрывать самыми смелыми и рискованными догадками и гипотезами: Пушкин едет из Кишинева в Одессу (1821 г.), — значит он спешит повидаться с Собаньской; Пушкин пишет письмо (октябрь 1823), предположительно к А. Н. Раевскому, и упоминает в нем „М. S.“ — предположительно Собаньскую, — значит он пишет несомненно А. Н. Раевскому, хотя живет с ним в одном городе, имеет возможность часто видеться и не нуждается в переписке. Пушкин в письме к Н. Н. Раевскому от 30 января 1829 г. приводит отзыв двоюродной сестры г-жи Любомирской о Марине Мнишек, — значит сестра Любомирской есть в действительности Собаньская, и именно ей Пушкин, цenia ее ум, читал „Бориса Годунова“ и именно с ней беседовал о Марине. 4 марта 1831 г. Пушкин „стремительно уехал из Петербурга“ и стал просить руки Наталии Николаевны, — значит он „искал спасения от мучительно опустошающей, безнадежной любви к Собаньской“. Пушкин пишет в 1829—1831 гг. VIII главу „Евгения Онегина“, — значит „ситуация“ Онегина и Татьяны — это ситуация Пушкина и Собаньской. Стихотворения: „Я вас любил“ и „Когда твои младые лета“ (1829 г.) тоже оказываются посвященными Собаньской, причем последнее — вопреки свидетельству двух ближайших друзей поэта, П. А. Плетнева и П. В. Нащокина, относивших это произведение к А. Ф. Закревской. „Оба эти утверждения, — заявляет комментатор, — высказаны спустя двадцать лет после написания стихотворений и поэтому едва ли могут быть признаны решающими вопрос“ (стр. 208). Более авторитетными — как это ни странно — признаются показания и даже гипотезы А. М. де-Рибаса; в этом случае не только отсутствует критика, но не применяется и давность, давшая возможность отвергнуть сообщения хорошо осведомленных приятелей Пушкина. А. М. де-Рибас, знаток Одессы и почитатель великого поэта, родился приблизительно в 1857 г. Сведения об отношении Пушкина к Собаньской он получил от своего отца, Михаила Феликсовича (род. в 1808 г.), который в 1823 г., будучи 15-летним мальчиком, имел случай слышать отрывки разговоров своей матери с К. А. Собаньской, сохранил их в своей памяти и сообщил сыну. А. М. де-Рибас мог слышать рассказ отца лет через пятьдесят после бесед его бабушки с Каролиной Собаньской, а написал об этом комментатору книги „Рукою Пушкина“ лишь 8 февраля 1934 г. Таким образом в течение 111 лет (с 1823 по 1934 г.) два поколения де-Рибасов берегли для современных исследователей две следующие фразы Собаньской: 1) „они оба <Пушкин и А. Раевский> были влюблены в меня“ („ils ont été tous les deux amoureux de moi“) и „мы читаем с ним романы, которые мне дает де-Витт“ („nous lisons avec lui les romans que me donne de Witt“). Последняя фраза, конечно, сейчас же сопоставляется с „жгучими чтениями“ („lectures brûlantes“) в черновике Пушкина.

В связи с цитатой из „Revue Encyclopédique“ в комментариях сделано замечание, что „хроника петербургской культурной жизни (в этом издании) велась, несомненно, русским, бывшим в курсе литературной жизни столицы“ (стр. 486). Этого „несомненно русского“ следовало определить точнее. Для этого было достаточно обследовать „Table décennale de la Revue Encyclopédique“ (1819—1829), деятельность Е. Геро (E. Héreau), С. Д. Полторацкого, Я. Н. Толстого и отчасти С. А. Соболевского.

Выписка из Гизо: „Le celibat des prêtres etc.“ (стр. 509—510) приведена без точного указания сочинения, из которого она взята. Большие выписки по истории французского феодализма сопровождаются не указанием источника, а перечнем безрезультатно просмотренных двадцати пяти исторических трудов (стр. 532). Подобный перечень ровно ничего не может дать читателю, и скорее всего невольно вызовет в нем чувство неудовольствия. Так, труд Гизо (№ 5) „Histoire de la civilisation en France etc.“ вышел в пяти томах (последний в 1832 г.), а комментаторам известны только четыре. Сочинение Мишле „Précis de l'histoire moderne“ (№ 12) было у Пушкина в пятом исправленном издании 1834 г., а комментатор пользовался третьим изданием 1832 г. Осталось неизвестным: один или два тома работы Минье „Histoire de la Révolution Française“ и в каком издании были доступны комментатору (№ 14); то же можно сказать и об исследовании Licquet „Histoire de la Normandie“

(№ 8), с тою разницею, что издание здесь указано. Самый перечень страдает также и неполнотой. Не отмечено, например, капитальное произведение Анри Мартена (Martin) „История Франции“, относящееся к первой половине 1830-х годов, и т. д.

Цитата Пушкина из Вольтера: „Je tâche de n'en rien croire etc.“ (стр. 586—587) признана „мнимой“, так как не найдена в сорокадвухтомном собрании сочинений Вольтера (Paris, 1817—1820), где „просмотрены его письма не только к д'Аржанталю, но и к другим корреспондентам“. Заключение, по меньшей мере, преждевременное.

В статье „Тексты Пушкина, не вошедшие в настоящее издание“ допущена досадная неточность. К категории книг с пушкинскими отчеркиваниями на полях отнесены: „Стихотворения Александра Пушкина“, четвертая часть, СПб., 1835 (стр. 858, № 5), между тем как этот том — экземпляр с поправками автора (Б. Л. Модзалевский, „Библиотека А. С. Пушкина“, СПб., 1910, стр. 83, № 308), заслуживающими особого внимания.

Есть в книге и материалы, вызывающие, с нашей точки зрения, сомнения. В отделе „Дарительные надписи на книгах“ есть надпись: „К. Елиму Мещерскому“ (стр. 717, № 15), сделанная на обложке переплетенного экземпляра драмы „Борис Годунов“. Почерк — едва ли пушкинский. Известно, что дарственные надписи на экземплярах сочинений Пушкина иногда делались не его рукой, но по его поручению (см. стр. 710).

В заключение необходимо повторить сказанное в начале рецензии. Несмотря на указанные недочеты, книга „Рукою Пушкина“ сослужит службу пушкиноведам, которые, без кропотливых разысканий ее редакторов, нередко вынуждены были бы сами тратить много времени на пересмотр и изучение трудночитаемых пушкинских черновиков. Но, с другой стороны, обширность и разнообразие обследованного материала раскрывает перед рецензентами широкое поле, где жатва обильна. Здесь, на наиболее знакомом ему участке, каждый из них найдет себе работу.

Н. Козмин.

В число документов, объединенных в книге „Рукою Пушкина“, вошло четыре автографа Пушкина, из которых три последних непосредственно относятся к его связям с декабристами (записи о казни декабристов, о X главе „Евгения Онегина“ и подпись к рисунку в виселицах), а первый искусственно переадресован к декабрьским событиям редакцией сборника. Только композиционными недочетами книги (уже отмеченными выше Н. К. Козминым) можно объяснить то обстоятельство, что записи эти, тесно связанные между собой и хронологически и тематически, оказались рассеянными по всей книге, будучи отделены одна от другой десятками и сотнями страниц.

Тем более уместно объединить эти записи, хотя бы в пределах настоящей заметки, пересмотрев комментарии к ним, вызывающие порой некоторые недоумения.

В 1934 г. П. С. Попов обнаружил билет на проезд в Петербург двух крепостных П. А. Осиповой, датированный 29 ноября 1825 г. и, как устанавливается многими специалистами, полностью, включая и подпись П. А. Осиповой, написанный рукой Пушкина. Эта находка наделала много бед. Осторожное замечание П. С. Попова о том, что „можно предполагать, что через посылаемых в Петербург крепостных Осиповой Пушкин хотел свестись со своими друзьями декабристами, чтобы быть в курсе дела заговора и всех политических событий“, ¹ постепенно выросло в категорическое утверждение комментатора, будто „под именем Алексея Хохлова скрывается сам Пушкин“, который, узнав о смерти царя, „решил нелегально ехать в Петербург, для чего и написал этот «билет» сильно измененным почерком“ (стр. 755).

В статье „Пушкин накануне декабрьских событий 1825 года“ нам уже пришлось указать на полную несостоятельность этой смелой гипотезы, основанной на сплошных недоразумениях. Помимо довольно резкого расхождения в приметах Пушкина и Хохлова, невероятным представляется, чтобы Пушкин решился сделать Осипову ответственной за

¹ „Звенья“, т. II—IV, стр. 145—146.

свою нелегальную поездку. Да и едва ли вообще могла у него родиться мысль итти на столь рискованный шаг в то самое время, когда он был уверен во вступлении на престол цесаревича Константина, с воцарением которого у Пушкина, как известно, связывалась твердая надежда на освобождение.

Эти соображения, обоснованные в упомянутой статье, можно дополнить еще некоторыми попутными замечаниями, не использованными мною прежде в виду их удаленности от основной темы статьи.

Стереотипный, трафаретный характер описания примет занимал Пушкина, повидимому, еще в Одессе, где он слушал оперу Россини „Сорока-воровка“, явившуюся, как устанавливает Б. В. Томашевский, сценическим прототипом сцены „Корчма на Литовской границе“.¹ Напомним, что эта сцена, в которой приметы играют такую значительную роль, написана была незадолго перед сочинением „билета“. Уже много позднее, в „Дубровском“, Пушкин остро высмеял этот трафарет, причем приметы Дубровского своей полной обезличенностью живо напоминают и приметы Алексея Хохлова и ряд других описаний примет, находящихся в рецензируемой книге. Зато приметы Архипа Курочкина носят какой-то юмористический характер: „брови густые, глазом крив, ряб...“ И это наводит на мысль, что самый „билет“, сочиненный в Тригорском, мог быть написан в шутку, отразив в себе резкое противопоставление обезличивающих, ничего не выражающих примет одного персонажа нагнетению отличительных, бьющих в глаза примет второго. Этот шуточный документ мог сохраниться у Пушкина в качестве „литературной заготовки“, на всякий случай. По крайней мере фамилия „Курочкин“, как указывает и комментатор, впоследствии дважды была использована Пушкиным: в „Барышне-Крестьянке“ и в „Капитанской Дочке“.

Досадно и то, что комментатор повторяет созданную М. В. Нечкиной и А. М. Эфросом легенду о вызове Пушциным Пушкина в Петербург для участия в приготовлениях к государственному перевороту (стр. 756). Еще даже в конце ноября никто из заговорщиков, и тем менее Пуштин, не помышлял о государственном перевороте. Далек был от такой мысли и Пушкин, в эти же дни писавший Катенину: „Может быть, внешняя перемена сблизит меня с моими друзьями... Радуюсь восшествию на престол Константина I“.²

Криптограмма Пушкина под беловым автографом стих. „Под небом голубым“:

Усл. о см. 25

У. о. с. Р. П. М. К. Б: 24

впервые напечатана была еще Анненковым, а в 1856 г. расшифрована К. П. Зеленецким, установившим, что первая запись имеет в виду известие о смерти Амалии Ризнич, вторая же — о казни декабристов. Эту фактическую справку комментатор сопровождает обстоятельным рассказом о последующих хронологических блужданиях исследователей (стр. 307—310). Едва ли этот скучный экскурс необходим для осмысления записи Пушкина. Казалось бы, нет нужды заново ворошить старые, давно сданные в архив ошибки.

Тем более досадно, что комментатор опустил интереснейшее замечание по этому поводу П. А. Вяземского. Сохранился томик „Стихотворений А. С. Пушкина, не вошедших в последнее собрание его сочинений“ (2-е изд., Берлин, 1870), в тексте которого Вяземским сделан ряд примечаний и замечаний. На стр. 155, против записи Пушкина о пяти повешенных декабристах, Вяземский многозначительно написал: „Пушкин, вероятно, записал бы о казни, а не просто о смерти“.³ Замечание это, ничего, конечно, не меняющее по существу дела, очень характерно и для Вяземского и для самого Пушкина.

Надо полагать, что эта реплика явилась запоздалым откликом бесед Вяземского на эту тему с Пушкиным, возвращенным из ссылки всего лишь через полтора месяца после казни декабристов. А это служит лишним подтверждением того, что впечатление Пушкина

¹ Б. В. Томашевский. „Пушкин и итальянская опера“, „Пушкин и его современники“, вып. XXXI—XXXII, Л., 1927.

² Подробно см. в назв. моей статье.

³ „Старина и Новизна“, кн. VIII, М., 1904, стр. 39. Подчеркнуто Вяземским.

от расправы Николая I с декабристами было таково же, как и Вяземского, который еще в 1830 г., в ответ на намерение А. И. Тургенева хлопотать о пересмотре дела брата-декабриста, писал: „Как дотронуться до одного осуждения, не расшевелив всех осуждений, не подняв со дна Сибири всего дела, не повернув мертвых без гробов“...¹

С этой криптограммой Пушкина переключается другая запись поэта, сделанная им в ноябре 1826 г. под рисунками виселицы с пятью повешенными:

И я бы мог, как [шут на]
И я бы мог

Запись эта, явившаяся источником больших недоумений, вызвала два противоречивые истолкования, из которых одно адресовало выражение „как шут“ к повешенным декабристам, утверждая, что в этом не было ничего оскорбительного для их памяти (С. А. Венгеров), а второе относило те же слова к самому Пушкину, якобы противопоставившему себя, не политического деятеля, а „таинственного певца“, героям-декабристам (В. Ф. Бодяновский, Н. О. Лернер).

Комментатор (стр. 159—160) несколько неожиданно признает справедливыми обе эти взаимно-исключающие друг друга гипотезы. Оказывается, таким образом, что Венгеров „доказал... что слова «как шут» относятся к повешенным декабристам“, а Бодяновский „справедливо указал, что слова «как шут» относятся не к декабристам, а к самому Пушкину“. Эти противоположные толкования комментатор закрепил еще и собственной аргументацией, согласно которой „выражение «висеть как шут» было общеупотребительным“.

Если последнее утверждение справедливо, то, естественно, отпадают обе старые версии, а самая запись приобретает новый, не менее выразительный смысл: употребив общепринятую форму выражения, Пушкин, стало быть, не имел в виду оскорбить ни декабристов, ни себя, а только с предельной ясностью констатировал и подчеркнул реальность избегнутой им опасности разделить участь казненных декабристов.

Однако, общеупотребительность выражения „висеть как шут“ устанавливается путем единственного, и притом совершенно неудачного, стихотворного примера из поэмы В. И. Майкова „Елисей или раздраженный Вах“, в которой Зевс грозит богам:

А если кто из них хоть мало укуснит,
Тот будет обращен воронкою в зенит,
А попросту сказать, повешу вверх ногами,
И будет он висеть, как шут, между богами.

Странно, как комментатор мог проглядеть очевидную разницу между этим действительно шутовским повешением за ноги и грозившей Пушкину опасностью быть повешенным в обыкновенном порядке — за шею.

Комментатор, правда, утверждает, что „найдется, конечно, это выражение и в других произведениях до Пушкина и после него“. Но это звучит совсем уж неубедительно, ибо с равным основанием можно утверждать и обратное, т. е., что это выражение не встретится в других произведениях.

Еще больше возражения вызывает догадка С. М. Бонди, осторожно отнесенная комментатором в примечание: „Не решаюсь утверждать категорически, — пишет он, — но соглашаюсь с высказанным в беседе со мной мнением С. М. Бонди, что выражение это применялось к картонному шуту, висевшему на веревке, в известной детской игрушке“.

Мы охотно допускаем возможность применения этого выражения к картонному паяцу, дрыгавшему ногами, когда его дергали за веревочку. Но мы не можем допустить мысли, чтобы Пушкин провел какую-то аналогию между этой игрушкой и повешенными товарищами, только потому, что, умирая, они тоже дрыгали ногами. А. М. Эфрос убедительно доказал, что эти строки являются „начатым стихом“. Тем более невероятно, чтобы

¹ „Остафьевский Архив“, т. III, стр. 188.

в стихотворении Пушкин мог употребить такое вульгарное и грубое сравнение, да еще тогда, когда он уже несомненно знал трагические обстоятельства казни декабристов, из которых трое сорвались с петель и были повешены вторично.

Столь же неубедительны и старые аргументации: давно справедливо отвергнутое толкование С. А. Венгерова и более новое — Бояновского и Лернера. Едва ли можно заподозрить Пушкина в недооценке себя, как политического деятеля. Скорее, напротив, он склонен был даже преувеличивать свою политическую роль и свое политическое значение. Об этом убедительно свидетельствуют хотя бы воспоминания И. И. Пущина о посещении им Пушкина в Михайловском в январе 1825 г. Пушкин очень интересовался тем, „что об нем говорят в Петербурге и в Москве“, и при этом рассказал, „будто бы император Александр ужасно перепугался, найдя его фамилию в записке коменданта о приезжих в столицу, и тогда только успокоился, когда убедился, что не он приехал, а брат его Левушка. На это, — продолжает Пущин, — я ему ответил, что он совершенно напрасно мечтает о политическом своем значении, что вряд ли кто-нибудь на него смотрит с этой точки зрения...“ и т. д.¹

Допустить, что Пушкин недооценивал свою политическую роль, тем более трудно, что рисунки с виселицами и подписи под ними сделаны в непосредственном соседстве и одновременно с черновиками написанной по заказу Николая I статьи „О народном воспитании“, которой сам Пушкин придавал большое политическое значение и по поводу которой в 1827 г. говорил А. Н. Вульф: „Я был в затруднении, когда Николай спросил мое мнение о сем предмете. Мне бы легко было написать то, чего хотели, но не надо пропускать такого случая, чтоб сделать добро“.²

Приходится признать, таким образом, что точный смысл этой записи Пушкина продолжает оставаться для нас неясным.

Хочется сделать еще одно общее замечание. Публикуемые записи, как кажется, слишком часто сопровождаются редакторскими ремарками: „Непонятно“, „Смысл записи объяснить не можем“ и т. п. Думается, что пристальный анализ текстов может значительно снизить процент непонятных записей. Приведу пример. На стр. 346 читаем запись, относящуюся к марту 1836 г.:

с Циц. спорить-де можно
а с В. М. нет —

К сему примечание: „Циц. — может быть кн. Цицианов, Дмитрий Евсеевич (1747—1835), славившийся своими рассказами и шутками. Кто скрыт под инициалами «В. М.» — неизвестно. Вообще смысл записи непонятен“.

Но дело в том, что кроме остряка и хлебосола кн. Д. Е. Цицианова были, ведь, еще и другие Цициановы, и между ними генерал кн. Павел Дмитриевич Цицианов (1754—1806), главнокомандующий в Грузии, один из виднейших завоевателей Кавказа. Впоследствии место его заступил Ермолов, ближайшим сподвижником которого был кн. Валерьян Григорьевич Мадатов (1782—1829), до назначения Ермолова рассчитывавший занять его место и известный, судя по воспоминаниям современников, несговорчивостью и непреклонной волей, тогда как Цицианов, напротив, остался памятен покладистым характером и добродушием. Надо думать, что именно о них идет речь в записи Пушкина, которая, в свете этих соображений, приобретает определенный смысл.

Повидимому, — это отрывочная заметка для памяти о каких-то устных рассказах из кавказской истории или запись исторического анекдота для „Table Talk“. Таким рассказчиком мог быть сам Ермолов, интерес к которому Пушкина общеизвестен. Следует, впрочем, отметить, что В. Я. Брюсов, впервые опубликовавший эту запись, читал не „Циц.“, а „Ценз.“ (т. е. „с цензором“). См. „Письма Пушкина и к Пушкину“, М., 1908, стр. 87.

С. Гессен.

¹ И. И. Пущин. „Записки о Пушкине“, 1934, стр. 87.

² Л. Н. Майков. „Пушкин“, СПб., 1899, стр. 177.

В комментарии к арабским буквам, записанным Пушкиным на листе, теперь вшитом в рукопись Ленинской библиотеки № 2386 В, л. 4 (I, № 17, стр. 110) отмечено, что „на нижней половине листа... непосредственно после того написан черновой текст французского письма, обращенный, вероятно, к Геккерену. — Датируется запись арабских букв временем не ранее июня 1836 г., потому что она сделана на бумаге, которой Пушкин стал пользоваться с этого времени. Может быть, безошибочно будет отнести запись к ноябрю 1836 г. — январю 1837 г., по соседству ее с письмом к Геккерену. Волнующее впечатление производит сопоставление этих двух текстов...“ и т. д.

Не возражая против датировки „не ранее июня 1836 г.“, основанной на тщательном изучении бумаги, позволяем себе внести некоторые коррективы к последним замечаниям комментатора.

Текст черновика французского письма в „Рукою Пушкина“ не напечатан — вероятно, как не относящийся к тому роду материала, который помещен здесь.¹ Между тем, смысл его иной, чем думает комментатор текста. Это неизданное письмо будет напечатано в IV томе „Писем Пушкина“ (начатых под ред. Б. А. Модзалевского). Транскрипция его (см. снимок между стр. 108—109 книги „Рукою Пушкина“) такова:

Mons le Bar

[Je m'empresse] [Je rép(onds)] [à l'inv(itation)] [J'ai reçu à l'instant le billet dont vous m'av(ez)] Ma f. et mes b ne manqueront pas de se rendre à l'invita(tion de) de V. Exc [Je saisis cette occasion] [qui me procure l'occasion de vous] [Je saisis cette]

[Je pro(fite)] [tiens]

[Permettez moi, Mons(ieur) de vous pre(senter) (?)]

[Je suis] [Je suis (?)] <нрзб.> <нрзб.>] [celle-ci]

[reconnaissance pour] Je m'empresse de profiter de cette pour vous presenter [l'assu] l'hom. de m.

Последний слой черновика, с раскрытыми недописанными словами, дает следующую сводку:

Mons(ieur) le Bar(on)

Ma f(emme) et mes b(elle-soeurs) ne manqueront pas de se rendre à l'invitation de V(otre) Exc(ellence)

Je m'empresse de profiter de sette (occasion) pour vous présenter l'hom(mage) de m(on) <profond respect?>

Это — очень официальная, очень банальная светская записка, обращенная к какому-то высокопоставленному барону, быть может из дипломатического мира (на это, как будто, указывает титулование „Votre Excellence“). Пушкин благодарит за приглашение на бал или иное собрание своей жены, Натальи Николаевны, и ее сестер (его „belle-soeurs“) Александры и Екатерины Гончаровых. Если записка и обращена к Геккерену, то никак не между ноябрем 1836 и январем 1837 г., а во всяком случае раньше, до их разрыва — летом или ранней осенью 1836 г., и ничего, таким образом, „волнующего“ или психологически-значительного в ее соседстве с арабскими буквами нет. Но еще вероятнее, что она обращена не к бар. Геккерену, а к кому-нибудь другому — французскому послу барону Баранту, саксонскому посланнику барону Люцероде, с которым Пушкин был хорошо знаком, или к иному русскому барону, одному из многочисленных баронов петербургского света. Материала для более точного определения адресата, а также для более точной датировки, записка не дает.

¹ А почему? Ведь в книгу, явно нарушая ее план и задачи, входят и эпистолярные тексты (письма к К. А. Собаньской) и отрывки чисто творческого порядка (отд. III, №№ 9, 11, 16, 17, 19, 21, 25 и др.).

Отд. III, № 16 (стр. 161). Отрывок представляет черновой фрагмент из статьи „Отрывки из писем, мысли и замечания“ („Северные Цветы“ на 1828 г.): „Даже люди, выдающие себя за усерднейших почитателей прекрасного пола, не предполагают в женщинах ума, равного нашему, и, приравниваясь к слабости их понятия, издают ученые книжки для дам, как будто для детей, и т. п.“ (изд. ГИХЛ, т. V, кн. I, 67). Отрывки можно датировать 1827 г. Ту же фразу Пушкин, в несколько измененной редакции, вставил в „Рославлева“ (1831): „он полагал, что с женщинами должно употреблять язык, приуроченный к слабости их понятий“ (изд. ГИХЛ, IV, 437).

Отд. IV, № 24 (стр. 269). „Коллона цифр слева“, не объясненная комментатором, представляет, как кажется, расчет игры Германна в „Пиковой Даме“: его первая ставка — весь его капитал — равняется 47 тыс. руб., вместе с выигрышем — 94 тыс. — 1-й вечер игры; выигрыш второго вечера: $94 + 94 = 188$ тыс.; высчитана и третья ставка, которая могла дать Германну 376 тыс. Далее начато повторение вычисления, с другой исходной цифрой капитала — 67 тыс.: $67 - 134 - 268$ тыс. за два вечера. Возможно, что осенью 1836 г. Пушкин, думая о переиздании „Пиковой Дамы“, проверял, с обычной своей точностью, игорные расчеты повести и предполагал внести в них изменения, чтобы сделать Германна несколько богаче, чем в первых изданиях.

Отд. VII, № 23 (стр. 382). Письмо к Пушкину от 23 мая 1835 г. относительно акций страхового общества, определенное и в „Переписке“, и здесь, как письмо от некоего Михаила Бушина (?) — принадлежит, конечно, самому нижегородскому губернатору, М. П. Бутурлину, и с этим именем должно войти в „Переписку“ Пушкина.

Отд. VIII, № 13 (стр. 401). Текст названий на карте Украины не передан в печатной транскрипции, а между тем не все они ясны, и некоторые нуждаются в объяснениях. Карта вряд ли относится к „Полтаве“, так как отсутствуют многие пункты, упоминаемые в ней (р. Десна, Батурин, Глухов, также Переволочна); к походу 1709 г. имеет отношение лишь один пункт — место переправы Карла XII через Буг под Воскресенском („Кар. после Перев.“). Вообще, карта относится скорее к позднейшей истории Украины и Запорожья в особенности, т. е. ко времени после „Полтавы“.

Н. Измайлов.

Отд. III, № 27 (стр. 181). В письме Пушкина к Ellenore выражение „le jour de la traversée [que] ou bien celui du bapteme, lorsque vos doigts [humides] me toucherent le front cette impression me reste encore — froide, humide [et froide] c'est elle que m'a rendu Catholique“, т. е. „в день переезда по морю или лучше сказать крещения, когда ваши [влажные] пальцы коснулись моего лба — это впечатление осталось у меня до сих пор — холодное, влажное [и холодное] — это оно сделало меня Католиком“, понимается буквально: Пушкин „сопровождал ее в костел. Случай, когда она за него опустила пальцы в кропильницу и затем коснулась знаком креста, с умилением вспоминается Пушкиным через семь лет“ (стр. 200). Между тем, контекст достаточно ясно говорит за то, что Пушкин вспоминает здесь не два разных случая, а один день, когда она ехала с ним в лодке и, опустив руку в воду, коснулась затем пальцами лба. Это прикосновение Пушкин и называет поэтически „крещением“. Иначе остается без смысла „день переезда по морю“. К тому же и католический обряд, который предполагает здесь комментатор, вовсе не является крещением — это акт благословения „святой водой“ (стоящей с этой целью у выхода), и совсем не обязательно при этом чертить крест. Всем известно, например, описание этого акта в „Трех мушкетерах“, где Портос делает его в наизусть прокурорше. И „католиком“ Пушкин сделался, конечно, в той же мере, в какой и прикосновение руки, омоченной в морскую (?) воду, было крещением.

В перечне статей для „Современника“ (отд. V, № 11, стр. 282) произвольно толкование записи „о MS“ как „о Mémoires de Sanson“. А почему не „о M-me de Stael“?

Подпись Пушкина под рисунком „Камергер двора Фатали шаха“ (стр. 696) относится конечно к знаменитому персидскому шаху Фетх-Али, умершему в 1834 г. При нем был убит Грибоедов.

Б. Казанский.

Так называемые векселя Пушкина.

Отдел IX сборника „Рукою Пушкина“ назван „Векселя и денежные обязательства“. Это название не может быть монограммой содержания отдела: в нем нет ни одного векселя; названное векселями оказывается домашними заемными письмами.

Самое словосочетание — векселя Пушкина — как будто должно было встревожить и предостеречь: все знают — Пушкин был дворянином, но еще никто не знает, что Пушкин был дворянином, записанным в гильдию. Если он обязывался векселями — он был записан; если не был записан — не мог обязываться ими.

Первый вексельный устав 1729 г. („Полное Собрание Законов“, № 5410) в категорической форме не запрещал шляхетству обязываться векселями, хотя векселя и были введены „для пользы казенной и купеческой“ и делились на „настоящий купеческий вексель“ и на „вексель на казенные деньги“.

Шляхетство так освоилось с векселями, что почти всякий заем совершался в форме векселя и обычно кредитная сделка обеспечивалась им. В поисках средств борьбы с дворянским разорением, Павел I Банкротским уставом 19 декабря 1800 г. безусловно запретил дворянам обязываться векселями (ПСЗ, № 19629, ч. II, отд. I). „Всего устава цель, — писал автор Банкротского устава Державин, получивший за него мальтийский крест, — наиболее была в том, чтобы воздержать дворянство от мотовства и делания долгов“. Это ограничение отпало для дворян только после 3 декабря 1862 г.; таким образом, ограничение действовало на протяжении всей жизни Пушкина.

Единственное исключение составляли дворяне, записанные в гильдию согласно манифеста 1 января 1807 г., но это исключение относилось только к дворянам, не состоявшим на государственной службе, и к векселям их по их купеческим делам, а не по обязательствам дворянского быта. Для долгов дворянского быта дворянам, состоявшим на службе, были открыты, кроме залога недвижимостей, крепостные заемные письма без залога и „на случай скорой нужды“ — домовые заемные письма с залогом или без залога движимых вещей.

В пушкинское время вексель уже сто лет как был известен русскому законодательству и правовому быту, и быт знал его, главным образом, не как вексель переводной, а как простой, который ближе к заемному письму. С первых же дней своего законного существования в России вексель был отличен от заемного письма и „почитался наипаче заемного письма“, хотя на практике порой заемное письмо номенклатурно и путали с векселем. В 1832 г. („векселя“ под №№ 5, 6, 7, 9, 10 и 11 относятся ко времени после 1832 г.) новый вексельный устав 25 июня 1832 г. смягчил германские воззрения на вексель, которыми был проникнут устав 1729 г., но и он сохранил их преобладающими, и среди вексельных реквизитов по этому уставу значилось и требование вексельной метки („по сему моему векселю...“).

Между векселем и заемным письмом обоих видов была разница во многом — в круге лиц, могущих обязываться, в самой форме долговых актов, в особых правилах взыскания для векселя на случай неплатежа: только вексель обладал особой вексельной силой, впрочем, ослаблявшейся безобразным состоянием органов юстиции и их деятельности.

Так называемые векселя Пушкина по форме и содержанию суть заемные письма, именно, как таковые писавшиеся (Пушкин только „прикладывал руку“) и принимавшиеся

к явке тогдашними нотариусами и маклерами. Все они — заемные письма: в них нет реквизитов векселя и основного из них — вексельной метки; все они — домашние заемные письма, а не крепостные: на них нет подписей двух свидетелей, и явлены они не в уездном суде или палате гражданского суда, а у маклера или нотариуса. Сам Пушкин, правда, на заемном письме под № 1 написал: „обязуюсь по сему векселю дворовому человеку... заплатить“ (ср. второй случай наименования Пушкиным заемного письма векселем под № 7, стр. 805), но заемное письмо не стало от этого векселем, а надписи Пушкина свидетелям относятся только к бытовой неточности юридической терминологии его, не искажающей, однако, его оценки по сути (ср. стр. 754 о векселе под № 1 — „проиграв заемное письмо...“). Написание заемного письма на вексельной бумаге было обязательно для всех личных долговых обязательств: вексельная бумага была гербовой бумагой для всех таких обязательств, в том числе и для векселей, и была установлена как-раз вексельным уставом 1832 г.

На некоторых из „векселей“ Пушкина есть нотариальная пометка „о явке по сроке за неплатеж“. Комментарий обошел вниманием разницу в датах подобных отметок, хотя эта разница показательна для бытовых условий пушкинского кредита и характеристики его кредиторов. „Явка по сроке“ — явка нотариусу — была необходима для полного доказывания права кредитора в случае неплатежа, если кредитор не хочет или не может тотчас прибегнуть ко взысканию; такая явка должна была совершаться в течение трех месяцев со дня просрочки. Прапорщик В. Г. Юрьев („вероятно, это был ростовщик“) устраивает явку в самый день истечения срока на платеж, понимая „впредь по 1-ое число февраля“ exclusive, а не inclusive, как следовало бы (№ 11). Пушкин только что погиб, и Юрьев явно торопится обеспечить себя. Известный книгопродавец — букинист И. Т. Лысенков — понимает срок правильно („сего же года августа по 26-ое число“) и учиняет явку 27-го (см. № 7, ср. № 5). Но игрок князь Н. Н. Оболенский (№№ 9 и 10) ждет 1½ месяца; В. В. Энгельгардт совсем не прибегает к явке, получая деньги через 2 года (№ 6), и сам Пушкин, ставши кредитором Нащокина (№ 3 и 4), обходится без явки, хотя и получает валюту только через 9 — 10 месяцев.

Неточность юридической квалификации основной сделки привела к неточностям в частностях и создала неубедительную систематику документов.

Под №№ 3 и 4 приведены передаточные надписи на имя Пушкина по заемному письму Нащокина; озаглавлены же эти документы юридически бесцветно и неточно: „Надпись на векселе П. В. Нащокина“. Нотариальная пометка на заемном письме Пушкина барону Шиллингу — „сие заемное письмо с передаточною надписью...“ (стр. 798), казалось, подсказывала комментатору правильный путь.

Документ под № 2 (а также № 1) раздела VIII оказался оторванным от документа под № 1 раздела IX и перенесенным в разряд „деловых документов“, тогда как документ под № 2 есть возражение против действительности заемного письма под № 1 раздела IX, как займа несовершеннолетнего, притом как займа по игре — факт любопытный и для Пушкина с его „картежными сделками“ и для тогдашнего дворянского правового быта, практиковавшего такие сделки, категорически запрещенные законом с половины XVIII в., и расценивавшего их как „долги чести“, что звучало более убедительно, чем обыкновенный, законом признанный долг. Ср. письмо Пушкина Бенкендорфу 26 июля 1835 г.: „из 60 000 руб. моих долгов половину составляют долги чести“.

Переименование заемных писем в векселя способно придать неправильный оттенок характеристике положения Пушкина, ищущего кредита и притом личного, а не реального.

Заемные письма несравненно слабее охраняли интересы кредитора, нежели векселя, а из них домашние — слабее крепостных, тем самым сужая возможности и ухудшая условия кредита для нуждающихся в нем. Тогдашний законодатель интересовался в области кредитных отношений почти всецело казенным интересом и скупой и крайне элементарно регулировал кредитные сделки частных лиц, значительно отставая от возрастающих потребностей денежного хозяйства. Наличие именно простых заемных писем без залога показательна для

материального положения Пушкина и его позиции на денежном рынке, особенно в свете письма Пушкина Бенкендорфу 22 июля 1835 г.: „...единым способом к водворению порядка в моих делах было... или заем, единожды и навсегда, значительной денежной суммы. Последний способ почти невозможен в России, где закон дает слишком слабое ручательство заимодавцу, и займы почти всегда суть долги между друзьями и на слово“.

Остается вторая часть заглавия: „денежные обязательства“. Но и здесь номенклатура издания лишена точности: под №№ 12 и 13 ясное и явное признание долга, названное глухо, неопределенно и мало-юридично „обязательством об уплате долга“, а под № 8 не „надпись об уплате денег“, которую совершает кредитор, получивший долг (см. напр., № 1 и № 6), а личные, не имеющие юридического значения пометки Пушкина-должника для себя о произведенной выплате и, следовательно, не „вексель и денежное обязательство“.

„Векселя и денежные обязательства“ — соединение недоуменное: обязательство из векселя есть частный случай денежных обязательств и поэтому не может быть поставлено в один ряд с денежными обязательствами, как нечто отличное от них, но равноправное; а если вексель здесь понят как документ, тогда непонятен союз *и*, соединяющий его с обязательствами, а не с другими документами.

Б. Язловский.

А. С. Пушкин. Избранная лирика. Редакция, примечания и вступительная статья **Д. Д. Благого.** Гос. издательство „Художественная литература“. М., 1935. Стр. 388, тираж 200 000.

„Избранная лирика“ Пушкина, выпущенная двухсоттысячным тиражом под редакцией и с примечаниями Д. Благого, ставит своей задачей осуществление массового, общедоступного издания стихов Пушкина. Именно поэтому следует отнестись к ней с особым вниманием. Пожалуй, из всего пушкинского творчества издание его лирики и комментирование ее является особенно трудной задачей. Здесь важны вопросы отбора материала и его расположения, которые не стоят перед редактором отдельных больших произведений Пушкина. Да и комментирование лирических произведений, тесно связанных с биографией, с внутренней жизнью поэта, но в то же время и несводимых к фактам этой биографии, — задача исключительно трудная и далеко не исчерпывающаяся подведением „справочного аппарата“ к мифологическим именам и иностранным словам.

Наиболее ответственная задача отбора произведений Пушкина, выбора его „избранной“ лирики решена редактором смело и оригинально, однако многое в подборе стихов Пушкина все же является спорным, зависящим от чисто вкусовых, эстетических симпатий редактора. Самый объем книги позволял включить в нее основной фонд лирики Пушкина — все его законченные стихотворения. Д. Благой в основном их и включил, но, стремясь раздвинуть рамки „законченного“ и печатавшегося самим Пушкиным, он включил в свой сборник довольно значительное количество незаконченных произведений и черновых набросков. Это расширение традиционного круга пушкинской лирики можно, конечно, только приветствовать, но остается не совсем понятным и мотивированным при наличии этих черновых набросков отсутствие ряда таких произведений, которые включались самим Пушкиным в издания его стихотворений. Так среди стихов, включенных в „Избранную лирику“, отсутствуют: „Именины“ (напечатано в „Стихотворениях“ издания 1826 года), „To Dawe Esqr.“ („Зачем твой дивный карандаш“, включено в издание 1829 г.), „Голицыной-Суворовой“ („Давно об ней воспоминашь“, напечатано в „Карманной книжке для любителей русской старины и словесности на 1830 г.“), „Движение“ (включено в издание 1829 г.), „При посылке бронзового сфинкса“ (включено в издание 1832 г.) и др. Дело, конечно, не в том, что именно эти стихи должны были быть включены в „избранную лирику“, хотя аналогичные по своей значимости стихотворения Д. Благой включает, в том числе даже случайные альбомные мелочи. Неясны мотивы предпочтения черновых набросков стихам, включавшимся самим Пушкиным в состав его сборников стихов, или печатавшихся им в журналах и альманахах. В частности Д. Благой включает такие стихи, как

„Добрый совет“, „За Netty сердцем я летаю“, „И вы поверить мне могли“, экспромпты из писем к Гнедичу и Соболевскому и т. д. Неоправдано также включение в избранную лирику вещей, принадлежность которых Пушкину не установлена окончательно („Автору «Истории государства российского»“), о чем кстати свидетельствует в примечании сам же Д. Благой (в других изданиях это стихотворение выносится в Dubia). Вызывает сомнение и необходимость включения таких шуточных экспромтов Пушкина как, например: „Тодорашка в вас влюблен“, или случайных черновых отрывков вроде четверостишия „Забыв и рошу и свободу“, незаконченных набросков с рядом конъектур „Кто, волны, вас оставил“, „Надеждой сладостной младенчески дыша“ и т. д. и т. п.

При этой пестроте отбора стихотворений вопрос об их расположении приобретает особенно большое значение. Д. Благой располагает стихотворения в хронологическом порядке, оговаривая в примечаниях незаконченные или черновые наброски. Благодаря этому законченные, основные произведения Пушкина все время перемежаются с черновыми отрывками, имеющими второстепенное значение, что затрудняет для читателя восприятие лирики Пушкина. Для массового издания, дающего избранную лирику Пушкина, целесообразней было бы выделение незаконченных черновых стихотворений в особый отдел.

Д. Благой не ограничился в своей „Избранной лирике“ воспроизведением текстов, принятых в наиболее авторитетных изданиях Пушкина, в частности в шеститомнике Госиздата (имеем в виду издание третье, 1935 г.). В целом ряде случаев он дает свое собственное чтение текстов Пушкина, по-своему решая спорные вопросы. Не вдаваясь сейчас в подробную оценку текстологической работы Д. Благого, следует все же усомниться в целесообразности безапелляционного разрешения сложных текстологических задач в массовом издании. В результате читатель получает различные тексты Пушкина даже в таких массовых изданиях, которые никак не призваны заново разрешать текстологические проблемы и тем самым умножать количество разных „изводов“. В пределах массового издания редактор вдобавок лишен возможности аргументировать свое чтение текста. Так, например, по сравнению с текстами, принятыми в шеститомнике (редактор стихотворений — М. А. Цявловский) (3-е изд. 1935 г.), Благой в „Деревне“ предлагает чтения: „губительный позор“ (а не „убийственный позор“), „склоняясь на чуждый плуг“ (а не „с поникшею главой“), „развратного злодея“ (а не „бесчувственной злодеи“), в стихотворении „К Чаадаеву“ — „гордой славы“ (а не „тихой славы“), „кипят еще желанья“ (а не „горит желанье“) и т. д. Но если текст этих стихотворений в значительной мере спорен, то в других случаях текстологические решения Д. Благого могут встретить более серьезные возражения, как например, отступление от текста, принятого в шеститомнике, в „Стихах, сочиненных ночью во время бессонницы“, где восстанавливается чтение первого посмертного издания „Темный твой язык учу“, принадлежащее по всем данным Жуковскому (вместо „Смысла я в тебе ищу“ автографа). Но дело, конечно, не в этих отдельных разночтениях, а в самом внесении в массовое издание ревизионистских принципов, в еще одном пересмотре пушкинского текста.

Правда, следует отметить и положительные стороны предпринятой Благим ревизии текстов, в частности возращение в стихотворении „Анчар“ к первопечатному тексту („Северных Цветов“ на 1832 г.) в стихе „А царь тем ядом напитал“, измененном в собрании стихотворений на „князь“, после объяснений с Бенкендорфом (кстати, в шеститомнике и в других изданиях Пушкина печатается „князь“).

Наибольшие трудности стояли перед Д. Д. Благим при комментировании стихотворений. В основном научно-квалифицированный и тактичный комментарий Благого всё же получился несколько громоздким и перегружает книгу. Эта перегрузка относится как к количеству и характеру объясняемых слов, так и к размеру отдельных примечаний, иногда занимающих половину страницы петитом. Прежде всего следует указать, что целый ряд слов, объясняемых Благим, едва ли нуждается в объяснении. Неясно, на кого рассчитаны такие примечания, как например: „Гусары — конный полк, сформированный Екатериной II“ (стр. 326), или „Урядник — нижний чин (соответствует унтер-офицеру) в казачьих войсках“ (стр. 362). Но ведь объясняя урядника через унтер-офицера, вполне

логично объяснить и слово „унтер-офицер“ и так далее, до бесконечности. Или, например, объясняется слово „Адам“ — „по библии первый человек“, объясняются все географические названия: Ворскла, Висла, Рим и т. д. Комментарий к слову Наполеон занимает большую часть страницы (стр. 77). Едва ли целесообразно в отдельных случаях давать биографический комментарий, не давая его в других стихотворениях, тем более что такой комментарий часто связывает, суживает читательское восприятие вещи. Например, к стихотворению „Пора, мой друг, пора!“ дается следующее объяснение: „Стихотворение, очевидно, относится к жене поэта и является выражением настоящих стремлений Пушкина вырваться из Петербурга от душительного его двора, «света», долгов, в деревню (в свое имение) и зажить там независимой творческой жизнью. Стихотворение не вполне отделано, относится к 1836 г. предположительно“ (стр. 372). Такое объяснение навязывает читателю чрезвычайно конкретное раскрытие образов, остающееся все же до известной степени гипотетическим (характерно, что при таком приурочении к биографическим фактам, — поездка в свою деревню и т. д., — Благой все же к жене поэта относит эти стихи лишь „предположительно“).

Едва ли нужны такие значительные по объему комментарии, как например, примечание к „Романсу“ („Под вечер, осенью ненастной“): „Подкидыванье «незаконных», т. е. рожденных вне церковного брака детей, было чрезвычайно распространенным явлением русской дореволюционной действительности...“ (стр. 19), тем более, что тема „подкидыва“ связана не только с бытовыми условиями, но и была очень распространенной темой в литературе конца XVIII — начала XIX века, восходя к „Том Джонсу“ Фильдинга.

Некоторые примечания встречают возражения и по существу. Так например, к стихотворению „Ты и я“ Благой делает весьма лаконичную сноску: „Ты — Александр I“ (стр. 48). Эта догадка никак не может быть отнесена к числу бесспорных и, нуждаясь в дальнейшей аргументации и обсуждении, совершенно не уместна на страницах массового издания. Нельзя также согласиться с тем, что в стихотворении „Чаадаеву“ в стихе „Чадаев, помнишь ли бывшее“ — „бывшее“ — упомянутое послание к Чаадаеву 1818 г., как указано в примечании (стр. 59): „бывшее“ подразумевается здесь в более общем смысле, чем указание на послание. Не вполне убедительна и догадка Благого о том, что в стихотворении „Наперсница волшебной старины“ в „образе“ веселой старушки „Пушкин, повидимому, объединяет свою бабуку М. А. Ганнибал и няню Арину Родионовну“, поскольку поэтические образы этого стихотворения едва ли могут быть расшифрованы в биографическом плане, так как речь идет о „музе“ поэта.

Отдельные примечания иногда слишком небрежно сформулированы, например: „Фавны — низшие лесные божества, отличавшиеся крайней (?) чувственностью (рим. миф.)“ (стр. 47), или „Пушкин... неоднократно бывал в Каменке и запечатлел в настоящем стихотворном послании к Давыдову след (?) господствовавших там настроений“ (стр. 66).

Однако все эти отдельные спорные моменты не лишают ценности большую работу, проделанную Д. Д. Благой в деле популяризации произведений Пушкина и приближения их к массовому читателю. Работа Благого над „избранной лирикой“ должна быть учтена всеми последующими редакторами и комментаторами массовых изданий. Дальнейшая разгрузка текста Пушкина от комментариев должна быть осуществлена изданием массовой биографии Пушкина и внедрением в широкий обиход справочных словарей. Это даст возможность освободить комментаторов Пушкина (да и вообще всех изданий классиков) от бесконечного повторения сведений о годах жизни „философа идеалиста“ Фихте, или о месте протекания реки Ворсклы.

Следует указать в заключение на бедную и неряшливую внешность издания, очень скудно и небрежно оформленного, и на отсутствие в нем портрета Пушкина.

Н. Степанов.

„Борис Годунов“ А. С. Пушкина. Сборник статей Б. П. Городецкого, А. Л. Слонимского, М. П. Алексеева, Г. О. Винокура, А. Н. Глумова под общей редакцией К. Н. Державина. Ленинград. 1936.

Государственный Академический театр драмы в Ленинграде в связи с постановкой „Бориса Годунова“ (1934) издал сборник статей, посвященных „Борису Годунову“. Этот сборник „имеет целью ввести читателя в круг основных вопросов, связанных с изучением и историко-литературной оценкой Пушкинской трагедии“. Ценность собранных здесь статей неодинакова.

Статья Б. П. Городецкого „Борис Годунов“ в творчестве Пушкина“, рассчитанная, очевидно, на массового читателя, тщательна, но мало оригинальна. Она слишком общо затрагивает самые разнообразные вопросы, касающиеся как общественно-политического содержания и исторических источников пушкинской трагедии, так и ее литературного стиля, ее отношения к предшествующей трагедии — лирической и драматической. Автор придерживается золотой середины между мнениями тех исследователей, которые считают, что „Борис Годунов“ по всему своему стилю — отнюдь не декабристская трагедия“, и тех историков литературы, которые находят широкую струю декабристской идеологии в композиции и тематике „Бориса Годунова“. То же тяготение к компромиссным положениям характерно и для прочих утверждений Б. П. Городецкого.

Наиболее содержательна в сборнике статья А. Л. Слонимского „Борис Годунов“ и драматургия 20-х годов“. Она заполняет, хотя отчасти, существеннейший пробел в изучении „Бориса Годунова“. Пушкинская трагедия почти не исследована с драматургической точки зрения. Театрально-драматургические особенности пьесы до сих пор остаются не вполне ясными. А. Л. Слонимский, прежде всего, рисует драматический фон появления „Бориса Годунова“ — распад классической трагедии и в связи с этим — падение старой актерской культуры трагического жеста и слова, возникновение промежуточных жанров „исторической“, „национальной“ драмы, „русской исторической были“ и т. п. и рост романтических представлений, романтических трагедий. „Попытки создания новой трагедии, в разных направлениях предпринятые Катениным, Кюхельбекером, Жандром, романтические опыты кн. А. А. Шаховского, отражения на русской почве французской политической трагедии, полной применений (allusions), — диктовались настойчивым стремлением приблизиться к духу века“. Но Пушкин был далек от французской tragédie des allusions в силу своего „историзма“, хотя он и не сторонился „второго плана“ в композиции пьесы, подчеркивая параллели, исторические соответствия разных эпох. Подойдя к „Борису Годунову“ через романтическую поэму, Пушкин постепенно преодолел в своей пьесе лироэпический стиль романтической повести и создал сцены и „разговоры“ из истории Карамзина, „исторические сцены“. Возникает новый жанр, непонятный ни классикам, ни романтикам. Правда, „исторические сцены“, вроде „Les barricades“ Луи Витэ, появились ранее „Бориса Годунова“ во французской литературе. Но Пушкин вносит в этот жанр драматургическую широту и разнообразие Шекспира, сохраняя притом некоторые характеристические черты лирического стиля в обрисовке отдельных героев (напр., Бориса Годунова). А. Л. Слонимский тонко характеризует систему разнообразных интонаций — драматических и лирических, определяющих структуру роли и характера основных персонажей поэмы — Бориса Годунова, Пимена, Дмитрия Самозванца. Лирическая струя ослабляет, разрывает драматические эпизоды — фрагменты с частными коллизиями, разрешающимися на пространстве одной или нескольких сцен. Шекспировский стиль выражается в резкой и противоречивой эмоциональной подвижности речи, в ее широком размахе, в крутых эмоциональных поворотах, меняющих взаимную ситуацию персонажей. Например, на пространстве одной сцены с Мариной Дмитрий совершает быстрый путь от любовной экзальтации к презрительному равнодушию. Его интонации в начале и в конце диаметрально противоположны. Будучи интонационно разнообразной и противоречивой, сцена образует отдельную „маленькую трагедию“. Сцены „Бориса Годунова“ имеют характер „маленьких трагедий“, включенных в общий сюжет. Пушкинская драматургическая техника не нашла развития и продолжения в последующей истории трагедии (разве только отчасти в исторических пьесах Погодина). Несмотря „на

беглость и схематичность отдельных замечаний, статья А. Л. Слонимского рельефно изображает драматургические новшества пушкинской трагедии.

Статья М. П. Алексеева „Борис Годунов и Дмитрий Самозванец в западноевропейской драме“ — при всем богатстве библиографических указаний и при всей историко-литературной занимательности приводимого материала — написана, в сущности, только *по поводу* пушкинского „Бориса Годунова“ и непосредственно не связана с вопросом о литературной истории пушкинской трагедии.

Две остальные статьи сборника посвящены проблемам языка и произнесения стиха. Статья Г. О. Винокура „Язык «Бориса Годунова»“ лишена композиционной и методологической цельности. Сначала Г. О. Винокур как будто ставит своей задачей изучить своеобразия *драматического языка* „Бориса Годунова“. Так, он утверждает, что в пушкинской трагедии впервые „декламация перестает быть основным и главенствующим принципом драматического языка“, будучи разрушаема „сгустками разговорной экспрессии“ и реально-бытовым колоритом речи. Точно так же, по мнению автора, шекспировское разнообразие языка разрушало традиционное единство трагедийного слога, выражаясь не только в чередовании стихотворных и прозаических текстов, но и в разнородной экспрессивной окраске прозаических языков масок (т. е. персонажей, драматический характер которых отчетливо воплощен в особенностях их речи, напр., Варлаама и Маржерета), в некоторых элементах социальной характеристики действующих лиц по их языку. Разнородности прозаических языковых масок в „Борисе Годунове“, по Винокуру, противопоставит относительное единство слога в стиховом изображении других действующих лиц. Здесь задача Пушкина состояла в вытеснении условного высокого языка драмы общепозитическим языком своего времени (впрочем, не без некоторого археологического уклона в сторону воспроизводимой эпохи). Справедливость этих заявлений основательна, так как легко заметить в „Борисе Годунове“, на ряду с общими, как бы „нейтральными“ формами стихового языка, яркие признаки индивидуально-речевой дифференциации персонажей и в кругу стихотворных сцен. Общие замечания Г. О. Винокура не очень четки. Пушкин стремился в „Борисе Годунове“ не столько к сближению с общепозитическим языком своей эпохи, сколько к созданию на его основе разных форм исторического изображения путем синтеза современного лирического стиля с некоторыми элементами старого трагедийного языка и с многообразием историко-бытовой и народно-поэтической характеристики. Описав таким образом общие тенденции драматической речи в „Борисе Годунове“, Винокур затем классифицирует лексику языка пушкинской трагедии по схеме: 1) церковно-славянизмы; 2) галлицизмы и 3) просторечные формы, подчеркивая индивидуально-художественную оправданность отдельных случаев словоупотребления. Анализ конкретных исторических фактов — наиболее слабая часть статьи Г. О. Винокура. Здесь почти отсутствует историкоязыковая перспектива. Например, Винокур думает, что в словах Басманова „Он сломит рог боярству родовому“ заменой глагола достигнуто опрощение традиционного выражения *сотреть* или *стереть рог*, идущего из Библии“. Между тем, выражение *сломить рог* было к 20-м годам уже фразеологическим клише (ср. обычное употребление этого выражения хотя бы в стихах кн. И. М. Долгорукова). Выделив общие лексические категории пушкинского языка, Г. О. Винокур характеризует затем приемы использования Пушкиным карамзинских формул и демонстрирует некоторые штампы лирического стиля Пушкина, нашедшие применение и в „Борисе Годунове“. Последний раздел статьи посвящен описанию элементов исторической стилизации в языке „Бориса Годунова“. Таким образом, статья Г. О. Винокура представляет не вполне органическое сочетание некоторых общих наблюдений над драматическим языком „Бориса Годунова“ с анализом конкретных примеров употребления отдельных слов и фраз, распределенных по основным категориям пушкинского языка вообще. Детали системы построения именно драматической речи, особенности драматургического языка Пушкина почти не нашли освещения в рецензируемой статье.

Наконец, последняя статья сборника, принадлежащая А. Н. Глумову, „Произнесение стиха «Бориса Годунова»“, содержит некоторые общие замечания отчасти орфоэпического,

отчасти дикционного, отчасти ритмико-мелодического характера, относящиеся к пушкинскому стилю вообще, — на фоне указаний на декламационную манеру той эпохи, и очень мало говорит о конкретных приемах произнесения стиха самой пушкинской трагедии.

В. Виноградов.

Песни и сказания о Разине и Пугачеве. Вступительная статья, редакция и примечания А. Н. Лозановой. „Academia“, 1935. Стр. XIV + 418 + 4 нен. Цена 9 р.

Книга А. Н. Лозановой объединяет важнейшие записи как общеизвестных, так и впервые публикуемых фольклорных материалов о восстании Степана Разина и Пугачева. Материал этот подобран и систематизирован с большим историческим и литературным тактом, снабжен, помимо общей статьи „Крестьянские восстания XVII—XVIII вв. в устно-поэтическом творчестве“ (стр. VII—LXIV), еще специальными вводными очерками к каждому тематическому разделу сборника и краткими, но весьма дельными комментариями.

Работу А. Н. Лозановой необходимо учесть и исследователям Пушкина, ибо, как своевременно напоминает составительница рецензируемой книги, „Пушкин — один из первых собирателей фольклора о Разине и основоположник собирания фольклора о Пугачеве. Он первый в 1833 г. едет на Яик и в Оренбургский край для ознакомления с «воспоминаниями престарелых очевидцев» пугачевщины. Одновременно с ним Даль собирает песни о Пугачевщине; Киреевский и Языков записывают их в Симбирском крае“ (стр. XXV). Неудивительно поэтому, что в особый раздел книги А. Н. Лозановой выделены и „Песни и предания о Разине и Пугачеве в записях Пушкина“ (стр. 321—343, а также стр. 408—414 примечаний). Ближайшее ознакомление с этим разделом вызывает, однако, чувство некоторого разочарования, так как при воспроизведении записей Пушкина о Разине и Пугачеве А. Н. Лозанова, во-первых, ограничилась лишь общеизвестным печатным материалом и, во-вторых, даже этот материал дала без сверки с рукописями поэта. Не останавливаясь сейчас даже на простом перечне многочисленных неизданных записей Пушкиным фольклорного материала о Пугачевщине во время поездки его в 1833 г. в Поволжье, Оренбург и Уральск (материалы эти, хранящиеся в Пушкинском Доме и Госуд. Публичной Библиотеке им. Ленина в Москве в ближайшее время будут нами полностью опубликованы), отмечу только, что все они не только почти стенографически передают живую речь сказителей, но и снабжены исключительно точными указаниями на последних: „Панков в Сорочинской“, „Матрена в Татищевой“, „В. Петр. Бабин. Казань 6 сент.“, „Старуха в Берде“ и т. п. Для характеристики приемов работы Пушкина над записью фольклорных материалов приведем, например, следующий неизвестный его автограф (без соблюдения сокращений, орфографии и пунктуации подлинника):

Пугачев на Дону таскался в длинной рубахе (турецкой). Он нанялся однажды рыть гряды у казачки — и вырыл четыре могилы.

В Озерной узнал он одну дончиху и дал ей горсть золота. Она не узнала его.

По наговору яицких казаков велел он расстрелять в Берде Харлову и 7-летнего брата ее. Перед смертью они *сплозались* и обнялись — так и умерли и долго лежали в кустах.

Когда Пугачев ездил куда-нибудь, то всегда бросал народу деньги. — Когда под Татищевой разбили Пугачева, ко(заки) яицкие прискакали в Озерную израненные, кто без руки, кто с разрубленной головою — человек 12, кинулись в избу Бунтихи. Давай, старуха, рубашек, полотенец, тряпья — и стали драть, да перевязывать друг у друга раны — Старики выгнали их дубьем. А гусары Галицынские и Корфа (?) *так и ржут по улицам да мясничат их.*

Когда разлился Яик, тела поплыли вниз. Казачка Разина, каждый день прибредши к берегу, пригребала палкою к себе мимо плывущие трупы, переворачивая их и пригова-

ривая — „Ты ли, Степушка, ты ли, мое детище? не твои ли черны кудри свежа вода моет? — Но видя, что не он, тихо отглаткивала тело и плакала. —

К Пугачеву приводили ребят — он сидел между двумя казаками, из коих один держал серебряный топорик, а другой булаву. — У Пугачева рука лежала на колене — подходящий кланялся в землю, а потом, перекрестясь, цаловал его руку.

Пугачев в Яицке сватался за ¹, но она за него не пошла. Устинью Кузнецову взял он насильно. Отец и мать не хотели ее выдать: она-де простая казачка, не королева, как ей быть за государем!

В Берде от старухи.

Материал этой записи частично использован в печатной редакции „Истории Пугачева“ (гл. 3 и примечания к гл. 2 и 5) и в „Капитанской Дочке“ (гл. 7 и 9).

Отмечая наличие в некоторых преданиях „осмысления пугачевщины, как возродившейся разинщины“, А. Н. Лозанова приводит на стр. 413 известный рассказ Пушкина о Пугачеве, сохранившийся в записях „Table Talk“: „Когда Пугачев сидел на Меновом Дворе, праздные москвичи... заезжали на него поглядеть, подхватить какое-нибудь от него слово, которое спешили потом развозить по городу. Однажды... Пугачев сказал: «Известно по преданиям, что Петр I во время Персидского похода, услыша, что могила Стеньки Разина находилась невдалеке, нарочно к ней поехал и велел разметать курган, дабы увидеть хоть его кости...» Всем известно, что Разин был четвертован и сожжен в Москве. Тем не менее сказка замечательна, особенно в устах Пугачева“. Однако А. Н. Лозанова (как впрочем, и все публикаторы этого замечательного анекдота, до Т. Г. Зенгер и Б. В. Томашевского в изданиях 1936 г. включительно) дает его текст с усечением, сделанным Пушкиным явно по цензурным соображениям. Вместо „хоть его кости“... в автографе первоначально значилось: „хоть кости славного бунтовщика — Вот какова наша слава!“ Это сказка. Разин никогда не был погребен в краях, где он свирепствовал. Он был четвертован“ <далее, как в печатном тексте. Ю. О.>

На стр. 340—343 А. Н. Лозанова печатает отрывки песен о Пугачевщине, записанные Пушкиным осенью 1833 г., в Оренбургском крае („Из Гурьева городка“ и „Уральские казаки“). Однако в той же записной книжке Пушкина сохранились не менее интересные записи, которые исследовательница почему-то пропускает. Приводим эти записи полностью, ибо до сих пор публиковались они крайне неточно и неполно:²

Чугуны — Кар etc.

Васильсурск — предание о Пугачеве.

Он в Курмыше повесил маи(ора) Юрлова за смелость его обличения — и мертвого секли нагайками. Жена его спасена его крестьянами.

Слышал от старухи, сестры ее, живущей милостынею.

Пугачев шел мимо копны сена — собачка бросилась на него. — Он велел разбросать сено. Нашли двух барышен, коих, подумав, велел повесить.

Слышал от зрителя за Чебоксарами.

Книга А. Н. Лозановой украшена воспроизведениями нескольких автографов Пушкина (запись песни о сыне Разина, перевод песни о Стеньке Разине на французский язык, записи „Из Гурьева городка“ и „Уральские казаки“). К сожалению, при воспроизведении все автографы эти настолько уменьшены, что дают лишь отдаленное представление об оригиналах.

Ю. Г. Оксман.

¹ Пропуск в подлиннике.

² В сборнике „Рукою Пушкина“ („Academia“, Л.—М., 1935, стр. 340—341) тексты эти расшифрованы и опубликованы со следующими ошибками: вместо „Кар etc.“ (речь идет о генерале Каре) — Курм.; вм. „маи(ора)“ — полковника; вм. „За Чебоксарами“ — одно за.

А. Н. Соколов. От комической поэмы к социально-психологическому роману (О композиции „Евгения Онегина“). Труды Орехово-Зуевского Педагогического Института. Кафедра языка и литературы. Москва, 1936. Стр. 68—93.

В своей работе А. Н. Соколов возвращается к вопросу о композиции „Евгения Онегина“, поставленному в литературе недавно, но как-то быстро снятому с обсуждения и ныне представляющемуся устарелым.

Автор противопоставляет положению публицистической критики о том, что „Онегин“ есть „общественный роман из дворянской жизни“, несколько довольно разноречивых утверждений „формалистов“ о том, что в пушкинском романе имеется „развертывание вещи на матерьяле“, „сюжетная обработка фабулы, произведенная введением перебивающих отступлений“, „сюжет, служащий поводом для постоянных отступлений от него и для игры мотивировкой“, „отступления, связанные с иронической игрой сюжетом“ и т. д. Почему-то эти положения объединяются формулой „комическая поэма“, и автор задает вопрос: что же именно произведение представляет собой — „социально-психологический роман“ или „комическую поэму“?

С этой целью А. Н. Соколов изучает то, что он именует „композицией“ романа, т. е. соотношение сюжетных элементов (повествование, характеристика действующих лиц) и внесюжетных („отступлений“). На основании анализа автор приходит к выводу, что „Онегин“ построен, „как непринужденный рассказ“.

Далее автор переходит к анализу комических поэм XVIII века: „Игрок Ломбера“ и „Елисей“ В. И. Майкова и др. Вывод: „мы убеждаемся, что одна из тенденций, находящихся свое выражение в композиции пушкинского романа, та, которая определяет внешнюю сторону построения романа, восходит к композиционной манере комической поэмы и имеет за собой на русской почве давнюю традицию“. В первое время работы „Онегин“ осознавался самим Пушкиным „как комическая, точнее, сатирическая поэма“.

Вслед за тем подвергается анализу „фабульная нить“ романа, причем автор приходит к выводу, что в „Онегине“ изображен ряд событий с начала до конца“, и вообще роман „обнаруживает эпическую, повествовательную тенденцию“. Заключение: „Перечисленные особенности композиции «Онегина» выводят этот роман за пределы традиции комической поэмы. Прагматичность и последовательность изложения, дающие психологическую мотивировку действия, интродуктивность *Vorgeschichte* и характеристик, вскрывающая социально-бытовые условия, в которых сложились изображаемые лица, — эти особенности дают основание определять «Евгения Онегина» как социально-психологический роман, что может быть полностью подтверждено, конечно, только исчерпывающим анализом жанра романа, а не одной его композиции, в свете литературной традиции“.

Автор сам в заключительных словах отметил основной пробел в своей работе: вопросы жанра должны разрешаться не „анализом композиции“, а изучением самого жанра в его историческом развитии.

Отмечу, что самая постановка вопроса вряд ли приемлема. Когда П. Н. Сакулин определяет „Евгения Онегина“ как „общественный роман из дворянской жизни“, вряд ли он думает этим фиксировать принадлежность „Онегина“ к некоторой литературной традиции, выделяющей ряд произведений из числа им подобных. Если это особый жанр, то где же образцы этого жанра? А. Н. Соколов перечислил несколько комических поэм,¹ и не назвал ни одного „социально-психологического романа“ из числа принадлежащих к тому же жанру, что и „Евгений Онегин“. Ведь не о Стендале, не о Бальзаке, не о Толстом или Достоевском может идти речь.

¹ Цитируя одну из таких поэм „Кот в аде“ в переводе А. Кузмина, автор отмечает, что эта поэма не упомянута в изданном под моей редакцией сборнике „Ирои-комическая поэма“, и ссылается на стр. 740. Но на этой странице указаны произведения, *предшествовавшие* „Расхищенным шубам“. Перевод А. Кузмина, 1821 г., в соответствующем контексте упомянут на стр. 542.

С другой стороны — „формалисты“, занимаясь, в сущности, довольно бесплодным классификаторством приемов композиции, очень мало думали о жанре того произведения, приемы которого изучались. Идея о комической поэме принадлежит не „формалистам“, а А. Н. Соколову. Самый же термин „комическая поэма“ взят из фразы В. М. Жирмунского, буквально гласящей: „В стороне <от истории развития романтической поэмы> должен быть оставлен также и новый тип «комической поэмы», возникший под влиянием первых глав «Евгения Онегина» и «Домика в Коломне»“ („Байрон и Пушкин“, 1924, стр. 211). Далее В. М. Жирмунский говорит, что под тем же влиянием „намечается новый поэтический жанр — реалистической стихотворной повести“. Из этой цитаты явствует, что „комическая поэма“ относится не к „Онегиу“, а к произведениям, возникшим под влиянием первых глав „Онегина“ и „Домика в Коломне“. Во-вторых, слова „новый тип“ говорят, что речь шла не о „Елисее“ и не об „Игроке Ломбера“, а о произведениях типа „Евгения Вельского“. Цитируемым авторам не приходила в голову мысль объединять в одном жанре „Евгения Онегина“ и ирои комическую поэму XVIII века.

Таким образом, полемическое заострение работы А. Н. Соколова оказывается лишним. В действительности он не полемизирует с формалистами, а копирует их приемы анализа, приходя к выводам, противоположным тем, которые он приписывает формалистам. Этим, конечно, только разоблачается бесплодность того классификаторства приемов и внешне-описательного подхода к произведению, которому совершенно неосновательно приписывается название „анализа“.

Работа не лишена отдельных метких замечаний, свидетельствующих о наблюдательности автора, но в целом она лишена твердой методологической основы.

Б. Томашевский.

П. Попов. Пушкин в работе над историей Петра I („Литературное Наследство“, № 16-18, стр. 466—512).

Предметом изучения статьи П. Попова являются материалы, поступившие в Пушкинский Дом от П. Е. Щеголева. Это — 22 тетради заметок и материалов для подготовлявшейся Пушкиным „Истории Петра Великого“. П. Попов не без основания предполагает, что всего тетрадей было 31, и что из них часть утрачена. В результате тщательного сопоставления заметок Пушкина из сохранившихся тетрадей с соответствующими местами „Деяний Петра Великого“ Голикова, автор приходит к весьма ответственному выводу о том, что Пушкин „при составлении своих записей целиком следовал Голикову“, никаких архивных материалов не собирал и „эволюции характера Петра не прослеживал“.

Спорить с анализом П. Попова не приходится. Произведенные им сопоставления текстов убедительно доказывают, что наиболее изучен Пушкиным был именно Голиков. Цитируемое П. Поповым письмо Пушкина к М. А. Корфу от 14 октября 1836 г. подтверждает, что еще осенью 1836 г. Пушкин не был знаком с большею частью книг о Петре, рекомендованных ему Корфом, и что таким образом он действительно еще находился в подготовительной стадии работы. Но дает ли это право категорически утверждать незнакомство Пушкина с архивными материалами? Думаем, что нет. Прежде всего нельзя забывать, что часть тетрадей утрачена. Далее, по словам Попова, „в материалах по истории Петра имелся ряд копий писем Петра и других материалов, писанных рукою не Пушкина, но хранившихся вместе с его собственноручными записями“. А значит у Пушкина были какие-то архивные материалы, П. Поповым не изученные. Что Пушкин занимался в архивах, это П. Попов знает, что он выхлопотал разрешение привлечь для этой работы себе в помощь М. П. Погодина, ему также известно. Имеющиеся в распоряжении автора материалы не дают оснований судить о том, насколько значительны были результаты этих архивных разысканий, но отрицать их вряд ли возможно. Следовало бы предварительно обратиться в рукописное отделение Публичной Библиотеки им. Ленина в Москве и внимательно ознакомиться с имеющимися там материалами, о которых автор рецензируемой статьи только упоминает.

П. Попов совершенно правильно заключает, что Пушкин следовал Голикову не слепо, а внося в свои выписки и конспекты собственные суждения, по которым можно судить об отношении Пушкина к Петру и его реформе. Но выводы П. Попова и здесь вряд ли можно признать правильными. „Образ Петра, — пишет автор, — у Пушкина в результате его исторических размышлений все снижался, и он ему представлялся не столько великим героем, сколько разрушителем“. Материалом для такого заключения послужило то, что в записях особенно ярко выступает „наметившееся у Пушкина в 30-х годах противопоставление исторической роли дворянства деспотизму абсолютной монархии в лице Петра“. В 1822 г. „самоуправство Петра казалось Пушкину оправданным его исторической миссией“. Теперь „для Пушкина, лелеявшего мечту о высоком значении дворянства, Петр был „разрушитель“, как для Евгения Медный Всадник — символ гибели его жизненного благополучия“.

Эти поверхностные рассуждения представляются совершенно необидительными. Перефразируя цитированное место из статьи П. Попова, можно сказать, что, в результате размышлений автора, образ Пушкина у него все снижался, и он ему представлялся не столько историком, сколько дворянским публицистом. Но, повторяем, эти выводы крайне поверхностны. Высказывания Пушкина о Петре надо изучить внимательнее и, конечно, не только по использованным П. Поповым материалам.

Нет сомнений, что взгляды Пушкина на Петра и его деятельность не были одинаковыми на протяжении его жизни. Правильно и то, что в „Исторических замечаниях“ 1822 г. Пушкин признавал дело Петра прогрессивным явлением главным образом вследствие своего отрицательного отношения к „чудовищному феодализму“, который мог бы водвориться в России, „если бы гордые замыслы Долгоруких и проч. совершились“. Эти взгляды, можно думать, были привиты Пушкину еще на лицейской скамье, когда он слушал Кайдакова, читавшего историю „по Геерену“, и укрепились после лицей под влиянием бесед с учеником Геерена, „геттингенцем“ Н. И. Тургеневым. Действительно, в лекциях Геерена указывались коренные отличия русской истории от западной: здесь „не знали, в собственном смысле этого слова, феодального начала“, не было и истории города, вследствие чего „было невозможно образование буржуазии“. Самодержавие Петра и его преемников было, по Геерену, единственной реальной силой в России.¹ От Н. И. Тургенева Пушкин мог слышать, что „Петр, истинно великий и единственный в обхват захватил несколько столетий“ и что „ему ничего подобного нет в истории народов“.² Тургенев мог только укрепить в Пушкине отрицательное отношение к „чудовищному феодализму“ и надежду на то, что освобождение крестьян, которое должно открыть путь буржуазному развитию России, произойдет „по манию царя“. Но 1822 г. был годом наибольшей левизны Пушкина. В это время он не только не думал о царской инициативе, но и был убежден, что „политическая наша свобода неразлучна с освобождением крестьян“, что „желание лучшего соединяет все состояния противу общего зла“. Самодержавие в „Исторических замечаниях“ представлялось Пушкину прогрессивной силой в прошлом только потому, что „спасло нас от чудовищного феодализма“. Симпатии к этому порядку и Петру, как его представителю, у Пушкина нет. Петр „презирал человечество может быть более чем Наполеон“. „История представляет около него всеобщее рабство“. Все „были равны перед его дубинкою“. Вообще вряд ли можно видеть в „Исторических замечаниях“ что-либо иное кроме чисто публицистического произведения.

Изменение взгляда Пушкина на дворянство и его историческую роль относится, как известно, ко времени его жизни в Михайловском, когда он сформулировал свой новый взгляд в письмах к А. Бестужеву и Рылеву. Этот новый взгляд после 1825 г. только укре-

¹ Цитируем по французскому переводу Геерена „Manuel historique du système politique des États de l'Europe et de leurs colonies depuis la découverte de deux Indes“, Brux. 1834, I, p. 206; et II, pp. 77—79, 96 (первое издание курса Геерена вышло в 1809 г.).

² Письмо Н. И. Тургенева к С. И. Тургеневу: Архив братьев Тургеневых, № 382, л. 111.

пляется и развивается глубже. Между тем образ Петра в эти ближайшие после 14 декабря годы не только не „снижается“ у Пушкина, а, напротив, именно теперь возвышается и становится грандиознее. И на этот раз это увлечение Петром тесно связано с политической позицией Пушкина. Крах дворянской революции, надежда на нового самодержца, который „Россию вдруг . . . оживил войной, надеждами, трудами“, сливаются с апофеозом первого императора, и в „Стансах“ поэт рекомендует Николаю: „во всем будь пращурю подобен“. Самодержец, который „не презирал страны родной“, а „знал ее предназначенье“, „нравы укротил наукой“ и т. д. — таким рисовался теперь Петр Пушкину. За „Стансами“ следует „Полтава“ — апофеоз российской государственности, в котором историческое дело Петра, его внутренняя реформа и внешняя политика находят полное оправдание.

В гражданстве северной державы,
В ее воинственной судьбе,
Лишь ты воздвиг, герой Полтавы,
Огромный памятник себе.

И, однако, едва ли может быть сомнение в том, что отношение Пушкина к Петру и в эти годы было двойственным. Если Петр исторически оправдан потому, что „самодержавною рукой он смело сеял просвещение“ и создал великую „северную державу“, то с другой стороны социальная сущность его реформы была для Пушкина неприемлема, и „разрушителем“ он являлся в глазах поэта задолго до того, как он принялся за изучение Голикова. В программе, осуществления которой Пушкин ждал от Николая, подражание Петру ограничивается в сущности приемами управления: развитие просвещения, отличие „Долгорукого“ от „буйного стрельца“ и отсутствие злопамятности по отношению к последнему — все это как-раз те приемы, которые должны предохранить от тупой реакции и мракобесия. Однако, „с Федора и Петра начинается революция в России“, „*Pierre I est tout à la fois Robespierre et Napoléon (La Révolution incarnée)*“. Это — заметки 1830 г. и, конечно, не продолжения революции Петра ждет Пушкин от Николая. „Государь уезжая оставил в Москве проект новой организации, контр-революции Революции Петра. . . правительство действует или намерено действовать в смысле Европейского просвещения. Ограждение дворянства, подавление чиновничества, новые права мещан и крепостных — вот великие предметы“.¹ Эта программа „европейского просвещения“, программа организации крепких общественных сил, каких не было в историческом прошлом России, чем она отличалась от Европы, в существе была программой борьбы при помощи самодержавия, петровских приемов управления, против бюрократической сущности самодержавия („подавление чиновничества“), программой, в которой интересы дворянства были бы „ограждены“ при помощи какого-то компромисса с интересами („новые права“) буржуазии и крестьянства.

Еще почти не изучены отношения Пушкина и Погодина. Как известно, Пушкин находил, что „помощь просвещенного умного и деятельного ученого“² ему необходима для работы в архивах над историей Петра, и для этой помощи привлек именно Погодина. Интерес к Петру, о котором Погодин писал трагедию, объединял его с Пушкиным. Результаты и разномыслия погодинских (а тем самым и пушкинских) разысканий в архивах остаются пока не выясненными. Но взгляды Пушкина и Погодина не во всем совпадали. Погодин принимал Петра полностью, порицая его лишь за то, что он начал „переделывать нас на иностранный манер“. Петр для Погодина — „человеческий бог“.³ Пушкин не мог не знать существа взглядов Погодина, для которого основное отличие русского исторического процесса от западноевропейского заключалось в отсутствии в первом борьбы классов. „У нас не было укрепленных замков, наши города основаны другим образом, наши сословия про-

1 Письмо П. А. Вяземскому от 16 марта 1830 г.

2 Письмо М. П. Погодину от 5 марта 1833.

3 Н. Барсуков. „Жизнь и труды М. П. Погодина“, I, стр. 210—211.

изошли не так, как прочие Европейские“. В России „простолюдину открыт путь к высшим государственным должностям“. „Кто доставляет нам средство учиться, понимать себя, чувствовать человеческое свое достоинство? П р а в и т е л ь с т в о“. Петр для России заменил „в умственном отношении“ реформацию.¹ То, что для верноподданного „простолюдина“ Погодина, уже ставшего идеологом бюрократической монархии, в постепенном развитии буржуазных начал видевшего историческую миссию самодержавия, было положительным явлением, то для Пушкина было отрицательной стороной русского прошлого, и если он все-таки обратился к Погодину, то потому, что понимание русского исторического процесса (понимание, а не отношение) у них было одинаковым. Как историк, Пушкин целиком стоял на высоте достижений современной ему передовой западной буржуазной исторической науки (Тьерри и др.). Обращаясь все более к изучению истории и не отходя от современности, а, напротив, отыскивая в истории ответы на современные вопросы, Пушкин в то же время воспринимал исторический процесс, как объективное развитие, как смену исторически развивавшихся одно из другого явлений, и умел объективно оценивать даже то в прошлом, чему не сочувствовал. Именно поэтому он, совсем не сочувствовавший „пугачевским“ методам, мог понять и даже оценить положительные стороны Пугачева. То же следует сказать и о его отношении к Петру.

Чтение Голикова не изменило, а только углубило это отношение Пушкина к Петру. П. Попов совершенно прав, говоря, что, изучая Голикова, Пушкин откликнулся на события, которые он трактовал по-своему. Кстати, Голиков вовсе не „слепой апологет“, каким его изображает П. Попов, а купец екатерининской эпохи, сознательно защищавший выгодные для его класса стороны „дела Петрова“ от натиска дворянской реакции. Теперь отметим, что и заметки Пушкина не дают права на те односторонние выводы, которые делает П. Попов.

По словам Попова, например, Пушкин „подчеркивает жестокое отношение Петра к сыну и обнаруживает свои симпатии к последнему“. Так ли это? Жестокое отношение Пушкин действительно отмечал, симпатии же к Алексею нигде не проявил. П. Попов может указать только на эпитет „несчастный“, употребленный Пушкиным по отношению к царевичу. Напомним суждения об Алексее: „суеверные мамы и приставники ожесточили его противу отца, а духовные особы при обучении его православию встретили в нем ненависть к нововведениям“; обучая его, они из текстов выводили „политические заключения“. Когда Петр занялся сыном, „жесточенный отрок выучился только притворствоваться“.² Вряд ли здесь заметна симпатия. По Попову, Пушкин¹, вычитывая о характере Петра из Голикова... нетерпеливость и самовластие помещика-царя“. Это верно, но это еще не все. В самой приводимой Поповым цитате Пушкин проводит разницу между государственными учреждениями Петра, которые считает плодами „ума обширного, исполненного доброжелательства и мудрости“, и „временными его указами“, которые „вырвались у нетерпеливого, самовластного помещика“. Отмечая и порицая самовластие, Пушкин видел историческое значение, относительную прогрессивность „дела Петрова“ в целом. Подчеркивая все, что характерно для одной стороны дела, П. Попов совершенно игнорирует иные характерные записи Пушкина: Петр „пресек корчемство, воровство в сольных промыслах, потайный провоз и т. д. Он умножил доходы отпуском в Европу, в Персию и Китай — казенных товаров. Петр заключает мир со Швецией, не сделав ни копейки долгу, платит Швеции 2 000 000 р., прощает гос. долги и недоимки, и персидскую войну заканчивает без новых налогов... По смерти своей оставляет до 7 000 000 р. сбереженной суммы. Годовой расход его двора не превосходил 60 000... замышлял о соединении Черного моря с Каспийским

¹ Все цитаты из лекции Погодина, прочитанной в сентябре 1832 г. в Московском университете. Барсуков, назв. соч., IV, стр. 74—75. Интересно, что Герден, тогда юный студент, целиком воспринял погодинское понимание русского исторического процесса и повторил его мысль об уподоблении роли Петра у нас западной реформации. См. его рукопись 1833 г. „Сочинения А. И. Герцена“, под ред. М. К. Лемке, т. I, стр. 85—91.

² „Сочинения“, изд. ГИХЛ, т. VI, стр. 253—254.

и предпринял уже ту работу. . . Отпуск в Пекин казенных караванов принес пользу русским купцам“ и т. д.¹ В плане введения к своей „Истории“ Пушкин дает очень отрицательную характеристику допетровской Руси и тут же отмечает: „Просвещение развивается со времен Бориса; правительство впереди народа; любит иноземцев и печется о науках“.² Это тот же погодинский взгляд: в России не общественные классы и их борьба двигали процесс, а правительство.³ Но то, что для Погодина хорошо, для Пушкина скверно. Он предпочел бы иной путь развития, при котором борьба классов, введенная в рамки компромиссами, поставила бы преграды самовластию. Однако из этого не следует, что он игнорировал другую сторону медали. И в последнем письме к Чаадаеву, защищая от его нападок русское прошлое и заявляя, что Петр „один — целая история“, Пушкин в то же время считает, что „наше социальное существование печально“, и отмечает „отсутствие общественного мнения, равнодушие ко всему, что есть долг, справедливость и истина . . . циническое презрение к мысли и человеческому достоинству“. И, — опять подчеркивает Пушкин, — „правительство единственный европеец в России“.

Все высказанное нами в настоящей рецензии, конечно, требует дальнейшего и притом разностороннего углубления и разработки. Мы хотели только отметить, что для автора рецензируемой статьи проблемы Пушкина-историка как будто вовсе не существовало, или же что она представлялась ему слишком простой. Между тем — это глубокая и сложная проблема. Не даром А. И. Тургенев, близко наблюдавший Пушкина в последний год его жизни и далеко не во всем разделявший его взгляды, после его смерти написал: „В Пушкине мы лишились великого поэта, который готовился быть и хорошим историком“.⁴

А. Шебунин.

А. Бем. Фауст в творчестве Пушкина („Slavia“, Časopis pro slovanskou filologii, ročník XIII, Praha, 1935).

Редакционная традиция, установившаяся в последнее время, — ей следует и новое академическое издание (т. VII), — исключает „Сцену из Фауста“ из группы драматических произведений Пушкина и представляет ее читателям в ряду его стихотворений. Форма „Сцены“ дает к тому известные основания: отсутствие действия позволяет видеть в ней лишь драматический диалог, какие встречаются и в эпических поэмах. Думается, однако, что одна определяющая черта „Сцены“ делает более соответственным ее присоединение к драматическим созданиям поэта: нельзя не считаться с тем, что „Сцена из Фауста“ мыслится ее автором все-таки как эпизод из некоторого цельного драматического создания и так или иначе смыкается в замысле Пушкина с трагедией Гете.

Конечно, смыкается она не совсем так, как это представляется А. Л. Бему. В статье „Фауст в творчестве Пушкина“ он представил полезный обзор новейших изучений „Сцены“, однако, высказал при этом ряд соображений о ней, не во всем достаточно обоснованных.

Он исходит здесь из мысли, скорее неожиданной, чем правильной. Как известно, „Сцена из Фауста“ первоначально называлась „Новая сцена между Фаустом и Мефистофелем“, и лишь позже Пушкин изменил заглавие. Этому первоначальному наименованию А. Л. Бем „склонен придавать существенное значение“: „назвав ее новой сценой, Пушкин дает как бы сам указание на то, что она чем-то восполняет, в чем-то заменяет сцену „старую““.

Этот вывод, быть может, имел бы значение, если бы новым по-русски в самом деле называлось то, что непременно заменяет собою что-нибудь старое. Но мы знаем, что новое небесное светило, замеченное наблюдателем, не становится на место старого, что Новый Свет, открытый Колумбом, не отменил Старого Света, и что, когда в печати

¹ „Сочинения“, изд. ГИХЛ, VI, стр. 252—253.

² Там же, стр. 257.

³ Так же думал и Герцен. В одной заметке 1836 г., он писал: „В гражданском обществе прогрессивное начало есть правительство, а не народ“. „Сочинения“, т. I, стр. 368.

⁴ „Пушкин и его современники“, т. VI, стр. 59.

появляется посмертная „новая строфа“ из „Онегина“, то она входит в роман, не вытесняя старых. Но этим не удовлетворен А. Л. Бем: он видит здесь доказательство того, что было не только общее восполнение, общая параллель или противоположение, но что объектом замены была одна твердо определенная сцена из „Фауста“ Гете, а именно имеющая местом действия „Лес и пещеру“. Пользы от такого доказательства, если бы оно и оказалось неопровержимым, не так уж много. Польза была бы, если бы такое приурочение „Сцены“ Пушкина к определенной сцене у Гете чем-нибудь послужило к ее углубленному пониманию. Но такого углубления не получается, и самое приурочение производится путем неоправданных сближений. „У Гете, как известно, сцена предшествует падению Маргариты; пушкинская же сцена это падение уже предполагает. Таким образом, Пушкин, создавая свою «Сцену», во всяком случае не мог ее мыслить заменяющей соответствующую сцену в лесу гетевской трагедии“. Конечно не мог; к чему было и вопрос об этом поднимать? Пушкин вообще ничего не предполагал заменять, так как заменяют то, что почитают менее пригодным, — о таком отношении Пушкина к „Фаусту“ нам ничего не известно. Но с коренным хронологическим расхождением надо все-таки справиться. Поэтому — ради поддержки гипотезы — привлечены „существенные разногласия“ среди комментаторов „Фауста“, сцена „Лес и пещера“ вновь передвигается на то место, с которого снял ее сам Гете, „допустивший здесь некоторую неотчетливость в результате длительности работы“ — и смелый вывод готов: сцена в лесу „предполагает уже падение Маргариты“. Поэтому „Пушкин был прав, когда и в своем понимании этой сцены исходил из предположения, что на душе Фауста уже тяготеет преступление по отношению к Маргарите“. Конечно, тяготеет; но для этого совсем не нужно, чтобы Фауст уже овладел Маргаритой. Достаточно прочитав у Гете сцену „Лес и пещера“. Ясно, что в этой сцене физическое наслаждение впереди, у Пушкина оно отодвинуто в прошлое — и, судя по тону воспоминания, — довольно далекое. Многие испытал уже Фауст после встречи с Маргаритой, но ничем не удовлетворился, всем пресытился — и он хандрит. Это не по-гетевски, но это по-пушкински. А Бем, несмотря на это различие хронологическое и психологическое, не только видит в „новой сцене“ какую-то замену старой, но даже усматривает связь обеих сцен в том, что „одно место пушкинского «Фауста» остается просто непонятным без сопоставления его с соответствующим местом из сцены «Лес и пещера»“. Мефистофель Пушкина напоминает Фаусту, что, уже „упившись наслаждением“, он был исполнен „тоски и скуки ненавистной“.

Потом из этого всего

Одно ты вывел заключение.

Какое заключение? По мнению А. Л. Бема, объяснение этой „загадки“ можно найти только в одной реплике гетевского Мефистофеля. Напоминая Фаусту (там же, в „Wald und Höhle“) о его чувственной человеческой природе, издеваясь над его пронырливостью, сатана напоминает также, чем неизбежно завершается возвышенное настроение Фауста

Und dann die hohe Intuition

(Mit einer Gebärde)

Ich darf nicht sagen wie zu schliessen.

Вот оно: и здесь „заключение“, и там „заключение“, и здесь, и там Фауст возмущен наглостью Мефистофеля. Только у Гете есть еще ремарка о жесте — вероятно, не очень пристойном. „Эта ремарка автора осталась Пушкиным опущенной (вот как сближен Пушкин с Гете: уж перенимать, так все, вплоть до ремарки!) — вероятно потому, что он ее считал как бы само собой разумеющейся для всякого, кто знал оригинал сцены «Лес и пещера»“. Остается предложить редакторам Пушкина внести эту ремарку, хоть не в основной текст, а в параграф к „Сцене“. Комментатор забыл мелочь: непристойный жест гетевского Мефистофеля напоминает надземному философу о предстоящих ему весьма земных наслаждениях, а язвительная реплика пушкинского Мефистофеля намекает на то, что за наслаждениями воспоследовало. Последовало то, что продолжает терзать озлобленного

в моральном бессилии Фауста — и жест дьявола, стало быть, совсем другой. Но при желании всегда можно найти тожество.

Im Auslegen seid frisch und munter,
Legt Ihr nicht aus, so legt was unter.

В „Пиковой Даме“ Томский говорит о герое повести Германне: у него „профиль Наполеона, а душа Мефистофеля“. В этих словах А. Л. Бем видит ключ к великой тайне. Он всегда „в недоумении останавливался пред ними и никак не мог их себе объяснить“. Кажется бы: нужно ли недоумение пред тем, что и не требует объяснений? Но лишь теперь, — излагает свою автобиографию А. Л. Бем, — когда он подошел к „Пиковой Даме“ с „вопросом о фрустовской проблеме в творчестве Пушкина“, эти загадочные слова стали ему ясны. „Ведь три злодеяния были на душе Фауста: отравление матери, убийство Валентина и гибель Маргариты“. Правда, злодейств было, собственно, четыре — была еще гибель ребенка, но оттого ведь и сказано у Пушкина: „по крайней мере три убийства“. Вот как точен Томский в своей криминальной статистике. Да, „не случайно эти слова вложены в уста именно Томского...“ Для Пушкина было совершенно ясно, что Мефистофель является только двойником Фауста, что „мефистофельские черты Германна и ведут его к преступлению“. Эта гипотеза объясняет также, „почему у Пушкина в первоначальных набросках к «Пиковой Даме» еще больше была подчеркнута связь Германна с немецкой средой“. „И вполне понятно, почему первый «русский Фауст» еще сохраняет свое племенное родство с своим духовным предком“. Право, приходится еще раз восхититься прозорливостью Пушкина: видно, потому он и устранил следы связи Германна с немецкой средой, что побоялся, как бы через сто лет А. Л. Бем не увидел типичного и коренного немца в столь интернациональном образе Германна. Но много или мало толку в этого рода генеалогиях, — ясно, что при посредстве таких куштыков можно и Смердякова сделать потомком Прометей. Приходится напоминать о вещах слишком элементарных. Надо помнить, что если в Фаусте и Мефистофеле отражены две стороны единого существа, то отождествлять их где угодно и когда угодно — нельзя. Не для того противопоставлены в драме дьявол и сверхчеловек, не для того заполнена извечной борьбой между ними великая трагедия, чтобы мы порхали между ними, по мере надобности устанавливая такие уравнения: если Томский обозвал Германна Мефистофелем, то следовательно Германн есть Фауст. Неладно при этом и то, что гипотеза, как известно, приемлема, когда не расходится с фактами. Между тем Пушкин ведь категорически говорит: „Слова Томского были не что иное, как мазурочная болтовня“ — а А. Л. Бем, столь внимательно углубившийся в „Пиковую Даму“, не счел нужным об этом даже вспомнить в своей победной аргументации. Путем таких же пируэтов и недоразумений мы поставлены пред гротескным заявлением: „История Лизы — это русская постановка трагедии Маргариты“. Ну, конечно. Если Германн — ограниченный своей страстью маньяк безоглядной потребности разбогатеть — есть русский Фауст, то почему благополучной истории Лизы, где встреча с Германном осталась почти безболезненно прошедшим эпизодом, не оказаться трагедией Маргариты в русской постановке.¹ Ведь Лиза только в опере топится.

Провал крохоборческой, примитивной и безответственной методики фантазирующего вчитывания в тексты Пушкина, практикуемой А. Бемом, очевиден. Нельзя в истолковании произведения сосредоточиваться на разрозненных подробностях, отвлекаясь

¹ Еще подробность. „Лизавета Ивановна взглянула на него, и слова Томского раздалась в ее душе: у этого человека по крайней мере три злодеяния на душе“. Приведа это место из повести, А. Л. Бем многозначительно продолжает: „Подчеркнутые слова выделены здесь не мною, а самим Пушкиным“. Выделены — да, только для чего? Для того ли, чтобы придать им ту особую значительность, какая понюдалась А. Л. Бему? Нет, — только для того, чтобы выделить ц и т а т у. Как везде у Пушкина и его современников, здесь курсив заменяет наши кавычки — и больше ничего. Да если бы и иначе, — не решаются же наши вопросы о Германне тем весом, какой имела мазурочная болтовня Томского в чувствах и мыслях влюбленной Лизаветы Ивановны.

от его общего строя и тона. Тон „Сцены из Фауста“ особенно подлежит учету. Это тон внутренней легкости, тон как бы салонной беседы, не свойственный ни общему замыслу драмы Гете, ни глубине его героя. „Пресытившийся гуляка, un homme blasé“, — назвал пушкинского Фауста Белинский — и как удачно то, что он взял здесь не русское определение, а словечко из светского жаргона. Оно определительно для того парафраза, какой дан нам в „Сцене из Фауста“.

Перебивка жгучих образов привлекала Пушкина, и особенно любил он комическую, снижающую игру ими. Он сам рассказал, как пародийно происхождение „Графа Нулина“. Он пересказал шекспировскую „Меру за меру“ в сумрачно-смешливом тоне, где есть что угодно — и трагедия, и ужас — все, кроме ощущения действительности; в оболочке реальности это подчеркнутая сказка: если бы и не был избегнут кровавый исход, к нему трудно было бы отнестись с доверием и волнением. Перепевы из столь чуждых шутке созданий, как „Божественная Комедия“ и Коран, полны у Пушкина усмешки. В то время как одно из „Подражаний Данту“ („В начале жизни“) проникнуто захватывающей сосредоточенностью, свойственной оригиналу, другое — отстраняет своей юмористикой всякое глубокое человеческое сочувствие, повелительно, казалось бы, требуемое изображаемыми нечеловеческими страданиями. Подлинный Данте суров, ему не до смеха; когда грешник горит у него на дьяволовом огне, это огонь не шуточный и муки не шуточные. А у Пушкина поэт „Ада“ беззаботно, можно сказать, бесшабашно рассказывает о том, что забавно только в том случае, если не действительно.

Бесенок, под себя поджав свое копыто,
Крутил ростовщика у адского огня.
Горячий капал жир в копченое корыто
И лопал на огне печеный ростовщик.

Ему смешно, и нам смешно, потому что все это не „в самом деле“, это гротеск, это шутка. Шутка есть и в „Фаусте“ Гете. Часто смешлив его дьявол в одежде забавника, часто он юмористически саркастичен, иногда — надо помнить — сбивается на гротеск и само движение драмы в гетерогенных ее эпизодах, как ряд выступлений в „Вальпургиевой ночи“, как „Золотая свадьба“ Оберона и Титании. Но основное в драме, и прежде всего ее герой, далеко от шутки и, главное, далеко от нее не в рассуждениях, принадлежащих к глубочайшему, что создала поэтическая мысль человека, а в действиях Фауста, в его поступках. Драма о нем есть драма его падений и возвышений, но нигде — ни там, где Фауст убивает Валентина, ни там, где доводит до гибели Маргариту — в его поступках нет случайности, нет поверхностной прихоти, нет каприза. Железная последовательность правит им, и мы до конца верим в то, что действительно было и нужно было им содеянное. Не такова атмосфера „Сцены из Фауста“ — не такова, конечно, преднамеренно. Правым в суждении о пушкинском Мефистофеле опять остается, конечно, Белинский: „Это все тот же мелкий чертенок, которого воспел Пушкин в молодости под громким именем Демона. Это просто напросто остряк прошлого столетия, которого скептицизм наводит теперь не разочарование, а зевоту и хороший сон“. Этому Мефистофелю соответствует и тот Фауст, к которому приставил его Пушкин. У гетевского Фауста в прошлом долгая жизнь самоотверженного работника, глубокого мыслителя, трудолюбивого бюргера, оттого мы ничего не узнаем о его пресыщении и скуке. У пушкинского Фауста — онегинское безделье в прошлом и барская хандра в настоящем. Отсюда бессмысленное зверство в концовке „Сцены“, которое внушало бы ужас, если бы внушало доверие. Но „всех утопить“ — это не дьявольская жестокость, это салонная бутада. И финал бросает соответственный свет на предшествующее, на всю „Сцену“. Это не „в самом деле“, это пастиш, это шутка великого поэта по поводу чужого великого творения, и мы лучше пойдем Пушкина, если не будем пытаться выводить из его „Сцены“ некую монументальную вереницу „русских Фаустов“.

Б. Ойрон.

Итальянская „Пушкиниана“. 1. **Bibliografia di opere generali e particolari sulla letteratura russe** (a cura del traduttore). В книге: Alessio Vesselovski. Storia della letteratura russa. Traduzione di **Enrico Damiani** con l'aggiunta d'un cenno sulla Letteratura contemporanea, d'un prospetto schematico, di appendici bibliografiche e d'un indice alfabetico a cura del traduttore. Firenze, Walecchi, 1926, стр. 195—290. 2. **Breve bibliografia Puškiniana.** В книге: **Ettore Lo Gatto.** Storia della letteratura russa. Volume terzo. La letteratura moderna. I. Roma. Anonima Romana editoriale, 1929, стр. 326—333.

Вышедшие в свет несколько лет назад (в 1926 и 1929 гг.) две итальянские библиографические работы мало знакомы советским литературоведам.

Первая библиография составлена Энрико Дамиани, известным итальянским славистом, автором ряда статей о русских писателях-классиках, в том числе и о Пушкине. Библиография дана в виде приложения к его переводу „Истории русской литературы“ Алексея Н. Веселовского и занимает около 100 стр. Это сейчас единственный иностранный справочник, охватывающий русскую литературу во всем ее объеме, как в области переводов на итальянский и, частично, на французский язык, так и критической литературы на русском и иностранных языках, включая и статьи из иностранных журналов. Материал о Пушкине входит сюда как составная часть и рассеян по разным отделам.

В отделе I B, посвященном биографическим работам (материал в нем расположен в алфавите авторов), под рубрикой „Puškin“ (стр. 212—213) помещено 12 названий, начиная с работы 1873 г. (J. V. Eckart, „Aus der Petersburger Gesellschaft“, Lpz., 1873) и кончая брошюрой В. А. Мякотина „Пушкин и декабристы“, Берлин—Прага, 1923. За исключением двух работ, вышедших в России (Б. Нейман, „Влияние Пушкина на Лермонтова“, Киев, 1914, и Н. Страхов, „Заметки о Пушкине и других поэтах“, СПб., 1888), все остальные вышли за границей, причем встречаются и статьи из сборников (G. Brandes, „Puschkin und Lermontov“, в сб. „Menschen und Werke“, Frankf. a. M., 1884; F. Bodenstedt, „Al. Puschkin und seine Stellung in der russischen Literatur“, в сб. „Poetische Werke“, vol. 3; M. Pokrowski, „Puschkin und Shakespeare“, в „Shakespeare-Jahrbuch“, 1907). Случайный характер этого подбора очевиден. В разделе „биографий“ помещены работы, явно говорящие о литературных влияниях, а не о биографии поэта (назв. работы Б. Неймана; M. Pokrowskij; A. Jensen, „Puschkin in der schwedischen Literatur“). Иностранная монографическая литература о Пушкине (безотносительно к ее содержанию) представлена довольно полно (пропущена брошюра: W. Lednickij, „O Puszkinie i Mickiewiczzi“, Krakow, 1924, сборник „Очерки по поэтике Пушкина“, Берлин, 1923, и еще несколько книг, вышедших в 1926 г., т. е. одновременно с выходом книги Э. Дамиани, как напр., работы: M. Hofman, „Le musée Pouchkine d'Alexandre Onéguine à Paris“, Paris, 1926; A. Liron-delle, „Pouchkine“, Paris, 1926; D. Mirsky, „Pushkine“, London, 1926; П. Биццали, „Поэзия Пушкина“, в „Этюдах о русской поэзии“, Прага, 1926). Но русская пушкинская литература представлена лишь двумя книгами — Н. Страхова и Б. Неймана, а советская пушкиниана осталась и вовсе вне поля зрения автора.

В следующем отделе: „Статьи по русской литературе в главных западных журналах“, в разделе B: „Биографические статьи о главных русских прозаиках и поэтах“, под рубрикой „Puškin“ (стр. 232—233) приведено 33 названия, с 1838 г. (Varnhagen von Ense) и до 1926 (V. Certo, „Puškin e la lingua italiana“). Здесь также чисто биографических статей почти нет. Насколько перечень неполон, нам судить трудно, поскольку речь идет об иностранных журналах всего Запада. Но неполнота сведений оговорена самим заглавием, указывающим, что обследованы лишь „главные“ журналы, причем имеются в виду, очевидно, только главные журналы Италии, Франции, Англии и Германии, так как остальные страны не представлены вовсе. Обращает внимание отсутствие статей из „Revue Encyclopédique“ — современных Пушкину, а из более поздних: Harnack, O. „Puschkin und Byron“ („Zeitschr. f. vergleich. Literaturgesch.“, 1888, I); Quittard, H. „Alexandre Serguievitch Pouchkine“ („Le Petit Encyclopédiste“, 1899, № 1, 15 VII); Reinholdt, A. V. „Alexander Puschkin als Dramatiker“

(*Bühne u. Welt*, 1899, № 16, Н. 2) и из новейшей литературы: Jousserandot, L. „Pouchkine en France“ („*Le Monde Slave*“, 1918, Janvier, Juin, Sept.).

Вообще из 33 указанных статей 5 падает на юбилейный 1899 год и 9 — на современные итальянские журналы за 1924—1926 гг., тогда как исходная точка библиографии — 1838 год.

Материалом этого отдела исчерпывается литература о Пушкине. Перечень переводов помещен в отделе V, который разделен на три подотдела: А. Переводы итальянские; В. Главные французские переводы; С. Переводы английские и немецкие. В небольшом предисловии к отделу составитель говорит, что, имея целью указать переводы, которые могут быть использованы для лучшего знакомства с произведениями русской литературы, он не поместил в свою библиографию большинства переводов, сделанных не непосредственно с русского языка, а с французских или немецких переводов низкого качества (в библиографии переводы, сделанные непосредственно с русского языка, отмечены курсивом). Таким образом, перечень заведомо неполон. Под рубрикой „Puškin“ (стр. 266—268) помещены 23 итальянских перевода (с 1856 по 1925 г.), тогда как еще в 1899 г. П. Драганов насчитывал их 38 („Пятидесятиязычный Пушкин“, СПб., 1899, стр. 16). У Дамиани отсутствуют любопытнейшие с историко-литературной точки зрения современные Пушкину переводы графа Риччи и Роккиджани, и более поздние — Ч. Бочелли, Л. Мацинни, И. Чамполи и ряд других. Наиболее полно представлен материал с 1919 г.: включены не только отдельные издания, но и переводы, вошедшие в журналы и антологии, при чем содержание сборников раскрыто в примечаниях.

В разделе В того же V отдела (стр. 286—287) названо 24 французских перевода произведений Пушкина (с 1847 по 1926 г.). Желая, согласно заголовку, дать лишь „главные“ переводы и начиная перечень с конца сороковых годов, составитель пропускает, помимо первой половины XIX в., ряд интересных современных переводов, вышедших в дорогих изданиях с иллюстрациями: Натальи Гончаровой („Сказка о царе Салтане“, 1920), И. Лебедева („Сказки“, 1920), В. Шухаева („Борис Годунов“, 1925), Б. Зворыкина и некоторые другие.

Отдел английских и немецких переводов (стр. 290) не дифференцирован по отдельным писателям и дает лишь ссылку на источники, где можно найти указания.

Библиография Э. Дамиани, как мы уже отмечали, представляет собою первый справочник, появившийся на Западе, охватывающий русскую литературу на всем ее протяжении. Подробное рассмотрение одной из наиболее важных частей справочника, именно материала, касающегося Пушкина, свидетельствует о полной его неудовлетворительности. Игнорирование библиографом дореволюционной русской и советской пушкинианы само по себе уже характеризует значение его справочника, представляющего интерес только в качестве перечня зарубежных работ, особенно журнальных статей. Отдел переводов не дает сведений о наиболее интересной, современной Пушкину эпохе. Исходя исключительно из соображений популяризации русской литературы на Западе, составитель намеренно пропускает часть материала, не учитывая необходимость его для задач литературоведения в целом.

К числу недостатков работы должно отнести и недостаточную библиографическую четкость. Так, например, не указывается число страниц в книгах и статьях.

Вторая библиография принадлежит виднейшему специалисту по русской литературе в Италии — Этторе Ло Гатто, директору Института славянской филологии в Падуе, редактору журнала „*Rivista di letteratura slave*“, автору трехтомной „Истории русской литературы“ и многочисленных статей об отдельных русских писателях, главным образом о Пушкине. Его перевод „Евгения Онегина“ на итальянский язык считается одним из лучших. Э. Ло Гатто начиная с 20-х годов занят популяризацией в Италии русской, как классической, так и современной советской литературы, воспринимаемой им, разумеется,

в определенном аспекте. Ему принадлежит несколько специальных статей о Пушкине и в вопросах пушкиноведения он, казалось бы, должен быть осведомлен хорошо.

Библиография, приложенная к третьему тому его „Истории русской литературы“ (Эпоха Александра I. Начало эпохи Николая I. А. С. Пушкин), рассчитана, несомненно, если не на пушкиниста, то на специалиста-литературоведа. Указатель не претендует на исчерпывающую полноту, имея целью, согласно разъяснению составителя, дать сведения лишь о наиболее важных трудах по пушкиноведению, преимущественно современных. Об этом свидетельствует и самое заглавие: „Краткая библиография пушкинианы“. Схема расположения материала очень стройна: Издания. Переписка. Биография. Библиографические работы. Труды на русском языке (с особым учетом современных). Труды на иностранных языках. Переводы (т. е. литература о переводах). Переводы на итальянский язык. Переводы на французский язык. Переводы на немецкий язык. Переводы на английский язык.

Пять первых разделов имеют в виду русские издания.

Внутри разделов материал расположен более случайно: частью по алфавиту авторов, частью без строго выдержанной системы (Труды на иностранных языках. Переводы).

В отделе: „Издания“ (имеются ввиду только главные собрания сочинений) не указано первое, начатое в 1838 г., которое со всех точек зрения не может не быть одним из „главных“. В остальном перечень может считаться почти полным (названы издания „Просвещения“, А. Суворина, Акад. Наук, Брокгауза и Ефрона. Из зарубежных — Ладженикова и изд. „Слово“). Отсутствует указание на издание П. В. Анненкова, а из после-революционных — на вышедший в СССР однотомник под ред. Б. В. Томашевского (1924), выдержавший несколько изданий.

В отделе „Переписка“ перечислены: „Переписка“ Пушкина под ред. В. И. Саитова, „Письма Пушкина и к Пушкину“ под ред. В. Брюсова, „Письма Пушкина к Е. М. Хитрово“. Отсутствуют, однако, такие издания, как „Письма Пушкина и к Пушкину“ под ред. М. А. Цявловского, „Письма“, т. I (1926) и т. II (1928) под ред. Б. Л. Модзалевского, не говоря уже о более мелких отдельных публикациях.

Отдел: „Биография“ с точки зрения указания основных работ может считаться лишь относительно полным — указаны работы П. Анненкова, П. Бартенева, Я. Грота, Л. Майкова, дается ссылка на В. Вересаева и сборники „Пушкин и его современники“. Не включена книга П. Щеголева „Дуэль и смерть Пушкина“ и книга А. Полякова „О смерти Пушкина“ (Пб., 1922), а также биография, помещенная в „Трудах Пушкинского Дома“ („Пушкин“, 1924).

Отдел „Библиографические работы“ представлен с достаточной полнотой.

В отделе: „Работы на русском языке“ (подразумевается не биографический материал) всего помещено 46 названий, с указанием, что главное внимание обращено на современные. При этом 21 название падает на старую литературу, главным образом 80-х годов и 1899 года, остальные 25 названий — частью на советскую, частью на белоэмигрантскую литературу. Материал расположен в алфавитном порядке авторов и включает монографии, сборники и, частью, журнальные статьи („Киевские Университетские известия“, „Slavia“). Отличаясь большой пестротой и случайностью подбора в части старой литературы, отдел этот все же дает довольно полное представление как о советской пушкиниане (17 названий), так и о русской зарубежной (8 названий).

В худшем положении отдел трудов на иностранных языках (19 названий). Он отчасти повторяет соответствующий отдел библиографии Э. Дамиани, незначительно дополняя его, но не воспроизводит его целиком, помещая вперемежку монографии и журнальные статьи. Материал расположен по языкам: итальянский (8 названий), польский (1 название), французский (4 названия), английский (1 название) и немецкий (5 названий). При этом, итальянская литература целиком состоит из журнальных статей, пять из них — переводы с русского: F. Dostojevskij. „Discorso su Puškin“. „Russia“, 1920—1921, № 1; V. Hodasevič. „Sul modo di leggere Puškin“. „Russia“, 1924, № 3; E. Šmurlo. „Alessandro Puškin“, там же; B. Eichenbaum. „I problemi della poetica di Puškin“, там же; G. Vernadskij. „Puškin comme storico“, там же; а три остальные принадлежат Э. Дамиани, Э. Ло Гатто и В. Черто.

Польская литература представлена книгой В. Ледницкого, „Aleksander Puszkín“ (Kraków, 1926). Но брошюра его „O Puszkínie i Mickiewiczu slow kilka“ (Kraków, 1924) и его книга „Pouchkine et la Pologne“ (Paris, 1924) не включены, так же как и некоторые его статьи на польском и французском языках.

Французскую литературу, представленную двумя статьями L. Leger, „Mickiewicz et Pouchkine“ („Revue de Paris“, 1898, № 6) и „Pouchkine et la poésie française“ („Bibliothèque universelle“, 1900, № 19), статьей А. Mansuy, „Ce que doit Pouchkine aux écrivains français“ („Revue bleu“, 1904) и книгой Е. Haumont, „Pouchkine“ (Paris, 1911), можно было бы пополнить, не повторяя Э. Дамиани, у которого материала больше, и ориентируясь на новейшую литературу, вышеупомянутой статьей L. Jousserandot, „Pouchkine en France“ („Le Monde Slave“, 1918, Janv., Juin, Sept.) и статьей А. Pierre, „Pouchkine et la culture française“ („Europe Nouvelle“, 1928, 28 VI).

Английская литература представлена статьей Д. Мирского, „Pushkin“ („Slavonic Review“, 1923, № 2); его книга, вышедшая в 1926 г. (D. Mirsky. „Pushkin“ London, 1926) не упоминается.

Немецкая литература представлена работами: К. Varnhagen von Ense, „A. S. Puschkin“ („Jahrbücher für Wissenschaftl. Kritik“, 1838); F. Bodenstedt, *op. cit.*; E. Zabel, „Alexander Puschkin“ („Deutsche Rundschau“, 1899, Bd. 99); М. Pokrowskij, *op. cit.*; V. Erisman, „Alexander Puschkin und der Anfang der modernen russischen Literatur“ („Russland“, Zürich, 1918), т. е. несколько беднее, чем у Э. Дамиани.

Отдел заканчивается указанием, как на курьез, на драму Пиетро Косса из жизни Пушкина (1870). Э. Ло Гатто не упоминает о второй подобной же пьесе другого итальянского драматурга, Валентино Каррера, поставленной первый раз в театре „Gerbino“ в Турине в 1865 г. и изданной в Милане в 1876 г. Обе пьесы переведены на русский язык и изданы в Петербурге в 1900 г.

В следующем разделе, „Переводы“, названы работы обзорного характера: П. Драганов, „Пятидесятиязычный Пушкин“, СПб., 1899, и П. Кулаковский, „Стихотворения А. С. Пушкина в славянских переводах“, Варшава, 1899. Брошюра В. Шульца, „А. С. Пушкин в переводе французских писателей“, СПб., 1880, повидимому, Э. Ло Гатто неизвестна.

В начале раздела, посвященного итальянским переводам, говорится, что учтены только современные переводы главных произведений. В остальном Э. Ло Гатто отсылает к Э. Дамиани. Названо 13 переводов, расположенных не в строго выдержанном хронологическом порядке. Перечень целиком повторяет материал, приведенный Э. Дамиани. Прибавлен один перевод Ринальдо Кюфферле „Театр Пушкина“ (1928) и в начале, в качестве курьеза, упоминается одесское издание стихотворений Пушкина в итальянском переводе (1855). В разрезе, указанном составителем, материал этим и исчерпывается.

В части французских переводов (11 названий, 1847—1925) дано менее подробное описание, частично воспроизводящее материал Э. Дамиани, к которому, также как и к Лансону („Manuel bibliographique“), Ло Гатто отсылает для получения более полных сведений. Вышедшие в 1928 г. переводы „Гавририады“, „Пиковой Дамы“ (с гравюрами А. Алексеева) и „Повестей“ в переводе А. Жида и Шифрина им не учтены.

Раздел немецких переводов, по сравнению с Э. Дамиани, развернут. Даны сведения за 1920—1923 гг., указан один перевод 1885 г. и перевод „Полтавы“ Боденштедта. Всего, не считая собраний сочинений, за 1920—1923 гг. Э. Ло Гатто дает семь переводов, тогда как число их по нашим данным достигает 22-х, и, кроме того, за период с 1923 по 1929 г. также 22-х, так что, по существу, он мог располагать материалом в 44 перевода. Несмотря на большую неполноту, это — единственная сводка немецких переводов в западной литературе.

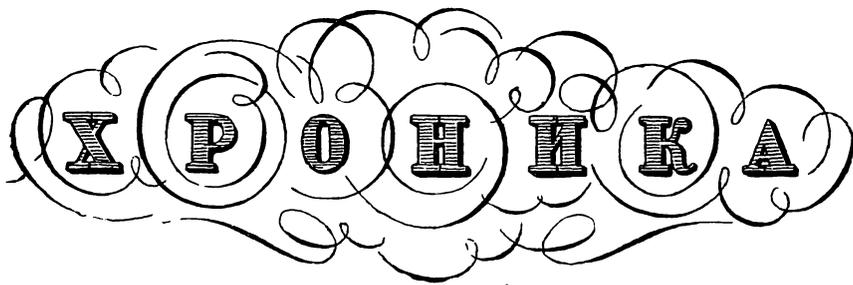
Раздел английских переводов построен совершенно иначе. При полной бессистемности в расположении материала дано 24 названия, с 1829 по 1896 год. В качестве исключения здесь указывается несколько современных Пушкину переводов. Неизвестно, чем руководствовался составитель, отступив в данном случае от своей системы учета только

новейших данных, но несмотря на несомненную неполноту сведений и отсылку за другими изданиями к тем же источникам, которые указаны у Э. Дамиани („Antology of Russian Literature“, London, 1903, „Slavonic Review“), эта часть библиографии ценна, как указатель английских переводов с самого их возникновения, хотя и новые переводы не указаны вовсе. Как и для всей библиографии в целом, здесь была бы желательна большая точность описаний.

Этим отделом кончается указатель Э. Ло Гатто. Несмотря на все свои дефекты, библиография его представляет несомненный интерес, как первая в западно-европейской литературе попытка дать развернутую библиографию по Пушкину.

Е. Боброва.







О СОЗДАНИИ ПУШКИНСКОГО КОМИТЕТА В СВЯЗИ СО СТОЛЕТИЕМ СО ДНЯ СМЕРТИ А. С. ПУШКИНА

Постановление Президиумов Ленинградского Областного Исполнительного Комитета Совета Рабочих, Крестьянских и Красноармейских депутатов и Ленинградского Совета РК и КД

В связи с предстоящим празднованием столетнего юбилея со дня смерти великого русского поэта, создателя русского литературного языка и родоначальника новой русской литературы — А. С. Пушкина, создать Пушкинский Комитет в составе: председатель — Кодацкий, И. Ф., заместители председателя — гг. Тюркин, П. А. и Тихонов, Н. С., члены комитета: гг. Жданов, А. А., Щербаков, А. С., Угаров, А. И., Гричманов, А. П., Алексеев, П. А., Вайшля, И. С., Алексинский, М. А., Смирнов, П. А., Романов, А. Г., Рафаил, М. А., Орлов, М. А., Никаноров, А. Ф., Цильштейн, И. О., Хавинсон, Я. С., Троицкий, А. Н., Лазуркина, Д. А., Каспаров, И. С., Толстой, А. Н., Тынянов, Ю. Н., Чуковский, К. И., проф. Оксман, Ю. Г., акад. Орлов, А. С., акад. Державин, Н. С., проф. Якубович, Д. П., проф. Томашевский, Б. В., акад. Орбели, И. А., Бродский, И. И., Свирин, Н. Г., Радлов, Н. Э., Асафьев, Б. В., Маршак, С. Я., Манизер, М. Г., Козлов, В. В., Никольский, А. С., Катонин, Е. И., Сафронов, А. Г., Преображенская, С. П., Корчагина-Александровская, Е. П., Андреев, П. З., Юрьев, Ю. М., Вольпер, А. Х.

Председатель Ленинградского Областного Исполнительного Комитета
А. Гричманов.

Секретарь Ленинградского Областного Исполнительного Комитета
П. Дорофеев.

Зам. председателя Ленинградского Совета
А. Иванов.

Секретарь Ленинградского Совета
И. Каспаров.

ПУШКИНСКАЯ КОМИССИЯ АКАДЕМИИ НАУК СССР

Доклады и сообщения в Пушкинской комиссии в январе—июне 1936 г.

В Ленинграде

- Обсуждение доклада В. А. Десницкого, „Пушкин и мы“, сделанного 27 декабря 1935 г. — 25 января.
- Н. В. Измайлов. „Генезис «Полтавы»“ (материалы для комментария акад. издания поэмы) — 9 февраля.
- В. Г. Чернобаев. „Пушкин и Ян Потоцкий (К истории отрывка «Альфонс садится на коня»)“ — 28 февраля (печ. во „Временнике“, т. III).
- Г. О. Винокур. „Бахчисарайский Фонтан“ — 25 марта (печ. в акад. издании, т. IV).
- С. В. Бахрушин. „Крым Пушкинского времени“ — 29 марта.
- А. А. Ахматова. „«Адольф» Б. Констана в творчестве Пушкина“ — 23 апреля (напеч. во „Временнике“, т. I).
- А. И. Грушкин. „Работы о Пушкине Н. Г. Свирина“ — 15 мая.
- В. А. Десницкий. „Пушкин в его дни“ — 15 мая (отрывок напеч. в „Лит. Газете“, 30 V 1936 г., № 31, под загл. „Пушкин и современники“).
- Н. Г. Свирин. „Подражания Корану“ — 11 июня.

В Москве

- М. В. Нечкина. „Лев Сергеевич Пушкин в восстании декабристов 1825 года“ — 8 января.
- А. М. Эфрос. „Новые рисунки Пушкина“ — 19 января.
- М. А. Цявловский. „Спорные вопросы издания Лицейских стихотворений Пушкина“ — 19 января.
- Л. П. Гроссман. „Пушкин и сен-симонизм“ — 26 февраля.
- М. Б. Загорский. „Пушкин и театр“ — 20 марта.
- Г. О. Винокур. „Бахчисарайский Фонтан“ — 27 марта.
- И. А. Новиков. „Пушкин в Михайловском“ — 9 апреля.

Н. К. Гудзий. „Братья-разбойники“ — 8 мая (материалы для комментария акад. издания, т. IV).

Д. Д. Благой. „Из работы над XIV томом акад. издания Пушкина“ — 15 мая (напеч. во „Временнике“, т. I: „Отчет о работе редактора XIV тома“).

21 апреля состоялось в Москве обсуждение VII тома академического издания сочинений Пушкина. В обсуждении участвовали: М. А. Цявловский, С. М. Бонди, Д. П. Якубович, Д. Д. Благой, Б. В. Томашевский, В. В. Вересаев, А. М. Эфрос, М. П. Неведомский, П. Д. Эттингер, Г. О. Винокур и др. (Краткая и неточная информация о диспуте дана в „Лит. Газете“, № 24, от 24 апреля).

Обсуждение VII тома академического издания в общественных организациях Ленинграда

1 июня 1936 г., под председательством акад. А. С. Орлова, состоялось заседание Пушкинской комиссии совместно с Союзом Советских писателей (в Доме Писателя им. Маяковского), посвященное обсуждению VII тома академического издания сочинений Пушкина (доклад Ю. Г. Оксмана о работе над академическим изданием; сообщение Д. П. Якубовича о работе над VII томом). В обсуждении приняли участие: С. М. Бонди, Н. Г. Свирин, В. А. Рождественский, И. А. Оксенов, В. А. Мануйлов, С. А. Золотарев и др. (Отчеты напеч. в газ. „Лит. Ленинград“, № 26, от 6 июня; „Пушкин, прочтенный эпохой“, и „Лит. Газета“, № 32, от 5 июня; Б. Рест. „Академический Пушкин“).

Во вступительном докладе Ю. Г. Оксман изложил историю замысла и начала осуществления нового академического издания, отметив, что предпосылкой его является проведение трех основных предварительных работ: выявление всего наличия пушкинских текстов (автографов и списков), пополнение и проверка биографического материала и учет всей литературы о Пушкине. Так как эти работы в основном закончились только в 1936 г., то пушкиноведам, работавшим над уже сданными в про-

изводство (полностью или частично) томами нового издания, приходилось разрешать задачи указанного рода (и такие, как напр. изучение орфографии Пушкина, эволюции его почерка и т. п.), так сказать, „на ходу“, чем и обусловились медленные темпы издания. Объяснив, далее, основные установки издания (в вариантах — отказ от прежних транскрипций, с переходом на способ послыонного чтения, разработанный советским пушкиноведением; в комментариях, имея в виду экспериментальный характер VII т. — статейный тип их, объясняемый отчасти необходимостью оперировать огромным материалом не только русской, но и мировой литературы), Ю. Г. Оксман закончил доклад изложением организационной стороны дела (система редактирования и контрольного рецензирования, коллективное обсуждение всех спорных деталей, привлечение к работе новых кадров исследователей и т. п.). Д. П. Якубович добавил некоторые пояснения, напр. по вопросу об ограничении комментариев кругом явлений и материалов, прижизненных Пушкину, сообщив, что создание „Временника Пушкинской комиссии“ позволяет впредь разгружать комментарии от более детальных историко-литературных экскурсов.

В отношении отбора материала были, между прочим, выражены сомнения (Н. Г. Свирина) в правильности отсутствия в т. VII „Сцены из Фауста“, в то время как в книге помещен отрывок „И ты тут был“, прозаический по характеру. Драматический набросок „Вадима“, напротив, должен быть дан вместе с отрывком из поэмы под тем же названием. С. М. Бонди и Д. П. Якубович объяснили, в ответ, точку зрения редакции: в „Сцене из Фауста“ театрально только заглавие, по существу это — лирический диалог. Что касается „Вадима“ - трагедии и „Вадима“ - поэмы, то это принципиально разные вещи. „Вадим“ - трагедия есть замысел декабристской трагедии, а поэма — относится к романтическому жанру, с приглушенной социальной тематикой. „И ты тут был“ по всем данным слишком тесно увязывается со „Сценами из рыцарских времен“, чтобы быть отделенными от них в другом томе.

В отношении вариантов все выступавшие, за исключением А. А. Бардовского (предпочитавшего простое воспроизведение рукопи-

сей), решительно высказывались за принятую в издании систему.

Форма комментариев-статей признавалась для VII т. рациональной, причем высказывалось полное осуждение дореволюционному типу академических примечаний. Вместе с подтверждениями большой содержательности комментариев VII тома, было указано, однако, на слишком малую долю, отведенную в них социальной проблематике. Затем, считаясь с обоснованностью в данном томе различия в планах изложения комментариев, выступавшие отмечали, что обусловленная этим трудность нахождения нужных читателю конкретных сведений (напр. дат) может быть значительно снижена введением более или менее подробных оглавлений (как это сделано для комм. к „Борису Годунову“), с обязательным помещением их в общем оглавлении или около последнего. Было высказано пожелание, чтобы даты сочинения кроме комментариев были поставлены у самих основных текстов, с чем согласились и представители редакции.

Неодобрительную оценку встретило художественное оформление VII тома, признанное слишком бедным для юбилейного академического издания.

Все выступавшие отмечали громадное значение академического издания и ценность затрачиваемого на него труда. Выпущенный Академией Наук том, по словам В. А. Рождественского, дает читателю сверх известного ему ранее еще то, что прочитано в Пушкине нашей эпохой, а такое чтение стало возможным только после Октябрьской революции.

Общее одобрение встретило предложение Н. Г. Свирина вынести обсуждение томов академического издания в широкую рабочую аудиторию.

„Технические приемы издания Академией Наук СССР полного собрания сочинений Пушкина“ были обсуждены (26 I 1936) Секцией редакционно-издательских работников Ленинградского Дома Печати. Доклад, под приведенным названием, был сделан Л. А. Федоровым, с демонстрацией на материале VII тома различных вариантов оформления, предшествовавших выбору окончательных форм. Главное внимание было сосредоточено на

подробностях так наз. внутреннего оформления — шрифтах, форматах, отбивках, способах печатания ремарок, условных обозначений, на оформлении оглавления, именного указателя, расположении примечаний и т. п. В прениях выступили гг. Добрынин, Константинов, Филиппов, Тыслер, Садовский и др. Общий вывод из суждений — вышедший том делает громадный шаг вперед по сравнению со всеми предшествующими изданиями. Ряд сделанных подробных замечаний не встретил возражений Пушкинской комиссии и учтен Издательством при работе над следующими (I и IV) томами издания (напр. шрифт сиглов — условных обозначений рукописей, стоящих у края страниц вариантов — сменен на меньший против VII тома). Названный доклад нашел отклик в специальной печати — см. статью: А. Д.—нин, „Академический Пушкин“ в № 4 журнала „Полиграфическое Производство“ 1936 г.

Словарные работы Пушкинской комиссии

По поручению Пушкинской комиссии Г. О. Винокур с осени 1935 г. приступил к составлению лингвистического словаря к тексту „Евгения Онегина“, работа над которым должна быть закончена в первом квартале 1937 г.

„Евгений Онегин“ представляет исключительный интерес для пушкинской лексикографии прежде всего потому, что это самое крупное стихотворное произведение Пушкина, притом писавшееся в течение очень длительного времени. За те 8 лет, в течение которых писался „Евгений Онегин“, язык Пушкина несомненно эволюционировал вместе с общей творческой эволюцией поэта, так ярко сказавшейся в композиции романа, его сюжете, образах и т. д. Самый жанр „Евгения Онегина“, представляющий интимное соединение лирики и эпоса, а потому порождающий большое разнообразие примененных в романе стилистических средств, также служит естественной приманкой для лексикографа. До тех пор, пока не будет создан полный научный словарь языка Пушкина, словарь к „Евгению Онегину“ несомненно будет с наибольшим приближением к конечной цели обслуживать потребности ищущего справок по поэтическому языку Пушкина вообще. Преимущества

„Евгения Онегина“ с этой точки зрения, по сравнению с другими произведениями, представляются очевидными.

По своему содержанию, словарь к „Евгению Онегину“ будет представлять алфавитный список всех слов, встречающихся в тексте романа, с указанием всех грамматических изменений каждого слова и всех значений, в которых оно употреблено, с приведением обильных примеров на каждое значение и с ссылками на все места романа, где данное слово встречается. Подобная обработка текста связана с рядом принципиальных и практических затруднений. Прежде всего нужно было решить вопрос о тексте, по которому вести работу. Не требует особых доказательств, что текст, лежащий в основе словаря, должен быть непременно текстом *критическим*, восходящим к первоисточникам, но не повторяющим их механически, а выверенным по общим правилам критики текста. В словаре весь текст романа будет дан в его *подлинной* орфографии, без всякой модернизации. Орфография текста, положенного в основу словаря, восходит в основном к беловым рукописям „Евгения Онегина“ и первопечатным изданиям романа, но, разумеется, с устранением всех опечаток и т. д. Словарь целиком отразит все подлинные написания Пушкина, со всеми вариантами и колебаниями в пределах отдельных категорий и частных случаев.

Что касается ряда общих вопросов, относящихся к специфической области лексикографической *техники*, то они решаются Г. О. Винокуром на основе большого лексикографического опыта, связанного с его участием в составлении „Толкового словаря русского языка“ под редакцией Д. Н. Ушакова (I том вышел в 1935 г., подготовка к печати второго тома заканчивается). Сюда относятся такие вопросы, как вопрос о том, что считать отдельным словом в словарном смысле, в каком виде помещать словообразовательные или орфографические варианты слов („вдохновенье“ при „вдохновение“, „Ленской“ при „Ленский“ и под.), как группировать примеры по отдельным значениям слова, как выделять фразеологические сращения, какого рода ссылочным аппаратом должен быть обставлен словарь и т. д.

Словарь к „Евгению Онегину“, согласно утвержденному Комиссией плану Г. О. Вино-

кура, будет построен по принципу максимального выделения и расчленения грамматических категорий, так что, напр., наречия будут даваться отдельно от прилагательных („чудно“ при „чудный“), причастия всех времен и залогов отдельно от глаголов, субстантивированные прилагательные отдельно от прилагательных („ученый“ и „ученый свет“) и т. д. Все формы будут снабжены ударениями, причем особо будут оговорены возможные варианты ударений. Разумеется, словарь задуманного типа не может и не должен содержать *толкования* значений слов подобно тому, как это принято в так наз. толковых словарях. Тем не менее группировка словоупотреблений по значениям является обязательным требованием, предъявляемым к словарю. Это будет достигаться краткими, лаконическими аннотациями при семантической группировке примеров, при чем как сама эта группировка, так и аннотации естественно не должны себе ставить целью чрезмерной детализации в анализе оттенков значений, а итти по четким, очевидным семантическим рубрикам, объективно присущим общему языку. В противном случае, особенно имея дело с *поэтическим* текстом, составитель словаря рисковал бы навязывать слишком узкие или слишком определенные значения таким словоупотреблениям, которые по самой своей природе должны мыслиться „образно“, „неопределенно“, „многосмысленно“ и т. д. Словарь должен ограничиться в этом отношении лишь минимумом того, что необходимо читателю для ориентировки, — а самый анализ значений по существу составляет уже задачу исследования. Так, напр., в слове „глава“ будет, конечно, различено значение, являющееся в фразе „Покаместь моего романа я кончил первую главу“ от того значения, которое находим в фразе: „Сидит с поникшею главой“, но это будет выражено так: „1. часть книги. 2. голова,“ без всякой дальнейшей детализации. Поэтические эпитеты, типа „пустынный снег“, „надежды темный сон“ и т. п. будут приводиться без всякой „расшифровки“ их значения и лишь с указанием на ту предметную сферу, к которой они относятся в тексте романа: „о снеге“, „о сне“ и т. п. При словах, употребленных в тексте романа только в одном и обычном значении, аннотации вообще даваться не будут. Краткие аннотации, однако отнюдь не „энциклопедиче-

ского“ характера, будут даны при собственных именах — напр. „Фрейшиц“ — опера нем. композитора Вебера“, „Вяземский — русский писатель“. Лишь в особых случаях, напр. при непонятном уже теперь архаизме, типа „Лондон *шепетильный*“, при каком-либо особенно своеобразном словоупотреблении, аннотации будут несколько расширены и документированы ссылками на те или иные источники истории русского языка и литературы.

Как сказано, каждое значение каждого слова будет иллюстрироваться примерами. Примеры в словаре подбираются с таким расчетом, чтобы показать по возможности все семантические и синтаксические связи данного слова, напр., при глаголах даются контексты с различными конструкциями управления и т. п. Хотя и было бы очень заманчиво, для повышения чисто *справочной* ценности словаря, не ограничиваться отдельными примерами, а выписать все без исключения контексты, в которых находится данное слово, но от этого пришлось пока отказаться. Конечно, при слове, употребленном 4—5 раз, можно привести полностью все случаи его употребления, но при часто встречающихся словах, кроме нескольких примеров, даются лишь цифровые указания на те места романа, где данное слово встречается: глава, строфа, стих.

Работая над словарем „Евгения Онегина“, Г. О. Вивокур одновременно руководит рядом других словарных работ по Пушкину. Эти работы являются частичным осуществлением того нового плана словарных работ по Пушкину, о котором рассказано в статье С. И. Бернштейна в пушкинском номере „Литературного Наследства“, стр. 1167—1168. Пушкинская комиссия, принимая этот план, исходила из признания того, что „местные“ словари к отдельным произведениям Пушкина или циклам произведений, объединяемых общностью жанра и стиля, представляют исключительный научный интерес независимо от осуществления полного словаря языка Пушкина, реализации которого должно предшествовать окончанию академического издания его сочинений. Некоторые словари составителями уже закончены и требуют только редакционной обработки — проверки орфографии по

первоисточникам и т. п. Составлены словари: к сказкам — „О Царе Салтане“, „О попе и о работнике его Балде“, „О рыбаке и рыбке“, „О мертвой царевне“, „О золотом петушке“ (составитель доцент Е. А. Васи-

левская), к „Борису Годунову“ (составитель доцент А. Т. Подосинникова), к „Руслану и Людмиле“ (составитель Ф. Е. Слуцкая). Готовятся словари к „Капитанской Дочке“ и к „Медному Всаднику“.

ИЗ МАТЕРИАЛОВ РЕДАКЦИИ АКАДЕМИЧЕСКОГО ИЗДАНИЯ ПУШКИНА

Отчет о работе над IV томом

1

В четвертом томе академического издания Пушкина помещены его ранние поэмы — от „Руслана и Людмилы“ до „Цыганов“ включительно.

Настоящий том является, как и вышедший уже VII том, плодом не единоличной редакции, а работы коллектива редакторов. Произведения, помещенные в томе, были распределены между пятью специалистами (С. М. Бонди, Г. О. Винокур, Н. К. Гудзий, А. Л. Слонимский и Б. В. Томашевский), из которых каждый был редактором того или иного произведения, критически устанавливающим его текст, обрабатывающим все рукописные и печатные источники и дающим свой научный комментарий.¹

На обязанности общего редактора тома (С. М. Бонди) лежало обеспечить научную согласованность в работах редакторского коллектива и добиться единства как в отдельных выводах, так и в методах и технических приемах подачи отдельных текстов и т. д.

По общему плану всего издания, IV том делится на три части: а) основной текст поэмы, б) другие редакции, планы и варианты и в) комментарий.

В работе над основным текстом ранних поэм Пушкина редактор встречает трудности прежде всего в отношении текста „Руслана и Людмилы“. Дело в том, что, как известно, эта поэма была напечатана при

жизни Пушкина трижды. Второе¹ и третье² издания одинаковы по тексту, но оба они значительно отличаются от первого.³ В издании 1828 г. впервые появился „Пролог“ — „У лукоморья дуб зеленый...“, с другой стороны, был уничтожен ряд мест (размером от двух до одиннадцати стихов) и, наконец, было внесено множество мелких исправлений (замена отдельных слов, форм и т. д.). До последнего времени во всех изданиях перепечатывался текст второго (и третьего) издания, как позднейший и исповаленный самим автором. Большой вопрос, однако, правильно ли это. Дело в том, что Пушкин в 1828 г. не только художественно поправлял свою поэму, но и в известной мере изменял ее первоначальный характер, смягчая и уничтожая наиболее нескромные в эротическом отношении места под влиянием нападок критики и из цензурных опасений. Таким образом, позднейший текст этой молодой „озорной“ поэмы, значительно смягченный зрелым Пушкиным, не дает подлинного представления о характере вещи и несколько искажает ее замысел. Исходя из этих соображений, покойный П. Е. Щеголев в собрании сочинений Пушкина в издании журнала „Красная Нива“ дал, в качестве основного текста, текст первого издания поэмы. Но и это решение вопроса нельзя признать правильным: наряду с уничтожением исправлений Пушкина, вызванных посторонними, не художественными соображениями, в этом случае игнорируются и прячутся от читателя чистохудожественные правки, явно улучшающие текст первой поэмы Пушкина и несколько не меняющие ее основного характера.

¹ Для двух произведений — „Руслана и Людмилы“ и „Братьев-Разбойников“ — работа чисто текстологическая (установление основного текста и обработка вариантов и других редакций), с одной стороны, и составление комментария, с другой, была распределена между двумя лицами, работавшими в тесном контакте друг с другом.

¹ Отдельное издание 1828 г.

² В составе „Поэм и повестей Александра Пушкина“ 1835 г.

³ Отдельное издание 1820 г.

В настоящем издании (редактор текста С. М. Бонди) сделана попытка подойти к вопросу не формально (точно воспроизводя тот или иной прижизненный текст), а критически, учитывая качественное различие двух видов исправлений Пушкина — чисто художественных и „цензурных“. В академическом издании текст в основном воспроизведен по второму, исправленному изданию, но в него включены три места, которые, как можно думать, были исключены Пушкиным по соображениям цензурным или тактическим. Эти три места следующие: несколько стихов второй песни, где говорится о том, что Людмила была одета в момент своего похищения „точь в точь, как прародительница Ева“, несколько стихов в конце четвертой песни, с описанием тщетных попыток старого Черномора овладеть пленной Людмилой¹ и, наконец, шутивное рассуждение о „двенадцати спящих девах“ Жуковского, предшествовавшее описанию встречи Ратмира с ними. В упомянутых только что в сноске заметках Пушкин выражает раскаяние в том, что решился в своей поэме „пародировать девственное создание Жуковского“; следом этого раскаяния и является стремление, сократив это место, смягчить непочтительность и полемичность эпизода. Но эта полемичность по отношению к Жуковскому характерна для всей поэмы в целом, для всего ее замысла; исключенное Пушкиным по соображениям литературной или житейской тактики место только подчеркивает эту полемичность и должно быть сохранено в тексте поэмы.

Другим произведением, текст которого представляет особые трудности для редактора, является „Гавриилиада“. Пушкинских автографов этой поэмы, как известно, не дошло до нас, и текст ее сохранился в виде списков, почти исключительно очень поздних и изобилующих сильными искажениями. Академический редактор „Гавриилиады“ (Б. В. Томашевский), являющийся автором специального текстологического и историко-литературного

исследования об этой поэме,¹ заново тщательно проанализировал все источники текста ее, руководствуясь принципом — не следовать тексту какого-нибудь одного из списков, хотя бы и признанного лучшим, а критически оценивать каждый „вариант“ данного места, стараясь из сопоставления их обнаружить подлинный текст, искаженный различным образом в списках.

Что касается до остальных поэм — „Кавказского Пленника“ (редактор С. М. Бонди), „Братьев Разбойников“ (редакторы С. М. Бонди и Н. К. Гудзий), „Бахчисарайского Фонтана“, „Цыганов“ (редактор обоих произведений Г. О. Винокур) и отрывка из „Вадима“ (редактор Н. В. Измайлов) — то их текст не представляет особых затруднений и не ставит перед редактором особенно сложных проблем. Все эти произведения печатаются, как обычно, по последним прижизненным изданиям, почти ничем не отличающимся от первых. Отдельные „спорные“ места имеются однако и здесь. Таков эпиграф к „Бахчисарайскому Фонтану“, интимные строки, пропускавшиеся Пушкиным в печати — в заключительной части „Бахчисарайского Фонтана и в эпилоге к „Цыганам“. Редакция IV тома считает, что чисто личные соображения, руководившие в данном случае Пушкиным, не могут служить мотивом к изъятию из основного текста поэм стихов, органически связанных, как это показывают рукописи с остальным текстом поэм. В особенности это нужно сказать о „Цыганах“: строки эпилога не только записаны на экземпляре, подаренном Пушкиным Вяземскому, но имеются также как в черновом, так и в беловом автографах поэмы, на что никто не обращал раньше внимания. Эпиграф к „Бахчисарайскому Фонтану“, по случайным причинам отпавший при четвертой прижизненной перепечатке поэмы, также признано необходимым оставить в основном тексте IV тома академического издания.

Основной текст „Вадима“ печатается по изданию „Стихотворений“, часть I, 1829 г., т. е. в него не включены 25 стихов, вошедшие в отрывок, напечатанный в „Памятнике отечественных муз на 1827 год“ и описывающие

¹ В рукописных заметках о своих поэмах Пушкин защищает эти стихи от нападок критиков, говоря, что они представляют собой лишь „смягченное подражание Ариосту“. Тем не менее при переиздании поэмы он предпочел исключить это место.

¹ А. С. Пушкин. „Гавриилиада, поэма. Редакция, примечания и комментарий Б. Томашевского“. П., 1922.

вещий сон героя. Сомнительность публикации альманаха и двукратное повторение Пушкиным текста без этого эпизода представляют достаточное основание для помещения этих 25 стихов в отделе „Других редакций“.

Ревизия рукописей перечисленных выше поэм (главным образом, беловых рукописей) заставляет вносить иной раз поправки в пунктуацию или в орфографию. Корректоры прижизненных пушкинских изданий (или редакторы, вроде Гнедича) нередко нивелировали особенности пушкинской пунктуации. Особенно отчетливо это видно в „Кавказском Пленнике“: сохранилась рукопись Пушкина, посланная им из Кишинева Гнедичу и, следовательно, бывшая единственным источником первого издания поэмы. Сравнение ее текста с печатным показывает ряд пунктуационных (и орфографических) несопадений, вызванных, очевидно, редакторской правкой Гнедича.¹ В виду этого редакторами академического издания было взято за правило, при разногласиях, в серьезных случаях, в знаках препинания между пушкинскими беловиком и печатным прижизненным текстом, — исправлять последний по рукописи.

Что касается до правописания, то, хотя текст академического издания печатается по новой орфографии, но в нем сохранены все особенности пушкинской орфографии, указывающие на особое произношение поэта (например, „верьхом“, „скрипеть“, „покаместь“, „жаркой“ и т. п.), а также имеющие не только чисто орфографический, но и грамматический смысл („в постеле“ — от слова „постеля“, а не „постель“ и т. д.). И в этом случае, если беловая рукопись Пушкина сохраняла такие особенности, нивелированные корректором в печатном издании, — академическое издание следовало рукописи. Таких случаев оказалось довольно много.

В результате, академическое издание дает текст поэм, не воспроизводящий механически тот или иной источник, а критически проверенный с учетом всех источников и всех обстоятельств, сопровождавших появление этого текста, такой текст, который должен

быть максимально соответствующим подлинным творческим намерениям Пушкина, с одной стороны, и историко-литературному значению данного произведения, с другой.

2

Наиболее интересным и новым в IV томе является второй отдел. Здесь помещены все текстовые материалы к ранним поэмам: варианты печатных изданий и беловых рукописей, планы и наброски планов, а также целиком все черновые рукописи поэм. Все эти текстовые материалы даны здесь с исчерпывающей полнотой, чем, между прочим, юбилейное издание отличается от всех предыдущих изданий сочинений Пушкина. Той же целью — дать полностью все черновые тексты Пушкина — задавалось и первое академическое издание, и в осуществление этого намерения во II томе этого издания многие десятки страниц заняты транскрипциями пушкинских черновигов, совершенно невразумительными, никак не комментированными, наполненными многочисленными „неразб.“ и избыточными неверными, искажающими смысл чтениями.¹ Однако, уже начиная с III тома первое академическое издание отказалось от приведения всех транскрипций черновигов, следующим образом мотивируя это в предисловии к III тому: „Признавая необходимым сохранить уже установленный ранее принцип исчерпывающей полноты академического издания, Пушкинская комиссия, в интересах ускорения печатания текста и примечаний, признала соответственным транскрипцию всех черновых рукописей поэта выделить в особые дополнительные томы, которые должны быть изданы впоследствии...“ Как известно, эти „дополнительные томы“ так и не выходили, о чем не приходится жалеть, так как транскрипции, подобные напечатанным во втором томе, никакой научной ценности не имеют. Сделанные со всей добросовестностью таким знатоком пушкинских рукописей, каким был В. Е. Якушкин, являющиеся результатом, несомненно, большой работы, — эти транскрипции, благодаря неправильному методу

¹ Во втором издании Пушкин многие из этих отступлений от рукописи отменил, — но не все, так как, видимо, правил текст прямо по печатному экземпляру, не сверяя со своей рукописью.

¹ В первом томе таких транскрипций не было, так как заключающиеся в нем лицейские стихи Пушкина, обычно, не имеют черновых рукописей.

их составления (точнее, отсутствию всякого научного метода), ничего не дают ни читателю, ни специалисту-текстологу.¹

Приведу для сравнения одно место из рукописи „Кавказского Пленника“ в том виде, как оно представлено во II томе старого академического издания и в IV томе нового. Я нарочно беру текст вполне разборчивый в рукописи. Все его слова (кроме одного)

совершенно правильно прочитаны В. Е. Якушкиным, нет ни одного „неразб.“, но благодаря тому, что текст передан транскрипцией, рабски повторяющей внешность рукописи, без всякого текстологического анализа, — невозможно понять ни отдельных слоев, из которых составлен текст, ни даже смысла его. Вот как представлено это место в старом академическом издании (т. II, примечания, стр. 384—385):

- Помчался
 межъ дикихъ горъ
 во весь опоръ
 (Несется) конь межъ * дикихъ * горъ *
 На крыльяхъ огненной отваги
 Все путь ему: (долина) (равнина) болота, боръ
 30 (Ручьи) кусты, утесы и овраги.
 33 Съдой потокъ (-ли) (ручей-ли) пердь¹ нимъ шумить
 (Огнемъ и дымомъ пышетъ онъ)
 (Стрѣлой) и (прямо) въ глубь (стрѣлой) несется
 (Чѣмъ далѣ, тѣмъ быстрѣй летитъ)²
 34 Онъ въ глубь кипящую
- л. 11.
- 31 Кровавый слѣдъ за нимъ (ложится) бѣжить
 (стонъ невнятный)
 (И гуль далекой) (раздается)
 32 (И тихой, тихой слышенъ стонъ)!...
 И гуль пустынный

* Зачеркнуто и восстановлено.

Взглянув на рукопись этого места, сразу можно увидеть, что настоящий текст заключает в себе два слоя: основной — чистый, ясным почерком написанный беловик и сверх него поправки и переделки, после ряда вариантов дающие новую редакцию. В приведенной транскрипции оба эти слоя обезличены, и работа Пушкина над текстом осталась непоказанной. В новом академическом издании эти оба слоя показаны отдельно. Сначала приведен основной беловой текст:

Несется конь меж диких гор
 На крыльях огненной отваги...
 Всё путь ему: долина, бор,
 Ручьи, утесы и овраги...
 Огнем и дымом пышет он,
 Чем дале, тем быстрее мчится,
 Кровавый след за ним ложится
 И тихой, тихой слышен стон!

Затем отдельно показан второй слой результат переработки этих стихов. Под строкой в сносках — промежуточные варианты в последовательности их появления.

Помчался конь меж диких гор¹
 На крыльях огненной отваги...
 Всё путь ему: болото,² бор,
 Кусты утесы и овраги...
 Седой поток пред ним шумит³
 Он в глубь кипящую несется⁴
 Кровавый след за ним бежит
 И шум пустынный⁵ раздается

¹ во весь опор

² равнина

³ а. Ручей ли перед ним шумит

б. Поток ли перед ним шумит

⁴ а. Стрелой прямо в глубь несется

б. Стрелой он прямо в глубь несется

⁵ а. И гуль далекой

б. И стон невнятный

¹ Подробно об этом сказано в статье „Неосуществленное послание к «Зеленой Лампе»“ („Временник Пушкинской комиссии“, I, стр. 33—52). Там же рассказано о том методе, который принят для чтения и воспроизведения чернового текста в юбилейном академическом издании.

Нечего и говорить, что в случаях более трудных, чем приведенный (а таких в руко-

¹ Описка: „предъ“

² Ошибочное чтение В. Е. Якушкина: у Пушкина „мчится“.

писях Пушкина несравненно больше, чем легких), — и метод чтения, применяемый в старом академическом издании, и транскрипции его еще более несостоятельны. Нынешние же методы дают возможность учесть и довести до читателя все мельчайшие детали текста черновика в их функциональных связях: не только прочесть и привести все написанные и зачеркнутые слова, но привести их в контексте работы Пушкина, как варианты данного стиха, части его или отдельного слова. Эта несколько схематичная система обозначения (последнее чтение черновика — в тексте, а все предыдущие — в сносках под строкой, под буквами в последовательности их написания) дает возможность полностью и в смысловом контексте передать всё написанное Пушкиным — и в известной мере показать непосредственно его работу над произведением. Полностью вся последовательность работы Пушкина этим способом все же показана быть не может прежде всего потому, что мы далеко не всегда можем быть вполне уверены, что точно знаем эту последовательность. В большинстве случаев она видна из анализа рукописи, но есть случаи, когда рукопись ничего не дает в этом смысле. Кроме того, в нашем способе подачи черновика текст дается, как правило, в последовательности самого произведения (от первых его строк к последним), между тем как иной раз (и нередко) пишется оно не подряд, а то, что ближе к концу, — раньше предыдущего и т. п. Всего этого не показывает отдел „Другие редакции и варианты“, да и установить все эти моменты писания вещи по виду рукописей часто бывает невозможно. Всё же, за приведенными исключениями, отдел тома „Другие редакции и варианты“ (дополненный соответствующими объяснениями в комментариях) дает достаточное представление о том, как возникал текст данного произведения.

Давая при воспроизведении черновика последнее его чтение („сводку“) вверху страницы, а предыдущие зачеркнутые варианты — под строкой в сносках к соответствующим словам и стихам сводки, — редакторы не стеснялись себя соблюдением во всех случаях одной и той же системы подачи вариантов. В зависимости от качества данного места в рукописи, большей или меньшей его сложности и т. п. — варианты отнесены то к одному слову:

Прощай,⁸ мой муж ревнив и зол
8 а. Беги б. Поди в. Ступай

то к целому стиху:

Цыганы шумною семьей¹
1 а. Цыганы вольною семьей
б. Цыганы вольною толпой
в. Цыганы шумною толпой

то к группе стихов:

Но вот на табор кочевой
Нисходит сонное молчанье⁴
4 Вм. ст. 10—11:
а. Но сон на табор кочевой
Нисходит — молчанье
б. Но вот на табор кочевой
Нисходит сон и с ним молчанье
в. Но сон на табор кочевой
Нисходит; сонное молчанье
В пустыне царствует

Иногда, в тех случаях, когда одно и то же место несколько раз и по-разному исправлялось Пушкиным, причем каждая „редакция“ данного куска имела свои „варианты“, — редакторы, чтобы не создавать слишком сложной и невразумительной системы сносок, давали эти „редакции“ тут же в основном тексте, одну вслед за другой, а варианты отдельных слов и стихов — в сносках. Так, например, вставной кусок из речи черкешенки во II песни „Кавказского Пленника“, написанный с сетью густых помарок на полях беловика поэмы, следующим образом представлен в академическом издании:

Первая редакция ст. 23—28.

Не страшен жребий мне готовый¹
Напрасно мой отец суровый
И гордый² <и> надменный³ брат
В чужой аул за много злата⁴
Давно продать меня хотят.
Я умолю отца и брата ●
Не то найду кинжал иль яд

Вторая редакция ст. 23—28.

Я знаю жребий мне готовый
Не страшен мне отец суровый
И гордый, своенравный⁵ брат
В чужой аул ценою злата
Они продать меня хотят
Я умолю отца и брата
Не то найду кинжал иль яд.

¹ Иду на всё душой готовой

² жадный

³ самовластный

⁴ Стих начат: В ау<л>

⁵ а. неприступный б. непреклонный

Конечно, и в новом издании отдельные слова черновики остались неразобранными, но их количество чрезвычайно мало и не идет в сравнение с количеством „неразб.“ в старом академическом издании.¹

Что касается до текстов беловых рукописей, а также разных печатных прижизненных изданий, то не имело смысла приводить эти тексты целиком, подобно черновикам, так как в большинстве случаев их текст отличается от окончательного, принятого за основной, лишь в отдельных местах небольшого объема: пропуск или вставка нескольких стихов, замена одного стиха другим и т. п. Эти различия и приведены в отделе „Других редакций и вариантов“, каждое отдельно, в виде вариантов к тому или иному стиху или группе стихов основного текста.

Таким образом, здесь впервые воспроизведен исчерпывающим образом весь сохранившийся текст включенных в том произведений Пушкина, — академическое издание в целом воспроизведет, следовательно, весь дошедший до нас текст Пушкина, и притом текст критически проработанный, перепарированный для читателя, осмысленный, с отнесением каждого его элемента на свое место.²

¹ В тексте черновика встречаются иногда отдельные буквы слов, которые Пушкин начал было писать, но тут же зачеркнул, встречается написанная часть слова. В тех случаях, когда из контекста ясно, какое это слово, в вариантах оно приводится целиком, (напр., „Стих начат: Сидят? <?>“ или „О(н) <?>“); если же смысла начатого слова неясен из контекста, то все же в вариантах приводится эта отдельная буква или начало слова, для того, во-первых, чтобы довести до сведения читателя, что в данном месте был у Пушкина какой-то вариант, и, во-вторых, в расчете на то, что более догадливому и остроумному читателю придет в голову правильная расшифровка данного начатого слова.

² Могут возникнуть сомнения в необходимости такой исчерпывающей полноты текстов на том основании, что исследователь-текстолог может не удовлетвориться приведенными в академическом издании расшифровками, а обратиться непосредственно к рукописям, широкому же читателю такое детальное воспроизведение черновики не нужно.

Эти сомнения мне представляются совершенно неосновательными. В наше время, когда внимание и интерес к Пушкину достигает такой небывалой прежде высоты, — подробная

В академическом юбилейном издании должен быть собран весь текстовый материал Пушкина, и на нем должна базироваться вся научно-исследовательская работа о произведениях Пушкина.

Перейду теперь к содержанию отдела „Других редакций и вариантов“ в IV томе академического издания Пушкина.

3

Черновики „Руслана и Людмилы“ сохранились далеко не вполне. Первая песнь отсутствует вовсе, за исключением двух-трех небольших набросков, остальные также полны пробелов. Текст черновики „Руслана и Людмилы“ после многих проб и переработок, в общем, близко подходит к окончательному тексту. Здесь главный интерес представляет не этот свободный текст, а помещаемые под строкой отброшенные Пушкиными варианты, показывающие ход его работы над текстом первой поэмы. Есть в черновиках „Руслана“ и небольшие куски (по несколько стихов), вовсе не вошедшие в окончательный текст и до сих пор не напечатанные в связанном виде. Приведу некоторые из них.

Резко отличается от печатного текста довольно любопытное вступление к V песне (в черновике она была IV):

Как я люблю мою княжну,
Мою прекрасную Людмилу.
В печалах сердца — тишину,
Невинной страсти огонь и силу,

демонстрация в академическом издании работы Пушкина над его произведениями не может быть чужда и неинтересна широкому читателю. Что касается до специалиста-литературоведа, то и для него, в случае обращения его к рукописям Пушкина, академическое издание будет совершенно необходимым пособием. Хорошо известно, какие трудности для чтения и расшифровки представляют собой перемаранные и исчерканные, написанные с массой описок и сокращений пушкинские рукописи. Только в результате большой работы специалистов-текстологов мы теперь начинаем вплотную знакомиться с содержанием этих рукописей. Ученый — не специалист-текстолог, обратившийся непосредственно к рукописям Пушкина, вряд ли найдет в них много больше того, что было найдено за все многие десятилетия изучения Пушкина, когда, несмотря на изобилие работ о произведениях Пушкина, оставались неизвестными находящиеся в черновиках Пушкина десятки черновых стихов.

Затеи, ветреность, покой,
 Улыбку сквозь немые слезы
 И с этим юности златой
 Все нежны прелести, все розы...
 Бог весть — увижу ль наконец
 Моей Людмилы образец —
 Но с нетерпением ожидаю
 Судьбою данной <?> мне княжны
 (Подруги милой, не жены,
 Жены я вовсе не желаю).
 [Но] вы, Людмилы наших [дней],
 Поверьте [совести моей],
 [Душой открытой] вам желаю
 Такого точно жениха,
 Какого здесь изображаю
 По воле рифмы и стиха.

Из более мелких отрывков, не включенных в окончательный текст „Руслана и Людмилы“, приведу место из сцены Руслана на старом поле битвы. После стихов

Ужель от вечной темноты
 Ужели нет и мне спасенья —

в черновике шло:

Ужель со мною в тишине
 Моих <побед> погибнут звуки,
 И не будут мне
 Завидовать младые внуки?
 Что нужды! друг души моей,
 Людмила, ангел незабвенный,
 Воспомнив взор твоих очей,
 Пускай умру, молвой забвенный,
 Твоей любовью блаженный.

Не вошел также в печатный текст набросок из шестой песни после стихов, звучащих в окончательном тексте следующим образом:

Идут походные телеги,
 Костры пылают на холмах.
 Беда: восстали печенег!

В черновике далее набросаны стихи:

Злосчастный град! Увы! Рыдай!
 Твой светлый опус(сгее)т край <?>
 Ты будешь бранная пустыня.
 Где грозный, пламенный Рогдай?
 И где Руслан? И где Добрыня?
 Кто князя-Солнце оживит?

Черновики „Кавказского Пленника“ дают гораздо больше нового материала, как в смысле новых неизвестных текстов Пушкина, так и в отношении работы Пушкина над стихом.

Крайне интересны здесь варианты, показывающие как упорно и настойчиво работал Пушкин над текстом поэмы, как он, много раз возвращаясь к одному и тому же месту, добивался всё большей точности и выразитель-

ности. Мы находим здесь по несколько десятков вариантов одного и того же стиха; приводить образцов я не буду — это заняло бы слишком много места. Приведу только куски нового текста, не вошедшие в окончательную редакцию и оставшиеся до сих пор погребенными в черновиках. Несколько стихов в начале первой песни:

Он раб. Усталою главой
 К земле чужой припал он снова
 [Как будто] [в ней] от скорби злой
 Искал приюта гробового.
 Не льются слезы из очей,
 В устах сомкнутых нет роптанья,
 В душе, рожденной для страстей,
 Стеснил он гордые <?> страданья <?>
 он видит лишь <?> одно:
 Погиб! мне рабство суждено.

Стихи в описании черкешенки:

Она томилась, тосковала,
 Задумчиво подруг бежала,
 [Не пела] песен круговых
 И на черкесов молодых
 С улыбкой глаз не подымала.

Два наброска к описанию черкесов:

1.

Оружья смерти путник ищет,
 Готовит грозному коню.
 Раздался выстрел — но свинец
 По воздуху жужжит и свищет —
 И дикой невредим.

2.

Черкес хватает лук <заветный>
 [Стрела] взвилась — и в(след за ней),
 Приют оставя незаметный,
 Убийца скачет средь полей.

Большой кусок текста Пушкин не включил в окончательный текст речи пленника. Этот кусок, над которым Пушкин много трудился и пробовал разные редакции его отдельных мест, мы даем в самой последней (впрочем, также не вполне доработанной) редакции. Он начинается с четверостишия, вошедшего в печатный текст:

Несчастный друг! зачем не прежде
 Явилась ты моим очам,
 В те дни как верил я надежде
 И упоительным мечтам?
 Но поздно, поздно, неба ярость
 Меня преследует, разит.
 Души <?> безвременная старость
 Во цвете лет меня мертвит.
 Вот скорбный след любви несчастной.
 Душевной бури след ужасный.

Во цвете невозвратных дней,
 Минутной бурною порою
 Утраченной весны моей,
 Плененный жизнью молодою,
 Не зная света и людей,
 Я верил счастью: в упоеньи
 Летели дни мои чердой (?),
 И сердце, полное мечтой,
 Дремало в милом заблуждении.
 Я наслаждался — блеск и шум
 Пленяли мой беспечный ум,
 Веселье чувства увлекало,
 Но сердце втайне тосковало (?)
 И чуждое младых пиров
 К иному счастью призывало.
 Услышал я неверный (звон) —
 Я полюбил — и сны младые
 Слетели с изумленных везд.
 С тех пор исчезли сны златые,
 С тех пор не ведаю надежд.¹
 О милый друг — когда б ты знала,
 Когда б ты видела черты
 [Неотразимой] (?) красоты —
 Когда б ты их воображала ...
 Но нет ... словам не передать (?)
 Красу души ее прелестной.
 О если б мог я рассказать (?)
 Ее (нрзб.) звук чудесный.
 Ты плачешь? но зачем об ней
 Тревожу я воспоминанья?
 Увы, тоска без упованья
 Осталась от (?) любви моей (?)

.....
 Как часто в тишине (нрзб.),
 Когда я негой упоенный
 Твое дыханье тихо пью,
 Из [мрака] лик ее выходит
 И тайную тоску наводит
 На [душу] мрачную мою.
 Она мне враг — [веселье], радость,
 Восторги, сладкий дар небес,
 Души пленительную младость —
 Любви всё в жертву я принес.

В „Гавриилиаде“ нет никаких „других редакций и вариантов“, исключая известного небольшого куска, сообщенного товарищем Пушкина Комовским („Вы помните ль то розовое поле“). „Варианты“ многочисленных списков поэмы, из которых редактор выбирал элементы подлинного пушкинского текста, не являются в сущности „вариантами“ в обычном смысле: они представляют собой заведомо не пушкинский текст (почему он и отвергнут

¹ Другой вариант вместо последних четырех стихов:

Безумец! Я любви желал —
 Другой не признавая власти —
 И скоро час ее настал.
 Я полюбил — мятежной страсти
 <Я> пламень [роковой] познал.

редактором). Поэтому этим „вариантам“ не место в отделе „Других редакций и вариантов“ (отведенном, так же как и основной отдел, пушкинским текстам). Они помещены в комментарий, в контекст статьи, обосновывающий выбранный редактором текст.

Черновики „Братьев разбойников“ (редакторы текста С. М. Бонди и Н. К. Гудзий) не дают каких-либо значительных кусков неизвестного до сих пор текста. Сохранившиеся черновики начала поэмы интересны тем, что в них несколько подробнее и резче, чем в печатном тексте, разрабатываются мотивы одиночества, отчуждения от среды и мотив социальной злобы будущих братьев разбойников.

Никто не утешал сирот
 Ни лаской ни хвалой приветной;
 Родясь для горя (и) забот,
 От колыбели перволетной
 К унынью привыкали мы

 Наскуча барскою сохой,
 Забыв ра оту [полевою].
 Пошли на стороне [чужой]
 Испытывать Судьбу иную ...

Черновая рукопись „Вадима“ не сохранилась. От нее остались лишь обрывки к. корешках вырванных листов в тетради ЛБ № 2366, до сих пор не обращавшие на себя внимание и впервые изученные для академического издания. Обрывки слов на корешках не дают целых вариантов, а частью не поддаются и расшифровке; поэтому они не введены в отдел вариантов и других редакций, а помещены и описаны в комментариях. Они показывают, что черновая рукопись содержала, по видимому, всё, что известно из текста „Вадима“, включая и выброшенное в позднейшей печатной редакции описание сна, и едва ли заключала продолжение текста, кроме известного в печати, — если же заключала то продолжение, о котором говорит А. Н. Муравьев в письме к М. П. Погодину („Литературное Наследство“, № 16—18, стр. 696), то оно было на других вырванных листах той же рукописи, существование которых устанавливается по числу листов в тетрадках, из которых сброшюрована рукопись, но от которых не осталось и корешков. Те же обрывки черновой рукописи дают основание и для датировки набросков „Вадима“ январем—февралем 1822 г., не позднее.

Черновики „Бахчисарайского Фонтана“ сохранились далеко не все. Отсутствует черновик большей части поэмы. Но и сохранившиеся в рукописях отрывки дают крайне любопытные варианты отдельных стихов (приводить их здесь я не буду). Укажу только три места, где новые варианты захватывают несколько стихов. Таков, во первых, вариант стихов 16—17; вм. печатного текста

Так бурны тучи отражает
Залива зыбкое стекло,

в черновике было:

Так моря зыбкое стекло
Рисует ночью бурны тучи
И берег темный и дремучий.

Затем варианты стихов 68—73 о внуче:

Его душа любви не просит;
Она мертва, он холодно несет
И слезы пленницы молодой,
И шутки шалости нескомной,
И смех черкешенки живой,
И тихий взор грузинки томной.

Наконец, не попавшее в печатный текст четверостишие после ст. 181—184 (описание Марии):

Природы милые дары
Она искусством украшала;
Она домашние пиры
Волшебной арфой оживляла —

В черновике здесь следовало:

Никто равняться с ней не мог,
Когда на играх Терпсихоры
Она полетом стройных ног
Невольно увлекала взоры.

Черновики „Цыганов“ сохранились почти полностью. Эти черновики представляют собою очень выразительное свидетельство упорной и сложной работы над текстом поэмы и довольно сильно отличаются от окончательного текста, хотя и не дают новых больших кусков текста, — если не считать давно известного монолога Алеко над колыбелью сына. Редактор „Цыганов“ Г. О. Винокур с большим искусством разложил сложную запутанную рукопись этого куска на отдельные слои и точно установил всю последовательность работы Пушкина над этим местом.

Приведем несколько новых текстовых отрывков из черновика „Цыганов“. В начале поэмы:

Пасутся кони в чистом поле,
Медведь-плясун перед шатром
Раскованный лежит на воле;
Проворный молот кузнеца
Гремя по наковальне скачет.
Собака лает; близ отца
Дитя во сне кричит и плачет.

Варианты стихов, описывающих старого цыгана, ожидающего Земфиру:

Уже пшено,
Бояр молдавских подаянье,
В сосуде старом сварено,
Но им не тронуту оно.

Вариант стихов 140—145 (об Алеко):

Но страсти [бурные] кипели,
Играли [темною] судьбой
И необузданны владели
Его посл(ушную) душой;
И вырывались иногда
Из уст его такие звуки,
Такой глубокий, чудный стон...

Последние три стиха, не вошедшие в окончательный текст „Цыганов“, Пушкин повторил в „Евгении Онегине“, в черновом варианте XVII строфы 2-й главы.

Интересны два варианта ст. 494—499, разрабатывающие сцену погребения Земфиры

Отец любовницы несчастной
Над милой дочерью стонал,
Цветами мертвую венчал.

или:

Младые девы чередой
В уста Земфиру целовали
И розами чело венчали

Упомяну о попытке разработки нового мотива в эпилоге к „Цыганам“:

Почто ж, безумец, между вами
В пустыне не остался я,
Почто за прежними мечтами
Меня влекла судьба моя?

Не буду приводить остальных вариантов такого же рода.

4.

Третью часть тома составляют комментарии. Описаны все источники текста (рукописные и печатные), приведены все нужные объяснения к текстам, данным в отделе „Других редакций“, даны мотивировки всех принятых редакторами новых и необычных чтений и т. д.

В комментариях выясняется происхождение и история создания произведений, входящих в том. Здесь сведены вместе и по новому освещены данные, добытые наукой до сих пор. Внимательное исследование дало возможность во многих случаях более детально, а иной раз и совершенно по новому раскрыть историю замысла и написания пушкинских поэм. Нет возможности привести в этой статье все „новости“, которые дает в этом отношении комментарий, укажу только на наиболее крупные. По новому представляется происхождение отрывка „Братьев-Разбойников“ (комментарий Н. К. Гудзия) и связь его с замыслом „Бахчисарайского Фонтана“ (комментарий Г. О. Винокура). История этих произведений такова: в 1821 г., после „Кавказского Пленника“ и „Гавриилиады“, Пушкин задумал новую поэму, с главными персонажами — разочарованным героем-злодеем и двумя женщинами; одну он любит — без взаимности, другая, наоборот, любит его. В конце концов обе гибнут.¹ Пушкин в то время колебался между двумя вариантами этой поэмы: сохранился в рукописи план поэмы с этим сюжетом, где герой — волжский разбойник, одна женщина — его любовница, другая — пленная дочь купца. Этот план относится приблизительно к середине 1821 г. К нему, очевидно, относится черновой отрывок, начинающийся стихом „На Волге в темноте ночной“. Тем же временем датируется начало работы над другим вариантом того же сюжета: это — поэма о крымском хане Гирее, Зареме и пленнице Марии. В этом варианте, по замыслу Пушкина, в поэму (повидимому именно к этой стадии замысла относилось первоначальное название „Бахчисарайского Фонтана“ — „Гарем“) включалось лирическое описание крымской природы и быта и воспоминания о его недавней крымской любви. Помимо всего этого и независимо от указанного сюжета, Пушкин в 1821 г. начал писать балладу или „молдавскую песню“ вроде „Черной Шали“ (и тем же размером), о братьях разбойниках (очевидно, сочетание впечатления о виденном им побеге двух разбойников в Екатеринославе с впечатлением от „Шильонского узника“ Бай-

рона). Написав несколько стихов этой баллады („Нас было два брата...“ и т. д.), Пушкин вздумал соединить два разбойничьих сюжета в одной поэме — и в план поэмы „Разбойники“ включил в качестве первого пункта содержание своей баллады: „1. Разбойники. История двух братьев. 2. Атаман, с ним дева...“ и т. д. Остановившись на русском разбойничьем варианте своей поэмы и, следовательно, отказавшись от сюжета „Гарема“, Пушкин начал в 1822 г. новую поэму о Крыме, куда должны были перейти его лирические тирады и описания. Сюжет этого нового замысла нам остался неизвестен, так как от всей поэмы сохранилось только заглавие — „Таврида“ — и несколько набросков лирического начала „Ты вновь со мною наслажденье...“ Неизвестно, много ли Пушкин написал из поэмы о разбойниках, но в конце концов, если верить его словам, он сжег написанное, кроме начала — истории двух братьев, которую и напечатал под заглавием „Братья Разбойники“. Романтический же сюжет прежних „Разбойников“ окончательно был закреплен за крымской поэмой, получившей в конце концов название „Бахчисарайский Фонтан“ и законченной в 1823 г.¹

В комментариях к „Бахчисарайскому Фонтану“ детально разобран и окончательно решен вопрос о происхождении и истории в композиции поэмы отрывка „Он кончен, верный мой рассказ, исполнил я друзей желанье“ (или в другом варианте: „Исполню я твое желанье — Начну обещанный рассказ“). Выяснилось, что эти стихи в беловом автографе поэмы непосредственно предшествовали теперешнему заключению: „Покинув север наконец“ и, таким образом, открывали собой лирическую концовку поэмы. Удалось установить также некоторые интересные детали в истории первого печатного издания поэмы (1824). Известно, что „Бахчисарайский Фонтан“ получил широкое распространение в списках еще до напечатания. Свидетельство Д. В. Дашкова („Русский Архив“, 1868, стб. 600) о том, что в том списке, по которому он знакомился с поэмой, палачи Заремы были

¹ Сюжет, отдаленно напоминающий байроновского „Корсара“.

¹ Ср. комментарии С. Бонди к „Братьям-Разбойникам“ в IV т. Соч. Пушкина изд. „Академия“ (1936).

названы „кызлярами“ (ошибка Пушкина — „кызляр“ по турецки значит „девушки“, — исправленная по инициативе Дашкова в издании 1824 г.), дало критерий для отличия прижизненных списков „Бахчисарайского Фонтана“, восходящих к автографу, от списков, восходящих к печатным изданиям. Сличение одного из списков первой категории с печатным изданием бросает некоторый свет на цензурную историю поэмы.¹

Важным пунктом комментария к „Бахчисарайскому Фонтану“ является раскрытие источника эпиграфа к поэме. Вопрос об источнике этого эпиграфа давно уже интриговал исследователей, но никто ни разу не занялся им вплотную, а обращение за помощью к востоковедам до сих пор не приводило к результатам. В более счастливом положении оказался редактор „Бахчисарайского Фонтана“ в академическом издании, обратившийся за помощью к переводчику Сади К. И. Чайкину. К. И. Чайкин нашел источник Пушкинского эпиграфа в поэме „Бустан“, где, между прочим, читаем (я буквальном переводе, сообщенном К. И. Чайкиным): „Я услышал, что благородный Джемшид над некоторым источником написал на одном камне: «Над этим источником отдыхало много людей подобных нам. Ушли, как будто мигнули очами, т. е. в мгновение ока»“. Судя по тому, что „источник“ подлинника в пушкинском эпиграфе превратился в „фонтан“, с уверенностью можно полагать, что это изречение стало Пушкину известно из французского перевода, так как по французски „la fontaine“ и значит „источник“, или же из такого русского перевода, который сделан с французского перевода, но не непосредственно с персидского оригинала.

Текст пушкинского эпиграфа в его первой части довольно точно передает соответствующее место „Бустана“. Что касается расхождения в тексте последних слов эпиграфа и „Бустана“, то, как объясняет К. И. Чайкин, расхождение получилось следующим образом: бе рэфтгэнд (букв. они ушли) соответствует „странствуют далече“, а чэшм бэр һэм эдэнд (букв. „мигнули оком“) понято было как «смежили глаза» (что вполне законно, ибо

такое значение в персидском имеется) и отсюда: „иных уж нет“.¹

В комментарии к „Цыганам“ удалось довольно точно хронологизировать отдельные этапы работы Пушкина над поэмой. Поэма была начата в середине января 1824 г. К моменту приезда в Михайловское, были набросаны начерно только две первые главы поэмы и кусочек третьей. В Михайловском Пушкин взялся за поэму только по окончании 3-й главы „Евгения Онегина“, т. е. после 2 октября, а к 10 октября вся поэма была не только закончена, но уже и отделана и переписана набело. Таким образом, история написания „Цыганов“ как бы предвосхищает историю исключительно быстрого написания „Полтавы“.

Историко-литературный комментарий ко всем поэмам, помещенным в IV томе, включает много свежих данных и в отношении собственно литературной истории первого цикла пушкинских поэм. Редакторы отдельных поэм ставили себе целью по возможности исчерпать вопрос о литературных материалах, служивших Пушкину для соответствующих произведений и посылить осветить вопрос о месте той или иной поэмы в общем ходе пушкинского творчества.

Несмотря на то, что комментарии к поэмам Пушкина делались несколькими редакторами, было приложено старание, чтобы не только не было фактических или методологических разногласий между отдельными частями комментария, но и к тому, чтобы читатель, читая подряд комментарии к отдельным поэмам, получил последовательную картину развития Пушкина, как автора поэм, от 1820 до 1824 г. Комментариям к отдельным произведениям предпослана статья общего редактора тома, в которой сведены и кратко резюмированы основные положения, касающиеся этой линии развития пушкинского творчества.

С. Бонди.

¹ См. Г. Винокур, „Крымская поэма Пушкина“, „Красная Новь“, 1936, № 3.

¹ Редакция академического издания пользуется случаем, чтобы засвидетельствовать свою признательность К. И. Чайкину, остроумно и талантливо разрешившему вопрос об источнике эпиграфа к „Бахчисарайскому Фонтану“.

НОВЫЕ КНИГИ О ПУШКИНЕ

Печать о Пушкине при его жизни

Группа московских литературоведов, под руководством М. А. Цявловского, подготавливает к печати полный свод всего, что было напечатано о Пушкине при его жизни. Подобной работы до настоящего времени не существовало. Сборник В. Зелинского „Русская критическая литература о Пушкине“, выдержавший три издания, совершенно не удовлетворяет современным научным требованиям, прежде всего уже потому, что в книгу введены были только более или менее значительные по размерам статьи. Но и эти последние печатались часто не полностью, с неоговоренными купюрами.

В книгу М. А. Цявловского входят: во-первых, критические статьи, рецензии, заметки и объявления о произведениях Пушкина; во-вторых, отзывы, характеристики, упоминания Пушкина или его произведений в статьях, посвященных не Пушкину; в третьих, стихотворения, посвященные Пушкину, эпиграммы, пародии его произведений, наконец, цитаты и эпитафии из его произведений. Таким образом, в книгу войдет решительно все, что было напечатано о Пушкине при его жизни, от строки в списке „имен подписавшихся особ“ на журнал „Российский Музеум“ 1815 года: „В Царском Селе Александр Сергеевич Пушкин“, до статей о Пушкине Н. Полевого и Белинского.

Весь материал располагается в строго хронологическом порядке, будучи разбит на два тома, объемом около 30 печ. листов каждый. Первый том, охватывающий период времени с 1814 по 1830 г., открывается заметкой в „Вестнике Европы“, в который Пушкин послал за подписью „Александр Н. к. ш. п.“ свое первое увидевшее свет стихотворение. В № 8 от 18 апреля редактор-издатель В. В. Измайлов писал: „Просим сочинителя присланной в «Вестник Европы» пьесы под названием «К другу стихотворцу», как всех других сочинителей, объявить нам свое имя, ибо мы поставили себе законом не печатать тех сочинений, которых авторы не сообщили нам своего имени и адреса. Но смеем уверить, что мы не употребим во зло право издателя

и не откроем тайны имени, когда автору угодно скрыть его от публики“.

Второй том (1831—1837 гг.) заключается некрологической заметкой А. А. Краевского, напечатанной в траурной рамке в № 5 „Литературных прибавлений к Русскому Инвалиду“ на 1837 г., за которую председатель Цензурного комитета М. А. Дондуков-Корсаков сделал ему строгий выговор: „К чему эта публикация о Пушкине? Что это за черная рамка вокруг известия о кончине человека не чиновного, не занимавшего никакого положения на государственной службе? Ну, да это еще куда бы ни шло! Но что за выражения! «Солнце поэзии!» Помилуйте, за что такая честь? «Пушкин скончался... в середине своего великого поприща!».. Какое это такое поприще?.. Разве Пушкин был полководец, военачальник, министр, государственный муж?.. Писать стихи не значит еще, как выразился Сергей Семенович «Уваров» проходить великое поприще“ („Русская Старина“, 1880, т. XXVIII, стр. 536).

„Солнце нашей поэзии закатилось, — писал Краевский. — Пушкин скончался, скончался во цвете лет, в середине своего великого поприща... Более говорить о сем не имеем силы, да и не нужно: всякое русское сердце знает всю цену этой невозвратимой потери и всякое русское сердце будет растерзано. Пушкин, наш поэт, наша радость, наша народная слава... Гужели в самом деле нет уже у нас Пушкина? К этой мысли нельзя привыкнуть. — 29-го января, 2 ч. 45 м. по полудни“.

В работе принимают участие: К. Н. Богаевская, А. В. Давыдова, Н. Б. Жарова, Т. Г. Зенгер, Л. А. Катанская, П. А. Попов, Н. А. Попова, О. А. Прево, А. А. Санина, А. Д. Улуханова, М. Н. Членов и А. Я. Шустикова. Книга выходит в издательстве „Academia“.

Новое издание статей В. Г. Белинского о Пушкине

К столетнему юбилею Пушкина в Гослитиздате под редакцией, и с примечаниями Н. И. Мордовченко выходит отдельное издание классических статей Белинского

о Пушкине 1843—1846 гг. Кроме них в книге объединены десять рецензий Белинского 1831—1841 гг.: („О «Борисе Годунове», сочинение А. Пушкина. Разговор“, М., 1831; „Повести, изданные А. Пушкиным“, СПб., 1834; „История Пугачевского бунта“, СПб., 1834; „Востолла или Желания“, СПб., 1836; „Стихотворения А. Пушкина“, ч. IV, СПб., 1835; „Несколько слов о «Современнике»“; „Вторая книжка „Современника““; „Литературная хроника“; „Сочинения А. Пушкина“, тт. I—III, СПб., 1838; „Сочинения А. Пушкина“, тт. IX—XI, СПб., 1841 а также два отрывка из обзоров „Русская литература в 1840 году“ и „Русская литература в 1841 году“). Важнейшие попутные высказывания Белинского о Пушкине в других его литературных обзорах, критических статьях, рецензиях и письмах использованы в комментариях, в которых разъяснены особенности подхода Белинского к творчеству Пушкина в связи с политической и философско-эстетической эволюцией великого критика, а также даны необходимые поправки к тем или иным утверждениям Белинского по части творческой истории и хронологии произведений Пушкина и его биографии. Тексты статей и рецензий Белинского, объединенные в книге, заново проверены по первопечатным текстам.

Во вступительной статье постановка проблемы Пушкина, данная Белинским, характеризуется в связи с историко-литературной концепцией великого критика, основными критериями которой Н. И. Мордовченко считает критерии „европейского“ и „национального“. „История русской литературы, — пишет автор, — строилась Белинским в соотношении с мировым историко-литературным процессом“. Отмечая далее, что историко-литературная концепция Белинского в ее становлении и в ее окончательном варианте испытала определяющее воздействие системы Гегеля, гегелевского-диалектического метода, Н. И. Мордовченко показывает, что категории „формы“ и „содержания“ в построениях Белинского были философско-историческими категориями, эквивалентными его критериям „европейского“ и „национального“. Все развитие русской литературы до-пушкинского периода, по Белинскому, есть диалектический процесс борьбы „европейских“ форм и „национально-самобыт-

ного“ содержания; этот процесс завершился в творчестве Пушкина. Знаменитые формулы Белинского, устанавливающие место Пушкина в истории русской литературы („его назначение было завоевать, усвоить навсегда русской земле поэзию, как искусство, так, чтоб русская поэзия имела потом возможность быть выражением всякого направления, всякого созерцания“ и т. д.), полностью и целиком приняты революционно-демократической критикой 60-х годов (Чернышевский, Добролюбов), как доказывает Н. И. Мордовченко, могут быть уяснены до конца только при учете всей историко-литературной концепции Белинского. Пушкин был создателем национальной формы и основоположником национальной литературы, Пушкин был *первым европейским поэтом русской национальности* — именно в этом суть постановки проблемы Пушкина у Белинского.

Белинский коренным образом расходился с мировоззрением Пушкина и критиковал его творчество в плане тех задач борьбы с крепостническим строем, которые стояли в центре всей деятельности революционера и демократа, „предшественника полного вытеснения дворян разночинцами в нашем освободительном движении“ (Ленин. Соч., т. XVII, стр. 341). Критические разборы величайших творческих достижений Пушкина („Евгений Онегин“, „Борис Годунов“), которые дал Белинский, были образцами эстетического и диалектического анализа художественных произведений, а в то же время и образцами партийно-политического их использования. Белинский критиковал Пушкина, но принимал творчество его целиком. В „объективном“ творчестве Пушкина, по Белинскому, были заключены истоки позднейшей „субъективной“ поэзии, поэзии, проникнутой „пафосом отрицания и борьбы“ (Гоголь, Лермонтов). Для Белинского, „как прежние писатели русские объясняли Пушкина, так Пушкин объяснял последовавших за ним писателей“. Те же критерии „европейского“ и „национального“, на которых была построена вся историко-литературная концепция Белинского, как устанавливает Н. И. Мордовченко, дают ключ и к уяснению особенностей его подхода к пушкинской прозе.

„Громадная ценность классических статей Белинского о Пушкине для нашего времени, —

пишет автор, — состоит в том, что, во-первых, проблема Пушкина была для Белинского центральной проблемой истории русской литературы и что, во-вторых, эта проблема была поставлена Белинским в соотношении с развитием мировой литературы. Всемирно-историческое значение победы социализма в нашей стране заново осветило и все ее прошлое. Мировое значение русской литературы, которое Белинский только предсказывал, сейчас бесспорно. Поэтому и новое, необходимое для строительства социалистической культуры, выяснение сущности пушкинского творчества должно искать на путях взаимоотношения истории русской литературы с общеевропейским историко-литературным процессом. Но именно по этим путям шел Белинский, в чем и заключается его величайшая заслуга, как критика и исследователя Пушкина“.

Основные положения статьи Н. И. Мордовченко использованы им в докладе на тему „Белинский и Пушкин“, прочитанном на заседании сессии Института Литературы и Ленинградского отделения Института Философии Академии Наук СССР, посвященной 125-летию со дня рождения Белинского и состоявшейся в Ленинграде 25—26 июня 1936 г.

Пушкин в воспоминаниях и рассказах современников

Ленгослитиздат выпускает книгу „Пушкин в воспоминаниях и рассказах современников“ под редакцией, со вступительной статьей и примечаниями С. Я. Гессена.

Мемуарная литература о Пушкине сравнительно очень небогата. Немногие высокоценные записки, дневники, воспоминания и рассказы о Пушкине буквально тонут в море апокрифических, откровенно лживых или попросту вздорных псевдомемуарных повествований. Таковы пресловутые „воспоминания“ Л. Н. Павлищева, племянника поэта, записки А. О. Смирновой, измышленные ее дочерью, воспоминания А. Грена, выдуманные им на основе мнимых материалов из архива поэта В. Г. Теплякова, и множество других. Таковы же, в большинстве своем, многочисленные воспоминания и рассказы о Пушкине, записывавшиеся в конце прошлого и начале этого века разными литераторами со слов кишинев-

ских, одесских, михайловских и иных „старожил“.

В задачу С. Я. Гессена входило собрать в своей книге наиболее ценные и достоверные воспоминания и рассказы о Пушкине, посвященные его творческой, политической или интимно-бытовой биографии. Таким образом, в книге объединены мемуары 28 друзей и знакомцев Пушкина, начиная с краткой и лапидарной записки брата поэта, посвященной детству и молодости Пушкина, и кончая запиской его домашнего врача, И. Т. Спасского, рассказавшего об его последних часах.

Материал расположен в хронологическом порядке, соответственно тому периоду жизни Пушкина, который стоит в центре воспоминаний каждого мемуариста. Упомянутая записка Л. С. Пушкина служит своего рода введением к истории первой половины жизни поэта, будучи доведена до возвращения его из ссылки. Лицейские годы Пушкина наиболее полно освещены в известных записках И. И. Пущина, дополнением к которым служат воспоминания другого лицеиста, С. Д. Комовского, проредактированные лицеистами же М. Л. Яковлевым, М. А. Корфом и А. А. Корниловым. Петербургским годам до высылки частично посвящены записки того же И. И. Пущина, фрагменты из записок друга Пушкина, С. А. Соболевского, и полностью воспоминания актрисы А. М. Каратыгиной, известного исторического романиста И. И. Лажечникова, и наконец, записка поэта-декабриста Ф. Н. Глинка, „Удаление А. С. Пушкина из Петербурга в 1820 году“. Любопытная страничка из воспоминаний доктора Е. П. Рудыковского связана с поездкой Пушкина на Кавказ с Раевскими. Наиболее богато представлены в мемуарной литературе кишиневские годы жизни поэта, которым посвящены воспоминания В. П. Горчакова, (А. Ф. Вельмана, Ф. Н. Лугинина, И. Д. Якушкина (Пушкин в Каменке), И. П. Липранди и Ф. Ф. Вигеля. Два последних мемуариста рассказывают также и о жизни Пушкина в Одессе. С годами, проведенными Пушкиным в ссылке в Михайловском, связаны рассказы его тригорских соседей М. И. Осиповой, Е. И. Фок и А. Н. Вульфа, записанные М. И. Семевским, а также воспоминания А. П. Керн, в значительной своей части, впрочем, посвященные

уже жизни Пушкина по возвращении из ссылки. Этот период его жизни наиболее ярко освещен в записках К. А. Полевого и рассказах С. П. Шевырева; ряд любопытных подробностей заключается в дневнике Вульфа и воспоминаниях поэта А. И. Подолинского. Записки декабриста М. И. Пущина и М. В. Юзефовича посвящены поездке Пушкина в действующую армию в 1829 г. В. И. Даль рассказывает о его поездке в Оренбург. Наконец, последним годам жизни Пушкина, дуэли и смерти его посвящены отчасти записки того же Даля, рассказы В. А. Нащокиной, жены одного из ближайших друзей поэта, воспоминания В. А. Соллогуба, рассказы К. К. Данзаса, лицейского товарища и секунданта Пушкина, и, наконец, упомянутая записка И. Т. Спасского.

Ограниченностью объема книги, да и характером самого материала обусловлена публикация некоторых воспоминаний (Лажечникова, Горчакова, Вельмана, Липранди) с сокращениями, за счет подробностей, не имеющих прямого отношения к Пушкину. Воспоминания о Пушкине Якушкина, Вигеля, Вульфа, Полевого и Соллогуба выделены из их мемуаров.

Особое место в книге занимают впервые собранные воедино воспоминания и рассказы П. А. Вяземского о Пушкине, рассеянные в его статьях, записных книжках, письмах и т. п.

Все тексты мемуаров, объединенных в книге, заново проверены по рукописям или первопечатным текстам. Отдельные припоминания о Пушкине тех же мемуаристов сведены в примечаниях, представляющих, в основе своей, реальный комментарий к публикуемым текстам.

Современники о дуэли и смерти Пушкина

Под таким заглавием Л. Б. Модзалевский и М. А. Цявловский готовят книгу, принятую к печати издательством „Academia“. В нее войдут: 1) письма и дневниковые записи современников Пушкина за 1837 год, отражающие непосредственное восприятие представителями разных классов русского общества того времени известия о дуэли и смерти Пуш-

кина, 2) отклики столичной и провинциальной печати на это [событие и 3) стихотворения и другие литературные произведения, написанные современниками Пушкина на его смерть. Издание будет носить документальный характер; входящие в него документы выверяются по подлинникам; некоторые документы будут опубликованы впервые. Весь материал в пределах каждой части книги располагается в хронологическом порядке и сопровождается краткими примечаниями, разъясняющими некоторые детали затрагиваемых в документах вопросов и исправляющими неточности сведений, даваемых авторами писем или записей в дневниках.

Особенно любопытны отклики лиц, далеко стоявших от центра развернувшихся событий: сведения о дуэли и смерти Пушкина в них носят иногда фантастический характер, так как основаны обычно на слухах; но отношение к Пушкину в них всегда выражено с исключительной отчетливостью.

Собранные впервые воедино все эти высказывания о Пушкине, начиная с писем и дневников очевидцев его смерти и кончая записями лиц, далеко стоявших от Пушкина и его друзей, производят совершенно исключительное впечатление, волнуя непосредственностью изложения. Вот почему составители книги не включили в нее позднейших записей современников Пушкина, носящих характер воспоминаний. В них, естественно, нет той непосредственности передачи мыслей и переживаний, которую мы находим в современных записях, так как всякие позднейшие припоминания, сделанные обычно в преклонном возрасте, приносят в них много неискренности и часто прямо искажают истину. Эти позднейшие высказывания современников используются составителями в необходимых случаях в примечаниях.

В книгу входит свыше 300 документов (писем, дневников, газетных статей и стихотворений); издание будет богато иллюстрировано снимками с портретов и документов; среди последних обращают на себя внимание два бюллетеня о состоянии здоровья Пушкина 28 и 29 января 1837 г., писанные рукою В. А. Жуковского; оба бюллетеня вывешивались для общего сведения в квартире Пушкина.

• ДИССЕРТАЦИЯ О „БРАТЬЯХ-РАЗБОЙНИКАХ“ ПУШКИНА

13 июня 1936 г. в Ленинградском Педагогическом институте имени А. И. Герцена состоялась защита кандидатской диссертации на тему „Братья-разбойники“ Пушкина“ аспирантом В. А. Закруткиным.

Поэма „Братья-разбойники“, отметил в своей речи В. А. Закруткин, не была до сих пор предметом специального исследования. Не были установлены причины уничтожения Пушкиным незаконченной поэмы, так же как не подвергались изучению ее генезис, стиль и социальные функции опубликованного отрывка. Исследователи „Братьев-разбойников“ до сих пор не шли дальше изучения самого текста поэмы и ее сопоставления с „восточными“ поэмами Байрона, ограничив эти сопоставления замкнутым кругом компаративистской проблематики. Между тем, осмысление „Братьев-разбойников“ невозможно без изучения истории развития „разбойничьих“ жанров в европейской и русской литературе, без учета конкретной исторической обстановки, определившей содержание поэмы, без учета разбойничьего фольклора крепостного крестьянства и выяснения степени его воздействия на поэму, без изучения стиля и социальных функций поэмы и определения ее места как на общем литературном фоне, так и в творчестве самого Пушкина.

Фигура разбойника по-разному изображалась в европейской литературе. С одной стороны, радикальная часть немецкого бюргерства (Гете и Шиллер эпохи Sturm und Drang, Клейст), французская мелкая буржуазия, еще не вытравившая из своей идеологии духа революции (Нодье, Руайе, Барбье, Кювелье), а также передовые представители английского дворянства, поднявшиеся до острой критики дворянско-буржуазной действительности (Байрон) — дали в своем творчестве художественный образ разбойника-борца, ненавидящего окружающий его „гнусный мир“, романтический образ отверженного законом изгнанника, противопоставившего себя „миру рабов“ и разбойниками водворяющего на земле „попранную справедливость“; с другой стороны, реакционная часть немецкого бюргерства (Цшюкке, Шписс, Крамер, Коцебу), напуганная революцией французская буржуазия (Пиго-Лебрен,

Дюкре-Дюминиль, М. ла-Рош) и английская аристократия (Уолпол, Радклиф, Льюис) — создали образ разбойника-злодея, залитого кровью своих жертв, преступника, попирающего „законы нравственности“. Кроме этих двух основных путей развития „разбойничьих жанров“, европейская мелкая буржуазия и ее поставщики культивировали бульварный роман „тайн и ужасов“, изобилующий сюжетными хитросплетениями, невероятными приключениями и фантастикой (Вульпиус, Марешаль, Бухгольц). В русской дворянской литературе XVIII и начала XIX вв. образ разбойника не получал художественного воплощения, так как считался „предметом, недостойным поэзии“. Представители „третьего сословия“ Чулков и М. Комаров создали оригинальные произведения о разбойниках, однако в пушкинской литературе распространен был только переводной „разбойничий роман“. Вместе с тем, как и в народном творчестве западноевропейских стран (легенды о Робин-Гуде, Симплиссимусе, Уленшпигеле), „разбойничья“ песня издавна получила широкое распространение в русском фольклоре крепостного крестьянства, создавшего образ разбойника-героя, заступника, мстителя за горе народное.

Исторической почвой „Братьев-разбойников“ В. А. Закруткин считает, прежде всего, „реальные черты новороссийской и бессарабской действительности.“ Новороссия и Бессарабия 20-х годов XIX в. были местами, куда, после их завоевания царским правительством, хлынули тысячи крепостных крестьян, бежавших от своих помещиков. На попытки правительства и помещиков частью закрепить беглых на новых местах, а частью вернуть к прежним владельцам, — крестьяне ответили как крупным восстанием в Екатеринославской губернии (свидетелем которого был Пушкин), так и многочисленными разбоями, терроризировавшими бессарабских помещиков десятки лет.

„Братья-разбойники“ задуманы были Пушкиным как большое произведение из быта волжских разбойников, получившего художественное воплощение во множестве крестьянских песен, сказок и легенд. Присматриваясь

к конкретным чертам, свойственным бессарабским разбойникам и их похождениям, Пушкин избрал героями своей поэмы крепостных крестьян, бежавших от помещика в „зеленую дуброву“. Благодаря этому Пушкин, впервые в русской литературе, затронул необычайную в то время тему большой социальной остроты, тему, которая обязывала его поставить вопрос о поэтическом языке, о возможности обогащения литературной речи лексикой, синтаксисом и поэтикой народного творчества, что и нашло свое место в „Братьях-разбойниках“.

Далее диссертант останавливается на связи замысла поэмы с политическими настроениями наиболее передовых представителей дворянства, примыкавших к декабристам. Сила международного ареопага реакции, задушившего революционные восстания в ряде стран, и, главное, ведущая роль русского самодержавия в организации подавления европейских революций, — привели к тому, что в настроении Пушкина появились колебания, отнюдь не выражавшие идеологического движения вспять, но породившие размышления о неподготовленности России к „великим событиям“, скепсис и сомнения в необходимости „мятежной“ поэзии. Летом 1823 г., одновременно с работой над притчей „Сеятель“, наиболее полно выразившей эти настроения, Пушкин сжигает незаконченную им поэму о разбойнике-крепостном, сохранив первую часть ее, отосланную в конце 1822 г. Н. И. Раевскому в Петербург.

Несмотря на общий романтический колорит, свойственный „южным“ поэмам Пушкина, и незначительные „байронические“ черты, поэма „Братья-разбойники“ несет в своем содержании и стиле первоначальные элементы пушкинского реализма. Положительное же отношение Пушкина к своему герою и черты социального протеста в действиях разбойника способствовали тому, что „Братья-разбойники“ сыграли большую роль в укреплении политического настроения декабристов, ставивших пушкинскую поэму в один ряд с наиболее острыми поэмами Рылеева. Сущность „Братьев-разбойников“ определила собой историю критического осмысления поэмы: если Рылеев, Бестужев, Белинский, Огарев, Чернышевский высоко оценили поэму именно за ее глубокий пафос борьбы, действенность и реалистические черты, то реакционная критика увидела

в пушкинском герое незаконно появившегося в литературе „земледедца, который режет встречного и поперечного“, „уголовного преступника“ и „злодея“.

„Братьями-разбойниками“ Пушкин открыл ряд прошедших сквозь все его творчество произведений, в которых образ разбойника-протестанта, мстителя за социальную неправду, то в виде крепостного, бежавшего с ножом в руках от барской сохи, то в виде дворянина, вооруженным разбоем протестующего против произвола, получил свое художественное воплощение.

Пушкинская поэма не была одинокой в русской литературе XIX века. Образ разбойника, выражавший протест против рабства, олицетворявший живое стремление к вольности, интересовал передовых дворянских писателей, связанных с декабризмом (А. Бестужев) и его традициями (ранний Языков, Лермонтов), представителей либерального дворянства, поднявшихся до высоты острой сатиры против крепостнической действительности (Нарежный) и революционеров-демократов (Некрасов). С другой стороны, представители „официальной народности“ создали свой тип „разбойничьих“ жанров; линия этих жанров, начатая Скобелевым, нашла свое завершение в „Разбойнике Чуркине“ Пастухова.

Таким образом, — закончил свою речь В. А. Закурткин, — „Братья-разбойники“, в общей цепи европейской и русской литературы, представляя собой выросшее на почве русской крепостнической действительности и направленное против этой действительности произведение, выражающее образ разбойника-крепостного, истари воспетого в крестьянских песнях; эти черты „Братьев-разбойников“ сближают поэму с соответствующими произведениями передовых европейских писателей, но эти же черты четко определяют глубокую оригинальность поэмы. Широкое бытование „Братьев-разбойников“ в крестьянском фольклоре исторически закономерно: крепостные крестьяне, взрастившие своими песнями пушкинского героя, тяготели к „Братьям-разбойникам“ именно потому, что поэма Пушкина с гениальной простотой выражала отдельные мотивы их собственных песен о разбойнике, мстителе за угнетениеч рабство.

Выступавший в качестве оппонента проф. Н. П. Андреев отметил, что В. А. Закурткин

широко и с большой эрудицией осветил генезис и значение поэмы „Братья-разбойники“. Не ограничиваясь опубликованным уже материалом, автор [привлек новые архивные данные о крестьянских восстаниях и разбойничестве в Новороссии, а также изучил историю создания поэмы. Отдельные главы диссертации (история Екатеринославского восстания, история текста поэмы и пр.) и отдельные положения диссертанта (утверждение связи поэмы Пушкина с реальными условиями, утверждение прогрессивного характера и значения поэмы) должны войти в оборот советского пушкиноведения как новое и ценное приобретение. На ряду с этим проф. Андреев отмечает и недостатки работы, являющиеся, по его мнению, результатом чрезмерного увлечения диссертанта своим материалом, что приводит к поспешным заключениям. Автор так широко берет тему и привлекает так много данных, хотя весьма интересных, но не всегда имеющих прямое отношение к „Братьям-разбойникам“, что самой поэме посвящено не более половины работы. Так, слишком общими и вряд ли необходимыми являются исторические сведения о разбойничестве на Руси, начиная с летописных известий, ибо к поэме Пушкина этот материал никакого отношения не имеет. Недостаточен, как полагает оппонент, и анализ самой поэмы, следствием чего является ряд отдельных спорных положений. В. А. Закруткин не подчеркивает в достаточной степени композиционную „пестроту“ поэмы, ее сложный характер; поэтому характе-

ристика его получается не всегда вполне убедительной. Соображения В. А. Закруткина о фольклорных элементах поэмы иногда оказываются натянутыми. Нельзя согласиться с диссертантом и в том, что Пушкин почти целиком „оформил свою поэму по фольклорным материалам“. Трудно серьезно думать, что упоминание „вокруг огней“ взято Пушкиным из песни „Уж как пал туман“ (кстати, песня эта — не разбойничья) или что „вспоила чуждая семья“ восходит к „вспоила-воскормила Волга-матушка“; нельзя в числе „фольклорных“ эпитетов и выражений приводить такие, как „юность удалая“, „поздняя дорога“, „завидная доля“, „грешная молитва“, слова „мертвец“, „подаяние“ и т. п., сравнения „как лист он трепетал“ и т. п. Однако, отмеченные недостатки отнюдь не перекрывают достоинств работы, отмеченных выше, характеризующих В. А. Закруткина, как сформировавшегося научного работника.

После выступления второго оппонента — проф. С. А. Адрианова, сделавшего ряд методологических и литературно-критических замечаний о работе диссертанта (спорность тезиса о демократизации стихового языка в „Братьях-разбойниках“, недооценка фактов отрицательного отношения Пушкина к героям этой поэмы в этическом плане и пр.), — председатель диспуты проф. В. А. Десницкий огласил постановление квалификационной комиссии: присвоить В. А. Закруткину ученую степень кандидата литературоведения.

ПУШКИНСКИЕ МЕСТА

Последняя квартира Пушкина

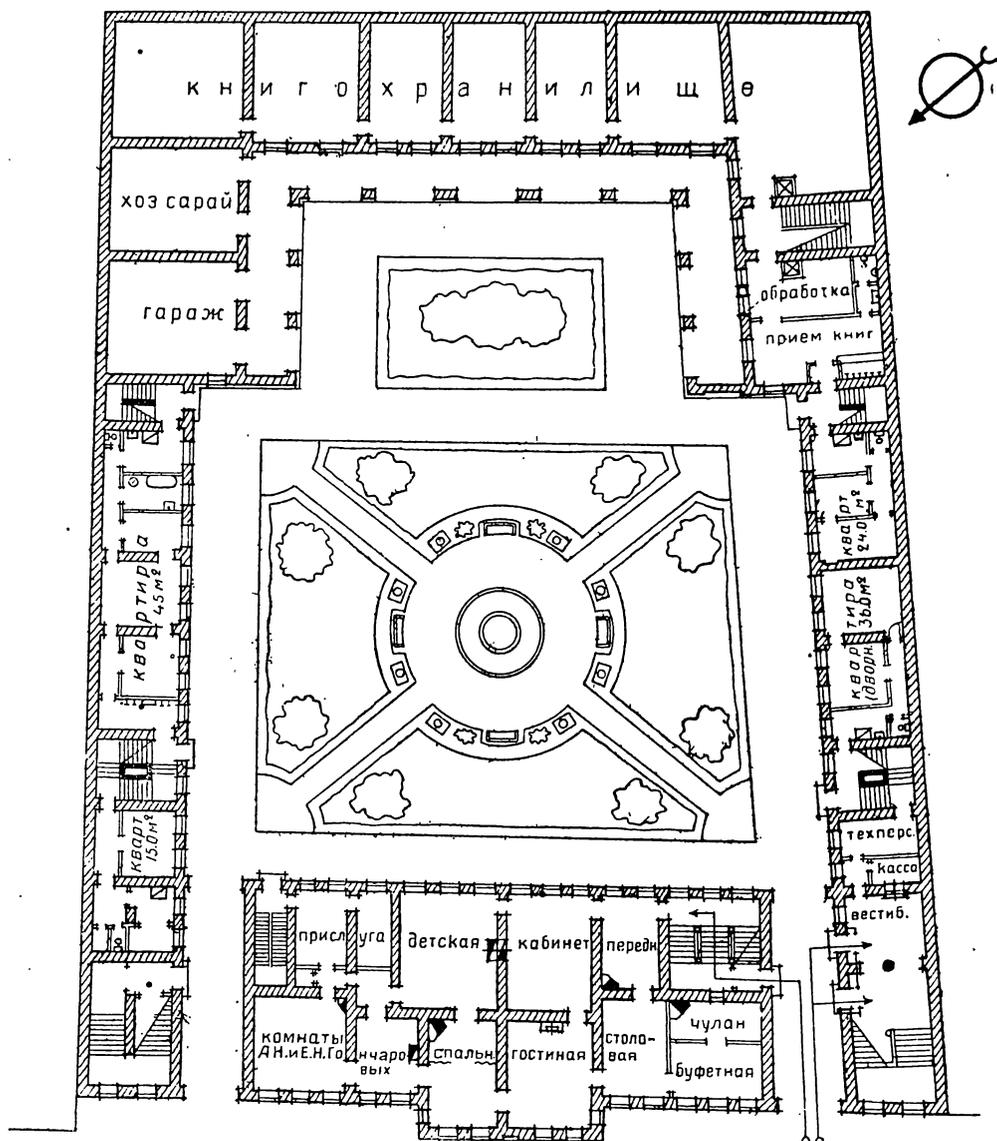
Осенью 1836 г. Пушкин переехал на новую квартиру в доме кн. С. Г. Волконской (ныне Мойка, 12). Точная дата переезда неизвестна. Возможно, что это было в сентябре, вскоре после заключения контракта на наем квартиры, составленного 1 сентября 1836 г.

На основании контракта устанавливается, что вновь нанятая квартира занимала в доме, состоящем „2-й Адмиралтейской части 1-го квартала под № 7 весь от одних ворот до других нижний этаж из одиннадцати комнат, состоящий со службами, как то: кухней и при

ней комнату в подвальном этаже, выйдя на двор, направо: конюшнею на шесть стойлов, сараем, сеновалом, местом в леднике и на чердаке и сухим для вин погребом; сверх того две комнаты и прачешную, взойдя на двор налево в подвальном этаже во втором проходе: сроком впредь на два года“.

Плата за квартиру была определена в 4300 руб. асс. в год с обязательством вносить ее „при наступлении каждых трех месяцев — впредь по тысячи семидесяти пяти рублей. бездомночно“.¹

¹ „Рукою Пушкина“, 1935, стр. 791—792.



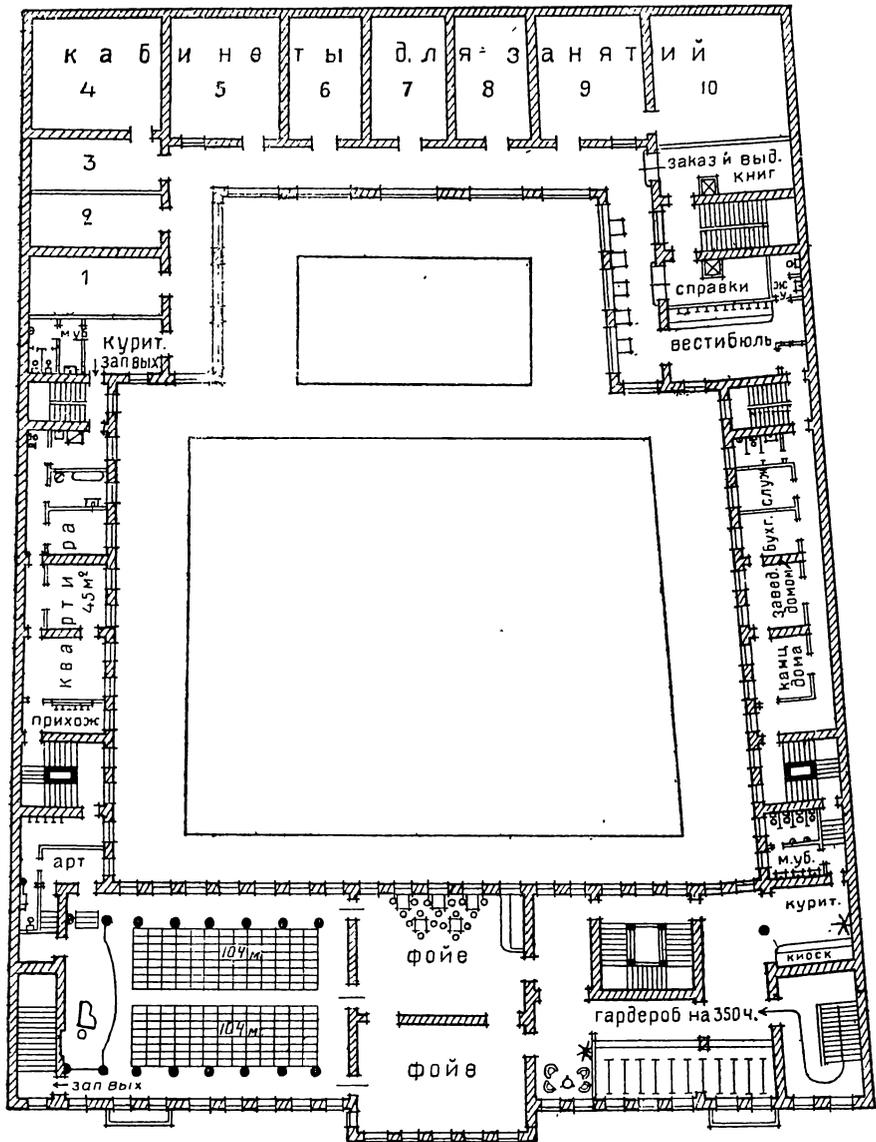
набережная р. Мойки

Проект реконструкции дома № 12 по Мойке в Ленинграде. План 1-го этажа.

Несмотря на значительное число комнат новая квартира была тесной для разросшейся семьи поэта. Надо учесть еще и то, что в это время у Пушкиных было больше 20 человек прислуги, и что одна из самых больших по площади комнат (с тремя окнами на Мойку) была занята буфетной и чуланом, с самостоятельным выходом из последнего на парадную

лестницу (этим ходом пользовались лица, приходившие осведомиться о здоровье раненого поэта, а когда он умер — проститься с его телом).

Недостатком квартиры являлось и почти полное отсутствие в ней непроходных комнат, и то, что большая часть стен была изрезана окнами и дверями.



Проект реконструкции дома № 12 по Мойке в Ленинграде. План 2-го этажа.

Об отделке последней квартиры Пушкина известно немного. „Полы во всех комнатах, порядочно потертые, были выкрашены красно-желтоватой краской“, вспоминал Н. В. Давыдов. Передняя была окрашена ярко желтой клеевой краской, а столовая и гостиная — бледно-голубой.¹

Отдельные моменты событий, связанные с дуэлью поэта, происходили в той части квартиры, центром которой является кабинет. На стоявший в кабинете диван был положен в 6 ч. вечера 27 января раненый Пушкин, на этом диване он умер 29 января.

Через $\frac{3}{4}$ часа после смерти поэта, „тело вынесли в ближайшую горницу, а я, — пишет В. А. Жуковский, — исполнил повеление государя императора, запечатал кабинет своею

¹ „Русская Старина“, 1887, № 4, стр. 161—164.

печатью". На другой день утром (30 января) тело было положено в гроб, поставленный посреди передней, головою к окнам. В полночь 31 января гроб вынесен был в церковь.

7 февраля, в девятый день после смерти поэта, в присутствии Жуковского и генерала Дубельта был распечатан кабинет, и все бумаги, письма и рукописные книги в двух сундуках перевезены на квартиру Жуковского. 16 февраля 1837 г. Н. Н. Пушкина уехала с семьей в Полотняный Завод, и квартира Пушкина осталась пустой, будучи предназначена для сына домовладелицы, князя Г. П. Волконского.

Дочь Пушкина, гр. Н. А. Меренберг, вспоминала в беседе с М. И. Семевским, что „в ней впоследствии жили мои знакомые, между прочим Демидова, и я в ней впоследствии бывала“. В августе 1874 г. в ней жил граф Клейнмихель, женатый на внучке Карамзина, княжне Мещерской. Еще позже квартиру занимала княгиня Кочубей, которая в день пятидесятилетия смерти поэта, боясь манифестаций перед окнами квартиры, обратилась за защитой к обер-полицеймейстеру. Список жильцов этой квартиры завершается С.-Петербургским Охранным отделением.

Только Октябрьская революция спасла этот крупнейший мемориальный памятник от полного забвения и разрушения: в октябре 1925 г. последняя квартира Пушкина передана была в ведение Пушкинского Дома Академии Наук. Но к этому времени она успела совершенно утратить свой прежний облик. В течение всего XIX столетия план квартиры, в основных чертах не изменился. Однако в 1910 г. была произведена перестройка дома по проекту инж. Гвоздецкого, причем квартира Пушкина была переделана до полной неузнаваемости. Старинная парадная лестница с колоннами, по которой выносили тело Пушкина, оказалась уничтоженной. Часть квартиры была отделена, взамен чего к ней присоединилась площадь, освободившаяся после уничтожения лестницы. Оставшаяся часть квартиры была перепланирована заново, место, где умер Пушкин, отошло под коридор, а часть передней, где стоял гроб,—под ванную и уборную.

В 1924 г. Пушкинский кружок Общества „Старый Петербург“ произвел работы по восстановлению части бывшей квартиры Пушкина. По указаниям арх. Н. Е. Лансере и

А. А. Платонова был восстановлен бывший кабинет поэта и упразднена ванная в передней. С переходом квартиры в ведение Пушкинского Дома в ней был организован памятный историко-литературный и бытовой музей тридцатых годов XIX века, посвященный Пушкину.¹ В декабре 1930 г. Музей был свернут, и часть квартиры использована в качестве жилого помещения. После реорганизации к началу 1934 г. Института Литературы (Пушкинского Дома) Академии Наук, Музей был вновь открыт 10 февраля 1934 г.¹

В декабре 1935 г. правление Пушкинского общества организовало архитектурную бригаду для исполнения ряда предварительных работ по восстановлению последней квартиры Пушкина и созданию Дома имени Пушкина. В бригаду вошли: художники-архитекторы Б. А. Альмединген, Ф. Г. Беренштам, Н. Е. Лансере, А. В. Модзалевский и С. С. Некрасов, а также техник С. П. Климов.

Перед бригадой встал чрезвычайно сложный и ответственный вопрос не только о восстановлении квартиры, но и о перепланировке всего дома. В виду важности и сложности этих вопросов создана была, по предложению Пушкинской комиссии, литературно-исследовательская бригада, которая под руководством Л. Б. Модзалевского и В. Ф. Широкого занялась подбором и систематизацией архивных и литературных материалов, необходимых для составления плана реставрационных работ.

В задачи архитектурной бригады входило восстановление последней квартиры Пушкина и создание эскизного проекта Дома имени Пушкина.

Работая над разрешением первой задачи, бригада составила три различных варианта, по которым может идти восстановление квартиры Пушкина.

По первому варианту, квартира восстанавливается в прежней планировке и должна служить для экспонирования всех документов и материалов, отражающих жизненный и творческий путь Пушкина, с добавлением к ним подлинных предметов, принадлежавших поэту.

¹ Подробно см.: „Последняя квартира Пушкина в ее прошлом и настоящем. 1837—1927“. Составили М. Д. Беляев и А. А. Платонов, Л., 1927 г.; М. Беляев. „Квартира, где умер Пушкин.“ Л. 1930 г.

По второму варианту, квартира восстанавливается как и в первом случае, но каждая комната отражает свое назначение и обставляется соответствующей мебелью и иконографическим материалом.

По третьему варианту, в задачу восстановления входит воссоздание тех бытовых условий, в которых проходили последние дни жизни Пушкина. При этом варианте допускается использование имитации предметов утерянных, но когда-то находившихся в квартире.

Необходимо отметить, что восстановление квартиры Пушкина по третьему варианту является наиболее сложной работой.

По вопросу о создании Дома имени Пушкина исполнен эскизный проект. Представляется возможным, кроме восстановления квартиры в ее первоначальном виде, устроить: лекторий на 300 человек с двухсветным залом; библиотеку с книгохранилищем в 387 кв. метров; кабинеты для историко-литературной работы площадью в 355 кв. метров; помещение для музея; ряд помещений для исследовательских кружков и организаций; необходимые помещения для обслуживающего персонала. Двор дома предполагается использовать для проведения массовой лекционной работы летом. К эскизному проекту была приложена ориентировочная смета, составленная, по укрупненным измерителям, на 1 027 000 рублей.

Выполнение этого широко задуманного проекта соединено с преодолением значительных трудностей. Для осуществления основной задачи — восстановления квартиры Пушкина в планировке 1837 г. — необходимо уничтожить существующую парадную лестницу, что вызывает ликвидацию квартир верхних этажей, освобождение которых от жильцов целесообразно также и в пожарном и санитарном отношении. Освобождающаяся площадь включается в общую площадь Дома имени Пушкина.

На месте существующей в настоящее время лестницы следовало бы восстановить комнаты сестер Гончаровых, прислуги и часть детской. Кроме того, необходимо восстановить прежнюю парадную лестницу на три этажа и застроенный в настоящее время второй дворовый проезд.

Для организации библиотеки и рабочих кабинетов предназначается дворовый флигель (так наз. конюшни Бирона), с восстановлением

ныне уничтоженной правой части галлерей, остеклением ее и проведением необходимых перепланировок.

Внутреннюю отделку здания предполагается выдержать в том стиле, в каком она была в начале XIX в. в полном соответствии с наружной архитектурой.

Б. Альмединген.

В. Широкий.

Пушкин и Москва

13 февраля 1936 г., под председательством М. А. Цявловского, состоялось первое заседание Пушкинской комиссии Московского Областного бюро краеведения, посвященное обсуждению плана работ по подготовке к пушкинскому юбилею. В заседании принял участие: Н. С. Ашукин, М. В. Нечкина, Г. А. Волков, Н. П. Чулков, Д. И. Шаховская, Г. А. и Г. Г. Пушкины и др.

М. А. Цявловский указал на необходимость научного изучения меморативных материалов о Пушкине; в этой области у нас почти ничего не сделано. Следует поработать над темой „Москва и Пушкин“. Места, связанные с пребыванием в них поэта, как в самой Москве, так и в Московской области (Захарово, Ярополец, Полотняные Заводы и др.) изучены крайне недостаточно, а многим грозит разрушение. В Баумановском районе, на месте, где стоял дом, в котором родился Пушкин, и которое предполагалось превратить в парк, строится громоздкое здание школы. Флигель дома на Собачьей площадке, где жил Пушкин у Соболевского, — под угрозой разрушения, равно как и Бутурлинский дом. В лучшем состоянии дом Вяземского в Чернышевском переулке, флигель которого вполне уцелел. Сохранился дом на Арбате № 53, в котором Пушкин поселился после женитьбы и который следует превратить в Пушкинский мемориальный музей. Но для осуществления этого плана нужно прежде выселить оттуда 85 человек жильцов и затем произвести капитальный ремонт. Необходимо учесть и могилы лиц, тесно связанных с именем Пушкина, пока они еще в поле зрения. Многие из них уже сейчас безнадежно затеряны, как например могилы А. И. Тургенева, дочери поэта и др.

В результате обсуждения собрание приняло следующий план научной работы:

1. Москва эпохи Пушкина.
2. Вопросы, связанные с пребыванием Пушкина в Москве и на территории нынешней Московской области:
 - а) Дома, в которых жил Пушкин.
 - б) Дома, в которых бывал Пушкин.
 - в) Отдельные местности, связанные с пребыванием в них Пушкина.
 - г) Московские друзья и знакомые Пушкина.
3. Москва в произведениях Пушкина.
4. Москва о Пушкине за сто лет.
5. Изучение материалов о юбилейных пушкинских днях в Москве, открытии памятника Пушкину на Страстном бульваре и т. д.

Квартира Пушкина в Москве

Из сохранившихся в Москве зданий, связанных с именем Пушкина, наибольший интерес представляет дом № 53 на Арбате, в котором поэт поселился после женитьбы. Это сравнительно небольшой каменный двухэтажный дом, выходящий фасадом на Арбат, с двумя флигелями во дворе, — одним старинным деревянным и выстроенным, вероятно, позднее каменным. История этого дома, вернее, владения, на котором впоследствии был выстроен дом, восходит к началу XVIII столетия. В 1831 г. дом принадлежал известной москвичке, вдове действительного статского советника, Анастасии Николаевне Хитрово или Хитровой, как звала ее вся Москва.

Квартира Пушкина была во втором этаже. Поэт снял ее 6 декабря 1830 г., незадолго перед женитьбой, заново отделал и обставил мебелью. Единственное краткое упоминание об обстановке квартиры Пушкина имеется в воспоминаниях кн. П. П. Вяземского, присутствовавшего мальчиком на свадьбе Пушкина: „По совершении брака в церкви, — пишет он, — я отправился вместе с Павлом Воиновичем Нащокиным на квартиру поэта для встречи новобрачных с образом. В щегольской, уютной гостиной Пушкина, оклеенной диковинными для меня обоями под лиловый бархат, с рельефными цветочками, я нашел на одной из полочек, устроенных по обоим бокам дивана, никогда мною не виданное и не слыханное собрание стихотворений Кириши Данилова. Былины эти, напечатанные в важном формате и

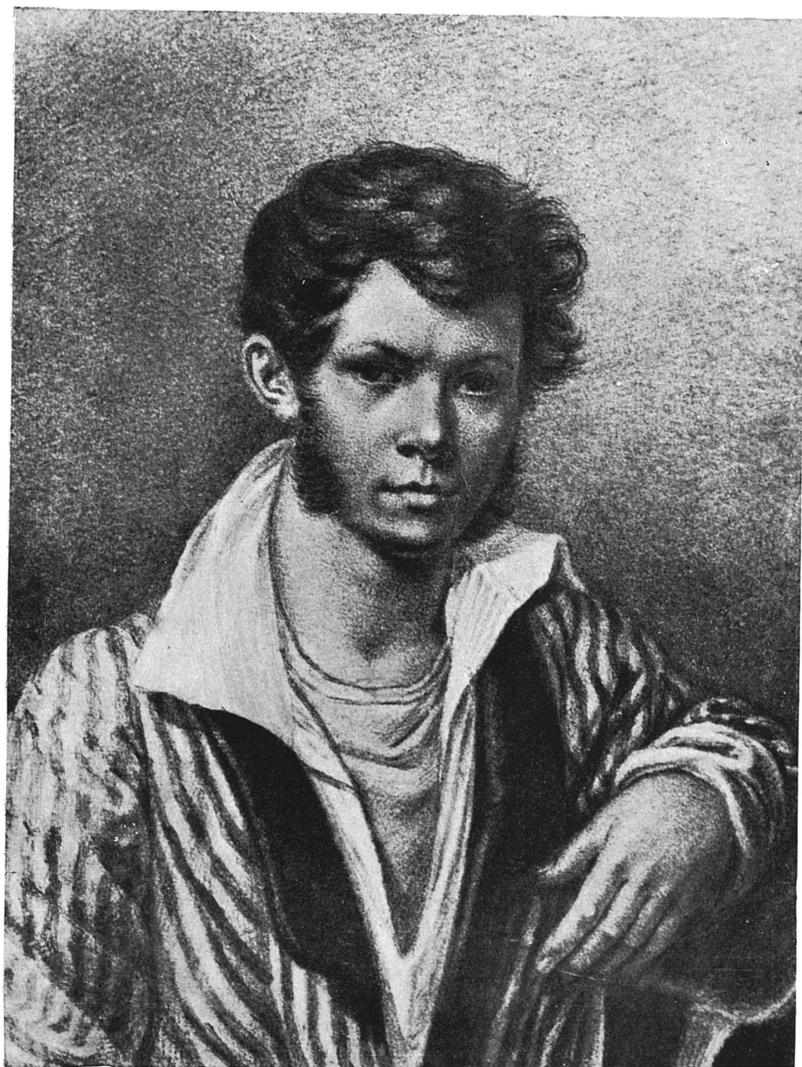
переданные на дивном языке, приковали мое внимание на весь вечер...“

Два другие свидетельства — весьма общего характера. Московский почт-директор А. Я. Булгаков, в письме к своему брату от 28 февраля 1831 г., писал: „Пушкин славный задал вчера бал. И он и она прекрасно угощали гостей своих. Она прелестна, и они как два голубка. Дай бог, чтобы всегда так продолжалось. Много все танцевали... Ужин был славный; всем казалось странным, что у Пушкина, который жил всё по трактирам, такое вдруг завелось хозяйство“. Поэт В. И. Туманский, проездом из Петербурга в Молдавию, посетил Пушкина на его московской квартире и следующим образом описывал свое впечатление от этого посещения: „В Москве провел я весьма приятно целые сутки. Пушкин радовался, как ребенок, моему приезду, оставил меня обедать у себя и чрезвычайно мило познакомил меня со своею пригожею женою. Не воображайте, однако ж, что это было что-нибудь необыкновенное. Пушкина — беленькая, чистенькая девочка с правильными чертами и лукавыми глазами, как у любой гризетки. Видно, что она неловка еще и неразвязна, а все-таки московщина отражается на ней довольно заметно. Что у нее нет вкуса, это было видно по безобразному ее наряду; что у нее нет ни опрятности, ни порядка — о том свидетельствовали запачканные салфетки и скатерть, и расстройство мебели и посуды“. (Письмо Туманского к кузине от 16 марта 1831 г.)

Вот все. Никаких других свидетельств о квартире поэта не сохранилось. Каково было расположение комнат, как они были отделаны, как обставлены, — ничего этого мы не знаем.

Женившись и поселившись в своей московской квартире, Пушкин, повидимому, рассчитывал прожить в Москве более продолжительное время, нежели ему это пришлось. Но нелады с тещей, Н. Н. Гончаровой, привели к тому, что он, прожив в квартире всего лишь три месяца, в середине мая 1831 г. уехал с женой в Петербург, а затем в Царское Село, поручив ликвидацию своей московской квартиры П. В. Нащокину. Из обстановки этой квартиры Пушкина не сохранилось ни одной вещи.

В связи со столетней годовщиной со дня смерти Пушкина Всесоюзный Пушкинский



П. А. Вяземский.
Портрет (карандаш и сепия) работы Иосифа Зонтаг (1821 г.).

комитет постановил устроить в Москве в доме, в котором была квартира Пушкина, Пушкинский музей.

Реставрационные работы по этому дому довольно сложны, так как и с внешней стороны и внутри он подвергался переделкам. Прежде всего будет восстановлен внешний вид дома, каким он был в 1831 г. Сделать это нелегко, так как никаких планов или зарисовок не сохранилось. Все архитекторы, осматривавшие этот дом, сходятся на том, что дом был в ампирином стиле, который и надлежит восстановить. Для восстановления симметрии внешнего вида дома с левой стороны будет снесена пристройка и восстановлены ворота и калитка. Будет сооружена и колоннада, если исследование фундамента установит, что в 30-е годы такая колоннада действительно существовала.

Несравненно более трудная задача, в виду отсутствия каких бы то ни было данных,—произвести реставрацию внутреннего вида квартиры Пушкина, привести ее в тот вид, который она имела при жизни в ней поэта. Заранее можно сказать, что полное восстановление квартиры неосуществимо. Однако реставрация с предельным приближением ее к стилю 30-х годов возможна.

В бывшей квартире поэта предполагается организовать музей, в котором на фоне материалов эпохи будет развернута экспозиция на тему „Жизнь и творчество Пушкина“, с показом ряда подтем: „Пушкин и декабрьское движение“, „Пушкин и Николай I“, „Как работал Пушкин“, „Пушкин и Москва“ и др.

Так как пушкинской мебели, бывшей в его квартире, не сохранилось, комнаты будут обставлены мебелью тридцатых годов. Несомненно, в экспозиции следует показывать и подлинные пушкинские вещи, находящиеся в Ленинской библиотеке, куда они поступили из Остафьева, и которые в настоящее время для обозрения недоступны. Среди этих реликвий—письменный стол Пушкина, подаренный Натальей Николаевной после смерти поэта П. А. Вяземскому, палка Пушкина с пуговицей Петра I, жилет, который был на поэте во время его дуэли с Дантесом, так называемый „Пушкинский кабинет“ из Остафьева, портрет В. А. Жуковского с надписью Пушкину: „Победителю-ученику от любезного учителя в тот высокотогоре-

ственный день, когда он закончил «Руслана и Людмилу», картина Козлова „Пушкин в гробу“.

Для устраиваемой Всесоюзной Пушкинской выставки в Москве в настоящее время приобретаются разные пушкинские материалы: портреты, иллюстрации к произведениям Пушкина, архивные документы, книги, предметы быта и т. д. По закрытии выставки и возвращении материалов, взятых частных лиц и государственных учреждений, останется значительная часть материалов, приобретенных специально для выставки, которые и должны найти себе место в Пушкинском музее. Эти материалы, будучи объединены с пушкинскими вещами Ленинской библиотеки и пушкинскими материалами, собранными Литературным музеем, составят значительный фонд экспонатов как по количеству, так и по качеству, для устройства экспозиции Музея имени Пушкина.

В нижнем этаже дома предполагается устроить специальную Пушкинскую библиотеку-читальню и кабинет по изучению творчества Пушкина. В библиотеке будут собраны по возможности все издания сочинений Пушкина на русском и иностранных языках и на языках народов СССР, сочинения писателей, оказавших влияние на Пушкина, книги, составлявшие его библиотеку, сочинения писателей, которых Пушкин цитировал, упоминал или рецензировал, сочинения писателей-современников поэта, периодические издания эпохи Пушкина, по возможности вся пушкиниана.

В кабинете по изучению Пушкина должны быть сконцентрированы фотографические снимки со всех рукописей Пушкина, различные справочные каталоги и картотеки: картотека словаря Пушкина, картотека канвы жизни и творчества Пушкина, путеводитель по Пушкину, справочная картотека о всех знаковых и современниках поэта.

Г. Волков.

Новооткрытые могилы Пушкиных

На кладбище колхоза „Красная Береза“ (б. „Крекшина Береза“) Порховского района, Псковского округа, в 1935 г. мной открыты могилы трех родственников Пушкина, расположенные на небольшом расстоянии одна от другой у входа в церковь. Надписи на

двух могильных плитах хорошо сохранились: 1) „Сей камень покрывает прах в бозе покоящегося господина поручика Никиту Богдановича Пушкина, которой родился в 1743-ем году в службу вступил с 759-го года служил лейб гвардии в Семеновском полку до 769-го года волею божиею помре сего 1803 года августа 9-го дня пополудни во 2-ом часу женат был на дворянской дочери Варваре Федоровой“. 2) „Сей камень покрывает прах в бозе покоящейся госпожи поручицы Варвары Фаддеевны жены Пушкиной из рода Абрамовых родившейся в 742 году в супружество вступившей 758 г. и скончавшейся 797 года июня 24 дня всей жизни ее 54 года и 7 месяцев“.¹

В местном сельсовете, куда были переданы все старые метрические записи, сохранились книги лишь с 1870 г., а остальные были уничтожены за ненадобностью. Но в покойничкой при церкви мною были обнаружены старинные инвентарные описи церковной утвари, переписка помещиков с причтом и росписи начала XIX в. В этих последних по селу Студенец, принадлежавшему Н. Б. Пушкину, за

1804 г. имеются следующие сведения: „103. Военные-домашние. Сельцо Студенец. Помещик Иван Яковлев Осокин 37 л. жена его Любовь Никитина 26 л. дети их Александр 5 л. Варвара 3 л. тетка ее Митрофанова“. За 1808 г.: „Сельцо Студенец. Второго ранга капитан Иван Яковлевич Осокин 42 л. ж. его Любовь Никитишна 31 г. дети Александр 9 л. Петр 3 л. Варвара 8 л. тетка их Матрена Митрофанова 65 л.“. Этим объясняется соседство с могилами Пушкиных трех могил Осокиных, в том числе „жены капитана 2-го ранга Любви Никитишны Осокиной, из рода Пушкина“. Надпись на плите не поддается разбору, но внизу ее ясно читается: „и сына ее капитана Александра Никитича Ронова“, из чего следует, что по первому браку Любовь Никитишна Пушкина носила фамилию Ронова.

Даты женитьбы и смерти Н. Б. Пушкина, а также все сведения о его жене и дочери дополняют материалы по генеалогии рода Пушкиных, собранные в книге Б. Л. Модзалевского и М. В. Муравьева „Пушкины. Родословная роспись“.

А. Слюсарев.

НОВИНКИ ИКОНОГРАФИИ

Незаданный портрет П. А. Вяземского

В марте 1817 г. П. А. Вяземский, прикомандированный к канцелярии императорского комиссара в Польшу Н. Н. Новосильцева, прибыл в Варшаву. Незадолго перед отъездом из Москвы он написал свое „Прощание с халатом“, предвидя официальный и светский образ жизни, который ему предстоит вести в Варшаве. Однако, несмотря на служебные обязанности, на официальные обеды и вечера в „золотом хомуте“, как он называл свой мундир, Вяземский все-таки находил время для литературного творчества, о чем символически замечал в письме к А. И. Тургеневу от 22 июля 1817 г.: „Мы с халатом живем еще по-братски“.

Об этом же свидетельствует впервые воспроизводимый (см. за стр. 480) портрет Вязем-

ского, относящийся к его варшавской жизни, несколько лет тому назад поступивший из музея усадьбы Остафьево в Московский Исторический музей. Вяземский на нем изображен в халате, именно в том наряде, в котором он обычно „принимал музу“. Портрет (подписной) датирован 1821 годом и исполнен дрезденским художником Иосифом Зонтаг.¹ Рисунок смелый и уверенный. Удачное сочетание сепии с итальянским карандашом придает портрету кроме благородства тонов приятную бархатистость. Это один из редких портретов среди довольно богатой иконографии Вяземского, на котором он изображен без очков, хотя он ими в то время уже пользовался.² Именно вслед-

¹ Иосиф Зонтаг (Sontag) род. в 1785 г. в Дрездене, ум. в 1834 г. в Кракове. Приблизительно с 1806 г. жил в Варшаве, откуда ок. 1825 г. переехал в Краков. Размер портрета 23×19 см.

² На портрете раб. Рейхеля 1817 г. Вяземский также изображен без очков, но на карикатуре раб. Батюшкова 1816 г. он уже в очках.

¹ В первой надписи отчество жены Н. Б. Пушкина перепутано, должно быть по ошибке мастера. (См.: В. Л. Модзалевский и М. В. Муравьев. „Пушкины. Родословная роспись“. Л., 1932, стр. 49—50.)

стве прекрасного исполнения и интимного характера портрета, он, повидимому, остался у самого Вяземского, как память о его пребывании в Варшаве, и хранился в его родовом имении Остафьево.

Неизвестный портрет Дантеса.

Известны два портрета молодого Дантеса: парадный портрет, в кавалергардской форме, в кирасе, с завитой шевелюрой (обычно помещающийся во всех иллюстрированных изданиях сочинений Пушкина) и второй, менее популярный портрет работы Райта, хранящийся в Пушкинском Доме.

Существует еще одно изображение Дантеса, относящееся ко времени пребывания его в Петербурге. Это публикуемый здесь впервые портрет, находящийся в московском Гос. Историческом музее и поступивший туда из бывш. музея Щукина. Акварельный набросок сделан на листе из альбома, разм. 22×16 см. Бумага с золотым обрешом и с водяным знаком „Ватман 1829 г.“. Это не официальный, а скорее домашний портрет: Дантес изображен в форменном сюртуке, в скромной прическе. Волосы, брови и усы патеновые с рыжеватым оттенком, губы и щеки — подчеркнута алые, глаза — василькового цвета. Автором этого довольно дилетантски исполненного рисунка является, по всей вероятности, один из полковых товарищей Дантеса. В левом верхнем углу изобра-

жения надпись карандашом: „Барон Эжер Дантес“.

Портрет не мог быть написан раньше



конца января — начала февраля 1834 г., когда Дантес, принятый в гвардию, получил право носить русскую форму. Если же, как это очень вероятно, карандашная надпись сделана одновременно с самим портретом, то последний должен был быть написан после того как 4 мая 1836 г. Дантес получил разрешение принять фамилию усыновившего его бар. Геккерена.

А. Л. Вейнберг.

ПУШКИНИАНА

Январь—июнь 1936 г.

I. ТЕКСТЫ ПУШКИНА

а. Новые издания сочинений

Сочинения. Редакция, биографический очерк и примечания Б. Томашевского. Вступительная статья В. Десницкого. Гос. Изд-во „Худ. Литература“. Л., [1936] 1935, стр. LXII + 975, тираж 50 тыс. + 10 300.

В. Д е с н и ц к и й. Пушкин и мы. III. — Б. Т о м а ш е в с к и й. Пушкин. XXV. — Стихотворные произведения. 3. — Художественная проза. 465. — Статьи. 659. — Примечания. 917.

Рец. и заметки:

1. „Новый Пушкинский одотомник. Беседа с Б. В. Томашевским. „Лит. Ленинград“, 14 I. № 3.
2. „Лит. Газета“, 15 I.
3. „Лит. Ленинград“, 14 III. № 13.
4. А. В. „Веч. Красн. Газета“, 25 III. № 69.
5. Жданов, В. Массовые издания Пушкина. „Правда“, Ц. О., 3 IV.
6. Оксенов, Инн. Пушкинский одотомник. „Смена“, 22 V.
7. Сергиевский, И. Новые издания Пушкина. „Книга и Пролет. Революция“, № 4, стр. 15—20.
8. Яковлев, С. Одотомник Пушкина. „Лит. Обзорение“, № 8, стр. 27—29.
9. Локс, К. Пушкинский одотомник. „Лит. Газета“, 5 VII. № 38.
10. Сергиевский, И. „Лит. Критик“, № 7, стр. 187—192.
11. Шкловский, В. Закомментированные, (По поводу примечаний к оде „Вольность“ и „Памятнику“.) „Правда“, Ц. О., 23 IX.
12. Аронсон, М., Измайлов, Н., Бялый, Г. Оксман, Ю. Г. „Пушкин. Временник“, II, стр. 401—414.

Полное собрание сочинений в девяти томах. Под общей редакцией Ю. Г. Оксмана и М. А. Цявловского. Изд-во „Academia“.

Том I. Стихотворения 1814—1820 гг. Подготовка текста стихотворений М. А. Цявловского. Комментарии под редак-

цией Ю. Г. Оксмана и М. А. Цявловского. [1936]. 1935, стр. 504, тираж 20 300 экз.

Том III. Стихотворения и сказки. Подготовка текста стихотворений М. А. Цявловского. Комментарии под редакцией Ю. Г. Оксмана и М. А. Цявловского. Подготовка текста сказок и комментариев М. К. Азадовского. [1936] 1935, стр. 563, тираж 20 300 экз.

Том IV. Поэмы. Подготовка текста и комментарии С. М. Бонди. [1936] 1935, стр. 560, тираж 20 300 экз.

Полное собрание сочинений в шести томах. Издание третье под общей редакцией С. М. Бонди, И. К. Луппола, Ю. Г. Оксмана, Б. В. Томашевского и М. А. Цявловского. Гос. Изд-во „Худ. Литературы“.

Том IV. Повести. Редакция Ю. Г. Оксмана. Путешествие в Арзрум. Редакция Ю. Н. Тынянова. Стр. 610, тираж 30 тыс.

Рец.: С е р г и е в с к и й, И. Новые издания Пушкина. „Книга и Пролет. Революция“, № 4, стр. 15—20.

Драмы. Редакция, предисловие и примечания А. Языкова. Гослитиздат, стр. 234. Тираж 100 тыс.

Дубровский. Редакция и примечания Д. Д. Благого. М., Гослитиздат, стр. 96, тираж 150 тыс.

Дубровский [сокращенный текст]. Предисловие Г. Бешкина. Курск. Изд. газ. „Курская Правда“, стр. 30, тираж 20 150.

Евгений Онегин. Роман в стихах. Редактор текста Б. В. Томашевский. Рисунки Вл. Кошачевича. М., Гослитиздат, стр. 306, тираж 30 тыс.

Избранная лирика. Редакция, примечания и вступ. статья Д. Д. Благого. М., Гослитиздат, стр. 388, [Допечатка] тираж 400 тыс.

Рец.: С т е п а н о в, Н. „Пушкин. Временник“, II, стр. 429—431.

Избранная проза. Редакция, примечания и вступ. статья Д. Д. Благого. 2-е издание. М., Гослитиздат, стр. 440, тираж 50 тыс.

- Рец.:* 1. Жданов, В. Массовые издания Пушкина. „Правда“ Ц. О., 3 IV.
2. Сергиевский, И. Новые издания Пушкина. „Книга и Пролет. Революция“, № 4, стр. 15—20.
3. Штрайх, С. Массовые издания Пушкина. „Лит. Обозрение“, № 2, стр. 37—38.
- Избранные стихотворения.** Вступит. статья М. Юнович. М. Гослитиздат, стр. 58, тираж 100 тыс.
Рец.: „Лит. Ленинград“, 8 I. № 2.
- Кавказский Пленник.** Предисловие и примечания Н. П. Андреева. Л., Гослитиздат, стр. 47, тираж 150 тыс.
- Капитанская Дочка.** Повесть. Редактор Д. Л. Газер. Воронежск. Обл. Изд-во, стр. 158, тираж 15 175.
- Метель. Станционный Смотритель.** Предисловие и примечания Н. А. Коварского. Л., Гослитиздат, стр. 89, тираж 150 тыс.
- Пиковая Дама.** Редакция и примечания Д. Д. Благого. М., Гослитиздат, стр. 40, тираж 50 тыс.
- Повести покойного Ивана Петровича Белкина.** Редакция, примечания и вступ. статья Д. Д. Благого. М., Гослитиздат, стр. 96, тираж 150 тыс.
- Поэмы.** Редакция, вступ. статья и примечания С. Н. Швердина. М., Гослитиздат, стр. 339, тираж 400 тыс.
Рец.: 1. Капа. „Отточенное мастерство“. „Красн. Газета“, 10 VI.
2. Голицына, В. Спасибо Гослитиздату! „Правда“, Ц. О., 1 VII.
- Сказка о попе и о работнике его Балде.** Рисунки А. Каневского. (Для младшего возраста. Серия „Книга за книгой“). М., Детиздат, стр. 16, тираж 100 тыс.
- Сказка о рыбаке и рыбке.** Рисунки Вл. Кошачевича. (Для младшего возраста. Серия „Книга за книгой“). М., Детиздат, стр. 16, тираж 100 тыс.
Рец.: Девиншев, А. Журн. „Детская Литература“, № 6, стр. 35—40.
- Сказка о рыбаке и рыбке.** Рисунки Вл. Кошачевича. (Для школьного возраста). М., Детиздат, стр. 16, тираж 50 тыс.
Рец.: Девиншев, А. Журн. „Детская Литература“, № 6, стр. 35—40.
- Сказка о даре Салтана.** Рисунки В. Таубер. (Для младшего возраста. Серия „Книга за книгой“). М., Детиздат, стр. 32, тираж 100 тыс.
- Сказки.** Примечания Вас. Гиппиуса. М., Гослитиздат, стр. 72, тираж 350 тыс.
- Сказки.** Вступит. статья и примечания Л. В. Цырлина. Л., Гослитиздат, стр. 72, тираж 100 тыс.
Рец.: „Молодой Колхозник“, № 9, стр. 13.
- Цыганы. Медный Всадник.** Редакция, предисловие и примечания Б. Томашевского. Л., Гослитиздат, стр. 56, тираж 150 тыс.
6. Публикация новых текстов
- Запись рассказов И. А. Крылова о Пугачевщине.** Комментарий Ю. Г. Оксмана. „Пушкин. Временник“, I, стр. 26—29.
Перепеч.: „Лит. Газета“, 24 V. № 30.
- Тень Фонвизина.** Комментарий Л. Б. Модзалевского. „Пушкин. Временник“, I, стр. 3—25.
Перепеч. с сокращениями: „Лит. Газета“, 30 V. № 31.
- Бонди, С.** Неопубликованные стихи. „Известия ЦИК и ВЦИК“, 6—VI, № 131.
Отрывки из черновиков „Кавказского Пленника“, не вошедшие в окончательный текст.
- Медведева, И.** Павел Лукьянович Яковлев и его альбом. „Звенья“, т. V, стр. 124—127.
Автограф „Я люблю вечерний пир“ в альбоме Яковлева.

II. СТАТЬИ И ИССЛЕДОВАНИЯ

- Азадовский М. К.** Источники сказок Пушкина. „Пушкин. Временник“. I, стр. 134—163.
- Александров, Д.** „Сеятель“ и „Чернь“. (К спорам о значении Пушкина). „Лит. Критик“, № 4, стр. 19—43.
- Общественно-политические взгляды Пушкина.
- Алексеев, М. П.** Борис Годунов и Дмитрий Самозванец в западноевропейской драме. „Борис Годунов“ А. С. Пушкина. Сборник статей под общ. ред. К. Н. Державина. Гос. Ак. Театр Драмы. Л., стр. 81—124.

- Альтман, М. С. Томашевский, Б. В.** К истории текста эпиграммы „Там, где древний Кочерговский“. „Пушкин. Временник“, I, стр. 215—218.
- Андреев, Н.** „Кавказский Пленник“. А. С. Пушкин. Кавказский Пленник. Л., Гослитиздат, стр. 5—8.
- Аронсон, М. И.** К истории „Медного Всадника“. „Пушкин. Временник“, I, стр. 221—226.
- Стих. „Петроград“ С. П. Шевырева, как один из источников „Медного Всадника“.
- Ахматова, А.** „Адольф“ Бенжамена Константа в творчестве Пушкина. „Пушкин. Временник“, I, стр. 91—114.
- А. Ш. Мирза-Фатали Ахундов и А. С. Пушкин.** „Заря Востока“, 10 VI.
- Поэма Ахундова на смерть Пушкина.
- Бартенев, Влад.** Пушкин и современность. „Рабочий Край“ (Иваново), 12 II.
- Бел-кий, И.** Пушкинский юбилей — праздник социалистической культуры. „Говорит СССР“, № 3, стр. 1—3.
- Бельчиков, Н. Ф.** Добролюбов и Пушкин. „Известия Академии Наук СССР. Отделение обществ. наук“, № 1—2, стр. 161—170.
- Бельчиков, Н.** Добролюбов и Пушкин. „Лит. Газета“, № 7.
- Предварительная сокращенная публикация.
- Бернштейн, Сергей,** проф. О произношении в стихах Пушкина. „Говорит СССР“, № 3, стр. 23—25.
- Берхин.** Наш Пушкин. „Полярная Правда“, 24 IV.
- Пушкин и современность.
- Бескин, Эм.** Бахчисарайский Фонтан. „Театр Декада“, № 14, стр. 3—4.
- Благой, Д.** О Пушкине. (Ответ А. Селивановскому). „Лит. Критик“, № 2, стр. 146—159.
- Сокращ. стенограмма речи на дискуссии „Спорные вопросы пушкиноведения“, проведенной секцией критиков и литературоведов Союза писателей 30 XII 1935 г. Напеч. в дискуссионном порядке. См.: „Лит. Критик“, 1935, № 12, стр. 237—247.
- Благой, Д.** Проза Пушкина. А. С. Пушкин. Повести покойного Ивана Петровича Белкина. М., Гослитиздат, стр. 5—11.
- Благой, Д.,** проф. Пушкин на экране. „Известия ЦИК и ВЦИК“, 9 V, № 107.
- Основные вопросы экранизации творчества Пушкина на материале фильма „Дубровский“.
- Бонди, С. М.** Неосуществленное послание Пушкина к „Зеленой Лампе“. „Пушкин. Временник“, I, стр. 33—52.
- Основные методологические приемы изучения рукописей Пушкина и достижения современной текстологии. „Реставрация“ послания Пушкина к „Зеленой Лампе“.
- „Борис Годунов“ А. С. Пушкина.** Сборник статей, под общ. ред. К. Н. Державина. Гос. Акад. театр драмы. Л., стр. 196.
- Статьи: Б. П. Городецкого, А. Л. Слонимского, Г. О. Винокура, М. П. Алексеева, и А. Н. Глумова (см.).
- Рец.:* Виноградов, В. „Пушкин. Временник“, II, стр. 432—434.
- Бровман, Г.** О Белинском и Пушкине. „Молодая Гвардия“, № 6, стр. 143—154.
- Вальбе, Бор.** Пушкин и Белинский. „Лит. Ленинград“, 12 VI, № 27.
- Популярная заметка.
- Вальбе, Борис.** Пушкин-очеркист. I. „Путешествие в Эрзерум“. „Лит. Учеба“, № 3, стр. 87—106.
- Политическая целеустремленность и идейно-художественные основы „Путешествия в Арзрум“.
- Вересаев, В.** „За то, что живой“. К спорам о Пушкине. „Известия ЦИК и ВЦИК“, 6 VI, № 131.
- Пушкин и современность.
- Взрасаев, В.** Около Пушкина. „Звенья“, т. V, стр. 169—182.
1. На Аракчеева или Стурдзу? (Эпиграмма „Холоп венчанного солдата“).
2. Пушкин и княгиня Вяземская. 3. Пушкин и Анна Вульф.
- Винокур, Г.** Крымская поэма Пушкина. „Красн. Новь“, № 3, стр. 230—243.
- О „Бахчисарайском Фонтане“.

Винокур, Г. О. Кто был цензором „Бориса Годунова“? „Пушкин. Временник“, I, стр. 203—214.

Цензурная история „Бориса Годунова“ и роль в ней Булгарина.

Винокур, Г. Об изучении Пушкина. „Лит. Критик“, № 3, стр. 67—82.

Винокур, Г. Собрания сочинений Пушкина. „Книжн. Новости“, № 4, стр. 18—21.

Винокур, Г. О. Язык „Бориса Годунова“. „Борис Годунов“ А. С. Пушкина. Сборник статей под общ. ред. К. Н. Державина. Гос. Ак. театр драмы. Лнг., стр. 127—158.

Волков, Н. Д. Пушкинский балет. В. М. Богданов-Березовский, Н. Д. Волков, В. А. Мануйлов. „Бахчисарайский фонтан“... 3 изд., Л., стр. 13—16.

Гессен, С. „Евгений Онегин“ на книжном рынке. „Книжн. Новости“, № 6, стр. 20—22.

Борьба Пушкина за профессионализацию писательского труда. Печатаение и распространение „Евгения Онегина“. Литературные доходы Пушкина.

Гессен, С. Материальный быт Пушкина. „Пушкинск. Колхозник“, 12 VI, № 136.

Гессен, С. Пушкин и декабристы. „Пушкинск. Колхозник“, 15 II, № 37.

Гинзбург, Л. Путь Пушкина к реализму. „Лит. Ленинград“, 6 VI, № 26.

Вопрос об эволюции Пушкина-лирика.

Гинзбург, М. Советский Пушкин. „За Коммунистическое Просвещение“, 8 I.

Реставрация литературного наследства Пушкина в советских изданиях.

Гиппиус, В. „Памятник“ Пушкина. „Пушкинск. Колхозник“, 15 II, № 37. (Перепечат. в спец. вып. газеты от 18 III).

Пушкин и современность.

Гиппиус, Василий. Проблема Пушкина. (По поводу статьи Д. Мирского „Проблема Пушкина“. „Лит. Наследство“, № 16—18, 1934, стр. 91—112). „Пушкин. Временник“, I, стр. 253—261.

Рец.: Сергиевский, И. Пушкинский Временник. „Лит. Газета“ 25 VII. № 42.

См.: 1. Гиппиус, Василий. Письмо в редакцию. „Лит. Ленинград“, 29 VII, № 35. 2. Гиппиус, Василий. Письмо в редакцию. „Пушкин. Временник“, II, стр. 499—500. Ответ И. Сергиевскому.

Глумов, А. Н. Произнесение стиха „Бориса Годунова“. „Борис Годунов“ А. С. Пушкина. Сборник статей под общ. ред. К. Н. Державина. Гос. Ак. театр драмы. Л., стр. 161—182.

Городецкий, Б. П. „Борис Годунов“ в творчестве Пушкина. „Борис Годунов“ А. С. Пушкина. Сборник статей под общ. ред. К. Н. Державина. Гос. Ак. театр драмы. Лнг., стр. 9—41.

Интерес к русской истории и народности и творческие замыслы Пушкина 1822—1824 гг. Работа над „Борисом Годуновым“. Пушкин и Шекспир. Влияние Рылеева. Пушкин и Карамзин. „Борис Годунов“, как орудие в борьбе с классической драматургией.

Городецкий, Б. П. Письмо Пушкина к „неизвестному“. „Пушкин. Временник“, I, стр. 234—235.

Соображения в пользу того, что черновое письмо Пушкина: „В. С. Ответ, коим изволили меня удостоить...“ адресовано к Е. Ф. Канкрину и датируется 22—30 XI 1836 г.

Григорьев, И. Наш Пушкин. „Вперед“ (Ораниенбаум), 10 II, № 33.

Перепечат. в ряде районных газет.

Гроссман, Леонид. Пушкин и сен-симонизм. „Красная Новь“, № 6, стр. 157—168.

Гус, М. Последний год Пушкина. „30 дней“, № 1, стр. 60—65.

Пушкин и Леве-Веймар.

Державин, Конст. Театр Пушкина. 1. Теория драмы. „Рабочий и театр“, № 3, стр. 24—26.

Державин, Н. С., акад. А. С. Пушкин. „Лен. Правда“, 6 VI. № 129.

Политические взгляды Пушкина.

Державин, Н., акад. Пушкин и наша современность. „Красная Звезда“, 20 I. (Перепечат.: „Сталинская Правда“ (Волхов), 26 I).

Де-Рибас, А. М. Письмо Пушкина к „неизвестной“. „Пушкин. Временник“, I, стр. 227—231.

Доводы в пользу того, что адресатом письма была Е. Н. Орлова.

Десницкий, В. А. Пушкин в советской школе. Вступление к теме. „Лит. Современник“, № 4, стр. 203—204.

Основные вопросы изучения Пушкина в школе.

Десницкий, В. А. Пушкин и мы. „Лит. Современник“, № 1, стр. 185—216.

Более полная редакция вступительной статьи к одному из Пушкина; см. ниже.

Десницкий, В. А. Пушкин и мы. А. Пушкин. Сочинения. Редакция, биографический очерк и примечания Б. Томашевского. Вступит. статья В. Десницкого. Гослитиздат, Л., стр. III—XXIV.

Десницкий, В. Пушкин и современники. „Лит. Газета“, 30 V, № 31.

Дурылин, С. Замысленный побег. „Огонек“, № 17, стр. 14—15.

Пушкин на Кавказе в 1829 г.

Евгеньев-Максимов, Вл. Евг., проф. К столетию основания журнала „Современник“ (1836—1936). „Рабселькор“, № 10, стр. 21—27. Глава I. Пушкинский „Современник“.

Еникалопов, И. А. С. Пушкин под надзором тифлисской полиции. „Тифлисский Рабочий“, 20 III.

Пушкин в Тифлисе в 1829 г.

Ермилов, В. Книгопродавец, поэт и тов. Благой. „Красн. Новь“, № 1, стр. 248—252.

По поводу статьи Д. Д. Благого „Развитие реализма в творчестве Пушкина“ („Лит. Учеба“, 1935, № 1).

Желанский, А. Новое о „Балде“ и „Медведихе“ Пушкина. „Звенья“, т. VI, стр. 133—143.

Анализ черновых текстов.

Желанский, А. Сказки Пушкина в народном стиле. Балда. Медведиха. О рыбаке и рыбке. М., Гослитиздат, стр. 160.

Содержание: Сю ж е т. Гл. 1., Загадка „Балды“. Гл. 2. Загадка „Медведихи“. Гл. 3. Сказки-мистификации о золотом петушке и золотой рыбке. Гл. 4. К осво-

нию фольклора. Р а з м е р. Гл. 1. Размер „Медведихи“ и „Сказки о рыбаке и рыбке“. Гл. 2. „Балда“ среди других произведений в народном стиле. С о з в у ч и е. Гл. 1. Созвучие у Пушкина в произведениях народного склада. Гл. 2. Опыт нового осозвучения в „Медведихе“. Дополнение. Знакомство Пушкина с фольклором.

Загорский, М. Пушкин и Гоголь. К столетию первого представления „Ревизора“. „Сов. Театр“, № 2, стр. 4—5.

Загорский, М. Пушкин и театр. Детские годы Пушкина. „Театр и драматургия“, № 6, стр. 340—345.

Закруткин, В. А. „Братья-разбойники“ Пушкина. „Ученые Записки Гос. Пед. Института Герцена и Гос. Научно-Исслед. Института Научн. Педагогика“, т. II. Л., стр. 218—239.

Источники поэмы.

Закруткин, В. А. „Братья-разбойники“ Пушкина. Тезисы диссертации на степень кандидата наук. Ленингр. Гос. Педагогический Институт им. Герцена, стр. 4.

Закруткин, В. „Братья-разбойники“. „Красн. Новь“, № 6, стр. 169—189.

Творческая история поэмы. Источники. Критика.

Закруткин, В. „Разбойничий“ фольклор в „Братьях-разбойниках“ Пушкина. „Резец“, № 2, стр. 16—18.

Крестьянские разбойничьи песни, как источники „Братьев-разбойников“ и их воздействие на поэму Пушкина.

Зобин, А. (13-я школа Петроградского района). Советские школьники и Пушкин. „Лит. Современник“, № 4, стр. 223—231.

Восприятие и понимание пушкинского наследия советскими школьниками.

Казанский, Б. В. Дневник Пушкина. (По поводу интерпретации Д. П. Якубовича). „Пушкин. Временник“, I, стр. 265—282.

Казанский, Б. Загадочный отрывок Пушкина. „Звенья“, т. VI, стр. 94—100.

Анализ пропущенных строк на листе с черновым письмом Пушкина к Бенкендорфу от 21 XI 1836 г., являющемся обрывком чернового письма Бенкендорфу от 24 XI 1831 г.

- Казанский, Б.** Письмо Пушкина Геккерну. „Звенья“, т. VI, стр. 5—93.
Анализ автокопий и черновых редакций письма Пушкина к Геккерну от 26 I 1837 г.
- Казанский, Б.** Последние стихи Пушкина. „Пионерск. Правда“, 10 II, № 20.
- Казанский, Б.** Пушкин и Гоголь. „Пионерск. Правда“, 1 III, № 30.
- Кар, М.** Последние дни поэта. „Вечерн. Москва“, 8 II.
- К. В.** Мнимая свобода. „Ленинск. Искры“, 6 V.
Пушкин по возвращении из ссылки.
- Кирпотин, В.** Личность в поэзии и мировоззрении Пушкина. (К 137-летию со дня его рождения). „За Коммунистическое Просвещение“, 6 VI.
- Кирпотин, В.** Певец свободолюбия. „Комсомольск. Правда“, 6 VI, № 130.
- Кольт, И.** Наследники. „Красн. Газета“, № 33.
Пушкин и современность.
- Мануйлов, В. А.** „Бахчисарайский фонтан“ Пушкина. В. В. Богданов-Березовский, Н. Д. Волков, В. А. Мануйлов. Бахчисарайский фонтан. Музыка Б. В. Асафьева. 3-е издание Лен. гос. ак. театра оперы и балета, стр. 31—80.
История замысла. Пушкин в Бахчисарае. Работа над поэмой. Отзывы современников. Источники.
- Мануйлов, В. А.** Великий поэт. „Красн. Газета“, 5 VI, № 19.
Творческий путь Пушкина.
- Мануйлов, В. А.** Образ поэта и его воспитательное значение. „Лит. Современник“, № 4, стр. 205—217.
- Мануйлов, В. А.** Пушкин и балет. „Бахчисарайский Фонтан“. Гос. Музыкальн. театр им. Немировича-Данченко. М., стр. 68—75.
- Мануйлов, В. А.** „Русалка“ Пушкина. П. А. Кремлев и В. А. Мануйлов. „Русалка“. Опера в 4-х действиях А. С. Даргомыжского. Изд. Лен. Гос. Ак. театра оперы и балета им. Кирова. Л., стр. 33—51.
„Днепровская Русалка“ Краснопольского. Крепостная любовь Пушкина. История замысла „Русалки“. „Русалка“ Пушкина в оценке русской критики.
- Мейлах, Б.** Добролюбов и Пушкин. „Резец“, № 3, стр. 20—21.
- Мейлах, Б.** Пушкин в литературных объединениях декабристов. „Красн. Новь“, № 1, стр. 196—207.
Тайные общества и вопросы литературной политики. „Зеленая Лампа“. „Арзамас“. „Вольное общество любителей российской словесности“.
- Мейлах, Б.** Пушкин и теория „чистого искусства“. „Лит. Современник“, № 5, стр. 165—192.
- Мейлах, Б. С.** Пушкин и эстетика романтизма. „Комсомол Академии Наук СССР—X-му съезду ВЛКСМ“, Л. Изд-во АН СССР, стр. 423—431.
Сокращенное изложение печатаемой на эту же тему работы.
- Мирский, Д. П.** Ответ моим критикам. „Пушкин. Временник“, I, стр. 262—264.
Замечания по поводу полемики, вызванной статьей Д. П. Мирского „Проблема Пушкина“.
Рец.: Заславский, Д. Рекорд критика Мирского. „Правда“ Ц. О., 28 VIII. № 237. См.: Мирский, Д. Письмо в редакцию „Лит. Газеты“, 5 IX № 50.
- Модзалевский, Л. Б.** Мнимые экспромты Пушкина. К вопросу о стихах „День блаженства настоящий“, „Мы наслаждение удвоим“ и пр. „Пушкин. Временник“, I, стр. 219—220.
Соображения в пользу авторства Л. С. Пушкина.
- Модзалевский, Л.** Похороны Пушкина. „Пушкинск. Колхозник“, 15 II.
- Модзалевский, Л. Б.** Тень Фонвизина. „Пушкин. Временник“, I, стр. 3—25.
Текст поэмы и комментарий.
- Николич, Д.** Детище Пушкина (К 100-летию „Современника“). „Резец“, № 9, стр. 18—19.
История издания первого номера „Современника“.
- Новиков, И. А.** Вокруг письма Пушкина к Б. А. Адеркасу. „Пушкин. Временник“, I, стр. 231—234.

- Оксенов, Инн.** „Вольнолюбивые“ стихи Пушкина. „Пушкинск. Колхозник“, 6 VI, № 131.
Перепеч. в ряде районных и колхозных газет.
- Оксенов, Инн.** Маяковский и Пушкин. „Лит. Ленинград“, 14 IV, № 18.
- Оксенов, Инн.** Наш Пушкин. „Пушкинск. Колхозник“, 22 V, №№ 119 и 120.
Пушкин и современность.
- Оксман, Ю. Г.** Запись рассказов И. А. Крылова о Пугачевщине. „Пушкин. Временник“, I, стр. 26—29.
Текст записи Пушкина и комментарий.
- Переверзев, В. Ф.** Пушкин в борьбе с русским плутовским романом. „Пушкин. Временник“, I, стр. 164—188.
О „Русском Пеламе“.
- Перовский, П. А. С.** Пушкин. К 99-й годовщине смерти. „Кировская Правда“, 11 II
- Петровский, Л.** Произведения Пушкина — в массы. „Гудок“, 10 II.
- Попов, Н.** Мастер поэзии, учитель искусства. (Накануне столетия со дня смерти А. С. Пушкина). „Пролет. Правда“ (Калинин), 10 II.
- Поэт счастливого народа.** „Лит. Ленинград“, 6 VI, № 26.
- Пришвин, Мих.** Дубровский. „Известия ЦИК и ВЦИК“, 1 I, № 1.
О связи „Дубровского“ Пушкина с народным сказанием о графе Дубровском.
- Пришвин, Михаил.** Дубровский. (Исследование краеведа). „Сов. Краеведение“, 1935, (вышел в свет в январе 1936 г.) № 12, стр. 47—49.
Сказание о графе Дубровском и пушкинский „Дубровский“.
- Просыняк, Ив.** Как это было. „Пушкинск. Колхозник“, № 33.
Дуэль и смерть Пушкина.
- Просыняк, Ив.** Литературное наследство Пушкина. „Пушкинск. Колхозник“, №№ 15 и 24.
- Просыняк, Ив.** Пушкин. I. Предки. „Пушкинск. Колхозник“, 28 III, № 72.
- Прусаков, К.** Пушкин о Камчатке. „Камчатская Правда“, 6 VI.
- Пушкин. Временник Пушкинской комиссии. I.** (Академия Наук СССР — Институт Литературы). Редактор издания Ю. Г. Оксман. Изд-во Академии Наук СССР. М.—Л., стр. 423.
Содержание: *Новые тексты Пушкина.* Тень Фон-Визина. Комментарий Л. Б. Модзалевского. — Запись рассказов И. А. Крылова о Пугачевщине. Комментарий Ю. Г. Оксмана. *Исследования и статьи.* С. М. Бонди. Несовершенное послание Пушкина к „Зеленой Лампе“. А. Н. Шебунин. Пушкин и „Общество Елизаветы“. А. А. Ахматова. „Адольф“ Бенжамена Константа в творчестве Пушкина. Б. В. Томашевский. „Маленькие трегедии“ и Мольер. М. К. Азадовский. Источники сказок Пушкина. В. Ф. Переверзев. Пушкин в борьбе с русским плутовским романом. *Материалы и сообщения.* Ю. Г. Оксман. К истории высылки Пушкина из Петербурга в 1820 г. А. Н. Шебунин. Пушкин по неопубликованным материалам архива братьев Тургеневых. Ю. Н. Тынянов. Заметки о лицейских стихах Пушкина. Г. О. Винокур. Кто был цензором „Бориса Годунова“? М. С. Альтман. Б. В. Томашевский. К истории эпиграммы „Там, где древний Кочерговский“. Л. Б. Модзалевский. Мнимые экспромты Пушкина. М. И. Аронсон. К истории „Медного Всадника“. Из комментариев к переписке Пушкина: А. М. Де-Рибас. Письмо Пушкина к „неизвестной“ 1822 г.; И. А. Новиков. Вокруг письма Пушкина к Б. А. Адеркасу; Б. П. Городецкий. Письмо Пушкина к „неизвестному“. Б. В. Казанский. Новые материалы о дуэли и смерти Пушкина. *Трибуна.* В. В. Гиппиус. Проблема Пушкина. Д. П. Мирский. Ответ моим критикам. Б. В. Казанский. Дневник Пушкина. Д. П. Якубович. Еще о дневнике Пушкина. *Рецензии и обзоры.* Д. П. Якубович. Обзор статей и исследований о прозе Пушкина с 1917 по 1935 г. Б. В. Томашевский. А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в 9 томах. Том V. — М. К. Азадовский. А. Пушкин. Сказки. Под ред. А. Слонимского. И. Р. Эйгес. Массовые издания сочине-

ний Пушкина. Ю. Г. Оксман, И. И. Пушкин. Записки о Пушкине. Н. И. Мордоченко. Пушкин по документам архива М. П. Погодина. Пушкин по документам архива С. А. Соболевского. А. Г. Цейтлин, В. В. Виноградов. Язык Пушкина. Б. С. Мейлах, В. Виноградов. О стиле Пушкина. Г. О. Винокур, Н. Свириц. Пушкин и Восток. С. Я. Гессен. А. Эфрос. Декабристы в рисунках Пушкина. Б. В. Казанский, Л. Гроссман. Карьера д'Антеса. М. И. Аронсон. Russische Dichter, übertragen von D. Hiller von Gaertringen. *Хроника*. Постановление Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР об учреждении Всесоюзного Пушкинского Комитета в связи со столетием со дня смерти А. С. Пушкина. Пушкинская Комиссия Академии Наук СССР. Издания Пушкинской комиссии: Фототипическое издание рукописей Пушкина; Научное описание рукописей Пушкина; Пушкиниана. Из материалов редакции академического издания Пушкина. Д. Д. Благой. Отчет о работе редактора XIV тома. Диссертация „Пушкин и реакционный романтизм“. Материалы о Пушкине в новых литературоведческих публикациях: Пушкин в письмах П. В. Киреевского. Пушкин в переписке Н. М. Языкова с В. Д. Комовским. А. Максимович. Новое издание статей Писарева о Пушкине. Комментарии А. Блока к стихотворениям Пушкина. Н. Р[ыкова]. Андре Жид о Пушкине. Новые издания сочинений Пушкина. Полное собрание сочинений Пушкина в издании „Academia“. Новое издание шеститомника Пушкина. К. Григорьян. Пушкин на языках народов Закавказья. П. Эттингер. Пушкин в Чехословакии. П. Эттингер. Новейшие польские переводы Пушкина. Пушкин в изобразительном искусстве. И. Е. Репин в работе над Пушкиным. Пушкинские места. М. Калаушин. Пушкинский заповедник Академии Наук СССР. С. Я. Гессен. Пушкиниана 1935 г. Указатели.

Рец. и заметки:

1. „Пушкинский Временник“. „Лит. Ленинград“. 1935. № 5.
2. Оксман, Ю. Пушкин. „Лен. Правда“, 26 I. № 20.

3. Журнал „Пушкин“. „Лит. Газета“, 24 V, № 30.

4. „Книги Пушкина и о Пушкине“. „Известия ЦИК и ВЦИК“, 6 VI, № 131.

5. „Пушкинский Временник“. „Лен. Правда“, 19 VI.

6. Сергиевский, И. Пушкинский Временник. „Лит. Газета“, 25 VII, № 42.

См.: Трегуб, С. О литературной критике и „Литературной Газете“. „Комсом. Правда“, 8 VIII.

7. „Книжн. Новости“, № 16, стр. 20.

Пушкин в звучащем слове. Сборник статей и высказываний мастеров художественного чтения. К Пушкинской олимпиаде чтенцев. Под редакцией Н. Ю. Верховского. Ленинградский Комитет Радиовещания. Л., стр. 64.

Статьи и высказывания: Е. И. Тиме, Ю. Н. Калганова, Н. И. Комаровской, В. В. Максимова, Г. В. Артоболевского. В. Г. Гайдарова, О. В. Гзвской, Л. И. Держинского, Д. Н. Журавлева, Д. М. Лузанова, Н. В. Михайловской, С. И. Муромцевой, В. С. Чернявского, А. И. Шварца, В. В. Яблонской, В. Н. Яхонтова.

Сокращенно: Мастера художественного слова об исполнении произведений Пушкина. „Говорит СССР“, № 3, стр. 6—16.

Пушкин в советской школе. По стенограмме совещания в редакции „Литературного Современника“. „Лит. Современник“, № 4, стр. 203—244.

Проф. В. А. Десницкий. Вступление к теме. В. А. Мануйлов. Образ поэта и его воспитательное значение. С. Спасский. Путь к Пушкину. А. Зобнин. Советские школьники и Пушкин. Из прзний: В. А. Чулкевич (ЛИФЛИ), Н. П. Андреев (Пед. ин-т им. Герцена), А. Я. Гуревич (1 опытн. школа), Н. Л. Степанов, Л. А. Соколова (1-я школа Центр. района), С. М. Марвич, Л. С. Троицкий (Пед. ин-т им. Герцена), П. П. Малютин (22-я школа Центр. района).

Ремезов, Ив. А. С. Пушкин на сцене Большого театра. „Говорит СССР“, № 4, стр. 32—37.

Исторический очерк пушкинских постановок.

- Ритман, Мих.** Пушкин и социалистическая культура. „Большевик“ (Энгельс), 5 VI.
- Перепеч.* в газ. „Пролетарий Осетии“ (Орджоникидзе), 12 VI.
- Розенталь, М.** О марксистствующих критиках и социальном анализе. „Лит. Критик“, № 1, стр. 31—47.
- По поводу статьи Д. Мирского, „Проблема Пушкина“, в „Лит. Наследстве“, № 16—18.
- Рутковская, Б.** Пушкин-чтец. „Говорит СССР“, № 6, стр. 21—23.
- Р[ыкова], Н.** Андре Жид о Пушкине. „Пушкин. Временник“, I, стр. 385—386.
- Перепеч.*: „Лит. Газета“, 5 VI, № 32.
- Свирин, Н.** Пушкин на переломе к реализму („Цыганы“). „Знамя“, № 4, стр. 234—256.
- Свирин, Н.** Реализм Пушкина. „Путешествие в Арзрум“. „Лит. Ленинград“, № 3.
- Реалистические тенденции „Путешествия в Арзрум“. Ограниченность пушкинского реализма, как результат компромисса с господствующей системой.
- Сергиевский, И.** Проблема тенденциозности у Пушкина. „Лит. Критик“, № 5, стр. 54—70.
- Пушкин и теория чистого искусства. Социально-политическое значение пушкинского реализма.
- Сергиевский, И.** Пушкин и мы. „Пролет. Правда“ (Калинин), 6 VI.
- Слонимский, А. Л.** „Борис Годунов“ и драматургия 20-х годов. „Борис Годунов“ А. С. Пушкина. Сборник статей под общ. ред. К. Н. Державина. Гос. Ак. театр драмы. Лнг., стр. 45—77.
- Слонимский, Ю. О.** Балет Пушкинской эпохи, „Бахчисарайский Фонтан“. Гос. Музык. театр им. Немировича-Данченко. М. стр. 68—75.
- Соколов, А. Н.** От комической поэмы к социально-психологическому роману. „Труды Орехово-Зуевского Педагогич. Ин-та. Кафедра языка и литературы“. М., стр. 18—63.
- Композиция „Евгения Онегина“.
- Рец.*: Томашевский, Б. „Пушкин. Временник“, II, стр. 435—435.
- Спасский, С.** Путь к Пушкину. „Лит. Современник“, № 4, стр. 218—222.
- Преподавание Пушкина в старой школе. Основные требования к советской школе.
- Терзибашян, В.** Пушкин и армянские поэты. „Коммунист“, (Эривань), 20 I, № 16.
- Тимофеев, Л. И.** Лирика А. С. Пушкина (О специфике лирической поэзии). „Литература в школе“, № 1, стр. 10—21.
- Томашевский, Б. В.** К истории эпиграммы „Там где древний Кочерговский“. См.: **Альтман, М. С., Томашевский, Б. В.**
- Томашевский, Б.** „Маленькие трагедии“ и Мольер. „Пушкин. Временник“, I, стр. 115—133.
- Томашевский, Б.** Пушкин. См.: А. Пушкин. Сочинения. Редакция Б. Томашевского, стр. XXV—LXII.
- Ред.* Сергиевский, Н. Политическая биография Пушкина. „Лит. Критик“, № 7, стр. 187—192.
- Томашевский, Б.** Пушкин в Михайловском (1824—1826 гг.) „Пушкинск. Колхозник“, 15 II, № 37. (*Перепеч.* в спец. вып. газеты 18 III).
- Отрывок из вступительной статьи к одноименнику Пушкина.
- Томашевский, Б.** Пушкин и южные декабристы. „Красная Звезда“ 6 VI.
- Томашевский, Б. В.** „Цыганы“ и „Медный всадник“ А. С. Пушкина. В книге: А. С. Пушкин. Цыганы. Медный всадник. Л. стр. 5—8.
- Томашевский, Б. В.** Язык и стиль Пушкина. См.: А. Пушкин. Сочинения. Редакция Б. Томашевского, стр. 918—923.
- Тынянов, Ю. Н.** Заметки о лицейских стихах Пушкина. I. „К другу стихотворцу“. 2. „Герой Севера“. „Пушкин. Временник“, I, стр. 201—202.
- Перепеч.*: 1. „Лит. Газета“, 5 VI, № 32.
2. „Лит. Ленинград“, 6 VI, № 26.
- Храпченко, М.** Величайший русский реалист. „Комсомольск. Правда“, 9 I.
- Пушкин и современность.

Цявловский, М. Великий поэт и его „редактор“. „Рабоч. Москва“, 6 VI.

Пушкин и М. Т. Каченовский в 1816 г.

Чернышев, В. Пушкин и Ф. И. Вилянова. „Звенья“, т. VI, стр. 183—190.

Роман Пушкина с болдинской крестьянкой.

Чулков, Георгий. Жизнь Пушкина. „Новый Мир“, № 5, стр. 181—204, № 6, стр. 232—257.

Гл. I. Детство. Гл. II. Лицей. Гл. III. Ювость.

Шебунин, А. Н. Пушкин и „Общество Елизаветы“. „Пушкин. Временник“, I, стр. 53—90.

Пушкин и правое крыло „Союза Благоденствия“ в 1819—1820 гг. Связи „Союза Благоденствия“ с дворянской фрондой.

Шебунин, А. Н. Пушкин-историк. „Пушкинск. Колхозник“, 6 VI, № 131.

Ш[евердин], С. Поэмы Пушкина. 1817—1833. См.: Пушкин. Поэмы, стр. 3—16.

Рец.: 1. Капа. Отточенное мастерство. „Красн. Газета“, 6 VI.

2. Голицына, В. Спасибо Гослитиздату. „Правда“, Ц. О., I VII.

Шкловский, Виктор. О стиле и мироощущении. „Красн. Новь“, № 4, стр. 215—225.

О прозе Пушкина, Бальзака и Л. Толстого. Сюжет в стихах у Пушкина и подробности в его стихотворном романе.

Штрайх, С. Жандарм Дубельт. „30 дней“, № 2, стр. 82—87.

Дубельт и его роль в истории русской литературы и в жизни Пушкина.

Штрайх, С. Я. Первый друг Пушкина. Библ-ка „Огонек“. М., Жур.-газ. Объединение, стр. 48.

Биографический очерк И. И. Пущина. История его взаимоотношений с Пушкиным.

Эштейн, А. Проза Пушкина в русской критике. „Лит. Современник“, № 3, стр. 183—205.

Юнович, М. А. С. Пушкин. „Бахчисарайский фонтан“. Гос. Музык. театр им. Немировича-Данченко. М., стр. 5—18.

[Якубович, Д. П.] Великий русский поэт. „Вперед“ (Ораниенбаум), 10 II, № 33.

Пушкин и современность.

Якубович, Д. П. Еще о дневнике Пушкина (Ответ Б. В. Казанскому). „Пушкин. Временник“, I, стр. 183—291.

Якубович, Д. П. О реализме Пушкина. „Пушкинск. Колхозник“, 15 II, № 37.

Якубович, Д. Перевод Пушкина из Шекспира. „Звенья“, т. VI, стр. 144—148.

Транскрипция и анализ черновой рукописи начала пушкинского перевода „Мера за меру“ Шекспира.

Якубович, Д. П. Пушкин. (К 99-летию со дня смерти). „Рабоч. Москва“, 10 II, № 33.

Якубович, Д. П. Чем нам дорог Пушкин. „Пушкинск. Колхозник“, 20 и 21 V.

Яхонтов, В. Н. Пушкин и Маяковский. „Лит. Ленинград“, № 1.

III. ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

А. Е. А. С. Пушкин в Душете. „Тифлисск. Рабочий“, 26 III.

Воспоминания Н. Н. Геслингга, директора канцелярии тифлисск. военн. губернатора.

Гессен, С. О первых пушкинистах. „Книжн. Новости“, № 18, стр. 22.

Материалы к истории издания сочинений Пушкина 1880 года.

Дарский, Д. Пушкин у книжного прилавка. „Книжн. Новости“, № 8, стр. 20.

Воспоминания книгопродавца И. Т. Лисенкова о Пушкине.

Дарский, Д. Заметки библиофила. „Книжн. Новости“, № 11, стр. 22.

Об единственном экз. „Цыган“, изд. 1827 г., напечатанном на пергаменте и принадлежавшем С. А. Соболевскому.

Е[николопов], И. В 1829 году. А. С. Пушкин на Кавказе. „Тифлисск. Рабочий“, 7 и 16 III.

Перепечатка отрывков из воспоминаний Н. Б. Потокского о Пушкине.

Жевержеев, Л. „Пушкин у Яра“. „Книга и Пролет. Революция“, № 4, стр. 151.

О редкой книге И. К. Кондратьева. „Пушкин у Яра“, сцена в 1 д., изд. в 1887 г.

Казанский, Б. В. Новые материалы о дуэли и смерти Пушкина (Из собрания П. Е. Щеголева). „Пушкин. Временник“, I, стр. 236—249.

Из памятной книжки А. П. Дурново и из письма ее к матери. Из письма кн. П. М. Волконского к жене. Сводка данных о дуэли Пушкина, писанная кн. М. А. Горчаковой.

Модзалевский, Л. Б. Два письма к Пушкину. „Звенья“, т. VI, стр. 789—790.

1. Записка П. А. Вяземского б. д.
2. Отрывок письма неизвестного о Болдине.

Модзалевский, Л. Из откликов на смерть Пушкина. „Звенья“, т. VI, стр. 156—161.

1. Стихотворение неизвестного автора.
2. Письмо кн. А. М. Голицына. 3. Письмо М. Д. Деларю. 4. Письмо неизвестного.

Модзалевский, Л. Новое о неосуществленном издании сочинений Пушкина в 1836 г. „Книжн. Новости“, № 7, стр. 19—21.

Оксмак, Ю. Г. К истории высылки Пушкина из Петербурга в 1820 г. (Неизвестное письмо С. Л. Пушкина). „Пушкин. Временник“, I, стр. 191—195.

Новые данные о высылке Пушкина в 1820 г. и об издании „Руслана и Людмилы“.

Перепеч.: „Лит. Газета“, 30 V, № 31.

Петров, П. Пушкин и сибирские партизаны. „Красноярск. Рабочий“, 30 VI.

Интерес к творчеству Пушкина в эпоху гражданской войны.

Путята, Н. В. Заметка об Исаковском издании Сочинений Пушкина. Комментарий К. Пигарева. „Звенья“, т. VI, стр. 161—169.

Поправки к I тому сочинений Пушкина под ред. Г. Н. Геннади.

Разгром книжного магазина. „Книжн. Новости“, № 9, стр. 21.

Тиражи и распространение сочинений Пушкина в 1887 г.

Тынянов, Ю. Кюхельбекер о смерти Пушкина, Грибоедова и Рылева. „Лит. Ленинград“, № 7.

Публикация стих. В. К. Кюхельбекера 1845 г.: „Работы сельские приходят уж

к конду“, „До смерти мне грозила смерти тьма“ и „Участь русских поэтов“.

Ходза, Н. Пушкин под запретом. „Лит. Ленинград“, № 1.

Запрещение в 1901 г. издания „Сказки о попе и о работнике его Балде“ на тюркском языке.

Цензурой запрещено. „Лен. Правда“, 6 VI, № 129.

Перепеч.: „Правда“, Ц. О., 9 VI, № 157.

Дело о запрещении издания „Истории Пугачевского бунта“ в 1888 г.

Цявловский, М. Заметки о Пушкине. „Звенья“, т. VI, стр. 148—155.

1. Ода „Вольность“ [Неизвестное свидетельство Н. И. Тургенева]. 2. Пушкин и Александр I [Причина ссылки Пушкина в Михайловское]. 3. Вяземский о Пушкине. [Отрывок из письма Вяземского к П. И. Баргеву о Пушкине в 1830 г.]. 4. Погодин о „посмертных“ произведениях Пушкина. [Неизвестное письмо Погодина к Вяземскому от 29 III 1837 г.].

Шебунии, А. Н. Пушкин по неопубликованным материалам архива братьев Тургеневых. „Пушкин. Временник“, I, стр. 196—200.

Шуйфер. „Дело о сочинениях Пушкина“. „Лит. Газета“, 5 IV.

О распространении подписки на посмертное издание сочинений Пушкина в Пензенской губ.

IV. ПУШКИНСКИЕ МЕСТА

Бээр. Реставрация Пушкинских мест под угрозой. „Лит. Газета“, 10 VI, № 38.

Гинзбург, М. Пушкинские места. „Книжн. Новости“, № 15, стр. 20.

Находка старинного альбома с видами Михайловского.

Грай, Вит. В Пушкинском заповеднике. „Известия ВЦИК и ЦИК“, 6 VI, № 131.

Калаушин, М. Пушкинский заповедник. „Пушкин. Временник“, I, стр. 390—393.

Кузнецов, М. Пушкинские места в Старице. „Вечерн. Москва“, 5II.

Малинники, Берново, Павлово.

Мерник, М. Пушкинские места. „Рабочий Путь“ [Смоленск], 1 V.

Полотняные заводы.

Пушкинский Петербург. 1. Лицей. 2. Домик в Коломне. 3. Коллегия иностранных дел. 4. „Арзамас“. 5. После ссылки. 6. Дом „Пиковой Дамы“. 7. Летний сад. 8. Медный всадник. 9. Квартира на Галерной. 10. Последняя квартира Пушкина. 11. Накануне дуэли. 12. Черная речка. 13. Конюшенная церковь. 14. Памятник. „Сов. Балтика“ №№ 16—19, 21—30 [февраль].

П. М. Пушкин в Михайловском. В музее Пушкинского заповедника. „Лит. Ленинград“, 12 VI, № 27.

Федоров, Б. Пушкин в Тифлисе. „Заря Востока“, 6 I, № 5.

Фессалоницкий, С. Пушкин в Микулино-Городище. „Пролет. Правда“ [Каляинин], 12 II.

Пушкин в Старицком уезде в 1833 г.

V. ОБЗОРЫ ЛИТЕРАТУРЫ,
БИБЛИОГРАФИЯ, РЕЦЕНЗИИ,¹ ОТЧЕТЫ.

Азадовский, М. А. Пушкин. Сказки. Редакция, вступит. статья и объяснения А. Слонимского. 2—6 изд. (Рецензия). „Пушкин. Временник“, I, стр. 322—328.

Аронсон, М. Russische Dichter, übertragen von D. Hiller von Gaertringen. Leipzig, 1934 (Рецензия). „Пушкин. Временник“, I, стр. 354—357.

Аш. Пушкин на киргизском языке. „Советская Киргизия“ [Фрунзе], 6 VI.

Благой, Д. Академическое издание Пушкина. „Лит. Критик“, № 5, стр. 232—238.

О VII томе акад. издания Пушкина.

Благой, Д. Новые работы о Пушкине. „Книга и Пролет. Революция“ № 4, стр. 144.

О работе над научной биографией Пушкина.

Благой, Д. Д. Отчет о работе редактора XIV тома. Из материалов редакции академического издания Пушкина. „Пушкин. Временник“, I, стр. 368—376.

Винокур, Г. Н. Свириев. Пушкин и Восток. Статья первая. „Бахчисарайский фонтан“. „Звезда“, 1935, № 4 (Рецензия). „Пушкин. Временник“, I, стр. 346—348.

Гессен, С. Я. Накануне Пушкинского юбилея. (Обзор „Пушкинианы“ за 1935 год). „Лит. Современник“, № I, стр. 217—234.

Гессен, С. Пушкиниана 1935 г. „Пушкин. Временник“, I, стр. 393—405.

Аннотированная библиография.

Гессен, С. Абрам Эфрос. Декабристы в рисунках Пушкина. „Лит. Наследство“. № 16—18. (Рецензия). „Пушкин. Временник“, I, стр. 348—351.

Григорьян, К. Пушкин на языках народов Закавказья. „Пушкин. Временник“, I, стр. 387—388.

Обзор новейших переводов.

Перепеч. с сокращениями: „Лит. Газета“, 5 VI, № 32.

Гус, М. „Рукою Пушкина“. „30 дней“, № 3, стр. 75—78.

Критич. обзор материалов.

Дерман, А. Досадный промах. „Лит. Критик“, № 3, стр. 198—199.

По поводу ошибки, допущенной М. П. Алексеевым в комментарии к „Модарту и Сальери“, в VII т. акад. издания Пушкина (ария из „Дон-Жуана“).

Дмитриев, Н. Пушкин на языках народов СССР. „Лит. Газета“, 10 VI, № 33.

Обзор новейших переводов Пушкина на белорусский, кабардинский, карельский, татарский, таджикский, киргизский, башкирский, чувашский и др. языки.

Д[обры]нин, А. Академический Пушкин. „Полиграфическое Производство“, № 4, стр. 47—48.

О докладе Л. А. Федорова „Академический Пушкин. Технические приемы издания“, прочитанном 26 I 1936 г. в Доме Печати в Ленинграде.

Ермилов, В. Литература в футляре. „Красн. Новь“, № 3, стр. 262—267.

О книге: С. Флоринский и Н. Трофимов. „Литература XIX—XX вв. Учебник для неполн. средн. и средн. школы. 1935.

¹ В настоящий отдел входят рецензии на работы, напечатанные до 1936 г.

- Жданов, В.** Массовые издания Пушкина. „Правда“, Ц. О., 3 IV.
„Избранная лирика“ и „Избранная проза“, под ред. Д. Д. Благого; Однотомник, под ред. Б. В. Томашевского.
- Исмаилов, Е.** Новый казахский перевод „Евгения Онегина“. „Казахстанская Правда“, 24 V.
- Казанский, Б.** Леонид Гроссман. Карьера д'Антеса. М. 1935. (Рецензия). „Пушкин. Временник“, I, стр. 351—354.
- Лазаревский, И.** Многословные комментарии. „Веч. Москва“, 4 V.
По поводу примечаний к „Письмам“ Пушкина, том III, под ред. Л. Б. Модзалевского.
- Луначарская, С.** Какие произведения Пушкина читать детям. „Говорит СССР“, № 5, стр. 33—34.
- Мейлах, Б. В.** Виноградов. О стиле Пушкина. „Лит. Наследство“, № 16—18 (Рецензия). „Пушкин. Временник“, I, стр. 342—345.
- Мордовченко, Н.** Пушкин по документам архива М. П. Погодина. Публикация М. А. Цявловского. — Пушкин по документам архива С. А. Соболевского. Публикация М. Светловой. „Лит. Наследство“, № 16—18 (Рецензия). „Пушкин. Временник“, I, стр. 335—339.
- Н.** Пушкин, прочтенный эпохой. „Лит. Ленинград“, 6 VI, № 26.
Обсуждение акад. издания Пушкина в Ленингр. Доме Писателя.
- Новиков, Иван.** Пушкин в Михайловском. „Книга и Пролет. Революция“, № 5, стр. 150—151.
О работе над одноименным романом.
- Об изучении произведений А. С. Пушкина** в неполной средней и средней школе в III и IV четвертях 1935/36 учебного года. (М.). Наркомпрос РСФСР. Учпедгиз. Стр. 14.
Дополнения к списку литературного чтения в начальной школе и к программе по литературе для неполной средней и средней школы.
- Оксман, Ю. Г. И. И.** Пушин. Записки о Пушкине. Статья и редакция С. Я. Штрайха. М. 1934 (Рецензия). „Пушкин. Временник“, I, стр. 333—335.
- Павел Харибда.** Горестные заметы. Новое в Пушкиниане. „Красн. Новь“, № 5, стр. 239.
О статье А. Г. Цейтлина „Пушкин, А. С.“ в „Лит. Энциклопедии“, том IX.
- Рест, Б.** Академический Пушкин. „Лит. Газета“, 5 VI, № 32.
Обсуждение акад. издания Пушкина в Ленингр. Доме Писателя.
- Роштин, Я.** Академический Пушкин. „Лит. Газета“, 24 IV, № 24.
Обсуждение академич. издания сочинений Пушкина в заседании Пушкинской комиссии Академии Наук СССР в Москве.
- Сергиевский, И.** Новые издания Пушкина. „Книга и Пролет. Революция“, № 4, стр. 15—20.
Акад. издание Пушкина, т. VII; „Письма“ Пушкина, т. III, под ред. Л. Б. Модзалевского; шеститомник, 3-е изд. Гихл'а, тт. I, III, V; девятитомник, изд. „Academia“, под общ. ред. Ю. Г. Оксмана и М. А. Цявловского, тт. V и VI; однотомник, под ред. Б. В. Томашевского; „Избранная лирика“ и „Избранная проза“, под ред. Д. Д. Благого; „Драматические произведения“, под ред. Б. В. Томашевского.
- Сергиевский, И.** Новые издания Пушкина. „Лит. Обзорение“, № 1, стр. 35—37.
- Сергиевский, И.** „Рукою Пушкина“. (Рецензия). „Лит. Обзорение“, № 1, стр. 37—38.
- Томашевский, Б. А. С.** Пушкин. Полное собрание сочинений Пушкина в 9 томах. Том V. Евгений Онегин. Роман в стихах. Подготовка текста и комментарии Г. О. Винокура. Academia. 1935. (Рецензия). „Пушкин. Временник“, I, стр. 318—322.
- Цейтлин, Александр. В. В.** Виноградов. Язык Пушкина. 1935 (Рецензия). „Пушкин. Временник“, I, стр. 339—342.
- Цявловский, М.** Печать о Пушкине при жизни. „Книжн. Новости“, № 11, стр. 21—22.
О подготовляемом к изданию сборнике прижизненной Пушкинианы.
- Штрайх, С.** Массовые издания Пушкина. „Лит. Обзорение“, № 2, стр. 37—38.
„Избранная проза“ и „Избранная лирика“, под ред. Д. Д. Благого.

Штрайх, С. Письма Пушкина. „Лит. Критик“, № 5, стр. 238—240.

Пушкин. Письма. Том III. Под ред. и с примечаниями Л. Б. Модзалевского. М. 1935.

Эйгес, Иосиф. Массовые издания сочинений Пушкина. „Пушкин. Временник“, I, стр. 329—333.

Эттингер, П. Новейшие польские переводы Пушкина. „Пушкин. Временник“, I, стр. 388—389.

Перепеч. с сокращениями: 1. „Лит. Газета“, 5 VI, № 32 („Польские переводы Пушкина“); 2. „Лит. Ленинград“, 26 VI, № 26 („Польские переводы Пушкина“).

Эттингер, П. Пушкин в Чехословакии. „Пушкин. Временник“, I, стр. 388.

Перепеч.: „Лит. Газета“, 5 VI, № 32.

Эттингер, П. Пушкин за рубежом. „Книжн. Новости“, № 12, стр. 21.

Сочинения Пушкина в чешских и польских переводах.

Якубович, Д. П. Обзор статей и исследований о прозе Пушкина с 1917 по 1935 г. „Пушкин. Временник“, I, стр. 295—318.

ХРОНИКА

Амов. Пушкин и чернослив. „Известия ЦИК и ВЦИК“, 18 V, № 115.

Ошибочные приемы пропаганды пушкинского наследия.

Арденс, Ник. Пушкин в музыке. „Известия ЦИК и ВЦИК“, 16 IV, № 40.

Произведения Пушкина, положенные на музыку. Пушкин в советской музыке.

Блюменфельд, В. Пушкинская олимпиада чтецов. „Говорит СССР“, № 5, стр. 35—36. № 6, стр. 26.

Браудо, Евгений. Пушкин в опере и балете. „Говорит СССР“, № 3, стр. 18—20.

Верховский, Н. Пушкинская олимпиада чтецов. „Говорит СССР“, № 3, стр. 4—5.

Дарский, Д. Новые автографы и рисунки. „Известия ВЦИК и ЦИК“, 6 VI, № 131.

Новые поступления Пушкинского фонда Литературного Музея.

Пушкин. Временник, 2

Ершин, А. Живой Пушкин. „Красн. Газета“, 3 IV, № 77.

Пушкинский рукописный фонд Института Литературы Академии Наук СССР.

Жидков, В. Г. Три образа Пушкина в творчестве художников Палеха. „30 дней“, № 1, стр. 66—71.

Композиции палехских художников на мотивы „Руслана и Людмилы“, „Бесов“ и на тему „Пушкин в Михайловском“.

Исаков, Ю. Профсоюзы и пушкинские дни. „Лит. Ленинград“, 3 III, № 11.

Отставание Ленинградского Облпрофсовета в деле подготовки к Пушкинскому юбилею.

Исаков, Ю. Пушкинское слово. „Лит. Ленинград“, 30 V, № 25.

Обсуждение проблем, стоящих перед театром накануне пушкинского юбилея.

Исаков, Ю. Школа и пушкинские дни. „Лит. Ленинград“, 27 III, № 15.

Подготовка к Пушкинскому юбилею в школах.

Кондратьев, Ал. Изогиз к столетней годовщине Пушкина. „Книжн. Новости“, № 14, стр. 20.

Пушкинская комиссия Академии Наук СССР. „Пушкин. Временник“, I, стр. 363—368.

Обзор работ. Список докладов и сообщений, прочитанных в 1934—1935 гг. Издания.

Частично перепеч.

1. „Лен. Правда“, 22 III, № 67 („Фототипия рукописи Пушкина“);
2. „Лит. Ленинград“, 6 VI, № 26 („Пушкиниана“);
3. „Лит. Газета“, 10 VI, № 33 („В Пушкинской комиссии Академии Наук СССР“).

Р[ест], Б. Пушкин в школе. „Лит. Ленинград“, № 3.

Вопросы школьного преподавания Пушкина на конференции педагогов и писателей, устроенной „Лит. Современником“.

С. К. Творчество Пушкина в произведениях советских композиторов. „Говорит СССР“, № 3, стр. 21—22.

- Смирнов, В.** Пушкинский литературный календарь. „Книжн. Новости“, № 17, стр. 20—21.
- Сокольников, М.** Пушкинские издания „Academia“. „Книжные Новости“, № 10, стр. 21—22.
- Обзор художественных изданий, выпускаемых к Пушкинскому юбилею.
- Э[ттинг]ер, П.** Зарубежная Пушкиниана. „Книжн. Новости“, № 13, стр. 21.
- Подготовка к Пушкинскому юбилею в Чехословакии.
- Ю. Ис.** Спорные вопросы пушкиноведения. „Лит. Ленинград“, № 2.
- Отчет о пушкинской конференции 28—30 XII 1935 г. в Москве. Беседы с Ю. Г. Оксманом и Н. Г. Свириным.
- VI. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА И КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ О ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
- Багрицкий, Эдуард.** Пушкин. (Стих.). „Известия ЦИК и ВЦИК“, 10 II, № 35.
- Блейман, М. и Звальберштейн, И.** Путешествие в Арзрум. „Лит. „Ленинград“, 14 II, № 8.
- Отрывок из сценария.
- Бондарь, Вл.** В гостях у Пушкина. (Стих.). „Пушкинск. Колхозник“, 6 VI, № 131. Перепеч.: „Лит. Ленинград“, 12 VI, № 27.
- Бондарь, Вл.** Последний путь. (Стих.). „Пушкинск. Колхозник“, 15 II, № 37.
- Гарденин, Л.** Пушкин и лицеист. „Смена“, 14 V.
- Отрывок из романа „Изгнание“ („Пушкин в Одессе“).
- Жаров, Александр.** Остафьево. (Стих.). „Известия ЦИК и ВЦИК“, 24 III, № 71.
- Женитьба Пушкина.** „Лит. Ленинград“, 30 V, № 25.
- Об одноименной пьесе С. Сергеева-Ценского.
- Звягинцева, В.** На тему „Пушкин и декабристы“. (Стих.). „Красн. Новь“, № 4, стр. 116.
- Кобра.** Свидетельство современников. Маленький фельетон. „Лит. Ленинград“, 14 I, № 3.
- О пушкинистах.
- Новиков, Иван.** Пушкин в Михайловском. 1824 г. (Повесть). „Красн. Новь“, № 3, стр. 48—134.
- Рец.: Гессен, С. Пушкин в кривом зеркале. „Лит. Современник“, № 10, стр. 214—219.
- Орлов, С. Няня.** (Рассказ). „Горьковский Рабочий“, 2 II.
- Пушкин в Михайловском.
- Орлов, С. Осенью.** (Рассказ). „Горьковский Рабочий“, 25 IV.
- Болдинская осень.
- Сергеев-Ценский, С.** Пушкин в августе 1830 года. (Картина из пьесы). „30 дней“, № 3, стр. 17—23.
- Серебрянский, А.** „Пушкин“ Ю. Тынянова. „Правда“, Ц. О., 9 V, № 126.
- Спичин, А.** Лирические миниатюры Пушкина. (Микрофонные материалы Управления местного вещания Всесоюзного Радиокomiteта. Из микрофонных материалов центрального вещания). Гос. Изд-во по вопросам радио. М., стр. 15.
- Лито-монтаж из произведений Пушкина, документов и мемуаров.
- Слоимский, Ал.** Юность поэта. „Пионерская Правда“, 10 II, № 20.
- Отрывок из сценария.
- Хохлов, Г.** Роман о Пушкине. „Рабоч. Москва“, 4 I.
- О романе Ю. Н. Тынянова, „Пушкин“.
- Швецов, Сергей.** Пушкин в обработке некоторых пушкинистов. (Стих.). „Красн. Новь“, № 3, стр. 268.
- Сатирическая обработка основных положений статьи Д. Мирского „Проблема Пушкина“.

С. Гессен.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

В № 42 „Литературной Газеты“ помещена рецензия И. Сергиевского на первый выпуск „Пушкинского Временника“. В рецензии речь идет и о моей статье „Проблема Пушкина“. По поводу общего характера этой части рецензии и оскорбительных для меня выражений, которые позволил себе И. Сергиевский, я уже вынужден был однажды выступить в печати (письмом в редакцию „Литературного Ленинграда“). Теперь же я считаю своим долгом объяснить читателям „Временника Пушкинской комиссии“, какие методы рецензирования применены И. Сергиевским и что получается от сопоставления моей подлинной мысли с ее отражением в кривом зеркале рецензии.

Соответственную часть рецензии я должен привести полностью.

„Из работ, посвященных проблеме пушкинского наследия в целом, в «Временнике» имеется только одна... Это—работа В. В. Гиппиуса, посвященная, собственно говоря, критическому разбору известной работы Д. П. Мирского «Проблема Пушкина». Не говорим уже о том, что чего-либо нового прибавить к тем многочисленным возражениям, которые в свое время вызвала эта работа, автору не удалось. Это еще полбеды. Имеются в статье вещи и похуже. «Нужен не весь художник в Пушкине, а только его формально-техническая сторона»—к этому сводит В. В. Гиппиус позицию своих противников. «Пушкина Мирский согласен использовать в качестве спеца по стихотворному и прозаическому мастерству—не больше». И вслед за этим продолжает: «Как видим, и Благой и Мирский, после всех многообещающих околичностей, сошлись на формуле Белинского, формуле явно полемической, имевшей свое историческое оправдание девяносто лет назад, в николаевской России, но непригодной для нас, в наше время и в наших исторических условиях».

„Итак, неожиданно выясняется, что Белинский ценил в Пушкине только формально-техническую сторону его творений, что, прямо предвзято построения Благого и Мирского, он был «согласен использовать Пушкина в качестве спеца по стихотворному и прозаическому мастерству—не больше». Открытие, надо

сказать, не делающее большой чести автору; открытие, если называть вещи своими именами, представляющее собой не что иное, как клеветническую передержку мысли Белинского. Ибо именно Белинский-то, выдвигая свою формулу, определяющую Пушкина как «поэта-художника», совершенно недвусмысленно писал, что «тайна пушкинского стиха была заключена не в искусстве «сливать послушные слова в стройные размеры и замыкать звонкой рифмой», но в тайне поэзии»“.

Не буду занимать читателя „Временника“ разбором вопроса, удалось ли мне или не удалось прибавить что-нибудь к возражениям против Д. Мирского. Замечу только, что статья моя была сдана в редакцию „Временника“ в июле 1935 г., в то время когда вопрос о статье Д. Мирского был затронут в печати лишь в двух статьях (Д. О. Заславского и Н. Г. Свирина). Общая оценка И. Сергиевского голословна и потому не стоит внимания. Остановиться мне придется на другой части рецензии, где приведена из моей статьи цитата и где, на основании этой цитаты, мне инкриминируется „клеветническая передержка“ мысли Белинского.

Если ознакомиться с моей статьей по цитации И. Сергиевского, то окажется, что имя Белинского вызвано в ней моими же словами: „Нужен не весь художник“... „Пушкина Мирский согласен использовать в качестве «спеца»“ и т. д. Читателю, который читает „Литературную Газету“, не справляясь с рецензируемой книгой, внушается таким образом, что все эти обвинения я возвожу не на кого иного, как именно на Белинского.

На самом деле имя Белинского появилось у меня в результате того, что Белинского цитировал Д. Мирский, и относится оно к *предыдущей* фразе, моим рецензентом предвзвременно опущенной. Вот как начинается изложение моей мысли на самом деле:

„Вывод из рассуждений Д. Мирского нельзя не признать достаточно скудным: «Пушкин нужен нам прежде всего как «поэт-художник», широкое критическое использование которого нужно нам для стройки нашей художественной культуры». «Поэт-художник» — не случайно

стоит здесь в кавычках. Иными словами — нужен не *весь* художник в Пушкине“ (и т. д.).

Если из всей оценки Пушкина, данной Белинским, Д. Мирский выделяет только общеизвестную лапидарную формулу *поэт-художник* и заключает в кавычки эти два слова, не поясняя, как они Белинским расшифрованы, — я, естественно, должен был заинтересоваться вопросом, какое же содержание сам Д. Мирский вложил в эту формулу. Я и пытался это содержание мысли Д. Мирского раскрыть в следующих фразах, процитированных И. Сергиевским, но оторванных от начала и тем совершенно переосмысленных.

Вряд ли нужно всерьез объяснять читателям „Временника“, что я никак не мог приписывать Белинскому такую мысль, как „в Пушкине нужен не *весь* художник“, или согласие „использовать Пушкина лишь в качестве «спеца» по стихотворному и прозаическому мастерству“. Оба утверждения я относил, конечно, к Д. Мирскому и, полагаю, имел для этого основания. Если „художественный рост“ Пушкина связан, по мнению Д. Мирского, с „растерянностью и слепотой“, если „в самую сердцевину его творчества проникло лакейство“, если „стройная система образов“ его основана на „хаосе и путанице“ — это значит, что Д. Мирский ценит в Пушкине не *всего* художника и в свою формулу „поэт-художник... нужный нам для стройки нашей художественной культуры“ — вкладывает обедненное, формалистическое содержание.

Трудно допустить, чтобы сам И. Сергиевский не понимал, что говорю я о Мирском, а не о Белинском. Но в таком случае он либо допускает сознательную передержку, либо простодушно полагает, что Мирский, процитировав Белинского, тем самым отождествляется с Белинским, а Белинский, процитированный Мирским, тем самым превращается в Мирского. Если так, то честь и логику такого открытия И. Сергиевскому не следует переуступать никому: авторство его, в этом случае, неоспоримо.

Утверждая, что „Благой и Мирский... сошлись на формуле Белинского, формуле явно полемической“ и т. д. — я повторил (в отношении Д. Мирского) его же собственные слова:

„Пушкин нужен нам как «поэт-художник» и т. д. *Формула* Белинского — „поэт-художник“, взятая изолированно, всей *концепции* Белинского, конечно, не характеризует. Это я и хотел сказать, называя эту формулу „явно полемической“ и имея при этом в виду конкретные факты литературной борьбы 40-х годов. Но рецензент мой, цитируя это мое определение, видимо, никак его не осмыслил, ибо через несколько строк ставит мне в вину формалистическую трактовку уже не формулы только, а и „*концепции* Белинского“.

Обкарнав мою цитату и придав оставшимся словам совершенно превратный смысл, И. Сергиевский важно рекомендует мне познакомиться с концепцией Белинского по первоисточнику, не доверяясь „формалистической трактовке“, провозглашенной Д. Мирским в „Литературном Наследстве“. Если И. Сергиевский воображает, что „Литературное Наследство“ является единственным источником моего историко-литературного образования, — я готов его не оспаривать. Но самому-то ему, выступая в роли знатока Белинского и моего ментора, следовало бы, по крайней мере, поискать у Белинского более подходящей цитаты для доказательства неформалистического содержания его концепции. Цитата о „тайне поэзии“, приведенная И. Сергиевским, в данном случае мало помогает делу уже потому, что „поэзия“ в контексте данной главы статьи раскрывается как „красота“. На узко-формалистическое понимание концепции Белинского следует возражать, оперируя другими, гораздо более внушительными доводами: именно — раскрытием самой *эстетики* Пушкина в понимании Белинского как эстетики *чувства*, чувства, определяемого как „артистическиязящее“ и в то же время „человечески-гуманное“. В свою очередь, понимание *гуманности* у Белинского глубоко-диалектично, чем вопрос существенно осложняется.

Но все это вопросы, выходящие за пределы данного вынужденного объяснения. Остается пожалеть, что в нашей печати все еще встречаются случаи, когда серьезное обсуждение научных вопросов подменяется ловлей „выигрышных“ цитат, вдобавок и плохо понимаемых и бесцеремонно препарируемых.

Василий Гиппиус.

УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ПУШКИНА,

упоминаемых в настоящей книге

- Аквилон 192, 197.
Александр Радищев 184, 201, 419.
Альфонс садится на коня 18, 19, 454.
Ангел 339.
Анджело 192, 405, 444.
Андрей Шенье 54, 57, 321.
Анчар 407, 430.
Арап Петра Великого 118, 191, 241, 408, 409.
- Барышня-Крестьянка 118, 240, 422.
Бахчисарайский Фонтан 5—7, 222, 241, 336, 392, 395, 406, 454, 459, 466—468, 486, 487, 489, 492, 493.
Безверие 192.
Бесы 497
Борис Годунов 162, 177, 241, 313, 394, 395, 397, 403, 405, 415, 420—422, 432—434, 446, 455, 458, 459, 470, 485—487, 495.
Братья-разбойники 454, 458, 465, 467, 473—475, 488, 490, 492.
Была пора: наш праздник молодой 201.
- В начале жизни школу помню я 444.
В последний раз твой образ милый 200.
В рощах карийских любезных ловцам 197.
Вадим 192, 405, 455, 459, 460.
Веселый пир („Я люблю вечерний пир“) 485.
Вновь я посетил 188, 201.
Война 194.
Вольность. Ода 205, 322, 406, 484, 494.
Воспоминания в Царском Селе („Навис покров угрюмой ночи“) 321.
Всеволожскому 266, 270, 271.
Всем известно, что французы народ самый антипоэтический (О Викторе Гюго) 412.
Выстрел 79, 128, 408.
- Ф. Глинке („Когда среди оргий жизни шумной“) 326.
Кн. М. А. Голицыной („Давно об ней воспоминае“) 429.
Кн. Голицыной („Простой воспитанник природы“) 191.
Горд пышный, город бедный 202.
Кн. А. М. Горчакову („Но я не тот, мои златые годы“) 199.
Граф Нулин 210, 381, 392, 395, 401, 413, 444.
Гробовщик 118, 323.
- В. Л. Давыдову („Меж тем, как генерал Орлов“) 431,
26 мая 1828 г. 191.
Движение 429.
19 октября („Роняет лес багряный свой убор“) 200, 321.
Делибаш 59—61.
Деревня 204, 205, 390—392, 430.
Дневник 152, 488.
Добрый совет 430, 488.
Домик в Коломне 321, 323, 392, 395, 401, 405, 436.
Драматическое искусство родилось на площади 412, 413.
Дубровский 146, 147, 195, 240, 241, 409, 410, 422, 484, 490.
- Евгений Онегин 6, 8—11, 27, 39—42, 59, 77, 79, 101—103, 145, 158, 159, 184, 187, 188, 190—194, 196, 197, 203, 206—208, 214—239, 241, 319—321, 323, 339, 390, 392, 395—401, 403, 405, 420, 421, 436, 437, 442, 448, 456, 457, 466, 468, 470, 484, 487, 492, 496.
- Желание 192, 197.
Жених 321.
- Гавриилада 57, 322, 405, 448, 459, 465, 467.
Гасуб (Неоконченная поэма о Тазите) 197.

- За Netty сердцем я летаю** 430.
Забыв и рошу и свободу 430.
Заметка к „Графу Нулину“ («В конце 1825 года, находился я в деревне») 381, 413.
Заметка о „Полтаве“ („Habent sua fata libelli“) 413.
Заметки о народной драме и о „Марфе Посаднице“ М. П. Погодина 210.
Заметки о русском дворянстве 305.
Заметки по поводу статьи Кюхельбекера „О направлении нашей поэзии“ 413.
Заметки по русской истории (Исторические замечания) 438.
Запись рассказов И. А. Крылова о Пугачевщине 485, 490.
Зимний вечер 195.

И дале мы пошли 444.
И ты тут был 455.
Из Гафиза („Не пленяйся бранной славой“) 59—61.
Из Пиндемонте 158, 192.
Из А. Шенье („Покров, упитанный язвительною кровью“) 323.
Именины 429.
Иной имел мою Аглаю 14.
История Петра Великого 157, 437—441.
История Пугачева 395, 412, 415, 435, 470, 494.
История села Горюхина 130, 146, 200, 296, 304, 411, 412.

К вельможе 187, 395.
К другу стихотворцу 469, 493.
К Каверину („Забудь, любезный мой Каверин“) 187.
К моей чернильнице 191.
К морю 197.
К ней („Эльвина, милый друг, приди, подай мне руку“) 192.
К Овидию 192, 197.
К сестре („Ты хочешь, друг бесценный“) 192.
К Чаадаеву („Любви, надежды, тихой славы“) 430, 431.
К Ф. Ф. Юрьеву („Здорово, Юрьев, именинник“) 266, 270, 271.
Кавказский Пленник 130, 140, 183, 191, 197, 229, 233, 290—299, 323, 392, 459, 460—464, 4 67, 484—486.
Как быстро в поле, вокруг открыто 195.
Как весенней теплою порою (Начало сказки о медведе) 405, 488.

Как счастлив я, когда могу покинуть 205.
Калмычке 68.
Каменный Гость 319, 323.
Капитанская Дочка 118, 141, 146, 195, 241, 322, 409, 410, 422, 435, 458, 485.
„Карелия, или заточение Марфы Иоанновны Романовой“ Федора Глинки 326.
Катенину („Кто мне пришлет ее портрет“) 14—16, 407.
Кинжал 407.
Когда б не смутное влеченье 407.
Когда за городом задумчив я брожу 158, 392.
Когда твои младые лета 420.
Кокетке („И вы поверить мне могли“) 430.
Критон, роскошный гражданин 192.
„Кто, волны, вас остановил“ 430.

Лица, созданные Шекспиром (О Шекспире) 412.

П. Б. Мансурову 270.
Медный Всадник 158, 195, 196, 202, 208, 395, 399, 401, 405, 406, 437, 458, 485, 486, 490, 492.
Меж горных рек несется Терек 197.
Метель 119, 485.
Мирская власть 18, 158.
Мне бой знаком 270—273.
Мои замечания о русском театре 15, 16, 34, 35.
Мои мысли о Шаховском 26.
Моцарт и Сальери 319, 413, 495.

На выздоровление Лукулла 61.
На Ф. Н. Глинку („Наш друг Фита, Кутейкин в эполетах“) 326.
На гр. Д. И. Хвостова („Сожаленье не поможет“) 15, 16.
Наброски третьей статьи об „Истории русского народа“ Н. А. Полевого 209.
Набросок третьей статьи о Баратынском 201.
Надеждой сладостной младеческий дыша 430.
Наперсница волшебной старины 431.
Не дай мне бог сойти с ума 158, 205.
Ненастный день потух 339.

О народном воспитании 424.
О народности в литературе 414.
О русской литературе с очерком французской 184.
О, сколько нам открытий чудных 191.
Об Альфреде Мюссе („Между тем, как сладкозвучный, но образованный Ламартин“) 413.

- Ода Его Свят. Гр. Дм. Ив. Хвостову 13, 15.
 Олегов щит 60.
 Опыт отражения некоторых нелитературных обвинений 267.
 Орлову („О ты, который сочетал“) 203, 274.
 Осень 158, 188, 196, 197, 392.
 Ответ 203.
 Отцы пустынноики и жены непорочны 158.
- Памятник 158, 484.
 Песни Западных Славян 407.
 Песнь о Вещем Олеге 240, 329, 345.
 Пиковая Дама 74—147, 426, 443, 448, 485.
 Пир во время чумы 193, 194, 197, 319, 321.
 Письмо к издателю „Современника“ 151—153, 164.
 Письмо к издателю „Сына Отечества“ 5—7.
 Повести Белкина 118, 130, 146, 241, 309, 377, 395, 485, 486.
 Под небом голубым страны своей родной 166.
 Подражания Корану 454.
 Полководец 403.
 Полтава 44, 45, 53—55, 69, 187, 289, 395, 403, 405, 406, 439, 454.
 Пора, мой друг, пора 202, 209, 431.
 Послание к Наталье 24.
 Послание к Юдину 321.
 Послание молодой актрисе 24.
 Повесть 206.
 Предчувствие 54.
 Причинами, замедлившими ход нашей словесности 413.
 Проект предисловия к 8 и 9 главам „Евгения Онегина“ 185, 228.
 Путешествие в Арзум 57—73, 195, 200, 297—300, 415, 486, 492.
 Путешествие из Москвы в Петербург 97, 156, 184, 187, 305—307, 309—312.
 В. Л. Пушкину („Скажи, парнасский мой отец“) 188, 326.
- Разговор книгопродавца с поэтом 207, 321, 397.
 Разговор с англичанином — см.: „Путешествие из Москвы в Петербург“.
 Родословная моего героя 159, 407.
 Роман в письмах 207, 304, 410, 411.
 Романс („Под вечер, осенью ненастной“) 431.
 Рославлев 409—411.
 Русалка 406, 407, 488.
- Руслан и Людмила 59, 183, 197, 217, 221, 290, 394, 399, 405, 406, 458, 463, 464, 481, 494, 497.
 Русский Пелам 101, 133, 490.
- Саранча летела, летела 277, 289.
 Свят Иван — как пить мы станем 323.
 Свободы сеятель пустынный 474, 485.
 Седой Свистов, ты царствовал со славой 11, 15.
 Скажи какой судьбой (Комедия об игроке) 35—42.
 Сказка о золотом петушке 458, 488.
 Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях 458.
 Сказка о попе и работнике его Балде 317—324, 458, 485, 488.
 Сказка о рыбаке и рыбке 239, 458, 485, 488, 494.
 Сказка о царе Салтане 134, 135, 318, 320, 322, 446, 458, 485.
 Скупой Рыцарь 117, 120, 319, 321.
 Собрание насекомых 326.
 Сожженное письмо 339.
 Сон 203, 321.
 Стансы („Брожу ли я вдоль улиц шумных“) 186.
 Стансы („В надежде славы и добра“) 45, 439.
 Стансы („Нет, я не льстец“) 58.
 Станционный Смотритель 118, 392, 401, 485.
 Стихи, сочиненные ночью, во время бессонницы 430.
 Сто лет минуло, как тевтон (Отрывок из „Конрада Валленрода“) 43, 53, 54.
 Странник 209.
 Сцена из Фауста 441—444, 455.
 Сцены из рыцарских времен 118, 191, 405, 455.
- Таврида 194.
 Тадарашка в вас влюблен 430.
 Так водится в свете (несохранившаяся лицейская комедия Пушкина и М. Л. Яковлева) 23.
 Так море, древний душегубец 197, 205.
 Талисман 339.
 Там, где древний Кочерговский 486, 490, 492.
 Телега жизни 199.
 Тень Фон-Визина 485, 489.
 Я. Н. Толстому („Горишь ли ты, лампада наша“) 266, 271.
 Туча 192.
 Ты и я 431.

- Усы 199.
 Ек. Ник. Ушаковой („Когда, бывало, в старину“) 194.
- Фавн и пастушка 199.
 Философ (комедия) 24, 25, 41.
 Фракийские элегии. Стихотворения Виктора Теплякова. 1836 151.
- Холоп венчанного солдата 486.
 Художнику 158.
- Цезарь путешествовал 410.
 Цыганы 188, 203, 233, 241, 294, 296, 395, 458, 459, 466, 468, 485, 492, 493.
- Чаадаеву. С морского берега Тавриды („К чему холодные сомненья?“) 431.
- Чем чаще празднует Лицей 190.
 Черная шаль 467.
 Чернь 485.
 Череп 321.
- В. В. Энгельгардту 203.
 Эпиграмма на А. М. Колосову („Все пленяет нас в Эсфири“) 15.
- Юрьеву („Любимец ветреных Лаис“) 266—274.
- Я вас любил: любовь еще, быть может 420.
- L'Escamoteur (комедия, сочиненная Пушкиным в детстве) 23.
 Table-talk („Лица, созданные Шекспиром“) 414, 424, 435.
 To Dawe esq-r 429.

УКАЗАТЕЛЬ ЛИЧНЫХ ИМЕН

- Абид, Э. 251.
Абовьян, Х. 243.
Август, имп. 410.
Адеркас, Б. А. 489.
Адлерберг, В. А. гр. 350.
Адольф, А. В. 263.
Адрианов, С. А. 475.
Азадовский, М. К. 176, 315—324, 379, 484, 485, 490, 495.
Аксаков, К. С. 135.
Аладьин, Е. В. 12, 406.
Александр I 48, 210, 279, 362, 363, 367, 371, 374, 380, 431, 447, 494.
Александр II 50.
Александр Македонский 68.
Александров, Д. 485.
Алексеев, А. 448.
Алексеев, М. П. 277, 280, 291, 336, 337, 419, 432, 433, 485, 486, 495.
Алексей Петрович, царевич 440.
Алескер, Г. 242.
Альмединген, Б. А. 475—479.
Альтман, М. С. 486, 490, 492.
Андреев, А. С. 17, 158.
Андреев, Н. П. 474, 475, 484, 486, 491.
Анненков, П. В. 23, 36, 44, 185, 267, 269, 274, 283—285, 289, 315, 317, 339, 361, 404, 409, 422, 447.
Анордист, И. 220, 221.
Анреп, Р. Р. 67.
Аракчеев, А. А., гр. 486.
Арапов, П. Н. 33, 271.
Арденс, Н. 497.
Арендт, Н. Ф. 190.
Аржантоль, Ш. д' 421.
Арина Родионовна 200, 431.
Ариосто 459.
Аристофан 28.
Аронсон, М. И. 42—53, 401—404, 484, 486, 490, 491, 495.
Аршиак, виконт д' 341, 354, 356, 357.
Асенкова, А. Е. 31, 33, 34.
Аспазия 404.
Афанасьев-Чужбинский, А. С. 80, 104.
Ахматова, А. А. 454, 486, 490.
Ахундов, М. Ф. 240—253, 486.
Ашукин, Н. С. 17, 158, 479.
Бабин, В. П. 434.
Багратион, П. И., кн. 269.
Багрицкий, Э. Г. 499.
Байрон 157, 158, 162, 216—218, 394, 396—398, 402, 406, 414, 415, 437, 445, 467, 473.
Балахишвили, Я. 301.
Бальзак, О. 101, 147, 394, 436, 493.
Банников, А. 174.
Баранов, А. Н. 331.
Баранович, ген. 294, 296.
Барант, А. Г., бар. 340, 425.
Баратынский, Е. А. 173, 176, 177, 180, 189, 214—216, 313.
Барбье, П. 473.
Бардовский, А. А. 455.
Барклай де Толли, М. Б., гр. 372.
Барков, Д. Н. 27, 31, 32, 270—274.
Барсуков, Н. П. 44, 50, 439, 440.
Бартдинский, А. 218, 238.
Бартенев, В. 486.
Бартенев, П. И. 24, 46, 284, 286, 288, 291, 325, 339, 447, 494.
Бартенев, Ю. Н. 18.
Барье, О. 178.
Басманов, П. Ф. 433.
Батюшков, К. Н. 156, 165—167, 170, 177, 274, 326, 389, 415, 482.
Бахрушин, С. В. 454.
Башилов, А. А. 216, 218, 236.
Бегичев, Д. Н. 76, 82.
Белизар, Ф. М. 416.
Белинский, В. Г. 148, 149, 154—156, 160, 161, 167, 168, 182, 213, 402, 444, 469—471, 474, 486, 499, 500.
Бельчиков, Н. Ф. 486.

- Беляев, М. Д. 478.
 Бем, А. Л. 441—444.
 Беневольский, Ювенал — см. Загоскин, М. Н.
 Бенедиктов, В. Г. 147—182.
 Бенкендорф, А. Х., гр. 46, 208, 294, 296, 305, 306, 352, 419, 428—430, 488.
 Берже, А. П. 242, 249, 250.
 Бернет, Е. 164, 167, 175.
 Бернштам, Ф. Г. 478.
 Бернштейн, С. И. 457, 486.
 Беролини, О. 259.
 Бескин, Э. 486.
 Бестужев (Марлинский), А. А. 39, 38, 42, 69, 71, 79, 93, 121, 177, 182, 242, 243, 245—248, 250, 251, 253, 370, 371, 438, 474.
 Бестужев, Н. А. 149, 181, 379.
 Бестужев, Пав. А. 246.
 Бестужев, Петр А. 246.
 Бестужев-Рюмин, М. А. 227, 228, 266.
 Бестужев-Рюмин, М. П. 422.
 Бетанкур, А. А. 354.
 Бибииков, А. И. 415.
 Биркман, П. 94.
 Бируков, А. С. 292.
 Бисмарк, О. 352.
 Бицилли, П. 445.
 Биша, Х. 184.
 Благой, Д. Д. 12—15, 51, 365, 387—389, 394—397, 399, 400, 429—431, 454, 484—486, 488, 491, 495, 496, 499, 500.
 Блок, А. А. 491.
 Блюменфельд, В. 497.
 Бобринский, А. А., гр. 312.
 Боброва, Е. И. 445—448.
 Богаевская, К. Н. 469.
 Богданович, И. Ф. 415.
 Боденштедт, Ф. 243, 352, 445, 448.
 Бокль, Г. 244.
 Бондарь, В. 498.
 Бонди, С. М. 9, 272, 273, 366, 406, 412, 423, 454, 455, 458—468, 484—486, 490.
 Бориневич-Бабайцева, Э. А. 336—338.
 Борский, Б. — см. Томашевский, Б. В.
 Боткин, В. П. 160.
 Боцяновский, В. Ф. 423, 424.
 Бочелли, Ч. 446.
 Боченков, В. В. 36.
 Браиловский, С. Н. 13.
 Брандес, Г. 445.
 Браницкая, А. В., гр. 279.
 Брант, Л. В. 98.
 Браудо, Е. М. 497.
 Брей, О., гр. 352.
 Бригель 416.
 Бровман, Г. 486.
 Брут 381, 410, 413.
 Брюллов, К. П. 17—19, 158.
 Брюсов, В. Я. 37, 404, 447.
 Брянский, Я. Г. 36, 37, 39.
 Буало, Н. 388, 389, 393.
 Булатов, А. М. 378.
 Булгаков, А. Я. 276, 480.
 Булгарин, Ф. В. 59, 121, 135, 157, 159—162, 164, 165, 174, 319, 487.
 Бунтова, казачка 434.
 Бурцов, И. Г. 65—67.
 Бутурлин, М. П. 426.
 Бухгольд, П. 473.
 Бушин, М. 426.
 Бюффон, Ж. 184.
 Бялый, Г. А. 408—410, 484.
 Вальбе, Б. С. 486.
 Валберх, И. И. 24.
 Валберхова, М. И. 33, 34, 37—39.
 Вальховский, В. Д. 64.
 Ваньер, Ж. 262, 265.
 Варнгаген фон Энзе, К. 445, 448.
 Василевская, Е. А. 458.
 Вахрушев, Ф. 237.
 Вебер, К. 457.
 Вейденбаум, Е. Г. 71.
 Вейнберг, А. Л. 482—483.
 Вейсгаупт, А. 210, 363.
 Вейсман фон Вейсенштейн, О. А. 410.
 Векилов, Самед Вургун 241.
 Великопольский, И. Е. 218, 219, 223, 229, 232—234, 239.
 Величкин, М. В. 36, 37.
 Вельтман, А. Ф. 336, 415, 419, 471, 472.
 Вельтман, Е. 336.
 Венгеров, С. А. 13, 18, 19, 36, 266, 271, 279, 315, 368, 373, 390, 404, 423, 424.
 Веневитинов, Д. В. 43, 51, 156, 158, 159, 162, 178, 183, 313.
 Вердеревский, А. Д. 157.
 Вересаев, В. В. 447, 454, 486.
 Вернадский, Г. В. 447.
 Верне, О. 18.
 Верстольк-Зелен 341, 348.
 Верховский, Н. Ю. 491, 497.
 Верховский, Ю. Н. 415.
 Веселовский, А. Н. 445.
 Вест, В. 355.

- Вибельман, Е. 336—339.
 Вигель, Ф. Ф. 28, 173, 276—280, 285, 287, 471.
 Виельгорский, М. Ю., гр. 19, 302.
 Вильгельм I 353.
 Виллие, Я. В., бар. 303.
 Вилянова, Ф. И. 493.
 Виноградов, А. К. 18, 19, 53.
 Виноградов, В. В. 74—147, 432—434, 486, 491, 496.
 Виноградов, И. А. 387, 394, 395, 400, 401.
 Винокур, Г. О. 432, 433, 454, 456—459, 466—468, 486, 487, 490, 491, 495, 496.
 Виргилий 263.
 Вите, Л. 432.
 Витт, И. О., гр. 420.
 Вишневский, Ф. Г. 245.
 Владиславлев, В. А. 165.
 Воейков, А. Ф. 14, 165, 174, 394.
 Волков, А. А. 294, 296.
 Волков, Г. А. 479—481.
 Волков, Н. Д. 487.
 Волков, П. 218, 222, 229—233, 239.
 Волконская, С. Г., кн. 475.
 Волконский, П. М., кн. 350, 351, 494.
 Вольтер 25, 100, 184, 244, 245, 257—265, 388, 405, 412, 421.
 Воронцов, М. С., кн. 275—281, 283—289, 335, 338.
 Воронцова, Е. К., кн. 279, 287, 288, 336—339.
 Востоков, А. Х. 416, 417, 419.
 Врангель, Н. Н., бар. 269.
 Вревская, Е. Н., бар. 362.
 Всеволожская, С. И. 268.
 Всеволожский, А. В. 27, 267—270, 272, 273.
 Всеволожский, Н. В. 27, 31, 32, 266—273.
 Вульпиус, Х. 473.
 Вульф, Ал. Н. 362, 424, 471, 472.
 Вульф, Ан. Н. 486.
 Вульферт, А. Е. 290, 291.
 Вяземский, В. Ф., кн. 13, 14, 16, 285, 288, 486.
 Вяземский, П. А., кн. 5—8, 12—14, 16, 18, 34, 41, 45, 57, 58, 77, 97, 98, 104, 144, 149, 150, 152, 157, 166, 172—177, 180, 189, 208, 280, 285, 287, 288, 290, 291, 304, 316, 318—322, 325, 326, 328, 364, 367, 371, 382, 399, 415, 422, 423, 439, 456, 459, 472, 479, 481—483, 494.
 Вяземский, П. П., кн. 286, 287, 480.
 Гагарин, И. С., кн. 150—152, 154, 164, 182, 351, 356—358.
 Гаевский, В. П. 23.
 Газер, Д. Л. 485.
 Гамба, П. 70, 71.
 Гангелов, А. С. 246.
 Ганнибал, А. П. 418.
 Ганнибал, М. А. 431.
 Гарденин (Коган), Л. 498.
 Гардзони, М. 62.
 Гарнак, О. 445.
 Гастфрейнд, Н. А. 349.
 Гегель, Г. 470.
 Геерен, А. 438.
 Гейне, Г. 396.
 Геккерн, Л., бар. 340—355, 358, 425, 483, 489.
 Геккерн-фан, Ф. 342.
 Геккерн-фан, Я. 341, 342.
 Гельведий, К. 184.
 Геннади, Г. Н. 270, 494.
 Геро, Е. 420.
 Герцен, А. И. 44, 48, 165, 440, 441.
 Гершель, И. 184.
 Гершензон, М. О. 277, 286.
 Геслинг, Н. Н. 493.
 Геснер, С. 234.
 Гессен, С. Я. 292, 361—384, 421—424, 471, 487, 491, 493, 495, 498.
 Гете 51, 162, 172, 191, 442, 444, 473.
 Гизо, Ф. 420.
 Гинзбург, Л. Я. 148—182, 387—401, 487.
 Гинзбург, М. 487, 494.
 Гиппиус, В. В. 485, 487, 491, 499, 500.
 Гиппократ 184.
 Глебов, Г. С. 183—212.
 Глинка, С. Н. 91.
 Глинка, Ф. Н. 181, 325—334, 404, 471.
 Глузов, А. Н. 432, 433, 486, 487.
 Гнедич, Н. И. 15, 35, 290, 460.
 Гогарт, В. 91.
 Гоголь, Н. В. 79—82, 94, 118, 131, 151, 154, 160, 163, 174, 317—319, 322, 412, 470, 488, 489.
 Годунов, Б. Ф. 162, 441, 485.
 Голиков, И. И. 437—440.
 Голицын, А. Н., кн. 343.
 Голицын, В. С., кн. 303, 312, 313.
 Голицын, Л. М., кн. 494.
 Голицына, В. 485, 493.
 Гольбах, П. 243.
 Гончаров, Н. А. 354, 356.
 Гончарова, А. Н. 425.
 Гончарова, Е. Н. 341, 353—357, 425.
 Гончарова, Н. И. 354, 356, 480.
 Гораций 200, 263, 410.

- Горкуша, В. С. 218, 219, 237.
 Городецкий, Б. П. 290—293, 432, 486, 487, 490.
 Горчаков, В. П. 301, 471, 472.
 Горчакова, М. А., кн. 494.
 Гофман, М. Л. 445.
 Гофман, Э. 75, 96.
 Граббе, П. Х. 20.
 Грай, В. 494.
 Грановский, Т. Н. 149, 179, 182.
 Гребенка, Е. П. 174, 181.
 Грессе, Ж. 41, 42.
 Греч, Н. И. 31, 87, 160, 164, 165, 174, 290.
 Грибоедов, А. С. 15, 29—31, 36, 38, 41, 42, 135, 164, 248, 427, 494.
 Григорьев, А. А. 149, 181, 217.
 Григорьев, И. 487.
 Григорьян, К. Н. 491, 495.
 Гришашвили 251.
 Гроссман, Л. П., 89, 101, 340—358, 454, 487, 491, 496.
 Грот, К. Я. 23, 24, 26, 363.
 Грот, Я. К. 102, 165, 166, 364, 447.
 Грушкин, А. И. 454.
 Гудзий, Н. К. 454, 458, 459, 465, 467.
 Гудович, И. В., гр. 104.
 Гулевой, Н. С. 174.
 Гуревич, А. Я. 491.
 Гус, М. С. 487, 495.
 Гусейн, М. 242.
 Гюго, В. 89, 90, 167, 170, 178.
 Давиденко, Н. Н. 217.
 Давыдов, В. Л. 404, 431.
 Давыдов, Д. В. 135, 175, 233.
 Давыдов, И. И. 133, 181.
 Давыдов, Н. В. 477.
 Давыдова, А. В. 469.
 Даламбер, Ж. 264.
 Даль, В. И. 181, 190, 191, 364, 434, 472.
 Дамиани, П. 445—448.
 Данзас, К. К. 369, 472.
 Данилевский, А. С. 317, 318, 320.
 Данилов, Кирша 480.
 Данте 444.
 Дантес, А. 355, 356.
 Дантес, И.-К. 354, 355.
 Дантес, М.-Л. 354.
 Дантес-Геккерн, Ж. 341, 343, 344, 348, 351, 353—358, 370, 471, 483, 491, 496.
 Дантес-Геккерн, Л.-Ш. 355.
 Дантес-Геккерн, М.-Е. 355.
 Дарский, Д. 493, 497.
 Дашков, Д. В. 26, 467, 468.
 Дашкова, Е. Р., кн. 415.
 Девিশев, А. 485.
 Дегильи 35.
 Декарт Р. 100.
 Делавинь, К. 178.
 Делану, Е. 28.
 Деларю, М. Д. 157, 158, 494.
 Делиль, Ж. 391.
 Дельвиг, А. А., бар. 126, 135, 157, 189, 190, 214, 291, 292, 384, 415.
 Дерам, лорд 340.
 Державин, Г. Р. 78, 163, 167, 170, 243, 249, 326, 414.
 Державин, К. Н. 432, 485—487, 492.
 Державин, Н. С. 487.
 Де-Рибас, А. М. 419, 420, 488, 490.
 Де-Рибас, М. Ф. 420.
 Дерман, А. Б. 495.
 Десницкий, В. А. 307, 401—403, 410, 454, 475, 484, 488, 491.
 Дегуш, Н. 25.
 Джавад, А. 241.
 Дидро, Д. 184, 244, 415.
 Дмитриевский, И. А. 23, 38.
 Дмитриев, И. И. 13, 14, 392.
 Дмитриев, М. А. 6, 7.
 Дмитриев, Н. 495.
 Добролюбов, Н. А. 470, 489.
 Добрынин, А. Ф. 456, 495.
 Долгорукий, Я. Ф., кн. 439.
 Долгоруков, И. М., кн. 433.
 Доливо-Добровольский, Ф. О. 17—19.
 Дондуков-Корсаков, М. А. 469.
 Дондуа, В. Д. 297, 299—301.
 Дондуа, К. Д. 300.
 Донской, Д. И., вел. кн. 415.
 Достоевский, А. М. 76.
 Достоевский, Ф. М. 76, 130, 436, 447.
 Драганов, П. Д. 446, 448.
 Друвиль 69.
 Дубельт, Л. В. 478, 493.
 Дурново, А. П. 494.
 Дурова, Н. А. 313.
 Дурылин, С. Н. 51, 488.
 Дюканж, В. 91.
 Дюкре-Дюминиль, Ф. 473.
 Дюсерсо 24.
 Дюшатле-Тришато, М. А. 261, 262.
 Евгеньев-Максимов, В. Е. 488.
 Ежов, Н. М. 18.

- Екатерина II 76, 91, 260, 312, 342, 412, 430.
 Ельницкий, А. Е. 328.
 Еникалопов, И. 488, 493.
 Ермилов, В. В. 488, 495.
 Ермолов, А. П. 20, 59, 63, 66, 67, 73, 424.
 Ершин, А. 497.
 Ершов, П. П. 167, 315, 316.
 Ефремов, П. А. 267, 268, 270, 336, 404.
- Жандр, А. А.** 30, 31, 432.
Жаров, А. А. 498.
Жарова, Н. Б. 469.
Жданов, В. 484, 485, 596.
Жевержеев, Л. П. 493.
Желанский, А. 488.
Железнов, М. И. 18.
Жерар, Э. 356, 357.
Жид, А. 448, 491, 492.
Жидков, В. Г. 497.
Жирмунский, В. М. 236, 437.
Жомини, Г. В. 38, 39.
Жуи, Е. 40.
Жуковский, В. (А. 18, 27, 148—150, 153, 156, 164, 165, 172—177, 180, 190, 214, 229, 233, 291, 292, 317, 318, 320, 322, 326, 372, 384, 390, 405, 416, 418, 419, 430, 459, 472, 477, 478, 487.
Жуковский, П. В. 18.
Жуссерандо, Л. 446, 448.
- Завалиевский, Н. С.** 278, 281, 282, 285.
Загорский, М. Б. 454, 488.
Загоскин, М. Н. 25, 27—31, 38, 41, 109, 173.
Закревская, А. Ф., гр. 420.
Закревский, А. А., гр. 269, 328.
Закруткин, В. А. 473—475, 488.
Замков, Н. К. 328.
Заславский, Д. О. 489, 499.
Зворыкин, Б. 446.
Звягинцева, В. 498.
Зеленецкий, К. П. 277, 281, 422.
Зелинский, В. О. 469.
Зенгер, Т. Г. 62, 412, 141, 415, 435, 469.
Зилов, А. 158.
Зобин, А. 488, 491.
Золотарев, С. А. 454.
Зонтаг, И. 482.
Зотов, В. Р. 84.
- Иванчин-Писарев, Н. Д.** 12.
Ивелев — см. Великопольский, И. Е.
Ивелич, Е. М., гр. 14.
- Иенсен, А.** 445.
Измайлов, А. Е. 16.
Измайлов, В. В. 469.
Измайлов, Н. В. 53, 404—408, 425—426, 454, 459, 484.
Иконников, А. Н. 23.
Илличевский, А. Д. 24, 25.
Инзов, И. Н. 287.
Иоселиани, П. И. 300.
Ипсианти, А. К., кн. 296.
Иракий II, царь Грузии 300.
Исаков, Ю. 497.
Исмаилов, Е. 496.
Истомина, А. И. 220.
- Каэанский, Б. В.** 302—314, 365, 426—427, 488—491, 493, 494, 496.
Казначеев, А. И. 277, 278, 280, 285, 288, 289.
Кайданов, И. К. 438.
Кайданова, Е. Н. 416.
Калаушин, М. М. 491, 494.
Каллаш, В. В. 250, 251.
Кальдерон де ла Барка, П. 413.
Кампан, Ж. 76.
Канкрин, Е. Ф., гр. 172, 347, 348, 487.
Канова, А. 172.
Кант, Э. 183, 232.
Капнист, В. В. 28, 36.
Капнист, П. 277.
Карамзин, А. Н. 217, 351, 353.
Карамзин, Н. М. 14, 48, 78, 141, 157, 249, 286, 372, 392, 432, 478, 487.
Каратыгин, П. А. 14, 15, 31.
Каратыгина, А. М. 12, 14—16, 31, 273, 471.
Карл XII 96.
Карлгоф, В. И. 165, 172, 173, 175.
Карлгоф-Драшусова, Е. А. 149, 165, 176.
Карпов, Н. 161.
Каррера, В. 448.
Кассий 410.
Кассим, Г. 247.
Каталан, А. 276.
Катанская, Л. А. 469.
Катенин, П. А. 14—16, 26, 31, 41, 57, 200, 372, 422, 432.
Каховский, П. Г. 422.
Каченовский, М. Т. 11, 418, 419.
Керн, А. П. 471.
Кинэ, Э. 144.
Кипренский, О. А. 19, 373.
Киреевский, И. В. 43, 45, 46, 49, 53, 159, 183, 214, 216, 313.

- Киреевский, П. В. 53, 307, 313, 434, 491.
 Кирпотин, В. Я. 489.
 Киттар, Г. 445.
 Клапрот, М. 70.
 Клейст, Г. 473.
 Климентьев, И. И. 248, 249.
 Климов, С. П. 478.
 Ключников, И. П. 178.
 Княжнин, Я. Б. 24, 25, 36.
 Ковалевский, П. М. 163.
 Коварский, Н. А. 485.
 Кодрингтон, Э. 302.
 Кожевников, Н. П. 245.
 Козлов, И. И. 126, 176, 214.
 Козмин, Н. К. 2, 18, 413—421.
 Кокошкин, Ф. Ф. 29.
 Колмогоров, 281, 282.
 Колосова, А. М. — см. Каратыгина, А. М.
 Кольцов, А. В. 152—154, 173.
 Комаров, М. 473.
 Комовский, В. Д. 321, 491.
 Комовский, С. Д. 465, 471.
 Кондаков, С. Н. 18.
 Кондратьев, И. К. 493.
 Конисский, Г. 415.
 Констан, Б. 44, 394, 454, 486, 490.
 Константин Константинович Романов (К. Р.)
 8.
 Константин Павлович 52, 364, 371, 375, 377,
 422.
 Корнель, П. 388.
 Корнилов, А. А. 471.
 Корф, М. А., гр. 437, 471.
 Корф, Ф. Ф., бар. 92.
 Костенецкий, Я. И. 44.
 Косяровский, И. 218, 238.
 Коцебу, А. 473.
 Кочарлийский, Ф. 240.
 Кошелев, А. И. 43, 45, 183.
 Краевский, А. А. 149, 150, 153, 154, 469.
 Крамер, К. 473.
 Красов, В. И. 178.
 Красовский, А. И. 290—293.
 Кромвель, О. 419.
 Крылов, И. А. 18, 150, 326, 485, 490.
 Крылова, А. 270.
 Кубасов, И. А. 18, 19.
 Кузмин, А. 436.
 Кузнецов, М. 494.
 Кузнецова, У. 435.
 Кукольник, Н. В. 152—154, 162—165, 167, 172,
 175—177, 181.
 Кулаковский, П. А. 448.
 Курочкин, А. 366, 374, 422.
 Кучинский, А. 354.
 Кювелье, А. 473.
 Кювье, Ж. 184.
 Кюфферле, Р. 448.
 Кюхельбекер, В. К. 13, 177, 214, 364, 367,
 415, 432, 494.
 Лагарп, Ж. 28, 419.
 Ладыженский, Г. 69.
 Лажечников, И. И. 471, 472.
 Лаваревский, И. И. 496.
 Ламартин, А. 178.
 Лансере, Н. Е. 478.
 Ланской, В. С. 287.
 Лаплас, П. 184.
 Лебедев, И. 446.
 Лебрен, Ш. 473.
 Леве-Веймар, Ф. А. 18, 208.
 Легер, А. 448.
 Ледницкий, В. 445, 448.
 Лемке, М. К. 43, 294, 440.
 Ленин, В. И. 198, 470.
 Леонидзе, Г. 71, 72, 299, 300.
 Лермонтов, М. Ю. 79, 80, 96, 100, 149, 154,
 160, 221, 240, 241, 253, 445, 470, 474.
 Лернер, Н. О. 18, 19, 36, 101, 104, 277, 285,
 287, 307, 315, 316, 423, 424.
 Лике, Т. 420.
 Липранди, И. П. 276—278, 280, 284, 382, 471,
 472.
 Лисенков, И. Т. 428, 493.
 Лобанов, М. Е. 162.
 Ло Гатто, Э. 445—448.
 Лодер, Х. И. 234.
 Лозанова, А. Н. 434, 435.
 Локс, К. 484.
 Ломоносов, М. В. 243, 249, 326, 389.
 Лонгинов, М. Н. 276, 288.
 Лонгинов, Н. М. 276, 277, 280, 288, 337.
 Лопатто, М. О. 133.
 Лорер, Н. И. 210, 365, 376, 377, 380, 382.
 Лорович, В. В. 277.
 Луганский, казак — см. Даль, В. И.
 Лугинин, Ф. Н. 471.
 Лукин, В. И. 36.
 Лукреция 209, 381.
 Луначарская, С. А. 496.
 Луппол, И. К. 484.
 Льюис, Д. 473.
 Люблинский, В. С. 257—265.

- Людовик XIV 260.
 Люцероде, К., бар. 173, 425.
- Мадатов, В. Г.**, кн. 424.
Мазепа, И. С. 53 — 55, 56, 187, 406.
Майков, В. И. 392, 393, 400, 423, 436.
Майков, Л. Н. 271, 297, 364, 373, 424, 447.
Макаров, П. И. 77.
Максимович, А. Я. 491.
Максимович, М. А. 184.
Малиновский, И. В. 369.
Мальфилатр 9.
Мальцов, И. С. 17—19.
Малютин, П. П. 491.
Мамай 415.
Мамед-Таги 242, 243.
Мансуров, Н. П. 270.
Мансуров, П. Б. 33, 266, 269, 270, 274.
Мануйлов, В. А. 454, 489, 491.
Марвич, С. М. 491.
Марголина, А. 394, 397.
Марешаль 473.
Маржерет, Ж. 433.
Мария-Антуанетта 77.
Маркевич, А. И. 277.
Марлинский — см. Бестужев, А. А.
Мартен, А. 421.
Магинни, Л. 446.
Машков, П. А. 86, 98.
Маяковский, В. В. 217, 490, 493.
Мегрет 96.
Медведева, И. Н. 485.
Медженис 351.
Мейлах, Б. С. 489, 491, 496.
Меренберг, Н. А., — см.: Пушкина, Н. А.
Мериме, П. 18, 19, 133.
Мерник, М. 495.
Мертлан, А. К., бар., урожд. Дантес 356.
Мертлан, Ф., бар. 356, 357.
Метман, Л. 352, 353.
Меценат 410.
Мещерский, А. В., кн. 18.
Микель-Анджело 172.
Милль, Д.-С. 244.
Милорадович, М. А. гр. 272, 325.
Мильтон, Д. 419.
Миницкий, С. И. 329, 334.
Минский, Н. М. 188.
Минье, Ф. 420.
Мирский, Д. П. 445, 448, 455, 487, 489, 491, 492, 498—500.
Митрофанов, П. 221.
- Митьков, М. Ф.** 376.
Мицкевич, А. 362—364, 382, 402, 403, 445, 448.
Мишеле, Ж. 420.
Мнишек, М. 420.
Модзалевский, А. В. 478.
Модзалевский, Б. Л. 12, 27, 32, 43, 183, 184, 266, 269—271, 280, 307, 319, 335, 417, 419, 421, 424, 447, 482.
Модзалевский, Л. Б. 17—19, 257, 297—298, 320, 366, 372, 414, 415, 472, 478, 485, 489, 494, 496, 497.
Моланд, Л. 258, 260, 261, 264.
Моллер, А. Ф. 378.
Молчанов, П. С. 190.
Мольер, Ж. 23, 25, 28, 41, 490, 492.
Монси, А. 448.
Монтальто 51.
Монтандон, К. 335, 336.
Монтескье, Ш. 244.
Мордовченко, Н. И. 469—471, 491, 496.
Морозов, П. О. 404.
Морозов, П. Т. 279.
Мосальский, К. П. 174.
Мумтаз, С. 251.
Муравьев, А. Н. 64, 465.
Муравьев, М. В. 482.
Муравьев, Н. М. 47, 48.
Муравьев, Н. Н. 217—219, 222, 229, 232, 233, 239.
Муравьев-Апостол, С. И. 422.
Муравьева, А. Г. 368.
Мусин-Пушкин, Е. С. 245.
Муханов, Н. А. 313.
Мюссе, А. 240.
Мюшфик, А. 241.
Мякотин, В. А. 445.
- Надеждин, Н. И.** 11, 68, 69, 151, 155, 159, 294.
Наполеон I 101, 104, 209, 352, 431, 438, 443.
Нарежный, В. Т. 78, 474.
Нащокин, П. В. 17, 18, 24, 190, 312, 420, 428, 480.
Нащокина, В. А. 18, 472.
Небольсин, Н. А. 44.
Неведомский, М. П. 454.
Неверов, Я. М. 179.
Невзоров, Н. 18.
Неизвестный (автор пародии на 1-ю главу „Евгения Онегина“) 215, 216.
Нейман, Б. В. 445.
Некрасов, Н. А. 149, 169, 240, 400, 474.
Некрасов, С. С. 478.

- Нессельроде, К. В., гр. 18, 287, 343—345, 347—349.
- Нечкина, М. В. 365, 374—376, 378—380, 422, 454, 479.
- Никитенко, А. В. 152.
- Никитин, поручик 17, 19.
- Николай I 44, 45, 50—52, 54, 55, 63, 160, 205, 209, 221, 286, 303, 342, 343, 349, 350, 403, 406, 419, 423, 424, 439, 447, 481.
- Николич, Д. 489.
- Новиков, И. А. 454, 489, 490, 496, 498.
- Новиков, Н. И. 28.
- Новоселов, С. К. 66.
- Новосильцов, Н. Н. 482.
- Новосильцов, П. П. 44.
- Нодье, Ш. 473.
- Норов, А. С. 152, 173.
- Оболенский, Е. П., кн. 43, 370—372, 379.
- Оболенский, Н. Н., кн. 428.
- Овидий 263
- Огарев, Н. П. 474.
- Огрон, Б. 441—444.
- Одоевский, В. Ф., кн. 153, 165, 174, 183.
- Озеров, В. А. 144, 414, 415.
- Оксенов, И. А. 454, 455, 484, 490.
- Оксман, Ю. Г. 5—7, 14, 31, 181, 257, 291, 292, 325—334, 339, 367, 410—414, 434—435, 454, 455, 484, 485, 490, 491, 494, 496.
- Ольдекоп, Е. П. 261—293.
- Оман, Б. 448.
- Онегин, А. Ф. 61.
- Оранский, принц 342.
- Ордубади, М. С. 241, 242.
- Оржицкий, Н. Н. 245, 246.
- Орлов, А. С. 221, 339, 454.
- Орлов, В. Н. 13, 55.
- Орлов, М. Ф. 276, 367, 376.
- Орлов, С. 498.
- Орлова, Е. Н. 276, 488.
- Осипов, Н. П. 77.
- Осипова, М. И. 362, 373, 383, 470.
- Осипов, П. А. 362, 366, 372, 373, 377, 421.
- Оссиан 394.
- Островская, А. 182.
- Павел I 427.
- Павел Харибда 496.
- Павлищев, Л. Н. 471.
- Павлищева, О. С. 23, 154, 339.
- Павлов, Н. Ф. 121, 173.
- Палиссо, Ш. 25
- Панаев, И. И. 148—150, 152, 160, 163, 165, 173.
- Парни, Э. 391, 394.
- Паскевич-Эриванский, И. Ф., гр. 58, 63, 65, 66, 68, 69, 72, 419.
- Пассек, Т. П. 44.
- Переверзев, В. Ф. 490.
- Периял 404.
- Перовский, П. А. 490.
- Персий 258—261, 263, 264.
- Пестель, П. И. 55, 422.
- Петр I Алексеевич 45—50, 53, 54, 56, 157, 406, 435, 437—441.
- Петров, П. 494.
- Петроний 410.
- Пигарев, К. В. 494.
- Пиксанов, Н. К. 182.
- Пиксерекур 27.
- Пина, маркиз де 341.
- Писарев, Д. И. 491.
- Писаренко, В. З. 276, 277, 280, 282, 289.
- Платонов, А. А. 478.
- Племянников, П. Г. 410.
- Плетнев, П. А. 130, 149, 152, 153, 165, 166, 173—175, 189—191, 319, 321, 384, 420.
- Плиний 69, 70.
- Победоносцев, П. В. 78.
- Погодин, М. П. 44, 45, 49—51, 58, 59, 73, 121, 159, 179, 183, 206, 313, 319, 321, 322, 364—366, 380, 382, 412, 415, 437, 439, 440, 455, 491, 494, 496.
- Погорельский (Перовский), А. А. 135.
- Подолинский, А. И. 472.
- Подосинникова, А. Т. 458.
- Покровский, М. М. 445, 448.
- Полевой, К. А. 11, 54, 55, 373, 418, 472.
- Полевой, Н. А. 12, 55, 104, 148, 155, 157, 158, 160, 162, 176, 246, 248, 397, 469.
- Полежаев, А. А. 218, 219—223, 239.
- Полиньяк, Ж., кн. 104, 209.
- Полонский, Я. П. 148, 149, 172, 243.
- Полторацкий, С. Д. 420.
- Поляков, А. С. 447.
- Помпей 68.
- Поп, А. 398.
- Попов, П. А. 469.
- Попов, П. С. 366, 372, 421, 437—441.
- Попова, Н. А. 469.
- Потапов, С. М. 104.
- Потемкин, С. П., гр. 312.
- Потемкина, Е. П., гр., уржд. кн. Трубецкая 312.
- Потокский, Н. Б. 493.

- Потоцкая, С. К., урожд. гр. Браницкая 338.
 Потоцкий, А. И. 338.
 Потоцкий, И. О. 70, 338, 454.
 Потоцкий, С. О. 338.
 Прево, О. А. 469.
 Пришвин, М. 490.
 Просняник, И. М. 490.
 Пруссаков, К. 490.
 Прямосудов, Ювенал — см. Соц, В. И.
 Публикола 381, 413.
 Пугачев, Е. И. 412, 434, 435.
 Пуквиль, Е. 296.
 Пуле, М. Ф. де, 153, 154.
 Путята, Н. В. 494.
 Пушкин, А. М. 29, 39.
 Пушкин, В. Л. 12, 30, 288, 289, 392, 398, 400.
 Пушкин, Г. А. 479.
 Пушкин, Г. Г. 479.
 Пушкин, Л. С. 86, 210, 286, 329, 365, 373, 382, 424, 454, 471, 489.
 Пушкин, Н. Б. 482.
 Пушкин, С. Л. 190, 291, 292, 494.
 Пушкина, В. Ф. 482.
 Пушкина, Л. Н. 482.
 Пушкина, Н. А. 18, 478.
 Пушкина, Н. Н. 19, 154, 190, 312, 313, 420, 425, 431, 478, 480, 481.
 Пушкина, О. С. — см. Павлищева, О. С.
 Пуштин, И. И. 43, 210, 286, 364—371, 374—380, 383, 422, 424, 471, 491, 493, 496.
 Пуштин, М. И. 65, 244, 375, 378, 472.
 Пьер, А. 448.
 Пыляев, М. И. 89, 91.
 Радищев, А. Н. 307.
 Радклиф, А. 473.
 Радожицкий, И. Т. 59, 68.
 Раевский, А. Н. 278, 279, 285, 287, 420.
 Раевский, В. Ф. 367.
 Раевский, Н. Н., мл. 64, 66, 67, 272, 418, 420, 474.
 Раевский, Н. Н., ст. 286.
 Разин, С. Т. 434, 435.
 Разина, казачка 434.
 Райт, Т. 483.
 Рамазанов, А. Н. 36, 37.
 Расин, Ж. 15, 16, 258, 388, 413.
 Рафаэль 172.
 Рейнгольдт, А. 445.
 Ремезов, И. 491.
 Реньяр, Ж. 29, 39, 91, 100.
 Рест, Б. 454, 496, 497.
 Ривароль, А. 419.
 Ризнич, А. 422.
 Риччи, гр. 447.
 Робеспьер, М. 439.
 Родзевич, Д. 354.
 Рожалин, Н. М. 43, 44.
 Рождественский, В. А. 454, 455.
 Розанов, И. Н. 213—239.
 Розен, А. Е., бар. 379.
 Розен, Г. В., бар. 243, 250.
 Розен, Е. Ф., бар. 152, 153, 175, 181, 415.
 Розенталь, М. М. 492.
 Ройе-Коллар, П. 44.
 Роккиджани 447.
 Россет, А. О. — см. Смирнова, А. О.
 Россини, Д. 422.
 Ротано 17, 19.
 Рошин, Я. 496.
 Рудыковский, Е. П. 471.
 Руми, Д. 245.
 Руссо, Ж.-Ж. 25, 47, 416.
 Рутковская, Б. 492.
 Рыкова, Н. В. 491, 492.
 Рылеев, К. Ф. 16, 43, 46, 61, 133, 164, 210, 248, 362—364, 366, 367, 369—372, 410, 413, 422, 438, 474, 487, 494.
 Рычков, П. И. 415.
 Савостьянов, К. И. 301.
 Сади, 468.
 Садиков, П. А. 266—274.
 Садовский, Б. А. 148.
 Саятов, В. И. 141, 183, 291, 292, 447.
 Сакулин, П. Н. 436.
 Салтыков-Щедрин, М. Е. 130.
 Санина, А. А. 469.
 Сансон 427.
 Сафонов, С. В. 278, 282, 283.
 Светлова, М. К. 496.
 Свирин, Н. Г. 454, 455, 491, 492, 495, 499.
 Северин, Д. П. 278, 281—283, 286.
 Северинов, А. 218, 235.
 Сегюр, А., гр. 24.
 Сегюр, Л.-Ф., гр. 49.
 Седен, М. 25.
 Сеймонд 44.
 Семейский, М. И. 362, 363, 374, 471, 478.
 Семен, А. 294.
 Семенов, В. Н. 62.
 Семенов, С. М. 376, 379.
 Семенова, Е. С. 15, 34.
 Семенова, Н. С. 272.

- Сенковский, О. И. (Барон Брамбеус) 149, 151, 153, 155, 161, 174, 178, 181, 418, 419.
- Серафим, митрополит 57.
- Сербский, Г. П. 275—289.
- Сергеев-Ценский, С. Н. 498.
- Сергиевский, И. В. 484, 485, 487, 491, 492, 496, 499, 500.
- Серзе-Люзиньян, Г., гр. 355, 356.
- Сикст V 51, 52, 54.
- Сиповский, В. В. 78, 336.
- Сиххат, А. 240.
- Скальковский, А. А. 281.
- Скаррон, П. 393.
- Скобелев, И. Н. 474.
- Скотт, В. 394.
- Слонимский, А. Л. 23—42, 368, 432, 433, 458, 486, 491, 492, 495, 498.
- Слонимский, Ю. О. 492.
- Слуцкая, Ф. Е. 458.
- Слюсарев, А. А. 481, 482.
- Смирдин, А. Ф. 315, 316.
- Смирнов, В. А. 498.
- Смирнов, Н. М. 104.
- Смирнова, А. О. 104, 173, 317, 320, 322, 471.
- Смит, А. 91.
- Собаньская, К. А. 419, 420, 425.
- Собанский, М. К. 281, 282.
- Соболевский, С. А. 17, 19, 42, 53, 184, 210, 313, 362—366, 377, 380—382, 420, 471, 479, 491, 493, 496.
- Соколов, А. Н. 436, 437, 492.
- Соколова, Л. А. 491.
- Сокольников, М. П. 498.
- Сократ 28.
- Соллогуб, В. А., гр. 243, 472.
- Сомов, О. М. 41, 91.
- Сосницкая, Е. Я. 33.
- Сосницкий, И. И. 33, 34, 36—39.
- Соц, В. И. 28, 29, 31, 32, 34.
- Спасский, И. Т. 190, 471, 472.
- Спасский, С. Д. 491, 492.
- Спиноза, Б. 245.
- Сталь, А.-Л. де, 394, 427.
- Станкевич, Е. 133.
- Станкевич, Н. В. 178, 179.
- Станович, М. А. 220.
- Стендаль 100—102, 117, 126, 135, 143, 147, 436.
- Степанов, Н. Л. 429—431, 484, 491.
- Стерн, Л. 234.
- Столица, Л. 217.
- Страхов, Н. Н. 445.
- Строганов, Г. А., гр. 50, 354.
- Строев, В. М. 162.
- Струговщиков, А. Н. 174.
- Стурдза, А. С. 286, 486.
- Суворов-Рымникский, А. В., кн. 372.
- Сумароков, А. П. 25, 75, 307, 389, 390, 392, 400.
- Сунгуров, Н. П. 44.
- Такайшвили, Е. 300.
- Тарквиний Гордый 209, 381.
- Тартерон, Ж. 250—262.
- Татищев, И. И. 80.
- Тепляков, В. Г. 64, 151, 174, 175, 338, 471.
- Терзибашян, В. 492.
- Тимофеев, А. В. 162—164, 167, 174, 177, 181.
- Тимофеев, Л. И. 492.
- Титов, В. П. 43.
- Толстой, В. В., гр. 23, 24.
- Толстой, Л. Н. 67, 182, 399, 436, 493.
- Толстой, Ф. И., гр. 83.
- Толстой, Я. Н. 27, 31, 266, 271, 420.
- Толычева, Т. (Новосильцева, Е. В.) 383.
- Томашевский, Б. В. 8—11, 55, 132, 267, 294, 296, 316—324, 369, 372, 373, 401—415, 422, 435—437, 447, 454, 458, 459, 484—486, 488, 490—492, 493, 495.
- Трегуб, С. 491.
- Троицкий, Л. С. 491.
- Тропинин, В. А. 373.
- Трубецкой, Н. И., кн. 152.
- Трубецкой, С. П., кн. 312, 370, 372.
- Туманишвили, Д. 72, 293—300.
- Туманишвили, И. 300.
- Туманская, С. Г. 287.
- Туманский, В. И. 13, 14, 281—283, 285, 287, 480.
- Тургенев, Алдр. И. 13, 14, 34, 57, 149, 172, 173, 175, 176, 274, 286, 292, 380, 390, 418, 423, 441, 479, 482.
- Тургенев, Андр. И. 164.
- Тургенев, И. С. 149, 182.
- Тургенев, Н. И. 271, 272, 368, 423, 438, 494.
- Тургенев, С. И. 271, 438.
- Тьерри, О. 440.
- Тынянов, Ю. Н. 13, 57—73, 149, 490, 493, 494, 498.
- Тютчев, Ф. И. 149, 150, 181.
- Тюфякин, П. И., кн. 31, 33.
- Уваров, С. С. 294, 469.
- Улуханова, А. Д. 469.

- Улыбышев, А. Д. 27.
 Уолпол 473.
 Уссольц, Г. 355, 356.
 Ушаков, Д. Н. 456.
- Фазиль-Хан-Шейд** 68.
 Фан-дер-Фельде, К. 95.
 Фан дер Флит, Т. Е. 330, 333.
 Федор Алексеевич, царь 439.
 Федоров, Б. 495.
 Федоров, Л. А. 455, 456, 495.
 Фессалоницкий, С. 495.
 Фет, А. А. 149, 181, 263.
 Фетх-Али 427.
 Фикельмон, Д. Ф., гр. 302, 303.
 Фикельмон, К.-Л., гр. 340, 351.
 Филимонов, В. С. 165.
 Филипсон, Г. И. 418.
 Фильдинг, Г. 431.
 Фирсов, Н. Н. 412.
 Фихте, И. 183, 431.
 Фишер, К. А. 8.
 Фишер, К. И. 288.
 Флоровский, А. В. 279.
 Фок, Е. И. 471.
 Фон-Визин, Д. И. 36, 93, 398.
 Фонвизин, М. А. 376.
 Фонтанье, В. 63—65, 415.
 Фонтенель, Б. 184.
 Фонтон, Ф. 65.
 Фон-Фок, М. Я. 48.
 Франк, Н. Н. бар. 279.
 Франк, О. Р., бар. 280.
 Франц-Иосиф II 352.
 Францева, Е. 277.
 Фредерикс, Ц. В., бар. 414.
 Фридрих Великий 258, 259, 263, 265.
 Фрэнкленд, К. 302—314.
- Ханыков, Н. В.** 243.
 Хассай-Муса, кн. 247.
 Хвостов, Д. И., гр. 12—16, 415.
 Херасков, М. М. 307, 414.
 Хитрово (Хитрова), А. Н. 480.
 Хитрово, Е. М. 101, 303, 308, 447.
 Хмельницкий, Н. И. 29—31, 35, 36.
 Ходасевич, В. Ф. 76, 447.
 Ходза, Н. 494.
 Хомяков, А. С. 50, 64, 152, 162, 173.
 Хохлов, А. 366, 367, 372, 373, 421, 422.
 Хохлов, Г. 498.
 Храпченко, М. Б. 493.
- Цабель, Е.** 448.
 Цейтлин, А. Г. 387, 390, 395, 491, 496.
 Цицианов, Д. Е., кн. 424.
 Цицианов, П. Д., кн. 424.
 Цшоке, И. 473.
 Цырлин, Л. В. 485,
 Цявловский, М. А. 19, 24, 63, 183, 315, 316,
 366, 372, 407, 414, 415, 430, 447, 454, 469,
 472, 479, 484, 493, 494, 496.
- Чаадаев, П. Я.** 41, 46, 49, 294.
 Чайкин, К. И. 468.
 Чамполи, И. 446.
 Чарыков, Н. В. 342.
 Чернецов, Г. Г. 373.
 Чернобаев, В. Г. 454.
 Чернов, С. Н. 328.
 Чернова, Е. Б. 336—339.
 Чернышев, В. И. 79, 92, 140, 493.
 Чернышевский, Н. Г. 470, 474.
 Черняев, Н. И. 61.
 Черто, В. 445, 447.
 Чехов, А. П. 352.
 Чистяков, М. Б. 78.
 Членов, М. Н. 469.
 Чубинов, Д. 299, 300.
 Чулкевич, В. А. 491.
 Чулков, Г. И. 362, 369, 380, 493.
 Чулков, М. Д. 473.
 Чулков, Н. П. 479.
 Чурманалеев 174.
- Шаликов, П. И., кн.** 291.
 Шатле, мадам дю 263.
 Шатобриан, Р. 143, 402.
 Шафи, М. 242.
 Шаховской, А. А., кн., 14, 24—34, 36, 78, 79,
 86, 89, 93, 101, 109, 432.
 Шаховской, Д. И. 479.
 Швецов, С. 498.
 Шебунин, А. Н. 272, 328, 437—441, 490, 493,
 494.
 Швердин, С. Н. 485, 493.
 Шевырев, С. П. 43—51, 53, 148, 149, 155, 172,
 173, 178, 179, 183, 184, 318, 321, 472.
 Шекспир, В. 126, 162, 177, 209, 210, 381, 396,
 432, 445, 487, 493.
 Шеллинг, Ф. 183.
 Шенрок, В. И. 318.
 Шенье, А. 388.
 Шепелев 277.
 Шиллер, Фр. 167, 171, 175, 177, 178, 473.

- Шиллинг, С. Р., бар. 428.
 Шимановская, М. 302.
 Ширвани, С.-А. 240.
 Ширинский-Шихматов, С. А., кн. 26.
 Широкий, В. Ф. 475—479.
 Ширяев, А. 291, 292.
 Шифрин 448.
 Шишков, А. С. 7—8, 26, 292.
 Шкловский, В. Б. 484, 493.
 Шляпкин, И. А. 103, 336.
 Шмурло, Е. Ф. 447.
 Шписс, Х. 473.
 Штрайх, С. Я. 365, 368, 369, 484, 493, 496, 497.
 Шувалова-Зубова, гр. 172, 173.
 Шуйфер 494.
 Шульд, В. 448.
 Шустикова, А. Я. 469.
 Шухаев, В. 446.

 Щеголев, П. Е. 181, 190, 208, 257, 275, 335—336, 352, 367, 418, 437, 447, 458, 494.
 Щербатов, А. В., кн. 303, 304.
 Щербинин, М. А. 266.

 Эдлинг, Р. С. 337.
 Эйгес, И. Р. 491, 497.
 Эйхенбаум, Б. М. 132, 447.
 Эккарт, И. 445.
 Эмин, Н. Ф. 78.
 Энгельгардт, В. В. 266, 428.
 Энгельс, Ф. 186, 198, 209, 211, 212.

 Эрисман, Ф. 448.
 Эттингер, П. Д. 454, 491, 497, 498.
 Эфендиев, М. Г. 240, 241.
 Эфрос, А. М. 151, 323, 366, 369—371, 374, 377, 422, 423, 454, 491, 495.
 Эштейн, А. 493.

 Ювенал 258—261, 263—265.
 Юдин, А. 153.
 Юзефович, М. В. 472.
 Юнович, М. 484, 493.
 Юрлов, майор 435.
 Юрьев, В. Г. 429.
 Юрьев, Ф. Ф. 267—275.

 Язловский, Б. А. 427—428.
 Языков, А. М. 104.
 Языков, А. 484.
 Языков, Н. М. 10, 176, 180, 214, 233, 307, 320, 434, 474, 491.
 Яковлев, А. М. 330—334.
 Яковлев, А. С. 78.
 Яковлев, М. А. 100.
 Яковлев, М. Л. 23, 412, 471.
 Яковлев, П. Л. 485.
 Яковлев, С. 484.
 Якубович, Д. П. 95, 260, 366, 406, 409, 454, 455, 488, 491, 493, 497.
 Якушкин, В. Е. 267, 460, 461.
 Якушкин, И. Д. 368.
 Яхонтов, В. Н. 493.
 Яцевич, А. Г. 18.
 Яцимирский, А. И. 279.

ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИИ

	Стр.
Письмо к издателю „Сына Отечества“. Автограф Пушкина (лицевая сторона). (Пушкинский Дом Академии Наук СССР)	6
То же (оборотная сторона)	6
Страница из печатного экземпляра IV главы „Евгения Онегина“ с поправкой Пушкина на приклеенном листке. (Гос. Публичная Библиотека Союза ССР имени В. И. Ленина)	8
Рисунок Пушкина к строфе XVII гл. V „Евгения Онегина“ (на приклеенном к печатному экземпляру листке)	8
Записка к К. П. Брюллову (лицевая сторона). (Пушкинский Дом)	18
То же (рисунки на оборотной стороне)	18
Мирза Фатали Ахундов. С современной литографии	240
Стихотворение Вольтера. Автограф. Из бумаг Пушкина. (Пушкинский Дом)	264
Выписки из латинских поэтов. Автограф Вольтера. Из бумаг Пушкина. (Пушкинский Дом)	264
Страница цензурного экземпляра „Кавказского Пленника“. (Пушкинский Дом)	292
Заглавный лист „Цыган“, изд. 1827 г.	295
Страница из книги Пуквиля о Греческой революции (Pouqueville. „Histoire de la régénération de la Grèce“, p. 395)	295
Запись грузинской песни (лицевая сторона). Из архива Пушкина. (2/3 нат. вел.). (Пушкинский Дом)	300
То же (оборотная сторона, с рисунками Пушкина)	300
Письмо Монтандона к Пушкину. (Пушкинский Дом)	334
Письмо Е. К. Воронцовой к В. Г. Теплякову. (Пушкинский Дом)	336
Письмо Е. К. Воронцовой к Н. М. Лонгинову. (Пушкинский Дом)	336
Письмо „Е. Вибельман“ к Пушкину. (Пушкинский Дом)	336
Письмо Р. С. Эдлинг к Н. М. Лонгинову, (Пушкинский Дом)	336
Проект реконструкции дома № 12 по Мойке в Ленинграде. План 1-го этажа	476
То же. План 2-го этажа	477
П. А. Вяземский. Портрет (карандаш и сепия) работы Иосифа Зонтаг (1821 г.). (Гос. Исторический Музей)	480
Ж. Дантес. Акварель середины 1830-х годов. (Гос. Исторический Музей)	483

СОДЕРЖАНИЕ

НОВЫЕ ТЕКСТЫ ПУШКИНА

	Стр.
Письмо к издателю „Сына Отечества“. Комментарий Ю. Г. Оксмана	5
Поправки Пушкина к тексту „Евгения Онегина“. Комментарий Б. В. Томашевского	8
Неизвестный экспромт Пушкина. Комментарий Д. Д. Благого	12
Коллективная записка к К. П. Брюллову. Комментарий Л. Б. Модзалевского	17

ИССЛЕДОВАНИЯ И СТАТЬИ

А. Л. Слонимский. Пушкин и комедия 1815—1820 гг.	23
М. И. Аронсон. „Конрад Валленрод“ и „Полтава“	43
Ю. Н. Тынянов. О „Путешествии в Арзрум“	57
В. В. Виноградов. Стиль „Пиковой Дамы“	74
Л. Я. Гинзбург. Пушкин и Бенедиктов	148
Гл. Глебов. Философия природы в теоретических высказываниях и творческой практике Пушкина	183
И. Н. Рованов. Ранние подражания „Евгению Онегину“	213
М. Рафили. Пушкин и Мирза Фатали Ахундов	240

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

В. С. Люблинский. Неизвестный автограф Вольтера в бумагах Пушкина	257
П. А. Садиков. Послание Ф. Ф. Юрьеву 1820 г.	266
Г. П. Сербский. Дело „О саранче“	275
Б. П. Городецкий. К истории издания „Кавказского Пленника“	290
Б. В. Томашевский. Мелочи о Пушкине. 1. Виньетка к „Цыганам“. 2. „Бесовское болото“	294
Л. Б. Модзалевский и В. Д. Дондуа. Запись грузинской песни в архиве Пушкина	297
Б. В. Казанский. Разговор с англичанином	302
М. К. Азадовский. Пушкинские строки в „Коньке-Горбунке“	315
М. К. Азадовский и Б. В. Томашевский. О датировке „Сказки о попе и о работнике его Балде“	317
Новые материалы для академического издания переписки Пушкина.	
Ю. Г. Оксмана. Неизвестные приложения к письму Ф. Н. Глинки к Пушкину от 28 июля 1831 г.	325
П. Е. Щеголев. Неизвестное письмо Монтандона к Пушкину	334
Е. Б. Чернова. К истории переписки Пушкина и Е. К. Воронцовой	336
Л. П. Гроссман. Документы о Геккернах	340

Трибуна

С. Я. Гессен. Пушкин накануне декабрьских событий 1825 года	361
---	-----

	Стр.
Л. Я. Гинзбург. К постановке проблемы реализма в пушкинской литературе . . .	387
М. И. Аронсон, Н. В. Измайлов, Г. А. Бялый, Ю. Г. Оксман. А. Пушкин. Сочинения. Редакция, биографический очерк и примечания Б. Томашевского. Вступительная статья В. Десницкого. Гос. изд-во „Худ. Литература“, 1935 . . .	401
Н. К. Козмин, С. Я. Гессен, Н. В. Измайлов, Б. В. Казанский, Б. Язловский. Рукою Пушкина. Несобранные и неопубликованные тексты. Подготовили к печати и комментировали М. А. Цявловский, Л. Б. Модзалевский, Т. Г. Зенгер. Academia, М.-Л., 1935	414
Н. Л. Степанов. А. С. Пушкин. Избранная лирика. Ред., примеч. и вступ. статья Д. Д. Благого. Гос. изд-во „Худ. литература“. М., 1935	429
В. В. Виноградов. „Борис Годунов“ А. С. Пушкина. Сборник статей Б. П. Городецкого, А. Л. Слонимского, М. П. Алексеева, Г. О. Винокура, А. Н. Глумова, под общ. ред. К. Н. Державина. Л., 1936	432
Ю. Г. Оксман. Песни и сказания о Разине и Пугачеве. Вступ. статья, ред. и примеч. А. Н. Лозановой. Academia, 1935	434
Б. В. Томашевский. А. Н. Соколов. От комической поэмы к социально-психологическому роману. М., 1936	436
А. Н. Шебунин. П. Попов. Пушкин в работе над историей Петра I. „Литературное Наследство“, № 16—18, 1934	437
Б. Огрон. А. Бем. Фауст в творчестве Пушкина. „Slavia“, 1935	441
Е. И. Боброва. Итальянская „Пушкиниана“	445

ХРОНИКА

О создании Пушкинского Комитета в связи со столетием со дня смерти А. С. Пушкина. Постановление Президиумов Ленинградского Областного Исполнительного Комитета и Ленинградского Совета РК и КД	453
Пушкинская комиссия Академии Наук СССР (Доклады и сообщения в январе—июне 1936 г. — Обсуждение VII тома академического издания в общественных организациях Ленинграда. — Словарные работы Пушкинской комиссии)	454
Из материалов редакции академического издания Пушкина. С. М. Бонди. Отчет о работе над IV томом	458
Новые книги о Пушкине (Печать о Пушкине при его жизни. — Новое издание статей В. Г. Белинского о Пушкине. — Пушкин в воспоминаниях и рассказах современников. — Современники о дуэли и смерти Пушкина)	469
Диссертация о „Братьях-Разбойниках“ Пушкина	473
Пушкинские места (Последняя квартира Пушкина. — Пушкин в Москве. — Квартира Пушкина в Москве. — Новооткрытые могилы Пушкиных)	475
Новинки иконографии (Неизданный портрет П. А. Вяземского. — Неизвестный портрет Дантеса)	482
Пушкиниана. Январь—июнь 1936 г.	484
В. В. Гиппиус. Письмо в редакцию	499
Указатель произведений Пушкина, упоминаемых в настоящей книге	501
Указатель личных имен	505
Перечень иллюстраций	517

Техн. редактор Л. А. Федоров. — Уч. корректор В. Е. Мушиц

520 стр. + 15 вкл. табл. — Формат бум. 72 X 110 см. — Объем 35¹/₈ л. — 53615 тип. зн. в л. — 43.56 уч.-авт. л. — Тираж 10200
Ленгорлит № 24445. — АНИ № 1328. — Заказ № 1121
Типография Академии Наук СССР. Ленинград, В. О., 9 линия, 12